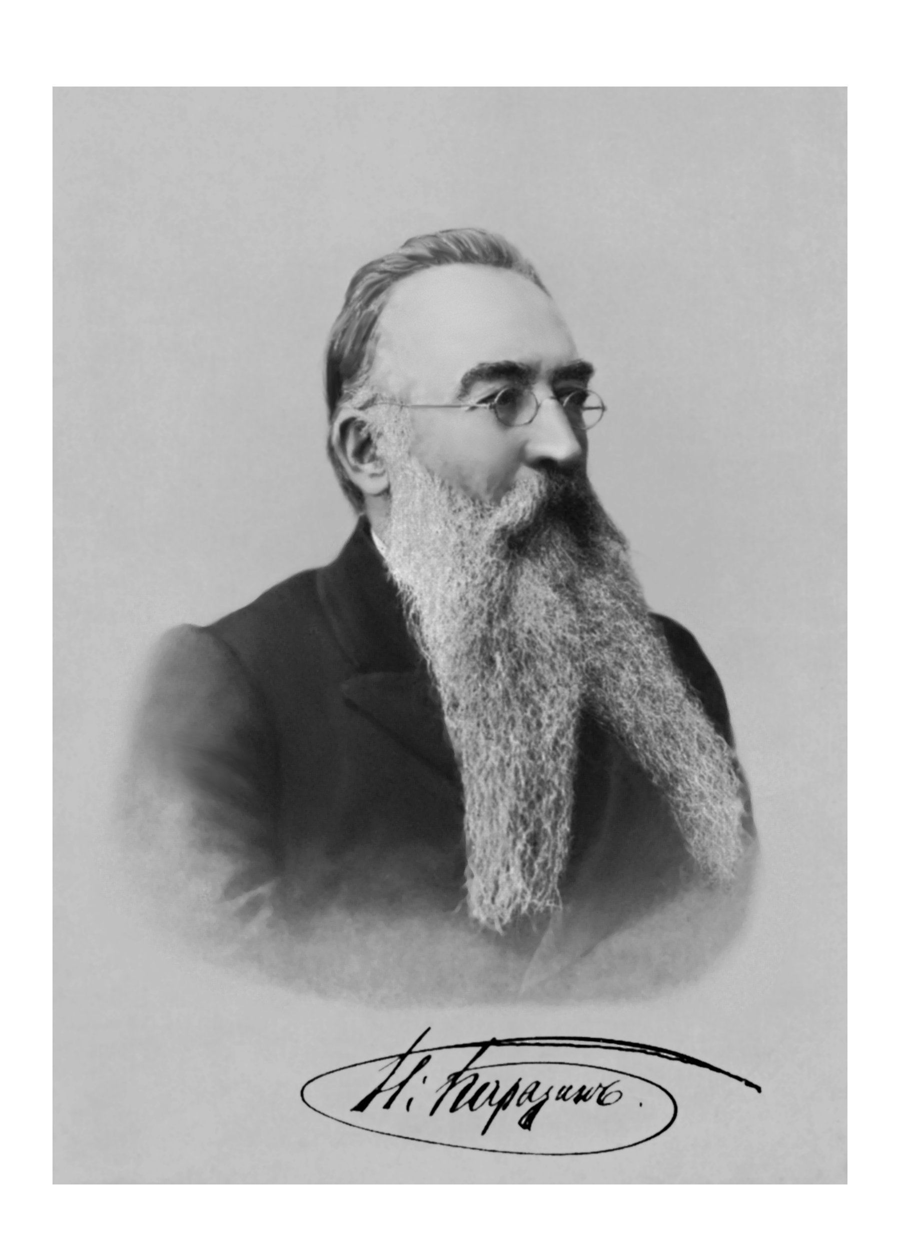

Николай Каразин
«Хивинский поход 1873 г.
Переход Туркестанского отряда
через мертвые пески
к колодцам Адам-Крыл»
1888 г.
ISBN 978-5-02-040167-9
9 785020 401679
NAUKA
ЛП
Николай Каразин
На далеких окраинах
Погоня за наживой
Николай Каразин
На далеких окраинах
Погоня за наживой
НАУКА


Николай Каразин
На далеких окраинах
Погоня за наживой


Н. Каразинъ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Николай Каразин

На далеких окраинах

Погоня за наживой

Издание подготовила
Э. Ф. ШАФРАНСКАЯ

МОСКВА НАУКА 2019

УДК 82-311.6
ББК 84(0)5-44
К21

Ответственный редактор
Б.Ф. ЕГОРОВ

Серия основана
академиком С.И. ВАВИЛОВЫМ

ISBN 978-5-02-040167-9



На далеких окраинах



Н. Каразин. Парад при поднятии флага в новозаложенном укреплении Благовещенском (форт Иркибай). Фрагмент. Опубл.: Хивинский поход. Альбом хромолитографий, исполненных заведением Винкельман и Штейнбок в Берлине по оригинальным акварельным рисункам Н.Н. Каразина. СПб.; М., 1875.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. КАРАКУМЫ

Четыре волка, гуськом друг за другом, боязливо оглядываясь, спускались с песчаного бугра.

Если бы им предоставлен был свободный выбор, то они спустились бы совсем не с этой стороны. Их зоркое зрение, несмотря на темноту ночи, упорно останавливалось на одном и том же предмете. Их раздутые ноздри жадно втягивали в себя струю воздуха, несшуюся от этого предмета. Голод ворочал внутренности степных хищников, зубы скрипели и щелкали, налитые кровью глаза искрились во мраке.

Бандиты остановились в лощине, куда не проникали лучи лунного света, и сели. Они не решились отступить совсем и выжидали. Они хорошо устроились: надо было прилечь к самой земле, – я хотел сказать, на песок, потому что земли давно уже не видно было в этом песчаном, волнистом море, – чтобы заметить четыре рядом торчащие силуэта, с острыми, настороженными ушами. А между тем сами волки хорошо видели кругом. Луна усердно помогала им в этом обзоре, освещая своим мертвым светом мертвую окрестность.

Лощина, где они сидели, заменяла темную литерную ложу, пустыня – ярко освещенную сцену.

Голодные бродяги видели все, а их не видел никто.

Они видели верблюда, который стоял на вершине противоположного бугра; они видели, как безобразно, неловко привешены были к бокам животного толстый тюк, обмотанный веревками, русский чемодан, железная складная кровать в чехле и медный закопченный чайник. Все это висело кое-как и, должно быть, сильно беспокоило верблюда; заметно было, что его вьючили неопытные и неискусные руки.

На самом верху, неловко растопырив ноги, сидела человеческая фигура. Голова у этой фигуры была обвязана белым платком, одета она была в белую же, русскую рубаху, на длинных смазных ботфортах виднелись ржавые шпоры, из-за плеч торчала двустволка. Фигура эта как-то странно колыхалась

на вершине вьюка: то она откидывалась назад, то вдруг нагибалась вперед, головной убор сбился на самое лицо. Нетрудно было догадаться, что всадник спал – и спал весьма крепко, несмотря на неловкость своего положения.

У верблюда в разорванные ноздри продета была волосяная веревка, конец той веревки находился в руках другого путешественника, который шел пешком.

Взобравшись на берег, вся группа остановилась. И верблюд, и шедший пешком – разом увидели то, что давно уже наблюдали волки. Первый смотрел равнодушными, полузакрытыми глазами, пережевывая вонючую, зеленую пену, второй кинулся будить своего товарища.

Внизу, где сыпучая, песчаная гряда переваливалась через едва заметный след караванной дороги, стоял безобразный ящик на трех колесах. Четвертое лежало около.

Как у трупа, около которого повозились уже крылатые и четвероногие хищники, из-под клочьев изорванного мяса и кожи торчат оголенные ребра, так из-под клочьев холстины виднелись деревянные ребра верхней части кузова.

Немного в стороне лежала куча старого изодранного платья. У этой кучи виднелось что-то похожее на человеческую ногу, у этой кучи были даже руки, судорожно искривленные пальцы которых глубоко врылись в окровавленный песок, и от этой кучи несло запахом разлагавшегося трупа.

Кругом было тихо, как в могиле: ни звука, ни движения.

– Падалью воняет, – произнес проснувшийся всадник.

– А ведь дело скверное, – заметил другой. – Не вернуться ли нам назад, в Аль-Кадук?

– Падалью воняет. Это сделано давно: или сегодня, рано утром, или еще вчера. *Они*[1] теперь далеко. Ну, тяни эту ленивую гадину, и едем дальше.

– Да, черт возьми, едем… Я вот уже целую ночь иду пешком.

– Если бы верблюд мог идти без твоего содействия, мы ехали бы оба, а я разве виноват, что у меня осталась в распоряжении только одна нога… Проклятое колено! как оно опять расходилось!

– А что, если с нами *то же* будет? Если барантачи[2] теперь на той станции, куда мы едем?

– А если они там, откуда мы уже уехали? Шансы совершенно одинаковы. Продвинь еще немного вперед этого подлеца… А! вот оно что… Ведь я узнал, кто это.

– Я тоже догадываюсь.

– Это жид, помнишь, в Уральском укреплении, с женою и немцем-механиком… Ты это их ищешь? Загляни в фургон: там, должно быть, и жена, и немец.

– В фургоне никого нет, – процедил сквозь зубы тот, который шел пешком.

Он бросил верблюда и, взобравшись на колесо экипажа, рылся внутри его, погрузившись в фургон всем корпусом.

– Ну, значит, у него украли жену и немца, да, кажется, сколько я могу разглядеть, и его собственную голову.

Мороз подрал по коже обоих наблюдателей. Скверные мысли заворочались в мозгу. Одни, в самом глухом месте песчаной пустыни. Ждать помощи неоткуда. Кто поручится, что с ними не будет, может быть, даже очень скоро, того, что случилось с этим жидом… Может быть, за этим барханом сидят *они*… Сейчас вылетят на них со своими длинными пиками…

– Ты слышал?!..

– Ничего не слышал.

– Где-то гикают.

– Это у тебя в воображении гикают или… постой-ка… нет, это в желудке у нашей скотины, – бравировал тот, который сидел на верблюде. Но голос его слегка дрожал, словно в его горле что-то задерживало звуки. – А *этот* собирался водку гнать в Ташкенте… Заводы строить хотел, барыши наживать… Что это ты прячешь за пазуху?.. Покажи-ко…

– Что прячу… Кто прячет?!.. Ничего не прячу, это так… проклятые вши развозились… Я только почесался…

– В синей бумаге. Я видел.

– Да что ты видел… что?!..

– Подожди, я сейчас слезу. Моей ноге как будто лучше… Посмотри, *он* упал около колеса: у тебя пояс развязался, ты сунул, а *он* провалился.

Оба путешественника стояли на земле, один сполз с верблюда, другой соскочил с колеса.

Большой пакет, в чем-то синем, не то в бумаге, не то в платке, лежал на песке. Этот темный четвероугольник, на светлом фоне, так и лез в глаза. Четыре руки разом потянулись по одному направленно…

– Это деньги, и даже очень много денег… Боже мой, как у меня затекли ноги… Я едва стою… киргизы плохо знают толк в русских бумагах… Мы, брат, с тобою знаем его лучше…

– Пополам, я думаю.

– Да, уже на три части делить не станем. Теперь ему ничего не нужно… Куда!.. держи!.. держи!.. проклятая скотина!

Освободившись от всадника, верблюд сделал несколько шагов по дороге. Вдруг он фыркнул и вытянул шею. В темноте сверкнули красноватые точки. Испуганное животное поняло опасность и со всех ног пустилось бежать своею неуклюжей, по виду медленной, но на деле чрезвычайно быстрой иноходью.

Раздался жалобный, хриплый вой, и четыре тени, скользнув по желтоватой поверхности бугра, понеслись за убегающим животным.

Несколько минут длилось молчание.

– Что же мы теперь будем делать? – мрачно сказал один из спутников.

– И зачем ты его выпустил?..

– И кой черт тебя заставил слезть с него!

– Что ж, надо идти пешком, целую ночь шли… Станция не должна быть далеко.

– Идти, так идти.

– Не знаю, добреду ли я?.. Попробуем.

– Идем! авось живы будем. Вот они, дешевые тарантасы…

– Ну, что уж тут, и дорогие – ломаются… У Келлера, двести пятьдесят заплачен в Казани, а так же, как и наш, брошен на дороге.

С бархана на бархан, взрывая сухой песок, с отчаянным, полным смертельного ужаса ревом, неслось горбатое чудовище. Преследователи не отставали: с боков, спереди заскакивали голодные звери.

Растрепался вьюк и безобразно хлопал по взмыленным бокам, стесняя бег верблюда. Войлочный тюк свалился и тащился по земле, путаясь между длинными ногами. Споткнулся беглец и со всего размаха брякнулся на песок, взбороздив его своею мордою. Отчаяние придало силы несчастному животному, и оно снова вскочило на ноги, но уже страшный всадник сидел у него на шее, вцепившись зубами в загривок. Другой волк высоко взлетел на воздух и, как мешок, брякнулся на дорогу: он попал под удар могучей ноги и поплатился за свою неловкость.

Вдруг раздался выстрел.

Немного в стороне чернелась закопченная труба маленькой землянки. Только этою, искривленной коленом, железной трубою отличалась землянка от окружавших ее песчаных наносов. Кругом нее песок был сильно утоптан и покрыт навозом. Неподалеку лежал разбитый ящик повозки, кое-где валялись остатки колес. В дверях, более похожих на отверстие норы, виднелось испуганное лицо; беловатое облачко дыма медленно расползалось, исчезая в лунном свете.

Тяжело дыша, плашмя на боку, вытянув длинные мускулистые ноги, лежал верблюд, почти около самого входа. Волков как не бывало.

Это была почтовая станция на большом Орско-Казалинском тракте, в самой середине Каракум.

Станция эта называлась Джунгурлюк-Сор.

II. ПЕРЛОВИЧ У СЕБЯ НА ДАЧЕ

Просторная, довольно высокая комната. Открытые потолочные брусья расписаны яркими, цветными узорами и украшены позолотою, стены, с бесчисленными хитро вырезанными углублениями, покрыты мелкою резной

работою по алебастру. В одной из длинных стен, так как комната не квадратная, проделаны рядом одна с другою четыре двери из темно-коричневого карагача; двери эти также сплошь покрыты затейливою резьбою. Над каждою дверью – полукруглое окно с частым гипсовым переплетом, затянутым красною кисеею. Все эти двери выходят на обширную террасу, над нею – тяжелый навес, составляющий продолжение плоской крыши дома. Навес этот поддерживается рядом деревянных, кувшинообразных столбов. Справа и слева виднеются узкие двери в прочие помещения дома.

Несмотря на сорокаградусный жар, несмотря на солнце, стоящее над самою головою, в доме прохладно, и отрадный зеленоватый полусвет приятно ласкает глаза, утомленные ярким солнечным светом. Громадные столетние карагачи раскинули свои густые ветви над крышею дома; никакие солнечные лучи не найдут себе дороги сквозь эту массу темной зелени. Перед террасою – пруд, обсаженный такими же гигантами-карагачами. Высокие пирамидальные тополи, упираясь своими вершинами в сероватое, раскаленное небо, двойными рядами окружали все пространство сада. Тщательно вычищенные дорожки все сходились к пруду, по бокам этих дорожек тянулись неглубокие канавки (арыки) со свежею проточной водой: одни канавки проводили воду к центральному пруду – резервуару, другие – выводили ее вон, за пределы сада.

Всюду, куда могло только проникать солнце, виднелись деревянные решетки, которые гнулись под тяжестью виноградных лоз; красивая, вырезная листва мешалась с наливающимися гроздьями синего винограда.

Под одним из карагачей, тех, что у пруда, навзничь, закинув мускулистые руки за голову, лежала почти голая темно-бронзовая фигура; белая, старческая борода торчала кверху, шапочка (тюбетейка) сползла с головы, обнажив гладко выбритый, лоснящийся от пота череп. К дереву прислонен был садовый заступ, указывавший на должность спящего.

Садовник спал крепко. Его ничто не беспокоило. Большой шмель мелодично басил, предполагая, вероятно, спуститься на кончик горбатого, чисто библейского носа.

За стеною послышался топот лошадиных ног, звуки двигались вдоль стены, приближаясь к калитке. Красивый желтый сеттер шарахнулся с террасы, где он спал, и, прыгая через арыки, понесся ко входу.

– Возьми лошадь, эй!.. Поводи ее здесь хорошенько… Ишь, как замылилась… – отдавал отрывистые приказания приятный, несколько охриплый баритон.

– Прекрасный карабаир у вас, полковник, – заметил довольно вкрадчиво другой голос. – Сюда, сюда пожалуйте, в мои новые владения.

– Да, ничего, недурен… Сюда?

Перешагнув через высокий порог, вошли в сад два человека: один, впереди, среднего роста, несколько худощавый, с подвижной и умной физиономией, в круглой соломенной шляпе, в широком парусинном пальто, в кожаных черных штиблетах поверх летних панталон, в перчатках и с хлыстом в руке. Другой высокого роста, в форменном кителе, с щеголеватыми, несколько изысканными манерами.

– Давно бы пора, полковник, давно…

– Да я, знаете ли, все собирался, но как-то все не мог собраться, то то помешает, то другое… А у вас великолепно!

– Ну, полноте…

– Нет, право… Тень, прохлада, виноград… Все это в восточном вкусе… Превосходно…

– Что мог, полковник, что мог… Конечно, тут еще многого недостает…

– Ну, чего же недостает? – полковник как-то растягивал слова и произносил их несколько в нос: он находил, что эта манера говорить весьма изящна. – Вы уже слишком требовательны, добрейший Станислав Матвеевич, конечно, человеческой фантазии нет границ: она безбрежна, но, принимая в расчет…

– Извините, полковник, много, очень много обяжете. – Тут Станислав Матвеевич приятно улыбнулся и согнулся всем корпусом, приложив к сердцу правую руку. – Чаю, вина, сельтерской воды, льду… – все, что прикажете… без церемонии.

– Если так, то я попрошу сельтерской воды и красного вина… Эта несносная жара…

– Извините… я сейчас распоряжусь.

Хозяин усадил гостя на ступеньках террасы, покрытых пестрым ковром, и скрылся куда-то направо.

– Шарип! Эй, Шарип!.. – слышался хозяйский голос.

Спящий у пруда сарт[1] приподнялся, посмотрел вокруг себя мутными заспанными глазами, поправил шапочку, зевнул на весь сад и поднялся на ноги. Лениво шагая, он пошел на зов хозяина.

Гость сперва посидел немного, потом его сманила чистая дорожка и густая тень у пруда. Он встал и пошел, заложив за спину руки и волоча по песку свою саблю. Красивая собака лежала в траве и, подняв свою умную морду, казалось, заигрывала.

– Ну, иси! иси![2] как тебя там звать: Збогар, Мильтон, Трезор… все равно, ну, пойди, дурак, ну, иди же…

Собака встала и подошла, виляя пушистым, мягким, как шелк, хвостом.

– А ну, тебе, должно быть, жарко, надо покупаться, а, надо?..

Полковник поднял какую-то щепочку, поплевал на нее и бросил на самую середину пруда. Собака все время следила глазами за щепкой, потом с размаха бросилась в воду, выловила брошенное и поплыла к берегу, здесь она

с трудом, раза два обрываясь, выкарабкалась на сухое место, выпустила изо рта поноску и отряхнулась.

– Молодец, молодец… Ай да водолаз… Ну-ка еще…

– Вы, верно, охотник, полковник? – раздался сзади голос хозяина. – Милости просим, все готово. У меня это делается довольно скоро, потому что все под руками.

– Да это манифик[3], нечто вроде «Шахеразады», знаете, эти восточные сказки… Раз, два…

– Усаживайтесь покойней… Лед изрублен недостаточно мелко, но это лучше: не так скоро тает… Возьмите эту подушку, вам будет удобнее…

На террасе поставлен был низенький стол, не выше полуаршина, так что, лежа на ковре, можно было удобно доставать с него все, что нужно. Стол этот был покрыт белой скатертью, посередине стояла туземная чашка из зеленой глины с нарубленным, сверкающим льдом, вокруг нее лежали бутылочки с сельтерской водою с подрезанными проволоками, по бокам подымали свои чеканенные носики два высоких металлических кунгана[4] (кувшина) с красным вином и стояли стаканы с чайными ложечками, тут же распространяло аромат блюдо с виноградом, персиками и гранатами, последние были разрезаны и сверкали своею кроваво-красною внутренностью в массах бледно-восковой зелени винограда.

В углу, на последней ступеньке, кипел ярко вычищенный самовар, и тот же старик-садовник перетирал полотенцем плоские зеленые чашечки с китайскими буквами на донышках.

– Ну что, полковник, слышно в ваших, так сказать, высших административных сферах?..

– Особенного ничего, но предполагают, – тут голос был значительно понижен, – предполагают, что поход неизбежен.

– И, думаете, скоро?

– То есть как бы вам это сказать… Пока все еще одни предположения… Весьма недурное вино, *Первушин*[5], положительно, совершенствуется.

– Я, знаете ли, предполагаю, на случай похода, тоже пристроиться к войскам.

– В качестве воина?..

Полковник улыбнулся и скосил глаза на говорящего.

– Нет, зачем? Это не в моем характере. Я даже совсем оставил службу: с часу на час жду приказа об отставке.

– Так в качестве волонтера, любителя сильных ощущений?..

– Вы шутите… Конечно, без сильных ощущений не обойдется, но для этого только не стоит беспокоиться: это все я предоставляю натурам более героическим, чем моя… Чаю, Шарип!.. Не прикажете ли?..

Собеседники потянулись к зеленым чашечкам.

– Нет, мой уважаемый полковник, – продолжал хозяин, – цель моя не та. В походах вам придется испытывать и голод, и холод, и жажду, и, там, разные лишения… И на бивачном отдыхе вам весьма полезно будет выпить стаканчик глинтвейну, съесть кусочек настоящего швейцарского сыру… А там, знаете, победа, ожидание различных благ свыше… Вы понимаете, не лишнее будет выпить бутылку-другую шампанского… да мало ли чего захочется? А взять неоткуда. Свои запасы истощатся скоро (я имею основание предполагать это)… Некрасиво, не правда ли?.. Вот тут-то и явится со своими услугами Станислав Матвеевич Перлович, которому только и будет заботы, чтобы его арбы не отставали, чтобы его верблюды не запаздывали, чтобы его запасы не истощались… И в палатках Станислава Матвеевича господин полковник и все его товарищи по оружию найдут все то, что им будет угодно.

– Позвольте, я буду продолжать вашу картину, – перебил гость.

– А денег в то время будет много, – полковник подлаживался под тон Перловича, – поднимется игра, увеличится содержание, лишние рубль-два на бутылку никому не покажутся обременительны… и мой уважаемый собеседник и хозяин, заботясь о нашем походном благосостоянии…

– О, нет, полковник, я вовсе не так корыстолюбив, как вы думаете. Конечно, без барыша нельзя же…

– Ну, само собою разумеется…

– Да, – Перлович вздохнул, – с помощью Божьею, имея в принципе честность и уверенность, – он вздохнул еще продолжительней, – можно легко соединить общую пользу… Не прикажете ли еще чашку, полковник, с гранатным соком и вином… Эй, Шарип!..

– Благодарю вас. Ай-ай-ай! – сказал полковник, посмотрев на свои массивные золотые часы. – Скоро три, а в пять я должен обедать у губернатора.

– Не смею задерживать. Благодарю вас, полковник, за ваше любезное посещение… Шарип! Лошадь полковнику.

Они пошли вдоль сада к выходной калитке.

– А ведь я к вам, собственно, за делом, – начал полковник, едва они сделали несколько шагов. – Мне очень нужно, конечно, на самый короткий срок…

Полковник с ожесточением терзал кисть темляка на эфесе сабли…

Перлович со вниманием подвязывал виноградную лозу, свесившуюся почти до самой земли.

– Тысячу? – спросил он, и скорее не спросил, а прямо определил сумму, словно ему заранее известны были требования гостя.

– Да, почти около того, но для округлости…

– На тех же условиях, как и в тот раз?

– Послушайте, Перлович, ведь это почти что двадцать процентов в месяц…

– Ну, вот, так оно и вышло, – начал Перлович. – Экая досада!.. Посмотрите, вот эта превосходная лоза положительно погибла, даже зелень начинает блекнуть… Экая досада! Такой редкий сорт.

– Ну-с… так как же?.. – перебил полковник.

– Вы не можете себе представить, как мне досадно, что в настоящую минуту я решительно не могу быть вам полезным, ведь надо же было только вчера…

– Я сегодня вечером буду у Хмурова[6]. Я согласен. Привозите документ и деньги… Пожалуйста, не опоздайте.

– Не беспокойтесь, полковник, вы знаете мою аккуратность – ровно в десять…

– До свидания пока.

Чрез минуту полковник, подпрыгивая по-английски, на английском же седле, мелькал своим белым, как снег, кителем в густом облаке пыли, за ним суетливо трепался оренбургский казак на своем приземистом клеппере[7].

Перлович распоряжался уборкою завтрака, тщательно проверив число оставшихся бутылок.

По дорожке шагала Бог весть откуда появившаяся фигура. Грязная, когда-то белая фуражка была сдвинута на гладко остриженный затылок, китель с металлическими пуговицами обтягивал тощий, сутуловатый стан, красные кожаные шаровары[8] спущены были поверх сапог, порыжелых от пыли и времени, они неуклюже болтались на тонких, длинных ногах и, казалось, мешали им двигаться. Под кителем вовсе не было никакого белья, по крайней мере, смуглая, морщинистая шея и почти на четверть выдающиеся из-под коротких рукавов мохнатые руки были совершенно голы.

– Ба! Господин Перлович, если я не ошибаюсь, занимается хозяйством…

Остзейское происхождение ясно слышалось в говоре нового гостя.

– Каким образом вы изволили пожаловать? – спросил, не оставляя своего дела, хозяин. В голосе его слышалась досада: заметно было, что визит этот не доставляет ему никакого удовольствия.

– Странное приветствие, господин Перлович! Несмотря на наше недавнее знакомство, вы, кажется, предубеждены против меня?

– Нисколько, но…

– Нет, нет, пожалуйста! Я все понимаю… – гость уставился на Перловича своими большими оловянными глазами. – Это видно по всему. Вот, например, даже по тому, что вы убираете это вино, не спросив меня: приятно ли это моему пересохшему от этой дьявольской жары горлу.

В голове Перловича в эту минуту перебирались способы отделаться от этого гостя, он никак не мог остановиться на удобнейшем.

– Если вам угодно, господин Блюменштант, – начал хозяин, – то…

– Не думаете ли вы, что я нуждаюсь в вашем вине?!

Горбатый нос гостя побагровел, из-под седых усов пахнуло спиртом.

– Вы ошибаетесь!

– Но, позвольте же, однако…

– Дайте мне высказать.

Блюменштант тяжело опустился на ступени террасы.

– Я к вам пришел, – начал он, роясь во фруктах, – с тем, чтобы предложить вам весьма выгодную, для вас, конечно, сделку.

Перлович начал заинтересовываться.

– Я долго обдумывал это, прежде чем решился, – продолжал Блюменштант, – и вот результаты моих размышлений. К черту служба!.. Там меня оценить не умели. Надо подумать о себе, о своей, так сказать, личной выгоде и, понятно, о выгоде общества, ибо, я в этом убежден, из совокупности индивидуальных выгод составляется выгода коллективная… Вы меня понимаете?..

Он положил в стакан кусок льду и долил его до краев красным вином.

– Но это все общие места, мы теперь перейдем к частным явлениям… Я, лично я, капитан Блюменштант, желаю заняться частным, полезным для себя и для других делом.

– Это все прекрасно, – перебил Перлович, – но что ж тут может касаться до меня?

– До вас?! Все, то есть не то, чтобы все, но, но моему разумению, как раз половина.

Перлович недоумевал.

– Я поясню мою мысль… Соединим наши усилия. У вас – капитал, у меня – голова, руки, – он сжал кулаки и поднес их к самому лицу хозяина, тот невольно отшатнулся, – и необъятый запас житейской опытности.

Багровое лицо капитана разгорелось еще более, он торжественно выпил свой стакан и снова долил его до краев.

Перлович не ожидал этого предложения.

– Позвольте вас просить, почтенный капитан, подождать меня несколько минут.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, велите только подать еще немного льду.

Перлович исчез.

Прошло минуть пять – его еще не было, прошло четверть часа – Блюменштант все еще сидел один над своим стаканом.

Наконец ему надоело ждать, он порывисто встал, шагнул раза два и пошатнулся. Вершины тополей заколыхались у него в глазах, песчаная дорожка показалась ему ковром, который кто-то из шалости хотел вырвать у него из-под ног. Старик садовник подходил к нему, прыгая, кувыркаясь и ухмыляясь своим беззубым ртом. «Эк нарезался, – подумал про него Блюменштант, – ведь вот мусульманин, а не устоял от искушения, выпил… да, выпил…»

Капитан сел на прежнее место и опустил усатое лицо на грудь. Долго он сидел в таком положении, потом начал шарить вокруг себя руками, шарил долго, пока не схватился за кисти вышитой подушки; с усилием, словно в ней было десять пудов, подтянул он ее к себе, запрокинулся назад всем корпусом и вытянул ноги.

Старик сарт робко подошел к нему и заглянул в лицо. Глаза капитана были закрыты, из-под седых усов вырывалось тяжелое, порывистое дыхание. Он спал.

– Хозяин уехал, – начал садовник, – хозяин совсем уехал в город, – произнес он громче, наклонившись к самому уху спящего.

– Карамболь по красному!.. Хлоп!..

Сарт в испуге отскочил и сплюнул в сторону.

– Заснул пьяный кабан, – произнес он по-татарски, сплюнув еще раз, и выругался.

В воздухе стало прохладно. Тени в саду стали синеватее и гуще, в углах и внутри комнат совсем стемнело. Вершины тополей и карагачей ярко зарумянились, над прудом и арками подымался белый пар. Тучи комаров с тихим звоном заносились в вечернем воздухе. Два длинноногих аиста, мелькнув красными пятнами на небе, пронеслись над садом. До слуха доносился жалобный, зазывающий крик: это муллы, стоя на крышах своих мечетей, зажав уши и обратив свои лица к востоку, призывали правоверных творить вечерний намаз (молитвы).

Садовник оставил надежду разбудить пьяного гостя. Он убрал все, что было на столе, тщательно подмел окурки папирос и гранатные корки и побрел опять к пруду. Здесь он зачерпнул в кувшинчик воды, отвернулся в сторону и сделал омовение, потом разостлал на земле какую-то ветошь и стал на нее на колени.

Неподвижно, словно бронзовая статуя, находился он в таком положении почти полчаса времени, только сухие, старческие губы медленно шевелились, творя обычные молитвы. Он все забыл в эти минуты, он ничего не чувствовал. Большой комар сел как раз на конец его носа, все более и более наливалось жадное насекомое и безнаказанно улетело прочь, оставив на носу крупную каплю алой крови.

III. НА МИН-УРЮКЕ

Перлович избавился от своего гостя, употребив уловку, хотя и слишком незатейливую, но уже несколько раз удававшуюся ему прежде.

Он очень хорошо знал, что Блюменштант недолго будет его дожидаться: винные пары, с помощью усыпляющей тишины и наступающего мрака, возьмут свое, о дальнейшем Перлович не заботился: он также знал, что капитан проспит у него на террасе до утра, потом выкупается в пруду и, освежившись, забудет, о чем шла речь накануне.

Подтянув подпруги у седла, он сел на своего смирного коня и поехал в *русский город*[1].

Дорога шла, извиваясь по берегу крутого оврага, скалистые берега которого почти отвесно спускались на зеленеющее, густо заросшее кустарниками дно. Внизу шумел и пенился ручей Боз-Су, перехваченный бесчисленными мельницами самых миниатюрных размеров; кое-где слышались звуки рожков, дающих знать, что та или другая мельница свободна и желающие могут приносить свое зерно для перемола. По чуть заметным тропинкам спускались и поднимались серенькие ишаки с тяжелыми мешками на своих костлявых спинах. Вереницы закутанных сартянок, спешивших куда-то с узелочками в руках, стремительно кидались в сторону и при приближении чуждого всадника прижимались лицом к стенкам. Откуда-то из чащи со свистом вылетел маленький камешек[2], щелкнулся о дорогу перед самыми ногами чалого и поскакал дальше, рикошетируя по пыльной дороге.

Перлович погнал шибче.

– Экие скоты, – подумал он, – вот этак попадись к ним в руки: живой не выскочишь.

Когда Перлович поравнялся с развалинами кокандской башни и стен *старого* города, он увидел правильные кварталы *европейской части*.

Красивые одноэтажные белые домики окаймлялись аллеями молодых, недавно насаженных тополей. Почти всюду, куда только хватало зрение, видны были безобразно перепутанные леса вновь созидающихся построек; на просторных площадях сложены были запасы строевых материалов. Почти в самом центре, из-за громадной палатки с крестом наверху, заменявшей временно церковь, виднелись ярко освещенные окна магазинов. На шоссированных, прямых и широких улицах кипела жизнь: сновали экипажи, всадники и пешеходы. Днем все живое пряталось от невыносимой жары, зато вечером, когда зной сменялся оживительной, полной аромата прохладой, все, что только могло двигаться, выходило на улицы.

Просторно и широко раскинулся новый, словно из земли выросший город, но все в нем, на что только вы ни обращали внимание, поражало своею недоконченностью. Казалось, каждая встретившаяся личность, каждый предмет, деревцо, вновь посаженное, узорный заборчик, камни, заново отесанные, – короче, все говорило: «Что с нас взять, мы еще пока на биваках. Вот, погодите, после что будет».

Это город-лагерь, и долго еще на нем будет лежать эта своеобразная печать, несмотря на то, что уже много семейств прочно основалось в своем новом отечестве и ввело в обыденную колею свою семейную и общественную жизнь.

Задумался Перлович, глядя на картину, раскинувшуюся у него перед глазами. Он стоял на высокой горе, на повороте Большой Чимкентской дороги, и мог рассмотреть весь город, что называется, с птичьего полета.

С каждым днем, – думал он, – прибывает и прибывает население нового города, не по дням, а по часам увеличиваются новые потребности… Следи за ними, Станислав Матвеевич, изучай эти самые потребности, изыскивай все способы к их удовлетворению, предупреждай их, если сможешь… В этом-то и кроется вся сила, вся тайна науки обогащаться… С пустыми руками приезжают сюда люди, и, смотришь, через год уже ворочают изрядными рычагами, действуют, а ведь люди эти из той же глины сделаны – не из золота… Расщедрилась судьба, послала тебе средства, и средства изрядные, мозгами тоже не обидела, – ну, и орудуй…

Лошадь храпнула и шарахнулась в сторону, всадник чуть не вылетел из седла.

Длинная, худая, как скелет, почти черная фигура, вся обнаженная, за исключением только нижней части туловища, где болталась грязная рваная тряпка, в двух шагах от Перловича, протягивала к нему дрожащую руку.

Красные, воспаленные глаза гноились и усиленно моргали, вместо носа зияло отвратительное отверстие, седые клочья окаймляли беззубый рот.

– Аман, урус! силлау*!.. – гнусило несчастное существо и потянулось к поводьям уздечки.

– Прочь! – крикнул Перлович и замахнулся нагайкой.

– Акча, тюра, азрак… акча**… Ой! ой-ой!..

Старик нищий схватился за голову руками и упал, опрокинутый лошадью.

Перлович поскакал дальше.

Тяжело приподнялось бронзовое тело с пыльной дороги. Сквозь дряблые, поблекшие десны глухо прорывались невнятные проклятия вслед удаляющемуся всаднику.

С горы, подтормозив заднее колесо, медленно сползал дорожный тарантас с фордеком[3]. Густой слой пыли покрывал все: и растреснувшуюся кожу экипажа, не выдержавшую сорокаградусной жары, и сбрую, и лошадей с потертыми плечами и спинами, и ямщика-татарина в остроконечной войлочной шапке, и целую пирамиду сундуков и чемоданов, хитро пристроенных сзади на фальшивых дрогах…

Много тысяч верст катилось это произведение казанских кузниц: и на волах, и на лошадях, и на верблюдах, расшаталось оно, словно расплюснулось, дребезжит своими винтами и гайками и, глухо прогремев по мосту, скрывается в остатках триумфальной арки, построенной для въезда губернатора услужливым, в подобных случаях, купечеством.

---

* Здравствуй, русский! силлау – непереводимая одним словом просьба о подачке. (Здесь идалее в постраничных сносках приводятся комментарии из собрания сочинений Н. Каразина 1905 г. Скорее всего, комментарии принадлежат Каразину – они присутствовали и в первых публикациях романов в журнале «Дело» в 1872–1873 гг.)

** Денег, начальник, хоть немного денег.

Из окна тарантаса выглядывал красивый, почти античный, женский профиль, из-за него виднелись полосатый чепец и зеленые очки-наглазники, принадлежащие другой спутнице.

Какой-то всадник, в красных панталонах и белой шелковой рубахе с офицерскими погонами, задержал свою лошадь у самого экипажа, с любопытством посмотрел на проезжих, потянул носом тонкий запах пачули, распространявшийся от античного профиля, и поскакал дальше.

По дороге, ведущей к *Мин-Урюку**; [4], подымались облака пыли: быстро неслась оживленная кавалькада…

Впереди всех бойко семенил ногами белый иноходец, длинный шлейф черной амазонки развевался по ветру, открыв стройные ножки в отороченных кружевом панталончиках.

– Послушайте, барыня, не гоните так *моего Бельчика*, – говорил купец Хмуров, с трудом догоняя белого иноходца. – Да дайте ж ему дух перевести… фу ты, право!..

– Кажется, вы в этом больше нуждаетесь, чем ваш Бельчик, – заметила красивая наездница, сверкнув из-под густого вуаля глазами.

– Это почему-с?..

– Да вольно ж вам наряжаться в этот дурацкий кафтан. Вон тем, я думаю, и в кителях жарко.

Она указала назад своим хлыстиком.

Хмуров был в суконном кафтане русского покроя, перетянутом золотым поясом с цветными эмалевыми бляхами.

– Ну, хоть и не потому, – возразил Хмуров… – Вон, поглядите-ка, видите – сюда спускается…

– Кто это?

– А это наш новый негоциант…

– Перлович?..

– Он самый… Я, знаете, хочу его к нам пристроить: мы его придержим с нами, а там – ко мне. Сведу его со Спелохватовым – пускай потягается…

Они поехали шагом. Остальные члены кавалькады стали понемногу догонять передних.

– Станислав Матвеевич! – кричал рыжий артиллерист. – Вы там не переедете, возьмите немного поправее! Там уже.

– Это он недавно купил чалого, – заметил один офицер другому и приподнял фуражку, отвечая на поклон издали Перловича.

– Недавно, должно быть, у него прежде был вороной с лысиной.

---

* Мин – тысяча; урюк – абрикосовое дерево; составное собственное имя рощи в одной версте от Ташкента.

– Вас нигде не видно, Станислав Матвеевич, – сказала амазонка, когда Перлович неловко перескочил канаву, причем чуть не вылетел из седла, и подъехал к обществу. – Вы совсем пропадаете на вашей даче.

– В оборотах погряз, – вставил Хмуров, – такие дела заводит, что скоро всех нас подорвет.

– Ну, вас-то не скоро подорвешь, – огрызнулся Перлович.

– Вы не поверите, Марфа Васильевна, времени свободного так мало, так мало… Мое почтение, капитан!.. Здравствуйте, господа… Да, к тому же, я живу так далеко…

– Мы все к вам как-нибудь нагрянем гуртом, – перебил рыжий артиллерист.

– А ты, – Хмуров имел привычку скоро сходиться на ты, – к тому времени кое-что в лед заруби, понимаешь… Ты куда это ехал-то?

– Поезжайте с нами, – приглашала его амазонка. – Конечно, если вы не имеете чего-нибудь более интересного…

– Извините… Я, собственно, ехал к вам… к тебе, – поправился Перлович, обращаясь к Хмурову, – а пока – в город, по одному делу, – он наклонился к Хмурову и понизил голос. – Ну, так вот, видишь ли, надо повидать кое-кого.

– Кого, кого? – наступал Хмуров.

– Захо[5], да еще, вот, Федорова[6].

– Стой! Этих жидов ты сегодня у меня увидишь… такой ансамбль соберется…

– Итак… – протянула Марфа Васильевна.

– Да что с ним говорить! Не пускать его, да и только, – решил Хмуров и заворотил коня Перловича.

Кавалькада тронулась.

– Вы, говорят, устроились не хуже бухарского эмира, – начала Марфа Васильевна, поравнявшись с новым членом кавалькады.

– Ну, уж это слишком.

– Помните – в Самаре… Мы встретились, если не ошибаюсь, на Самолетской пристани.

Перлович передернул поводья своей лошади, отчего та задрала морду кверху и засеменила ногами.

– Вы, кажется, служить собрались здесь? – допрашивала наездница.

– А теперь нашел выгоднее бросить службу…

– Отчего выгоднее?

– У вас вон шлейф разорвался, – круто повернул Перлович, и ни за что ни про что огрел чалого хлыстом по боку.

Их обогнала коляска парою, сопровождаемая неизбежными конвойными казаками. В экипаже сидел красивый полный генерал с дамою сурового вида.

Рыжий артиллерист и остальные офицеры приняли солидный вид и приложили руки к козырькам фуражек. Хмуров почтительно раскланялся и даже произнес с гостинодворской вежливостью: «Мое почтение-с, ваше превосходительство-с…», хотя генерал никак не мог его слышать. Марфа Васильевна скромно опустила глазки, Перлович нагнулся к стремени и что-то очень долго поправлял гайку на ремне.

Коляска скрылась за поворотом…

Довольно большое пространство, усаженное правильными рядами старых, раскидистых абрикосовых деревьев, кишело гуляющими. Разноцветные фонари ясными точками искрились во мраке, в глубине рощи, и бледнели по окраинам, где им приходилось еще побороться со слабыми лучами угасающего дневного света. Сквозь деревья виднелись какие-то постройки, флюгера, полосатые навесы, в этих пунктах освещение было ярче и гремела военная музыка.

Часть этого гульбища была огорожена решеткою: она предназначалась для привилегированной публики… Вдоль этой решетки, по наружной стороне, стояли десятка два длинных приземистых дрожек в одну лошадь, так называемых долгуш, две коляски и множество верховых лошадей, оседланных русскими и азиатскими седлами. Группы оборванных сартов, евреев, туземцев, преимущественно детей, жались к самой решетке, пытаясь разглядеть, как забавляются «урусы».

– Эй, пошли прочь… Гайда! гайда!.. – помахивая нагайкой, разгонял Хмуров толпу у ворот, когда кавалькада прибыла на место.

Рыжий артиллерист почти свалился со своей лошади и уже стоял у шлейфа Марфы Васильевны, готовый принять ее, хотя на одно мгновение, в свои объятия.

– Позвольте, – сказала она, отстраняя эту услугу, и соскочила на землю без помощи протянутых к ней рук.

– Такие прыжки не совсем безопасны, – произнес рыжий артиллерист, стараясь улыбнуться как только возможно язвительней.

– Не беспокойтесь, я не беременна, – ответила Марфа Васильевна, прикладывая свой шлейф к поясу.

Хмуров усердно обчищал пыль с черного платья амазонки, пустив в ход свою меховую шапочку, что оказалось очень удобным.

Все общество вошло в сад.

Впереди – Марфа Васильевна под руку с Хмуровым, она сообщала что-то Перловичу, который шел рядом, с другой стороны; за ними – рыжий артиллерист, все еще продолжая язвительно улыбаться. Далее – остальные члены кавалькады, которые и разбрелись тотчас же по сторонам.

Ближе к освещенным ярче других палаткам буфета расставлены были крашеные столики и деревянные стулья, между ними, по разным направлениям,

сновала прислуга, слышались громкие требования, звон посуды, хлопанье пробок, и если бы не чалмы и яркие халаты, там и сям видневшиеся в толпе, да этот теплый, мягкий, охватывающий, словно бархатом, воздух, то можно было бы подумать, что находишься на одном из наших загородных гульбищ.

В павильоне, задрапированном полосатым тиком, с дощатым некрашеным полом, два офицера-линейца степного происхождения и статный адъютант с ярко-красным орденским бантом[7] на белом кителе отхватывали разухабистую польку.

У одного из столов, поближе к проходной дорожке, сидели две личности в неопределенных костюмах: они пили красное вино местного первушинского[8] приготовления. Стаканы были почти допиты, бутылка, не убранная еще со стола, была совершенно пуста.

– Что, в бутылке ничего нет? – спросил один.

– Пусто… – отвечал другой, приподняв и тряхнув бутылку.

– Ну, доливай свой стакан, да и мой, кстати…

– Пусто, тебе говорят.

– Ничего, наливай…

– Я, брат, не Боско… [9]

– Нет, я это к тому говорю, что если бы ты из пустой бутылки начал наливать и вино полилось бы…

– Это было бы странно.

– Зато выгодно.

– Выгодно?

– Ну вот, нам странно, а ему выгодно…

Он указал глазами на Перловича, который в эту минуту подошел к ближайшему фонарю закурить сигару.

Оба помолчали и стали насвистывать персидский марш.

– Батогов с передовой линии приехал.

– Ты его видел?

– Да, сегодня у Спелохватова. Приехал, говорит, поправляться, а то совсем продулся.

– Еще бы, дураком играл: закладывает чистые, а ему понтируют на мелок.

– Цены деньгам не знает. Легко пришло, легко и ушло.

– У того не уходит.

– Тот, брат, помесь жида с ляхом, на немецкой подкладке, – порода, на сей предмет приспособленная.

– Это точно, что приспособленная.

– А что если бы нам какая-нибудь благодать с небеси – бряк… Эк ее заливается! А ведь барынька хоть куда… просто дух захватывает.

Последнее было произнесено по поводу звонкого смеха Марфы Васильевны, пронесшегося из уютного уголка сада, где Хмуров угощал все общество замороженным шампанским.

– Кто это? – спросила Марфа Васильевна, пристально всматриваясь в глубину аллеи. Там шел человек среднего роста с большою, темною бородою, на нем были высокие походные сапоги и вместо кителя – белая шелковая рубаха с погонами, через плечо, на тонком ремне, висела кавказская шашка.

– Кто это? – повторила свой вопрос Марфа Васильевна. – Я его никогда здесь не видела.

Перлович взглянул, побледнел и сделал вид, что не слышит вопроса. Хмуров занят был откручиванием проволоки у новой бутылки, прочие тоже никто не заметили новоприбывшего, да и сам он словно сквозь землю провалился, свернув в боковую аллею.

– Как было бы прекрасно, если бы не эти проклятые комары, – произнес Перлович с заметным смущением, дав разговору новое направление.

– Это еще что! – начал один из собеседников, – это еще очень сносно, а то, вы представить себе не можете, раз в Кармакчах мне пришлось ночевать на открытом воздухе: тут, знаете, сейчас камыши – это ужасно! Пробовал курить – не помогает, завернулся с головою под простыню – дышать невозможно…

– Пью за ваше здоровье, Марфа Васильевна! – отчеканил рыжий артиллерист и приподнял стакан.

– Пейте, – произнесла она, слегка повернув свою голову.

– Чокнемтесь…

Марфа Васильевна протянула стакан. Рыжий артиллерист быстро наклонился через стол и чмокнул протянутую руку.

– Это еще что за глуп… нежности? – поправилась Марфа Васильевна и быстро отдернула руку. Стакан выскользнул из облитых вином пальцев и покатился по столу.

Рыжий артиллерист вскочил, хотел что-то сказать, заикнулся и, повернувшись, быстро вышел из павильончика.

– Ну, за что вы его обидели? – начал Хмуров.

– Кто его обижал?.. Так комары в Кармакчах сильно кусаются? – обратилась она к тому, чей рассказ был прерван тостом рыжего артиллериста…

Неловко шагая в своих широких кожаных шароварах, вовсе не приспособленных к пешей ходьбе, в красном расшитом халате, в тюрбане из красного же куска шерстяной ткани, подходил к столу молодой туземец, по типу – узбек, оставляя на песке дорожки глубокие следы острых металлических каблуков. Это был очень красивый парень с яркими белыми зубами, способными жевать свинцовые нули, с едва пробивающимися усами, с веселой, хотя несколько глуповатою улыбкой.

– А, здравствуй, приятель! – произнес Хмуров, по-видимому, узнав джигита[10].

– Аман, – отвечал тот и обратился к Перловичу.

– Эй, тюра! Мой тюра зовет, вон там. – Джигит указал рукою к воротам сада.– «Поди, Юсуп, скажи Перлович-тюра, чтоб сейчас пришел», – говорил он ломаным русским языком.

– Это Батогова джигит, – объяснил Хмуров в ответ на вопросительный взгляд Марфы Васильевны.

Джигит пристально смотрел на русскую женщину, улыбка его росла все шире и шире.

– Эх! хорош марджа*… якши[11] ой! ой! – бормотал наивный узбек.

– Вот и этот тоже, – произнесла Марфа Васильевна и расхохоталась.

Перлович встал и отвел джигита в сторону. Он несколько минут говорил с ним вполголоса и закончил словами:

– Завтра утром… так и скажи… завтра.

После этого джигит пошел к воротам, оглянувшись раза два на Марфу Васильевну.

Весь запыхавшись, бежал с салфеткой в руке один из буфетных прислужников. Из боковой аллеи выскочил другой, тоже в взволнованном виде, с разорванною полою фрака:

– Поймал?!

– Пойди, поймай… Я к воротам, а они – через забор.

– Тоже чиновники прозываются… эх!..

– Много напили?

– На три с четвертью… Ах, Господи! Народу много – прислуги мало: нешто за всеми углядишь!

– Где углядеть! Слышь! Федор Иванович кличет.

– Однако мне пора и домой, – сказал Хмуров, поднимаясь со стула. – Тоже ведь хозяйственные распоряжения надо сделать.

– Ну, что же, поезжайте, мы еще посидим. Перлович, вы не откажетесь быть моим кавалером?

– О, конечно, мне будет это очень приятно… Я вполне… я… – бормотал Перлович.

Он совершенно растерялся. С той минуты, когда он поговорил с джигитом Батогова, даже раньше, когда Марфа Васильевна заметила кого-то в конце аллеи, он был совершенно не в своей тарелке.

– Что с вами? – спросила она своего нового кавалера.

Хмуров уже уехал, и они остались вдвоем.

– Мне что-то нездоровится…

---

* Марджа – женщина.

– Вздор, вы просто смущены.

– Вот еще!

– Вы получили нехорошие вести… этот джигит…

– Марфа Васильевна, что вас так занимают мои дела? Ну, пожар, разоренье, караваны мои ограбили, дачу сожгли – Господи Боже мой! Да вам-то что до этого?

Видно было, что Перлович был очень раздражен, когда произносил эту тираду.

– Ну, довольно, довольно, положим, что ничего подобного не случилось, но, во всяком случае, волноваться нечего. Пойдемте, в этой беседке страшно накурено и вином пахнет. Пройдемтесь но дорожкам. Э, да никак все почти разъехались?

Они встали и пошли к павильону для танцев, где уже никого не было и музыканты убирали пюпитры.

Несколько раз они прошлись по саду.

– Вот мой Бельчик, – указала Марфа Васильевна на белую голову лошади, видневшуюся сквозь решетку.

Она начала откалывать шлейф и нечаянно уронила хлыст. Когда Перлович поднял его и подавал Марфе Васильевне, то заметил, что она пристально всматривается в кого-то. Ему показалось сначала, что на него, но потом он увидел, что взгляд этот устремлен на того, кто находился сзади Перловича, по одному с ним направлению. Перлович невольно задрожал и обернулся.

Не более как в трех шагах от них стоял тот самый бородач, который так смутил его своим появлением час тому назад.

– Тебя никак в генералы произвели? – спросил он Перловича.

– Я, может быть, стесняю вас? – сказала Марфа Васильевна и отошла.

– О нет, сударыня, извините, я не имею чести знать ваше имя. Да, в генералы произвели, – продолжал он, обратившись к Перловичу. – Как же, посылаю джигита, говорит: завтра – совсем по-генеральски…

Бородастый незнакомец пошел в глубину сада. Перлович машинально шагнул за ним.

Марфа Васильевна осталась одна. Несмотря на свою бойкость, она несколько струсила, потому что, по местным нравам, это было не совсем безопасно, и она могла рассчитывать на всякую неприятность со стороны запоздавших посетителей Мин-Урюка. Уже раза два какие-то подозрительные личности проходили близко от Марфы Васильевны, искоса поглядывая на красивую женщину.

Вдруг, словно из-под земли, перед нею очутился рыжий артиллерист. Марфа Васильевна вздрогнула, даже слегка вскрикнула.

– Чего же вы испугались?.. – начал рыжий артиллерист. Он стоял перед нею в самой скромной, почтительной позе, даже шапки не было у него на голове, он ее снял и мял в руках, как провинившийся школьник перед учителем.

– Я не мог уехать из сада, не видавшись с вами. Я сделал глупость. Простите… Будьте уверены, Марфа Васильевна, что подобной выходки не повторится…

Он говорил даже с некоторым жаром.

– Простите же, – продолжал он, – я до тех пор не успокоюсь, пока не уверюсь, что вы на меня не сердитесь.

Марфа Васильевна улыбнулась. К ней вернулась уже ее смелость, она успокоилась.

– Хоть вы и раскаиваетесь, – начала она, смеясь, – но все-таки получите достойное наказание.

– Я на все согласен!

– Вы должны меня проводить в город. Перлович исчез и, кажется, не скоро явится. Едемте.

Рыжий артиллерист кинулся отвязывать Бельчика.

Когда они отъехали от ворот сада, из-за другой стороны выехали еще два всадника, держа наискось, наперерез их дороги. Потом они приостановились, дали проехать Марфе Васильевне со своим кавалером и тронулись вслед за ними в почтительном отдалении.

Несмотря на темноту, можно было рассмотреть, что рыжий артиллерист разменялся с одним из всадников каким-то странным сигналом.

Марфа Васильевна ничего не замечала и заигрывала со своим Бельчиком, слегка щелкая хлыстиком по кончикам его ушей, отчего конь тряс головой, мелодично гремя мелкими металлическими украшениями кашгарской уздечки.

Перлович и человек с большой бородой забрались в самую глушь опустелого «Мин-Урюка». Перлович горячился.

– Батогов, я вам говорю: это эксплуатация! Скажу более: это не совсем честная эксплуатация.

– Ну, честь тут ни при чем, – вставил человек с бородою, которого Перлович назвал Батоговым.

– Мы с вами, – Перлович все время говорил Батогову «вы», несмотря на то, что последний относительно его употреблял другое местоимение, – разошлись при совершенно равных условиях, я не виноват, что вы не умели воспользоваться тем, что вам попало прямо в руки.

– Оставим и это… – проговорил Батогов.

– Нет, не оставим… Сотня по сотне вы перебрали у меня более пяти тысяч.

– Да, а разве, черт возьми, не возвращал я тебе, когда выигрывал, я даже возвращал более: я надбавлял также жидовские проценты, которые ты берешь с других…

– Когда выигрывал, когда выигрывал, – повторял Перлович. – Ну, а когда проигрывал… что было чаще, что было почти постоянно…

– Тогда, понятно, я не мог заплатить…

– Да, не мог, но согласитесь же, Батогов, если подобный порядок вещей будет продолжаться, что же останется у меня? Вы высасываете у меня капля по капле все, что я приобретаю трудом…

– Давая взаймы по двадцати процентов, – опять вставил Батогов…

– Это не ваше дело. Я веду торговые обороты, рискую, я отказываю себе почти во всем, имея одну цель впереди, я иду к этой цели, и на дороге постоянно натыкаюсь на вас, вы мне отравляете все мое существование… Для чего я хлопочу, если все это идет в бездонную яму?.. Я разве знаю границы ваших требований, разве вы их знаете сами?..

– Постой-ка, вот ты тут речи произносишь, а время идет: ты, во-первых, меня задерживаешь, а во-вторых, тебя дожидается барыня у ворот, и очень красивая барыня!..

– Я не могу вам более ничего дать.

– Ну, и не давай…

– Да, не дам. Помните, что мне нечего вас бояться.

– Конечно, что же во мне страшного?

– Выдавая меня, вы и сами лезете в петлю.

– Ну, понятно.

– Прощайте!

Перлович встал со скамьи, на которой они оба сидели, и сделал несколько шагов.

– Прощай, брат, – спокойно произнес Батогов и не трогался с места.

Перлович быстро вернулся.

– Батогов, я вам завтра дам эти деньги… – в тоне Перловича зазвучали просительные ноты. – Завтра, приезжайте ко мне на дачу…

– Завтра мне не нужно будет. Ступай же скорее! Ведь говорят же тебе, что тебя ждут.

– Сегодня со мною нет денег… я бы рад, но…

– Не ври, пожалуйста, они всегда при тебе…

– Ах, да идите.

Перлович сел на скамью и черкнул спичкой: загорелся синеватый огонек. Неловко придерживая спичку и в то же время достав из бокового кармана бумажник, он начал отсчитывать деньги.

– Ну, вот, давно бы так, – произнес Батогов, принимая маленькую пачку бумажек. – Юсуп! Лошадей!..

Тут только Перлович заметил, что около них на траве сидел на корточках[12] туземец, джигит Батогова.

Непроницаемая темнота охватила всадника, когда Перлович, доверившись зоркости своего чалого коня, рысил к городу. Вдали, почти на горизонте, мелькали красноватые огоньки. Густая пыль не успела еще улечься и почти неподвижно стояла в воздухе.

IV. ОРГИЯ У ХМУРОВА

В первой комнате было пусто, у окна стояла только высокая конторка, на ней лежала большая счетная книга в изношенном донельзя переплете, на книге – казачья уздечка. Под конторкою стояла корзинка с посудою, в углу валялись шелковый халат и камер-обскура с выбитыми стеклами. Все это освещалось висячею лампою под круглым металлическим абажуром.

Во второй комнате – пили, в третьей – играли, в четвертой – опять пили, в следующей – опять играли.

Всем, должно быть, было весело.

Громкий говор и смех, вместе с клубами табачного дыма, носились из комнаты в комнату. Словно маяки по берегу в туманную погоду, мелькали нагоревшие свечи, кое-где мигали и теплились голубоватые огоньки на пуншевых стаканах играющих.

Все двери и окна большого дома Хмурова были растворены настежь, и в них заглядывали характерные, узкоглазые, скуластые, то черные, почти оливковые, то медно-красные лица любопытных туземцев.

Несмотря на позднее время ночи, все хмуровские приказчики бойко шныряли по двору по разным делам, ругаясь мимоходом с киргизами, только что прибывшими с большим оренбургским караваном. Длинные ряды развьюченных верблюдов, неподвижно, словно груды камня, лежали вдоль стен двора, пережевывая саман (мелко рубленную солому). Ручной тигр «Маша»[1] метался в своей просторной клетке, сверкая разгоревшимися изумрудными глазами.

Шум и гул веселья далеко разносились по городу.

– У Хмурова нынче вечер, – говорил один офицер-линеец другому.

Оба они мерно, нога в ногу, шагали по Большому шоссе.

– Да, что-то гудят.

– А что, зайдем, брат?

– Неловко: я совсем незнаком.

– Ничего, я представлю.

– А ты когда же познакомился?..

– Не помню, как-то на прошедшей неделе, где-то виделись, чуть ли не подрались даже, а впрочем, мы с ним уже на ты.

– Ну, ладно, идем.

– Ты, брат, кажется, в одних под…

– Нет, это – так: белые панталоны в сапоги – по-походному.

Оба свернули с шоссе, перескочили чрез арык и направились полем, куда предполагали.

Спелохватов метал, несколько военных и два господина в штатских костюмах понтировали. Банкомету, что называется, везло, и около него лежала порядочная куча небрежно скомканных ассигнаций.

Перлович только что поговорил с полковником, бывшим у него сегодня утром на даче, и ощущал в своем боковом кармане аккуратно сложенный документ. Полковник походил еще по комнатам, больше для вида, перекинулся кое с кем незначащими фразами и раскланялся с хозяином.

Хмуров, полулежа на турецком диване, рассказывал многочисленным слушателям, как они в бытность свою в Бухаре, вдвоем с приказчиком Громовым, вооруженные одною только бутылкою шампанского, тьфу, бишь, – револьвера в триста шестьдесят пять выстрелов (особенной американской системы), защищались от сорокатысячной армии бухарского эмира.

– Я – бац! бац! бац!.. – говорил Хмуров. – Передние повалились, задние – тягу, потеха, право! Громов вдогонку – хлоп! я опять – бац!.. Посылают за артиллерией и возобновляют атаку.

– Эка врет, эка врет, – ворчит сквозь зубы Спелохватов, до слуха которого доносятся отдельные фразы любопытного рассказа.

– Наконец, вступили в переговоры… Что же это Марфа Васильевна не едет? – обратился рассказчик к Перловичу, который пробирался между игорными столами.

– Не знаю, право. Она уехала, не дожидаясь меня.

Кубок янтарный
Полон давно…[2] –

хватили хором несколько голосов.

– Семь верблюдов с сахаром и четыре с разною галантереей – итого одиннадцать, а остальные девять – все под вино… – говорил рябоватый господин с сильным еврейским акцептом. – Ну, хорошо, я так и распорядился… Что зе?.. Проходит неделя – нету… другая – нету… Пису к коменданту…

– Придется зимовать в фортах – это случается.

– Да, но ведь теряется время, согласитесь сами… А все отчего?.. Эмбинские киргизы взялись доставить только до форта «Первого», а там передать казалинскому караван-баше, а те цену подняли вдвое и верблюдов не дают. Какие зе тут контракты?

– Стакнулись косоглазые мошенники, и остановилось дело…

– Послушайте, Захо, – сказал Перлович, подойдя к говорившему. – Не вы одни жалуетесь на эти неудобства. Вон и тот, и этот, – Перлович ткнул пальцем

по разным направлениям, – все одна и та же песня, а между тем совершенно от нас зависит переменить обстоятельства к лучшему…

– Позвольте, как же это от нас?..

– У меня есть проект: если мы, негоцианты, обсудим его все сообща, то, может быть, и придем к каким-либо результатам.

– Мы слусаем…

– Теперь не время распространяться, а вот вы заезжайте на днях ко мне на дачу, – мы и потолкуем.

Хмуров, пошатываясь, подошел к Перловичу.

– Пойти разве наказать его? – мигнул он глазами в ту сторону, где Спелохватов обирал своих понтеров. – Идем в долю… Да, пойдем же… – Хмуров взял Перловича под руку и почти силою потащил к столу.

– Сейчас банк затрещит, – провозгласил он, проталкиваясь к столу. – Настоящие игроки идут… Э, бык – алле…

– Я сказал, что не стану играть.

– Не мешайте, господа, – коротко обрезал Спелохватов, задержав талию и отмечая что-то мелом.

– Алле, – черт побери, и жуэ, говорят тебе.

Хмуров не то что бы был пьян, а просто ломался.

– Михайло Иванович, а, Михайло Иванович… – говорил почти шепотом высокий, плотный приказчик, почтительно дотрагиваясь до плеча своего хозяина.

– Что там еще?!

– Пожалуйте-с на крыльцо.

– Зачем?

– Пожалуйте – дело есть…

Хмуров пошел к выходу, бормоча: что там еще такое?.. пойти посмотреть… – Перлович тем временем стушевался в толпе, он уселся в скромном уголке, заслоненный широкою спиною певца, который, уткнувшись в одну точку, тянул густым басом:

Выпьем за славу,
Славу, друзья… я…
Брррanной забавы
Лю… бить нельзя[3].

Когда хор стихал, чтобы разразиться новым куплетом, слышны были иные, плачевные звуки: то продолговатая шкатулочка с музыкою чуть не в сотый раз наигрывала арию из «Трубадура».

Тот самый адъютант, который так ловко полькировал на подмостках минурюкской танцевальной беседки, томно глядя в открытое окно на чуть освещенные, запыленные листики росшего у самой стены тополя, говорил какому-то интендантскому чиновнику:

– О, как я способен любить… и любить не тою пошлою, чувственною любовью.

– Ну, конечно, – соглашался собеседник.

– Когда судьба столкнет с настоящею женщиною, близкою к тому почти неуловимому идеалу, то тут уже вся жизнь сливается, так сказать, в один фокус… этот фокус…

Громадная датская собака Хмурова, спавшая на ковре, поблизости, не обращая внимания на разнообразный шум и движение, звонко зевнула и потянулась…

– Этот фокус… – продолжал адъютант. – Гектор, свинья, пошел вон!.. Жарко, дышать невозможно.

– Хотят к ужину накрывать, – сказал интендантский чиновник. – Мы тут, пожалуй, мешать будем. Пойдемте туда: посмотрим, как Спелохватов капиталы огребает… Ну, смотри, «фокус», не укуси меня, – отнесся он к собаке, шагая через животное.

А между тем Хмуров вышел на крыльцо и прежде всего увидел своего Бельчика, который так и лез в глаза, громадным белым пятном рисуясь во мраке. От него валил пар, и конюх-киргиз усердно обтирал шею лошади полою своего полосатого халата.

– Я к вам сегодня не зайду, – сказала Марфа Васильевна, стоя у столба крыльца (Хмуров с первого раза не заметил ее). – Уже поздно, да и к тому же… Я вот вам привезла вашего Бельчика, а отсюда пешком дойду…

– Марфа Васильевна, а мы вас ждали… Да к чему же пешком? Я велю запрячь коляску…

– Это еще зачем? – тут близко, а вот вы лучше дайте мне кого-нибудь проводить меня до дому, а то тут есть своего рода бандиты.

– Бедный Бельчик, – вздохнул комически Хмуров.

– Это почему? – удивилась наездница.

– А я вон гляжу на ваш хлыст, и ни за что не захотел бы быть в ту минуту в шкуре моего иноходца…

– Ха-ха-ха!.. – расхохоталась Марфа Васильевна, подняв обломок своего хлыста и рассматривая его при свете китайского бумажного фонаря, висевшего на перекладине крыльца. – Это досталось совсем не Бельчиковой шкуре, а другой…

– Другой? – озадачился Хмуров. – Кто же это – кто? Скажите ради Бога, Марфа Васильевна!

– Теперь не время, после как-нибудь узнаете, – уклонилась Марфа Васильевна. – Малайка[4], пойдем со мною, – сказала она конюху-киргизу. – Вы позволите?..

Хмуров засуетился.

– Малайка, Юсуп, Аслан-бай! Все сюда! Фонарей побольше, да клынчи (шашки) наденьте, болваны…

– Это еще что такое? – изумилась Марфа Васильевна.

– Почетный конвой. У меня нет в распоряжении казачьих сотен, как у губернатора, так я вам своих чумазых джигитов. Ты что, скотина, нагишом пришел? – обратился он к корявому Аслан-баю, – красный халат надень, чушка (свинья)!

– Ну, с вами не сообразишь, прощайте, – сказала Марфа Васильевна, шмыгнув за ворота.

Несколько туземцев, сопровождаемые подзатыльниками Хмурова, кинулись за ней следом. Сам хозяин вышел на улицу, и слышен был его сиплый голос, кричавший: «Да смотрите, собаки, если только барыня пожалуется… закатаю!..»

– Ты, братец, пожалуйста, извини, что я к тебе не с парадного подъезда, – произнес Батогов, влезая в окно той комнаты, где Спелохватов метал банк. – Смотрю – освещение… Да где же Хмуров? Здравствуйте, господа!..

Батогов успел уже где-то, что называется, хватить и, не снимая своего белого кепи с назатыльника, смотрел на все сборище своими вполпьяна веселыми серыми глазами.

Это неожиданное появление сразу всех несколько озадачило, потом раздались оглушающие приветствия, направленные к новоприбывшему.

– А, Батогов! Вот неожиданность!

– Откуда?

– Когда приехал?

– Надолго ли?

– Ура! – крикнул интендантский чиновник, налив себе рюмку и никак не попадая пробкой в горлышко графина.

Один Перлович заметно смутился и потому только не ушел, что видел прямо на него устремленный добродушный взгляд бородатого гостя. Он машинально подошел к Батогову и протянул ему руку.

– Здравствуй, голубчик, здравствуй, – говорил Батогов, – давно не видались, а впрочем, не очень давно… Да где же Хмуров?

– Вот распотешил! Благодарю – не ожидал. Мерси боку, мерси, – произнес Хмуров, входя с распростертыми объятиями.

И хозяин, и гость обнялись и громко чмокнулись.

– А мы думали, что ты уже сдох, право… Засел там на передовой линии…

Батогов подошел к столу и покосился на деньги, лежавшие под рукой Спелохватова. Перлович порывисто встал и вышел в другую комнату.

– Идет? – спросил он Спелохватова, вынимая из кармана пачку и накрыв ее картою.

– Сколько? – спросил банкомет.

– Не знаю.

– Да ну, не дури, ставь, как следует.

– Считай, мечи, и будь здоров, а я пойду туда к столу и «того». Алон…

Он взял Хмурова под руку и отошел от стола, оставив там деньги. Спелохватов тщательно пересчитал пачку Батогова, приложил столько же своих и протянул колоду, говоря:

– Срежьте, кто-нибудь…

Щеголеватый адъютант ловко вынул карту и подрезал, Спелохватов вскрыл талию и открыл карту Батогова.

– А, дама… – произнес он.

Он начал метать медленно, с выдержкою, тщательно просматривая каждый абцуг.

Игра была интересна, не потому, что шел большой куш, превышавший половину всего банка, но потому, что единственный в данную минуту понтер закусывал с Хмуровым в другой комнате, совершенно равнодушно относясь к тому, что происходило на игорном столе.

Несколько десятков глаз жадно следили за пальцами Спелохватова, унизанными сверкавшими перстнями.

– Смотрю, – говорил Батогов Хмурову, чокаясь с ним стаканами, – факелы впереди, факелы сзади, болваны в красных халатах, твои, кажется, у одного так даже ружье, никак, было – только бы еще флейту с барабаном – совсем принцесса сиамская. Кто такая?

– Это, гм… это, братец ты мой, сама…

– Дама, – громко и совершенно покойно провозгласил Спелохватов.

– Вы имеете вашу даму-с, – подскочил к Батогову совершенно ему незнакомый господин, сообщая эту приятную новость.

– Я ее, кажется, сегодня в Мин-Урюке видел, – говорил Батогов. – Много ли там у тебя в банке? – крикнул он Спелохватову.

– Позвольте, я сейчас сосчитаю, – предложил свои услуги все тот же незнакомый господин.

– Убирайся к черту! – обрезал Батогов.

– Милостивый государь, вы… вы… вы…

– Хмуров, убери его, голубчик, – отнесся Батогов к хозяину и пошел к Спелохватову.

– Вот дикость нравов… – бормотал господин, посланный к черту, которому Хмуров говорил что-то вполголоса. – Да я, собственно, ничего, но к чему же такие резкости…

– Да ну, ладно, ладно, – говорил Хмуров. – Этак на всякую безделицу обижаться… помилуй…

– Да я и не обижаюсь… но все-таки, посуди сам…

Батогов стоял перед Спелохватовым и перебирал понтерки; Спелохватов распечатывал новую колоду. Оба были более нежели покойны. Последний даже слегка улыбался. Со стороны можно было подумать, что они заняты простым пасьянсом. А между тем игра была громадная, такая, что у всех окружающих затаило дыхание и в комнате совершенно затихло, только и слышны были громкое сопение Гектора и шелковистый шелест новой колоды.

– Ну, голубчик, ва-банк со входящими и со всем прочим, готово?

– Готово.

Батогов вскрыл опять даму.

– Это кто же? – ткнул Хмуров пальцем в открытую карту.

– А вон та, с факелами…

– Дама! – вскричали разом несколько голосов.

– Ишь, ведь как повезло, – произнес Батогов и придвинул к себе все, что было на столе.

Спелохватов отошел от стола.

– Закладывай теперь ты, – сказал он Батогову. – Ты сегодня в ударе.

– Ладно, – сказал Батогов, – после ужина.

Трудно было определить, когда именно начался ужин. Уже давно ароматические, дымящиеся мясные блюда стояли на столе, и публика давно уже подходила и брала себе на тарелки, что кому по вкусу. Только игра Батогова отвлекла общее внимание от сервированного стола, и теперь снова все хлынули в большое зало и загремели оставленными тарелками.

Приезд Батогова внес новый элемент в разнообразную болтовню пирующих. Было шумно, ели много, пили еще больше, и уже большинство, что называется, не вязало лыка.

Игра после ужина возобновилась. Метал теперь Батогов, понтировать ему нашлось много охотников.

Босоногая, туземная прислуга Хмурова живо разобрала складной стол, вынесла вон все лишнее, и в зале стало просторно.

А между тем Перлович ходил в темноте под окнами хмуровского дома, скрытый совершенно густою стенкою молодых тополей.

– Вот он мечет… – смотрел он, как в светлом четырехугольнике раскрытого окна, в синеватой мгле табачного дыма рисовалась темная окладистая борода Батогова. Чья-то спина заслонила его на минуту от глаз невидимого наблюдателя.

– Да, конечно, не может же везти целый вечер… – сказал кто-то, стряхивая за окно пепел своей сигары.

– Сорвут… это непременно… – добавил кто-то другой.

Перлович быстро отошел от окна и пошел отыскивать свою лошадь.

Вдоль стены двора, у врытых в землю точеных столбиков с кольцами, стояли разнокалиберные лошади хмуровских гостей, под самыми разнообразными седлами. Человека три туземцев ходили около них со своими нагайками, присматривая за животными и не допуская драться соседним жеребцам.

Перлович отыскал своего коня, вывел его, разобрал поводья и занес ногу в стремя. Занес и задумался.

– И связала же судьба с таким… Эй, тамыр[5], привяжи-ка ее опять, – сказал он туземцу, передавая ему поводья.

Он снял шапку, обтер платком пот и подошел опять к окнам.

– Ну, что? – говорил кто-то.

– Прикончили, – отвечал другой, – аккуратно обработали.

– А Батогов что?

– Да что Батогов: рассказывает, как доктор в Чиназе[6] тифозных больных в Дарье мочить велел, а те и отправились все к ночи…

– А молодец играть, право, нужно отдать справедливость.

– Играет хорошо.

– Другой какую-нибудь сотню проиграет – из себя выходит: зеленеет, краснеет, бесится, ну, так и лезет на неприятность, а этот и выигрывать мастер, зато и проигрывает тысячи – бровью не моргнет…

– Да, легко проигрывать, что легко досталось.

– Ну, мало ли, что врут.

– Да, оно, положим, что врут, а все-таки подозрительно: знали, что ни у того, ни у другого ни гроша, а тут приезжают – Ротшильд со Штиглицем[7].

– Я слышал, будто хотели следствие произвести, да прицепиться не к чему.

– Ну, уж и следствие?

– Да отчего не произвести: откуда, что и как… все досконально…

Перлович слышал все, что говорили в комнате у окна, он прикусил губу и судорожно сжал кулаки: ему вдруг захотелось кинуться и исколотить обоих говоривших.

А Батогов искал кого-то глазами между хмуровскими гостями и как будто удивлялся: куда же это он провалился?

Перлович инстинктивно чувствовал, кого ищет Батогов, и даже знал зачем. Он плотно прижался в своем темном углу и с лихорадочным, жгучим вниманием наблюдал за всем происходившим.

Хмуров вышел и распоряжался чем-то на дворе. Слышен был сдержанный, тревожный говор и бряцанье железной цепи.

– Эх, Михайло Иванович, напрасно-с, – говорил кто-то в темноте.

– Убирайся, – слышен был голос Хмурова. – Асланку позови, отодвигай засов. Постой, не сразу… Асланку, лешего, сюда… Смотри, как бы к лошадям

не рванулся. Эй, пошли прочь с крыльца. Смотри, цепь из рук не пускать – ни Боже мой… Ну, Господи благослови!

Послышался лязг железной дверцы клетки, где сидела насторожившая уши полосатая Маша.

– Гектора уберите, ради Бога, скорей, а то такая беда будет!.. – стремительно вбежал бледный, растерянный приказчик, тот самый, что вызывал Хмурова к Марфе Васильевне. Он кинулся к дверям спальни, растворил их и стал манить туда собаку.

– Что случилось? Зачем? – послышались вопросы.

Встревоженный вид приказчика смутил несколько всех присутствующих, и даже Спелохватов, ничем никогда не смущавшийся, спросил:

– Да что же там такое, в самом деле?

– Михайло Иванович, Машку ведут сюда, – отвечал приказчик. – Гектор, иси, сюда! ну, сюда, дурачок. – И он, стоя на пороге спальни, перебирал всевозможные междометия самого манящего свойства. – Да иди же, иди, – говорил он чуть не со слезами, – иди, Гектор… Экой ты упрямый… Да подгоните его, кто-нибудь.

– Ладно. Как его подгонишь, – сказал кто-то из гостей, глядя на внушительные формы ленивого животного.

Собака встала, наконец, оглянулась во все стороны, зевнула, потянулась и шагнула на зов. Собака эта была с доброго теленка ростом, красно-коричневое туловище, разрисованное черными, поперечными полосами, и гигантский рост делали ее чрезвычайно похожей, с первого взгляда, на тигра. Это животное одарено было, при колоссальном росте, могучею силою, одно ходило на медведя и никогда не знало поражения. Когда Гектору приходилось проходить по двору мимо клетки тигра, он всегда подходил к самой клетке, пристально осматривал хищника и, не обращая никакого внимания на беснование Машки, спокойно проходил дальше. Иногда только, когда Машка просовывала свою лапу между железных прутьев, пытаясь задеть собаку, Гектор внушительно рычал, как бы говоря: постой, приятельница, доберусь и до тебя при случае.

Половицы дрогнули и зазвенела на столах неубранная посуда, когда собака одним прыжком очутилась у дверей спальни.

– Ну, молодец, молодец, ну, ложись здесь… Куш!..

Приказчик выскочил, захлопнул дверь, повернул ключ, прислушался одно мгновение и махнул за окно. Это было словно сигналом: разом несколько спин мелькнуло в отворенных окнах и затрещали молодые тополевые сучья. Однако большинство осталось на месте, все еще не успев сообразить: что же такое делается?..

Послышались шаги нескольких человек, дрогнула натянутая цепь, послышались и другие шаги, мягкие, эластичные, сопровождаемые сухим стуком когтей по плитному полу соседней комнаты.

В отворенных настежь дверях показалась круглая голова с торчащими короткими ушами. Желтоватые, мигавшие фосфорическим блеском глаза прищурились от потока непривычного света.

Первое мгновение всем показалось, что тигрица проскользнула в комнату одна, совершенно свободная, и холодный пот заиграл под рубашками у полупьяных храбрецов; но потом все ясно рассмотрели, как толстая цепь, продетая в кольцо сыромятного ошейника, была намотана на сжатой в кулак руке Хмурова, кроме этой цепи, веревка, пропущенная сквозь то же кольцо, была в руках здоровенного Аслан-бая. У последнего за поясом засунут был слегка искривленный туземный нож в оправе из змеиной кожи, а высокий приказчик, обойдя вокруг дома, высунулся из двери, робко протягивая Хмурову пару револьверов на всякий случай.

– Положи на стол, – отрывисто произнес Хмуров. – Господа, позвольте вас познакомить: сия дама прислана мне от кашгарского бея… – бравировал он, скользнув рукою по цепи и гладя животное за пушистою щекою, как гладят кошек, если хотят заставить их мурлыкать.

Тигрица, озадаченная таким большим обществом, выдрессированная смолоду и не успевшая еще окончательно одичать в хмуровских руках, недоверчиво косилась по сторонам и вздергивала красными, словно раскаленные уголья, ноздрями. Полная дикой грации, она припала на передние лапы и легла на ковер, как раз посредине залы.

Широкоплечий Аслан стал у притолки, прислонившись к дверному косяку и сложив на груди мохнатые, мускулистые руки, он выпустил веревку по приказанию Хмурова, который один сел на пол, рядом со своею тигрицею.

Началось совершенно неожиданное, оригинальное представление. Замоскворецкое *«нашему ндраву не препятствуй»*[8] на этих далеких окраинах нашло себе новое применение.

Все сидели и стояли совершенно неподвижно, как кого застало появление зверя. И жутко, и приятно было ощущать близость этой дикой, враждебной человеку силы… Густой румянец совершенно исчез со щек щеголеватого адъютанта, замененный цветом, близко подходящим к цвету его кителя, осовелые глаза жалобно моргали, нижняя губа отвисла и с нее что-то капало.

Под влиянием нервного напряжения хмель испарялся из опьянелых голов, многие уже протрезвели окончательно.

– Асланка, мяса принеси, – сказал Хмуров, и лег рядом с тигрицею, и положил на нее свою голову. Пушистая ткань ковра, цепляясь за острые когти зверя, видимо, беспокоила его, и эти крючковатые, вершковые когти, раздражительно ерзая, то выказывались во всем своем грозном величии, то прята-

лись в мягких, бархатистых лапах. Хвост животного был вытянут совершенно прямо, и только грязно-белый кончик его дрожал, словно наэлектризованный.

Но тут случилось то, чего никто не мог ожидать, чего не предвидел даже всегда на все готовый Хмуров.

Высокий офицер в казачьем мундире, в широчайших штанах с синими лампасами, встал, пошатнулся, улыбнулся во весь рот, сделал какую-то многозначительную гримасу: погоди, мол, я удеру штуку, и направился к тигру.

– Брандман, ты куда? – спросил его Спелохватов.

Казак глупо улыбнулся, и вдруг кинулся к зверю, и со всей силы дернул его за кольчатый хвост.

В первую минуту никто не мог сообразить: что такое произошло.

Ошеломленный Хмуров кубарем пролетел по комнате и с размаха ударился об ломберный стол. Тигрица вскочила со страшным ревом и, прижав уши, дико озиралась по сторонам, как бы раздумывая, на кого ей броситься. Цепь свободно волочилась по полу. Аслан появился на пороге с куском мяса в руках.

Все оцепенели. Все боялись сделать хотя какое-нибудь малейшее движение, казалось каждому, что налитые кровью глаза раздраженного, свободного зверя устремлены именно на него и что если он пошевелит хотя бровью, то в то же мгновение в него вопьется эта темная пасть со страшно белевшими клыками, эти кривые, как ланцеты, острые когти.

Батогов сидел как раз против тигра, их отделяло не более двух шагов, ни на нем, ни около не было никакого оружия. Вероятно, густая борода Батогова на белом фоне его рубашки привлекла внимание зверя.

Тигрица припала, вытянулась и приготовилась к прыжку.

В окне, словно прилипшее к стеклу, показалось чье-то бледное лицо: два глаза горели ожиданием и томительною радостью, узкие губы складывались в отвратительную, конвульсивную улыбку.

Дверь в спальню затряслась под напором могучего тела, глухое рычание Гектора слышалось за этою дверью, со звоном отлетел плохо привинченный замок и, затрещав, распахнулись настежь обе половинки, повиснув на полуоторванных косяках.

Две полосатые, живые массы поднялись на дыбы, сцепились и с каким-то странным звуком (не то визг, не то рев, не то задавленное хрипение) покатились по полу, опрокидывая все встречное своим стремлением…

В углу, между камином и столом, разыгрывалась в эту минуту трагикомическая сцена: Спелохватов схватил сзади за руки щеголеватого адъютанта, поставил его перед собой, и, как в железных тисках, держал его в этом положении. Он, на всякий случай, живым щитом закрылся от предстоящей опасности.

– Спелохватов, что за пошлости, что за неуместные шутки, – захлебывался адъютант, силясь освободиться.

– Какие тут шутки, – спокойно, вполголоса утешал его Спелохватов, – это простое чувство самосохранения… это вот, видите ли… Да не барахтайтесь же, это, наконец, глупо, во-первых, бесполезно, потому что из моих рук трудно вырваться, а во-вторых – вы этим скорее привлечете внимание тигра…

– Это подло… пустите… – лепетала жертва коснеющим от ужаса языком…

– Не пущу, хотя это с моей стороны несколько эгоистично, зато благоразумно: по крайней мере, если тигру вздумается броситься на нас, то я предоставлю ему в распоряжение вашу особу, а сам тем временем приму надлежащие меры… Да ну же, стойте же смирно!..

– Собаку… спасайте… Гектора! – кричал Хмуров, весь разбитый, подымаясь с полу…

Аслан, с ножом в руках, согнувшись и стиснув зубы, стоял над борцами, выжидая мгновения… еще секунда – и он согнулся еще ниже, почти лег и погрузил куда-то свою вооруженную руку.

Закатив потухающие глаза, конвульсивно сгребая лапами изорванный ковер, издыхала Машка, брызгая во все стороны своею горячею кровью… Гектор с раздробленным плечом, со страшною раною на боку зарылся мордою в горло тигра.

Соединенные силы человека и собаки одержали победу над дикою мощью могучего хищника.

– И за что, подумаешь, загубили зверя! – произнес Батогов и направился к выходу.

– Ну, баталия!.. – протянул интендантский чиновник и глядел, где же это водка делась, – для подкрепления сил весьма не мешало бы, – думал он. – Вероятно, в той комнате…

Щеголеватый адъютант нервно рыдал и пил холодную воду.

Спелохватов, держа в руках колоду, говорил:

– Что же, господа, напрасно терять золотое время. – Но он, очевидно, рисовался…

Хмуров у себя в спальне усердно клал земные поклоны и считал двадцать восьмой, двадцать девятый… Он непременно хотел досчитать до сорока.

По Большой Чимкентской дороге скакал всадник, машинально колотя несчастную лошадь нагайкою. Если бы не было так темно, если бы луна, по каким-либо экстренным причинам, появилась так несвоевременно, то она осветила бы то самое бледное лицо, которое смотрело в окно на тигра, только теперь эти глаза не искрились, как в то время: теперь они были как у помешанного, бессознательно устремлены вдаль и, казалось, ничего не видели. Всадник скакал, и его пересохшие губы шептали: «И связала же судьба с…»

V. СЕРЕНАДА

Тихая, летняя ночь стояла над спящим городом.

На темном небе ярко искрились звезды. Прохладный воздух врывался в отворенное окно, внося с собою смолистый запах тутовых деревьев[1]. В кустах, в непроницаемом мраке сверкали светляки-изумруды. Там и сям в своем беззвучном полете проносились летучие мыши. Где-то – далеко-далеко – звенели подковы скачущего коня.

Утомленная продолжительною прогулкою верхом, Марфа Васильевна жадно, всею грудью впивала ароматический воздух.

Она стояла у окна. Волосы ее были распущены и длинными, темными прядями падали вниз, скользили по плечам, прикрывая белые, словно точеные, руки. Ворот у рубахи расстегнулся и спустился: на тонкой, черной бархатке колыхался вместе с упругою грудью не то медальон, не то крестик.

Давно она стояла в таком положении. Полузакрытые глаза ее ничего не видали, она, казалось, забыла обо всем окружающем…

Она мечтала.

Маленькая тень черкнула в воздухе перед самым окном и, испуганная встреченною там белою фигурою, отшатнулась назад, задев за кисейную занавеску своими мягкими крыльями.

Марфа Васильевна вздрогнула и села на подоконник, прислонясь спиной к косяку и сложив на коленях свои обнаженные тонкие руки.

Из-за тонкой перегородки доносилось всхрапывание мужа и мерное чиканье лежащих на столике карманных часов.

Был уже второй час пополуночи. Созвездие Большой Медведицы запрокинулось почти к самому горизонту, усилившаяся темнота ночи напоминала о скором рассвете.

Три человека, держась под руки, волоча за собою распущенные сабли, шли самою серединою улицы.

Если бы кому-нибудь вздумалось наблюдать следы, оставленные ими на тонком слое уличной пыли, то наблюдатель заметил бы, что эти шесть ног, вооруженных шпорами, лавировали, как парусное судно лавирует против ветра: то они направлялись к одной стороне улицы, то вдруг поворачивали в другую.

– Слушай, – говорил один из них, – позволь мне, как другу, как самому искреннему другу, сказать тебе: оставь, понимаешь, оставь.

– О нет, это невозможно, – говорил другой. – У него слишком пылкий характер, у него…

– Да, черт возьми, я горяч, и я докажу это!

– Оставь, ну – оставь. Я не говорю: совсем оставь, это было бы невозможно, но теперь, в настоящую минуту…

– Ни за что! Идем, и я докажу! Я докажу!..

– О Боже! он сейчас упадет.

– Я пьян, да, я пьян, но еще довольно тверд на ногах, чтоб идти туда, прямо к ней, и сказать…

Он сильно пошатнулся, а так как в эту минуту все трое пролавировали к сложенным в кучи кирпичам, приготовленным для какой-то постройки, то тут же и опустились на отдых, подобрав свое оружие.

– Меня хлыстом по руке! Нет, это уже чересчур.

– Но ведь она женщина, пойми ты, существо слабое, ну, опять там – нервы…

– Хлыстом публично.

– Да нет же, тебе говорят, видели это только мы двое. Значит, вовсе не публично.

– Друг мой, это было, так сказать, наедине.

– Эх! Как только вспомню – все переворачивает. Идем!..

– Ну, пожалуй, идем! Мне что? Мне все равно.

– Идем так идем!

Все трое сидели. Тот, которого уговаривали, ожесточенно чиркал спичкою о свое колено. В зубах он догрызал окурок потухшей сигары. Вспыхнул синеватый огонек и ярко осветил нижнюю часть лица, рыжие усы, угреватые щеки…

– Да поднимите же меня, наконец.

Общество усиленно завозилось, при этом им сильно мешали их сабли, путавшиеся между ног, когда ноги и без того путались между собою. Наконец они справились, снова стояли на ногах и могли продолжать свое путешествие.

Ночные путешественники прошли еще шагов полтораста, повернули в короткий и довольно узкий переулок и вдруг остановились как вкопанные.

Их слух был поражен стройными музыкальными звуками, их опьянелые глаза остановились на одной точке.

Эта точка была – отворенное настежь окно, в окне – едва очерченное во мраке, легкое, полувоздушное видение.

Марфа Васильевна пела. Она пела без слов, без определенного мотива. Она не могла бы повторить того, что уже раз вылилось в звуках. И эта чудная, чарующая песня-импровизация, вырываясь прямо из переполненной души красавицы, росла и росла, расходилась вширь и ввысь, замирая далеко в ночном воздухе.

Рыжий артиллерист и его товарищи, неподвижные, окаменелые, стояли, не спуская глаз с певицы. Что-то хорошее, вовсе им незнакомое, закопошилось у них в груди, в опьянелых мозгах заворочалась свежая мысль.

Марфа Васильевна увлеклась: ее прекрасные, влажные глаза из-под густых, длинных ресниц смотрели куда-то вдаль, ничего не видя. Она не замечала, что

на плоской крыше противоположного дома проснулся сторож-татарин и слушал, оперши свою голову на жилистые руки. Она не замечала, как статный серый конь, стоя на приколе, под навесом, поднял свою умную голову и навострил чуткие уши, как ее любимица – косматая кудлашка, до сих пор спавшая спокойно на завалинке, зарычала, пристально вглядываясь в темноту… Она не замечала, что в десяти шагах от нее, словно столбы, врытые поперек дороги, неподвижно стояли три человеческие фигуры.

– Царица, богиня… – бормотал рыжий артиллерист. – Ангел, с неба слетевший…

Белые занавески у окна показались ему распущенными крыльями. Кровь прилила у него к голове, он пошатнулся. Он вспомнил и закрыл лицо руками.

– Хлыстом по роже… по роже, меня! – всхлипывал он и вдруг неистово вскрикнул, – Браво! браво! бис!!! – и кинулся к окну, протянув вперед свои руки.

– Урра!!! – заорал, уже Бог весть по какому вдохновению, один из спутников.

– Ату его! – подхватил другой. И оба, не понимая, что делают, бессознательно ринулись вперед и вскочили на приступку у окна.

Марфа Васильевна пронзительно вскрикнула и закрыла окно.

– Назад, не выгорело! – командовал рыжий артиллерист.

Кудлашка бросилась на него, но с визгом отлетела, подвернувшись под удар сабельных ножен. Сторож-татарин сплюнул свою табачную жвачку[2] и, не переменяя положения, смотрел, чем это все кончится.

Глухой топот конских копыт, свернув с шоссированной дороги, приближался к месту действия. За калиткою послышались торопливые шаги, и брякнула щеколда.

– Господа, не отставать! Скандал так скандал!.. – бесновался рыжий артиллерист. – Начинай за мною… Марта, Марта, где ты скрылась?..[3] – взвыл он, поводя распаленными зрачками. Товарищи подхватили…

– О, явись к нам, ангел мой.

– А… ах, куда ж ты провалилась?.. – вопил импровизированный хор.

На соседнем дворике две или три собаки, подняв кверху морды, затянули в тон неожиданной серенады.

Калитка отворилась, и через порог переступил худощавый человек в одном белье, бледный от внутреннего волнения, едва сдерживавший подступающее к горлу бешенство.

– Господа, – начал он прерывающимся голосом, – вы не совсем удачно выбрали место для ваших музыкальных упражнений. Я бы вам советовал, капитан…

– А я вам советую, – оборвал капитан, – отправляться опять в свою постель и не мешать нам петь… Короче – убирайтесь к черту!

– Ведь мы не лезем же в спальню к вашей супруге, – нахально смеясь, вставил тот из певцов, на котором были докторские погоны.

Этой фразы было достаточно, чтобы терпение худощавого человека лопнуло. Он зверем кинулся на доктора, тот увернулся, удар пришелся на долю рыжего артиллериста. Они сцепились.

Недолго продолжалась борьба: силы были слишком неравны. Худощавый человек застонал под силою шести рук нападавших… Но тут подоспела неожиданная помощь.

Рыжий артиллерист вскрикнул и схватился за голову от страшного удара, сбившего у него фуражку. Доктор не устоял на ногах и растянулся: он не выдержал удара сильной конской груди; товарищ его бросился бежать, хотел перескочить канаву, отделявшую улицу от незастроенного пустыря, но запутался в своей сабле и упал головою вниз, на покрытое жидкою грязью дно. Между поверженными стоял всадник, спокойно глядя на дело рук своих. Он находился со своим гнедым конем у самого окна дома, так что правая рука его, вооруженная массивной киргизскою плетью, опиралась на подоконник.

– Идите домой и заприте за собою калитку, – говорил всадник худощавому человеку. – Об этой сволочи не заботьтесь: они не повторят своей атаки. Покойной ночи, хотя правильнее сказать: доброго утра!

Он показал рукою на золотистую полоску утренней зари, на которой вырезывалась тонкая зубчатая линия хребта Актау.

– Вот так, заприте же калитку… Ну, мой Орлик, с Богом!

Он хотел тронуть своего коня, но почувствовал, как чья-то нежная, горячая рука, просунутая в щель слегка отворенного окна, сжала его грязную замшевую перчатку.

Марфа Васильевна наблюдала всю сцену сквозь кисейную занавеску. Она узнала всадника, узнала его густую, окладистую бороду, его слегка охриплый от бессонных ночей и попоек голос.

Оглушенные, озираясь мутными, бессмысленными глазами, поднялись на ноги, несчастные, потерпевшие такое полнейшее поражение.

Снова все было тихо.

Сторож на крыше, удовольствовавшись результатом схватки и рассчитывая, что, вероятно, ничего интересного дальше не будет, крякнул, переложил жвачку из-за одной щеки за другую и заснул, пожимаясь под своей кошмою[4] от утреннего холодка. Окна, ворота, калитка были наглухо заперты; кудлашка куда-то исчезла, и не было даже слышно ее рычанья. В канаве, неподалеку, кто-то возился, силясь выбраться.

Рассветало.

– Скверное дело, – задумчиво произнес рыжий артиллерист.

– Я говорил: оставь… говорил…

Оба они протрезвели и могли сообразить мало-помалу все обстоятельства дела.

– Скорее домой, – говорил доктор. – Скорей, пока еще никого нет на улицах.

– Помогите мне выбраться… О, Боже мой, в каком я положении… – слышался голос из канавы.

Через минуту они скрылись за поворотом длинного кирпичного забора.

На крепостном бастионе зарокотал барабан. Где-то, далеко в садах, прозвенела казачья труба. На базарах задымились огни, и зашевелился народ рабочий.

VI. СОН ПЕРЛОВИЧА

– Эге, никак тюра пьян, – подозрительно посмотрел Шарип, принимая лошадь Перловича. – Что бы это такое значило? Прежде этого с ним никогда не бывало… Да, а лошадь как отделал, – думал он, глядя на уныло повесившего уши, почти загнанного чалого.

Перлович против обыкновения, но обратил внимание на ласки своего сеттера, который выражал свою радость веселым лаем и усиленными прыжками. Поднимаясь на ступени террасы, он чуть не упал, споткнувшись на спящего поперек дороги Блюменштандта; расходившаяся рука хотела и тут пустить в ход нагайку, но почему-то остановилась на взмахе.

Перлович швырнул в угол шляпу, почти посрывал с себя платье и сапоги и бросился на складную кровать…

В сакле было душно и сильно пахло какими-то пряностями. Воспаленные мозги словно ворочались в голове Перловича, в ушах стоял непрерывный звон. Узорные гипсовые переплеты окон, сквозь которые искрились звезды, дрожали у него перед глазами.

– Фу, какая мерзость! – произнес он и сел на постели, спустив на пол босые ноги. – Этак, пожалуй, и с ума сойти недолго…

Длинная сороконожка показалась из-за резного карниза и быстро поползла по стене, над самою постелью. Расстроенное воображение Перловича представило ему это насекомое в громадных размерах: мохнатые ноги страшно топорщились в разные стороны. Он слышал даже шелест ее движения. Порывисто схватил он ближайший сапог, размахнулся, как будто хотел убить вола одним ударом, расплюснул ядовитую гадину и размазал ее по стене. Он начал пристально рассматривать эту отвратительную кляксу, в которой еще дрожали и шевелились размозженные части. «Эх, если бы так же…» – прошептал он и вздрогнул. Сонный Блюменштандт заворочался во сне и глухо замычал, высокая тень Шарипа на одно мгновение показалась в дверях и скрылась. Собака, поджав хвост, прошмыгнула в саклю и осторожно кралась с намерением занять свое обычное место под кроватью.

– Вот пытка, – думал Перлович. – И из-за чего я бьюсь?.. На кой черт мне все это, когда я и минуты не имею покоя… На, на, бери все! играй, проигрывай, бросай, жги, проклятый! только оставь меня, дай мне хоть дышать-то свободно…

Перлович сжал кулаки, вскочил на ноги и обращался в темный угол, словно он видел там кого-то, словно на этой, едва белевшей стене, чернела окладистая борода и спокойно, в упор смотрели на него два серых глаза…

– А потом опять нищета, опять лямка, и все эти мечты, все, что уже достигнуто… Да ведь это же все мое *по праву*… Мое!.. Он получил свою долю, даже больше, ведь это значит наступить на горло: подай, да и только, ведь это хуже разбоя, там потеряешь раз, другой раз примешь меры, а здесь и мер никаких принять невозможно…

Вдруг почему-то вспомнились Перловичу фразы: «Все как-то подозрительно… Отчего не произвести? откуда, что и как, все досконально».

– Ну, пускай производят! Где доказательства? Да и что я сделал? Разве *это* преступление? *Это* случайность, простая только случайность: не я, не он, другой, третий, всякий, да, да, всякий, без исключения, люди не ангелы. У кого мы взяли? где? разве *тому* что-нибудь нужно?!. Руки врозь, ноги врозь, головы нет, падалью воняет… – вспомнилось Перловичу. Ему вдруг стало невыносимо душно в этой сакле, ему показалось даже, что от стен пахнуло и шибает в нос тем самым запахом *падали*. Босой, в одном белье, он вышел в сад и начал быстро ходить взад и вперед по средней аллее.

Долго он ходил таким образом; ночной воздух, сырость от пруда и от этой массы зелени одолели горячечный жар Перловича, и пульс его стал биться ровнее. Вершины тополей и нарезанный зубцами гребень стены стали определеннее, небо светлело. В туземном городе перекликались петухи, утренний ветер колыхнул слегка ветви фруктовых деревьев, и на дорожку со стуком упало несколько персиков. Перлович вошел опять в саклю, лег навзничь на кровать и закурил сигару. Все контуры окружающих предметов начали сливаться у него перед глазами, сеттер завозился под кроватью и стал усиленно чесать заднею лапою за ухом. Стук этот показался Перловичу где-то далеко, и едва доходил до его слуха.

Он задремал, и дремота перешла в тяжелый, болезненный сон…

Народу сколько на площади!.. Кругом, куда только ни достанет глаз, все головы, головы, и конца нет этому морю голов человеческих. Волнуются, гудят и ревут эти живые волны, и глухой гул, словно отдаленные раскаты грома, стоит в воздухе. Да это гром и есть: что-то красное, яркое блеснуло в очи и зубчатою стрелою прорезало темную тучу; загрохотало потемневшее небо, и в этом грозном звуке слились миллионы голосов человеческих.

Все чернее и чернее, ниже и ниже, со всех сторон света надвигаются тяжелые тучи, словно хотят раздавить все живое своим натиском… Мало воздуху, дышать тяжело и уйти некуда от страшной смерти…

А там, высоко-высоко, виднеется маленький клочок голубого неба. Яркая звезда горит как раз посредине, и прямой светлый луч с недосягаемой высоты спускается на мрачную землю… Туда, скорее к этому лучу… это дорога к спасению!.. Массы народа рванулись и хлынули. Он бросился туда же. Через головы упавших, расталкивая все встречное, пустив в ход кулаки, лоб и зубы, прокладывает он себе дорогу. За ним следом несется хриплая, пьяная ругань… дикие проклятия, стоны и вой раздавленных… Он уже опередил всех… Он уже много отделился от толпы… уже близко… Он добежал…

– Постойте, братцы, постойте, голубчики, не сразу… – суетится полицейский чиновник в мундире, при всех регалиях и шпорах с малиновым звоном… – Городовые, чего смотрите?.. Ты куда, – обратился он к Перловичу, да потом спохватился, заметив на нем тоже светлые пуговицы и поправился:

– Пожалуйте-с… пожалуйте-с… Здесь не приказано…

– Да отчего же! – чуть не плачет Перлович. – Всякому дышать хочется…

– Для народа, только для народа, – внушает чиновник и стремительно бросается в сторону.

– Ах ты, Господи, ах ты, олухи царя небесного! Стоят, свиньи, и не видят, что пьяного хлещет…

Несколько городовых, один пожарный и два синих мундира пробегают, запыхавшись, мимо Перловича, на него так и пахнуло махрою, луком и ржавою селедкою. Он воспользовался минутою замешательства, ухватился и полез вверх… Усиленно работает он и ногами и руками… «И зачем это *его* мылом намазали?» – думает он и крепче прижимается к *нему* своею наболевшею грудью…

– То есть прямо на красное сукно, каналья, – рассуждает возвращающийся с *распоряжения* чиновник. – Меры ни в чем соблюдать не привыкли: трескают, пока с души не попретит… – Да-с, господин, только для народа, а для дворянства и прочих сословий есть совсем особенное устройство… Да где же он?!..

Чиновник обернулся, – нет, посмотрел вправо, влево, – нет, взглянул наверх и увидел высоко над собою усиленно дрыгающие ноги Перловича.

– Назад, назад!.. Вот народ-то, да назад же, говорят вам, назад слезайте…

Но Перлович не слушал и все лез и лез. Уже высоко поднялся он над землею. Взглянул вниз: словно муравейник кишел у него под ногами, и не разберешь там ни светлых, ни темных пуговиц, ни синих мундиров, ни серых, заплатанных чуек[1]: все слилось там в один неопределенный тон, в одну грязную, ворочающуюся массу. Взглянул наверх: мягким, манящим светом серебрится светлая точка и мечет во все стороны радужные лучи, но далеко еще

до нее, много дальше того, что осталось сзади, а силы слабеют, порывистей становится горячее дыхание и медленнее работают усталые руки… Доползу ли? Господи!.. Он зажмурил глаза, чтобы не видать ни этого блеска отрадного, ни этой ужасной тьмы под ногами, и все лез и лез. Долго он лез и снова открыл глаза: внизу уже ничего не видно и не слышно, а сверху, прямо на него, так и стремится светлая точка… Руки немеют, ноги готовы разжаться и повиснуть, обессиленные… Еще бы немного, еще бы одно мгновение… Он протянул руку… Вот висит какая-то веревочка: только бы за нее ухватиться… Вдруг светлая точка погасла: ее словно загородила какая-то массивная тень – Батогов сидит верхом на перекладине, в руках у него *дама с надогнутым углом*.

– Эх, братец, говорят тебе: назад… – сообщает он Перловичу.

Стремглав, с быстротою молнии, летит вниз несчастный, прямо в эту темноту, веющую могильным холодом… Полицейский чиновник улыбается и потирает руки, глядя наверх; синие мундиры усиленно забегали; какая-то кокарда вынимает из портфеля лист гербовой бумаги, надевает золотые очки на свой ястребиный нос и прокашливается. Тысячи голосов свистят, хохочут и гикают, где-то ревет тигр и глухо рычит собака… и все это покрывает фраза: «Отчего не произвести? все допросить: откуда, как и что, – все досконально…»

Перлович очнулся.

Лежит он уже не на кровати, а на ковре, на открытом воздухе. Шарип мочит ему голову холодною водою. Блюменштандт уже выкупался, сидит около него со стаканом в руках и смотрит.

– Ну, вы вчера, должно быть, хватили, – говорит он и хохочет.

Солнце высоко стоит, почти над головою, и стрелка солнечных часов показывает полдень.

VII. МАРФА ВАСИЛЬЕВНА ХОЧЕТ НАЧАТЬ ЗНАКОМСТВО С БАТОГОВЫМ

Проводив, сквозь занавеску окна, глазами удаляющегося всадника, Марфа Васильевна юркнула к себе на постель. Она внутренне смеялась, припоминая комическое положение трех несчастных певцов, и этот внутренний смех по временам вырывался наружу неудержимым фырканьем, которое она старалась заглушить, прижимаясь лицом к подушке.

– Однако интересно, чем это все кончится, – подумала она.

– Удивительно смешно, – произнес муж и добавил:

– Нечего сказать, приятные события.

– Вы, кажется, сердитесь?.. – Марфа Васильевна немного приподнялась и посмотрела на мужа, который, стоя у комода, крутил себе папиросу. На-

сколько можно было рассмотреть при бледном, чуть пробивающемся свете утренней зари, он был сильно взволнован, руки его дрожали и неловко ворочали клочок тонкой бумажки. Марфе Васильевне показалось даже, что он слегка дрожал и неподвижно уставился в небольшое туалетное зеркало, как бы рассматривая там свою тощую фигуру.

– Разве нельзя было постараться избегать повода к подобным диким сценам?.. разве…

– Ты, наконец, просто невыносим! Или ты не хотел внимательно прослушать то, что я тебе рассказывала.

– Да, но под влиянием пристрастия (невольно, конечно, совершенно невольно) к своей особе многие оттенки, по-видимому, незначащие, могли ускользнуть из твоего рассказа, а если бы взглянуть на дело с третьей, беспристрастной стороны…

– В таком случае потрудитесь произвести строжайшее дознание, составьте протокол или – как там оно называется? – постановление, что ли, а пока ложитесь спать.

– Марта, – муж иногда поэтизировал имя своей жены, – я очень хотел бы серьезно поговорить с тобою.

– Поговорим завтра.

Марфа Васильевна притворно зевнула.

– Нет, не завтра, а теперь, когда у меня слишком уже много накипело в груди…

– Чего? – как бы вскользь спросила она. Тот не нашелся, что ответить.

– Когда что-нибудь кипит, – продолжала Марфа Васильевна, – то на поверхности обыкновенно накипает пена, – весьма грязная пена, которую надо снять ложкою и выплеснуть в лохань. Так и теперь. Что в вас говорит? Что вас бесит? – Чувство фальшиво-оскорбленного самолюбия: вас взяли за ворот, вас тряхнули и даже чуть не побили… Полноте! Вы забыли, где мы, разве можно считать оскорблением, если дикарь на каких-либо забытых островках ударит случайно заезжего европейца, если осел лягнет своего вожака, если, наконец, вас из-за решетки обругают в доме сумасшедших?.. Или, может быть, вас волнует то, что вам приходится краснеть за свою жену?.. – Марфа Васильевна приподнялась и пристально смотрела на мужа. – Вы бы прекрасно сделали, избавив меня от этого непрошенного попечительства… Кстати, – она вдруг совершенно переменила тон, – статья четырнадцатая нашего добровольного взаимного договора[1] гласит, что если жена хочет спать, то муж ничем не должен ей в этом препятствовать. Итак, в силу этой четырнадцатой статьи, – до свидания.

Она протяжно зевнула и повернулась лицом к стене.

– Марта, мне бы хотелось в данную минуту нарушить эту статью… – начал опять муж.

Марфа Васильевна не отвечала и, казалось, крепко заснула, а вернее – притворилась спящею…

Спокойный голос красавицы, когда она, отчеканивая каждую фразу, произносила свой монолог, как-то успокоительно подействовал на взволнованные нервы мужа. От этого голоса веяло неотразимою силою, эта речь пробудила в нем целый ряд воспоминаний. Этому успокоению способствовали также и утренний холодок, и сильные затяжки табачного дыма…

Он задумался.

Они сошлись под влиянием сильного и, главное, взаимного чувства. Сошлись уже года три, еще в Петербурге.

Ему нравилось это красивое личико со строго очерченным профилем, с веселыми, темными глазками, эта стройная, словно выточенная, фигурка… и много еще чего нравилось ему такого, что неудержимо влекло его к этой прелестной девушке, склонившейся над швейною машиною и вскидывавшей глазами только для того, чтобы развеселить всю работающую братию. Когда ее нет, все тихо и скучно в этой большой комнате с приземистыми сводами: монотонно жужжат машины, во весь рот зевают молчаливые работницы, но она пришла и села на свое место – все ожило, словно под влиянием волшебной палочки, и не слышно стукотни машин, не слышно даже брюзгливого ворчания мадамы в чепце за этим серебристым смехом и бойкою болтовнею развеселившихся тружениц.

Ей нравилось в нем… Он положительно не мог дать себе отчета, что могло ей нравиться в нем.

Ряд самых розовых дней потянулся за этою встречею… Ну, и прекрасно.

– Завтра непременно надо всю постель обсыпать персидскою ромашкою: эти проклятые земляные полы удивительно способствуют размножению паразитов, – вдруг прервал он свои мысли.

Где-то далеко на Востоке открылась какая-то страна. Туда нужны люди, туда их ищут и зовут, льготы разные обещают: уж не махнуть ли?..

– А что, тебе не страшно будет в такую даль?

– Чего же мне бояться? Ведь едут же люди.

– Но все-таки, ведь это так далеко: необозримые степи, верблюды, тигры, скорпионы, возвратные горячки… там головы режут и выставляют на копья, там…

– Ведь я буду с тобою!

– Ну, так я подам завтра же, куда следует, бумаги, и – едем.

Ряд розовых дней сменяется рядом не менее интересных приготовлений. Сборы, расспросы, закупки, прощания, тысячи предположений, одно другого грандиознее… Вранья-то сколько!.. Наконец, готовы к отъезду.

– А что, не перевенчаться ли нам? – говорит он, вернувшись только что из какой-то канцелярии.

– А что? – спросила Марфа Васильевна и даже струхнула немного от такой непредвиденной неожиданности.

– Да тут есть одно обстоятельство, чисто материальное, впрочем, но все-таки… Видишь ли, если мы обвенчаемся, то мне, как человеку семейному, выдадут годовое жалованье не в зачет, двойные прогоны, и там есть еще другие льготы… всего составится тысячи полторы, если не больше, а это, по правде, куш порядочный…

– Ну, пожалуй… – сказала она и задумалась.

Через неделю они обвенчались.

За несколько дней перед отъездом оба они очень много хохотали, а еще больше писали чего-то на листах гербовой бумаги того достоинства, на которой обыкновенно пишутся контракты. От души хохотали и двое господ приятелей, приглашенных в качестве свидетелей. Результатом этого веселого вечера были два экземпляра брачного договора обеих сторон… Вопрос был до такой степени подробно разработан, что явились чуть не триста параграфов, да еще с различными дополнениями. Основным же мотивом этого договора была полнейшая гарантия независимости той и другой стороны, главною и единственною связью которых становилось их взаимное чувство.

Он очень хорошо понимал всю юридическую несостоятельность этого договора. Она же была глубоко уверена в важности своего *документа*. И он скорее согласился бы отрубить себе руку, чем хотя одним неосторожным шагом разрушить или же поколебать эту уверенность.

Но случилось так, что чувство, связывающее их, мало-помалу испарялось и, наконец, приняло уже такие микроскопические размеры, что ни та, ни другая сторона порою не замечали его вовсе.

Если бы Марфе Васильевне пришлось столкнуться с новою личностью, способною зажечь новую божественную искру, то она, наверное, оставила бы своего мужа, но подобной личности не находилось, и наши супруги жили совместно, покойно и даже, по их взглядам на вещи, довольно счастливо.

У него всегда своевременно готово было безукоризненно чистое белье и даже со всеми прочно пришитыми пуговицами. У ней, также своевременно, являлись нужные по сезону костюмы. У него аккуратно ставился на стол завтрак, обед и все прочее, даже чай ему собственноручно наливала Марфа Васильевна. У ней всегда являлась возможность (конечно, в пределах возможного) пользоваться всякими удовольствиями и исполнялись (конечно, в тех же пределах) все ее прихоти.

Все у них было мирно, тихо и покойно. Случалось, положим, иногда перебраниваться, но до потасовок никогда не доходило.

Чего же еще нужно?

Как Перловичу, так и Марфе Васильевне не удалось покойно провести остаток этой ночи. Причина у обоих была одна и та же.

Едва только Марфа Васильевна закрыла глаза и приготовилась заснуть, прислушиваясь, что бормочет ее муж, как перед нею, в мириадах радужных точек, показалась окладистая борода, и она почувствовала в крови какой-то беспокойный жар, совершенно разогнавший всякую наклонность ко сну. Она повернулась на другой бок, подвинулась к краю постели, где простыня не была еще так нагрета и давала приятную свежесть, и снова попыталась заснуть. Опять та же окладистая борода, но теперь еще с прибавлением руки в замшевой перчатке и ременной нагайки. «Что же это такое?» – подумала она. «Надо посыпать персидскою ромашкою», – словно во сне, но довольно явственно бредит муж… – «А, вот это отчего!» – думает Марфа Васильевна, но тут же чувствует, что это совсем не то, и никакою персидскою ромашкою тут не поможешь. «Уж не порывы ли это любви платонической?» – подумала она и чуть-чуть не расхохоталась.

Так вплоть до самого позднего утра и провалялась она на постели, не успев отогнать от себя этого упорного призрака с окладистой бородою и нагайкою в замшевой перчатке.

Сунув ноги в туземные туфли, она в одном белье подошла к письменному столу и приготовилась писать.

– Ты куда это пишешь? – спросил ее муж.

– Сама еще не знаю, куда… там разыщут, – отвечала она.

– К кому, по крайней мере?

– К Батогову.

– Да ты разве с ним знакома?

– Нет, вот собираюсь начать знакомство.

– Ты, кажется, совсем с ума сходишь…

– Послушай, в статье шестой сказано…

– Ну, хорошо, хорошо, пиши хоть к самому бухарскому эмиру, хоть к самому черту!..

Он сильно хлопнул дверью. Марфа Васильевна удивленно посмотрела ему вслед.

– Ты, Марта, извини, пожалуйста: это я с просонков, – произнес ее муж, притворив дверь наполовину и начиная умываться.

– Ну то-то! – И она принялась писать.

«Милостивый государь», – написала Марфа Васильевна, – написала и зачеркнула. Подумала немного и написала прямо, без всякого заголовка:

«Мне очень бы хотелось поблагодарить вас лично за ту рыцарскую помощь, которую вы оказали нам прошедшею ночью, во время штурма моего окна тремя пьяными болванами. Я послезавтра рано утром, приблизительно

часов в шесть, поеду кататься одна и нисколько не поразилась бы неожиданностью, встретив вас у Беш-Агача*[;2].

Подписи моей вам совершенно не нужно. До свиданья».

Марфа Васильевна запечатала письмо в конверт и надписала: «Батогову». «Куда же?» – подумала она и решила послать письмо к Перловичу, рассчитывая, что последний должен знать местопребывание человека с окладистою бородою.

– Ну, дело сделано, – произнесла она вслух и принялась на спиртовой кастрюльке варить мужу кофе.

VIII. ВЫЗОВ И ОТКАЗ

Приезжая в Ташкент, Батогов никогда не любил останавливаться в русской части города и предпочитал туземный город, где он почему-то чувствовал себя гораздо свободнее. Так и теперь: приехав с передовой линии, он расположился у сарта Саид-Азима, одного из влиятельнейших и богатых туземцев города и его старого приятеля.

Саид-Азим предназначил в распоряжение своего гостя одну из просторных, чистых и даже весьма роскошно отделанных в местном вкусе сакель первого двора, убедительно прося Батогова быть совсем как у себя дома и не заглядывать только *туда*[1], – при этом он кивал головою в ту сторону, где были расположены внутренние, сокровенные помещения его семейства, и откуда, несмотря на массы навоза от десятка лошадей, стоявших под навесом переднего двора, все-таки сильно несло запахом мускуса и розового масла.

Пригнувшись на высоком казачьем седле, чтобы не разбить себе головы об низкие ворота, во двор въехал всадник, остановился, посмотрел направо, посмотрел налево и громко крикнул по-татарски:

– Эй! Кто там есть?..

Все лошади, жевавшие под навесом сушеную люцерну, повернули свои головы, посмотрели на рыжего, запыленного коня приезжего всадника, на его белый китель с докторскими погонами, вздрогнули, когда он еще раз закричал: «Да что, ни одного дьявола нет, что ли?..» и громко заржали… Вороной аргамак[2] самого хозяина загремел своими цепями, прижал уши, лягнул раза два в воздух и завизжал от злости: уж очень ему хотелось вцепиться рыжему зубами в загривок. Краснощекий джигит, босой, в красном полинялом халате, с бараньим ребром в руках, которое он обгладывал своими волчьими зубами, высунулся из-за навозной кучи, посмотрел на приезжего и спрятался…

– Ну, никак все передохли, – заворчал всадник, слез с лошади, выбрал место под навесом посвободнее и стал привязывать своего коня…

---

* Буквальный перевод: пять деревьев; пункт в дальних окрестностях туземного города.

– Саид-Азим-бая* дома нет, – сказал тот же самый джигит, вылезая из-за кучи. Он думал, что всадник так себе заехал, а увидит, что никого нет, и назад поедет, но увидав, что русский привязывает коня и, по-видимому, намерен остаться, решился вступить в переговоры.

– Да, нету дома: поехал в караван-сарай и раньше вечера не будет.

– Да мне его не нужно! – отвечал приезжий, – огня подай, дурацкая морда.

Он вынул из кармана сигару, откусил кончик и сплюнул.

– Что, Батогов дома? Офицер русский, что здесь живет, – пояснил он джигиту.

– Тюра-Батогов?.. Тюра-Батогов тоже нет дома.

– Где же он?

– Я почему знаю… Юсуп знает… Эй! Юсуп-бай! Гей!..

Заспанный джигит Батогова показался на пороге одной из сакель.

– Вон, твоего тюра спрашивает, – сказал ему джигит с бараньей костью.

Юсуп пристально посмотрел на доктора, улыбнулся чему-то и сказал:

– Вон, видишь – солнце: оно теперь на ту стену светит, а тень от него сюда падает, а когда оно будет на эту стену светить, а тень туда пойдет, и Батогов-тюра приедет.

– Тень туда, тень сюда… Пойми эту обезьяну, – ворчал доктор, – а все-таки сообразить нетрудно: тень сюда… это значит – по закату, часов в восемь, а теперь… – он вынул свои часы. – Да, часа три подождать придется…

На самой середине двора рос развесистый карагач, покрывавший своею тенью почти весь двор и даже соседние крыши. Вокруг этого дерева сделана была глинобитная насыпь в виде завалинки, на которой могло лежать и сидеть человек десять одновременно. Доктор потребовал себе ковер и седельную подушку: ему принесли и то и другое. Он лег под карагачом и начал пускать кверху кольца, сжигая одну сигару за другою.

Старик с седою, подстриженною бородою принес ему дыню, несколько пшеничных лепешек и миску с виноградом. Таким образом, приезжему представлялась полнейшая возможность с комфортом прождать эти три часа.

Старик и краснощекий джигит с бараньей костью скрылись, остался только Юсуп, который, сидя на пороге сакли, занимаемой Батоговым, не спускал глаз с человека, лежавшего под карагачом.

За воротами, на улице, пронзительно заорал ишак, послышались тяжелые шаги навьюченных верблюдов, арба завизжала немазаною осью, дробно, словно горох, просыпанный на натянутую кожу, протопали многочисленные ноги бараньего стада, которое местный мясник, в окровавленном заскорузлом халате, скупил на базаре и гнал к себе, на зарез к завтрашнему дню.

---

* Слово «бай» добавляется из вежливости. Бай, бей или бий – господин.

Тени стали сгущаться и принимать синеватый тон. Мелкие куры туземной породы, хлопая своими мягкими крыльями, взбирались с ветки на ветку, все выше и выше, собираясь провести ночь на вершине карагача.

В ворота вбежал Орлик без всадника, за ним следом вошел Батогов, крикнув кому-то за воротами:

– Ну, прощай, тамыр, иди себе домой!..

Юсуп встал и пошел принимать лошадь.

– Милостивый государь! – начал приезжий, с достоинством поднявшись со своего места и идя навстречу Батогову.

– Что такое? – слегка удивился Батогов. – Там задняя подкова на левой ноге переломилась, – говорил он своему джигиту, – сегодня же своди его к Каримке… Ну-с… Так вы ко мне, а я думал, к Саид-Азиму.

– Вчерашнее происшествие…

– Это какое? Вчерашний день довольно богат всякими приключениями.

– Я говорю о случае в переулке, на рассвете.

– А! – произнес Батогов, посмотрел со вниманием на доктора и вдруг захохотал.

– Не знаю, придется ли вам, милостивый государь, смеяться впоследствии, а теперь нам терять времени нечего.

– Э, да говорите короче, в чем дело?

– Я приехал к вам в качестве секунданта от капитана Брилло, которого вы прошедшею ночью, на рассвете, так жестоко и совершенно неуместно оскорбили.

– Это нагайкой-то?..

Доктор кивнул головой в знак согласия.

– Вы что пьете? – спросил его Батогов.

– Что за странный вопрос?

– Чем же странный? Ведь я не спросил вас просто: пьете ли вы? А дело в том, что у меня есть красное ходжентское и есть еще бутылки две коньяку, из того, что, помните, недавно привезли Хмурову… а принимая в расчет вечернюю прохладу, не распорядиться ли соорудить глинтвейнчик… а, не правда ли?

– Гм… – промычал доктор, который вполне разделял мнение Батогова насчет глинтвейна и который очень бы был не прочь принять любезное предложение хозяина, но эта проклятая важность поручения, которое ему приходилось исполнять, мешала ему прямо отвечать Батогову.

– Мне кажется, что не совсем уместно… – начал он.

– Ну, что за предрассудки… напротив, чрезвычайно уместно: ведь нам придется поговорить поподробнее о многом. Условия, например, разные, место, ну, опять, оружие, там, то-се… разболтаемся и не заметим, как уйдет время, а мы это все с комфортом. Юсупка у меня эту штуку отлично варит, и как

он, каналья, научился шашлык парить, ну, это, я вам скажу, просто… Да вот вы сейчас увидите… Эй, Юсуп!

– Эге! – отозвался Юсуп из-под навеса.

– Погоди лошадь ковать, а сейчас вари нам ту штуку, за которую я тебе вчера дал по уху.

– Ой! ой! – ухмыльнулся джигит и, оскалив зубы, потер рукою левую щеку, как бы припоминая вчерашнее ощущение.

– Ну-с, почтеннейший секундант, – начал Батогов, – пойдемте-ка ко мне в саклю, или я лучше велю сюда вынести большой ковер. Тут, хоть и навозом пахнет, а все-таки будет удобнее…

– Запах навоза весьма полезен, – заметил доктор, – особенно при страданиях грудью… И, знаете ли, до чего можно привыкнуть к этому запаху…

– Ну-ка, берите за этот конец, тащите сюда…

Батогов принял от Юсупа большой хивинский ковер, и они, вдвоем с доктором, принялись разворачивать его под карагачом.

Через несколько минут они оба, покойно лежа на мягком ковре, спинами кверху, наблюдали, как Юсуп варил в кастрюле какую-то красную жидкость, распространявшую вокруг себя самые пряные ароматы.

Джигит уселся неподалеку на корточках и, вытянув свою черномазую физиономию, внимательно наблюдал за поверхностью начинавшей уже закипать жидкости… Тонкие, красноватые язычки пламени, облизывая закоптелое дно кастрюли, оригинально освещали снизу лицо Юсупа и искрились на шитом галуне его халата, на рукоятке кривого ножа, на металлических побрякушках, украшавших пояс джигита, и на большой серебряной ложке, которою он тщательно снимал накипавшую пену. По временам он, несмотря на то, что ложка была у него в руках, совал палец в кастрюлю, облизывал его и бормотал при этом: «Ой-ой», причем кривил свою рожу и обтирал палец об полы халата.

– Тюрá, булды? (Готово?) – спросил он Батогова.

– Кипяти еще, – отвечал Батогов, – да вылей туда все вон из той бутылки… Ну, ладно, – беги за чашками.

Через несколько минут гость и хозяин дружелюбно чокались плоскими туземными чашками, осторожно прихлебывая ароматический, бьющий в нос напиток.

– Ну-с, доктор, так вызывает?.. – говорил Батогов.

– Вызывает… – говорил доктор и при этом пожимал плечами, как бы думая: «Вот есть из-за чего».

– Ну, и как же это? стреляться, или, может быть, на ножах?.. а?

– Собственно, эти подробности зависят от дальнейших соображений, но я полагаю – на револьверах.

– Не на хмуровских ли, в триста-шестьдесят-пять выстрелов?.. пойдет такая, я вам доложу, стрельба, хлоп да хлоп, часа, я думаю, четыре стрелять будем – это скучно. Нельзя ли что-нибудь покороче.

– Ну, эти револьверы существуют, положим, только в воображении Хмурова, а мы на обыкновенных…

Доктор еще налил себе из кастрюли.

– Ну, хорошо. Теперь еще один вопрос: когда я покончу с Брилло, положим, что я буду так счастлив, тогда мне придется с вами начинать – да?..

– Со мной? – удивился доктор, – это с какой стати?..

– Да ведь, сколько я припоминаю, я и вас тоже…

– Меня? – нет…

– Что же, это мне показалось, будто вы тоже повалились.

– О да, я упал, но упал совершенно от других причин: меня сбила с ног ваша лошадь.

– Ну, вот видите ли…

– Да, но разве это оскорбление… Я на это смотрю совершенно с другой точки зрения… Вот если бы вы меня нагайкой так, как его… Ах, как вы его царапнули. Я целый день прикладывал ему холодные компрессы: вот как вздулось.

И доктор показал рукою, по крайней мере, на пол-аршина от головы…

– Ах, бедняга… – пожалел Батогов. – Ну, так значит, мне придется иметь дело с одним Брилло…

– Да, только с ним…

– Ну, и что же, он очень сердится?

– Он рвет и мечет, он впал в положительное бешенство, и если принимать в расчет страшный прилив крови к мозгам…

– Это от этого-то?..

Батогов показал рукою.

– Ну да… то можно рассчитывать на весьма печальный исход.

– Скажите…

– Конечно, тут были еще события, подействовавшие несколько раньше на его организм… – Доктор налил еще чашку. – Но, Боже мой, как он взбешен… Боже мой!.. Он говорит мне: «Поезжай к этому мерз… – Доктор спохватился на полуслове, Батогов улыбнулся. – Это он говорит, – и если только Батогов откажется, то я его все равно из-за угла пришибу, как собаку, я ему горло перегрызу, я ему…»

Доктор вошел в азарт и сильно жестикулировал, он даже чуть не схватил руками Батогова за горло…

Несколько чашек глинтвейна, сильно разбавленного коньяком, начинали действовать на голову доктора.

– Эк его раскачивает, – подумал Батогов, глядя на секунданта.

– Так значит, на револьверах? – произнес он вслух.

– На револьверах…

– Ну, а где?

– Об этом еще не решено, но вам дадут знать своевременно.

– Вы куда отсюда? – намекнул Батогов гостю: не пора ли, мол, убираться.

– Прямо к Брилло: он просил сообщить ему тотчас же.

– Ну, поезжайте. Только что же вы ему сообщите?

– Как что? – удивился доктор. – То, что вы приняли вызов и ждете только подробностей в условиях.

– Напрасно вы ему это сообщите.

– Это почему?

– А потому, что я вызова не принимаю и стреляться с капитаном не буду.

– Вот как!.. – протянул секундант. Как он ни был пьян, а все-таки этот отказ, так спокойно произнесенный Батоговым, треснул его, как обухом в голову.

– Но почему же, вы боитесь, что ли? Ведь это, наконец, не совсем чест…

– Тс… не говорите глупостей, пожалуйста… а то они до добра редко доводят. О причинах отказа я не стану распространяться; допустите хоть то, например, что я, положим, считаю дуэли глупостью – ну, на этом предположении и остановитесь… Да наливайте себе еще чашку, пожалуйста, без церемонии. Ну-с, а Брилло скажите, что если он хочет, чтобы я еще раз его поколотил, то это я могу, ибо физически я много его сильнее.

При этих словах доктор невольно покосился на говорившего, который, освещенный с ног до головы светом от костра, так покойно лежал на ковре, заложив за голову свои мускулистые руки.

– Насчет атак из-за угла, – продолжал Батогов, – я принял давно уже приличные меры, и атаки подобного свойства не всегда удаются. Ведь вы вот не считаете оскорблением толчок моей лошади. Посоветуйте ему так же точно отнестись к удару нагайкой, тем более что, действительно, не было оскорбления, а была только весьма неприятная для него случайность, и вдобавок вполне им заслуженная. Когда трое нападают на одного, тогда они не имеют никакого права оскорбляться, если один побьет их троих… Сообразили, почтеннейший доктор?..

– Мне что… мне все равно – я так и передам, – бормотал доктор, смущенный заключительною фразою, он невольно поддался заговорившему в нем чувству справедливости.

– Итак, покойной ночи. Юсуп! Лошадь господину! Прощайте.

Темный четырехугольник растворенных настежь ворот осветился пожарным, красным светом; два всадника-туземца, пригнувшись к шеям лошадей, проскочили во двор со смоляными факелами в руках. Длинные палки,

обмотанные тряпками, пропитанными смолою и кунжутным маслом[3], трещали, страшно чадили и разбрасывали вокруг себя яркий, мигающий свет.

Вслед за факельщиками въехал сам сановитый хозяин в необъятной кашемировой чалме, в опушенном соболем халате и зеленых ичегах (род обуви) с длинными, совершенно остроконечными каблуками. Аргамак его был покрыт роскошною бархатною попоною, вышитою золотом и бахромою.

Несколько пеших джигитов поспешно бросились к Саид-Азиму, чтобы помочь ему сойти с лошади.

Батогов пошел навстречу своему приятелю, а доктор прошмыгнул за спиною прибывшего и поехал рысцою по узкой улице туземного города, осторожно пробираясь чрез никогда не просыхающие лужи с густою, вонючею грязью.

– Прав Батогов, прав, с которой стороны ни заходи, прав, – бормотал доктор, рассуждая сам с собою. – Только опять тоже, если войти в положение Брилло, так сказать, подыскать ему какой-либо исход… да, трудновато… То есть оно, собственно, не трудно бы: там выпил, здесь закусил, раз-два, долго ли помириться, только горячка эта подлейшая, пойди вот, уломай… Да, что ни говори, а без скандала, и даже очень немаловажного скандала, не обойдется.

Несколько разношерстных собак, прыгая по плоским крышам сакель, с лаем и визгом провожали русского всадника, голова которого приходилась на одном уровне с их мордами.

– Ишь! пристали, проклятые… – крикнул доктор, махнув нагайкою, и погнал свою лошадь.

Проезжая мимо так называемых Кокандских ворот, где несколько линейных солдат в белых рубахах прямо руками, по местному обычаю, обрабатывали большую деревянную чашку с каким-то мясным варевом, доктор еще раз задумчиво произнес: «Да, без скандала не обойдется…» и даже почесал у себя за ухом.

IX. ЧТО ВИДЕЛ ТАДЖИК УЛЛУ-ГАЙ НА РАССВЕТЕ, КОГДА ОТЫСКИВАЛ СВОЮ СЕРУЮ ОСЛИЦУ

Утренняя заря едва занималась, и густой туман покрывал окрестности. Светлым серпом стояла высоко на ней последняя четверть луны, и ее слабый свет боролся еще с наступающим утром.

На низовьях было прохладно, и сквозь камыш тянул сырой, пронизывающий ветер.

У таджика Уллу-гая еще вчера вечером пропала его серая ослица, а ему непременно надо было сегодня утром везти на русский базар дыни со своей бакши[1]. Никак не мог сообразить бедный Уллу-гай: куда это могла деваться

его серая ослица? Еще после обеда возил он на ней ячмень в Ногай-курган на мельницу, потом домой приехал, по дороге еще аркан новый купил у Бабая в лавке, выпустил на траву и даже ноги спутал, чего прежде никогда не делал. Вечером хватился – нет. Искал, искал, верст двадцать, может быть, обегал, нет. Спрашивал у всех, кого только ни встречал: не видал ли кто его ослицы? – серая такая, толстая, одно ухо до половины отрезано… Много серых ослов видели, говорят, – может, который из них и твой. Просто беда, да и только!

Сегодня опять пошел искать, еще задолго до света выполз из своей землянки, что на самом краю бакши, около чиназской дороги, и побрел. Бродил, бродил и все ворчал про себя: «Экая досада, что забыл звонок подвязать, все, может, услышал бы, а то ты вот тут идешь, а она вон там в канаве бурьян гложет, а тебе и не видно, и не слышно».

Осторожно раздвигая камыши, выбрался он на берег небольшого ручья, когда-то бывшего арыка, но временем размывшего себе более просторное, привольное русло и приобретшего вид природного ручья, густо заросшего камышом и осокою.

Утиный выводок с шумом ринулся с берега в воду и поплыл в надводную чащу, оставляя за собою мелкие, серебристые струйки. Лупоглазые лягушки, тяжело шлепая пузом, попрыгали прочь с тропинки; кольчатая, сероватая змейка с оранжевым брюшком, тоже шипя, выпрямилась и поползла под мокрые корни красной кустарной ивы. Все это испугалось приближения таджика Уллу-гая, который, пристально осматриваясь по сторонам, крадучись, словно кошка, чуть слышно ступал своими босыми ногами.

Выбрался таджик на берег и присел на корточки. «Дай, – думает, – отдохну здесь немного». Достал он из-за пазухи маленькую тыкву-горлянку, оттknул пробочку, насыпал себе на ладонь изрядную горстку темно-зеленого тертого табаку[2], понюхал, потом все в рот высыпал, поправил языком и задумался.

Так просидел он с полчаса времени, и вдруг ему показалось, что вправо словно кто-то верхом едет, да и не один, будто бы их много. Открыл глаза испуганный Уллу-гай – ничего, прислушался – ничего не слышно…

«Однако нечего сидеть, – думает, – пора и в дорогу». Засучил он свои холщовые шаровары выше колен и полез в воду. «Ух! Какая холодная вода под утро бывает: словно ножом резанула…» Две большие рыбы плеснули около самого Уллу-гая, и по воде пошли в разные стороны широкие круги. «Да и много же рыбы водится в этом ручье, – подумал Уллу-гай, – то есть, если целый год сидеть на берегу, не сходя с места, и все ловить ее сеткою с крючьями, так, я думаю, и половины не выловишь. Да здесь что! Здесь еще малая вода, а вот в большой Дарье сколько ее…»

И вспомнил Уллу-гай, как ему рассказывали на днях в Дзингатах приезжие киргизы-курама[3], что у них в Дарье большая рыба утащила барана

и девочку. Девочка-то еще ничего: такая дрянненькая была, вся в лишаях, а баран был отличный: одного сала пуда два с половиною было… Вспомнил все это Уллу-гай и взглянул в ту сторону, где далеко, верст за сорок, протекает большая Дарья…

Не побоялся Уллу-гай, что вода холодна под утро бывает, присел по самое горло и смотрит сквозь частые, камышовые стебли испуганными глазами, что за люди такие едут почти что по самому берегу и, того и гляди, что заметят над водою Уллу-гаеву красную тюбетейку.

Гуськом друг за другом, тихонько, с оглядкою, словно не за хорошим делом, едут все чужие, незнакомые всадники. За остролукими, тюркменскими седлами переметные сумки привязаны (видно издалека), за плечами ружья с раструбами; заря искрится на мелких кольчугах, и сверкают круглые бляхи на поясах и кожаных щитах всадников. Халаты все старые, порванные и в широкие кожаные чамбары[4] засучены. А сколько их! Аллах, Аллах!.. Бедному Уллу-гаю казалось, что и конца не будет этому страшному шествию.

Вот, наконец, едет и последний джигит. Он поотстал немного от своих товарищей: лошадь у него сильно припадает на заднюю ногу, накололась, должно быть, в камышах.

Слез он с коня, поправил седло, штаны себе подтянул покрепче и пристально посмотрел прямо в глаза Уллу-гаю, так, по крайней мере, ему показалось. «Ну, – думает таджик, – пропал теперь совсем». Однако Аллах не без милости: всадник опять сел на свою хромую лошадь и поковылял дальше.

Долго сидел еще в воде Уллу-гай, все ждал: не поедут ли еще?.. Просто уже и терпеть стало не под силу, хоть умирай. Зубы так колотятся друг о друга, что, должно быть, шагов за десять слышно… Ну, думает, теперь можно.

Осторожно выполз Уллу-гай из воды и бегом пустился напрямик, не разбирая дороги, в ту сторону, где еле виднелись сквозь дымку утреннего тумана высокие тополи, что растут на выезде из Дзингаты. Бежит таджик и думает дорогою: как это он будет рассказывать тамошним аксакалам, что каракчи* из-за Дарьи перебрались. Пожалуй, не поверят еще да вздуют нагайками. – Не ври, мол, вздору, не мути народ. Это прежде бывало.

X. СЛУХОМ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Ничто так быстро не разносится народною молвою, как различные скандалезные случаи, которые предоставляют такое обширное поле для более или менее остроумной изобретательности, что скоро принимают такие размеры и такую сказочную обстановку, что даже сами герои скандала не узнают начального эпизода.

---

* Каракчи – разбойники.

Так случилось и в настоящем случае: о смерти Машки и о трагикомической серенаде под окном у Марфы Васильевны, со всеми своими плачевными последствиями, все население русского города узнало еще задолго до обеда, и когда в единственном ресторане города, у жида Тюльпаненфельда, собрались его завсегдатаи, как они сами себя называли, то только и было разговоров, что о происшествии в узком переулке.

Да и сама Марфа Васильевна вовсе не находила нужным хранить все это в тайне. Она всякого, кто только ни спрашивал у нее о случившемся, посвящала во все подробности ночного события.

По местным обычаям, здесь очень немногие ездят в экипажах, большинство же довольствуется верховыми лошадьми, и потому множество самых разнообразных всадников проезжало мимо окон Марфы Васильевны: кто на службу, кто со службы, кто на проездку, а большинство – так только, для того, чтобы прогарцевать мимо этого уютного окна, в тени шелковичного дерева, в котором, словно в рамке, сидела улыбающаяся красавица с чудными, влажными глазами и в легком, белом утреннем костюме.

Свернув с шоссе, целиком мимо мусорных ям, через задворок старого полицейского двора, на красивом коне едет тоже красивый офицер, оба горячатся и волнуются: один – оттого, что вследствие того же самого получил под бока жестокий удар шпор с репейками.

– Вы куда это, Набрюшников? – спрашивает Марфа Васильевна офицера, который десятый раз делает вид, что совершенно нечаянно увидел красивую барыню.

– Ах, это вы! – удивляется Набрюшников, ловко осаживая коня и монументом останавливаясь перед окном. – Ваше здоровье-с?..

– Благодарю. Что это у вас за лошадь?

– А что-с?..

Всадник чувствует, что его конь как-то подозрительно начинает поднимать хвост и дает ему предупредительный удар шпорами: дескать, веди себя прилично, когда разговариваешь с дамами.

– Да прекрасивая.

– Это я недавно купил в Ходженте.

Незначительная пауза.

– Марфа Васильевна, правда ли, я слышал, что…

– Правда, правда, – хохочет Марфа Васильевна.

– И как это он, почти в упор, и промахнулся?.. – удивляется всадник.

– Как промахнулся?! – удивляется в свою очередь Марфа Васильевна.

– Да из револьвера…

– Из какого револьвера?.. Просто нагайкой.

– С победою имеем честь поздравить! – басит толстый генерал и хохочет, хохочет всем своим ожиревшим существом, хохочет чуть не до апоплексического удара.

Два конвойные казака-уральца, которые трепались за генералом, не ожидая, что тот так внезапно остановится, натыкаются на круп его лошади.

– Чего рты разинули, скоты!..

– А мы хотим Батогова к следующему чину представить за его рыцарскую отвагу…

– У меня в канцелярии уже реляцию пишут о ночном деле, – острит генерал и плотоядно смотрит на круглые локотки Марфы Васильевны.

И с генералом поболтала немного Марфа Васильевна.

Вся, словно развинченная, дребезжит оренбургская линейка в одну лошадь, на козлах – солдат в кумачной рубахе и ермолке с кистью. В линейке сидят четыре дамы в канаусовых блузах[1] и в круглых соломенных шляпках, на которых раскинулись целые цветники и огороды.

– Марфа Васильевна, – пищат дамы, – мы к вам…

– Заходите, – нехотя произносит Марфа Васильевна, которая вообще недолюбливала общества местных барынь.

. . . .

– Да нет же, я вам говорю, это совершенно не так было, – говорит интендантский чиновник, тот самый, что был у Хмурова. – Кому же и знать, как не мне.

– Да вы-то откуда знаете? – спрашивает его другой, тоже, должно быть, чиновник.

Оба они выпили у буфета по большой рюмке полынной и тыкали вилками в тарелку с молодым редисом.

– Я откуда знаю, гм…

– Да, вы-то?..

– Мало ли откуда: тот говорил, другой говорил, третий. Да вот даже, не больше как за четверть часа перед этим, встречаюсь я с…

– Ну, вот то-то же… другой, третий, а мне сам Батогов подробно рассказывал.

– Что же это он вам говорил-то? – язвительно улыбаясь, спрашивает интендантский чиновник.

– Брилло схватил ее за талию, а доктор за ноги, и марш-марш в кусты. Знаете, тут сейчас кусты, такие густые, ну, вот где новая стройка, большая яма тут еще такая…

Несколько человек окружили рассказчика, какой-то высокий, лысый господин бросил обгладывать крыло поданного ему фазана, встал и подошел к прилавку, обтирая усы салфеткою.

– В эту-то минуту является Батогов, а сидел он до той поры в экипажном сарае. Бац в одного, бац в другого: натурально – оба наповал. «Марфа Васильевна, – говорит, – вы свободны…»

– Да тигра кто же выпустил?..

– Какого тигра? Это совсем другая история…

– Да, да, ну, виноват, продолжайте.

– Вы говорите, оба наповал? – прерывает рассказчика лысый господин.

– Наповал, в висок навылет…

– Да они оба живы…

– Как живы!.. ну, вероятно, скоро умрут, по крайней мере, ранены смертельно…

Рассказчик несколько смущен и сосредоточенно ловит вилкою новую редиску.

– Полноте, с Батоговым даже и револьверов не было…

– Ну, батенька, это нет… Это вздор! Я, положим, не слыхал, но моя жена ясно слышала два выстрела.

– Ну, может, то были совсем другие выстрелы, – улыбается за прилавком сам Тюльпаненфельд, отсчитывая кому-то сдачу.

Публика хохочет.

– Сегодня вечером дуэль! – объявляет новый посетитель, появляясь на пороге ресторана. – Кто смотреть хочет?

– Где, где? – послышались вопросы со всех сторон. Никто уже не спрашивает: кто? с кем? Дело всем хорошо известно. Из бильярдной выбегают личности без сюртуков с киями в руках.

– А вот еще покуда не решено. Доктор поехал к Батогову с вызовом. Что-то привезет.

– Наверно, через платок.

– Помирятся.

– Нет, тут не помиришься, тут, брат, кровью пахнет.

– Да, дело скверное, хоть из области уезжай. Как теперь ему глаза показать в общество?

– Ничего, обтерпится.

– Ох, трудновато.

– А на холодном оружии, знаете ли, много посущественней будет, как-то к делу ближе…

– Ну, а Марфа Васильевна что?

– Да ей-то что же?..

– Ну как же, все-таки…

– Она-то тут совсем уже ни при чем, – говорит как будто про себя стрелок, уткнувшись лицом в обрывок газеты. – Всякий негодяй полезет бесчинствовать, а женщина виновата, гм… Странно!

– Ну, вы уже слишком: «негодяй»… Эдак много негодяев скоро будет, – вступается сосед с правой стороны. – Ежели человек пьян и сам себя не помнит…

– Так это вы пьянством всякую гадость оправдывать станете. Ну, не пей, если знаешь, что скотская натура наружу полезет.

– Ну, заспорили! – протянул интендантский чиновник. – А ведь если рассудить по чести, по справедливости: ну что такого особенного сделал Брилло? То есть ровнехонько ничего.

– Ну, как же ничего…

– Да, конечно. Пели под окном, что за беда. Ну, в окно полезли, Господи, Боже ты мой! да что же тут такого. Положим, бить не следовало, но согласитесь же сами, видит, что трое пьяных, ну, чего лезть, ну, оставь его в покое. Нетрудно было предвидеть, что бить будут… Со стороны Батогова тоже не совсем честно. К чему это такие крайние меры: нагайками по голове! Не потоварищески, нет, не по-товарищески. Не следовало бы…

– Дайте еще бутылку белого!

– А это ты швырни в рыло самому Тюльпаненфельду, – приказывает лысый господин слуге-туземцу, во фраке поверх полосатого халата и без сапог.

– Тс!.. – предостерегает его сосед и косится в ту сторону, где сам Тюльпаненфельд делает вид, что ничего не слышит.

Мимо террасы перед рестораном, по шоссе, слышится стук легкого рессорного экипажа и топот многочисленных конских ног. Все стремительно кидаются к окнам и на террасу. Интендантский чиновник пользуется случаем и перекладывает поспешно куски с чужих тарелок на свою.

Впереди едет конный патруль, человек из десяти уральских казаков, за ними – коляска парою серых, в коляске сидит старичок с седыми усами, в белой фуражке, с длинным, далеко выдающимся вперед козырьком.

За коляскою едет целая сотня в разнообразных мундирах, с голубым, распущенным штандартом. По бокам коляски несколько туземцев в разнообразных пестрых костюмах джигитуют на своих рьяных аргамаках.

Густые облака шоссейной пыли несутся следом за блестящим кортежем.

XI. ЗАПИСКА

Рыжий артиллерист сидел у себя в комнате и ждал, что привезет ему доктор.

Он был страшен.

Кто-то в полутуземном, полурусском костюме показался на мгновение в дверях, увидел широкую спину Брилло, его голову, коротко остриженную, перевязанную полотенцами, мельком заметил в зеркале два желтых глаза, прямо в упор на него смотрящие, вздрогнул от испуга и скрылся. Идя поспешно

через двор к своей лошади, которую оставил за воротами, посетитель ворчал про себя: «Ну его! Пожалуй, еще таких неприятностей наживешь. Ишь, какою гиеною смотрит…»

Даже денщик рыжего артиллериста ходил на цыпочках, осторожно обходя складное кресло, в котором сидел больной, он даже говорил сдержанным шепотом. Он по личному опыту знал уже, что барин его весьма опасен в данную минуту.

С самой той минуты, как уехал доктор, Брилло уселся в кресле перед столом и полубессознательно уставился в зеркало. Он видел там желтое вытянутое лицо, словно у мертвого, заострившийся нос, безобразно торчащие усы и массу чего-то белого, намотанного вокруг этого некрасивого лица. От разлившейся желчи у него было горько и сухо во рту и в глазах прыгали зеленые точки. Голова его болела, и эта несносная, тупая боль, словно тисками, охватывала его мозг, парализуя всякую другую мысль, кроме той, на которой сосредоточилась вся нервная система рыжего артиллериста.

– Ну, так когда же?.. – Ему показалось, что вошел доктор. Он обернулся, в комнате никого не было, и вокруг не слышно было ни малейшего звука.

– Что же это, бред начинается, что ли? – подумал Брилло.

Циновки, завешивающие окно от солнечного света и жары, были сняты какою-то невидимою рукою, и в комнату ворвался поток вечернего света. Крыша противоположного дома была ярко-красная, трубочист на этой крыше, с метлою в руках, заглядывающий в отверстие трубы, был тоже красен, словно он не сажею был замаран с ног до головы, а кровью; головы всадников, проезжавших мимо окна, мелькнули тоже словно раскаленные, и густой дым, поднимавшийся из высокой трубы кирпичного завода багровыми клубами, расплывался по вечернему небу.

– Солнце заходит, – подумал больной. – Что же это он, провалился, что ли?.. Ящик подай, эй! – произнес он вслух и даже сам озадачился, услышав этот дикий, совершенно ему незнакомый голос.

Испуганный денщик в то же мгновение показался в дверях и торопливо заметался по комнате.

– Ящик, мерзавец, вон, красный, около кровати… – завыл рыжий артиллерист.

Денщик осторожно подал ящик и поставил его на стол.

– Отвори.

В ящике лежал револьвер и все принадлежности к нему.

– Пошел вон.

Последнее приказание было лишнее: денщик давно уже выскочил из комнаты, притворил дверь и внимательно наблюдал в щель за всем происходившим.

Рыжий артиллерист вынул револьвер и чуть не уронил оружие. Его пальцы не хотели слушать своего хозяина и нервно дрожали, прикасаясь к холодному металлу.

– Что же это такое? Эдак я промахнусь, – почти простонал Брилло и с тоскливым выражением поспешно приложился в какую-то точку на противоположной стене комнаты. Дуло револьвера с граненою, острою мушкою прыгало, описывало круги и упорно не останавливалось на этой точке.

Брилло прихватил пистолет левою рукою – еще хуже. Он опустил оружие и швырнул его через всю комнату, вскочил, прошелся раза два, ломая руки, потом остановился как раз перед печкою, прислонился лбом к ее облупившейся штукатурке и глухо зарыдал… если можно назвать рыданиями это дикое вытье, прерываемое каким-то хриплым собачьим лаем.

Несколько испуганных солдатских лиц показались в полуотворенных дверях . . . .
. . . .

И вот эта печка стала словно уходить из-под его воспаленного, горячего лба, какая-то длинная темная галерея открылась перед его глазами, из этой мрачной трубы несет холодом, как из погреба… В самой глубине далеко-далеко мерцает какой-то неопределенный свет, это – беловатое облачко принимает формы, оно складывается в какой-то знакомый, смеющийся образ. Чудная нота дрогнула в воздухе: голос, глубоко проникающий в возмущенную душу, поет свою неземную песню…

Другой образ темным пятном заслоняет светлое видение… Надменно смотрят серые глаза и рот складывается в холодную, презрительную улыбку… «А не хочешь ли вот этого?» – и призрак взмахивает своею татарскою нагайкою.

– Он, он! проклятый! – пронзительно вскрикнул рыжий артиллерист и без жизни, без движений грянулся навзничь, широко раскинув свои руки.

На дворе послышался топот коня. Кто-то спрашивал: ну, что?.. Другой кто-то отвечал: да вон, поглядите, ваше благородие…

Взошел доктор, остановился на одно мгновение и кинулся поднимать упавшего.

– Воды, скорее, льду… – приказал он денщику. – Пошли вестового верхом в крепость, чтобы сейчас фельдшера Мандельберга тащил… надо кровь бросить… Постой, скажи, чтобы инструменты перевязочные захватил… Да никак они со мною…

Доктор поспешно сунул руку в боковой карман, выдернул… в разные стороны посыпались карты с надогнутыми углами, между ними мелькнули две стереоскопные карточки с голыми барынями, в самых утрированных ракурсах . . . .
. . . .

А доктор на возвратном пути от Батогова успел уже рассказать кое-кому из встретившихся ему на пути о своем разговоре с Батоговым… и даже сообщил мнение свое, что Батогов «прав, то есть, с какой стороны ни заходи, – прав», и что он «не знает, удастся ли ему уломать этого пылкого Брилло».

Все выслушивали доктора, соглашались с ним, что Батогов прав, соглашались, что пылкого Брилло уломать довольно трудно… и спешили поделиться с другими свежими новостями.

Таким образом, слухи об отказе Батогова от дуэли, приняв опять фантастические размеры, разнеслись по всему городу прежде, чем на крепостной стене дежурный артиллерист, раздавив у себя на шее здоровенного клопа, приложил фитиль к затравке заревой пушки.

– Так он отказался, – говорил рыжий артиллерист, который пришел уже в чувство и давно сидел опять в своем кресле, а доктор в четвертый раз передавал ему свою историю.

– Он говорит, – убеждал доктор, – пускай его посмотрит на дело совершенно с другой стороны, и тогда он увидит ясно, что тут не было никакого оскорбления.

– Слушай, ты! – Брилло отделился от спинки кресел. – Кто из нас с ума сошел? Ты или я? Или он, наконец, или оба вы вместе?

– Обыкновенная случайность… – бормотал доктор. – Конечно, случайность не совсем приятная…

– Лошадь седлать! – крикнул Брилло, и крикнул так, что спавший на куче клевера вестовой кубарем скатился вниз и бросился в конюшню.

– Что ты делаешь, помилуй? – засуетился доктор. – Да это совершенное безумие. Ты хочешь ехать к нему… Да ты на седле не усидишь… Ведь вот…

– А вот я ему покажу…

– Брилло, да не дури, ну, голубчик, ну, выслушай ты меня внимательно…

– Лошадь, проворней!

Брилло стукнул кулаком по столу так, что на нем зазвенели разные безделушки и полетела на пол стоявшая у самого края пепельница.

Доктор поспешно и убедительным тоном начал излагать рыжему артиллеристу свои доводы.

– Ну, – говорил он и даже всем корпусом вперед наклонился, – положим, ты доедешь. Ну, что ты сделаешь?.. Во-первых, тебя во двор не пустят: там этих косоглазых чертей сколько; опять, этот Юсупка, такая преданная сволочь… Да опять, разве ты с ним сладишь?.. Ну, он тебя того… – доктор сделал выразительный жест, – и концы в воду. Будет совершенно прав: ночное нападение, он защищался… Разве тебе этого нужно? Пойми ты, я тебе добра желаю. Погоди, выжди случая подходящего, мы его еще заставим драться…

Доктор за спиною у Брилло замахал рукою вестовому, явившемуся на пороге доложить, что лошадь готова.

– А тем временем ты несколько поправишься, – продолжал убеждать доктор. – Общественное мнение все на твоей стороне, – доктор готов был приврать немного. – Даже на что Марфа Васильевна, – Брилло застонал, – даже она говорила, что Батогов уже слишком…

Доктор, увлеченный красноречием, начинал портить дело.

– Эдак умрешь прежде, чем дождешься случая, – почти шепотом произнес Брилло и задумался.

Вспышка прошла, доктор торжествовал.

В отворенное окно полез какой-то мальчишка-сартенок, в руках у него была бумажка.

– Ты чего, дьявол? – крикнул ему доктор.

– Эй, тамыр, – начал сартенок, сидя на подоконнике. – Здесь живет тюра, которого нагайками били?

Доктор вырвал у него бумажку, и сартенок, получив звонкую затрещину, сбившую красную шапочку с его гладко обритой головки, полетел кубарем за окно.

– Что там? – спросил рыжий артиллерист и взял у доктора записку.

Если бы доктор только знал содержание этой записки, он, наверно, поспешил бы ее уничтожить прежде, чем она попала в руки Брилло.

«Батогов вдвоем с Марфою Васильевною будут завтра в шесть часов утра у Беш-Агача. Затем он уезжает на передовую линию, а может быть, и совсем из области.

Случай представляется более нежели удобный.

Доброжелатель».

Вот все, что было сказано в этой записке.

Рыжий артиллерист внимательно прочел это анонимное послание, посмотрел на доктора и захохотал. Он хохотал таким смехом, от звука которого что-то холодное пробежало по жилам доктора. Все лицо его конвульсивно передергивалось и становилось все бледнее и бледнее.

– Кто бы это писал? – подумал доктор, тщательно рассматривая записку.

Это был небрежно отодранный угол от целого листа бумаги. Фразы были написаны четко, умышленным курсивом, видно было, что писавший тщательно позаботился скрыть свой почерк.

Брилло посмотрел на часы. Стрелки показывали половину второго, и время близилось к рассвету.

XII. КАТАСТРОФА

Верстах в двенадцати от города, под самою кручею высокого обрыва, на берегу арыка Кара-Су, стоит совершенно заброшенная мельница. Плотина ее, давно уже размытая, не удерживает воды, и она свободно стремится вниз,

прыгая с камня на камень и постепенно подмывая глинистую массу обрыва, на самой вершине которого белеется гробница какого-то святого. Медные, пустые внутри шары с привязанными к ним конскими хвостами, повешенные на тонких жердях, издают унылый, металлический звук, колеблемые налетевшим порывом ветра.

Над самою пропастью нависла эта заброшенная гробница, украшенная турьими рогами, и, кажется, вот-вот рухнет, подмытая вниз, и запрудит шумящий арык своими обломками.

Внизу, на противоположном берегу, пять громадных столетних карагачей раскинули свою густую, не проницаемую ни для каких лучей солнца тень. У этих массивных раскидистых деревьев остатки жилого двора, принадлежавшего прежде кому-то из местных властей, но теперь давно уже никем не обитаемого. Лес из крыши и штучные, разрисованные потолки сакель давно уже разобраны, и голые стены с остатками лепных украшений стоят, открытые влиянию непогоды, и густо поросли кудреватою, зеленою плесенью.

За этим двором узкая тропинка выводит зигзагами на старую Ниязбекскую дорогу. Тут уже попадаются кое-какие жилые сакли, на порогах которых, под рогожными навесами, два-три старика торгуют, сидя за своими самоварами.

Марфа Васильевна на полных рысях подъехала к краю обрыва и взглянула вниз. Она остановилась как раз около гробницы, и ее Бельчик, вытянув свою умную голову, осторожно обнюхивал причудливо завитые рога горного барана.

Утренний туман еще не разошелся, и внизу ничего не было видно, кроме неопределенно обрисованных, косматых вершин пяти карагачей.

Марфа Васильевна тронула хлыстом лошадь, подобрала поводья и осторожно стала спускаться по едва заметной обрывистой тропинке.

Бельчик красиво переступал с камня на камень, похрапывая и насторожив уши.

Наездница не решилась воспользоваться подозрительными остатками моста и поехала вброд, выбрав место, где вода не так уже бойко рвалась, стиснутая крутыми берегами.

Когда она выбралась на ту сторону, то увидела под одним из карагачей белый китель Батогова, спокойно идущего к ней навстречу.

– Ну, спасибо, что приехали, – начала она первая и весело протянула ему руку.

– Приехал… – начал Батогов и запнулся. Он теперь только разглядел, что за красавица стояла перед его глазами.

– Вы меня, пожалуйста, извините, что я так просто отнеслась к вам. Хоть, впрочем, *тот* случай дал мне право, во-первых, поблагодарить вас, а во-вторых, попытаться покороче с вами познакомиться.

– Помилуйте, Марфа Васильевна, да это с моей стороны совсем ничего, – он чуть было не сказал: наплевать, но спохватился и подумал: вот гостинодворскую-то глупость отмочил, не хуже Хмурова.

– Нет, как же ничего… – начала Марфа Васильевна и тоже подумала: фу, какая же я дура стала.

Оба стояли друг против друга и молчали. Оба решительно не знали, о чем говорить.

«Если бы попрямее дело повести, – думал Батогов. – А то эти подступы, да обходы…»

– Марфа Васильевна, да вы бы слезли с лошади, – произнес он вслух.

– Бельчик не уйдет? – спросила Марфа Васильевна, а хотела сказать: «Это с какой стати?..»

– Я его привяжу, – сказал Батогов и подставил руки, чтобы принять наездницу.

Марфа Васильевна слезла с лошади.

Батогов, снимая с седла красавицу, слегка прижал ее и почувствовал, как под ее корсетом что-то усиленно толкалось.

– Как тут прохладно… – начала Марфа Васильевна и шагнула вперед, не стараясь освободиться от услуг Батогова, который все еще поддерживал ее, хотя она давно уже прочно стояла на земле. Это немного ободрило Батогова.

В таком положении они прошли несколько шагов и остановились у самого ствола ближайшего карагача.

– Это я вырезала, давно уже как-то, – показала Марфа Васильевна на корявой поверхности дерева какие-то царапины.

– Где? – спросил Батогов и наклонился, чтобы рассмотреть поближе.

Она тоже наклонилась: и оба они пристально, все более и более сближаясь, рассматривали одну точку, пока губы их не сошлись окончательно вместе.

Тогда они разглядели, в чем дело.

– Тюра, – произнес Юсупка-джигит, высунув свою голову из-за стенки двора.

Марфа Васильевна вздрогнула от этой неожиданности и опомнилась.

– Что тебе нужно, чертова голова? – крикнул Батогов и взялся было за нагайку.

– Гляди, нехороший человек пришел, – сказал Юсуп и показал рукою.

На том берегу, шагах в двадцати, не более, стояли доктор и Брилло. Лошади их были покрыты пеной, и от них валил беловатый пар.

– А, мерзавец! теперь ты мне попался!.. – захрипел рыжий артиллерист и поднял револьвер.

Пуля щелкнула об кору дерева у самой головы Батогова, как раз в то место, которое с таким вниманием разглядывалось минуту тому назад.

– А, так вот ты какая гадина! – крикнул ему в ответ Батогов и отбежал несколько шагов от Марфы Васильевны.

Первая идея, мелькнувшая у него в голове, была та, что вторая пуля, направленная в него, может попасть в красавицу.

– Юсуп, подай пистолеты, – крикнул Батогов и, сжав кулаки, стал дожидаться рыжего артиллериста, который рванулся на своем коне к Батогову и чуть не вылетел из седла, перебираясь через ручей.

В эту минуту страшный крик Юсупа покрыл собою общую сумятицу.

– Карак, карак![1] – кричал он и бросился отвязывать лошадей.

Батогов оглянулся, и его привычный глаз сразу увидел и оценил опасность.

Прямо на них, от Ниязбекской дороги, неслись страшные всадники. Много их было, и Батогов ясно видел, что о схватке нечего и думать, а надо удирать, и удирать попроворнее.

– Юсуп, спасай марджу, – сказал он своему джигиту спокойным голосом и схватил Марфу Васильевну, словно в ней было не более десяти фунтов, приподнял ее и посадил на седло.

Юсуп схватил за поводья Бельчика, плотно прижался к нему своею лошадью и пронзительно гикнул. Обе лошади с места ринулись в карьер. У самого арыка джигит повторил свой ужасный гик, и кони, сделав громадный скачок, перенеслись через ручей и поскакали дальше.

Доктор прежде всех заметил опасность и, оставаясь на той стороне, поспешил воспользоваться выгодами своего положения. Он уже выскакал на обрыв и несся по большой дороге.

Как волк, окруженный стаею собак, оскалив зубы, поджав хвост, вертится во все стороны, так Батогов крутился на своем Орлике, отыскивая себе путь к отступлению. Собрав все свое присутствие духа, он озирался кругом, грозя револьвером.

Он видел, как окружили рыжего артиллериста, как мелькнули в воздухе его ноги со шпорами, там, где за секунду была видна его рыжая голова. Он видел, как несколько всадников в кольчугах пытались отрезать дорогу его Юсупу.

Батогов дико вскрикнул, опрокинул вместе с лошадью ближайшего джигита[2] и стал на роковой тропинке.

Его окружили. На него навалились со всех сторон. Его схватили за руки, за ноги, за шею сзади.

Его сорвали с седла.

Какая-то страшная рожа с беззубым ртом, с бельмом на одном глазе, наклонилась над самым его лицом. Эта рожа рыгнула прямо в него луком и дохлятиной, костлявые пальцы сдавили ему горло.

Батогов потерял сознание.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ПЕРВЫЙ ПЕРЕГОН

– Странно, куда ж они все подевались? – думал Батогов, глядя на широкую спину не то киргиза, не то китай-кипчака, ехавшего впереди его на пегом аргамаке. – Ведь их было много – человек двадцать, я думаю, а теперь: вот тут один, вон еще два впереди, сзади… Пленник хотел обернуться и посмотреть назад, но не мог: веревки, связывавшие за спиною его отекшие руки, прихватывали для верности и за шею, малейшая попытка повернуть голову сопровождалась удушьем и режущей болью…

– Ишь как стянули, черти, – проворчал он, – сзади тоже никак один только… – Он начал прислушиваться к топоту конских ног. – Раз два, раз, два, раз… да там только одни, ишь, как отчеканивает, должно быть, иноходец…

Белая, вся в гречке, старая лошадь, которая была под Батоговым, тяжело сопела, раздувая ноздри, завязанные узлом на тонкой шее коня замшевые поводья запенились и взмокли. Несколько больших, гудящих басом оводов провожали усталого коня и скрученного всадника; по мокрой, лоснящейся шерсти животного кое-где тянулись темно-красные струйки крови, вытекавшей из тех мест, где жадному насекомому удалось пропустить свое жгучее жало. Один овод пытался сесть на лицо Батогова: тот мотнул головою и отфыркнулся.

– Что, тамыр, кусают? – сказал ему ехавший сзади всадник. – Ничего, терпи: там хуже будет…

– Свинья! – огрызнулся по-русски Батогов и сосредоточил свое внимание на переднем джигите.

Лошади под всеми всадниками сильно притомились, только Орлик Батогова, на котором сидел сутуловатый узбек в красном халате с вышитою золотом спиною, с длинным, раструбчатым мултуком[1] за плечами, шел бойко, почти не поднимая пыли и ловко перескакивая через бесчисленные канавки, пересекавшие узкую полевую дорожку, по которой пробиралась вся кавалькада.

Справа и слева тянулись обработанные поля ташкентских окрестностей, кое-где виднелись люди, но далеко-далеко, чуть только мелькали сине-серые

халаты полевых работников в массах темно-стрельчатой листвы китайского проса (джунгарры)[2]. А вот и у самой дорожки, шагах в двадцати, не больше, пара приземистых темно-бурых волов, с горбами на холках, тянули медленно деревянный плуг – сабан. Бронзовый, лоснящийся, полуголый сарт идет сзади… Он обернулся на топот коней, изумленно глядит своими черными, широко раскрытыми глазами… Что, мол, за джигиты?.. Связанная, оборванная фигура русского объяснила ему, в чем дело. Сарт согнулся почти к самой земле и волчьею рысью побежал в чащу засеянного поля. Только живая борозда раздвигающихся и снова принимающих первоначальное положение стеблей выдавала оробевшего беглеца. Волы так же глупо смотрели на проезжавших, как и их хозяин, и замычали вслед быстро пронесшейся группе барантачей.

Во всю последнюю прыть измученных коней проскакали они мимо небольшого кишлака (деревни). Деревня эта была знакома Батогову: он не раз заезжал сюда с охоты в окрестностях. Вот и навес, где он недавно пил чай, у сарта Мурза-бая, его хорошего приятеля… Вот и сам хозяин: он, кажется, узнал пленника, он даже руками всплеснул при этой неожиданной встрече и, оторопелый, пригнулся над своим нечищеным самоваром. Еще несколько человек промелькнули перед глазами Батогова, иные пугались и пытались скрыться, другие же, не меняя позы, равнодушно смотрели на чужих джигитов, на связанного русского, поворачивая языком свои табачные жвачки и сплевывая в сторону. Один из передних джигитов, на всем ходу сорвал с перекладины висевшую в камышовой плетенке большую желтую дыню и засунул ее в переметную сумку, другой так же завладел целым бараньим курдюком, висевшим у другого навеса. Хозяин последнего пытался было протестовать, крикнул что-то, даже за жердь, чем запирают на ночь ворота, схватился, да махнул рукою и юркнул в глубину сакли, увидав, как джигит покосился на конец своего мултука.

Шайка барантачей, так неожиданно напавшая на наших дуэлистов, состояла, действительно, человек из двадцати. Опытный взгляд Батогова не ошибся в определении числа наездников, но тотчас же вся партия разделилась на маленькие отдельные группы.

Догонять бежавших барантачи не решились: это могло бы завлечь их слишком далеко, а они и так уж чересчур далеко забрались, и страх, что им отрежут отступление к Сырдарье, заставил их, не теряя ни минуты времени, направиться к берегам этой реки, с таким расчетом, чтобы к вечеру пробраться на тот берег и там уже, в густой чаще прибрежных камышей, дать отдых себе и своим коням.

Бегство это было само по себе очень рискованно. Под покровительством непроницаемой темноты южной ночи им удалось пробраться к Беш-Агачу, а теперь им приходилось удирать на виду у всех, при ярком свете солнечного дня.

Отдельные партии разбойников шли разными дорогами, чтобы сбить с толку преследователей, если погоня успеет вовремя сформироваться. Партия, в которой находился Батогов, шла на Чардары, развалины старой кокандской крепостцы, давно заброшенной, расположенной на низменном противоположном берегу Сыра, верстах в шестидесяти от нашего Чиназа.

Голое, деревянное, ничем не покрытое бухарское седло страшно беспокоило Батогова, он не мог даже привстать на стременах, потому что ноги его были туго стянуты распущенною чалмою под брюхом лошади. Острые края седла глубоко вдавливались в тело, давно уже протерли кожаные панталоны Батогова и натирали кровавые ссадины, пальцы скрученных рук совершенно налились и онемели. Ветер путал волосы и бороду пленника, и грязный пот, смешанный с пылью, струился по лицу несчастного.

У небольшого арыка, на дне которого чуть пробиралась довольно чистая вода, всадники на минуту остановились, один за одним они спускались на дно арыка, черпали своими малахаями (войлочными шапками) воду и жадно пили.

– Дайте и мне, – хрипло простонал Батогов, видя, что бандиты, утолив свою жажду, не думают вовсе о своем пленнике и садятся на лошадей.

– Да дайте же, дайте… разбойники, черти вы окаянные!

Батогов настолько еще владел собою, что бранные слова произносил по-русски. Его не слушали и погнали лошадей дальше. Белая лошадь, почему-то утомленная больше других, начала заметно отставать, – ее подгоняли сзади ударами двух нагаек; по временам нагайки, словно нечаянно просвистав над крупом коня, врезывались в спину Батогова. От страшной боли, от невыносимой жажды, пробудившейся с новою силою, при виде того, как другие вдосталь пьют воду, у несчастного позеленело в глазах, стиснутые зубы скрипели, глаза горели каким-то горячечным блеском.

У всех полудиких народов есть общая страсть мучить своих пленных, без всякой для себя надобности. Только корысть заставляет их не доводить эти мучения до конца, до смерти измученного.

А всадники все неслись и неслись. Уже давно населенные места остались позади. В стороне дымились кибитки кочевников; несколько двугорбых, косматых верблюдов паслись в зарослях. Местность была совершенно ровная, вдали синела туманная полоса Сырдарьи.

– Стой! – крикнул узбек в красном кафтане.

Вся партия остановилась.

– Это наши прошли, – указал он на частые следы подкованных конских ног, пересекавшие дорогу.

– А может, и не наши, разве тут мало народу ездит.

– Нет, наши, – произнес узбек. – Вон круглые подковы чалого… Они прошли туда, – он указал рукой направо, – они здесь раньше нашего прошли, и, обглодай мои кости собака, если они не прошли много раньше нас.

– У них нет этого дурацкого мешка.

Джигит кивнул на Батогова.

– Поспеем и мы, чего стали? – вмешался третий. – Дарья не далеко, – к ночи будем на месте. Гайда, вперед!

– Не дойдет, проклятая, – говорил узбек, когда вся группа снова тронулась в путь. Он со всего размаха вытянул по крупу белого коня, тот засуетился, рванулся, ноги усталого животного заплелись, и оно, споткнувшись, грянулось на землю.

Упавшая лошадь придавила ногу Батогову, его колено словно хрустнуло. Задыхаясь от густой пыли, набившейся ему при падении в нос и в рот, он стонал и судорожно рвался, бесполезно пытаясь освободить свои руки.

Удары нагаек заставили бедного коня скоро подняться на ноги. Батогова поправили на седле. Поехали дальше.

Солнце низко спустилось, когда прибыли на песчаный берег Сырдарьи. Было тихо кругом, только сыроватый ветер, подымаясь от реки, слегка рябил ее гладкую, желтоватую поверхность и шелестил в камышовых зарослях. На песчаных отмелях бродили чубатые цапли, несколько чаек, вскрикивая своим металлическим голосом, носились над водою. Вдали, на противоположном берегу, сквозь густые камыши, виднелись серые глиняные массы развалин Чардары.

Поправили седла, подтянули подпруги. Один из всадников отвязал длинный волосяной аркан, который висел у него за седлом, и, сложив его вдвое, продел под брюхом лошади Батогова. Два джигита стали по бокам и взяли концы веревки. Эта предосторожность была принята для того, чтобы измученная лошадь под пленником, выбившись из сил, не пошла бы ко дну со своим всадником. Вперед поехал узбек на Орлике, за ним потянули Батогова, сзади, несколько поотстав, ехали остальные. В таком порядке пустились в воду.

Насторожив уши, отфыркиваясь, распространяя вокруг себя целые водопады брызг, вошли лошади в реку, и скоро вода начала достигать им до самого брюха. Орлик, вытянув морду, на ослабленных поводах, порывисто плыл наискось против течения, за ним поплыли и остальные лошади. Конский храп и ободрительные голоса джигитов неслись над водною поверхностью.

В камышах, на противоположном берегу, что-то закопошилось, медленно высунулась черная, щетинистая морда с клыками, испуганно хрюкнула при виде плывущих и шарахнулась назад. Целая стая диких уток, с криком, хлопая крыльями, пронеслась над головами барантачей. Сильным течением воды относило в сторону плывущих лошадей. Раза два они чувствовали дно под своими ногами, инстинктивно поворачивались мордами против течения и переводили дух.

Скоро все выбрались на противоположный берег. Всадники сошли с лошадей, животные с шумом отряхивались, разбрасывая вокруг себя мелкие брызги.

Вода, во время переправы через реку, достигала почти до локтей связанных рук Батогова; брызги обдавали его с головы, и это купанье значительно освежило измученного офицера. С жадностью вдыхал он в себя эти брызги, ему удалось даже несколько раз глотнуть, и как хороша показалась ему эта вода… Нестерпимая боль в руках, почти целый день находившихся в таком неестественном положении, словно утихла под влиянием благодетельной свежести, даже мысль его стала немного светлее, и затихло чувство тупого озлобления, овладевшее им во время этой мучительной поездки.

Всадники, один за одним, потянулись вдоль берега, почти у самой воды, и шли таким образом довольно долго, потом они свернули влево по узкой тропе, протоптанной дикими кабанами, и углубились в густые камыши. Высокие стебли, перепутанные снизу вьющейся травою, сплошными стенами стояли по сторонам этой едва заметной тропы. Длиннохвостые фазаны несколько раз с шумом вылетали из-под самых конских ног. Кое-где, сквозь камыш, сверкали небольшие водные поверхности заливных озерков.

Солнце село, и темнота наступила быстро. Над камышами подымался беловатый туман. Рои комаров сероватыми облачками носились в воздухе. Какой-то заунывный, странный звук пронесся над водою и замер, за ним следом прозвучала другая, подобная же, но вот еще… не то птица какая-то… не то ветер в камышах… не то…

Вон вниз по реке плывут какие-то черные предметы. Тихо, беззвучно скользят они по зеркальной поверхности… Это «салы»* киргизские спускаются вниз с запасом камыша или сена, а может быть, на них и сочные арбузы и дыни… Беззаботно, предавшись течению, плывет узкоглазый степняк, сидя на своем нехитром судне, и поет свою нехитрую монотонную песню.

Проплыли мимо эти лохматые, словно небольшие копны скошенного сена, плоты и скрылись в густом тумане.

Наконец передовой узбек остановился и сказал:

– Хорошо, тут и остановимся.

Ноги Батогову развязали и сняли его с лошади, но едва только его поставили на ноги, как он тяжело рухнул на песок: совершенно отекшие ноги отказались служить Батогову.

– Ну, брось его, пускай тут и лежит, – сказал узбек. – Оставь, не вяжи, – обратился он к джигиту, принявшемуся снова скручивать ноги пленника. – Не уйдет и так: видишь, он и стоять даже не может.

– Они крепки… эти русские собаки.

– Ну, ну, брось!

– Смотри, мы заснем, а он уйдет.

---

* Небольшой плот, связанный из снопов камыша, на котором кочевники по берегу Дарьи сплавляют топливо, корм, а иногда и другие произведения, даже мелкий скот, на ближние береговые базары.

– Ну, когда заснете, тогда опять свяжете, коли пятеро одного боитесь, – сказал Батогов, который слышал, что о нем говорили.

– Э-э, ишь ты, очнулся.

– Да и говорит как, по-нашему. Ты не из нугаев* ли?

– Я-то? Я – русский, – сказал Батогов. Он рад был заговорить со своими мучителями и надеялся выговорить себе еще какую-нибудь льготу.

– А русские все говорят по-нашему, – заметил серьезным тоном узбек. – Я сколько ни видал русских, все говорят… кто хорошо, кто дурно, а все говорят…

– Им шайтан помогает.

– Они оттого и живучи очень… Я в прошлом году одного резал-резал, а он все не издыхает, совсем голову отрезал, а он все кулаки сжимает.

– Это что? Я одному отрезал голову, положил в куржумы[3] (переметные сумки), привез в аул, два дня в дороге был, вынимаю…

– Что же, верно, плюнула тебе в бороду?

– Нет – куда: совсем протухла, даже позеленела вся…

Джигиты расхохотались.

Тем временем лошади были привязаны к приколам и разнузданы. Барантачи расположились на небольшой, свободной от камыша поляне, у подножья наносного песчаного бугра, с высоты которого можно было видеть довольно далеко через вершины окрестных камышей. Один из шайки взобрался на самый верх и лег на живот сторожить, лег и тотчас же задремал: сильная усталость брала-таки свое, да и сторожить-то было нечего: кто отыщет разбойников в этих глухих местах, где раздолье только кабанам да тиграм?

А темнота ночи все усиливалась, небо все сплошь высыпало звездами, по темному фону проносились яркие метеоры, оставляя после себя на мгновение блестящие, сверкающие миллионами брильянтовых искр полосы, по всем направлениям чертили падающие звезды. Туман густел, и его беловатые волны все ближе и ближе подступали к бархану, на котором устроилась на ночь банда. Все кругом словно потонуло в этих волнах, и эти четыре полудиких наездника в своих характерных костюмах, со своим пленником-гяуром[4], приютились точно на небольшом острове, даже лошади их, от которых отделяло пространство не более десяти шагов, чуть виднелись неясными силуэтами, и только громкое фырканье да брязг наборной сбруи, увешанной амулетами, изобличали присутствие животных.

Батогову было холодно, и его пронимала лихорадочная дрожь. Его шелковая белая рубаха была вся изодрана во время борьбы, шапка потеряна, да и панталоны, намокшие во время переправы, мало согревали наболевшее тело…

– Хоть бы огонь развели, – проворчал он.

– Чего тебе еще? – отозвался кто-то.

---

* Из татар.

– Холодно, огонь разложите.

– А вот уйдем подальше от ваших казаков, тогда и будем греться.

– Погоди, завтра жарко будет.

– Да этак до завтра сдохнешь.

– Да ну не ной, собака!..

Джигит замахнулся на Батогова.

– Сейчас ударит, – подумал Батогов и совершенно равнодушно смотрел на джигита: им начала овладевать какая-то непонятная апатия. – Ну, пускай бьют, – думал он, – а резать захотят – пускай режут. – И он даже не отодвинулся от них подальше, даже глаз не зажмурил, когда нагайка взмахнула над самой его головою… Его внимание вдруг почему-то обратила на себя торчащая силуэтом фигура сторожевого на вершине бархана. – Ишь, как торчит эта остроконечная шапка, отвороченные, разрезные поля торчат словно рога… ну, совсем как у черта… Должно быть, и хвост есть, да не видно в потемках.

Однако киргиз только взмахнул нагайкой, но не ударил. Он отрыгнул свою табачную жвачку, сплюнул и отвернулся от Батогова. Все плотнее сдвинулись друг к другу, только пленный лежал несколько в стороне, между общею группою и сторожевым барантачом.

– Эй, Сафар!

– Э, – отозвался Сафар, расстегивая ремни у своей кольчуги.

– Ты бы рассказал сказку, а то, пожалуй, заснешь.

– Ну, Сафар, рассказывай, – сказал узбек и подвинулся поближе…

– Сафар мастер говорить, – заметил сторожевой, спускаясь понемногу.

Один из них тем временем достал из куржума бараний курдюк, добытый при проезде через кишлак, вынул псяк (нож с загнутым кверху концом) из кожаных зеленых ножен и принялся резать белое, сырое сало…

– Вот и тебе, жри! – Он швырнул Батогову ломоть сала, который шлепнулся на песок у самой его головы.

– Да вы хоть бы руки развязали, а то как же я есть буду? – сказал Батогов.

– Ладно, и так сожрешь, не подавишься…

– Поди, развяжи, – сказал Сафар, прожевывая, – а то и собака, когда ест, лапами придерживает.

Батогова если и не развязали совсем, то по крайней мере значительно ослабили веревки, и он мог, хотя сколько-нибудь, воспользоваться своими руками, но и тут повторилось то же, что было с ногами, и долго еще, пока не восстановилось задержанное тугою перевязкой кровообращение, пленный не мог пошевелить ни одним пальцем.

Вдали, у самого горизонта, замелькали по темному небу красные пятна зарева.

– Ишь, это на русском берегу, курама камыши палит[5], – заметил Сафар и откашлялся.

II. СКАЗКА САФАРА

– Это было давно, – начал Сафар, начал и замолчал, задумался. Все затаили дыхание и плотнее сжались в кружок. Сторож совсем сполз с бархана и сел на корточки, рядом с Батоговым.

– Да, это было очень давно, – продолжал рассказчик, – так давно, что если бы прадед моего прадеда прожил бы двести лет, то все-таки это было бы много прежде, чем он родился. У большого озера, где две реки сходятся вместе, стояла большая кибитка из настоящей, самой лучшей белой кошмы, а подбита эта кибитка была золотым адрасом[1], – и в кибитке этой жил хан, и такой богатый хан, что если бы собрать со всего света самых ученых мулл, то все вместе они во всю жизнь не сосчитали бы и половины его богатства…

– Ой! ой, сколько! – прошептал один из слушателей.

– Это больше, чем у эмира Музафара[2], – заметил так же шепотом другой.

– «Как Ак-Тау – весь белый от горного снега, так вся степь на востоке была белая от овец ханских, а если взойти на самую высокую гору и посмотреть на закат солнца, то и земли не было видно под ханскими верблюдами. Лошадей же у хана было…» тс… ты слышал?..

– Ничего не слыхал.

– «Лошадей же у хана…»

Протяжный, жалобный рев ясно донесся до ушей этих детей природы… Лошади встрепенулись, подняли морды и стали беспокойно поводить ушами.

– Джульбарс[3] на том берегу ходит.

– Ну, пускай его ходит.

– А сюда придет?

– Не придет.

– Ну, Сафар, рассказывай.

– «Все люди, – продолжал Сафар, – сколько их есть на земле, все платили дань хану, и такая скука была ему, что воевать не с кем, что и сказать нельзя. Уж он ко всем посылал послов сказать, чтобы перестали ему дань платить и самих послов бы непременно перерезали. Что он тогда опять пойдет их наказывать войною, да никто не слушает, а возьмут да нарочно еще больше пришлют ему парчи, хлеба, девок, меду, денег целые куржумы, а послов напоят, накормят и на руках принесут к самой ханской ставке…»

– Хитрые, – заметил узбек, – знают тоже, что для них лучше.

– «А тут еще другая беда пришла: сколько жен ни было у хана, все родят одних девочек…»[4]

– Ишь ты, дрянь какая, – вставил кто-то и даже плюнул презрительно.

– «Уж хан совсем рассердился на своих жен и велел, как только кто из них родит девку, сейчас резать: и мать резать, и приплод ее поганый, все не слушают хана…»

– Да это не от них… Они бы и рады, – заметил узбек.

– Мало ли что, да уж как хан рассердился, так уже тут ничего не поделаешь.

– «Только раз вечером, как уже подоили кобыл, приходит к хану человек чужой. Пришел он с самого Востока, из-за больших гор, сам весь желтый, борода белая до земли, на голове круглая шапка, на шапке шарик, на шарике птица с зеленым хвостом… Приходит и говорит хану: "Здравствуй!" – "Здравствуй и сам, – отвечает хан, – откуда пришел и куда идешь, что принес нового?" – "А вот что, – говорит человек с птицею, – вели всем откочевать от твоей ставки на день пути, а сам один со мною останешься. А завтра к вечеру, об эту пору, вели опять всем сюда собираться, да вели зарезать тысячу баранов, тысячу жеребят, тысячу верблюдов, чтобы все ели – не наелись и пировали бы великую ханскую радость. Я им всем покажу такое диво, что, сколько бы они ни ели ганаши (вроде опиума), ни в каком сне им этого не приснится".

Хан послушался чужого человека и велел всем сниматься и идти в степи, а к завтрему, об ту пору, как доить кобыл пора будет, чтобы опять все собирались.

Поднялся весь народ, сняли свои кибитки и разошлись в разные стороны, только одна ханская белая ставка осталась на берегу, а в ней только сидели два человека: сам хан и желтый человек с птицею.

На другой день к ночи вокруг ханской ставки собралось столько народу, что хан и не знал до сих пор, сколько может быть народу на свете. Огней разложили столько, что не так как вон там, – он кивнул в ту сторону, где теплилось далекое зарево, – а все небо горело и звезд на нем не было. Сошлись все, ждут, что будет…»

Рев тигра, сильно напоминающий издали мяуканье кошки, только увеличенное до несравненно больших размеров, послышался снова в том же месте. Ему отозвался другой, только значительно дальше, этот второй звук едва-едва донесся по ветру, и только чуткое ухо киргиза могло безошибочно определить, в чем дело.

– Их двое.

– Да, перекликаются.

– Один-то как будто на нашем берегу.

– Да, только за косым озером.

Лошади начали беспокоиться и храпели почти непрерывно.

– Подойди кто-нибудь, осмотри приколы: как бы не сорвались.

Один из слушавших интересную сказку Сафара встал, потянулся и, придерживая рукою широкие шаровары, пошел к лошадям.

– «Вдруг выходит хан из кибитки», – продолжал Сафар.

Киргиз, шедший было к лошадям, махнул рукою и поспешил занять свое прежнее место.

– «Выходит хан и велит позвать одну из жен своих, что недавно привезли ему из-за Яксарта. Жену эту звали Ак-алма*, и у ней были такие красные щеки, такие глаза светлые, волосы черные, длинные, что все, сколько ни было народу, глядят и слюни рукавами обтирают. Пришла Ак-алма и села на корточки перед ханом. Тогда взял хан у желтого человека золотую чашку, достал оттуда пальцами щепотку чего-то и сунул в рот жене, та проглотила… и вдруг, видят все, что ее начало пучить… дулась, дулась она и стала уже толще ханской кибитки. Тогда хан велел точить ножи…»

Словно по сигналу, все пять лошадей рванулись разом, вырвали приколы и, с треском ломая камыши, понеслись в разные стороны. Не успели с земли вскочить оторопелые барантачи и увидели, как какая-то длинная, полосатая масса с хриплым ревом вылетела, словно вынырнула из тумана, и обрушилась на что-то большое, белое, усиленно дрыгавшее своими четырьмя ногами, обрушилась и поволокла в чащу бедную, заморенную лошадь.

– Джульбарс! – крикнули все в один голос. Только узбек бросился к Батогову и насел на него, боясь, что он вздумает бежать, воспользовавшись общею суматохою.

– Пропали наши лошади, – произнес, задумавшись, Сафар, – теперь они далеко забегут со страху, и нам, пешим, надо держать ухо востро…

III. НА ВОЛОСКЕ

Положение разбойничьей партии были слишком критическое. Они далеко еще не вышли из того района, в котором могли с часу на час ожидать, что на них налетит русская погоня. Барантачи знали, что их маневр – удирать врассыпную – хотя и собьет несколько с толку недогадливых казаков, но все-таки главное направление, по которому уходили партии, не могло быть потеряно.

В настоящую минуту разбойники были пешими. Идти разыскивать лошадей, убежавших с перепугу, было невозможно, только случайность могла натолкнуть их на пропавших животных, да, наконец, их пеших могла бы заметить погоня, и тогда, как ни плохо бегают раскормленные казачьи моштаки (так оренбургцы называют своих приземистых лошадок), но уйти от них пешему в открытой степи было немыслимо даже для вороватого, изворотливого барантача. Кроме всего этого, их страшно стеснял Батогов, и они не раз уже злобно и подозрительно поглядывали на эту помеху.

– Ну, так как же? – сказал узбек.

– Яман![1] – произнес тот, кто был в сторожах, и даже свой малахай шваркнул об землю.

---

* Белое яблоко.

– У, проклятая собака! – выругался тот, кто рассказывал о живучести русских, и ткнул каблуком сапога в спину пленника.

– Я-то чем виноват? – простонал Батогов. Острый окованный каблук угодил ему как раз между лопаток, и заныла без того уже наболевшая спина несчастного.

– Ты чего же это бьешь-то его? – сказал Сафар. – А потом на себе, что ли, потащишь?

– Была охота!..

– То-то, ну, так и не тронь: ведь не твой.

– А то чей же?

– Чей? Там разберут, чей.

– Ну, да что спорить… Так, «стали точить ножи…» – рассказывай, Сафар, все равно уже…

– Светать начинает, – сказал узбек. – Что же, как: мы тут, что ли, просидим день-то или пойдем дальше?

– Как пойдешь-то пешком: увидят, не уйдешь.

– А мы лучше ночью.

– Ничего, пока камышами, и днем ладно.

– Много ли камышами? Тут сейчас и степь.

– А Аллах-то на что!..

– Ну, пожалуй, идем.

– Эй, ты! – крикнул узбек Батогову. – Можешь идти, что ли?

– А вы бейте больше, тогда я совсем лягу, – отвечал Батогов все еще под влиянием полученного толчка.

– Ляжешь – зарежем.

– Да режьте, черт вас дери! Мне же лучше: по крайней мере, конец разом.

– Да, говори, а до ножа дойдет – запоешь другое!..

Батогов поднялся с земли и покачнулся, ближайший джигит поддержал его за ворот рубахи. В таком положении он спустился с песчаного бугра. Ноги, отдохнувшие за ночь от тугих перевязок под брюхом лошади, ступали неровно, но уже хотя сколько-нибудь могли служить Батогову.

– Пойдет! – сказал узбек, оценив одним взглядом шаткую походку пленника.

Барантачи подтянули свои шаровары, сняли сапоги и привесили их сзади к поясу. Босиком было много удобнее идти, чем на этих дурацких каблуках, совсем уж к ходьбе не приспособленных. Батогову связали сзади руки покрепче, а конец этой веревки один из барантачей привязал к себе, он же высвободил свою плетеную нагайку с точеной ручкой: может, подогнать придется при случае…

Партия тронулась, оставляя по левую руку беловатую полосу рассвета.

Туман стлался низко, и когда бандиты поднимались на какое-либо возвышение, то головы их виднелись довольно далеко и исчезали из вида, когда они снова спускались в более низменные места.

Эта вереница человеческих голов в остроконечных, рогатых шапках словно ныряла в беловатых, колеблющихся волнах утреннего тумана.

Темные массы развалин Чардары остались сзади. Камыши все еще были очень густы. Местами попадались выгоревшие пространства, они давно были выжжены, и сквозь черные остатки обгорелых стеблей уже пробивалась сочная, молодая зелень новых побегов.

Босые ноги, непривычные к ходьбе, вязли в сыпучем береговом песке или скользили по жидкой солонцеватой грязи полувысохших затонов. Путешественники ворчали и ругались, когда им приходилось, при неосторожном шаге, накалываться на острые камышовые стебли или путаться в волокнистых корнях прибрежной растительности.

Все были в самом скверном расположении духа.

Скоро стало совершенно светло. Туман, покровительствующий беглецам, рассеялся под влиянием косых лучей восходящего солнца; слегка волнистая линия горизонта, развертываясь все далее и далее, открывалась перед глазами.

– Ну, теперь смотри в оба, – предостерег сзади всех идущий узбек.

Стал и Батогов «смотреть в оба», не увидит ли чего-нибудь утешительного.

Проведенная на отдыхе ночь, во время вчерашнего бега взмученные большими переездами лошади барантачей, которые не могли идти так скоро, как свежие, застоявшиеся кони казаков, и ходьба пешком – замедлили побег барантачей. Если бы даже погоня и замедлила в городе с неизбежною в подобных случаях канцелярскою процедурою в сборах, то она все-таки имела время «стать (как выражаются) на хвост» барантачам. Последние тоже хорошо знали все эти обстоятельства, и игра становилась с каждою минутою рискованнее. Да к тому же и местность, до сих пор изрытая, холмистая, густо заросшая, стала заметно ровнее с удалением от Дарьи, и камыши стали реже и реже, уступая место низкой, колючей степной растительности.

Вдруг Батогов почувствовал, что его схватили за шею и повалили на землю.

«Ну, резать хотят!» – подумал он и тоскливо сжался, предчувствуя, как сейчас холодное, кривое острие ножа вопьется ему в горло.

– Слышишь, собака, если ты дохнешь громко, тут тебе и конец, – шепнул ему на ухо джигит, лежавший ничком рядом с ним.

Покосился Батогов на остальных: лежат все смирно, не пошевельнутся, казалось, что и дыхание даже затаили, только чуть кивает белая верхушка шапки Сафара, когда тот слегка приподнимал свою темно-бронзовую голову, чтобы посмотреть, что делается там, как раз между двумя опаленными кустами камыша, за этим солонцеватым гребешком, поросшим колючкою и высокою полынью.

Две маленькие степные черепахи медленно ползли друг за дружкою у самых голов лежащих, словно принимали их не за живые существа, а за груды неподвижного камня, но вдруг увидели, как кивнула Сафарова шапка, и спрятались в свои серые скорлупки. Два дымчатых ястреба носились в воздухе, плавно кружа над лежащими. Эти крылатые хищники приняли за трупы неподвижно лежавших хищников двурукой породы: жадных птиц особенно манили голые части тела пленника, не прикрытые рваным бельем и зиявшие кровавыми рубцами и ссадинами.

Вдали двигалась кучка всадников. Не более версты отделяло их от того места, где залегли барантачи. В этой медленно двигавшейся группе ничего не мелькало яркого, это-то отсутствие красных точек и напугало так беглецов: они издали узнали серые рубашки казаков и неторопливую, медвежью походку их коренастых лошадок.

Узнал их и Батогов, и самая жгучая, самая порывистая радость охватила все его существо. Он задрожал даже, он хотел громко закричать: «Сюда, сюда!» Он хотел вскочить.

– А этого хочешь? – шепнул ему на ухо кто-то и сильно надавил на затылок. Батогов зарылся лицом в мелкую песчаную пыль.

– Зарежу прежде, чем рот разинешь, – шепнул ему тот же голос.

«Господи! – подумал Батогов, – ну, я буду лежать, я буду молчать… Ведь они сами увидят: они едут так близко – ведь не слепые же они, в самом деле… Они сюда повернули… они рысью поехали… они заметили…»

– Велик и един Аллах, велик и силен Магомет, пророк его! – шептал Сафар.

Прочие тоже бормотали что-то, уткнувшись носами в землю.

– Все равно зарежу: пропадем мы, пропадешь и ты вместе с нами, – шептал джигит прямо в ухо Батогову.

«Эх, коли б не связаны были руки!..» – подумал Батогов, и крупная слеза, совсем помимо его воли, покатилась по грязной щеке и нестерпимо защекотала, пробираясь у него под носом…

Казаки были так близко, что можно было рассмотреть уже кое-какие подробности. Холщовый китель ехавшего впереди офицера отличался своею относительною белизною от казачьих рубах; медный рожок трубача сверкнул несколько раз на солнце. Рыжий меренок звонко заржал, вытянув горбоносую голову, и это ржание так ясно отдалось в ушах притаившихся барантачей, словно животное было не более как в двадцати шагах… Чу! Говорят… смеются…

– Велик и един Аллах!..

– Сто-о-о-й! – доносится по ветру команда офицера.

Казаки остановились.

– Дальше – шабаш! – слово в слово доносится голос.

В мертвой, тихой, как могила, степи каждый малейший звук слышен далеко и ясно.

Несколько казаков, дребезжа оружием, слезают со своих высоко навьюченных седел; усталые кони фыркают и отряхиваются.

– У кого, ребята, огонь есть? – спрашивает офицер.

– Ишь мы сколько за Чардары проперли, – говорит кто-то и рукою показывает.

– Генерал сказывал: за Чардары не переходить, как сейчас, – то и назад.

– Нешто их теперь догонишь? Они, чай, уже за Гнилыми колодцами дуют.

– Одвуконь[2] беспременно.

– Что же, отдыхать, что ли?

– Чего тут в степи делать? На Дарью погоним…

Барантачи лежали, слышали все от слова до слова и ничего не понимали.

Батогов тоже все слышал – но он все понимал.

– Глазом моргнуть не успеешь, – прирежут, – лезет ему в ухо, а у голой шеи ползет что-то холодное.

– Един Аллах и Магомет пророк его… – шевелятся тонкие губы Сафара.

На горизонте показались три точки. Эти точки быстро двигались по направлению к реке. Казаки суетились. Те, кто слезли с лошадей, стали поспешно садиться.

Погоня разделилась: человек десять поскакали в объезд, остальные, рысью, пошли прямо к Дарье, быстро удаляясь от барантачей, свободно переводивших дух и даже приподнявшихся немного, чтобы удобнее следить за уходившими казаками.

– Это, значит, бита, – мелькнуло в голове Батогова, и ему ясно представилась дама червей с надогнутым углом и с потертым крапом. – Ну, не судьба, – произнес он громко, так, что Сафар обернулся к нему и удивленно посмотрел на пленника.

– Эге, – начал узбек, – это они за нашими лошадьми подрали.

Барантачи выждали, пока на горизонте не было видно ничего сколько-нибудь подозрительного, и тронулись дальше.

Часа через два ходьбы перед ними раскинулась необозримая, гладкая, как морская поверхность, степь. Это было преддверье бесконечной степи Кызылкум, которая отсюда на юго-запад тянется вплоть до самой Амударьи и до берегов Аральского моря. Редкий, остролистый ранг (род степной осоки) несколько связывал сыпучие пески, кое-где торчали высокие стебли прошлогоднего ревеня. По небу бежали маленькие дымчатые облачка; далеко, на горизонте, тянулась голубая, зубчатая линия Нурытан-тау.

IV. ПОЦЕЛУЙ

По мере того, как солнце подымалось все выше, жара становилась все невыносимее. Знойная мгла сменила прозрачность утреннего воздуха, и горячий воздух дрожал, протягивая вдали колеблющиеся линии миражных озер. Сквозь эту дрожащую мглу все предметы принимали значительно большие

размеры: сухой стебель полыни, торчавший в тридцати шагах от путников, казался росшим вдали раскидистым деревом; кучки старого конского помета принимали вид нагроможденных в груды камней; едва заметный бугор поднимался горою, а неподвижно сидящий на нем степной ворон, словно гигантское привидение, медленно поворачивал направо и налево свою хищную голову. Вот он заметил приближение людей: медленно взмахнул своими сильными крыльями, медленно слетел, словно сполз, с песчаного бархана, мелькнул темным пятном, стелясь над самою землею, и тяжело опустился на оголенные верблюжьи ребра.

Тихо было в воздухе: свежий, порывистый утренний ветер сменила полная неподвижность, только вдали одинокая струя вихря, встретившись наискось с другою подобною, блуждающею струею, подняла винтом вороха легкой пыли, высоко вытянула этот дымчатый столб и, перегнув, понесла его в сторону, мелькая клубами оторванного перекати-поля.

Два волка выбежали из какой-то лощины, остановились, приподняв переднюю лапу, и, насторожив уши, потрусили собачьею рысью в глубину беспредельной степи.

Тяжело идти пешком в этих ватных халатах, заправленных к верховой посадке. Сафар давно уже бросил свой мультук с раструбом. Остальные поснимали с себя клынчи и пояса и навьючили все это на спину Батогова.

Пот струился по чумазым, лоснящимся лицам, липкая, густая слизь склеивала растрескавшиеся губы, и все чаще и чаще спотыкались усталые ноги.

Жажда усилилась. До Гнилых колодцев было еще далеко, а солоноватые затоны давно уже остались сзади, и кругом, куда только ни хватал глаз, все была мертвая сушь, и даже вся зелень исчезла, выжженная почти отвесными лучами солнца.

– Кабы воды немного, – сказал кто-то.

– Эх, не напоминай, – крикнул узбек, – что, или приставать начинаешь? – заметил он Батогову, который сильно споткнулся и чуть не упал под своим тяжелым вьюком.

– Дойду, небось, – ответил Батогов. Он понимал, что беда ему будет, если он ослабеет прежде своих мучителей. Его не понесут на руках, а просто-напросто бросят посреди степи, да это еще бы не беда, а то, что не всего бросят целиком, а голову унесут с собою – все-таки трофей, а за подобные трофеи, кроме славы батыра, бухарский эмир Музафар дает по цветному халату (награда весьма почетная) да вдобавок по золотому тилля[1] (также не безделица).

Не жаль было расстаться с жизнью – она не больно красна была в данную минуту, но надежда на побег, на какое бы то ни было избавление, поддерживала силы Батогова. Да, кроме того, крепкая натура пленника не скоро поддавалась всяким толчкам, моральным и физическим, к числу последних относились и те почти непрерывные подхлестывания нагайкой, которыми, от скуки, должно быть, забавлялся сзади идущий барантач.

– Эй! Сафар! – крикнул впереди идущий.

– Ну, – отозвался Сафар.

– Ты что видишь?

– Где?

– Во впереди, прямо напротив… видишь?

– Камень, должно быть.

– Человек лежит.

– Нет, это халат верблюжий брошен, – сказал узбек.

– Нет, что-то очень велико… верблюд дохлый.

Путники тем временем ближе подошли к странному предмету. Обманчивая мгла сильно изменила как размеры, так и самые формы лежавшего…

– Куржум (сумка), – крикнул узбек первым.

– А в куржуме дыня, та, что я, помнишь, взял в кишлаке, – сказал один из джигитов.

– Эк куда твоя лошадь забежала!

– Нет, передние потеряли, сумка-то не твоя.

– Не моя – что же там?

– Круглое что-то…

– Тащи.

Вытащили это круглое. Тот, кто тащил, ухватил это круглое за уши и поднял кверху.

– Ишь ты, – сказал Сафар.

– А что, с твоей будет пара? – обратился к Батогову тот, который держал в руках круглое, и быстро поднес это к самому лицу Батогова. Тот отшатнулся.

– Или не узнал? – хрипло засмеялся джигит.

Батогов отворотил свое лицо и сплюнул: в него пахнуло протухлым мясом.

Он узнал эту голову, узнал эти глаза, полуприкрытые, мутные, словно застывшее сало, эти щеки угреватые, эти усы, взъерошенные, рыжие…

Рука, державшая голову Брилло, прихватила большим пальцем за левую щеку и вздернула ее кверху: страшное лицо засмеялось, наискось оскалив позеленелые зубы.

– Ну, не отворачивайся! – крикнул джигит Батогову. – Юнус, держи его, что он вертится?

Юнус схватил сзади Батогова за уши, так точно, как тот джигит держал голову Брилло.

– Целуйтесь, собаки, целуйтесь… Давно не видались…

Батогов чувствовал, как какая-то страшно вонючая, холодная масса плотно прижалась к его лицу… у него зазвенело в ушах, в глазах стало темно: земля вдруг стала уходить из-под ног. Он упал…

– Постой, не режь, может, очнется, – чуть слышится Батогову.

– Зачем дурить было?

– Да ну, не тронь.

– Что ж тут с ним стоять на месте?

Батогов очнулся и открыл глаза. Прямо перед ним сидел на корточках джигит, одною рукой нажал он ему лоб, а в другой держал нож и раздумывал о чем-то. Остальные стояли вокруг.

Батогов судорожно рванулся и, несмотря на то, что руки его были связаны, быстро вскочил на ноги. Джигит отшатнулся и упал. Все захохотали.

– Говорил – очнется, – произнес Сафар.

– Очнулась собака, – крикнул, поднимаясь на ноги, упавший и вытянул Батогова плетью.

Пошли дальше. Это был день тяжелых испытаний. Раза два совсем изнемогавшие путники садились отдыхать, но какой это был отдых? Под жгучим солнцем, без капли воды… К вечеру, наконец, завидели чуть черневшуюся вдали точку, в которой Сафар узнал маленькую мулушку над степным колодцем.

Вид этой точки, мало-помалу выраставшей перед глазами, поднял немного дух беглецов, и они даже шагу прибавили, приближаясь к желанной цели.

V. ГНИЛЫЕ КОЛОДЦЫ

На всех караванных путях, пересекающих необозримые степи Центральной Азии, встречаются местами оригинальные каменные сооружения, цель которых обозначать степные колодцы и цистерны и предохранить их от песчаных заносов. Сооружения эти достигают колоссальных размеров, и тогда они служат пристанищем для путников, которые, свободно размещаясь под сводами строения, защищены в нем и от дождя, и от снега в зимнее время, и от порывов свободно разгуливающего по степям холодного ветра. Эти последние постройки называются арабатами, то есть дворами, куда можно завести арбы (повозки), хотя чаще они служат приютом для четвероногих повозок – верблюдов и лошадей, так как на многих караванных путях двухколесная арба составляет более чем редкое явление.

Бог весть, когда и кем строились эти здания. Современный туземец – бродячий кочевник или заезжий торгаш при караване – разинув рот, осматривает это гигантское сооружение и недоумевает: человеческими ли руками возведены эти просторные своды, эти арки, в которых, не нагибаясь, можно проехать на самом высоком верблюде, и, по простоте своей, относит все это ко времени и деятельности великого Тимура – личности, давно уже принявшей гигантский, сказочный образ.

Каких усилий, какой массы рабочих рук потребовалось бы, чтобы приготовить запасы этого темно-коричневого квадратного кирпича, о который тупится и ломается железо! Сколько верблюдов нужно, чтобы развезти его по бесконечным караванным путям! Сколько времени нужно, чтобы из этого

кирпича сложить стены и своды мулушек и арабатов. А к тому же все они так давно строены, что никаких следов не сохранилось, который раньше строен, который позже: разницы в сотни лет слились в общем итоге, и вот слагается легенда, что «герой хромоногий»* в одну ночь разбросал по безводным степям эти спасительные постройки.

На далеком расстоянии видны туманные очертания этих куполов и, как маяки, направляют они одиноких всадников, рыскающих по-волчьи без всяких дорог по степям, направляют и караван, когда первый снег ровным покровом затрусит широкий караванный путь. И в темную ночь далеко-далеко видно зарево над кострами, разложенными под сводами арабатов, и красными полукругами рисуются гигантские освещенные арки, в которых, словно злые духи, мелькают черные тени.

И чтит азиат эти грандиозные «Тимуровы жилища».

Та небольшая караванная дорога, на которую выбирались барантачи со своею жертвою, давно уже утратила торговое значение и опустела. Редко когда по ней тянулись небольшие караваны, около десятка вьючных животных, не более, – и то больше или напрямик возвращавшиеся кочевники, уже сдавшие товары в торговых пунктах, или же корыстолюбивые контрабандисты, желавшие избежать необходимости платить зякет (таможенные пошлины), чаще же всего темные, подозрительные личности, шатающиеся по степи без какой-либо определенной цели (эта цель сама набежит при случае) и очень характерно отмеченные народным названием: каскыр-адам, то есть волк-человек.

На этом пути не было больших арабатов, как на дороге между Чиназом и Джизаком, у Ирджара и так далее, – и только сводчатые, ульеобразные мулушки обозначали водные резервуары[1]. Да и эти мулушки, никогда не поддерживаемые и, вероятно, строенные с меньшею тщательностью, потрескались, позавалились, засыпали ломаным кирпичом и мусором колодцы; поросшие степною растительностью, они стоят одинокие, поблизости уже вновь вырытых колодцев; путники не всегда решаются подходить к этим подозрительным развалинам, из боязни наступить там на одну из бесчисленных фаланг, единственных обитательниц степных руин. Эти ядовитые пауки гнездятся в сырой тени развалин и выползают на поверхность греться на раскаленных солнечным жаром камнях.

Колодцы здесь очень глубоки и узки, длинная веревка с кожаным ведром на конце опускается в эту черную дыру и вытягивается назад помощью верблюда или лошади. Водопой идет чрезвычайно медленно, почему всегда скопляется много народу и скота, дожидающих своей очереди.

Когда путники подходили к Гнилым колодцам, они заметили, что громадная отара овец окружила водопой и густая пыль столбом стояла в воздухе, другой

---

* Тимур-ленк (Тамерлан) значит: железный хромой.

подобный же столб медленно приближался: это гнали новую отару; громкое блеяние десятков тысяч овец слилось в какой-то непрерывный стон и далеко разносилось по степи; в этом хаосе звуков резко проносились свист и гиканье чабанов (пастухов), которые, полуголые, с длинными жердями с крючком на конце, медленно шли, окруженные своими блеющими легионами.

Высокий, тощий, словно ободранный, одногорбый нар[2] тянул веревку с ведром; немазаный деревянный блок жалобно скрипел; крохотный, совершенно голый киргизенок, сидя на горбе верблюда, орал какую-то песню.

Осторожно подходили барантачи, хотя они и видели, что, кроме пастухов, никого нет у колодцев, но все-таки на всякий случай не пренебрегали мерами, обеспечивающими им полную безопасность. Как ни велика была жажда, усилившаяся от вида воды, но они не сразу пошли к мулушке и, не доходя с четверть версты, остановились и сели на корточки.

Так тигры, мучимые жаждою после кровавого пира, осторожно подходят к воде и припадают на землю, завидя красный свет костров, разложенных на берегу человеком. Хищник злобно рычит, щурясь на огонь, но в этом глухом рычании слышна другая, трусливая нота. Вода близка; вон она сверкает чрез чашу; слышны прибрежные всплески, прохладная сырость щекочет горячие ноздри: так бы вот и сунул морду по самые уши, полреки бы вылакал, думает полосатый разбойник, да вон эти… что у огня… вон один привстал, осматривается, другой сидит и в руках что-то держит; вон третий лежит на брюхе; и, нетерпеливо дергая усами, припав на передние лапы, совершенно вытянувшись на песке, ждет умное животное, когда же ему очистят дорогу? А то разве попробовать нахрапом? – думает тигр и начинает медленно, осторожно подползать, рассчитывая свой прыжок смертоносный. Берегись, человек, не зевай, посмотри-ка назад, на эти кусты камыша, то не ветер колыхнул белые, пушистые метелки…

И чабаны заметили приближение подозрительных личностей и подняли тревогу. Их набралось человек восемь, они собрались в кучу и смотрели, не спуская глаз с этих пяти человек, сидящих рядом, словно утки на отмели.

Сафар пошел один для переговоров.

– Да пошлет вам Аллах здоровья! – начал Сафар.

– Будьте здоровы и вы! – отвечал седой пастух, у которого у одного только и был в руках мултук с подсошкою.

– А наша дорога тоже к воде, – произнес Сафар.

– Вода для всех, – лаконически отвечал старик.

– Мы люди правоверные и зла вам не желаем.

– Аллах над всеми нами.

Сафар махнул рукою оставшимся, те встали и пошли вперед.

– А где ваши лошади? – начал, в свою очередь, старый пастух. Он сообразил, что вооруженные люди и в таких костюмах не могут ходить по степи пешком.

– Лошадей наших джульбарс угнал с ночлега.

– Да где вы были?

– На земле, где теперь Ак-паша сидит*.

Старик покосился на Батогова, совершенно измученного, лежавшего неподвижно на влажном песке, и тоже сообразил, в чем дело.

– Тюра или сорбаз?** – спросил он, кивнув на пленника.

– Тюра, улькун тюра***, – многозначительно отвечал Сафар, и добавил: батыр.

– К чилекскому беку везете?

– Там как Аллах укажет, – уклончиво отвечал Сафар.

– Все в его воле, – произнес старик и стал сбирать отару.

Между тем узбек и другой барантач вели переговоры совсем другого рода: результатом объяснений их с пастухами были кожаный мех с прокислым молоком и деревянная чашка.

Батогова совсем развязали, и он почти подполз к кожаному ведру с водою. Ведро было потрескавшееся, вода быстро просачивалась сквозь эти трещины и уходила в песок. Батогов вцепился в край ведра и пил, пил большими порывистыми глотками и жадно наблюдал за тем, как поверхность воды спускалась все ниже и ниже, и уже виднелся рубец, которым пришито было дно кожаного сосуда. Ему казалось, что мало будет этого ведра, он боялся, что ему не дадут еще, а жажда все словно усиливалась и, казалось, целого колодца мало будет для ее удовлетворения.

– Эй ты! – крикнул узбек. – Лопнешь, собака!

И он отбросил ногою ведро, которое покатилось в сторону.

Застонал Батогов и метнулся было за ведром, да почувствовал, что и взаправду – довольно: живот его страшно вздулся, и жажда прекратилась тотчас же, как у него отняли воду.

Он растянулся на песке, с наслаждением раскинув свои измученные руки, холодный песок благодетельно действовал на его настеганную спину.

Пастухи угоняли своих овец, и дробная топотня бесчисленных ног становилась все глуше и глуше. Барантачи уселись вокруг чашки с молоком и прихлебывали из нее по очереди. Пленнику тоже дали молока и потом снова связали на ночь. Через четверть часа все крепко спали, утомленные тяжелым переходом, не спал только Сафар, который сторожил, сидя на корточках и положив около себя оружие.

---

* То есть на земле, отошедшей во владение белого царя (Ак – белый, паша – царь). Так называют в Азии русского императора.

** Начальник или солдат?

*** Начальник, большой начальник, богатырь.

Старая мулушка, словно могильный курган, подымалась в темноте мрачною, давящею массою. Большая сова вылетела из черного отверстия, описала вокруг колодцев круг своим беззвучным полетом и тихо опустилась на вершину купола. Она повернула свою голову: две изумрудные, горячие точки заискрились на мгновение и погасли.

Невнятный, пронзительный крик, точно плач ребенка, внезапно нарушил тишину ночи, вздрогнули во сне суеверные дикари, и Сафар забормотал себе под нос какое-то заклинание.

– Ведь эдакие контрасты, – думал пленник, которому не спалось, несмотря на сильное утомление. – То перед тобою красивое женское лицо: ты обнимаешь молодое, свежее, упругое тело… через минуту рожа косоглазая, вонючая схватила, душит за горло, вяжет руки… Тьфу!..

Сумка, где спрятана была голова рыжего артиллериста, лежала неподалеку: круглые очертания резко выпячивались наружу, заразительный трупный запах пробивался сквозь густую шерстяную ткань куржума.

– Ишь ты! – уставился на нее Батогов. – Нас пятеро, а голов шесть… Удовлетворения требовал… на барьер…

Вспомнил Батогов окно в узком переулке, вспомнил он громкий крик испуганной красавицы, дикие вопли пьяных певцов… Записка Марфы Васильевны, вся как есть, со своим тонким, разгонистым почерком, с загнутыми строчками, с чернильною кляксою посредине, как-то особенно хитро сложенная, ясно представилась перед его глазами…

– И как это все живо сварганилось: раз, два, и всяк при своем месте: я – вот тут, он – вот там… – Батогов опять взглянул на куржум. – Она… Господи, спаслась ли она?.. Юсупка у меня молодец… Я помню, они уже на той стороне были… кони добрые – унесут. Эх, Орлик, Орлик, и мы бы с тобой удрали, коли бы только о своей шкуре заботились… Ну, значит, судьба!..

Далеко, в стороне, едва-едва слышались словно бубенчики, то затихали они, то снова мелодично звенели и, казалось, близились. Сафар прислушивался уже давно и даже раза два припадал на песок ухом.

– Да, положение скверное, – продолжал размышлять пленник. – Надежды на помощь, на спасение со стороны нет никакой. В степи не угоняешься за барантачами, а степь – вот она: широкая, тихая, стелется далеко во все стороны: туда ни одна нога европейца не прокладывала следа, там живут вольные люди, сами себе владыки… Да, сами-то вольны, а другим не дадут и понюхать этой воли. Все на привязи, как скотина вьючная: побои, проголодь, жажда, и впереди все одно и то же до самой той минуты, когда дохлого оттащат куда-нибудь в сторону от аула, чтобы не так уже в воздухе разило, и что не догложут днем собаки, то ночью докончат поджарые степные волки…

– Выкупят нешто: кто? Да почему узнают, где я, куда меня затащили? Если бы еще в Бухару, ну, пожалуй, там узнали бы, а как в степи?.. «К чилекскому

беку», – спрашивал пастух, – это бы недурно, все можно бы было как-нибудь подать весточку… Надо ждать, может, судьба и пошлет что-нибудь подходящее. Теперь на судьбу, а пуще всего на себя только и надежда: надо терпеть да дожидаться… Чу! никак сюда?..

Сафар, на всякий случай, будил товарищей.

Все слышнее и слышнее звенели колокольчики, уже теперь ясно можно было различить по звуку, что это те погремушки, которые навязывают на шеи верблюдам в караванах. Небо на горизонте чуть отделялось от земли тонкою светлою полоскою, на этой полоске выросли высокие черные тени, эти тени все росли и росли, по мере того, как звук усиливался.

Раскачивая своими длинными шеями, медленно подходили к колодцам навьюченные верблюды, на высоких седлах колыхались дремавшие фигуры в ушастых, остроконечных шапках.

Барантачи поднялись, подобрали свои пожитки и тихонько переползли за мулушку, перетащив за собою и Батогова.

Кто его знает, что там за люди с караваном? Все на всякий случай не мешает принять меры предосторожности.

По бокам каравана шло несколько пеших, у некоторых заметно было что-то вроде оружия. Передний верблюд остановился почти у самого колодца, опустился на передние колена, опустился и на задние, тяжело вздохнул и улегся совершенно неподвижно. Его начали развьючивать, за ним другого, а затем третьего, и через полчаса весь караван уже был развьючен и расположился на отдых. Эти черные фигуры в широчайших шароварах, непрерывно ругавшиеся то друг с другом, то с верблюдами, то даже с веревками, цеплявшимися своими многочисленными узлами, работали скоро свою привычную работу. Бог весть, сколько тысяч верст исходили они по этим степям, сколько тысяч раз развьючивали и навьючивали они снова своих терпеливых животных.

Сафар с узбеком пошли к новоприбывшим. Появление этих двух вооруженных фигур, так неожиданно появившихся из-за развалин мулушки, несколько озадачило караван-баша и его людей, и произошла суматоха.

Приветственная речь Сафара успокоила несколько подозрительных караванщиков, и начались переговоры, которые и тянулись почти до самого рассвета.

Караван-баш пожелал удостовериться, действительно ли их только четверо. Он обыскал кругом развалины, заглядывал вовнутрь мулушки, подробно рассматривал Батогова, и после этого осмотра переговоры пошли значительно успешнее.

В результате вышло то, что барантачам дали двух свободных верблюдов, и они пристроились к каравану, так как оказалось, что дорога их была одна и та же.

С каким удовольствием Батогов полез на горбы высокого старого верблюда: в эту степь, что раскинулась перед их глазами, подернутую косыми лучами восходящего солнца, уже не приходилось пускаться пешком, а все ужасы подобного путешествия были им уже испытаны накануне.

Караван собрался в путь с рассветом.

VI. КЛОПОВНИК

Томительным жаром пышет серое, раскаленное небо, по которому медленно ползет мутный, туманно очерченный шар.

Этот шар – солнце. Не то солнце, животворное, светлое, льющее свои лучи на зелень и воды, на крыши жилищ человека, на его обработанные нивы. Это другое солнце, злое, враждебное всему живому. Вода и ее испарения не умеряют его палящих лучей, и жгут они эти желтоватые, сыпучие пески, эти острые, скалистые вершины.

Смерть царит над дикими скалами: они охватили весь горизонт, высоко упираются в небо, теснят, громоздятся друг на друга и, сокрушенные своею собственною тяжестью, подточенные временем и горными вихрями, рушатся вниз, в эти зияющие, бездонные пропасти.

С суеверным ужасом смотрит наивный дикарь на ту черту, что отделяет горные вершины от серого неба, и кажется ему, что только гигантские зубы злого духа могли выгрызть эту мрачную ломаную линию.

А внизу, на самом дне извилистого ущелья, тонкою змейкою серебрится быстро бегущий ручей. Несколько чахлых, запыленных деревьев тесно жмутся к воде, словно спорят между собою за эти немногие, спасительные капли. Узкая, обрывистая тропа идет по дну ущелья, то она лепится карнизом по зазубринам скал, то спускается к самому руслу ручья, перебегает на другой его берег, опять взбирается на какой-нибудь кремнистый выступ, загородивший дорогу и воде, и людям своими обломками, и снова направляется к ручью, словно нарочно предоставляя возможность усталому верблюду помочить свои растрескавшиеся, покрытые роговыми мозолями ноги.

Крохотные, тесные сакли, сложенные из неотделанного, дикого камня, кое-где лепятся по обрывам, на плоских крышах бродят мелкорослые куры, потягиваются поджарые, вечно голодные собаки, ползают совершенно голые, покрытые коростою и лишаями, такие же вечно голодные дети.

Не люди – тени в лохмотьях бродят между этими человеческими жилищами, с виду больше похожими на птичьи гнезда. Дремлет ишак, лениво развесив свои длинные уши, жалобно блеет козленок, бесплодно теребя выдоенные сосцы своей матери, во все горло ревет ребенок, только что укушенный скорпионом, ревет – и в промежутках по-собачьи лижет свою больную руку.

А на самой вершине конусообразной горы, которая, словно сахарная голова, поднимается со дна котловины, виднеются зубчатые, полуразвалившиеся стены. Это остатки когда-то бывшей здесь крепости, защищавшей горный проход из степи в долины Бухарского ханства.

Спиралью поднимается дорога к этой заброшенной цитадели, и, кажется, далеко ли до этих чернеющих ворот, что между двух обвалившихся башен ведут вовнутрь разбойничьего гнезда, – но долго еще придется кружить

по извилинам тропинки, пока взберетесь на эту остроконечную вершину, и тяжело водит запаленными боками измученный конь, пока его всадник, слезши с седла, откидывает сухую тополевую жердь – единственное препятствие ко входу.

Караван, гуськом, верблюд за верблюдом, медленно тащился по ущелью; вьюки поминутно цеплялись за острые выступы скал, особенно в тех местах, где с одной стороны дорога висела над крутым обвалом; робкие животные жались к противоположной стороне и рвали о камни полосатые тюки. Верблюдовожатые перебегали от одного верблюда к другому, выручая их из беды; караван-баш (глава каравана), совершенно черный в мохнатом бараньем малахае, сидя на горбах переднего верблюда, пронзительно ругался и по временам издавал дикие, громкие, ободрительные вопли, вероятно, имевшие на верблюдов магическое действие, потому что, после каждого подобного возгласа, длинные шеи подымались, головы, увешанные цветными кисточками и погремушками, глупо, вопросительно смотрели, ворочаясь по сторонам, и животные поддавали ходу.

Не доходя подножия сахарной головы, караван остановился: началась обычная работа развьючиванья.

Батогова сняли с верблюда. Сафар с узбеком переговаривались о чем-то шепотом, поглядывая на пленника.

– Пускай лучше тут побудет пока, – говорил Сафар.

– Стеречь нужно, – говорил узбек.

– Ну, конечно.

– А *там* лучше, *оттуда*, небось, не вылезет.

– Куда они еще меня хотят запрятать? – грустно подумал Батогов, которому слышна была большая часть совещания.

– А как не выдержит?

– Этот крепок.

– Того, раз, помнишь, всего на сутки спустили, а околел.

– Этот не околеет, да ведь мы скоро вернемся.

– Смотри, чтобы не вышло по-моему. Четвертые сутки возимся с ним, а сдохнет – какие барыши будут?

– Что же, этим, что ли, отдадим его?

Узбек покосился на киргизов, все еще возившихся около своих верблюдов.

– Хороши сторожа: тогда только его и видели.

– Да ну, пожалуй, спустим, – согласился Сафар.

– Спустим, – подумал Батогов и задрожал всем телом от невольного ужаса, охватившего его при одной только догадке, куда это собираются его засадить.

Он знал о существовании особого рода подземных тюрем[1], вырытых в виде грушевидного колодца с узким отверстием наверху. Кто раз попал туда – оттуда, без посторонней помощи, не выберется: руками не прорыть эту

кремнистую земную толщу, кверху не выползешь по этим выгнутым, сыпучим стенкам, и воздух, и свет едва проникают туда в одну небольшую дыру. Гниль и нечистоты густым слоем накапливаются на вонючем дне, мириады паразитов кишат в этом тесном пространстве, никогда, со времени начала своего существования, не очищавшемся.

Только азиатская лень и крайнее пренебрежение к участи и даже жизни заключенных могли изобрести эти адские тюрьмы. Да, в них, действительно, сторожить не надо. Можно совсем забыть о спущенном туда пленнике, можно даже забыть принести ему пищи и воды. Ну что за беда, если околеет? разве ждут от него больших барышей – ну, тогда, пожалуй, вспомнят и снова вытащат полумертвого на свет Божий.

Батогов вспомнил о страшных клоповниках…

– Нет, лучше умереть, лучше пусть убьют теперь же…

Он подумал, что если броситься на своих мучителей, то кто-нибудь из них в азарте пырнет его кривым ножом под ребра, и конец всем истязаниям.

Он сильно рванулся: глубоко врезались в тело веревочные петли, затрещало что-то, но волосяной, туго перевитый аркан был крепок и выдержал это отчаянное усилие.

Изумленно посмотрели барантачи на этот неожиданный порыв.

– Не хочет, – произнес узбек и засмеялся.

Батогова повели наверх к остаткам цитадели.

Два или три старика, худые, как скелеты, в грязных бумажных чалмах, выползли из своих сакель и сели на корточки… Дети со всех концов кишлака сбежались и столпились у дороги, несколько женских закутанных фигур мелькнули на ближайших крышах, подползли к самому краю и смотрят, но все это глядит совершенно равнодушно: какое им дело до этих верблюдов, что пришли Бог весть откуда, какое им дело до того, что спрятано в этих полосатых тюках, какое им дело, что за люди такие в кольчугах, вооруженные, в оборванных красных халатах, ведут наверх кого-то, совсем почти голого, изнуренного, покрытого кровью и грязью человека! Только и заметили они, что голова у этого человека не обрита, как у мусульман, и скомканные, взъерошенные волосы топорщатся во все стороны, растрепалась и сбилась колтуном густая борода, и распухли от перевязок скрученные за спиною руки.

– Русская собака… – только и прошептал один из стариков, а другие даже и того не сказали, следя полусонными глазами, как четыре красные и одна белая фигуры все выше и выше взбираются по тропинке, – то исчезают, когда дорога заворачивает на другую сторону горы, то появляются снова, когда она огибает эту сторону.

Вот и ворота старые. Одна половина висит наискось, доски выломаны, косяки сгнили, и густым слоем бурой ржавчины покрылись железные петли. Другой половинки и вовсе нет: ее давно уже разобрали на разные домашние нужды.

Черные, закоптелые дымом пятна на стенах показывают места, где когда-то стояли котлы для варки пищи. Перегоревшие, обратившиеся в пыль кучи конского навоза лежат вдоль осевшей, вот-вот готовой рухнуть стены: тут, значит, стояли лошади небольшого гарнизона, вот даже и выдолблены ямки в стенах, куда им рассыпали ячмень и рубленую солому. Дохлая собака лежит, оскалив зубы, словно рычит на тех, кто осмелился прийти в это проклятое место. Тысячи ящериц, серых с красными брюшками, быстро ползают по стенам, по кучам мусора, перебегают дорогу и прячутся в бесчисленных трещинах, едва только заслышат тяжелые шаги уставших от крутого подъема барантачей.

Два орла-стервятника высоко носятся и кружат над развалинами, с глухим, перекатным стуком катится вниз сорвавшийся с высоты обломок.

В самый задний угол цитадели забрались барантачи.

– Должно быть, здесь? – сказал узбек и внимательно осмотрелся кругом.

Высоко, почти под самые облака, забралось это старое разбойничье гнездо. За окрестными горами, в промежутках зубчатых вершин, можно было видеть темно-синюю, холмистую даль, по ту сторону Нуратын-Тау. Там было Бухарское ханство.

Солнце спускалось, и по низам ложились туманные тени. Белые клочковатые облака быстро неслись, цепляясь и дробясь в этом лабиринте торчащих, причудливых скал.

– Вон и веревка брошена, – заметил один из джигитов.

– Совсем гнилая, – сказал Сафар. – Ишь, как рвется: она и козленка не выдержит.

– Вдвое сложим, а то на Юнусовой чалме можно.

– Коротка.

– Ну, чего коротка? Распускай!..

Шагах в четырех зияла черная дыра. Синеватый пар вился над нею, и в нос шибало едкою вонью.

Батогова подвели к отверстию. Ему развязали руки и продернули веревку под плечи.

Батогов пытался сопротивляться.

– Да ну, не упирайся! – крикнул узбек и сильно наддал в зад коленом.

Он звал на помощь… Кого?..

У него в мозгах помутилось.

– Спускай!

Батогов повис. Его спустили…

Он спустился на что-то мягкое, он ощупал это мягкое и метнулся к стене.

В непривычном мраке зрачки страшно расширились вследствие сильного нервного возбуждения, они сверкали фосфорическим блеском.

Полуголый, с волосами, стоящими дыбом, с всклокоченною бородою, плотно прижался Батогов к стене, словно хотел продавить ее этим нечеловеческим усилием.

Он был ужасен в эту минуту.

Как раз посредине, в том самом месте, где на дне ямы рисовался светлый круг верхнего отверстия, лежал совсем уже разложившийся труп. На этом трупе копошилась какая-то живая, белая масса, словно он весь был обсыпан вареным рисом, но каждое зерно этого адского плова двигалось, каждое зерно имело маленькую, поворотливую головку, каждое зерно жрало то, по чему ползало.

Липкая, зеленоватая грязь стояла на дне: босые ноги уходили в нее почти по щиколотку.

Вверху длинноногие пауки дружно затягивали отверстие тонкими нитями: они спешили починить то, что Батогов прорвал своею тяжестью.

Они, казалось, говорили несчастному: «Вот мы заделаем снова эту дыру… ведь тебе, друг, тут и оставаться».

Серые стены начали покрываться красноватым налетом, словно бесчисленные капли крови просачивались сквозь трещины, приступая к поверхности.

Солнце, должно быть, садится, потому что мрак сгущается и уже чуть видны вверху очерки провала.

Батогову жгло всю спину, жгло затылок, жгло ноги, все ниже и ниже, казалось, что стены накаливались. Жидкий огонь быстро распространялся по всему телу. Он махнул руками… Его обдал спиртуозный, типичный запах раздавленных клопов.

Миллионы голодных паразитов, вызванные из стен наступающею ночью и запахом живого тела, атаковали несчастного.

Батогов неистовствовал. Он судорожно скреб ногтями тело, стараясь избавиться от нестерпимого зуда, он терся о стены, валялся в грязи, выл диким, неестественным голосом и с размаха колотился головою о стены. Но податлива была мягкая земля, и с каждым ударом обсыпалась мелкая пыль, набиваясь в рот, нос и уши бесновавшегося.

Его словно обливало горячим жиром, но каждая капля этого жира была воодушевлена, каждая капля дышала неистовою злобою.

Борьба немыслима: мириады отдельных, ничтожных сил сокрушили могучую силу человека.

И слабело с каждою минутою это изможденное тело, душил нестерпимый запах. Тише и тише становились раздирающие вопли, повисли руки, не сопротивлявшиеся более этому живому, медленному огню…

– Смерть!.. – чуть простонал Батогов и ничего уже не слышал, не чувствовал.

На дне клоповника лежало два трупа. Один – пожирался могильными червями, другого – обсыпали клопы.

– На, жри! – крикнул сверху голос узбека.

Кусок какой-то снеди шлепнулся на дно: Батогову дали ужинать.

Неумышленная, но злая ирония!

Трудно есть тому, кто стал пищею.

VII. В СТЕПИ

Караван спускался медленно, со всеми предосторожностями. Этот скалистый, обрывистый путь, местами промытый горными водами, представлял вьючным верблюдам гораздо более затруднений, чем относительно пологий подъем.

Дно ущелья становилось все виднее и виднее, по мере того как путешественники спускались ниже, лепясь и цепляясь по склонам, взбурованным поперечными расселинами.

Сквозь клубы пара, извивавшиеся на этом мрачном дне, сверкали блестящие струйки ручья и белелись отдельно разбросанные точки: то были обглоданные начисто и выветрившиеся кости верблюдов и лошадей, сорвавшихся с крутого обрыва. Исковерканные, растрепанные остовы животных виднелись и на склонах ущелья: эти зацепились налету за выдающиеся камни или же засели плотно в узкие трещины.

Сколько веков накоплялись на дне эти печальные останки, красноречивые свидетельства трудностей Ухумского перевала!

Озабоченно брели киргизы около верблюдов и внимательно рассматривали, словно изучали, всякое препятствие, которое попадалось им на пути.

Вот неожиданный поворот. Киргиз сузился до последних пределов возможности. Слева поднимается нависшая, вот-вот готовая рухнуть скала, справа – сыпучий скат, поросший частым кустарником горного миндаля.

Соразмеряя каждый шаг, словно ощупывая ногами неверную дорогу, ступают тяжелые животные… Прошел один верблюд, прошел другой. Вот еще из-за скалы показывается глупая лохматая голова, вся увешанная яркими кисточками. Мозолистая, длинная нога с двойным копытом осторожно ступает, верблюду кажется, что камень, на который он хочет ступить, пошатнулся… Минута нерешительности. А между тем переднее животное тянет, волосяной аркан натянулся, как струна, костяной крючок, продетый в ноздри верблюда, режет и рвет ему нос, сзади одобрительно щелкает нагайка, и щелкает с разбором, поражая самые чувствительные места, не прикрытые облезлою шерстью.

Крошечный камешек сорвался откуда-то и покатился вниз, дорогою он зацепил еще несколько таких же голышей, и защелкали они, прыгая между кустами.

С шумом вылетела стая серых горных куропаток, выгнанная из-под корней миндаля этим каменным дождем.

Дрогнул верблюд и заревел с перепугу, нога у него сорвалась, он скользит… Вырвался из ноздрей окровавленный крючок… Неколько голосов тревожно крикнули: берегись!..

Громадная масса, обрывая на своем пути камни и кусты, поднимая тучу пыли, быстро сползает все ниже и ниже… Вот и край обрыва. Масса исчезла. Несколько мгновений – глухой удар, словно далекий пушечный выстрел, доносится со дна ущелья.

– Э-эх! – крикнул киргиз, прижавшись к стене, разинув рот, испуганно глядя вниз сквозь эту пыльную тучу.

Жалобно ревут верблюды, обескураженные участью своего товарища.

Медный котел оторвался от вьюка во время падения, зацепился и висит над обрывом. Ярко блестят в глаза его полированные бока, он близко, а достать невозможно: поди сунься, и сам туда же оборвешься.

Жадными глазами смотрит караван-баш на эту яркую массу, драгоценность кочевой жизни номада.

– Э, атанауззинсигейк! – произносит он свою характерную брань, и караван трогается далее.

Сафар и узбек где-то за эту ночь раздобыли себе лошадей, у Сафара конь еще ничего – ездить можно: запален немного и крив на один глаз – а то бы совсем была лошадь, а у узбека и смотреть не на что: чуть плетется на своих разбитых ногах, и всю дорогу хозяин ведет ее в поводу. Прочие двое и таких себе не достали: идут пешком по-прежнему и все держатся около того верблюда, что идет сзади всех почти без вьюка, только продолговатый тюк покачивается у него сбоку, и от этого кошемного тюка сильно пахнет кунжутным маслом.

Подъезжал и Сафар к этому тюку, если дорога становилась шире и можно было подъехать с боку, он заглядывал, приподнимая свободно висящий конец кошмы, и ободрительно произносил: «Ничего, поправится…»

– Эк, как всего вымазали, – думал про себя Батогов. Он уже с час как очнулся, и тело его страшно горело. Холодный горный воздух освежил его, и он висел, как в люльке, завернутый в прокопченную кошму, захваченную в селении Сафаром.

Горы оставались мало-помалу сзади, и перед ними развертывались холмистые равнины, в правой стороне сверкала белая, словно покрытая снегом, бесконечная полоса Туз-куль (Соленого озера).

Едва только караван выбрался из горного ущелья, узбек, который и прежде еще выказывал сильное беспокойство, подъехав к Сафару на своем безногом, сказал:

– То не джигит, то сам шайтан был.

– Джигит, – лаконически отвечал Сафар.

– Куда он пропал? Он просто провалился…

– Туда поехал.

И Сафар показал рукою вперед.

– А следы где?

– Там на камнях не видно было…

– Он одвуконь был, и рожи я не успел разглядеть под шапкою…

– Я разглядел кое-что другое…

– Что?

– Эх, кабы не джульбарс, – начал Сафар таким тоном, как будто говорил не с узбеком, а так, раздумывал вслух. – Эх, кабы не джульбарс! А я такой лошади давно уже не видывал, как тот гнедой, что мы у него взяли. – Сафар тронул рукою поверхность тюка с Батоговым, около которого ехал все время. – Он был много лучше наших коней… Да, ну! спотыкайся, собака!

Джигит вытянул плетью свою жалкую лошаденку.

– Да ты к чему все это говоришь?

– О коне-то?

– Ну да.

– Тот был гнедой, на лбу лысинка, правая задняя белоножка, тавро – круг, а в кругу вилка…

– Ну?

– А у того джигита в поводу был тоже конь гнедой, на лбу лысинка, правая нога задняя белая, тавро…

– То-то мне самому показалось…

– А вон и следы, видишь?

И Сафар указал на крепком корообразном слое солончака легкий отпечаток конского копыта с русскою подковою.

– Он вперед нас проехал, – произнес задумчиво узбек, – вон к озеру повернул, к степям.

– Воды хочешь? – отнесся Сафар к Батогову, который, высунув голову, глядел, прищурившись, вдаль.

– Дай воды, – сказал Батогов, – да чего-нибудь есть дай…

Под влиянием свежего воздуха у него, истощенного страшными мучениями в клоповнике, пробудился усиленный аппетит. При виде одного киргиза, жевавшего что-то на ходу, у него заворочались внутренности. Он вчера весь день ничего не ел, сегодня тоже, несмотря на то, что время близилось к полдню.

Сафар протянул ему русскую бутылку, обшитую войлоком, и вытащил из куржумов несколько исковерканных лепешек.

– Я вот смотрю на наш караван, – начал опять узбек, – и думаю: всех с киргизами четырнадцать человек, два ружья, четыре шашки… пронеси Аллах счастливо!

Джигит томительно, с нескрываемой тревогою, приглядывался в ту сторону, где сверкала белая полоса, словно он оттуда ожидал чего-то враждебного, для чего придется пустить в дело и эти два жалкие ружья, и их шашки, и соединенную силу всех четырнадцати человек.

– Ничего, – произнес Сафар, – только бы нам до Тюябурун-Тау* добраться, а там мы все равно что дома.

– Гм, дома! Ты ничего там не видишь?

– Туз (соль) вижу, а дальше песок, а дальше…

– Вон там, между серыми барханами?

– Конный стоит.

Зоркий глаз барантача[1] отыскал на вершине далекого песчаного наноса, верстах, по крайней мере, в пяти по прямому направлению, небольшую, едва заметную точку. Мало того, в этой точке он узнал всадника. Узбек и Сафар видали, как эта точка словно распадалась по временам, от нее отделялась другая, несколько меньших размеров.

– Одвуконь, – сказал Сафар, – это тот джигит.

– Дьявол! – прошептал узбек.

– Чего же он стоит там? Я его вот уже с полчаса вижу.

– Я вот и сам все думаю: чего он там стоит? Эх, кабы нам добраться благополучно…

Заметил и караван-баш, заметили и все киргизы эту подозрительную точку и столпились все в кучу около того верблюда, на котором важно заседал, раскачиваясь на ходу, черномазый караван-баш.

– И чего *он* так все расспрашивал, что везут? – говорил один из них, вспоминая о том всаднике, который ночью проезжал горным селением и поил своих лошадей у ключа. – Ружье у этого джигита было какое-то особенное, в два ствола (у русских вот такие бывают), лошади обе хороши, особенно гнедой, что в заводе был. Рожа такая воровская: так и бегают волчьи глаза во все стороны, кажется, ни одного тюка не пропустил, все переглядел…

– Песню пел, когда поехал, я слышал, – заметил другой. – По ущелью далеко ветром доносит ночью-то.

– То-то всполошились чего-то: видно, тоже недоброе чуют? – Он кивнул на Сафара с узбеком.

Эта точка вдали, наделавшая столько тревоги, была действительно всадник. Этот всадник, дав отдохнуть своим лошадям в Ухуме, где он встретился с караваном, еще ночью выбрался из ущелья. Он свернул в сторону, как только позволила местность, и все время ехал в стороне, словно избегая торной караванной дороги.

Теперь он взобрался в бархан и, так же пристально, как его рассматривали все члены каравана, наблюдал в свою очередь за этою вереницею верблюдов, еле двигавшихся на горизонте, за этими всадниками, что вертелись около, за этими киргизами, что брели пешком, подгоняя своих верблюдов.

Особенно занимал всадника последний верблюд: с особенным вниманием он следил за всеми движениями Сафара и узбека. Он даже раз очень близко

---

* Небольшая горная цепь, отросток ближе к Заравшанской долине.

подъехал к каравану, его не заметили: кусты саксаула и глубокая водомойка[2], по которой пробирался джигит, совершенно его прятали от зорких глаз барантачей, а он видел много для себя интересного: он видел, как из того продолговатого тюка высунулась человеческая голова, и хорошо узнал это исхудалое, бледное лицо с глубоко впалыми глазами, узнал, несмотря на то, что оно было покрыто грязью, запекшейся кровью и совершенно сплошь исцарапано во время отчаянной, бессознательной борьбы с мириадами паразитов.

Под этим всадником был прочный, бодрый конь степной породы, не знающий устали под опытным наездником, в поводу у него был другой конь, действительно, гнедой, с лысиной, с белою ногою, с тавром, таким точно, как его описал Сафар.

Коня этого таинственный джигит раздобыл случайно: бегает в степи одинокая лошадь без всадника, седло у нее сбилось, поводья оборваны… Захрапел вольный конь при виде наездника, шарахнулся и понесся в беспредельное пространство, да вдруг услышал свист, свист знакомый, свист, к которому он давно уже привык и который он слышал и при водопое, и тогда, когда его сбирались седлать, и тогда, когда ему навешивали полную ячменя торбу.

Даже заржал конь от радости и, сделав два-три козла, подбежал к джигиту.

– Орлик, Орлик, – говорил джигит, лаская красивое животное, – что тут один делаешь? – У джигита голос дрогнул, словно ему заплакать хотелось. – А где твой тюра? Где Юсупкин тюра?..

Джигит гладил коня, ласкал его, оправляя исковерканное седло, тщательно осматривая его исцарапанные степною колючкою ноги, вытирая ему горячие ноздри полою своего халата.

Этот джигит, хотя и встревожил барантачей, возбудив их азиатскую подозрительность, сам лично не был опасен для каравана: что он один мог сделать с четырнадцатью человеками? Настоящая опасность действительно была, только совсем не с той стороны, откуда ее ожидали, и никаких признаков этой опасности опытный узбек и его товарищи даже и не замечали. Правда, Сафар заметил, что маленькое стадо сайгаков, далеко вот за теми солончаками, шло довольно спокойно и, должно быть, паслось по пути (эти быстроногие степные антилопы всегда пасутся, что называется, походя), да вдруг как кинется в сторону и понеслось большими скачками, почти не поднимая пыли своими легкими ножками.

– Должно быть, волки бродят, – заметил Сафар вслух.

– А что? – спросил узбек.

– А вон, ишь, как удирают.

А тот джигит, что стоял на далеком бархане, видел тех волков, от которых шарахнулись сайгаки.

Он видел, как человек десять всадников, держа пики наперевес, чтоб их не так было заметно издали, пробегали рысцою по берегу Соленого озера.

Со стороны каравана их отделяла гряда песку, нанесенного ветрами, и за этою грядою совершенно спрятались эти конные волки.

Джигита одвуконь они давно заметили да признали за своего, да и сам джигит не очень-то их боялся. «Ворон ворону глаз не выклевывает, – думал он. – А вон тех купцов они маленько пощипают: к тому и подбираются».

И с нетерпением джигит ожидал начала неизбежной схватки, подумывая: как бы не досталось в ней тому войлочному тюку, из которого высовывалась знакомая голова.

А тут еще надо было остановить караван: передний верблюд развьючился, и сползли тяжелые тюки, не поддерживаемые лопнувшей верейкою. Началась обычная возня, ругань, рев верблюда, у которого вся спина под седлом была общая ссадина… Сафар слез с лошади и начал возиться с походным кальяном: что, мол, напрасно время терять?..

Стало припекать по-вчерашнему, с гор тянуло освежающим ветром. Вдруг что-то щелкнулось в спину одного из купцов, который усердно, помогая зубами, натягивал вьючный аркан. Киргиз перегнулся, вскрикнул и присел на землю. Другой киргиз молча упал навзничь: этому как раз в середину лба угодило.

В песчаной степи слабо слышны ружейные выстрелы, зато гик, пронзительный, типичный, разбойничий гик так и резнул по ушам оторопелых караванщиков.

– Вы зачем народ бьете? – говорил старый караван-баш, сидя все еще на вершине верблюжьего вьюка. – Сила и так ваша: нам с вами не драться…

– Много вас очень – так больше для страху, – отвечал налетевший джигит, осаживая свою горячую, поджарую, словно борзая собака, лошадь. – С каким товаром?

– Всякого довольно, – говорил караван-баш апатично, будто дело совсем не касалось его интересов, и полез с верблюда.

Всех верблюдов сбили в кучу и положили в круг. Новые всадники спешились и пороли ножами вьюки. По костюму, по лицам они были совсем одинаковы с нашими барантачами, и Сафар со своими товарищами разве только тем и отличались от них, что спокойно стояли около верблюда с Батоговым, между тем как те поспешно шныряли между верблюдами и с жадностью разворачивали надрезанные войлоки, вываливая без разбора на песок все, что ни попадалось под руку.

Киргизы сидели поодаль на корточках и смотрели равнодушно на все, что происходило перед их глазами: раненный в спину громко стонал и всхлипывал, корчась и ползая по песку: никто не сделал к нему ни малейшего движения, а тот, которого в лоб хватило, так и лежал пластом, раскинув крестообразно ноги и руки, на том самом месте, где захватила его нежданная пуля.

Несколько барантачей подошли к Батогову, который с тревожным любопытством ожидал, чем все это кончится.

– Что, болен, что ли? – спросил высокий хивинец, обращаясь к Сафару.

– А тебе какое дело? – отвечал за него узбек угрюмо, с нескрываемым озлоблением косясь на подошедших.

Хивинец тоже взглянул на него из-под своей войлочной шапки и пробормотал:

– Ты никак из сердитых… Где взяли?

– А там, где им много заготовлено…

– За Дарьей?

– Из-под самого Ташкента.

– Ой, ой! Куда везли?

– Туда, куда везли, туда и повезем.

– Теперь с нами поедет.

– Он не ваш!

– А то чей же?.. Ты вон спроси-ка у него, – хивинец показал на Сафара, – у него борода белая: он умный.

– Наша сила была – наш был, – произнес Сафар. Он хорошо понял, что бороться невозможно, а надо покориться.

– Теперь ваша сила, – добавил он и отошел в сторону.

– Вы всех верблюдов с собой угоните или нам что оставите? – спросил караван-баш у всадника, который один только был в белой чалме, и хотя на нем халат и остальные части костюма были в таком же виде, как и у остальных членов шайки, зато аргамак его был покрыт роскошной ковровой попоной с золотою каймою и кистями.

– Там как Аллах укажет, – уклончиво отвечал всадник.

– А вы нам хоть четырех оставьте, что мы тут одни в степи пешие делать будем?

Все шло, по-видимому, так покойно, разговаривали, казалось, так дружески, что со стороны можно было подумать, что дело идет не о самом нахальном степном грабеже, а просто о торговой сделке, заранее предвиденной и происходящей в наперед условленном пункте. Только некоторый беспорядок, в котором находились распоротые тюки, всюду разбросанные куски канаусов, медная посуда, штуки ситцев и красного кумачу русских изделий, несколько голов сахару, одну из которых старательно облизывал лежавший врастяжку верблюд, да этот неподвижный труп, эта лужа крови, всасывающаяся постепенно в песок, – несколько намекали на настоящее значение этого дикого сборища.

– Ну, пойдем, что же тут нам делать? – сказал Сафар, обращаясь к угрюмому узбеку.

– Что же, так и оставить его даром? – отвечал тот.

– А ты спроси у них: может, они тебе заплатят?

Сафар усмехнулся.

– Я его зарежу, – шепнул узбек и шагнул к Батогову. – Все легче, чем так, ни за что отдать.

– Оставь, что толку…

– Э, да что тут.

– Оставь, беды наживешь… не тронь!.. Эй, там, береги!..

Узбек кинулся к тюку, сжав в кулаке свой нож. Предупрежденный криком Сафара, высокий хивинец загородил ему дорогу.

– Пусти – убью! – крикнул узбек и сильно толкнул хивинца. Он был в исступленном состоянии и уже не понимал, что ему не под силу борьба, которую он затеял. Хивинец схватил его за горло, взвыл и запрокинулся: он почувствовал, как в его кишки вполз кривой нож противника. У узбека захрустело горло, раздавленное судорожно сжатыми пальцами хивинца.

Сафар махнул рукою, взял за узду свою лошадь и пошел. За ним тронулись и остальные два барантача его шайки.

Их никто не задерживал. На них никто не обращал внимания.

Из всех тюков разграбленного каравана составили только шесть верблюжьих вьюков, четырех верблюдов оставили караван-башу и его работникам, уступив его просьбе, остальных гнали кучей порожняком. Всадники ехали вразброд, где попало, только человек пять из них составляли настоящий конвой около своей добычи.

С далекого бархана, наискосок тому направлению, которое приняли разбойники, спустился джигит одвуконь и ехал небольшой рысцою, по-видимому, совершенно равнодушно относясь к приближавшемуся с каждым шагом сборищу.

Он уже поравнялся с крайними всадниками: те поглядели на него – он на них, и поехали рядом. Подъехал к нему человек в большой чалме… Джигит произнес обычное «аман» («будь здоров») и приложил руку ко лбу и сердцу.

– Счастливая дорога, – произнес человек в белой чалме.

– Да будет и над вами милость пророка, – отвечал джигит.

– Ты что за человек?..

– Такой же, как и вы.

– Куда твои глаза смотрят? (Вопрос, равносильный вопросу: «Куда теперь едешь?»)

– Туда же, куда и ваши.

– Откуда?

– Бежал из-за Дарьи от русских.

Джигит одвуконь знал, что его оружие и русское седло на Орлике могут возбудить подозрение в барантачах, и своим ответом предупредил нескромные расспросы. Разговаривая с белою чалмою, он все ближе и ближе подбирался к Батогову, который ехал все на том же верблюде, и, наконец, стал совершенно с ним рядом.

Озадаченные, радостные глаза пленника перебегали то с Орлика на Юсупа, то с Юсупа на Орлика. Ему хотелось заговорить со своим джигитом, хотелось расспросить его о многом, хотелось обнять его, хотелось вырваться из своего тесного гнезда, но язык не поворачивался, мысль не складывалась в определенную фразу, порыв радости при такой неожиданной встрече парализовал физические силы. Только одни глаза говорили, но густая тень нависшего конца закопченной кошмы скрывала этот красноречивый взгляд, который, если бы был замечен бандитами, мог бы много повредить его верному Юсупке.

– Ты меня не знай, я тебя не знай, хорошо будет, – протянул, словно пропел Юсуп, глядя в противоположную сторону.

– Ты там по-русски петь научился, – заметила белая чалма.

– Поживи с этими собаками, не тому еще научишься, – отвечал Юсуп.

– У тебя тапанча* хороший, – сказал начальник, указывая на револьвер за поясом Юсупа.

Жаль было джигиту расставаться с оружием, да делать было нечего. Надо было наперед расположить к себе белую чалму, и Юсуп не упустил случая задобрить начальника банды.

– Шесть раз стреляет, вот и пули к нему, совсем готовый.

Он отстегнул пояс с револьвером.

– Я такой у самого Садыка видел, – заметил начальник, со вниманием рассматривая оружие. Несколько человек подъехали к ним, тоже подстрекаемые любопытством.

Человек в белой чалме снял с себя верхний пояс, украшенный двумя большими серебряными бляхами и каким-то светло-синим камнем, и протянул его Юсупу. Тот почтительно поднес подарок к глазам, к губам и к сердцу и тотчас же надел на себя.

Поменявшись подарками, Юсуп перевел дух: он теперь совершенно успокоился и знал, что ему уже нечего опасаться никаких случайностей, более или менее неприятных. Дружба его с белою чалмою была упрочена.

– А мы одну собаку с собою везем, – сказал начальник.

– Этого, что ли?

Юсуп небрежно кивнул на Батогова.

– Только не знаем, что за человек, – стоит ли с ним возиться? Может, дрянь какая-нибудь: простой сарбаз…

– Я погляжу на ночлеге, – важно произнес Юсуп, – я к этим свиньям пригляделся-таки и скажу вам, на какую он цену.

– Так-то бы лучше, – отвечал человек в белой чалме, прилаживая у себя на боку диковинное оружие.

---

* Тапанча – пистолет.

Верблюды, навьюченные вдвое легче, чем они были навьючены прежде, шли скоро, вперевалку, и всадники рысили… Шайка подвигалась быстро и все на юго-запад, оставляя за собою синеющее холмы, окружавшие Заравшанскую долину.

– В степи погнали, – думал Батогов. – Да теперь хоть на край света. Вдвоем с Юсупом мы что-нибудь да придумаем.

Близость человека, расположенного к нему дружески, человека, на все для него готового, успокоительно действовала на пленника. Надежда на избавление воскресла. Ему казалось, что это избавление близко.

VIII. ЛАГЕРЬ НА АМУДАРЬЕ

Знойный, удушливый день. В воздухе никакого движения. Ни одного облачка не скользит по небу, которое давно уже утратило свой весенний, темно-голубой цвет и, раскаленное, серое, постепенно сливаясь с горизонтом, пышет на землю тяжелым, расслабляющим жаром.

Желтые песчаные барханы тянутся непрерывными грядами, как будто наваливаются один на другой, и незаметно исчезают, сливаясь в знойном тумане.

Тощая растительность, бурая, как верблюжья шерсть, клочками выбивается из-под зыбкого песка, в корнях еще есть замирающий остаток жизни, но давно уже погибли наружные отпрыски, обкусанные неприхотливыми верблюдами, сожженные летним солнцем.

Широкою белою лентою стелется Амударья, эта мертвая река далекого неизведанного мира. Только куски камыша и беловатые пузыри грязной пены, быстро скользя вдоль берегов, указывают на движение этой, с виду неподвижной, массы.

Не шелохнутся мягкие метелки пожелтевших камышей, густыми чащами покрывших плоские берега. Над гладкою водною поверхностью не носятся речные чайки, давно уже отлетевшие к верховьям. Даже мириады комаров не шумят, как будто боясь нарушить общую тишину, и дымчатыми колоннами неподвижно стоят над водою.

В песках шныряют плоскоголовые ящерицы, но тоже без шума, воровски, прячась то под корнями колючки, то в глубоком, широко расползшемся двойном верблюжьем следу.

Все тихо и мертво.

А между тем тысячи живых существ раскинулись по берегу громадным лагерем.

С берегов Мургаба, от Мерва, от заливов Каспийского моря, из окрестностей Хивы и песков Кызылкума собрались полудикие кочевники. Не мирная перекочевка пригнала их к бухарскому берегу Аму, а в просторно раскинутых

ставках, занявших, насколько хватал глаз, низменный берег, не было ничего похожего на мирные степные аулы.

Грабеж и ловля в мутной воде рыбы – вот была цель этого сборища.

Смутное время стояло над Бухарским ханством. Для завистливого глаза русских мало их необъятного царства; они ворвались в самое сердце Средней Азии, заняли Самарканд, прошли в Каттакурган и во все стороны разослали свои отряды. Музафар не хотел этой войны: он знал заранее гибельные для него последствия ее, но его втянули в нее фанатики-муллы, которые пылкими речами разожгли легко увлекавшийся народ, и народ потребовал битвы.

Русских мало, кое-где между миллионами пестрых мусульманских голов белеют их небольшие группы, долго ли раздавить эту горсть? Эта видимая возможность, даже легкость победы так и тянет, так и подмывает к бою: но тяжело бороться палке против оружия, которое бьет уже тогда, когда напряженный глаз не может еще различить вдали приближающегося врага. А крамолы у мусульман, а личные их счеты, а недоверие их друг к другу, а желание подкопаться одному под другого – все это надежные союзники малочисленных русских, более надежные, чем даже их далеко бьющие ружья.

Там, из-за гор, грозит Шахрисабз со своими вассалами; враг русских, он также враг Музафара.

Сын поднялся на отца и ищет поддержки в народных массах, недовольных целым рядом военных неудач, потерявших доверие к самому правителю и видящих в новом лице надежду на новую, лучшую будущность.

Окрестные беки волнуются, не зная, чьей стороны держаться. В полях остановилась работа, прекратилась, и не двигаются караваны, боясь дорог, на которых кишат необузданные разбои.

Вот эти-то события и притянули с разных концов необъятных степей неуловимые, как степной ураган, разноплеменные шайки барантачей, видящих в грабежах и разбоях единственный исход своей дикой удали, единственную цель своего существования.

Длинная песчаная коса крутым углом поворачивала против течения и узкою полосою далеко тянулась вдоль берега. С другой стороны тоже тянулась широкая отмель. Отдельные группы камыша забрались чуть не до половины реки, и даже посредине она была светло-желтого цвета от сквозившего песчаного дна. Здесь был конный брод через Амударью, которым можно было пользоваться большую часть года. Иногда только самая линия брода изменяет свое направление, зыбкое дно двигается: оно то изгибается в виде буквы S, то прямо направляется на густые заросли противоположного берега, то на четверть версты тянется вдоль реки, а потом вдруг круто поворачивает на другую сторону.

Кочевники знают прихоти этого брода, да и с берега хорошо можно различить подводную дорогу по цвету самой воды и по гладкости ее поверхности.

По косе, сквозь густой береговой камыш, трудно было рассмотреть тонкие, прямые черточки, на концах которых висели пучки конских волос: это были длинные линии воткнутых тупым концом в землю туркменских пик. Издали они казались высокими, одинокими стеблями камыша, а волосяные навязки – его цветовыми метелками.

Около пик на железных приколах стояли, понурив сухие, маленькие головки, высокие, длинноногие кони, покрытые, несмотря на страшную жару, теплыми ковровыми попонами. Это все были жеребцы, при каждом приближении чужого человека они жались и злобно прижимали свои красивые уши. Они стояли просторно, некоторые, кроме поводьев, привязаны были за щиколотку ноги тонкой волосяной веревкой.

Хозяева молча сидели в кружках около самой воды; неподалеку тлели большие кучи золы, у которых шипели высокие медные чайники.

Почти никто не разговаривал. Из-под широкополых, остроконечных шляп из белого войлока едва заметны были смуглые, скуластые лица с жидкими черными бородами. Большой тыквенный кальян с железною сеткою и большим камышовым чубуком храпел и испускал густые клубы белого дыма, переходя из рук в руки.

Изорванные, когда-то цветные халаты у многих были спущены с плеч и драпировались у пояса, засунутые в широкие кожаные шаровары, вышитые сплошь яркими шелковыми узорами. На поясах гремели, при всяком движении, навешанные на тоненьких ремешках кремень, огниво, тонкий нож в чехле (псяк), квадратный кошелек для денег и нюхательного табаку и другие мелочи.

Оружие и уздечки, богато отделанные серебром с бирюзою, висели на копьях. Кое-где виднелись круглые щиты, выкрашенные синею краскою и отделанные золотыми монетами.

Это были черные туркмены[1] из окрестностей Мерва. Лагерь их стоял особняком от прочих. Угрюмые по характеру, они не любят якшаться с другими. Они не любят даже веселья, и к вечеру, когда уймется жгучая жара, свободно вздохнет прохладным воздухом все живое, у них так же тихо и угрюмо в лагере: не брякнет сааз*, не загудит натянутая кожа, разукрашенная цветными кистями бубна.

Убийцы для убийства, они в то же время очень разборчивы в грабеже.

Разметался по степи разграбленный караван. Караван-баш[2] конвульсивно ворочается на песке с перерезанным горлом. Те из проводников, которые сдались без сопротивления, сидят в одну линию на корточках, связанные по рукам сзади своими же чалмами. Всадники, сверкая кольчугами и оружием, сбивают в кучи перепуганных, разбежавшихся между песчаными буграми

---

* Сааз – круглая, дынеобразная балалайка с длинным, тонким грифом и четырьмя струнами.

верблюдов. Кара-тюркмены рыщут между сброшенными на землю вьюками. Все разбито, разбросано и валяется в беспорядочных кучах. Выбирается только самое ценное. Все же остальное бросается на произвол судьбы. Впрочем, лошади и верблюды угоняются все без разбора.

Кара-тюркмены отважны до самозабвения. Их сила в этой безумной отваге.

Случалось, что караван, в котором было до сорока и более проводников, отдавался без боя пяти-шести страшным наездникам, с пронзительным свистом налетавшим из-за поросших саксаулом барханов.

Под Зара-Булаком два черных тюркмена изрубили наших раненых в четырех шагах от батальона. Они поодиночке подскакивали к самому фронту, и часто ударом штыка отбивалась тонкая, гибкая, как хлыст, бамбуковая пика.

Музафар, начиная войну с нами, посылал им всегда почетные приглашения, называя их «любимым войском великого пророка»*.

Немного подальше от воды раскинулись киргизы, подвластные хивинскому хану. Некоторые пришли даже со своими семьями.

Между сделанными наскоро тростниковыми шалашами виднеются две или три желомейки, покрытые черными, прокопченными дымом кошмами[3]. Слышен плач ребенка и женские голоса.

Тесною кучею лежат полусонные верблюды, лениво протянув на песке свои косматые запачканные зеленоватою пеною морды. Неуклюжие седла и изодранные кошемные попоны никогда с них не снимаются. Спины под этими седлами покрыты кровавыми ссадинами, и бедное животное тяжело стонет и пронзительно ревет при каждой нагрузке.

Малорослые, стреноженные ремнями лошади бродят поблизости, скусывая жалкие остатки сгоревшей от солнца степной флоры. Большая половина лошадей тоже под седлами.

Едва дымятся там и сям разложенные костры, с плоских котлов сбегает беловатая пена и шипит, сползая по чугунным ножкам треноги. Здесь варится баранья похлебка (шурпа).

На свежесодранной шкуре два широкоплечих киргиза потрошат только что зарезанную овцу. Красная, подернутая жиром туша дымится.

Большинство спит в шалашах, из-под которых виднеются ноги, обутые в желтые и зеленые сапоги с острыми, обитыми железом каблуками.

В тени от желомейки сидит еще не старая, смуглая, как дубленая кожа, киргизка, с необыкновенно развитыми грудями, и чинит кожаные панталоны; толстая, изогнутая игла проворно шевелится в костлявых пальцах. Два совершенно голых ребенка, с отвислыми животами и полуобритыми головками, общими усилиями гложут большую кость, по-видимому, конскую.

---

* Послания эмира к амударьинским верхним кочевым племенам, найденные при занятии города Карши нашими войсками в 1868 году.

Где-то поблизости пахнет падалью.

Тощие, поджарые борзые собаки, пождав хвост и опустив свои острые морды, высунув от жара языки, уныло бродят по лагерю.

На самом припеке, покрытый с головою серою кошмою, стонет кто-то, ежась и всхлипывая: это – киргиз, которого вчера раздавило упавшим верблюдом. Это один из употребительнейших способов лечения: больных кладут на солнце и покрывают кошмами, где они потеют, пока не отправятся к предкам.

Собственно говоря, закон Магомета воспрещает присутствие женщин в военном лагере, исключение допускается только для пленниц. Но… где мы не встречаем этого удивительно растяжимого «но»? А вообще киргизы считаются не совсем хорошими мусульманами.

Раздвигая камыш, показалась атлетическая фигура: она едва движется, тяжело ступая по солончаку босыми ногами; большой кожаный турсук[4], в несколько ведер объема, нагнул ей широкую спину; через лоб перетянут ремень, а на лбу крупною сеткою вздулись багровые жилы. Черная, густая, вьющаяся, как барашек, борода доходит до половины груди, грязный пот струится по обнаженному телу. Это раб – шиит[5].

У самой желомейки он снял тяжелую ношу, тихонько опустил он ее на землю, а иначе может лопнуть тонкая козлиная шкура – и тогда на бедную спину посыпется град ременных нагаек.

Давно уже оторван он от далекой родины, он даже почти забыл ее. От своих хозяев он слышал в продолжение тридцати лет одни только понукания. Впрочем, его кормили почти ежедневно. Он уже совсем привык к этому, и кажется ему, что иначе быть не может. Никакой протест тут немыслим. Ведь он с виду только человек, а на деле он только вьючное животное. Жаль, что он не научился ржать, а упорно помнит свой звучный персидский язык и даже выучил дикие наречия своих хозяев. Ведь вот несообразность!

Раздался пронзительный крик: тюркмен-чодор[6] пырнул своим изогнутым ножом в бок какого-то хивинца. Раненый с криком присел на землю и корчится, кровь брызнула сквозь прижатые пальцы. Его обступило несколько товарищей по роду. Полное равнодушие на их плоских, скуластых, желтых, как охра, лицах. Они собрались потому, что все-таки новость, хоть какое-нибудь развлечение.

Чодор обтер свой нож, оправил свое узорное седло, с острою, как шпилька, передней лукою, и садится на горбоносого степняка. Один из хивинцев поддержал ему стремя.

Может ли быть какой-нибудь суд или разбирательство, когда всякий имеет полное право сам постоять за себя? Постороннее вмешательство в этом случае совершенно лишнее, да и кому какое дело до частных *«недоразумений»*?

В лагере, между прочим, были и беглые сарбазы* бухарского эмира. Вольную, хотя и исполненную лишений жизнь они предпочли *коронной службе* у бухарского владыки, а при постоянных поражениях, которые терпели бухарские войска, так много представлялось случаев к бегству, почти невозможному в мирное время.

Вот на разостланной узорной кошомке сидят двое из этих сарбазов. На них суконные красные куртки со стоячими широкими синими воротниками и обшлагами того же цвета, они не бросили еще своего регулярного платья, да и как бросить, когда под куртками только своя собственная кожа! Они едят изрезанную ломтиками дыню и запивают чаем из одной маленькой зеленой чашечки, тут же стоит медный кунганчик, закоптелый снизу.

Худая, изморенная донельзя лошадь, одна на двух, стоит, понуря свою лысую голову, на сбитом, гноящемся крестце роятся зеленые мухи.

Много еще разного народа стоит на берегу. Далеко сквозь камыши виднеются то люди, то лошади, то длинная верблюжья шея, даже на той стороне Аму поднимаются высокие столбы черного дыма, ясно говорящие о присутствии человека на этих в обыкновенное время мертвых, безжизненных берегах.

Зной дня приходил к концу. Багровый шар спустился к горизонту. Спокойная поверхность Амударьи вспыхнула красным заревом. Вся степь стала гораздо рельефнее: каждый бархан, каждая незначительная возвышенность бросали от себя длинные, синеватые тени; размытые водой трещины резко обозначались на солонцеватой почве; стебли камыша и его пушистые метелки горели как вызолоченные. Лошади, верблюды, сами владельцы их как-то ожили. Воздух наполнялся всевозможными звуками.

Все, казавшееся мертвым, оживила вечерняя прохлада.

На пологом возвышении разостланы большие пестрые и полосатые ковры. Вокруг тесно уселось многочисленное общество, те, кому не удалось попасть в первый ряд, сидят сзади, глядя через плечи передних, остальные стоят позади, не спуская глаз с центра круга.

Там стоит ребенок…

Ребенок ли это? Большие черные глаза смотрят слишком выразительно, в них видно что-то далеко не детское: нахальство и заискивание, чуть не царская гордость и собачье унижение скользят и сменяются в этом пристальном взгляде. Это глаза тигренка, но в то же время и публичной женщины. Красиво очерченный рот улыбается, показывая яркие белые зубы. На этом ребенке одна только, доходящая до земли, красная рубашка; ноги и руки до локтей обнажены. Он стоит совершенно неподвижно, опустив руки вдоль

---

* Сарбаз – регулярный солдат, пехотинец по оружию. Преимущество иметь постоянное регулярное войско остается за эмиром; и только очень немногие из беков позволяют себе эту роскошь, и то в очень ограниченном размере.

корпуса; из-под вышитой золотом красной шапочки спускаются почти до колен длинные, черные косы, скрашенные золотыми погремушками и граненым стеклом.

Заходящее солнце облило его красным светом, и вся фигура кажется огненною.

Этот ребенок – *батча*[7]. Имя ему – *Суффи*. Это имя известно за несколько сот верст в окружности.

В переднем углу, немного выдвинувшись вперед, сидели четыре музыканта. Перед ними стояли два чугунных горшка, на которых натянуты были бычачьи пузыри. Музыкант бил по ним тонкими длинными палочками, это слегка напоминало наши литавры. У двоих были медные рожки с дырочками на кронах, по которым перебирали пальцами, эти рожки издавали резкий, надтреснутый звук и, казалось, очень нравились слушателям. Трубачами оказались те самые два сарбаза, о которых мы уже говорили. Затем, у четвертого музыканта в руках был большой бубен, весь обвешанный цветными лоскутками и крошечными металлическими бубенчиками.

Музыканты разом ударили в свои инструменты. Суффи встрепенулся и медленно, как будто скользя, пошел по кругу.

Мотив пляски состоял из одного музыкального такта, повторявшегося бесконечное число раз, иногда темп ускорялся, иногда замедлялся, и слышны были только мерные удары в бубен и глухая дробь котлов. Потом вдруг раздался оглушительный рев рожков, которому вторили грубые голоса самих музыкантов.

Сначала танец заключался в плавном движении рук и головы: босые, стройные ноги едва ступали по мягким коврам, потом движения стали все быстрее и быстрее, круг уменьшался спирально, и наконец Суффи снова очутился в центре. Музыка затихла. Суффи, не сдвигая с места ног, сделал всем корпусом полный оборот и вдруг перегнулся назад, почти касаясь земли своею головою. Все тело изогнулось дугою, черные косы рассыпались по коврам, все изгибы груди, живота и бедер резко обозначались сквозь тонкую ткань рубашки.

Вся толпа оглушительно заревела. Музыканты грянули дикую ерунду. Суффи медленно приподнялся и, слегка покачиваясь, отирая пот рукавом, медленно вышел из круга. Когда он проходил сквозь толпу, на него со всех сторон сыпались самые цветистые комплименты, десятки рук хватались за него, его руки ловили на ходу и целовали их, целовали даже полы его рубашки.

В стороне лежал небольшой коврик, на который и сел отдыхать торжествующий батча, едва переводя дух и сняв свои накладные косы.

Усталого плясуна сменили двое других, звезды значительно меньшей величины. Потом Суффи снова появился на арене, и снова раздались оглушительные крики восторженных зрителей.

Когда совершенно стемнело, громадные костры из камыша, разложенные в разных местах, вспыхнули высокими огненными столбами и осветили все вокруг себя мерцающим пожарным светом. Быстро сгорел высохший камыш, пламя опадало, на несколько мгновений становилось темно, и потом все озарялось от подкинутых на огонь свежих вязанок.

На темном небе высыпали мириады звезд. Над рекою поднялся жидкий, словно кисель, туман. На воде расходились большие круги, слышались звучные всплески: какие-то большие рыбы подходили к самому берегу, привлеченные ярким светом разложенных костров.

Везде было шумно и, как кажется, весело, только на песчаной косе, где стояли кара-тюркмены, было по-прежнему тихо: едва мерцали небольшие огоньки, фыркали и жевали ячмень гордые жеребцы, и медленно двигались человеческие тени.

Долго еще не утихало в лагере. Днем успели все выспаться и пользовались прохладою ночи. Только к рассвету заснули самые неугомонные, и затихло уснувшее прибрежье.

Гайнула, хивинец, подложил себе под голову пук камышовых стеблей, случайно не попавших в костер, в этом пуке вдруг что-то зашуршало и сильно завозилось, отчего Гайнула проснулся и вышвырнул из-под головы беспокойный пучок.

Маленькая головка отделилась от камышового снопа, длинное тонкое тело извилось спиралью, быстро поползло дальше и скрылось под седло, валявшееся поблизости.

– Ишь ты, змея, – подумал Гайнула и вдруг показалось ему, что из степи словно донеслось далекое ржанье.

– Эй, Бабаджак! – крикнул хивинец соседу.

– Эге, – отозвался Бабаджак, не поднимая головы и лежа врастяжку.

Яснее послышалось ржание коня, да и не одного. Вот протяжно заревел верблюд, другой, третий. Далеко, но все ближе и ближе раздавались эти звуки: усталые, измученные продолжительной жаждой животные, видно, прибавили ходу, почуяв близость воды, и ревом выражали свое удовольствие. Вот и человек гикнул: пронзительный свист прорезался уже совсем близко.

– А ведь это наши, – сказал Гайнула Бабаджаку.

– Наши, – отвечал Бабаджак. – Это Кулдаш свистит.

Оба хивинца встали, подтянули пояса и пошли навстречу приближавшимся нашим.

– Эй! Какого там дьявола по ночам носит? – кричит кто-то, едва успев подобрать свои босые ноги из-под копыт наехавшего коня.

– Осторожней: видишь, человек лежит! – кричит другой.

– Заспались, кобыльи подхвостники*, – произнес всадник, пробираясь между спящими.

Мало-помалу прибывают всадники, ехавшие вразброд, поодиночке. Вот на светлом фоне утреннего тумана приближаются сбитые в кучу верблюды… Где-то костер раскладывают… Еще в нескольких местах вспыхивают яркие огни. Растет и растет светлая полоса на востоке…

– А Урумбай где? – спрашивает Гайнула у одного из прибывших.

– Зарезали твоего Урумбая.

– Ишь ты, собака, а лошадь его где?

– Лошадь с собою привели. А тебе что?

– Да он мне сорок коканов[8] должен…

– Это кто с вами? – спрашивает батча Суффи, подъезжая верхом на красивой лошадке.

– Где?..

– А вот, я видел, лошадей проваживает: одна лошадь из-под русского, должно быть?

– Это джигит-батыр, от русских из-за Дарьи бежал.

– То-то я его прежде никогда не видал, – заключает Бабаджак, приглядываясь сквозь дым костра к Юсупу, тихонько и совершенно спокойно проваживающему своих коней. Казалось, что ему положительно ни до чего не было дела: он был сам по себе, он приехал как будто бы к себе домой, он только случайно держался поблизости того верблюда, с которого снимали Батогова. Он говорил ближайшему джигиту:

– И что такого особенного в этих русских?.. Ишь как окружили, словно какую невидаль. Я довольно-таки нагляделся на эту дрянь.

– Ну, а другому и разу не пришлось видеть, – резонно отвечал джигит.

– Да, кто любит сидеть под кошмою, у себя в кибитке, тому, кроме своей бабы, ничего не видеть.

– Какие новости? – спрашивал один из прибывших старика в кольчуге, седлавшего лошадь.

– Да что, пока ничего не разберешь.

– Из Бухары не присылали?

– Присылали, да что толку: разве с нашими сговоришь? Если бы Садык был с ними, ну, тогда дело другое, а то каждый врозь.

– Вот наш подберет их.

Джигит кивнул на белую чалму, мелькнувшую вблизи.

– Кто… Аллаяр-то?.. Не такого нужно…

– Кто хочет к Казале идти, кто к Заравшану… Тюркмены сегодня хотели уйти, да у них что-то тихо, там, на косе-то.

Подошло еще человек пять: азиаты очень любят разговоры о политике.

---

* Буквальный перевод брани, считающейся у кочевников выражением крайнего презрения.

– Старик Осман говорил, чтобы пока не сметь русских за Дарьей тревожить, – сообщил киргиз из адаевцев.

– Кому это говорил Осман?

– Кому? всем, когда уходил к Каршам. Он же еще говорил хивинским: вы, мол, если у вас уж очень руки чешутся, у бухарцев по кишлакам пограбьте…

– Тоже добру учил твой Осман – у своих грабить!

– Какие же они свои?

– Правоверные…

– А нам чем жить-то?.. Вот весь прошедший год у Музафара служили, сколько народу у нас перебили русские, а что получили?.. Наобещал горы, а не дал ни чеки*.

– Ну, у вас-то немного попало под русские пули, тоже осторожность наблюдаете: близко-то не любите подъезжать.

– А под Зара-Булаком?..

– То не вы, а тюркмены.

– Мы тоже с ними были.

– Далеко ишаку до жеребца.

Два киргиза с трудом волокли на веревке большого сома, аршина в два с половиною – мокрое, лоснящееся тело громадной рыбы оставляло на песке широкую полосу.

– Где вытащили?

– А там, за косою. Всю ночь сторожили крючья. Два раза срывался, – отвечали рыболовы, едва переводя дух.

Несколько человек возились с лошадью, у которой одну ногу раздуло, как бревно, и животное понурило голову и смотрело неподвижно мутными от боли глазами, из ноздрей тянулась зеленая материя.

– Должно быть, змея укусила?

– Змея.

– Ну, сдохнет.

– Там, на косе, каких два жеребца вчера околело!

– Эй, сбирайся все к зеленой кибитке: Аллаяр говорить будет! – кричало по лагерю несколько голосов.

Толпа хлынула в ту сторону, где за верблюдами, уложенными в ряды, виднелась верхушка зеленой азиатской палатки. Там слышались литавры и рожок, маленькая медная флейточка наигрывала бойкие трели.

Когда взошло солнце, все было уже на ногах и на своем месте, только на косе уже не видно было угрюмых тюркменов. Кучки холодной золы, конский

* Чека – мелкая медная монета в одну треть нашей копейки.

помет и остатки корма пестрели на влажном от утренней росы песке. Всадников как будто и не существовало.

К вечеру два приехавших в лагерь киргиза говорили, что перед восходом солнца они встретили черных тюркменов в десяти ташах (восьмидесяти верстах) от береговой стоянки.

Кто угоняется за этими степными орлами, которые на своих ветрах-конях не знают, что такое расстояние?

Я слышал, что перед началом наших войн с Бухарою в 1868 году партия черных тюркмен прошла от Дерегуша (на персидской границе) к Чарджую (на Амударье) в двое суток. Тюркмены шли, конечно, одвуконь. Да они, впрочем, редко ходят иначе.

IX. СУМАТОХА

Дикий крик Юсупа, чужая лошадь, прижавшаяся вплотную, выстрелы сзади и гуканье наездников придали откормленному, флегматическому по своей натуре Бельчику и энергии, и силы. Быстро влетела эта оригинальная пара на вершину обрыва и, словно сросшаяся, понеслась по дороге к городу.

Юсуп успел только на одно мгновение обернуться и взглянуть вниз: ему показалось, что Батогов прорвался из этого круга, а значит, через секунду будет вне всякой опасности, разве пуля догонит его Орлика, а уж никак не эти усталые кони барантачей (Юсуп, еще в первую минуту атаки, успел заметить, что лошади неприятеля были значительно изнурены). Это было то мгновение, когда Батогов, ринувшись на разбойников, пытавшихся заскакать наперерез Марфе Васильевне, опрокинул ударом своего коня одного из них и, казалось, открыл себе этим выход. Но это только казалось. Печальной развязки свалки под карагачами не видел уже верный джигит и занят был исполнением последнего приказания своего господина: «Спасай марджу!»

Еще раз оглянулся назад Юсуп. Далеко позади тянулась дорога, ничего на ней не было видно, только клубы пыли, поднятые ногами скачущих лошадей, расползались по ветру и медленно оседали на густую темно-зеленую листву тутовых деревьев…

– Где же тюра? – думал джигит и тоскливо оглядывался на пустую дорогу.

Марфа Васильевна, бледная, испуганная донельзя неожиданной развязкой своей утренней прогулки, в первую минуту забыла обо всем: забыла о Батогове, забыла о Брилло, так неожиданно и так некстати появившемся со своим спутником, секундантом… Ей чудились только кругом страшные, скуластые рожи, длинные пики, ей слышались сзади выстрелы и дикие и яростные вопли, и рев преследователей. А между тем преследования не было никакого.

Юсуп схватил ее за талию (на всякий случай: «Все крепче сидеть будет», – думал джигит). Марфе Васильевне показалось, что ее уже срывают с седла. Она взвизгнула и судорожно уцепилась за гриву Бельчика.

Вдали, много впереди их, белелся китель доктора, прежде всех позаботившегося о своем спасении.

Навстречу, не спеша, ехал всадник, по-видимому, ничего не знавший о происшедшем. Увидев беглецов, он остановил свою лошадь и озадаченно смотрел, стараясь сквозь пыль разглядеть скачущих.

Перлович был у себя на даче эту ночь, он сводил счеты и писал накладные для отправки своего товара на передовую линию. Захо и другой какой-то купец из маловажных только что вышли из сада и садились на лошадей, они приезжали к Перловичу посоветоваться о каком-то особенном торговом обороте: им хотелось поприжать туземных купцов, учинив один из *замоскворецких фортелей*, и они думали втянуть сюда Перловича, да только тот не мог ответить им ничего более или менее определенного, не потому, чтобы хотел уклониться от предложения, а просто потому же, почему у себя в одной из накладных он машинально написал вместо «для отправки в Яны-Курган – двести коробок сардин малого формата; четыре ящика мадеры № … и т.д.» – «ведь связала же судьба с…» Но тут же спохватился, разорвал испорченную накладную и посмотрел на гостей такими глазами, в которых самый недогадливый мог бы ясно прочитать: «А не пора ли вам по домам, гости почтенные? Мне теперь совсем не до торговых оборотов и замоскворецких фортелей».

– Ты ничего не заметил? – спрашивал Захо своего товарища, тяжело влезая на седло и умащиваясь.

– Это насчет чаю-то?

– Нет, не то, а совсем другое… Мне вот уже второй день кажется, что, судя по некоторым признакам, Перлович или рехнулся, или близок к этому.

– Ну, вот!

– Да, так. У Хмурова тогда: он думает, что его не видели, а…

– Это под окошками-то?

– Да.

– Это действительно странно. Да вот и теперь: чай готов, посуда подана, Шарип и вина принес: потому, немного понатерся уже и знает, что нужно, три часа сидели, а он и не предложил…

– Да ты бы сам налил.

– Неловко.

– А счет-то хмуровский как подмахнул.

– Как?

– Вверх ногами.

– Гм, смотри, скоро подмахнет где-нибудь «Фердинанд восьмой»[1] – ну, и баста.

– Диковинное дело!

Едва только уехали купцы, Перлович бросил свою работу и посмотрел на часы.

– Половина третьего, никак уже светать начинает, – подумал он. – Черномазый дьяволенок! – произнес он громко.

– Эге! – отозвался Шарип, показываясь до половины в двери.

– Что тебе нужно?

– Тюра звал сейчас.

Перлович махнул отрицательно рукой и стал наливать себе чай в стакан.

– Неужели они его задержали? – думал Перлович наполовину про себя, наполовину вслух, – это было бы скверно, станут допытываться… не хотелось бы…

– Тюра, – начал опять Шарип у дверей.

– А?

– Самовар… – показал рукою сарт.

Перлович забыл завернуть кран, вода бежала на табурет, с него лилась на ковры и по сакле распространился беловатый пар.

– Эй, эй! – донесся из-за садовой стены сиплый детский крик.

Перлович быстро вышел из сакли, сбежал с лестницы и направился к калитке.

Маленькая фигурка сидела на корточках, как раз у самого порога, и скалила зубы.

– Отнес? – спросил его Перлович, придержав на всякий случай за ворот.

– Отнес.

– Ну что?

– Бить хотели, да я убежал… Акча давай[2], ты говорил, много акча давать будешь…

Перловичу хотелось удостовериться, дошла ли его записка действительно по назначению.

– А какой тюра взял у тебя бумагу? – спросил он.

– Там два тюра был: красный и черный, у красного голова завязана, черный – Малайку по морде бил…

Сартенок взялся за щеку и начал жалобно хныкать.

– Акча давай, Малайка спать пойдет, – ревел он все громче и громче.

Перлович сунул ему что-то и выпустил ворот рубашки, за который во время разговора придерживал сартенка, тот подрал по дороге, кувыркаясь по временам через голову и засунув за щеку полученную мелочь.

– Они *его там* накроют теперь, – думал Перлович.

– Тюра спать будет? – спрашивал его Шарип, когда Перлович шел обратно садом.

– В шесть часов утра…

– Что тюра говорит?

– Чем все это кончится?.. Господи!..

Изумленно глядел Шарип на Перловича, странно ему казалось, – с кем разговаривает тюра? И зачем это он так руками делает?..

– Когда взойдет солнце, чуть только вон там над стеною покажется, – говорил Перлович, теперь уже глядя в упор на своего слугу, – лошадь чтобы была готова, слышишь?

– А теперь Шарип спать пойдет?

– Ступай.

Через минуту Перлович, загасив фонарь, висевший над столом, лег на свою кровать и закрыл глаза. Прошло часа два не то сна, не то какого-то томительного забытья, в котором больная фантазия смешивалась с действительностью; посторонние звуки, храп Шарипа, шелест насекомых, падение на землю переспелых плодов и тихое пение погасавшего самовара ясно и отчетливо поражали слух, только значение этих звуков изменялось и они принимали фантастическое участие в болезненных грезах спавшего. Яркий свет озарил сперва вершины деревьев, потом зубчатую вершину стен, лег полосою на плоской крыше и светлым лучом проник во внутренность сакли. Перлович проснулся.

Часы показывали пять. Пора было ехать. Шарип за стеною шаркал скребницей, отскабливая от шерсти чалого присохшую грязь.

– Куда это он так рано? – рассуждал Шарип, придерживая стремя, пока Перлович садился.

– Нагайку подай! Собаку держи, чтобы за мной не убежала.

Шарип прихватил за ошейник желтого сеттера, который начал визжать и рваться: он привык всегда сопутствовать своему господину и огрызался на удерживающего, пытаясь куснуть его за руку. Перлович поехал шибкою рысью.

Бойко бежал чалый и скоро донес Перловича до триумфальной арки. Здесь всадник повернул влево и поехал шагом. Он набирался стороною, словно не хотел, чтобы его видели, и скоро выбрался на пустыри, лежавшие близ узкого переулка.

Здесь он остановился и слез с лошади. Большие груды кирпича и разного мусора совершенно закрывали его со стороны проезжей улицы, а сзади тянулись кусты, еще не вырубленные для очистки места. Перлович привязал чалого и осторожно пошел пешком, направляясь к стене, за которою чернели две закопченные печные трубы. Он отыскал сквозную трещину, приставил к ней свой глаз и увидел внутренность небольшого двора, в котором, под навесом, стоял на привязи совсем оседланный дамским седлом хмуровский Бельчик.

Не более как через пять минут после того, как Перлович устроился в своей обсерватории, входная дверь дома дрогнула, звонко щелкнул запертый изнутри замок, и на пороге показалась Марфа Васильевна, немного заспанная, натирая одною рукою глаза и придерживая другою не совсем аккуратно надетую длинную черную юбку. Выйдя на двор, она поправилась и привела в порядок свой туалет, нисколько не подозревая, что за нею наблюдают два

нескромных глаза. Опытным взглядом она окинула седловку, растолкала спавшего под яслями татарина и, с его помощью, взобралась на седло. Хрипло загудела половинка ворот, пропуская наездницу; протяжно зевнул татарин, снова свертываясь клубком, на своем прежнем месте.

– Поехала! – произнес Перлович и начал осторожное отступление к своему чалому.

Когда он выбрался опять па проезжую улицу, то, на одно мгновение, заметил вдали, под самою кручею, над которой неясно виднелись громады новой крепости, белое пятно Бельчика, во все лопатки дующего иноходью, вниз по Ниязбекской дороге.

Тогда Перлович поехал совсем в другую сторону, в старое предместье города. Проезжая мимо одного из дворов, он приподнялся на стременах и заглянул через стенку: там тоже стояли две оседланные лошади… Перлович узнал обеих и слышал за запертыми ставнями дома знакомые голоса.

– Оно, конечно, – говорил один голос, – случай более чем подходящий, но я, право, думаю, что тебе не усидеть на седле.

– А вот увидишь! – говорил другой голос.

– Ведь это не близко…

– Пистолеты подай!..

– И какая это шельма писала?.. Вот бы узнать!

Перлович попятил чалого и, не решаясь ехать мимо окон, хотя и запертых войлочными ставнями, повернул в боковой переулок и стал дожидаться.

– Поехали и эти! – сорвалось у него с языка, и довольно громко, при виде двух всадников, крупною рысью проскакавших мимо него и повернувших как раз по той дороге, по которой отчетливо виднелись еще никем не заезженные следы Бельчика.

Перлович решил, что как Марфа Васильевна, так и рыжий артиллерист с доктором не будут терять времени, и если он поедет туда же не спеша, то попадет, как бы случайно, к развязке дела, а жгучее, болезненное любопытство не позволяло ему покойно, дома, дожидаться результатов, и ему большого труда стоило удерживать себя настолько, чтобы ехать шагом, не пускаясь вскачь за теми, которые уже давно скрылись из виду в узкой, извилистой дороге, проложенной между непрерывными стенами туземных садов и огородов.

Первый всадник, которого встретил Перлович, был, как уже известно, доктор. Взглянув на лицо и всю фигуру беглеца, Перлович догадался, что случилось что-то необыкновенное, и у него мелькнули следующие соображения:

– Доктор один… Брилло остался… Эти звуки, так похожие на выстрелы… – Перлович слышал, за несколько минут перед встречею с доктором, слабый далекий звук пистолетного выстрела. – Где же остальные?.. Батогов где?

– Доктор, доктор! – кричал Перлович. Но доктор, казалось, ничего не слышал и не видел. Вытянутое бледное лицо его было искажено ужасом, он гнал своего несчастного коня, машинально теребя поводья, колотя его каблуками в бока, щелкая нагайкою куда попало: по ушам, по шее, по крупу и даже, не чувствуя боли, по своим собственным ногам, обутым в походные сапоги.

Доктор пронесся мимо, чуть не свалив Перловича своею лошадью. Вот еще клубится пыль, скачут двое. Ба! Марфа Васильевна, с нею джигит. Наездница тоже, пожалуй, пронеслась бы мимо, но Перлович повернул лошадь и поскакал рядом.

– Марфа Васильевна, ради Бога, что случилось?!. – говорил Перлович, задыхаясь от страшного волнения, глотая густую пыль, в которой они скакали.

– Он убит, – простонала Марфа Васильевна. – Татары!..[3]

– Кто, кто, Батогов? – спрашивал Перлович, забыв, что проговаривается.

– Он!.. Все!.. – Марфа Васильевна вдруг зарыдала и на всем скаку припала к гриве своего Бельчика.

Перловичу вдруг стало необыкновенно весело.

– Юсупка назад… Юсупка там надо, – заговорил джигит, смекнув, что теперь его может сменить этот, другой тюра, что встретился им на дороге. Он выпустил поводья Бельчика и повернул назад.

Так же бессознательно, так же неистово погоняя своего коня, как погонял его доктор, несся Юсупка назад, дико гикая, стиснув зубами вынутый из чехла нож, сжав в правом кулаке железную рукоять туземной шашки.

Два всадника неслись в две противоположные стороны: в одну скакал трус в европейском костюме, в другую – герой в неуклюжем халате и в шапке кочевого дикаря.

Перлович снимал с седла Марфу Васильевну, совсем уже потерявшую сознание. Лошади, взмыленные, тяжело переводя дух, стояли посреди дороги.

Перлович, подхватив под мышки бесчувственную Марфу Васильевну, оттащил ее немного в сторону, где не было так пыльно и у самой стены зеленела довольно густая трава, и усадил ее, придерживая руками эту хорошенькую головку с растрепавшимися волосами, с закрытыми глазами, с нижней губою, хотя и отвисшей весьма некрасиво книзу, но зато открывшей ряд ровных белых зубов, судорожно стиснутых, едва пропускавших чуть заметное дыхание. Перлович вспомнил, что надо расстегнуть шнурки платья, – сунулся, стал шарить руками, шарил довольно усердно, но заметил, что его предупредили: платье было уже расстегнуто, и амазонка сползала вниз. Перлович запутался в бесчисленных шнурках и тесемках, сгруппировавшихся у пояса, наколол пальцы на какую-то скрытую булавку и ограничился тем, что тщательно принялся исследовать, насколько сильно бьется еще сердце Марфы Васильевны.

Красавица вдруг открыла глаза. Перлович быстро отдернул руку. Она, казалось, только сию минуту узнала его. Она изумилась.

– Вы как здесь?..

Марфа Васильевна быстро отодвинулась и хотела встать, но запуталась. Перлович помог ей подняться на ноги.

– Я… случайно… – бормотал он, сильно смущенный этим вопросом. – Вижу: скачете… Тут Юсуп, доктор тоже. Что случилось?

Марфа Васильевна все вспомнила и сообразила.

– Скорей, скорей в город, – произнесла она, – там на Беш-Агаче шайка барантачей… Они сейчас за нами…

Перлович понял и струсил. Он смекнул, в чем дело, и даже задрожал весь, как вспомнил, что они несколько минут потеряли даром, вот-вот могут показаться барантачи, покончившие уже, конечно, с теми, кто остался сзади… Доктор ускакал, Марфа Васильевна здесь, Батогова и Брилло нет, – они там: они, значит, оба погибли!

. . . .

В городе, на старом кокандском дворе, длинными рядами стояли в коновязях казачьи лошади. Два часовых-казака лениво бродили у ворот с обнаженными шашками, по двору шлялись полусонные фигуры, в одном углу казак раздувал походный самоварчик, на плоскую крышу взобрался по лестнице трубач, прищурился на солнце, потянулся, подул свой рожок и приставил его к губам: он собирался проиграть сигнал к водопою.

Оба часовых едва успели отскочить и чуть не попали под ноги наскакавших лошадей. На двор влетела Марфа Васильевна, за нею следом Перлович.

– Седлать! – пронзительно крикнула наездница, и крикнула так, что все лошади шарахнулись и заметались на своих арканах, а во всех окнах показались озадаченные полупроснувшиеся рожи.

– Марфа Васильевна, они вас не послушают, – уговаривал ее Перлович. – Дежурный где? – начал он кричать в свою очередь. – Сотенный командир где? Голубчик, – обратился он к казаку, подбежавшему было к забору, но, заметив прибывших, принявшему иную, более приличную позу. – Послушай, голубчик, сотенный ваш где?..

– Да вам чего надо? – протянул голубчик.

– Эй, господин! Вы тут что? – кричал кто-то, высунувшись из окна. Он был в одном белье, но на голове была фуражка с кокардою, а в руках держал он китель с офицерскими погонами, который, по-видимому, собирался натягивать на свои широкие плечи.

Перлович понял, что это и есть сам сотенный, и объяснил ему, в чем дело.

– Без приказания не могу-с.

– Но, Боже мой! – вставила Марфа Васильевна. – Время уходит…

– Да вы пожалуйте в горницу пока, – приглашал сотенный, – чаю не прикажете ли?

– Послушайте, вы велите седлать, а я привезу вам сию минуту приказание. Генерал тут недалеко… все-таки время не пропадет даром… А вы, Марфа Васильевна, где же вы?.. а?!..

Перлович оглянулся: на дворе не было Марфы Васильевны: она, догадавшись, что нужно, поскакала к генералу сама, прежде чем Перлович высказал свое предложение.

– Эй, ребята, поить коней, – распорядился сотенный командир. – Да пожалуйте же в горницу… И как-с далеко было это нападение-с?

Перлович слез с лошади.

– В третьем году-с… Еще при генерале Романовском-с…[4] – начал сотенный.

Звонкая трель трубы прозвенела к водопою, и на двор высыпали, в цветных ситцевых рубахах, несколько десятков оренбургских казаков.

Лошади весело заржали и топтались на месте.

Генерал вел жизнь регулярную: вставал рано утром и, пользуясь тем, что на улицах никого еще не было, выходил в одном белье на балкон своего дома и прохаживался с ароматною сигарою во рту. Так и теперь: он, отмерив раз пятнадцать длину и ширину своего балкона, присел на перила и стал соображать что-то, жестикулируя рукою от левого плеча к правому бедру, как бы поглаживая невидимую ленту и поправляя таковую же звезду.

Тучные формы генерала рельефно рисовались под тонким бельем, и, вероятно, генеральские думы были самого игривого характера, потому что он раза два пришлепнул себя по этим формам, процедя сквозь зубы: «Гм, недурно бы и бриллианты на шпагу».

Вдруг, как из-под земли, пред ним у самых перил балкона явилась Марфа Васильевна. Взволнованная, с ярким, пятнистым румянцем на щеках, верхом на взмыленном белом коне, она сразу показалась генералу каким-то видением, но он тотчас же узнал ее. С ловкостью, свойственною всем военным людям, он занес ногу через перила, хотел прямо соскочить на землю (благо, было очень низко) и помочь даме сойти с лошади, но вспомнил, в каком он костюме, слегка сконфузился и произнес приятным баритоном:

– Марфа Васильевна, pardon!.. Entrez, madame[5]… Я сию минуту. Казак, прими лошадь. Мина, умываться! – и исчез в дверях, мелькнув в них на мгновение своею тучною, белою фигурою.

Через секунду эта фигура показалась на мгновение в одном из окон. Марфа Васильевна, не слезая с лошади, кинулась к этому окну.

– Господа! Все проволочки, а время идет. Генерал! Ради Бога, да слушайте же!..

Она наклонилась над окном и заглянула вовнутрь комнаты. Невидимая рука задернула белую штору. Перед глазами Марфы Васильевны, вместо генерала, появился китаец в зеленом халате, под золотым балдахином, стреляющий из лука в красного дракона. За этим китайцем что-то плескалось

и фыркало, и генеральский голос, захлебываясь, произносил по временам: «Лей на голову, на самое темя, болван!.. Три губкою спину… Вот так… что бы это там могло случиться?.. Запри дверь…»

Марфа Васильевна чуть не плюнула со злости в этого китайца и рванулась к подъезду. Часовой почему-то отсалютовал, два казака кинулись принимать лошадь.

В ворота въехал Перлович.

– Марфа Васильевна, – сказал он, – поезжайте-ка лучше домой и успокойтесь, ведь вы на себя не похожи.

Марфа Васильевна хотела что-то возражать…

– Да ведь совсем скандал выходит… Смотрите, вот уж на улицах народ показался…

Она посмотрела вдоль улицы: длинные извозчичьи дрожки в одну лошадь дребезжали по новому шоссе, в этих дрожках сидели две офицерские шинели и клевали носами: они, кажется, не из дому ехали, а скорее домой. Барыня в розовом платье, с голубым зонтиком, шла с солдатом позади, из окна соседнего дома показалась рука с каким-то сосудом и выплеснула что-то на улицу, где-то неподалеку скрипела туземная арба.

Марфа Васильевна вдруг зевнула, совершенно неожиданно, даже для себя, – экстаз проходил. Она совершенно согласилась с Перловичем, что он прав, предлагая ей ехать домой.

– Так вы… – начала она.

– Непременно, непременно. – Перлович соскочил с лошади и вошел в генеральский дом.

Марфа Васильевна повернула Бельчика и поехала шагом к себе в узкий переулок.

Приветливый, весь олицетворенная любезность и предупредительность, появился генерал из-за портьеры.

– Как мне совестно, parole d’honneur[6], – начал он, раскинув руки, словно для объятий, изумленно посмотрел кругом, выпрямился и отрывисто произнес:

– Вам что угодно?

Перлович объяснил ему, в чем дело.

– Гм… – промычал генерал. – Послать за адъютантом, – крикнул он громко, пригласил Перловича сесть и подождать и пошел во внутренние апартаменты.

X. ПОГОНЯ

Несмотря на различные формальности, значительно затягивавшие дело, небольшой кавалерийский отряд собрался часам к десяти утра в базарном проходе, и ждали только Перловича, который почему-то взялся быть

проводником к месту катастрофы, а пока поскакал переменить свою лошадь, так как его чалый положительно был уже негоден к такой далекой поездке.

Быстро разнеслась по всему городу весть о кровавом событии у Беш-Агача, и множество народу собралось провожать выступающий отряд: явились даже волонтеры, заявившие свое намерение идти вместе с отрядом. В числе последних находился и Хмуров, который больше всех суетился, рыская верхом на красивом караковом жеребце и сообщая всем свои планы преследования.

– Надо их перехватить, пока за Дарью не перевалились, – кричал он. – А то их там только и видали. Чего мешков с собою набрали! – накинулся он на казаков. – Эк навьючились, кошемники!.. Ведь верст пятьдесят скакать придется, свиньи полосатые!

– Ладно, и рысцою будет в самую пору, – ворчал урядник, прилаживая за седлом холщовые торбы с ячменем.

– Не мешало бы взять с собою хотя немного артиллерии, – заявил щеголеватый адъютант. Он тоже приехал, совсем по-походному, и далее с охотничьей двустволкой в руках и биноклем в футляре, висевшем на ремешке чрез плечо.

– Бомбические орудия повезем для вас по арыкам да буеракам! – накинулся на него Хмуров.

– Нет, все бы, знаете, ракетные станки: это действует морально.

Туземцы заняли пестрыми группами все соседние крыши и смотрели на долгие сборы, шепотом передавая друг другу разные предположения. Они не знали, в чем дело, и решили, что это, должно быть, подступает сам эмир к их городу.

Прискакал, наконец, и Перлович.

– Садись!.. – протянул сотенный командир.

Дребезжа оружием, неловко полезли казаки на своих маштаков и стали выстраиваться.

– Господи, благослови! С Богом, братцы!

Казаки начали набожно креститься. Тронулись.

– Сто-о-ой! – тянет снова командир.

– Ребята, скатай кто-нибудь ко мне, там в горнице, на столе, предписание генеральское лежит: как бы ветром не сдуло.

Разом человек пять поскакали за генеральским предписанием.

– Ма-арш! – опять запел командир.

Опять двинулись вперед.

Сгоряча погнали самою ходкою рысью. Перлович молча скакал впереди всех. Взяли напрямик, через туземный город, для выигрыша времени.

Вонючие, грязные торговые ряды под навесами, никогда не пропускавшими лучей солнца, но нисколько не задерживающими проливных осенних и зимних дождей, несколько задержали бег лошадей. Казачьи кони провалились по брюхо, гнилые миазмы подымались из-под развороченных верх-

них слоев вечной грязи, брызги летели во все стороны и обдавали пестрый разнокалиберный товар, лежавший открыто, напоказ, в маленьких туземных лавочках. Торгаши глядели испуганно на эту кавалькаду; туземные лошади, привязанные у точеных столбов, поддерживающих навесы, прижимали уши, визжали и били задом пробегавших мимо казачьих лошадей.

– Стой!..

Передние остановились, задние стали догонять передних.

– Да что же, черт вас возьми, стой да стой! – горячился Хмуров, наскакав на командира.

– Позвольте, нельзя. Ребята, купи кто лепешек: там, неравно, закусить придется. Михеев, бутыль с тобой?

– У Павлова в торбе, – отзывается из задних рядов голос Михеева.

– Но оттягивать – эй! Что разбрелись! – кричит командир. – Марш!..

– Слышь ты! – кричит Хмуров Перловичу. – Мы там не проедем: там мост разобран…

Перлович не слушает и все погоняет лошадь.

– Смотри, назад придется вернуться…

– Назад, – говорит один казак из передних другому, запаливая на бегу трубочку. – Легко сказать – назад: этак мы верст шесть кругу должны сделать.

– А кто понес нас базарами, надоть было обыкновенной дорогой.

– Обыкновенной!

– Стой!.. – командует сотенный и добавляет:

– Вот тебе и раз!

Перлович в недоумении ездит по крутому берегу оврага. Спуститься некуда, и даже пешему невозможно, со дна этого оврага торчат полуразрушенные козлы разобранного моста, на противоположной стороне уцелело еще одно прясло и висит в виде балкона, а внизу, между таловых кустов, сочится какая-то грязная струйка.

– Я говорил! – заорал Хмуров. – Я говорил! Назад, назад скорей!

Постояли минуту, другую – пораздумали. Всякий заглянул вниз и всякий сказал: «Ведь, ишь ты, разобран!» Один казак пробовал было спуститься, да чуть не оборвался и не полетел с высоты, по крайней мере, десяти сажень.

– Чего лезешь ты! рыло киргизское! – крикнул на него сотенный командир. – Назад, так назад… Направо кругом! – запел он и тотчас же перевел на обыкновенный язык:

– Заворачивай, братцы!

Завернули.

– Теперь куда же? – подумал вслух Хмуров.

– Известно, опять через базар и в Чиназские ворота, а там возьмем правее, ну и в самый раз, – отвечал ему командир.

Перлович уступил свое переднее место Хмурову, который, обгоняя его, произнес с укором:

– Что, брат, ближе вышло? А времени-то сколько ушло!

Перлович промолчал. Быстрая езда и жаркое утро всех разгорячило, лица были красны, словно пылали, одно только лицо его, Перловича, было желто и по нему выступали какие-то пятна, конвульсивно стискивала поводья холодная рука, и во рту он чувствовал сильную горечь. Очень-очень некрасив он был в эту минуту, а эта странная перемена потому только и не была замечена, что все слишком заняты были одною идеею – напасть поскорее на след барантачей.

Наконец, спустя часа полтора после выступления, напали на настоящую дорогу, и вдали, на вершине обрыва, показалась старая гробница.

– Тсс!.. – приподнял руку сотенный командир. – Теперь, голубчики мои, теперь осторожней! Шестеро слезьте с коней, да ползком, братцы, тихонько… чуть-чуть… ни Боже мой, и, значит, коли что, ежели как, то сейчас…

Казаки, казалось, поняли эту речь, и человек шесть полезли на брюхе «тихонько, осторожней, коли что, ежели как», а остальные начали осматривать винтовки, щелкая замками и продувая стволы.

– И какого там черта еще! – крикнул Хмуров, проскакал мимо ползущих на брюхе казаков, чуть не вытянул одного нагайкой, благо удобно было, и остановился на самом гребне обрыва, на том самом месте, где виднелись еще следы Бельчика. Если бы Хмуров не смотрел, вытаращив глаза, на что-то внизу, то наверное бы узнал эти полукруглые значки, резко отпечатавшиеся на красноватом грунте выветрившегося гранита.

Любопытство взяло верх над осторожностью. Да к тому же пример Хмурова подействовал заразительно. Мало-помалу, всадник за всадником, столпились все над обрывом: подползли и те шестеро, исполняя до конца приказ начальства, доползли, встали, отряхнулись и пошли к своим лошадям.

На ярко-зеленой поляне, в тени развесистых карагачей, валялось несколько предметов: какая-то красная тряпка, ножны от туземной шашки и труп в кителе, в красных шелковых панталонах. Трудно было разобрать, как этот труп лежал: лицом вверх или затылком?

У этого трупа не было ни лица, ни затылка.

– Батогов! – крикнул Хмуров. – Это его красные шаровары.

Перлович покачнулся на седле и схватился за гриву. Ему показалось, что он вместе с конем оборвался с кручи и летит вниз.

Потихонько спустились вниз по тропинке и окружили тело.

– Погоны артиллерийские, золотые, – произнес щеголеватый адъютант.

– Ну, значит, Брилло, – решил Хмуров.

– Коли ежели не имеется головы, – заявил сотенный командир, – ужасно трудно признать, что за человек. Потому, ежели как все остальное…

– А там, в овраге, никого нет? – доносился голос одного из казаков.

– Большое сходство между собою имеют, – докончил начальник отряда.

– Ну как же, – возразил кто-то, – ежели мусульман, или там жид, и опять православный – завсегда без головы узнать можно.

– Коли ежели без одежи…

– Да будет вам! – прервал спор Хмуров. – Свалка была здесь, это верно, вишь, крови везде сколько! А отсюда следы пошли вон, позади этого двора, на дорогу. Пускай подберут тело кто-нибудь и отвезут в город, а мы дальше. Теперь мы на следу, дело верное, может, и догоним к вечеру.

Распорядились насчет тела Брилло и тронулись дальше. Скоро выбрались на Ниязбекскую дорогу. Здесь многочисленные следы конских ног, ясно видные в узком, мало проезжем переулке, исчезли, затертые следами арбяных колес только что проехавшего обоза.

Пришлось обратиться к расспросам, и сотенный командир подъехал к маленькой чайной лавочке, старик хозяин которой смотрел на подъехавшего русского усиленно моргающими глазами. Начался допрос с помощью переводчика, казака-башкирца.

– Барантачи куда пошли? – начал сотский. Казак перевел.

– Кто? – переспросил сарт.

– Барантачи, разбойники, каракчи, – пояснял командир и начинал горячиться. Казак-переводчик тоже начинал волноваться.

– Не знаю никаких барантачей, – говорил старик. – Я здесь сижу с самоваром, зла никому не делаю. У меня и кальяны есть… Вон из них ваши казаки курят, – указал он на казаков, которые между тем не теряли дорогого времени.

– Да бросьте его! – говорил Хмуров. – Вы все равно никакого толку не добьетесь. Да и чего расспрашивать? Куда они уйти могут, как не к Дарье.

– Конечно, к Дарье, – подтвердил щеголеватый адъютант. – А вы мне, господин есаул, – обратился он к сотенному командиру, – дайте человек четырех проводить меня до города: одному небезопасно…

– Кто вас съест? Чего вы боитесь? – заметил Хмуров.

– Но пустякам рисковать не желаю-с, извините-с… А дальше ехать я не могу… я совершенно нездоров, да к тому же дела…

– Да убирайтесь к черту!

– Господин Хмуров!

– Проваливайте!

Адъютант уехал, процедив сквозь зубы:

– Я еще с вами поговорю.

– С Богом, братцы!..

Поехали. Часа чрез полтора довольно скорой езды погоня опять напала на след: допросили встречного погонщика, который вез топливо в город на четырех вьючных ослах. Он дал кое-какие более определенные указания. В кишлаке сарт Мурза-бай, приятель Батогова, дал уже совершенно ясные указания: он сообщил и число барантачей, сколько мог заметить, и то, что Юсуп, джигит Батогова, часа за два только проскакал мимо его лавки и даже не остановился покурить кальяна, предложенного ему Мурза-баем. Тут же сообщили другие, проезжие курамины[1], что видели барантачей в другом месте,

верстах в пяти правее… Это известие тоже было верно. Ясно было, что партия разделилась. Решили разделить и отряд, тем более что казаков была почти целая сотня и каждый отряд все-таки был достаточно силен сравнительно с партией барантачей. Разделились: с одним отрядом поехал сам сотенный командир, с другим Хмуров и Перлович. Второй отряд сильно задал ходу, потому что Хмуров ругался не на живот, а на смерть, а – главное – обещал казакам, если нагонят, по рублю на рыло и ведро водки на всех.

– Ваше скуловородие! – обратился урядник, равняясь своим конем с хмуровским жеребцом. – Позвольте коней напоить: задохнутся, гляди, как загорелись, жарко!

– Ну, пой поскорее, что ли.

Остановились. Казаки протирали запыленные ноздри лошадей полами своих рубах, поправляли седловку и сами маленько поправлялись.

– Чуточку постоим, – говорил урядник, – зато уж как ахнем!

Постояли чуточку, сели на лошадей и действительно ахнули!

– Братцы, вон они!.. – крикнул кто-то.

Все лошади разом поддали, хмуровский жеребец даже взвился на дыбы. У Перловича замерло сердце.

Верстах в трех, впереди, но несколько правей, мелькнула меж таловых кустов красная точка, вот еще, еще… Эти точки, должно быть, заметили преследователей и пошли скорей… Но нетрудно было заметить, что расстояние, отделявшее преследователей от преследуемых, становилось все меньше и меньше… Вот еще кусты, частые, густые… Красные точки скрылись в них и пропали. Вероятно, эти заросли задержали бег лошадей, потому что когда беглецы показались снова, их отделяло не более полуверсты. Хмуров выхватил револьвер, кинул поводья на шею коня и много опередил казачьих лошадей.

Вдруг последний неприятельский всадник скрылся на мгновение в маленьком белом облачке… Что-то прогудело в воздухе.

– Ишь, пальнул, нешто ответить? – заметил урядник.

– Чего там пустяками заниматься, сейчас насядем.

Хмуров уже налетал. Скулатая рожа обернулась, посмотрела на него через плечо, и погрозила ножом, и вдруг мелькнула полами красного халата: Хмуров почти в упор выстрелил из своего револьвера. Барантачи, видя, что им не уйти, соскочили с лошадей и бросились в заросли. Раздалось несколько выстрелов. Казаки поскакали в объезд, человек десять спешились и полезли за бежавшими. Один казак шатался на лошади, словно пьяный… Он затянул один повод, лошадь его крутилась на одном месте и упала набок, оступившись в канаву. Лошадь вскочила снова на ноги и отбежала в сторону. Казак силился подняться, но не мог.

Трое казаков тащили волоком какую-то фигуру с гладко обритым, сверкавшим на солнце черепом, красный халат на этой фигуре висел клочьями. Фигура эта усиленно барахталась.

– Вяжи его, подлеца, вяжи! – кричал урядник.

– Идите сюда! – кричал из кустов Хмуров.

– Братцы, один никак убег? – слышен был чей-то сиплый голос. – Вот он, вот он. Насядь на него… Гляди, осторожней, – может, пырнет…

Восемь лошадей, принадлежавших барантачам, усталых, худых до того, что можно было ощупать все кости, были переловлены и сбиты в кучу. В кустах мелькали кое-где казачьи рубахи, по временам слышались выстрелы.

Это весьма напоминало охоту. Да разве это и не была охота на самом деле?

На дорогу выбрался Хмуров. Он был весь в крови и без шапки. Он поправлял пальцами волоса, спутанные ветром, и размазывал по лицу кровавые узоры. Впрочем, это была не его кровь. Правда, его стукнули прикладом по голове, удар, который сбил с него шапку, удар, от которого раскололся приклад и отлетел в сторону… Легкие приклады азиатских ружей чрезвычайно непрочны…

– Лошадей сколько? – спросил он урядника.

– Восемь. Больше не было.

– А там семерых уложили, один удрал-таки!

– Живьем одного поймали, ваше скуловородие! – отрапортовал урядник.

– А, значит, все. Значит, Батогов с другими. Скверно! Зачерпни воды, вон в канаве, рожу умыть.

На лице Перловича, который все время, словно истукан, стоял верхом посреди всеобщей сумятицы, показалось что-то вроде живого румянца.

XI. ГЕРОЙ

Муж Марфы Васильевны стоял над большой чертежной доской и отмечал что-то циркулем. Топот коня на дворе заставил его поднять голову. Дверь слегка стукнула, он обернулся.

– Ну, Марта, – спросил он, – как твое новое знакомство?

Марфа Васильевна не отвечала.

– Что так рано?..

Он взглянул на нее пристальнее, и тот слегка язвительный тон, который он хотел придать своему вопросу, замер у него в горле.

Перед ним стояла не Марта, цветущая, румяная, вечно веселая… Нет, это была только ее тень.

Волосы и платье в беспорядке, лицо бледное, как полотно, под глазами темные, синие круги, и сами глаза такие тусклые, так неопределенно смотрящие и как будто ничего не видящие, грязные полосы пыли на лице…

– Марта, голубчик, да что же случилось такое?

В пылу энергии Марфа Васильевна выдержала все нервные потрясения, испытанные ею в то утро, богатое событиями. Усиленная езда верхом разбила ее тело, и только какое-то странное опьянение – этот экстаз, охвативший ее, – поддерживало ее физические силы. Но наступила реакция, экстаз прошел.

– Марта, да скажи же хоть слово, – говорил ей муж и даже тряс ее за плечи.

– Я спать хочу, – прошептала она чуть слышно и пошатнулась. Он подхватил ее. Если бы он этого не сделал, то Марфа Васильевна не устояла бы на ногах. Он чувствовал, как все тяжелее и тяжелее становилось это тело, ноги подгибались, и оно словно выскальзывало из рук. Он крепко стиснул свою жену и потащил ее волоком к кровати. Руки повисли, ноги поволоклись по плитному полу, голова, словно у трупа, перегнулась на безжизненной шее, и волосы мели эти кирпичные плиты.

Маленький котенок Марфы Васильевны стремительно рванулся из-под дивана: ему хотелось поиграть этими длинными, стелящимися по полу волосами, но на него чуть не наступил муж Марфы Васильевны, и котенок жалобно мяукнул и свернулся в клубок на прежнем месте.

Кое-как, с трудом уложил он на постель свою жену и стал над нею в раздумье. Он совсем потерялся и не знал, что делать, к чему приступить. Вдруг глаза его упали на эти грязные полосы, что шли вдоль всего лица, на эти тонкие пальцы, выпачканные поводьями. Он схватил полотенце, намочил его и начал отирать лицо и руки. Тер долго, тер усиленно, особенно возился он с пальцами: черная маслянистая мазь не отставала, он даже мылом пробовал, и вдруг хватил кулаком по лбу и бросил полотенце.

– Доктора, доктора! – кричал он, выбежав на улицу. Он хорошо знал все адреса здешних докторов, но в эту минуту совершенно забыл их. В голове у него стоял какой-то сумбур.

Красивый офицер на красивом коне опять ехал, гарцуя мимо окон. Он ничего еще не знал о случившемся и катался, по обыкновению, мимо окна, в котором рассчитывал видеть Марфу Васильевну.

– Что, кто болен? Кому доктора? – спросил он, задержав коня у калитки дома.

– Ради Бога, скачите, как вас, Набрюшников, что ли? Везите доктора какого попало, всех… Да скорее!

– Марфа Васильевна?!

– Умирает. Умерла совсем! Да скорее же, скорее!

Красивый офицер ловко повернул коня, пригнулся и щелкнул. Конь поддал задом, офицер очутился на шее, однако справился и поскакал.

Муж Марфы Васильевны вбежал опять в комнаты. Она лежала так же неподвижно, из раскрытых губ чуть вылетало слабое дыхание: она спала, по-видимому. Но этот сон так похож был на смерть! Даже глаза не были совсем закрыты и сквозь темные, длинные ресницы глядели безжизненно, тускло, неподвижно… Так именно смотрят незакрытые глаза покойника.

– Ну, что ж… я ничего, – говорил сам с собою муж Марфы Васильевны. – Надо ждать доктора, что я могу сделать? А пока займусь делом… – он сам собою бравировал. – Зачем время терять: время – деньги.

Он подошел к столу, взял линейку, наложил ее, черкнул сильно карандашом, так сильно, что в руке что-то треснуло. Швырнул на пол и линейку, и обломки карандаша, тихонько, на цыпочках, словно боялся разбудить больную, подошел он к постели и стал в ногах. Он задумался.

В комнате была мертвая тишина, только и слышно было, как маленький котенок катал по полу какую-то пуговицу и по стеклу стучала большая зеленая муха.

– Это мы сейчас… это мы сразу… А где больная?.. А… вон оно как!..

В комнату вошел, слегка пошатываясь, толстый доктор, не наш доктор, а совсем другой, с густыми темными бакенбардами, в фуражке, надетой совсем на затылок… Пахнуло сильно чем-то спиртуозным, не то ромом, не то водкой, сильно также давал себя чувствовать пряный аромат лимбургского сыра. Муж Марфы Васильевны поднял голову.

– А, доктор… вот смотрите…

– Ничего, ничего, это мы сейчас…

Доктор шагнул, пошатнулся и поспешил поскорей сесть на край постели. Кровать затрещала. Глаза больной раскрылись как будто бы немного шире.

Из-за дверей высовывался Набрюшников: он не решался войти и силился издали, через плечи доктора, взглянуть, что там такое делается…

– Доктор, что это вы делаете?

– А это я пульс щупаю…

– Да разве там пульс!.. Набрюшников, где вы эту свинью нашли?

– Эй вы, не слишком! Я не позволю… – промычал доктор, встал и чуть опять не упал на кровать.

– В бильярдной у Тюльпаненфельда… Да я сейчас другого… Я сейчас… Кто же его знал?.. По мундиру доктор… Я…

Набрюшников заметался и скрылся.

– Вон отсюда!

– Кто – я?

– Вон, или пришибу на месте!

Он схватил со стола тяжелый подсвечник и замахнулся… Пьяный доктор струсил.

– Это я ничего, это я могу, все могу, а впрочем, я уйду, я уйду… Мне что?.. – Он направился к двери. – Мне что? Мне все равно – пускай умирает… Мертвые бо сраму не… Эй, дружище! – Доктор заметил кого-то, ехавшего мимо на извозчичьих дрожках. – Подвези, мне только до этого Тюль… Тюль… Тюль…

– Ползи на всех четырех, – говорил чей-то голос, и дрожки задребезжали мимо.

Прошло часа два, томительных, страшных два часа. Марфа Васильевна все находилась в одном и том же положении. Наконец послышались шаги на дворе. Вошел Набрюшников, остановился на пороге и пропустил вперед

другого доктора. Этот был в нормальном положении. Он протянул руку мужу Марфы Васильевны, слегка пожал его руку, проговорил многозначительное «гм» и стал считать пульс.

– Тс-тс-тс… дело-то скверно… За льдом пошлите…

Набрюшников ринулся к дверям.

Марфа Васильевна зашевелила губами.

– Тс… – произнес доктор.

– Тс… – повторил муж.

Набрюшников остановился в дверях и приподнялся на цыпочки.

– Вороне где-то Бог послал кусочек сыру, – тихо проговорила Марфа Васильевна, проговорила и замолчала.

– Ну, и слава Богу, – так же тихо проговорил доктор.

Набрюшников вдруг фыркнул.

– Что же это, доктор?

– Бред начинается, и весьма престранный бред. Холодные компрессы на голову, непрерывные компрессы. Лед к вискам.

– Лед к вискам, – машинально проговорил муж.

– Да-с, горячка… и еще какая!.. Ну, да натура-то славная, здоровая, может, и выдержит, а не выдержит… А – что такое?

Доктор обернулся. Муж Марфы Васильевны тихо рыдал.

– Ну, Господь с вами, я уйду, – говорил доктор, – я вам лучше пришлю свою барыню.

Он на цыпочках пошел к дверям. Набрюшников с большою глыбою льда в руках попался ему навстречу.

А в тот же вечер в ресторане Тюльпаненфельда речь шла о событиях дня. Говорили о болезни Марфы Васильевны, говорили об ее муже.

– То есть в жизни не видал я такой тряпки, – говорил сановитый чиновник с крестом на шее.

– Кто это тряпка – кто? – повернулся к нему от прилавка доктор.

– Да все он же, муж Мар…

– Он тряпка, он?! Это – герой!

Гомерический хохот раздался по всему залу ресторана. Доктор вспылил. Он даже схватился за спинку стула.

– Да, герой! – кричал он. – Почище ваших всех хваленых храбрецов. Что они сделали, что?.. Передушили десятка два безоружных сартов… Глиняные горшки брали под видом крепостей! А он ради своей «Марты»[1] сам себя, без всякой пощады, душит за горло.

– Шампанского! – ревет кто-то в толпе…

– Да, – кричал доктор, – герой!.. Почище самого Александра Мак…

Он сильно качнулся, выпитое вино ударило ему в голову.

– Герой… – промычал он тихо и стал размазывать по прилавку пальцем.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Прошло месяца три со времени катастрофы у Беш-Агача. Тревоги, лишения и все ужасы тяжелой дороги, когда пленнику приходилось переходить из рук в руки, рискуя каждую минуту попасть под мстительный нож обиженной стороны, все это было пройдено и окончено. Жизнь Батогова вошла уже в более или менее определенные рамки, в грустные рамки безысходного рабства.

Европеец в плену у дикаря! Раб, в умственном развитии превышающий своего господина!

Рабство – самая страшная казнь, постигшая когда-либо человечество, но подобное рабство, это высшая степень этой казни.

Для Батогова настало время тяжелых испытаний: не выдержал бы он этой пытки и давно бы покончил с собою, благо случаев к тому представлялось достаточно, но у него была надежда на исход, эта надежда поддерживала его в самые критические минуты, эта надежда заставляла его не совсем уже хмуро глядеть в эту беспредельную даль, туда, к северу, туда, откуда вон летят вереницею длинноногие журавли, вон, еще виднеются какие-то отсталые птицы. Ему было иногда даже очень весело, он громко хохотал, пел, на удивление кочевникам, русские песни и забавно переводил им сказки про лисицу и волка и про трех братьев, двух умных и третьем дураке. Раз он даже показал, как плясать вприсядку, и ловко подладил на туземной балалайке знакомый мотив «Барыни».

И все эти чудеса делала надежда.

Вон она! В киргизской шапке, полуголая, с громким удалым свистом и гиком, помахивая в воздухе волосяным арканом, гонит вместе с другими киргизами хозяйские табуны на водопой к тем колодцам, что чуть виднеются между песчаными буграми, верстах в трех от аула, и то потому только виднеются, что около них вечно толпятся либо люди, либо животные, а чаще те и другие вместе.

Вчера эта «надежда» тихонько подбросила ему славный кусок баранины, такой кусок, что только самому его хозяину, мирзе Кадргулу, так в пору…

Эта надежда была его бывший джигит – Юсуп.

Он совсем в своей тарелке, он, положительно, чувствует себя как дома. Ишь, как носится он на неоседланной лошади: его крик слышится громче всех, его аркан выше других взвивается в пыльном воздухе. Это от него так шарахнулись кони, отбившиеся было в сторону…

Юсуп мастерски разыгрывал свою роль, лавируя между привязанностью и какою-то странною любовью к своему господину и необходимою осторожностью, которую приходилось доводить до самых утонченных размеров, принимая во внимание наблюдательность и живую подозрительность кочевников, могущих в одном неосторожном движении, в одном неловко сказанном слове найти роковую развязку…

Раз Батогов дурно вычистил лошадь мирзы Кадргула. Сам мирза выругал его, Юсуп, собиравшийся ехать вместе с мирзою, толкнул Батогова в загривок и толкнул его так, что сам мирза Кадргул сказал:

– Ну, за что?.. Это он в первый раз только.

Другой раз Юсуп в большом обществе, не стесняясь присутствием Батогова, рассказывал про русских такие небылицы и так красноречиво описывал разные нелепости их обрядов и обычаев, что даже сам увлекся своею бранью, ругался напропалую, подбирал для «белых рубах» самые обидные сравнения[1] и, наконец, пустил в Батогова дынною коркою, заметив в задних рядах слушателей его изумленную физиономию.

А потом ночью, проходя, словно нечаянно, мимо пленника, чистившего хозяйскую сбрую, проговорил тихонько, глядя совсем в другую сторону: «Ты, тюра, не сердись: Юсупка знай, какой дело надо делать!»

Недавно вернулись из небольшого набега на персидскую границу, приглашали с собою и Юсупку. Такому джигиту не приходилось оставаться дома, у которого и кони лучшие по всему окрестному кочевью, и оружие такое, что не всяк еще его и видывал, а слышали, что у русских только такие, да вот еще сказывали проезжие купцы-афганцы, что за теми далекими горами, что прямо на полдень, в Индостане у инглизов[2] такие же ружья делаются.

Да и не раз Юсупка заявлял уже о своей отваге и наездничьей ловкости, и таким лихим джигитом, как мирза Юсуп (его иначе и не величали в аулах)[3], брезгать не приходилось даже самому мирзе Кадргулу.

Батогов, конечно, оставался дома, в эту минуту аул перекочевывал верст за полтораста на новое урочище, и пленник шел при верблюдах мирзы Кадргула вместе с другими рабами и рабынями бия.

Поход на персидскую границу был довольно удачный (спасибо еще чодоры подсобили). Сами потеряли трех джигитов да одну лошадь, а привезли с собою двадцать два верблюда, семерых персиян, пару ослов крупных, особенных, не таких ишаков маленьких, что в Бухарском ханстве, а с добрую лошадь, только потому и узнаешь его, что уши длинные… Еврея[4] одного нашли еще при караване… Двух баб везли с собою, да не довезли: одна дорогою

сдохла, а другую так, живьем, пришлось бросить, потому тоже чуть дух переводила, только ныла, за седлом сидя, и тоску нагоняла, а барышей с нее ни тем, ни другим не предвиделось: стара уже совсем была и зубов во рту столько, сколько колодцев от их аулов к хивинскому хану, всего только четыре.

Прирезать ее хотели, да мирза Юсуп удержал: «Оставьте, – говорит, – зачем ножи пачкать, примета такая дурная есть. А коли надоело везти, то бросьте ее так, пускай сама своею смертью кончается!»

Ну, и бросили. Распустили пояс, которым она была привязана, она и сползла сама, так на песке и осталась одна сидеть среди степи.

Мирза Кадргул очень доволен был этим походом. Первым делом двух верблюдов, да не персидских, – те были худы очень, – а из своих, велел отобрать, послал с подарками к хану. Это всегда пригодится, на всякий случай, больше для того, чтобы лишних разговоров не было. После этого мирза байгу устроил[5]: шестерых баранов зажарил и кумысу выставил столько, что всяк пил, сколько ему в горло лезло. Выпили-таки достаточно. Сама старшая жена мирзы Кадргула, старая Хаззават, даже рассердилась, глядя на пустые козьи меха, и, придя на свою половину, произнесла, указывая на гостей, лежавших врастяжку:

– Ведь не лопнули же, обжоры проклятые!

И к Батогову мирза Кадргул стал немного милостивей, не толкнул его рукояткою нагайки, когда тот сегодня утром держал ему стремя, а прежде без этого редко обходилось, а потом велел дать ему то баранье ребро, которое унесла было из котла хозяйская собака, да спасибо, бабы вовремя заметили и отняли.

Дня два погуляли всем аулом, а потом и опять принялись за свое обычное дело.

Таким образом, изо дня в день, из недели в другую, тянулось бесконечное время: то небольшой набег, то ушлют в степь с хозяйскими овцами, то погонят верблюдов, забредших, Бог знает куда, отыскивать, да добро бы одного погнали, а то всегда с кем-нибудь еще: боятся, чтобы не ушел. А куда уйдешь один, пешком в этой безводной степи? Пройдешь верст тридцать, да и ляжешь в изнеможении, а это все равно, что смерть: без воды не проживешь и суток при такой жаре, что от горячего песка лопается кожа на босых ногах, а на голых плечах чуть не пузыри вскакивают. А поймают, тогда еще хуже: или всю жизнь проведешь, как собака, на привязи, или просто зарежут под горячую руку.

А на ту беду и Юсупка, вот уже скоро две недели, словно сквозь землю провалился, то, бывало, он, хоть мимоходом, взглянет ласково, а иногда и буркнет под нос, так, чтобы слышал только тот, кому следует:

– Погоди, тюра, Юсупка хорошую думу думает, и как кончит думать, тогда *за дело* оба примемся…

И хорошо знал Батогов, о каком деле намекал ему его верный джигит.

Эта дружеская речь, как свежий ветер разгоняет тучу, разгоняла мрачные думы пленного, и капля по капле подливала масла в эту закопченную от слишком частого употребления лампадку надежды, начинавшую уже чадить и тухнуть.

Раза два так тяжело приходилось бедному Батогову, что он был близок к самоубийству, и каждый раз Юсуп своим появлением удерживал его, и в нем снова воскресали твердость и готовность бороться до конца, благо крепкое тело выносило всякую невзгоду.

Работники-киргизы, теперешние товарищи Батогова, относились к нему презрительно, с каким-то озлоблением, словно он отнимал у них хлеб или подрывался под их благосостояние… Они смотрели на «русскую собаку» свысока: это был раб и только, а они – работники. Хотя действительной разницы было очень мало. Так же, как и Батогова, так и любого Каримку, Малайку и Шафирку мирза Кадргул мог запороть нагайками до смерти, мог просто зарезать и никому не держать ответа. А относительно работы они были уравнены совершенно: так же таскали воду из колодцев, так же целые дни ничего не делали, лежа на брюхе в степи на каком-нибудь бархане и поглядывая, как бы бродяга волк не подкрался к необозримым отарам хозяйских баранов.

Но эти работники были мусульмане, правда, такие, что смешивали Магомета с самим Аллахом, не знали ни одного стиха из Корана, не видывали никогда даже этого Корана, не знали вовсе, чем именно их вера отличается от какой-либо другой, но знали только, что они мусульмане, правоверные, а он, известно, «русская собака». Ну, и довольно.

Они гораздо ревностней стерегли пленника, чем сам его хозяин, и если бы Батогову удалось убежать, то они сочли бы это самым тяжелым личным оскорблением.

Находясь вечно глаз на глаз с пленником, они составляли такую бдительную стражу, провести которую было почти невозможно, я говорю «почти», потому что действительно невозможного существует весьма немного.

Это препятствие более всего затрудняло и Батогова, и его изобретательного Юсупа. Вот главная причина, почему мирза Юсуп так долго обдумывал свою думу.

Только два исхода могла бы иметь попытка к бегству: или полную удачу, или же смерть. Средины не было вовсе.

Юсуп находил еще, что, принимая все это в соображение, дело делать еще было не время.

Раз вечером, когда солнце только что село и в воздухе стало свежеть, Батогов, с большим козьим мехом на спине, шел от колодцев, направляясь к большой ставке своего хозяина. Тяжелый мех, наполненный водою, сильно нагнул ему спину, и его босые ноги выше щиколотки уходили в сыпучий, еще не успевший остынуть песок.

Рядом с ним ехал, на одном из добытых ослов, другой работник – киргиз, перекинув через седло еще два полных водою меха.

Поблизости колодцев песок был очень сыпуч и на нем трудно было прочно установить кибитки и желомейки: изредка налетевшим ветром вырывало небольшие колки, и эти переносные жилища легко могли быть снесены с занимаемого ими места. По этой причине аул расположен был несколько поодаль, там, где грунт был тверже и можно было вбивать колья для коновязей, у которых стояли на привязях хозяйские верховые кони.

Подходя ближе, Батогов заметил, что близ ставки мирзы Кадргула стоят два усталых коня, видимо, пришедших издалека. В одном из этих коней он узнал своего Орлика. Он так обрадовался, что разом прибавил шагу и, несмотря на свою тяжелую ношу, чуть не бегом пустился к задним кибиткам, где помещались жены мирзы Кадргула, по требованию которых он и ходил к колодцам.

Ехавший с ним киргиз тоже подогнал своего осла, удивился, откуда взялась прыть у «русской собаки», и сказал:

– Ты что же это? Другой раз я тебе два меха навалю. Ты сильней моего осла.

Батогов опомнился и пошел тише.

В кибитке у мирзы Кадргула собралось довольно многочисленное общество. Джигит мирза Юсуп приехал издалека, он, вероятно, новости привез, будет чего послушать… А кочевники вообще страстные любители новостей всякого рода.

Не успел мирза Юсуп слезть с лошади, не успел он произнести обычное «аман», не успел ему тем же ответить мирза Кадргул, вышедший к нему навстречу, а уже весть о приезде джигита разнеслась по всему кочевью…

– Юсуп приехал.

– Какой Юсуп?

– Джигит, что бежал от русских.

– Ну!..

– Мирза Юсуп!.. Где он остановился?..

– Эй! Поедешь мимо, скажи Осману: Юсуп приехал.

Вот говор, который, почти с быстротой электрической искры, пробежал от кибитки к кибитке, от аула к аулу.

И вот все, кто только могли по своему положению войти гостем в кибитку мирзы Кадргула, собрались послушать рассказ приезжего джигита.

Полы большой хозяйской кибитки, широко и просторно расставленной на возвышенном месте, были приподняты, и ветер свободно проникал во внутренность жилища, освежая его душную атмосферу. Верхняя кошма была тоже откинута, и ровный, мягкий свет вечернего неба, проникая сквозь решетчатые ребра крыши, сверху освещал сидящие полукругом оригинальные фигуры. На главном месте, на мягком слое ватных одеял, прислонившись спиною к киби-

точным решеткам, сидел сам сановитый хозяин, неподалеку от него сидел мирза Юсуп, еще не успевший отряхнуть пыль со своего верблюжьего халата. Лицо его было тоже все в пыли и закопчено, над правым виском виднелся довольно значительный шрам, шрам новый, и когда кто-то, заметив эту новую прибавку, спросил: «А где это пророк послал тебе новую милость?», Юсуп уклончиво отвечал: «Так, случай тут был неподалеку».

Мирза Юсуп и все гости успели уже рыгнуть по второму разу.

Рыгание выражает то, что гость вполне удовлетворен угощением хозяина и наелся до последней степени. Позабыть рыгнуть – значит показать себя человеком, совершенно не знающим приличия. Рыгать слишком часто – это тоже могут принять за слишком уже усиленную лесть, и потому тут тоже должна быть своего рода сноровка, которую и изучают вместе с остальными правилами азиатского этикета.

Итак, гости рыгнули уже по второму разу. Мирза Кадргул погладил свою седую, клинообразную бороду и велел убирать большое глиняное блюдо с остатками вареной баранины. В настоящую минуту из рук в руки переходила чашка с крепким кумысом, мастерски приготовленным самою старою Хаззават. Кумыс этот пили небольшими глотками, иные цедили сквозь зубы, ухватившись жирными губами за края чашки. Красивый мальчик, лет четырнадцати, возился у тагана с кальяном, раздувая в его сетке горячие уголья.

Вокруг кибитки собралась большая толпа, и все старались протиснуться как можно ближе к решеткам, чтобы лучше слышать, о чем идет речь в жилище мирзы Кадргула.

– Так ты говоришь, что две тысячи кибиток? – спрашивал мирза Кадргул.

– Пожалуй, что и за третью хватит, – отвечал Юсуп. – Снялись, говорят, еще в прошлом месяце, теперь должны уже к самой Сырдарье подходить.

– Отступники! одно им слово, – заметил один из гостей, старый мулла Ашик. – И что их тянет к русским? Давно ли от них к Хиве перебрались, а теперь опять к ним перекочевали.

– А тогда другое было дело, тогда у них в Казале какой гусь начальником сидел!..

– Какой такой?

– Да совсем бешеный.

– Это Соболь-тюра, что ли?

– Да, он. От него и дальше Хивы забежишь. Мы слышали, в ту пору и русские купцы куда-то собирались откочевывать.

– Ну что же, хан как? – спросил опять мирза Кадргул. – Сердит очень, ведь ему это чистый убыток?

– Да, прибыли мало, да как их остановишь? силой не возьмешь. Ведь почти три тысячи кибиток, тоже свою силу имеют. Да опять же и с русскими не хочет ссориться. Сказано – не тронь, ну, он и не трогает.

– Да, – вздохнул мирза Кадргул на всю кибитку, икнул и протянул руку за кальяном.

– В Бухару послы русские приехали, – сказал мирза Юсуп.

– Что такое еще?

– Да мир настоящий затеяли. Музафар совсем в дружбу к ним лезет. На прошлой неделе еще, говорят, два конских вьюка золота отправил к ихнему губернатору.

– Эх! – вздохнул старый мулла Ашик, – не по нашим дорогам это золото ездит.

– Ну что же? всего себе не захватишь. Мир-то ведь велик, – заметил мирза Кадргул.

Кальян усиленно хрипел, переходя из рук в руки; угасающие уголья на тагане слабо потрескивали. В кибитке на несколько минут воцарилось полное молчание. Только слышно было, как тяжело дышала и перешептывалась толпа, вплотную налегшая на наружные решетки кибитки.

– Ну, что, – наклонился к хозяину Юсуп, – этот у вас как, не балуется?

Он показал на Батогова, мелькнувшего близко, почти у самых стен.

– Ничего, работник хороший.

– То-то, хороший, а вы его поберегайте, выкупу за него никакого не будет: простой сарбаз, об нем, чай, и думать позабыли русские, а он вам, ежели не слишком налегать будете, еще лет тридцать, как добрая лошадь, прослужит.

– Вчера в степь за верблюдами ездили, – начал мулла Ашик, – его тоже с собой брали, лихо на коне ездит, получше кое-кого из наших.

– Гм, – подумал Юсуп, – посади его на добрую лошадь, хоть на Орлика, да дай ему оружие хорошее, да и выезжайте, хоть по два на одного, тогда и увидите, что это за наездник. – Жаль вот только, – произнес он вслух, – что вера у них эта… Если бы его как есть в нашу перевести.

– А что? – спросил мирза Кадргул.

– Я говорю потому, – сказал Юсуп, – что он сам говорил мне как-то: «Я бы совсем в вашу веру перешел, мне уже теперь о своих и забыть-то надо, если бы только бить меня ни за что, ни про что перестали, да работы было бы поменьше, а то иногда не под силу приходится».

– Не под силу приходится, – проворчал за стеною киргиз-работник, – небось, нынче меня так об земь ахнул, что до сих пор бока ломит.

– На Соленых болотах, у Сайгачьего лога, болезнь какая-то на баранов пришла.

– Вот уже это беда наша совсем.

– В темир-каикских аулах колдуна зарезали.

– Это не желтого ли иранца?..

– Его самого. Всех четырех жен Курбан-бия перепортил. Сам бий почти целый год в отлучке был, приезжает, а они все вот какие ходят… – Юсуп показал рукою на аршин от своего желудка. – А там и посыпало!.. Одна так даже двух сразу.

Одна из жен мирзы Кадргула, красивая Нар-беби доставала из сундука, что стоял у дверей, какую-то одежду; услышав рассказ, она повернула свое толстое, краснощекое лицо и стала внимательно вслушиваться.

– Ну, а с женами что сделали?

– Да жены чем же виноваты? – заметил кто-то из гостей, – ведь это на них иранец ветром надул…

Нар-беби улыбнулась во весь рот, вся словно вспыхнула, и низко нагнулась над сундуком, выпятив на соблазн всей публики свои массивные формы.

– А что? – начал мирза Юсуп, – мы вот давно из аула не выходили. Перекочевывать придется еще не скоро. Нам бы хоть неподалеку куда проездиться.

– Да куда, разве опять на персидскую границу?..

– Далеко…

– Ну, на Заравшан к русским?

– Ну их! – поспешил заметить мирза Юсуп. – Народу всегда перебьют много нашего, а барыша совсем никакого: какую-нибудь пару казачьих лошадей, а то и совсем ничего, а по кишлакам там не много достанешь.

– Нет, вот я слышал, Садык с Назар-кулом хорошие дела делают…

– У них совсем другое дело.

Разговор на минуту прекратился. В кибитке стало совсем темно, и мирза Кадргул зевнул довольно громко, прикрыв рот рукавом своего халата. Около кибитки, где собрались женщины, только что подоившие кобыл и перелившие молоко в турсуки, слышалось что-то вроде песни и тихо бренчали струны сааза.

Батогов снимал на ночь попоны с двух верховых лошадей мирзы Кадргула и отчищал им копыта, усердно ковыряя тупым ножом засоренные подковы.

– Здравствуй, тюра! – раздался сзади него тихий голос.

Батогов обернулся. Юсуп стоял в двух шагах и смотрел вовсе не на него, а на челки лошадей, как бы рассматривая хитро заплетенные косички.

– Здравствуй, Юсуп, что хорошего? – сказал Батогов, и сказал так тихо, что, казалось, только сам себя мог слышать, и еще усерднее принялся за свое дело.

– Ну, теперь нельзя, а скоро хорошо будет, – произнес Юсуп, поглядывая небрежно вверх на звезды, и побрел дальше, сделав вид, что только так, мимоходом, завернул взглянуть на красивых жеребцов мирзы Кадргула.

II. КОГО ВИДЕЛ БАТОГОВ В СОСЕДНЕМ АУЛЕ, КОГДА ЕЗДИЛИ ЗА КАМЫШОМ

Ночь была темная. Мало-помалу говор и шум движения затихли в уснувшем ауле. Чуть краснелись во мраке верхи открытых кибиток и у колодцев мелькала красная, мигающая точка небольшого костра.

Из степи доносились какие-то неопределенные звуки: то будто бы волчий вой, то будто бы рев и кряхтенье верблюда, то словно далекое ржанье лошади,

то что-то еще, чего даже привычное ухо киргиза понять было не в состоянии. Что-то крылатое носилось в воздухе, мелькая красною точкою в то мгновение, когда оно налетало на тот чуть заметный столб красноватого света, который отбрасывали от себя еще не угасшие уголья на таганах[1], внутри кибиток.

Верблюды тяжело вздыхали и, лежа друг подле друга, терлись своими облезлыми боками, лошади жевали ячмень, отфыркиваясь в торбы, кое-где слышен был человеческий храп. В соседней кибитке тихо, но бойко перебранивались между собою неугомонные киргизки.

Батогов сделал все уже, что было нужно, работа его дневная, наконец-то, была покончена, и он свернулся на своем войлоке, около той кибитки, которая предназначена была для работников. Около него с одной стороны спал киргиз-работник и бредил о чем-то во сне, с другой стороны сидел тот работник, что испытал на себе силу русского пленника, он зевал во весь рот и усиленно скреб себе ногтями давно не бритую голову, силясь отделаться от несносного зуда. В этих слежавшихся, прелых кошмах временем накопилось довольно-таки разных паразитов, и нужна была сильная усталость, почти изнеможение, чтобы заснуть, пренебрегая этим неудобством.

Батогову не спалось, несмотря на то, что он не сидел целый день сложа руки. Нет, с раннего утра он пешком ходил верст за десять в степь: надобно было пригнать оттуда двух баранов для хозяйского обихода, потом ездил он с другими за камышом, на полувысохшие соляные болота, что лежали на востоке верст за двадцать от стоянки. Вернулись почти к вечеру, да и тут еще четыре турсука воды надо было принести, а колодцы были неблизко. Лошадей надо было убрать в свое время, а потом старая Хаззават велела котел мыть, за которым вдвоем они провозились вплоть до самой темноты. Так после всего этого, кажется, мог бы уснуть утомившийся пленник, и никакие паразиты ему бы не помешали, но тут была причина этой бессонницы. Юсуп сказал ему: «Скоро дело делать будем». И эта короткая фраза вызвала у него целый ряд самых жгучих, самых лихорадочных дум. А тут еще другая причина оказалась. Когда ездили за камышом, пришлось проезжать мимо соседнего аула, в который Батогову до сих пор не приходилось заглядывать… Поехали, останавливались у одной кибитки: один из работников мирзы Кадргула дело имел к кому-то из здешних. Постояли, поговорили и дальше поехали.

Ничего особенного в этом ауле не было, аул как аул, такой же точно, как и ихний, те же кибитки, те же загоны, разве только то, что этот совсем спрятался в лощине, а их стоит на высоком месте, верст за пятнадцать в хорошую погоду видно. Но Батогов успел заметить в этом ауле то, на что, казалось, не обратили вовсе внимания его спутники.

У одной из кибиток, стоявших несколько поодаль от прочих, полы были совсем закинуты наверх, тростниковая загородка (так называемая «чии») была снята и лежала в стороне. Она была сильно изломана ветром, налетев-

шим накануне, и ее, должно быть, собирались чинить. Сквозь крупную решетку видно было все, что делается внутри этой кибитки. Там сидело несколько женщин, они заняты были плетением громадного пестрого ковра. По их костюмам, по довольно чистым, белым тюрбанам, навороченным на головах, по бусам, украшавшим их потные шеи, наконец, по медным серьгам, вдетым, по туземной моде, в ноздри, и по тому свободному говору и смеху, который раздавался в кибитке, заглушая даже стук катушек, намотанных цветною шерстью, можно было видеть, что тут были все госпожи, хозяйки; рабынь между ними не было. Женщины взапуск жевали изюм и щелкали фисташки и другие подобные сласти, не давая отдыха ни своим языкам, ни своим белым, ярко сверкавшим при каждой улыбке челюстям.

Их говор и смех заставил Батогова повернуть голову, но не они остановили и сосредоточили его внимание.

Снаружи, на самом припеке, в стороне от той тени, которую отбрасывала от себя кибитка, стояла женщина, еще молодая, должно быть, очень красивая, если можно было отыскать бывшую красоту в этом бледном, истощенном лице, в этих впалых глазах, окруженных темною синевою… Грязная, изорванная холщовая рубаха до колен – единственный костюм этой женщины – едва прикрывала ее изнуренное тело. Это тело, худое, слабое, было совсем другого цвета, чем бронзовое, словно дубленая кожа, киргизок. Несмотря на слой грязи, несмотря на сильный загар, можно было видеть, что это было белое тело.

Эту нельзя было назвать хозяйкой, эта была то же, что и Батогов.

Не трудно было убедиться в этом, глядя, как ее тонкие руки устало, как бы нехотя, приподнимали и опускали тяжелый деревянный пест, которым она толкла просо, засыпанное в высокую деревянную ступу.

Когда она приостанавливалась и бросала на минуту свою тяжелую механическую работу для того, чтобы обтереть с лица пот рукавом своей рубахи, или же поправить рукою свои растрепанные, длинные, черные, как уголь, косы, из кибитки тотчас же возвышался визгливый, злой голос, кричавший:

– Ну, ты там, дохлая кляча, не хочешь ли лучше совсем бросить? Только бы спать, ленивая сволочь.

А другой голос добавлял:

– Только и дело делают, пока их колотишь. Я об *свою* совсем все руки обколотила…

Больно кольнуло в сердце Батогова при взгляде на эту работницу, и эта новая боль совсем заглушила его прежние страдания.

– Не я один, – думал он, – может быть, в каждом ауле найдется такая же, как она, такой же, как я, горемыка.

Ему хотелось подъехать к ней поближе, хотелось заговорить с нею. «Она, верно, заговорит по-русски», – думал он, хотелось расспросить ее о многом…

Он видел, как широко, изумленно взглянули глаза несчастной, когда топот проезжавших лошадей заставил ее поднять голову. Ему показалось даже, что эти глаза узнали его, если не его лично, то, по крайней мере, догадались, что видят перед собою товарища, брата по одинаковым страданиям…

– Ну, ну, отставай! – крикнул на него киргиз, ехавший сзади, крикнул и чем-то замахнулся.

– На девок заглядывается тоже, – заметил другой и засмеялся сквозь зубы.

Когда пришлось возвращаться назад, Батогов пристально, с сосредоточенным вниманием присматривался кругом, ко всем группам, мелькавшим между кибиток, ко всем отдельным фигурам, занятым каждая своим делом. Он думал опять увидеть ту же женщину, ему хотелось опять взглянуть на нее, но сколько он ни глядел, приподнимаясь на высоких стременах своего седла, высовывая голову из-за громадных снопов камыша, привьюченных с обеих сторон его лошади, он не видел никого, хотя сколько-нибудь похожего на эту страдалицу.

Да видел ли он ее? Может быть, это воображение, больное, расстроенное, нарисовало ему этот призрак?.. Нет, вот та самая кибитка, вот и ступка стоит на том же самом месте, вот пест лежит… А вот и еще что-то лежит, маленькое, скорченное, покрытое с головою какою-то рваной конской попоной, лежит и тихо стонет…

Вот об этой-то встрече и думал теперь Батогов, лежа врастяжку, навзничь, закинув руки за голову, неопределенно уставясь глазами в темное ночное небо, по которому, из конца в конец, беспрерывно черкали блестящие падающие звезды.

Кто она? откуда? Давно ли томится здесь, оторванная от всего, что только было ей близко?.. Эти вопросы больше занимали голову Батогова, чем даже фраза его Юсупки, снова вызвавшая томительные иллюзии близкого освобождения.

Как узнать все это, как отыскать ее, у кого расспросить об ней, если не придется ее увидеть снова? А как хотелось ему опять увидеть это страдальческое лицо!.. Если бы Батогову предложили на выбор – или бежать сейчас, или же отложить побег еще на целый год, но зато в это время обещать ему возможность видеть и говорить с пленницей соседнего аула, – он не задумываясь выбрал бы второе.

– Разве попросить Юсупа: он все узнает, ему это так легко устроить, он мне расскажет, – решил, наконец, Батогов, и с этим решением он стал дожидаться утра.

Он отполз подальше от общей кошмы, на которой спали работники.

– Ты куда это? – спросил его рядом лежащий, и спросил таким голосом, что Батогов сразу не догадался, ему ли это говорят, или же он слышит бессознательный бред спящего.

Он снял с себя рубаху, сильно встряхнул ее и надел снова. Он лег прямо на песок, потерся об него немного сильно чесавшимся телом, и скоро его начала одолевать тяжелая дремота.

– Ты чего это ушел-то? – снова слышится тот же голос. Батогов не отвечал.

Темная фигура приподнялась, пристально на него посмотрела, приподнялась еще больше и разом запрокинулась навзничь.

– Эк стерегут как, черти! – подумал про себя Батогов, – и что им за прибыль такая?.. Тоже ведь рабочая скотина, как и я… – И он начал притворно храпеть, чтобы избавиться от дальнейших расспросов.

Чуть-чуть рассветало, а уже половина аула была на ногах, даже сам мирза Кадргул выглянул на минуту, заспанный, из дверей своей кибитки, выглянул больше для того, чтобы показать, кому следует знать о том, что хозяин уже проснулся. Заспанное, немного сердитое лицо мирзы снова скрылось за узорною кошмою, и дверь плотно опустилась на свое место.

Батогов увел хозяйских жеребцов к колодцам, и опять не один, а с другими. Он захватил с собою и лошадей мирзы Юсупа, который, не выходя из кибитки, закричал ему:

– Эй ты, захвати и моих с собою, все равно за одним разом ходить к колодцам…

Юсуп выругался при этом, да так обидно выругался, что все работники расхохотались, услышав такое хорошее слово.

– Ах ты, свинья эдакая, – подумал Батогов и пошел отвязывать лошадей мирзы Юсупа, погладив при этом своего Орлика, который весело заржал при приближении пленного.

Умная лошадь всегда приветствовала Батогова ржанием, привычка, которая весьма не нравилась мирзе Юсупу, привычка, на которую как-то подозрительно смотрели заметившие это обстоятельство работники.

Спустя полчаса после того, как угнали лошадей к водопою, Юсуп вышел совсем одетый и вооруженный, словно в дальнюю дорогу, сердито поглядел кругом, словно отыскивая кого-то глазами, и проговорил громко, так что во всех концах аула слышали:

– Ишь ты, собака паршивая, сколько времени у колодцев толчется!

– Да ты, мирза, куда собираешься, что ли? – спросил Кадргул, не выходя из кибитки.

– Тут, неподалеку, в аул к Ахмету надо съездить, – отвечал Юсуп. – Пойти разве навстречу? – произнес он как бы про себя и быстро зашагал к колодцам, над которыми, несмотря на утреннюю росу, стояла густая пыль, и в этой пыли смутно сливались рев верблюдов, ржанье лошадей, унылое блеяние овец и громкие отдельные возгласы погонщиков.

Небольшая вереница всадников выделилась из этого пыльного облака, то были наши работники, которые маленькою рысцою вели лошадей с водопоя.

Мирза Юсуп шибче зашагал им навстречу.

– Эй ты! – крикнул он Батогову, когда они поравнялись, – давай лошадей сюда!

Батогов свернул немного в сторону, остальные работники поехали шагом, однако все-таки поехали, а не остановились вовсе, и на несколько минут Батогов очутился совершенно наедине, глаз на глаз, со своим преданным джигитом.

– Поверни сюда лошадь! стремя подержи! – кричал он громко. – Слушай, тюра, – произнес он почти шепотом, Юсуп весь разговор вел довольно оригинально: то говорил тихо, едва слышно, то кричал так, что его за версту все могли слышать, при этом он сильно жестикулировал руками и раза два, ни с того, ни с сего, замахивался нагайкою. – Слушай, тюра, через три дня мирза Кадргул опять на персидскую границу выступает, тебя хочет взять с собою, не езди… Да держи же повод крепче, чертова голова… Скажи, что болен, ногу обрежь себе, что ли… Ах ты, собака паршивая!.. А я поеду: мне надо. Здесь меня дожидаться будешь… И как это тебя не бить, скота эдакого!.. Новая луна как поднимется, тогда дело делать будем, я все уже узнал, что нужно, и дорогу нашел настоящую… А этого хочешь! – Юсуп с размаха ударил нагайкою по седлу. – Я этого и ездил эти две недели, – добавил он тихо.

Джигит медленно, с достоинством, взбирался на седло, Батогов, подавая ему поводья от другой лошади, успел сообщить ему в это время о той женщине, которую встретил в соседнем ауле, и просил Юсупа узнать об ней все, что только было можно.

Подозрительно поглядел Юсуп на своего тюра, сказал, что узнать можно, что узнать, пожалуй, не трудно, да только время ли о чужой голове думать, когда свою поскорее уносить надо… Выругал еще раз громко Батогова, примерно ткнул в загривок и с места в карьер поскакал в сторону, долго еще мелькая вдали своим красным халатом. А Батогов побрел пешком в аул, где уже поднимались высокие столбы дыма: там варили баранью шурпу (род похлебки) на завтрак проголодавшимся джигитам.

Днем Батогов не видал своего Юсупа: он целый день пропадал где-то и только поздно ночью вернулся в аул мирзы Кадргула.

Весь день нетерпение мучило бедного пленника. Недаром так болезненно отозвался на нем тот страдальческий взгляд, которым встретила его работница в соседнем ауле. У него сердце сжалось от какого-то странного предчувствия. В его мозгу копошилась страшная догадка.

Этот день так же монотонно прошел, как и другие, и когда ночью мирза Юсуп, проходя мимо Батогова, сказал ему: «Юсупка все узнал. Будет завтра случай, и тюра все узнает», то Батогов, совершенно забывшись, рванулся к нему с расспросами, но тотчас же опомнился, увидя, как его Юсупка спокойно пошел дальше, не обращая никакого внимания на волнение Батогова.

III. НАР-БЕБИ

В это утро обычные тревоги просыпающегося аула приняли какой-то особенный, оживленный характер.

Еще накануне пастухи, пригнавшие отары с пастбищ, и еще кое-кто из соседей, что кочевали близ соленых озер, говорили, что на этих затонах, в тех пунктах, где вода не совсем еще испарилась во время жаркого лета, слетелось много разной болотной и озерной дичи, прилетевшей с далекого севера.

Подходило время осеннего перелета, и эти кое-где разбросанные цепи солонцеватых озер, почти затерявшиеся в громадных степях, выжженных солнцем, обрамленные непроходимыми трясинами, поросшие тростником и осокою, служили станциями для бесчисленных птичьих стай, изнуренных далекими перелетами над безводною, сухою равниной. Дальше, за этими озерами, опять бесконечные степи, там за ними величавая, покойная Амударья, за нею благодатные теплые страны, а пока, в ожидании этого раздолья, сойдут и эти полувысохшие лужи, дающие возможность поплескаться и понырять бесчисленным утиным стаям, и некому здесь тревожить этих кочевых птиц, разве какие-либо соседние аулы вышлют своих джигитов порыскать с соколами вокруг соляных озер, не слишком близко, впрочем, подбираясь к их топким берегам. А тот ущерб, который нанесут несметным крылатым легионам десяток-другой узкоглазых охотников, не слишком-то тревожит птиц, и спокойно опускаются они шумящими стаями на эти гладкие водные поверхности, на эти илистые, топкие трясины, богатые всякою земноводною снедью.

Спокойно, чинно, с достоинством бродят между кочками длинные журавли, один за другим погружают они свои длинные носы в илистую грязь, выхватывают оттуда что-то живое, сильно трепещущееся, глотают пойманное, запрокинув кверху голову, снова суют носы в грязь, пока не нажрутся до пресыщения, до того, что равнодушно смотрят на какую-нибудь маленькую, бойкую, всю в ярких крапинках лягушку, прыгающую у них чуть-чуть что не под самым носом: тогда они, совершенно успокоенные, станут на одной ноге длинными рядами на самом краю затонов и, словно ряды неподвижных солдатиков, уставятся в воду, созерцая там свои собственные отражения.

Стаи уток, подвернув головы под крылья, плотно прижавшись друг к другу, дремлют на поверхности луж, и не видно воды под этою живою массою, испещренною золотисто-зелеными и ярко-белыми пятнами.

Поднимая тысячи брызг, взмахивая громадными белыми крыльями, вытянув тонкие красивые шеи, взлетают величавые лебеди и, пролетев несколько десятков шагов, стелясь над самыми зарослями, задевая камни в своем могучем размахе, с шумом опускаются на воды соседнего затона. И долго еще над водою носится плеск и гул, словно неподалеку дружно работают невидимые водяные мельницы.

Привольно было бы охотнику бродить по этим заповедным болотам, подкрадываться к этим стаям, не напуганным еще ружейными выстрелами, но только прежде надо изучить те немногие узкие, словно протянутые жердочки, тропинки, которые, пожалуй, еще могут выдержать незначительную тяжесть одинокого охотника. Случайно сплетшиеся корни и стебли осоки, редкого тальника и камыша образовали эти опасные предательские пути, и горе тому, чья нога сорвется с подобной тропинки. Горе тому, кто, обманувшись кажущейся прочностью соседней кочки, прыгнет на нее, рассчитывая с нее прыгнуть на другую, там на третью и, таким образом, мало-помалу, пробраться вон к тому водному пространству, что светлою чертою серебрится сквозь дальние камышовые заросли. Неверно ступившая нога уходит все глубже и глубже, ее словно засасывает какая-то странная подземная сила, бьется и барахтается неосторожный, хватаясь за окружающие его стебли, эти стебли остаются у него в руках, вырванные с корнями, быстрое движение еще более разбивает жидкую, бездонную грязь, и счастлив, тысячу раз счастлив тот, кому удастся снова выкарабкаться на прежнюю тропу, и уже ни за что не решится он во второй раз повторить такой, донельзя рискованной, попытки.

Случалось, что верблюд, испуганный волком, неожиданно завывшим за теми барханами, охваченный паническим ужасом, забежит в эти трясины. Долго бьется и пронзительно, чуть не на всю степь ревет от страха несчастное животное, силясь вырваться из этой засасывающей топи, и чем сильнее бьется оно, тем быстрее погружается в илистую массу, пока она совершенно не поглотит и это горбатое туловище, и эту искаженную ужасом мохнатую голову, которая, вытянувшись на длинной шее, до последнего мгновения держится на предательской поверхности. А приди кто через час взглянуть на это место страшной борьбы за жизнь – и что он увидит? Ту же слегка изрытую топь, те же кочки, мохнатые, неподвижные, тот же камыш, колеблющийся от ветра, и никаких признаков томительной, страшной катастрофы, – и недоумевает прискакавший на помощь киргиз, что же это ревело так, вот тут, словно как на этом самом месте?..

Сколько джигитов потеряли своих коней на этих болотах! И эти бесчисленные птичьи стаи словно знают, какие непроходимые преграды отделяют их от человека, и спокойно смотрят они вдаль на этих немногих всадников, что ярко-красными точками мелькают по окраинам, между редких, полувыжженных зарослей.

Временем осеннего перелета киргизы, страстные любители соколиной охоты, пользуются для того, чтобы попытать удаль своих ученых, притравленных птиц и поразнообразить хотя немного свой стол, заменив дичью вечно одну и ту же конину да баранину.

И вот сегодня мирза Кадргул собирался, чуть не всем аулом, на охоту с соколами и выезжал для того на соляные озера. Предполагали уехать верст за сорок от места стоянки, а потому мирза Кадргул, рассчитывая не один день

позабавиться этой охотой, велел перевезти на место охоты несколько запасных кибиток, с которыми и возились женщины, сворачивая кошмы, увязывая в пучки ребра телеги (боковые решетки) и остальное дерево[1] и навьючивая все это на верблюдов, еще накануне приведенных из степи.

Всех всадников собралось человек около тридцати. Это было почти все население просторно разбросанного аула. Все выехали на своих лучших лошадях, одетые в новые цветные халаты. Лица у всех смотрели как-то весело, празднично. Оружия с собою не забирали много – что, мол, оно только даром за спиною болтаться будет, однако шашку на всякий случай и неизбежные ножи захватили с собою. Только один мирза Юсуп, который даже из кибитки не выходил никогда иначе, как будто бы на войну собирался, был и теперь вооружен от головы до самых пяток, за спиною у него было ружье его диковинное, что по два раза сразу стреляет, а пистолеты с ним были такие, что, как начнут стрелять, и счета нет тем выстрелам, а сам мирза Юсуп в это время только пальцем пошевеливает.

Борзые собаки подняли вой, глядя на сбирающихся всадников, и путались между лошадьми, с веселым, заигрывающим лаем, прыгая чуть не на седла к своим хозяевам.

Ученые птицы сидели на плечах джигитов или на крашеных палках, прилаженных за плечами вроде коромысла; соколы, беркуты и маленькие охотничьи ястребки чуть слышно гремели металлическими бубенчиками, привязанными к их мохнатым лапкам. Все они были на привязях, от которых освобождались только по воле джигита, завидевшего подходящую добычу.

У самой ставки мирзы Кадргула красивый рыжий жеребец рыл ногою землю от нетерпения и, зажав уши, злобно косился на толпу, грызя железные удила своей разукрашенной уздечки. Батогов его оглаживал и внимательно осматривал седловку, стараясь не пропустить чего-нибудь такого, за что могло бы достаться от хозяина его спине или затылку. Однако все обошлось благополучно.

Мирза Кадргул вышел, степенно оглянулся по сторонам, оправил пояс, увешанный бесчисленными кошельками, подтянул штаны, не торопясь влез на седло и стал разбирать поданные ему поводья.

Всадник за всадником, маленькими группами, а чаще просто поодиночке, стали выбираться джигиты из аула. Солнце только что еще взошло, в воздухе было прохладно, застоявшиеся кони горячились.

Мало-помалу все всадники скрылись из вида, и аул опустел, только близ ставки мирзы Кадргула возилась краснощекая Нар-Беби, довьючивая с работниками последнего верблюда.

Через полчаса небольшой караван с тремя женщинами и четырьмя работниками, позванивая колокольчиками и погремушками, потянулся из аула вслед за уехавшими джигитами. Уздечки у всех верблюдов были украшены

ярко-красными шерстяными султанчиками, которые торчали как раз между ушей животных. Это означало, что верблюды были не какого-нибудь простого киргиза, а принадлежали самому мирзе Кадргулу.

В этом караване, в числе четырех работников, находился Батогов, которого краснощекая Нар-Беби выбрала себе сама на подмогу при расстановке и уборке кибиток.

Караван шел в таком порядке: на переднем верблюде ехал работник, сидя на горбах, между двух громадных свертков кибиточных кошем. На втором верблюде седло было совсем особенного устройства: оно было в виде четырехугольной, плоской корзинки, на углах которой поднимались аршина на полтора пучки камыша, а на верхушках этих пучков прилажены были султаны из конского волоса и красной шерсти. В этой корзинке сидела одна из жен мирзы Кадргула, рядом ехала верхом на лошади другая женщина, за ними шли два верблюда, на которых были навьючены телега и крыши кибиток; пучки крашеных прутьев странно топорщились и гремели при каждом шаге животных. На этих же верблюдах были прилажены два больших, закопченных котла и шерстяной мешок с рисом и прочей провизией. За верблюдами, несколько поотстав, шел пешком Батогов, он только один был пеший, между тем как остальные работники гарцевали верхом, держась поблизости каравана. Батогов вел в поводу четвертого приземистого, мохнатого двугорбого верблюда, почти белого, покрытого цветным ковром и украшенного большим, глухо звонящим колоколом. На верблюде этом сидела Нар-Беби, просто верхом, широко раздвинув свои ноги и раскачивая на ходу всем своим жирным туловищем. Однообразная, колеблющаяся походка верблюда, казалось, усыпляла ее, она сильно сопела носом, прихрапывала, только прищуренные, чересчур уже масляные глаза ее как-то странно посматривали на молодцеватую фигуру шагающего перед нею Батогова.

Он был в одних только кожаных шароварах, без рубашки, и его мускулистое, здоровое тело, несмотря на сильный загар и слой грязи, все-таки резко отделялось своею относительною белизною от темно-бронзовой, словно дубленой кожи прочих работников.

Вдруг Батогов почувствовал, что об его спину что-то очень легко щелкнуло, словно в него бросили чем-то… Сперва он не обратил внимания на это обстоятельство, но вот спина его опять ощутила на себе повторение того же удара, удара мягкого, такого, который ясно говорил, что бьющая рука вовсе не желала произвести болезненное ощущение, а просто требовала, чтобы на нее обратили внимание.

Батогов быстро обернулся. Широкий рот Нар-Беби как-то особенно выразительно улыбался, она смотрела вдаль, немного отвернувшись в сторону, и вытирала пальцами что-то под носом.

– Ишь ты, – подумал Батогов, – никак заигрывает?

Он пошел немного тише, так что очутился не впереди верблюда, а рядом, у самого плеча животного, которое вовсе не требовало, чтобы его тащили за повод, и бойко шло вперед, пошлепывая от скуки своими отвислыми пенящимися губами.

Маневр Батогова, вероятно, очень понравился Нар-Беби, потому что он тотчас же почувствовал, как острый носок красного сафьянового сапога уперся ему слегка в плечо, а потом начал легонько, по-кошачьи, щекотать ему шею.

Батогов опять обернулся. Нар-Беби быстро отдернула ногу, осклабилась, расстегнула ворот своей рубахи и внимательно занялась какою-то охотой у себя за пазухой. Скоро она так увлеклась этой ловлей, что, казалось, вовсе не замечала, как, мало-помалу, у ней обнажалась грудь, и ее красная кумачная рубаха сползла уже с одного плеча, скользя по ожирелым, потным формам степной красавицы.

Батогов искоса взглянул и отвернулся. Через секунду он снова почувствовал на своей шее прикосновение сапога.

– А что, – подумал он, – разве и в самом деле попробовать завести интригу, благо сама напрашивается?

И он, приноровившись, ловко поймал рукою эту шаловливую ногу и слегка притиснул ее.

Нар-Беби тихо засмеялась и произнесла вполголоса:

– Эге! Да ты знаешь, с чего начинать нужно? (поговорка, равносильная нашей «где раки зимуют»)…

– Тоже ведь не маленький, – отвечал Батогов так же тихо и шагнул немного вперед. Ему показалось, что один из работников, кривой Каримка, проезжая мимо, как-то подозрительно посмотрел на них своим одиноким глазом. Это был тот самый работник, который не раз схватывался с Батоговым, и схватки эти всегда для него невыгодно кончались, раз даже чуть не дошло у них до ножей, то есть, правильнее сказать, – до ножа, так как нож-то был у одного Каримки, и Батогов только тем и избавился от своего противника, что успел сбить его с ног ударом тяжелой конской попоны, а тут подоспел кто-то из джигитов и рознял драчунов, отвесив каждому из них по несколько ударов нагайкою. Батогов молча выдержал побои и принялся, чуть не в десятый раз, чистить и холить рыжего жеребца, а кривой Каримка кричал и выл чуть не на весь аул и клялся Аллахом и всеми пророками, что когда-нибудь просто сонного придушит эту проклятую русскую собаку.

Каримка поглядел и проехал мимо, еще раз обернулся совсем неожиданно, но Батогов зорко следил за всеми движениями своего подозрительного врага и потому вовремя принял меры осторожности.

– Ну, опять иди ближе, – произнесла Нар-Беби.

– Это хорошо, – подумал Батогов, – реже голодать придется, другой раз все лишний кусок перепадет, а мне этим брезгать не приходится.

Вдали, на небольшом возвышенном бархане, чуть виднелась группа всадников, еще дальше, в степи, мелькали несколько отдельно двигающихся точек. То были джигиты из аула мирзы Кадргула. Оригинальная охота с соколами, эта воздушная травля птиц птицами же, началась на потеху разгулявшимся джигитам.

Караван остановился. Выбрали место, где песок был немного посырее и не так крутило пыль прихотливым ветром, и принялись ставить кибитки.

Нар-Беби сама возилась с работниками, опытною рукою обтягивала решетки широкой тесьмою и волосяными арканами, и когда накидывали верхнюю кошму, то красавица, словно нечаянно, очутилась около самого Батогова и шепнула ему скороговоркою:

– Ты, слушай: как стемнеет совсем, сюда приди, я тебе в эту дыру мяса просуну, а ты и ешь потихоньку.

Она показала ему на прореху в кошме, приходившуюся как раз у самого низа кибитки.

– Вот и начало высокого покровительства, – подумал Батогов. – Все-таки не кто-нибудь, а сама жена мирзы Кадргула!

Подскакало человека три джигитов, у каждого на седлах висели в тороках по десятку разнокалиберных уток, у одного даже висел, прихваченный за шею, большой серый гусь и чуть не по самой земле волочился своим полутороаршинным крылом, переломленным во время падения на землю.

Птицу сдали на руки Нар-Беби: она тут была полной хозяйкой, за отсутствием старой Хаззават, оставшейся в ауле. Кибитки установили, котлы поставили на таганы, стряпня началась, и работникам ничего более не оставалось делать, как сесть на корточки и спокойно дожидаться вечера, любуясь, как вдали охотятся чуть заметные всадники.

Так и сделали.

IV. СОКОЛИНАЯ ОХОТА

– А вон наш мирза едет, – говорил один из работников, глядя вдаль по направлению озер.

– Где ты его видишь? – спрашивал другой.

– Да вон там. Смотри, как раз между кустом и тем джигитом, что с лошади слез.

– А, вижу. Может, он, а может, и другой кто. Далеко.

– Он.

– Смотри, смотри, как погнали! Ай-ай-ай! ух!

Работник привскочил на месте, заметался, словно он сам гнал вместе с джигитами, и громко загикал. Другой работник свистнул, а Каримка произнес, с презрением глядя на Батогова:

– Видывал ли ты там, у вас, что-нибудь лучше?

– Стоит дрянь такую смотреть! – сказал Батогов и даже сплюнул.

Каримка схватил какой-то комок и швырнул им в русского.

– Ну, ты – тише: опять то же будет, лучше не лезь! – сказал Батогов и отодвинулся подальше.

– А вон мирза Юсуп полем прямо пошел. Эк дует!

– Эге! да это они волка выгнали, смотри, как пошли. Вон он, вон!.. Удирает, чертов сын!

– Ой, уйдет!.. пропал… вон опять пошел… наседают, наседают!.. Прорезали!

– Берут, берут… Эх, кабы нам туда же!

– И что только за лошадь у этого Юсупа: просто сам шайтан в ней сидит!

– Да в ней, и правда, черт сидит, да, может, еще и не один… Ты слышал, небось, как Юсуп говорил, что он ее из-под русского батыра взял?

– Ну, так что же?

– А то, что ежели у них только в руках побывает – ну, и готово.

– Ну, а этот тоже?

Работник понизил голос и показал на Батогова.

– А ты думал – нет?

– То-то я заметил, что как он подойдет к Юсуповым лошадям, сейчас те ржать начинают, особенно этот гнедой, белоногий.

– А я так думаю, – вставил Каримка, – как бы тут совсем особенного черта не было… Я еще кое-что заметил…

Работники начали о чем-то шептаться между собою. Батогов попытался было вслушаться, да нет: очень уж тихо говорили. Только во время разговора Каримка раза два посмотрел туда, где краснощекая Нар-Беби, растерев на ладонях какую-то белую мазь, умащивала ею свои и без того жирные косы[1].

– Ну, а Юсуп? – спросил один из шептавших уже громко.

– Да что Юсуп, – отвечал кривой Каримка, – живет у нас с самого похода в Нуратын-Тау, а кто он – разве кто-нибудь знает, что ли?

– Эх, есть что-то хочется!

От котлов потянуло варевом, и эта аппетитная струя раздражала голодные желудки работников.

– А солнце-то уже низко, – заметил кто-то.

– Скоро кончат: вон четверо уже сюда едут, никак. Эк лошадей-то замылили!

– Эй вы там, иди кто-нибудь сюда! – раздался звонкий голос одной из женщин.

– Ну, иди, слышишь…

– Иди сам – не меня зовут!

– Что же ты, собака? – обратился Каримка к Батогову, – слышишь, марджа зовет.

Батогов поднялся.

На усталых, еле двигающих ногами, покрытых пеною лошадях мало-помалу начали съезжаться джигиты к кибиткам, поблизости которых поднимались столбы дыма от огней, разложенных под котлами, и густой пар валил клубами от самых котлов, особенно когда Нар-Беби приподнимала крышку, чтобы поворочать там деревянною лопаткою.

Кто проваживал лошадей, кто уже расседлывал их, отцепив от задней луки изрядные вязанки с дичью. Шумней и шумней становилось около кибиток, по мере того, как прибывали охотники. Лица у всех были потные, разгоревшиеся, говорили все разом, говорили громко, хрипло смеялись, припоминая разные эпизоды дня. Даже сам мирза Кадргул громко кричал на всю стоянку, что кабы не эта проклятая топь, то на волка бы он насел много прежде, чем поспел к нему Юсуп на своем белоногом. А Юсуп посмеивался над мирзой, приговаривая: «Ладно, топь – для всякого топь, а каскыр (волк) – вот он!» И джигит принялся отвязывать небольшого степного волка, подвешенного под седлом за задние ноги. Тощий, не вылинявший как следует, словно ощипанный, этот волк был очень похож на загнанную, забитую собаку, однако все-таки за ним надо было погоняться, на нем можно было выказать свою прыть, и считался он все-таки лучшим трофеем дня, травля за ним была самым веселым эпизодом охоты.

Скоро все устроилось: лошадей убрали и поставили на приколы, и джигиты уселись ужинать отдельными кружками, поблизости кибиток. Самое многолюдное и оживленное общество собралось около мирзы Кадргула и Юсупа. Батогов неподалеку вытирал куском войлока и скребницей засохший пот и пыль на золотистой шерсти рыжего жеребца.

– Это еще что за охота! – говорил мирза Юсуп. – Нет, вот я вам расскажу, как мы втроем в кураминских камышах на джульбарса охотились.

– Втроем? кто да кто? – спросил мирза Кадргул.

– Двое наших было да один русский казак, хороший тоже охотник.

– Вы верхом были?

– Пешие. Вырыли мы яму, засели туда, сверху камышом закрылись и сидим.

– А ведь страшно было, я думаю? – заметил кто-то из слушателей.

– Чего страшно? – Юсуп приостановился, – нам ничего не было страшно, а вот русский – тот немного струсил.

– Ну, еще бы!

– Около нас, тут сейчас, шагах не больше как в десяти, – продолжал рассказчик, – лошадь дохлая лежала: вчера еще ее джульбарс зарезал, да не доел. Мы и думали, что придет доедать нынче. Вот сидим, слышим – заревел.

– Ой-ой! и близко?

– Тут вот сейчас, как этот котел. Мы ждем. Слышим, ревет еще – другой…

– Тсс! даже слушать – страх берет…

– Ничего! слышим, опять ревет – третий…

«Вот разоврался», – думал про себя Батогов. Он слышал весь разговор и боялся проронить слово, потому что Юсуп сказал ему сегодня рано утром мимоходом: «Вечером, может, я говорить что буду, а ты слушай». Ну, теперь Батогов и слушал, догадываясь, что это какой-нибудь новый способ, изобретенный его джигитом, чтобы сообщить Батогову что-нибудь для него интересное.

– Русский дрожит и трясется, будто его ледяная болезнь бьет, мы – ничего, думаем: как раз по одному на брата. Поднялся по камышам треск – ну, целый табун гонят, да и только!

– Да ведь они больше тихо ходят?.. – усумнился мирза Кадргул.

– На этот раз шумели. Глядим, один вылез. Зубы – вот! – Юсуп показал на руке чуть не по локоть. – Глаза – вот!.. – Рассказчик хотел было кивнуть на котел, да одумался и сложил кольцом пальцы. – Рыло какое – ух!.. Смотрим: другой вышел, за ним – третий… остановились все три да как заревут!..

– Я бы непременно удрал!

– Давай стрелять, – говорит мне потихоньку казак. Я говорю: погоди, неравно испугаем их, они и уйдут – тогда ищи.

– Попугаешь!.. – мирза Кадргул расхохотался и толкнул рассказчика в бок кулаком. – Я думаю, у самих душа из халата выскочила!

– Ничего-таки не выскочила! Вот звери подошли к лошади, понюхали и принялись ее жрать. Ну, думаю, пора… как грохнем! – все три и повалились.

– Сразу?

– Сразу. Да это что, слушай дальше. Вылезли мы из ямы к ним, смотрим… и теперь точно что струсили, да и было отчего… сидят три бабы: одна баба черная, другая рыжая, а третья совсем белая, седая такая, сидят и животы чешут…

– Вот тебе и раз! – послышались отдельные возгласы. – Это вместо джульбарсов-то?

– Да, вместо. Мы это опять все трое в яму.

– Чего так?

– Страшно стало. Глядим: где же бабы? Нету баб, а вместо них-то сидят на падали три больших вороны, глаза у них совсем как уголья, сидят и долбят носами конские кости… Мы потихоньку, потихоньку, задом да задом, ползком да ползком, так-то мы вплоть до самой реки, без малого четыре «чакрым» (версты) пролезли. Да, вот какая дьявольская сторона стала! – заключил Юсуп и полез рукою[2] в блюдо с бараниной.

– Все от русских, – заявил мирза Кадргул и полез в блюдо с другой стороны. Несколько рук последовало их примеру.

– А то раз поехали мы рыбу ловить около Чиназа… – начал опять Юсуп.

– Погоди, после расскажешь, – остановил его Кадргул, – а то тебя начнут слушать – есть перестанут.

Замолчали все, и началось усиленное пожирание всего, что стояло перед джигитами; челюсти грызли попадавшиеся хрящи и кости, губы и языки громко, на всю степь, всхлипывали, всасывали и подскакивали, дыхание переводилось тяжело и как-то наскоро, и с грязных, лоснящихся пальцев капало на кожаные шаровары горячее сало.

Джигиты, должно быть, очень проголодались, да и было отчего.

– А в каких баб джульбарсы обратились – в русских или в наших? – спросил вдруг один из джигитов, вытирая нос и губы полою халата.

– Должно быть, в русских.

– Должно быть. Ведь они все немного с дьявольщиной. Года три назад наши привели двух, так одна из них белая была такая, что все равно как будто ее из соли сделали, а волосы у ней были в одну масть с твоим жеребцом, – говорил джигит, обращаясь к мирзе Кадргулу. – Так помнишь, как она Курбан-бия обошла. Бывало, не ест, не пьет, только сидит около нее да руками держится.

– Совсем пропал человек, – произнес мирза Кадргул.

– Да и пропал бы, если бы бабы его не догадались придушить русскую… ну, и прошло.

– Да ведь ее не душили, а, говорят, дали съесть чего-то.

– Давали и есть, да не берет, ну – они и того.

– Там еще одна, кажется, есть, – начал Юсуп и закашлялся, отвернувшись в ту сторону, где Батогов все еще тер рыжего жеребца.

– То другая, ту из Каракум привезли.

– Я знаю, из Каракум, мне вчера там, у них в ауле, говорили. Видел я ее как-то, ну, и расспросил…

Батогов весь сосредоточился в слухе, только рука его, почти машинально, медленно проводила по глянцевитой, атласной шее лошади.

– Привезли их тогда двух, – говорил Юсуп, и когда прокашлялся, то голос его стал гораздо громче.

– Да, двух, с нею еще одного человека привезли, тощего такого, – и странное дело, в ту пору заезжал к нам один из казалинских киргиз, хорошо так по-русски знал, начал говорить – ни тот его не понимает, ни он ничего не разберет.

Рука Батогова дрогнула, он наклонился немного, он с большим вниманием рассматривал ту маленькую трещину на копыте, что шла промеж двух гвоздей, он даже пальцем ее слегка потрогал.

– А говорили наши, что их трое в арбе сидело, да один барахтался очень, – его и того…

– Как же, голову его привезли, она дорогою хоть и попортилась немного, да узнать можно было, что не русский, а джюгут (еврей). В Бухаре я много таких видал[3].

– Ну, а тот, что живым привезли?

– Тот сдох, на другой же неделе издох.

– Да ведь это когда было?

– Вот уже три года, пожалуй, я же говорил.

– Да ведь это ту, что задушили, ну, а та, что в ауле?

– Все тогда же, только с разных мест.

– А уж очень плоха стала, – говорил Юсуп, – я вчера видел, ну, совсем помирает: ходит будто не на своих ногах, а ее еще работать заставляют.

– А то что же с ней делать?.. Выкупа за нее и тогда не было, а теперь кому она нужна?

– Была прежде хорошая баба, да слишком уже на нее налегли, ну она и хиреть начала.

Нар-Беби в эту минуту шла от котла к кибитке. Ей пришлось проходить как раз мимо Батогова. «Что это он делает?» – подумала она и остановилась. Очень уже ее озадачило то, что она увидела.

Батогов стоял, упершись лбом в плечо рыжего жеребца, одна рука его судорожно уцепилась за гриву, словно он собирался вскочить на коня, другая – висела прямо вниз, из этой руки выскользнула и скребница, и войлок, все это лежало на земле. Колена у Батогова тряслись и подгибались.

– Эй! Ты что это? – спросила Нар-Беби.

Батогов словно не слышал этого вопроса.

– Да ну, заскучал, что ли? – крикнула она громко.

– Что там еще? – спросил мирза Кадргул и приподнялся.

Юсуп быстро подошел к Батогову и тронул его за плечо. Рыжий жеребец дрогнул и подался вбок. Батогов упал. Несколько джигитов встали и подошли тоже. Они окружили лежавшего.

– Что такое с ним сделалось? – произнес Юсуп и нагнулся.

Батогов приподнялся, посмотрел вокруг себя каким-то мутным, неопределенным взглядом и снова лег ничком, подложив под лицо свои руки.

– Ауру… (болен), – произнес мирза Кадргул. – Оставьте его: к утру отлежится.

– А как славно жеребца твоего вычистил! – заметил один джигит и потрепал по шее рыжего.

– Хорошо около коней ходит, – сказал мирза Кадргул и пошел в кибитку.

Около *больного* стоял Юсуп и, как кажется, немного ошалел.

Батогов был в одних шароварах, и его голая спина как-то странно вздрагивала. Юсуп взял попону и накрыл его. Нар-Беби осторожно подходила с какой-то чашкою. Ей, видимо, хотелось подойти, но не хватало решимости.

Неподалеку лежал Каримка и еще один из работников.

– Ну, что, видел? – спросил он, – не моя правда?

– Да что?

– Юсуп, вон, накрывает его, видел?

– Ну, видел?

– То-то… Я уже и не то еще заметил…

Работник громко зевнул, потянул себе на голову рваный полосатый халат и свернулся клубком. Каримка тоже прилег, но с расчетом, так, чтобы не проронить ни одного движения Батогова и его Юсупа, все еще стоявшего над ним в недоумении.

Последнее зарево вечерней зари быстро погасало, темнота сгущалась все более и более. Там и сям послышалось звучное храпение спящих.

Вдруг Батогов приподнялся, опять сел, провел рукою по глазам и тяжело вздохнул.

– Тюра… – начал чуть слышно Юсуп.

– Вот она, судьба, – проговорил Батогов, задумался и опустил голову на колена.

V. «А КАРИМКА ВСЕ ЗНАЕТ»

К рассвету Батогов действительно *отлежался*, как предсказывал мирза Кадргул.

Правда, он был как будто не по себе, ходил понурив голову, ел мало, совсем нехотя, отказался даже от того куска мяса, что просунула ему в прореху кибиточной кошмы краснощекая Нар-Беби. Лицо у него было осунувшееся, бледное, но руки его работали хорошо, по-прежнему, даже как будто лучше, и кони мирзы Кадргула были вычищены так же блистательно, как и накануне.

Ночью маленькая беда случилась, то есть оно смотря для кого, для какого-нибудь бедняка и очень большая, а для богатого мирзы, конечно, безделица.

Двух верблюдов укусили змеи. Этих гадин много водится поблизости соляных болот. Маленькие они, такие сверху серые, темно-зеленоватые, как лежит в илу – ее и не заметишь, а чуть перевернется или свернется кольцом, так и блеснет в глаза красноватым, словно обложенным медью брюшком; ползают они страх как шибко, прячутся при самом легком, сколько-нибудь подозрительном шуме, а укусят ежели, особенно в жаркую пору, – беда, если только вовремя не захватишь, то и конец. Так и теперь. Один верблюд, помоложе, уже совсем издыхал, плашмя лежал на боку, вытянул ноги и только сопел своим надорванным носом, другой еще держался на ногах, мог даже идти потихоньку, только все смотрел налево, потому что за правою щекою у него вздулась опухоль, чуть не с арбуз величиною, и мало-помалу душила несчастное животное.

– Оба околеют, – решил старый мулла Ашик. Он был знахарь по этой части, и приговор его остался без всякого опровержения.

Через день хотели назад идти, а сегодня думали еще порыскать немного, а пока, чтобы не тратить времени, посланы были один джигит и два работника за новыми верблюдами для подъема кибиток и прочего скарба.

Из работников поехали Батогов и Каримка. Хотя Нар-Беби и успела шепнуть Батогову: «Не езди, оставайся», но тот сделал вид, что не слышит, и пошел седлать себе старую, хромую лошадь. Ему все еще боялись давать хорошую. «А ну, как уйдет? – думали они, – а на плохой много не расскачешься по степи».

– Ишь, собачий сын, – подумала красавица, улучила еще удобную минуту и опять шепнула: «Не езди же, говорят тебе». И опять не получила ответа.

В голове у Батогова плотно засела какая-то дума, такая дума, что ее не могла даже выбить оттуда сама краснощекая Нар-Беби, как бы ни выставляла напоказ свои полновесные формы.

Даже Юсуп заметил это обстоятельство и, передавая Батогову аркан, сказал ему:

– Гляди, тюра, не надури чего такого, чего нам вдвоем не распутать.

– Небось, не надурит, – сказал словно как про себя невесть откуда подвернувшийся Каримка.

Юсуп вздрогнул, вытаращил глаза и за нож даже ухватился. Батогов тоже изумленно посмотрел на Каримку, который, как ни в чем не бывало, садился на лошадь, и проговорил:

– А, так ты и взаправду напал на след, – ловок парень. Ну, что же делать, сам виноват.

– Едем, что ли?! – крикнул джигит, и все трое пошли перебоем, так называемой волчьей рысцою, придерживаясь окраин солонцовых болот.

Впереди ехал джигит, за ним ковылял Батогов, сзади всех Каримка, ухмыляясь, посвистывая и напевая себе что-то под нос.

– Погоди, запоешь иначе, – думал Батогов. Он чувствовал на себе взгляды Каримки, и ему было как-то неловко, словно за спину заползла какая-то гадина и скользит своим холодным телом как раз между его лопатками.

Уже далеко сзади остались кибитки. Слева расстилалась волнистая степь, справа сквозь камыши тянулись светлые полосы болотин, проглядывали кое-где лужи, заржавевшие, покрытые серо-красным вонючим налетом. Местами серебрилась соль, словно почва подернута была утренним морозом. Где было совсем твердо – и копыта коней звякали на ходу, где же попадались места помягче – и лошади проваливались выше колен и вязли. Инстинктивно храпели кони, почуяв под собою неявную почву, и, фыркая, рвались или вперед, или же стремительно кидались вбок, на более надежную дорогу.

Джигит ехал молча, все сдерживая своего горячего коня, по временам он оглядывался и останавливался совсем: лошади работников не могли поспевать за его серо-пегим и беспрестанно отставали.

Батогов уткнулся глазами в ощипанную гриву своей клячи и, казалось, дремал, а Каримка всю дорогу пел-импровизировал какие-то песни то громче, то тише, то впутывая в слова песни понуканья своей лошади.

А Батогов не дремал, он думал. Ему было о чем думать.

– Ну, случилось все так, как и случилось… Средства в руках… А чьи они? Надо было разузнать, все сообразить… Не все ведь убиты, один только, и то потому, что *уж очень барахтался*… (Батогов припомнил это выражение.) А жена, а немец-механик?.. скажешь, не знал?.. Нет, знал. Ты сам еще *тогда* сказал об этом… Где же они, эти жена и немец?.. В степи увезли, в неволю… Ну, а как их можно было опять оттуда вытянуть?.. Денег послать, сторговаться… Вся процедура подобных выкупов известна, она вовсе не замысловата, есть даже люди, что только занимаются этим посредничеством, и ты этих людей знавал. Твой же приятель Мурза-бай мог это для тебя устроить.

– А Каримка все знает… – пел сзади него сиповатый ненавистный голос.

– Не предполагаешь ли ты, друг мой, что теперь уже поздно поправить дело?.. Для немца-механика оно точно что поздновато, ну, а для той, что просо толкла, для той, *на которую поналегли очень, она и захирела*?..

Батогов почувствовал, что если бы под ним была не эта заморская кляча, а его Орлик, он так бы и рванулся туда, к горам, за которыми бегают русские рубахи, туда, где есть *у кого* взять деньги и где можно было бы отыскать приятеля Мурза-бая… Но под несчастным невольником была жалкая лошаденка, которая давно уже разучилась скакать, которая теперь даже споткнулась и чуть не упала от одного только порывистого, конвульсивного движения Батогова.

– Вот ты бежать собираешься. Юсупка твой все дело уже подготовил, он сам говорил тебе об этом. Ну, а у той нет Юсупки, кто подготовлял той хоть что-нибудь? Разве у той нет, как у тебя, заветной мечты, нет томительного желания, хотя на минуту, хотя перед смертью, почувствовать себя свободною, чтобы испустить дух не под плетью скуластой дикарки, а видеть вокруг себя сочувственные, родные лица…

– А Каримка все знает…

– Сами на себя погибель накликаем, – тихо произнес Батогов и обернулся к певцу.

Даже Каримка вздрогнул и немного струсил: такие страшные, блуждающие глаза были у Батогова.

– Три года тяжелого рабства!.. Господи! Ведь я три месяца только, и то одна надежда поддерживала, без этой надежды, может быть, давно уже… А она? Ее что поддерживало?..

– Гей! Гей! – завопил передний джигит каким-то неестественным голосом и сорвал сразу, во весь карьер перелетел через высокий куст камыша и понесся по степи.

Что-то маленькое юркнуло впереди, спряталось, опять показалось, и, словно шарик, покатилось близко, перед самою лошадью джигита.

– Куян, куян (заяц)! – кричал Каримка и заерзал на седле.

Близко, вот-вот, наседал серо-пегий на удирающего зайца; были мгновения, что издали казалось, будто лошадь топтала передними ногами беглеца, но это только казалось. Несколько раз джигит высоко взмахивал плетью, быстро нагибался, словно валился с седла, но удар приходился просто по земле, поднимал пыль, срезывал сухую степную колючку, а заяц, невредимый, заложив уши на спину, драл впереди, раззадоривая горячего, в это мгновение все забывшего на свете охотника.

Все дальше и дальше уносился джигит в своей лихой скачке. Уже чуть виднеется вдали его верблюжий халат, уже ничего не видно, кроме пыли…

– Ну, что же, едем, что ли, чего дожидаться? – сказал Батогов.

– Нет, Каримка один с тобою не поедет, – проговорил работник и попятил немного свою лошадь.

– Что, поросенок, струсил?

– Ну-ну, смотри, у меня нож есть.

– А мне наплевать на тебя и с ножом твоим, – произнес Батогов и поехал.

Каримка постоял, подумал немного и поехал осторожно сзади. Несколько времени оба ехали молча, даже Каримка оставил свою песню с припевом: «А Каримка все знает». Батогов опять задумался.

– Разве захватить и ее с собою. Гм?..

Несмотря на свое возбужденное состояние, Батогов тотчас же сообразил всю нелепость этой идеи. Успех побега и для них был еще сомнителен. Ведь шутка ли, несколько сот верст бесплодной степи отделяет их от ближайшего русского поста, сколько случайностей, и случайностей таких, что не мог предвидеть даже опытный Юсуп, могло им встретиться на этом продолжительном, тяжелом пути. Если *дело* и могло еще удаться им двоим, то, взяв на себя такую обузу, как больная женщина, которую еще прежде надо было увезти из ее аула, они, наверное, потерпели бы полнейшее крушение еще в самом начале *дела*, и тогда… Тогда уже конец. Тогда остается только зарезаться…

Опять затянул старую песню ехавший сзади работник, опять окончил ее тою же фразою, но на этот раз с добавлением…

– А Каримка все знает… знает, знает… А сегодня будет знать и мирза Кадргул…

– Дьявол, чего ты от меня хочешь? – крикнул вне себя Батогов и круто повернул свою лошаденку. Каримка метнулся назад.

Дорога шла узкою тропою, справа и слева тянулись трясины. Всадники думали выгадать путь и взяли напрямик.

Лошади только шагом могли идти по этой зыбкой, предательской тропе.

– Я тебя задушу как козленка! – кричал Батогов. Он соскочил с лошади и бегом ринулся на оторопевшего Каримку.

– Оставь, что ты?.. Оставь!..

Лошадь под Каримкою заторопилась, оборвалась задом и засела.

– Попался…

Каримка шарил руками у пояса: он искал рукоятку ножа. Он задыхался и хрипел: могучие руки тянули его с седла, за воротник халата.

– Оставь, оставь!.. Собака… Ост…

Вдруг лошадь под ним рванулась сильно, неожиданно. Воротник остался в руках у Батогова. Еще раз рванулся конь и уже по самое брюхо ввалился в засасывающую, бездонную тину. Сильней барахталась бедная лошадь и все дальше и дальше отбивалась от тропы, затягивая с собою и своего всадника. Уже и спины не видно. Дико фыркают кровавые ноздри, глаза навыкате… Только голова видна.

Дико, пронзительно завыл Каримка и протянул руки по направлению к Батогову.

А тот стоял шагах в четырех на тропинке и медленно распутывал намотанный у пояса аркан.

Еще несколько мгновений, и этого страшного, исковерканного ужасом лица, этих рук, протянутых за помощью, не будет видно.

У кого просил помощи Каримка?

Батогов взмахнул арканом.

– А Каримка все знает, но только мирза Кадргул знать ничего не будет, – сказал Батогов и начал опять потихоньку сворачивать в кольцо спасительную веревку.

Лошадь Батогова стояла спокойно, словно ничего необыкновенного не происходило перед ее глазами. Она скусывала метелки с ближайших камышовых стеблей, осторожно вытягивая шею.

Батогов сел и оглянулся.

Темно-бурая, развороченная масса медленно шевелилась все тише и тише – так успокаивается пена на котле, в котором перестает кипение. На поверхности вздувались и лопались зеленоватые пузыри. Зацепившись наискось, висела на каком-то тычке остроконечная войлочная шапка.

Больше ничего не было видно на поверхности.

Батогов глубоко и тяжело вздохнул.

– Своя рубашка ближе к телу, – произнес он и поехал потихоньку.

Никак аул какой-то впереди?.. Вон дым столбом поднимается из лощины, вон словно чернеется кибиточный верх. Вон и еще видно что-то… Да это камышовая изгородь. Совсем в лощине сидит притаившийся аул, но Батогов узнал эти изгороди, эти кибитки. Он узнал аул Курбан-бия. У него сердце сжалось.

Вон что-то мелькнуло в кустах… Человек никак – да, это женщина. Она сидит, около нее лежат две вязанки камыша. Лица ее не видно: она сидит сюда спиною.

Батогов подъезжал все ближе и ближе. Аул был еще довольно далеко. Кругом не видно было, кроме их, ни одного человека. Женщина, должно быть, услышала топот лошади. Она обернулась.

Батогов не соскочил: он свалился с лошади.

Тот же изумленный, запуганный взгляд больших темных глаз встретил Батогова.

– Здравствуй, – сказал он и больше не мог произнести ни одного слова.

– Ты тоже *оттуда*, – произнесла она и шагнула немного вперед. – Ты русский?

Руки женщины протянулись вперед, задрожали и снова опустились в изнеможении. Она покачнулась и не то упала, не то села на вязанки.

Неподалеку, в кустах, заревел ишак. Женщина вздрогнула и заметалась… Батогов подошел совсем близко…

– Отойди… ну… зачем?..

Боязливо, с какой-то странной дрожью, смотрела она на него, и эти глаза дико бегали по сторонам, словно боялись появления, вон оттуда, из-за кустов, чего-то уже очень страшного…

– Как зовут тебя?..

– Отойди… Ступай…

Она отодвинулась еще дальше, потом хотела встать, потянула за собою вязанку… Она, словно щитом, пыталась закрыться этим плохо связанным, ползущим и топырившимся снопом.

Она вдруг начала хныкать…

– Неужели? – подумал Батогов и вдруг почувствовал, что по его лицу скользит что-то мокрое, глаза застилает словно туманом. Он вдруг зарыдал, бросился вперед, охватил то, что прежде всего попалось ему в руки, и повалился на землю. Он обнимал, прижимал к своему мокрому лицу и целовал ногу, худую, судорожно дрыгающую, покрытую изрытыми, гноящимися струпьями.

Оглушительный, визгливый хохот раздался словно над самым ухом. Батогов вскочил и оглянулся…

Толстая, безобразная, хотя и молодая еще, киргизка стояла шагах в трех от них, подперла живот обеими руками и хохотала до исступления, другая такая же просто каталась по земле, и смех ее обратился уже во что-то очень похожее на собачье вытье, прерываемое обрывистым лаем.

Батогов ринулся на них с поднятыми кулаками. Должно быть, он был страшен, потому что хохот обеих женщин обратился в ужасный визг, и он пустились бежать к аулу, путаясь в своих полуспустившихся шароварах, волоча за собою размотавшиеся тюрбаны…

– Рахиль… Рахиль… – говорила шепотом невольница и прикладывала руку к впалой груди.

Батогов обнял ее и, нагнувшись почти к самому уху, покойно, твердо ударяя на каждое слово, произнес:

– Не дальше, как через две луны, жди оттуда, – он указал на север, – придет к тебе избавление…

Никакой заметной перемены не произвела эта фраза на лице несчастной. Испуг сменился покорной, немножко идиотической улыбкой, но это произошло еще прежде, глаза смотрели блуждающим взглядом по тому направленно, которое Батогов указал рукою. Только руки крепче уцепились за его шею и потянули к себе, а тонкие губы начали складываться в поцелуй и словно обожгли лоб Батогова своим прикосновением.

Несколько голосов грубых, бойко и суетливо говорящих, приближались со стороны аула. Между ними слышались и голоса женщин. Батогов не без усилия отцепил от своей шеи руки бедной невольницы, взял лошадь свою за повод и быстро стал удаляться.

Отойдя шагов на двести, он остановился, его здесь не могли видеть за густою растительностью, а он видел то, что ему было нужно.

Человек пять киргиз подошли к несчастной Рахили и стали искать кого-то по сторонам.

– Он чуть не убил меня, – визжала вдали одна из женщин.

Киргизы постояли, посмеялись, плюнули и пошли. Один из них дал ни с того ни с сего звонкого подзатыльника самой толстой киргизке, а потом тотчас же повторил свой подшлепник, и все пошли обратно к аулу, и смех их, и говор мало-помалу затихли вдали, а другой звук, грустный, слабый, как шелест ветра в камышах, пронесся и дрогнул в воздухе…

Это пела Рахиль, опять сидя на своих снопах.

Батогов пошел к своему аулу, ведя в поводу лошадь. Далеко он отошел от того места, где встретил Рахиль, разве выстрел пушки мог бы долететь до него на этом расстоянии, а между тем он ясно, отчетливо слышал каждый звук ее голоса, каждую ноту ее печальной песни.

Эти звуки его преследовали.

VI. НЕ ОДИН КАРИМКА ВСЕ ЗНАЕТ

Вот уже третий день, как мирза Кадргул с джигитами ушел на промысел к персидской границе. Юсуп, конечно, поехал с ним. Батогова потому не взяли, что он очень заболел перед самым походом. Каримку не взяли потому, что не могли его отыскать.

В ауле осталось не более десяти джигитов, остались все бабы, работники, и над всем этим головою стал мулла Ашик, которому уже не под силу приходились труды и лишения походной жизни: лета брали свое, и спина стодесятилетнего старика частенько напоминала своему хозяину о будущем рае

с сорока восемью гуриями, особенным кумысом и небесной бараниной такого необыкновенного вкуса, что один из местных святых, Белый Чабан-Ата, могила которого находится на высотах его имени у Самарканда, во время своего первого завтрака в раю не заметил, как вместе с сочной бараньей лопаткой проглотил все свои десять пальцев и половину собственного языка.

Итак, старый разбойник Ашик остался царить над всем аулом. Батогов попал пока под его полнейшее господство и сначала не замечал никакой перемены в своем положении: все было одно и то же, ни хуже, ни лучше, только вместо золотистого жеребца прежнего хозяина пришлось чистить вороного аргамака теперешнего владыки и еще двух сивых меринов-иноходцев.

Батогов волновался и метался по аулу, как тигр в клетке зверинца. Он работал за десятерых, ел мало, почти не спал. Он чувствовал, что приближается минута, такая минута – «либо пан, либо пропал».

«Дела делать» пора приспела.

Юсуп, уходя в поход, имел возможность толково, ясно и определенно сообщить ему весь план задуманного побега, план, который поразил Батогова своею обдуманностью и подготовкой. Сомнение в успехе быстро испарялось в воспаленных мозгах Батогова, им овладело мучительное, лихорадочное нетерпение.

Подозрительный глаз кривого Каримки, все знавшего, не мог больше ничего видеть. Но пленник попал «из огня да в полымя», с него не спускала глаз другая личность, и это было похуже наблюдательности озлобленного, мстительного работника. За Батоговым и день и ночь смотрели два ревнивых, любящих глаза.

За Батоговым следила Нар-Беби, и он это чувствовал, он этого боялся. Боялся более, чем десяти кривых Каримок.

Вчера вечером Нар-Беби доила кобыл, кобыл этих подогнали не очень близко к кибиткам, стояли они в загоне, в самом дальнем, совсем почти в лощине.

Бабы доили кобыл по очереди, Батогов стоял да наблюдал, чтобы кобылы вели себя смирно, отгонял в задний угол тех, которых уже выпростали, и подгонял к женщинам других, еще не тронутых. Всем бабам пришлось поровну работы, и все они уже подоили и собирались нести молоко к кибиткам, только Нар-Беби что-то запоздала, и ей пришлось остаться одной додаивать чалую кобылу с лысиной во всю голову.

– Ты и не думай!..

Нар-Беби приподнялась и оглянулась кругом, бегло обшарив своими вороватыми, черными глазами все уголки загороди.

– Чего не думать? – спросил Батогов, опершись на длинную жердь с крюком, которою обыкновенно вооружены все степные пастухи.

– Сам знаешь, чего.

– Не знаю.

– Поди сюда.

В свою очередь Батогов осмотрелся кругом, заглянул даже через изгородь и подошел к женщине. Нар-Беби обвила его руками, оглянулась еще раз, прижалась к нему лицом и проговорила, словно прошипела:

– Ты от меня не уйдешь… слышишь? Всех джигитов проведешь, старого осла Ашика проведешь, а меня – нет. Ну, так ты и не думай…

– Куда мне уходить? – равнодушно говорил Батогов, а сам подумал: «Эх, отчего мы не на болоте?..»

– Тс… идет кто-то…

Батогов высвободился из сжимавших его объятий. Впрочем, это была фальшивая тревога.

– Не уйдешь… не уйдешь… не уйдешь…

Нар-Беби принялась гладить руками по голове Батогова.

– Да куда?..

– Куда тебя Юсуп твой поведет… Я все знаю.

Батогову стало страшно… Он, вероятно, вздрогнул, потому что Нар-Беби тотчас же сказала:

– А, испугался?.. Ты Каримку зачем убил?

Она пристально посмотрела ему в лицо. Батогов чувствовал, что эта женщина, действительно, все знает.

– Я его не убивал – мне зачем?.. – шептал Батогов, а сам думал: «Разве и эту тоже?..»

– Меня не убьешь, – говорила Нар-Беби, она точно читала все мысли своего любовника.

– Колдунья – одно слово, – подумал Батогов. – Надо хитрить.

– Мне хорошо, тебе хорошо, – говорила Нар-Беби.

Она сидела на опрокинутом разбитом котле, он стоял около.

– Я все знаю, а никто этого знать не будет. Будет мне дурно, тогда и другие все знать будут… Да я тебя еще прежде сама зарежу…

– Уж будто и зарежешь?..

– Горло перегрызу зубами…

Батогов улыбнулся.

– Гм… Ну, коли так, коли ты все знаешь, – прервал ее Батогов, – так я тебе скажу… Думал я точно уйти, а теперь от тебя куда я пойду? Мне и здесь хорошо.

– Ну, смотри…

Она быстро вскочила: ей почудилось, что кто-то идет за изгородью… Прислушалась – никого.

– Смотри же… – томно говорила Нар-Беби.

– И зачем это она так салом этим вонючим намазалась? – ворчал Батогов.

Человека три конных подъезжали к загону. Батогов посвистал, щелкнул длинным кнутом и совершенно скрылся в этой массе пестрых конских туловищ, устремившихся к выходу. Нар-Беби занялась перевязыванием кожаного меха с молоком, чтобы удобнее было взвалить его на спину.

– Экие темные ночи начинаются, – говорил один из всадников.

– Время к тому идет, – резонно заметил другой.

– Вчера я ехал из Могуна. То есть ничего не вижу, хоть совсем глаза закрывай, хоть пяль их, что есть мочи, – все одно будет.

– Холодать стало очень.

– Особенно к утру… Беда!..

– Хоть бы украсть ее, что ли, а то не продает да и шабаш.

– Это серую, что ли?

– Серую. На днях на скачке был. Вижу, славно идет, мах совсем сайгачий. «Продай», – говорю… «Что дашь?» – «Двести коканов, или на мену пойду…» – «А этого хочешь? – говорит Курбан. – Не продам, самому по сердцу». Так и отъехал я от него ни с чем.

– Что ж, украсть недолго…

– Теперь хорошо: темно.

– К Ахмету за его шестую дочь калым пригнали.

– Покуда овец только, а лошадей обещали на той неделе.

– А девка совсем неважная – я видел.

Всадники поехали дальше. Говор их затихал в сгущавшейся темноте.

Ночь наступила темная, холодная. В ауле там и сям поднималось высокое пламя от костров.

– Ведь это последняя ночь! Господи, помоги мне, – Батогов упал на колена. – Если не для меня, то хотя для той. Не дай ей умереть здесь. Доведи хотя раз еще взглянуть ей на волю…

Что-то зашуршало, и так близко, почти у самого колена молящегося. Батогов отпрянул. Какая-то искорка мигнула во мраке, мигнула, исчезла, мигнула ближе, и послышалось знакомое шипение.

Батогов едва успел отскочить и взмахнуть палкою. На песке чуть виднелось быстрое извивавшееся черно-бронзовое тело медянки.

– Вот бы вовремя ужалила, проклятая! Нечего сказать, кстати…

У него закопошилась суеверная мысль: добро или зло предвещает гадина.

Батогов улыбнулся.

– Неси молоко за мною…

Перед ним выросла округленная фигура Нар-Беби. Она не могла уйти одна: она не решалась оставить Батогова.

– А я думал, что ты уже в ауле, – произнес он, взваливая на плечи мех.

– Иди за мною, – отвечала ему Нар-Беби и пошла впереди, переваливаясь на ходу и поглядывая через плечо на идущего за нею работника.

«Эх, дубинушка, ухни… Эх, зеленая, сама пойдет!..» – затянул Батогов, шагая следом и поглядывая на яркую точку Полярной звезды, – точку, которая в эти темные непроглядные ночи должна будет служить им единственным путеводителем.

Батогову казалось, что эта звезда сегодня особенно ярко светит, за этим манящим светом не видно остальных светил, не видно даже поднявшейся довольно высоко семизвездной Большой Медведицы.

В ауле как-то особенно жалостливо, уныло выли проголодавшиеся собаки и пронзительно ревел испуганный кем-то ишак, уставившись глазами на огонь ближайшего костра.

VII. ПОБЕГ

– Ну, мой-то плоховат, – говорил про себя Батогов, рассматривая при свете костра остатки своего верблюжьего халата. Почти до последней степени возможности носил этот халат его хозяин, наконец, бросил: и рукава обтрепались, и полы висели зубцами, и заплат на нем было больше, чем целых мест, сала из него можно было бы вытопить добрую чашку, и несло от этого халата чуть не за десять сажен. Батогов и надевать его не решался, предпочитал ходить в одних шароварах, пока было тепло, а теперь настали холода, да и к тому же в дорогу не мешало привести свой костюм хотя в какой-нибудь порядок.

А Батогов собирался в дорогу и, по его соображениям, отправляться в эту дорогу предстояло сегодня ночью.

– Вот мирза Кадргул вернется, он тебе новый даст к зиме-то, – сказал кто-то, сидевший по другую сторону костра. Густой дым, поднявшийся от нового пучка сырого камыша, подброшенного на огонь, закрывал говорившего.

– А то не даст, – отвечал Батогов. – В этом не проживешь…

– У Каримки хороший был, крепкий…

Батогов стал присматриваться к говорившему.

– Да, новый, крепкий, да пропал куда-то он, вместе с халатом, – говорил тот же голос.

Батогов нагнулся, насколько позволял дым, он рассмотрел маленького, черного, словно закопченного киргиза, сидевшего на корточках и гревшего над огнем свои пальцы.

– Нет, этот, кажется, спроста говорит, – подумал Батогов… Он был в таком настроении, что ему везде, во всяком слове, чудились намеки.

Нар-Беби подлила масла в огонь своею сценою в загороди, и этой сцены было достаточно для того, чтобы ему со всех сторон казались блестящие, дышащие ревностью глаза женщины, уставившиеся на него из темноты. Он даже обернулся быстро, неожиданно даже для самого себя.

Какая-то искорка блеснула далеко, там, у самой лощины. Собаки усилили вой…

– Волки, должно быть, – заметил черномазый.

– Волки, – согласился с ним Батогов и весь похолодел, несмотря на близость огня. Он знал, что это за волки… «Вон та звезда там будет», – говорил ему его Юсуп, когда сообщал подробности.

Батогов взглянул наверх… Та звезда была там.

А народ в ауле, как нарочно, не укладывался на покой. Батогову казалось, что это все делается для того, чтобы помешать его побегу, ему казалось, что все знают, все его стерегут, что внимание всякого устремлено именно на тот чуть заметный светлый треугольник, образовавшийся между двух скатов лощины, в то самое место, где только что блеснул свет, куда повернули свои острые морды развывшиеся на весь аул собаки.

– Давай на мой меняться, – приставал к нему все тот же киргиз и протягивал какую-то полосатую ветошь.

– Отстань…

– Я не много возьму придачи, ты смотри, мой совсем новый…

Подошли еще два джигита и сели рядом с Батоговым.

– Что-то спать не хочется, – сказал один из них.

– Целый день дрыхли и без того, – произнес другой, и оба взглянули на Батогова.

– Это невыносимо… – чуть не вслух простонал Батогов. Он встал.

– Сиди!..

Его ухватили за шаровары.

– Оставь!.. пусти.

– Да ну, куда тебе спешить?

Две руки сразу посадили, почти повалили его на землю.

– Все кончено, – подумал несчастный.

Оба киргиза засмеялись.

– За полночь переходит – смотри.

Глаза Батогова тоже устремились невольно кверху.

Та звезда переходила уже с того места.

Сердце несчастного стучало так сильно, что могли бы и другие слышать эти учащенные, глухие удары, так, по крайней мере, казалось Батогову, голова его горела, а между тем всего его трясло как в лихорадке… «Разве силу пустить в ход, – мелькнуло у него в голове…» Все равно пропадать… А может быть… Он рванулся.

Его никто не держал, на него только смотрели.

– Да что ты, опять заболел? – спросил у него джигит…

– Ну, куда идешь? – погоди, еще спать рано.

– Ты нам сказку расскажи…

– Помнишь, ту, что прошлый раз не досказал… про царя с длинною бородою…

– А может, и вправду они ничего не знают? – подумал Батогов и начал успокаиваться.

– Да ну – рассказывай…

– Ах, чтоб их проклятых… в крюк свело! эка развылись…

Теперь уже вытье собак стало действительно невыносимо: оно, мало-помалу, переходило в яростный лай. Рыжий, тощий пес, лежавший неподалеку, рванулся с места, взвизгнул и понесся в темноту.

– А ну их к самому дьяволу! что же, сказку-то?

– Ну, вовремя, – думал Батогов.

Человек пять быстро прошли мимо костра. Они шли за собаками, шли прямо к лощине.

– Так вот, стали чесать царю бороду, – начал Батогов дрожащим, задыхающимся голосом.

– Постой, ты не с того начал, – прервал его один из слушателей.

– Ну, не мешай, – он знает.

– Принесли большой золотой гребень…

– Загороди горят! – пронесся крик по аулу.

В противоположной стороне вдруг взвилось красное пламя. Огненные языки словно живым кольцом охватили огороженные камышом пространства. Запертые там жеребята зашатались, ошеломленные, вытаращив глаза, подняв кверху свои короткие хвостики… Все кинулось туда.

Резкий свист послышался с другой стороны. Батогов понял все. Он хотел бежать, ноги словно приросли к земле, хотел крикнуть – звук пропадал еще в горле, не вырываясь на свободу.

– Да, время уходить, Господи!.. Что же это со мною?..

Новый свист пронесся в воздухе…

Вдруг в него вцепились и крепко охватили его корпус женские руки…

– А… ты уходить?.. – завизжала Нар-Беби и повисла на нем, чуть не повалив его на землю этим порывистым движением.

Сознание воротилось к Батогову. Новая опасность воскресила в нем все его силы.

Руки, сжимавшие его с такою силою, мгновенно разомкнулись, и Нар-Беби тяжело, почти без стона, не то упала, не то присела на песок и тихо запрокинулась навзничь. Страшный удар кулака Батогова пришелся как раз по ее виску.

Бегом, не разбирая препятствий, кинулся Батогов к лощине, ему под ноги подвернулась какая-то собака, он упал. Со стороны горевших загонов доносились крики. Тонкие камышовые загороди сгорели быстро… и все погрузилось снова в глубокий мрак, даже костры почти потухли, потому что, в минуту тревоги, некому было подкладывать топливо. Разбежавшиеся жеребята шныряли и путались между кибитками. Перед Батоговым стояли две совершенно

оседланные лошади и фыркали, косясь на аульную тревогу. На одной сидел всадник, другая свободная, без привязи, с закинутыми на седло поводьями, била копытом сырой песок, вытянула свою красивую шею и втягивала дрожащими ноздрями пропитанный дымом и туманом ночной воздух.

– Садись, тюра, времени терять нечего, – говорил Юсуп торопливым, радостным и вместе тревожным полушепотом.

– Орлик, мой Орлик!.. – всхлипывал Батогов, садясь поспешно на лошадь. Он не в силах был удержать душивших его рыданий. – Господи! Я думал было, что уже все пропало. Юсуп, родной мой!.. Нар-Беби – я убил ее… кажется… Пожар помог… сказку говорил… Юсуп, да ты слушай!.. Ведь та звезда… помнишь, в ауле? Я видел – она с ума сошла… Дошли вы до границы, а? да говори же… Ведь это воля… свобода!..

Юсуп на всем скаку снял с себя верхний халат и накинул его на голые, дрожащие плечи Батогова.

Они неслись во всю прыть своих лошадей…

Далеко сзади чуть мерцали аульные огни, шум и голоса замерли вдали, давно уже отстала преследовавшая их сначала собачья стая.

Перед ними расстилался необозримый мрак ночи. Этот мрак словно проглатывал беглецов, казалось, по воздуху неслись кони в своей отчаянной скачке. В отуманенных слезами глазах Батогова мерцала только одна та звезда.

А в эту минуту в ауле Курбан-бия на ту же звезду пристально смотрели еще два глаза. Томительный вопрос виден был в этом полуугасавшем взоре, словно от этой звезды ждали роковой вести, способной или вновь воскресить, или же совсем доконать эти слабые остатки жизненной силы.

VIII. НА ПРИВАЛЕ

Однако теперь уже можно и потихоньку ехать, – говорил Юсуп, сдерживая лошадь.

Они уже часа два скакали, предоставив лошадям самим разыскивать себе удобную дорогу. Юсуп только берег главное направление. Несколько раз верный джигит должен был нагибаться и придерживать за повод горячившегося Орлика. Батогову все казалось, что они слишком тихо едут, слишком медленно удаляются от ненавистного аула. По временам ему чудились топот сзади, приближающиеся крики и свист, лай собак все еще звенел у него в ушах, и он, все сильней и сильней, сжимал ногами взмыленные бока лошади, оглядываясь назад и прислушиваясь к этим страшным звукам… Раз даже ему показалось, что его схватили и тащат с седла… Голос Нар-Беби шептал: «Нет, не уйдешь… куда?..»

– Да ну, тюра, не бойся, – говорит Юсуп, почти вплотную прижавшись к Батогову. Он словно понимал, что творится в душе беглеца.

– Они гонятся… нам не уйти… вот они!.. – шептал Батогов.

– Да никто не гонится… Им не до нас теперь… У них такой переполох… Ведь это я им запалил загороди… Они, может быть, и не хватятся тебя сегодня ночью…

– Не хватятся? нет, уже хватились… Там, у самого костра…

Батогов живо представлял себе, как озадачатся все, найдя у самого огня Нар-Беби без всякого признака жизни.

– Эк я ее свистнул, – думал он и сам чувствовал, как под его кулаком хрустнули, подаваясь, височные хрящи несчастной.

– Мы уже верст двадцать ушли… надо поберечь лошадей, – говорил джигит. – В такую темь они и гнаться не станут. Почем им знать, куда? ни следа не видно, ничего… Да и кому гнаться за нами? лучшие кони с мирзой Кадргулом, да и тем далеко до наших. Вот золотистый – так тот был бы хорош, да я ему, на всякий случай, ноги попортил…

Предусмотрительность Юсупа выказывалась в полном блеске. На всем скаку обе лошади шарахнулись в сторону. Это было так неожиданно, что даже такие ездоки, как наши беглецы, чуть не вылетели из седел.

– А черт бы вас драл, – крикнул Батогов.

Крякнул и Юсуп, уцепившись обеими руками за гриву.

Несколько шакалов, взвизгивая по-собачьи и огрызаясь, теребили какую-то темную массу, должно быть, околевшего верблюда; они рассыпались врозь, поджав хвосты, при виде двух всадников, неожиданно налетевших из мрака на их пирушку.

– Ну, мы на хорошей дороге, – произнес Юсуп, разглядевший, в чем дело. – Это караванный путь к Митану. Нам теперь все правой стороны держаться надо.

Они поехали крупным степным шагом. Лошади потряхивали головами и отфыркивались. Шутя пронеслись они это пространство, и, казалось, по одному знаку всадников, готовы были снова проскакать столько же.

Несмотря на сильный холод осенней ночи, Батогов был весь в поту, и его начинала мучить нестерпимая жажда.

– С тобой есть вода? – спросил он Юсупа.

– Еще чего захотел!.. – ухмыльнулся джигит.

– Пить хочу… так и горит внутри, – говорил Батогов.

– Погорит, перестанет…

Юсуп относился теперь к своему «тюра» гораздо фамильярнее, чем до плена… Прежняя рабская, немного собачья покорность и подобострастие исчезли, все это заменилось другим, более хорошим чувством. Дикарь инстинктивно чувствовал, что теперь они оба «тюра», оба джигиты… Теперь они только товарищи… И если бы в настоящую минуту Батогов дал ему по уху, как прежде, за дурно сваренный глинтвейн, то, наверно, Юсуп ответил бы тем же.

– Ну, потерпи немного, потерпи… К утру мы будем у ключей, там есть вода, хорошая вода есть, я две недели тому назад был, видел, а народу там нет, все ушли к озерам… я и это знаю. Я все знаю: кто куда откочевал, когда где будет, – все знаю. Я ведь за этим и ездил, помнишь, тогда. Это я дорогу искал настоящую, такую дорогу, чтобы, кроме нас, никого людей на ней не было бы в эту пору…

– Сзади бояться нечего, – говорил джигит, с оживлением передавая Батогову свои соображения. – За нами, что за ветром, не угонятся. А вот чтобы нас не перехватили на пути, вот тогда беда была бы совсем. Особенно я одного места боюсь – там меня немножко заметили…

Юсуп почесал у себя над бровью, как будто у него заболел, при этом воспоминании, старый шрам, что привез джигит из своей поездки.

– А лихой ты парень, – произнес Батогов и потрепал его по затылку.

– Эге, – засмеялся Юсуп. – Вот погоди, приедем к нам на Дарью… Там в поход вместе пойдем. Ты смотри, Юсупке крест попроси у генерала, такой белый[1], что Атамкулке дали. Юсупка его на халате носить будет, и «мендаль» с птицею на красной ленте[2], непременно чтобы, слышишь?..

У Юсупа начинали заигрывать честолюбивые замыслы.

– Стой!..

– Тише – слушай!..

– Тс!.. да будет над нами милость Аллаха!

Близко, казалось, что не более, как в пятидесяти саженях, проходил отряд конницы. Многочисленные копыта дробно стучали по твердому грунту степи, кусты колючки шелестели, путаясь между ногами. Но как ни напрягали свои испуганные глаза Юсуп с Батоговым, они решительно ничего не могли видеть в этой непроницаемой темноте.

– Только бы наши не заржали, – шепнул Батогов на ухо товарищу.

– Оглаживай, – говорил ему так же тихо Юсуп.

Орлик фыркнул. Батогов похолодел.

Громкий хохот Юсупа покрыл собою глухой топот быстро удалявшихся многочисленных ног мнимого отряда.

– Сайгаки!.. – хохотал Юсуп, – что, небось, струсил?..

И он раскачивался в седле, ухватившись под бока руками.

– Я уже думал, что совсем пропали, – говорил Батогов, переводя дух.

– Небось, не пропадем, живы будем. Четырех дней не пройдет, со своими увидимся.

Еще не совсем хорошо рассвело, как Юсуп, внимательно приглядываясь к самым ничтожным предметам, попадавшимся на пути, остановил свою лошадь и сказал:

– Ну, теперь мы можем и отдохнуть. Мы в самой лощине, у ключей…

– Вода где?.. – спрашивал Батогов.

– Сейчас и воду отыщем – тут она близко: немного только порыть, и готово.

Батогов слез с лошади. Он был без обуви, и его босые ноги сразу ощутили холодную сырость влажного песка на дне лощины.

– А знаешь, – сообщил Юсуп, – мы в одну ночь с лишком восемь ташей сделали (около шестидесяти верст). Гоняйся за нами кто хочет! Здесь мы весь день простоим, если что не помешает, а к ночи опять в поход. Ну, давай убирать коней.

Лошадей не расседлывали, только немного ослабили подпруги и вынули удила; ноздри, глаза, даже уши были тщательно протерты концом шерстяного пояса. Юсуп достал из мешка приколы и привязал лошадей, спутав их предварительно поводьями; это, обыкновенно, делается таким образом, что поводья одной лошади перекидываются за седло другой. Затем оба путешественника принялись разрывать песок, пуская в ход ножи, а чаще руки.

Менее чем через полчаса довольно легкой работы песок стал так влажен, что когда его сжимали между ладонями, то грязная вода струйками сбегала между пальцами. Тогда работа была приостановлена: надо было иметь терпение дождаться, пока вода накопится в этой воронкообразной ямке и отстоится настолько, чтобы быть годной к употреблению.

Светлей и светлей становилось небо, и ясно вырезывались кустарники, колючки и между ними какие-то угловатые черные камни, разбросанные по гребням скатов лощины. Лощина эта шла извилиной, точно русло когда-то протекавшей реки; рыхлый, влажный темно-красный песок покрывал ее дно, и сквозь этот песок, словно щетина, пробивались красноватые стебельки степной осоки (ранга).

Юсуп развязал свой куржум и достал оттуда кунган, мешочек с чаем, целую баранью лопатку, не то вареную, не то пареную, не то просто сырую, – по виду разобрать было довольно трудно, – и принялся устраивать завтрак.

– Тут если мы и огонь разведем, – говорил он Батогову, – такой маленький, так нас никто не увидит. Набери-ка сухой колючки, вон там по окраинам. Да, смотри, не опейся… Ты немного, сразу-то…

Последнее замечание было произнесено по поводу того обстоятельства, что Батогов, припав на живот у самого края вырытого родника, почти не отрывал рта от его поверхности…

Не более как через четверть часа маленький кунганчик закипал, поставленный к самому огню, и мирза Юсуп взвешивал у себя на руке отсыпанную из мешочка порцию зеленого бухарского чая.

Батогову сильно хотелось спать, да и сам Юсуп раза два клюнул носом.

Принялись завтракать.

– Теперь вот что, – говорит джигит, навязывая лошадям торбы с ячменем. – Я полезу туда наверх, а ты спи. С того гребня далеко видно, и ежели что замечу… Да ну, ложись же…

И он полез наверх, где, выставив свою голову между двух больших камней, принялся, лежа на брюхе, наблюдать окрестности.

Целый день просидели беглецы в своей лощине, поочередно вылезая на сторожку. Покуда один спал, другой сидел да поглядывал. С высоты гребня далеко видно было кругом, и всякая опасность могла бы быть замечена вовремя.

Для Юсупа время не тянулось, вероятно, слишком долго; он все находил себе какую-нибудь работу: то у лошадей что-то возится, то во вьюках копается, то оружие сотый раз сальною тряпкою смазывает… Все время он что-то говорил и напевал. Нельзя было разобрать с кем он разговаривает: с Батоговым ли, с лошадьми ли, так ли просто, сам с собою… но ни на одну секунду эта живая, впечатлительная, полудикая натура не могла успокоиться.

Для его русского товарища день казался бесконечным, и он несколько раз говорил:

– Э, да какой дьявол нас увидит? Гнать и гнать поскорее.

А Юсуп на это всякий раз отвечал:

– Лучше один день пропадет задаром, чем наши головы. А уж если попадемся, то навряд отвертимся.

Облачка пыли там и сям носились по горизонту. Затаив дыхание, присматривались беглецы к этим клубам.

– Сайгаки, – говорил Юсуп, – а может быть, куланы.

– Тюркмены! – произносил, стиснув зубы, Батогов и припадал к самой земле, плотно-плотно, словно хотел втискаться в нее своим телом.

– А что, не моя правда? – тихо смеялся Юсуп. – Смотри, вон они к барханам подрали – вон, отстал один… А вон еще пара…

– Эх! то есть, кажется, один бы десятерых уложил, если б пришлось схватиться…

При одной мысли о погоне и возможности схватки, Батогов чувствовал, как конвульсивно сжимались мускулы, ногти сжатых в кулаки пальцев впивались в горячие ладони, глаза горели лихорадочным жаром… Силы удваивались.

– Я только одного боюсь, – сообщал Юсуп, – там, на Заравшане, неладно. Если русские погонят Назар-Кула, то он, пожалуй, на нашу дорогу отойдет… Да вот и Садык с своими оборванцами в той стороне шатается.

– Ну, теперь уже больше на Аллаха налегать нужно, – заявлял Батогов.

– Не без него, – лаконически отвечал Юсуп и что-то соображал, разыскивая у себя по швам халата белых паразитов.

– Я к тому больше речь веду, – начал опять Юсуп, – что это все бы еще полбеды…

– Это попасться-то?

– Нет, как бы мы попались? Ты, смотри, тебя обрили вот, голова твоя совсем голая, как колено. Ну, и к роже твоей надо долго приглядываться, чтобы узнать, что ты за птица, подумают: такие же шатуны, как и они… Ну, и обойдется…

– Так что ж тебе страшно, что на нашей дороге они бродят?

– Человек такой есть там.

– Какой?

– Нехороший… Он-то, пожалуй, и хороший человек, да для нас с тобой нехороший. Ты его знаешь.

– Кто такой?

– Да помнишь, тот седой, высокий такой, в прежней шайке что был?..

– Не помню.

– Сафаром его звать.

– А… сказочник! Да ты как же с ним встретился?..

– Привел Аллах… Он сперва не узнал меня, да Орлик твой выдал, эдакая лошадь приметная!..

– Ну, что же вышло из того?..

– Схватились немного… Я-то не затрагивал. Мне бы только удрать… Ну, а они наседают… Да хорошо, что я не слезал с лошади, а то пропал бы. Сафар-то орет во все горло: «Бери его!..» Они ко мне!.. Повозились немного… я, кажется, кого-то стукнул… и меня тоже зацепили… ну… а потом я ушел…

– Это все в тот раз, когда из аула отлучался?..

– В тот самый… Как ведь боялся, чтобы не выследили!..

Обе лошади давно уже беспокоились и нетерпеливо рыли ногами землю, особенно заметно волновался Орлик.

– Что с ними? – произнес Батогов, поднимаясь на ноги. – Они что-то чуют?..

– Непогоду чуют, я уже давно за ними замечаю, – отвечал Юсуп. – Да вот, гляди, какая туча с востока поднимается. Да и холодом как потянуло! Смотри, как раз буран разыграется.

– А не пора ли нам собираться? Время-то к ночи.

– А это?!..

Юсуп показал рукою на небо, которое все темнело и темнело, и в этой медленно, неудержимо надвигающейся темноте, словно пороховые облака, неслись и стлались низко по земле пыльные вихри. Какой-то струйный, свистящий шум доносился до самой лощины, и сквозь верблюжьи халаты прохватывали резкие струи холодного ветра.

– С градом идет. Теперь нам и думать нельзя выходить из лощины, – сказал Юсуп.

– К коням ближе держаться надо… Смотри, смотри!

Оба путника невольно обратили внимание на узкий спуск в лощину, в одной из боковых промоин. Там, робко переступая, показалось животное, ну совсем маленькая лошадка, с торчащими, немного длинными ушами, с большою, испуганною, глупою головой, вся дрожащая от страха при виде людей, но, верно, то, от чего спасалось животное, было страшней того, что встретило оно в спасительной лощине.

За передовым куланом показалась еще такая же озадаченная голова, там еще и еще, и все небольшое стадочко, штук восемь, не больше, сбившись в кучу, не решаясь двинуться вперед, сгруппировалось у спуска.

– Бедовый буран будет, – шептал Юсуп. – Уж коли эти головастые прячутся, значит, дело худо!..

Две-три крупные градины звонко щелкнули о песок, высоко подпрыгнули и зарикошетировали по дну лощины. Глухой дробный хохот слышался все ближе и ближе; сплошная, беловатая стена, охватив полгоризонта, по мере своего приближения росла все выше и выше. Высоко над головою кружились два больших степных орла. Сильные птицы учащенно размахивали своими могучими крыльями, они боролись с силою ветра, они хотели подняться выше, вырваться из этого вихря, но, кажется, и им не под силу была эта борьба, раза два они, словно подстреленные, перевертывались, мелькая беловатыми животами, и, уступая воздушному течению, неслись словно распластанные, рваные тряпки, до новой попытки пробиться сквозь градовые тучи.

Быстро белело дно лощины, покрываясь прыгающими по всевозможным направлениям градинами. Орлик и Серый повернулись задами к ветру, согнули свои спины, защищенные вьюками, и опустили свои головы до самых копыт… Бедные животные вздрагивали и даже брыкались, когда какая-нибудь градина, чуть не с орех величиною, больно щелкала по непокрытому крупу. Батогов и Юсуп скорчились и покрыли свои головы халатами.

В пяти шагах ничего нельзя было рассмотреть.

– Теперь, если у кого отара в степи, – говорил Юсуп, пожимая под халатом плечами, – сколько овец перебьет…

– Что же, эдак мы всю ночь просидим из-за этого проклятого бурана, – ворчал Батогов, – а там опять утро, опять светло, опять сидеть придется в этой берлоге.

– Против Аллаха не пойдешь! – вздохнул Юсуп.

– Ну, совсем Ноев ковчег. Гляди!..

Две ушастые мордочки мелькнули близко-близко, сквозь беловатую мглу, взвизгнули и попятились. Юсуп гикнул, морды спрятались.

Орлик дико храпнул и поддал задом… Кованые ноги ударили в какое-то живое тело; к завываниям градовой метели прибавилось другое, почти схожее унылое вытье. Юсуп и Батогов подползли вплотную к лошадям и намотали на руки поводья.

– Все надежнее будет, – произнес Батогов и дрожал всем телом. Резкий холод усиливался, зубы выбивали дробь, руки и особенно ноги коченели.

– Еще счастье, что мы не в открытой степи, – сообщал Юсуп. – А то бы совсем смерть.

– Эх, коли бы хоть глоточек водки… – вздыхал Батогов. – Давненько я ее не пробовал.

– Погоди, приедем, я тебе опять ту красную штуку сварю, что у Саид-Азима, помнишь, пили, – утешал его Юсуп.

– Сдохнем десять раз прежде, чем доедем…

Батоговым начало овладевать уныние.

– Ну, велик Аллах и пророк! – Проносит, кажется?.. Виднее немного стало.

Оба они высунули свои носы из-под халатов и стали присматриваться.

Очертания гребней начали слегка вырисовываться. Батогову показалось, что высоко мелькнули сквозь разряженные тучи светлые точки.

– Звезды, еще ночь! – крикнул он.

Ему вдруг стало ужасно весело… Он пустился вприсядку: он хотел согреться этим быстрым движением. Юсуп смотрел и тоже заработал ногами. Лошади подняли головы и с вниманием смотрели на плясунов.

– Ну, теперь в путь, – перевел дух Батогов и стал подтягивать подпруги.

Они сели на прозябших коней и тронулись.

IX. В ШАЙКАХ НАЗАРА

Весь кишлак (деревня) состоял не более как из десяти сакель. Крыши у всех этих сакель были разломаны, и чернели обугленные балки, торча из-за закоптелых, приземистых стен. Запасы корма и топлива были сожжены, и там, где прежде возвышались скирды клеверных снопов, лежали груды беловатой золы, и каждый легкий порыв ветра разрывал эту золу и разносил ее по узкой, единственной улице кишлака, засыпал ею лужи почернелой, запекшейся крови, тонким слоем покрывал искаженные, позеленевшие лица мертвецов, там и сям лежавших в самых неестественных, отвратительных позах.

Десятка два ворон и пара черных, как уголь, грачей перелетали с места на место: клювы у этих хищников были широко раскрыты, они лениво взмахивали крыльями, дышали тяжело, малейшее движение их тяготило: уж очень они наелись… Эти птицы да еще рыжая с черными пятнами кошка, на мгновение выглянувшая из-под разбитого сундука, были единственными живыми существами во всем кишлаке.

Дорога, проходившая через это селение, шла из бокового скалистого ущелья, спускалась вниз и, обогнув маленький, заплесневелый прудок, над которым свесились оголенные ветви тальника, шла дальше, теряясь между холмистыми пригорками. За этою волнообразною грядою начиналась Заравшанская долина, густонаселенная, плодородная полоса, лежащая по обеим сторонам рек Заравшана, Акдарьи и Нурупая.

Горное эхо принесло с собою звук, весьма похожий на человеческий голос. Большая, жирная ворона, долбившая носом гладко обритый затылок старика, ничком лежавшего у самого входа в крайнюю саклю, приподняла голову, нагнула ее несколько набок, прислушалась и бочком отпрыгнула немного в сторону.

Звук повторился. Теперь ясно слышно, что это говорит человек, другой ему отвечает, вот засмеялись оба… Щелкают подковы по каменистой дороге. Всадники едут вон по той лощине, их не видно пока за гранитным откосом, а едут они очень близко.

С шумом поднялась вся воронья стая, отлетела в сторону и расселась на сучьях старого, высохшего карагача, жадно поглядывая на оставленную добычу.

Над гребнем откоса мелькнул сперва конец ружья, потом красный верх киргизского малахая.

– Вон оно как! – говорит один всадник, шагом подъезжая к саклям.

– Это Назар-Кулки следы, – отвечает другой. – Теперь берегись! Вот он всегда так: пойдет с русскими воевать, на белых рубах только издали посмотрит, а по кишлакам пакостит.

– Вчера ночью мы слышали, помнишь?

– Это пальбу-то?

– Ну да. Это здесь было.

– Нет, то русские ружья были, а ты смотри, где их следы. Русские всегда со своими повозками ходят, кованый след сразу виден, а он где?

– Может, без повозок были?

– Да уж там все равно: надо нам теперь ух как поглядывать; если бы у нас вместо одной пары глаз по десяти было, так и то всем достало бы вволю работы.

– А слушай-ка, Юсуп: кони наши ведь того…

– Да, притомились.

– Орлик сегодня утром шестой раз споткнулся.

– Да мы дальше не поедем сегодня, разве что ночь скажет, а пока надо переждать. Ты чего ищешь?

– Все пожгли, проклятые: хоть бы один сноп оставили!

– Погоди! Я по саклям пошарю, может быть, ячменя найду, а то ведь беда: наши кони, шутка ли, вот уже второй день только сухую колючку гложут.

– Эх, Орлик, Орлик! – говорил Батогов, слезая с лошади и поглаживая ее, – подвело тебе бока, сердечному. Ну, потерпи, друг, и для нас с тобою настанут красные деньки. А что, – обратился он к Юсупу, – отсюда до Каттакургана сколько верст примерно будет?

– Коли б ехать прямо, без опаски, то на свежих конях сегодня еще много до ночи поспеть можно.

«Так близко! – подумал Батогов, и у него сердце сжалось от нетерпения. – Так близко! Ведь там русские, там…»

Странное чувство вдруг охватило Батогова: ему стало как будто жалко того, что осталось сзади. Ему захотелось еще хотя немного отдалить эту минуту, когда он увидит желто-серую насыпь каттакурганской цитадели и торчащую на ней фигуру часового в русском кепи с назатыльником.

– Эй, эй! – кричал Юсуп, высовываясь из отверстия в крыше одной из сакель.

– Эй! – отозвался Батогов.

– А я корму нашел и себе, и коням.

– Тащи!

– Иди, помогай: кап (мешок) такой тяжелый! Хватай за конец, вот так!

Закинув поводья на шею лошади, Батогов взобрался по выдающимся камням на стену сакли, ухватился обеими руками за край мешка и потащил. Юсуп поддавал снизу, острые края камней прорвали полосатую ткань капа, и по стене побежала широкая желтоватая струя ячменных зерен.

– Держи прореху! – кричал Юсуп.

– Ничего, с нас хватит! – говорил Батогов, сваливая мешок на землю.

Глухо стукнул тяжелый кап, и вслед за этим стуком послышался другой, более легкий, отдаленный стук. Юсуп пригнулся и стал прислушиваться. Батогов быстро соскочил со стены.

– Опять… – шептал Юсуп.

– Да, это стреляют – ясно… Вон опять…

– Это недалеко… Бац! – это пушка…

– Нет, та глуше. Смотри на лошадей.

Орлик, как добрая боевая лошадь, не оставался равнодушным к этим далеким, чуть слышным выстрелам, несмотря на крайнюю усталость и голод: он навострил уши, высоко поднял голову и подобрался.

– Нам пока здесь, на виду, торчать не приходится, – говорил джигит, – заберемся-ка хоть на этот двор. В случае беды, вон тою дорогою опять в ущелье уйдем. Видишь, видишь?

Батогов еще прежде увидел то, на что указал Юсуп. Обе лошади были торопливо уведены за стенки разграбленного дворика и поставлены в темный угол полуразвалившейся сакли. Хозяева их приютились в расселине стены, взобравшись на остов арбы с обгорелыми колесами. Юсуп ползком выбрался-таки на улицу, подполз к тому месту, где лежал разорванный кап, и стал поспешно нагребать ячмень в полы своего халата. Затем, нагруженный кормом для своих проголодавшихся коней, он отретировался обратно, говоря:

– А мы все-таки свое дело делать будем. Давай-ка торбы.

– Гляди, сколько их на той горе высыпало, – сообщал Батогов, приложив руку ко лбу в виде козырька.

– Назарка, Назарка: это его красные! – шепнул Юсуп. – Вон и пешие видны.

На одном из самых отдаленных пригорков, по крайней мере, верстах в трех от кишлака, показалась сперва маленькая, черная точка. В этой точке опытный глаз наблюдателя сейчас же узнал бы всадника, мало того – всадника, вооруженного длинною пикою. Рядом с этою точкою через несколько секунд показалась еще другая точка, там еще и еще… Вся кучка тихонько спустилась с прежнего пригорка и взобралась на другой. Маленький клубочек белого дыма вспыхнул над этою группою, и, много спустя, в воздухе что-то слегка треснуло. На соседних курганах тоже показались отдельные всадники.

– Вот так и в прошлый раз: я чуть-чуть не наткнулся.

– Здесь же?

– Нет, в тот раз я далеко не забирался.

– Сюда двигаются… А это слышишь? Это пушка.

– Там, вон за теми курганами, – уверенно говорил Юсуп, – русские стоят. Я уж это вижу по Назаркиным уловкам. Как хитрит, как хитрит! Вот он в обход идти собирается. А наших, должно быть, мало.

– Каких это *наших*?

Батогов искоса взглянул на своего товарища.

– Каких наших? конечно, русских, а ты думал, я про эту орду?..

Юсуп презрительно взглянул на конную толпу, в которой уже можно было рассмотреть значки[1] и белые тюрбаны наездников.

– Да, наших, должно быть, немного. – Юсуп сделал ударение на слове «наших»: не придирайся, мол. – Я это думаю потому, что *те* больно храбрятся.

Несколько всадников отделились от толпы и рысью пошли к кишлаку… Маневрируя, мало-помалу, вся неприятельская партия подвигалась к деревне, и нетрудно было догадаться, что через десять минут отступление будет невозможно.

– Ну, нам пора.

– Эх, пора! – вздохнул Батогов и стал взнуздывать Орлика, жевавшего ячмень с таким усердием, что беловатая пена выступила у него за щеками и во все стороны летели мокрые зерна, когда лошадь порывисто рылась мордою в обильно засыпанном корме.

– Мы выведем лошадей вон в тот пролом, так и проберемся опять в лощину за саклями, – сообщал Юсуп свои планы.

– Нас не успеют и заметить, – говорил он, торопливо пробираясь вдоль стены со своим Серым.

Действительно, времени терять было нельзя: уже слышны были голоса скакавших джигитов. Один голос кричал громче всех, и Батогов слышал даже слова: «Они пушки с собою привезли, эти собаки!»

– Так вот она, причина отступления, да еще такого поспешного! – подумал Батогов, рысцою выбираясь по задворкам разграбленного кишлака и прижимаясь к самой шее Орлика там, где в промежутке между двух сакель открывалась узкая щель, в которую видна была даль, часть холма, мелькавшие конные фигуры и сухие ветви тальника, росшего над прудком. Они выбрались из деревни и пустились удирать по той самой лощине, по которой приехали. Они совершенно скрылись за первым поворотом. Их никто не заметил.

Юсуп ехал впереди. Батогов за ним. Они скакали: им надо было как можно скорее добраться до какой-нибудь боковой ветви горного прохода, в которую они могли бы свернуть. Юсуп хорошо знал одну, совершенно удобную для него лазейку, и не унывал, он даже напевал на скаку: «Нет, Назар-Кулка нас не поймает!» Вдруг он стал как вкопанный: Орлик чуть не наткнулся на круп передней лошади.

– Что ты?.. – испуганно спросил Батогов.

Юсуп повернулся к нему лицом. Его смуглая кожа не могла побледнеть, но зато все лицо его сделалось какое-то оливковое, рот широко раскрылся, и глаза суетливо забегали, как у волка, которому уже некуда даться от насевшей на него со всех сторон собачьей стаи.

– Что ты? – повторил Батогов свой вопрос.

– Там, там… – джигит указал рукою вперед. – Люди едут, чужие люди!..

Справа и слева подымались крутые обрывистые скаты, разве коза могла бы еще лепиться по этим почти отвесным крутизнам. Джигит глазами мерял эти высоты, он словно думал кинуться к ним, он даже лошадь свою собрал поводом и поднял плеть.

По ущелью ясно слышался топот конских ног. Не один, не два всадника ехали им навстречу. Все ущелье стонало от приближавшейся конной массы.

– Ну, беда… – произнес Батогов и подумал:

– Значит, не судьба, это, что называется, ни взад, ни вперед.

Тупое ожесточение овладело всем его существом… Он вынул шашку из ножен и судорожно, словно хотел раздавить железо, стиснул ее рукоятку.

– Назад, скорее назад! – крикнул Юсуп, повернул своего Серого и, проскользнув мимо Батогова, понесся обратно к кишлаку.

Нисколько не раздумывая: зачем, куда, привыкнув доверяться находчивости своего испытанного джигита, Батогов поскакал в ту же сторону. Вся деревня была наполнена всадниками, когда наши беглецы выскакали из лощины. Тотчас же они поехали шагом, Юсуп принял совершенно спокойный вид, Батогов подражал ему во всем.

– А он что-то затевает, – думал он, – поглядим.

Юсуп перегнулся несколько набок, принял самую небрежную позу, вольно помахивал нагайкою и затянул во все горло песню:

А было у меня четыре жены,
Одна другой жирнее…

Появление двух всадников не произвело никакого волнения между барантачами Назар-Кула. Один из них, тот, что поил лошадь у прудка, сказал что-то своему соседу и указал на Юсупа.

– Э-эй! Здравствуйте! – крикнул Юсуп и, спокойно подъехав к воде, слез с лошади.

– Вы откуда? – спросил конный в полосатом халате.

– С разных сторон… Теперь с теми.

– С кем, с теми?

– А что сзади едут.

К Батогову подошли двое пеших и стали около, молча, в упор глядя то на него, то на его лошадь, то на его оружие.

– Вы чего уставились? пошли к черту! – окрысился на них Батогов.

– Ишь ты, какой сердитый. Ты чьего роду?

– Эй, Назар-Кул, мулла, где?.. – громко спросил Юсуп, чтобы отвлечь внимание от Батогова.

– Все там, где красный бунчук виден, вон на кургане.

– Русских много?

– Разве их когда бывает много?

– Они зачем пришли сюда?..

– Зачем? Мы вот у них по всем кишлакам хераджные сборы* пожгли, что с собою не могли взять, а Кулдаш пеншамбинский в Каттакурган дал знать.

– Не в Каттакурган, а в самый Самарканд, Абрам-тюра… самому, – перебил другой.

– Ну, не ври, в Самарканд не успел бы, да и русские вон откуда пришли…

– Давно?..

Юсуп спрашивал, а сам все поглядывал по сторонам: он, казалось, отыскивал кого-то в этой толпе всадников, окружавшей их все плотнее и плотнее. Взгляды эти были сначала тревожны, было мгновение, что хитрый джигит совсем было струсил, но потом оправился и понемногу успокоился окончательно. Батогов все время усердно, сосредоточенно копался у себя во вьючной сумке, а потом слез и принялся тщательно отчищать подковы Орлика.

Скоро внимание всех было обращено на большую конную вереницу, выдвигавшуюся из ущелья. В этой новой толпе всадников преимущественно виднелись верблюжьи халаты и киргизские малахаи, между тем как в шайках Назар-Кула преобладал красный цвет.

Садык со своими оборванцами, как выражался на привале Юсуп, шел на подмогу мулле Назар-Кулу.

– Поезжай за мною, – шепнул Юсуп Батогову. – Сафара здесь нет, Аллах не повернулся к нам затылком…

А у меня было четыре жены…

– Смотри, певун какой! – крикнул ему вслед джигит, у которого половина лица была скрыта под грязною перевязкою и жидкая бородка совсем склеилась от запекшейся крови. – Там берегись, русские пчелы летают – попадет, так про жирных жен петь перестанешь!

– Только бы нам теперь увидать русских, а то бы мы знали, что делать, – говорил Юсуп.

Вся волнообразная местность была усеяна небольшими конными партиями, по всем направлениям шныряли одиночки. Верблюжьи халаты мало-помалу смешивались с красными. Всадники растягивались вправо и влево, концы этой живой цепи загибались: они хотели охватить со всех сторон что-то невидимое.

---

* Десятый процент произведениями полей и садов.

Не больше как с версту, совсем внизу, примыкая к давно сжатому клеверному полю, виднелось несколько сакель, над плоскими крышами торчали два или три тополя, под одним, из-за деревьев, поднимался черный дымок и мигало небольшое пламя, одинокая фигурка торчала на самой высокой крыше, казалось даже, что то был не человек, а просто белел кол, вбитый для чего-то в земляную крышу. Больше ничего не было видно.

А между тем глаза всех этих наездников волновались, перебегая с кургана на курган, и были устремлены на этот маленький кишлак. Там и сям вспыхивающие выстрелы фитильных мултуков направлялись именно на тот кол, что неподвижно торчал на крыше, а когда тонкая, ослабевающая струйка черного дыма вдруг густела и поднималась даже выше того опаленного тополя, что происходило каждый раз, когда невидимые руки подкидывали в огонь новую вязанку, то почти каждый из наездников вскрикивал: «Эх!» и тотчас же бодрил свою лошаденку ударом нагайки.

В том страшном кишлаке, так поглотившем общее внимание тысячи наездников, стоял отряд «ак-кульмак»[2], стоял уже с самого утра, теперь он варил себе похлебку, искрошив в необъятный котел целого, благо непокупного, барана, а часовой на крыше, прожевывая кусок черствой туземной лепешки своим усатым ртом, заломив кверху козырек своего кепи, равнодушно поглядывал на те барханы, что пестрели на солнце тысячами двигающихся точек.

Была минута, когда наездники слишком уже близко подобрались к кишлаку: передние, те, что хотели перескакнуть арык, огибавший клеверное поле, видели что-то ярко-зеленое, блеснувшее между двух сакель, другие же всадники, которые не рисковали так близко подбираться к русским, видели только большой клуб дыма, вспыхнувший как раз над тем местом, где стояло *зеленое*, и врассыпную шарахнулись вниз по откосам кургана.

С ревом и воем пронизало ядро морозный воздух, щелкнулось о гранитный гребень одного из барханов, высоко подпрыгнуло и поскакало дальше, рикошетируя между всполошившимися наездниками.

Около самого Орлика ударилось русское ядро. Серый, испуганный треском разлетевшихся кремнистых осколков, взвился на дыбы и брыкнул задом, подпруга лопнула, Юсуп грохнулся вместе с седлом на землю.

– Господи! – крикнул Батогов, ему показалось, что Юсуп убит, – этого еще недоставало.

– А, дьявол тебя побери! – кряхтел джигит, поднимаясь на ноги.

В нескольких шагах, в стороне, наездник, в красном халате, громко стонал, силясь выбраться из-под убитой лошади. Серый отбежал и храпел, подняв хвост трубою. Батогов поехал его ловить; Юсуп, хромая и ругаясь, тащил волоком свое седло.

Жалобно гикая, неслась большая конная толпа в объезд на Пеншамбинскую дорогу; Назар-Кул пытался отрезать русским путь к отступлению.

В кишлаке, занятом русским отрядом, замечено было особое движение. Повозка, запряженная парою, выехала из-за крайней сакли и остановилась; показалось небольшое стадо коров и баранов; это стадо было окружено пешими, которые, закинув штуцера за плечи, помахивали длинными жердями. Несколько конных выехали на чистое место; дребезжа колесами, выдвинулось орудие, за орудием, врассыпную, десятка четыре в белых рубахах, с мешками на спинах, с цветными значками, воткнутыми в дула ружей[3].

Красивый бородач, на вороном аргамаке, галопом скакал, окруженный наездниками. Он горячился и громко ругался. Он видел, что русских мало, видел, что они уходят…

– Вот уже третьи сутки я так вожусь с ними! – кричал он. Ветер растрепал концы его белой чалмы, и они, словно крылья, трепались вокруг его энергического, немного цыганского лица.

– Что мне одному что ли на них броситься?.. Трусы, бабы!.. От каждой русской пули бегут, как куры от ястреба…

– Кто это? – спросил Батогов.

– Сам Назар… – говорил Юсуп, переседлывая Серого.

– К ночи всех на акдарьинский брод сбивай, мы еще прежде *их* туда поспеем! – кричал Назар старику в кольчужной шапке.

Юсуп вдруг присел и совершенно спрятался за лошадью.

– Отвернись, ради самого Аллаха, – шепнул он Батогову.

Тот не понимал, что делается с его джигитом, он видел только, что случилось что-то важное, сильно озадачившее Юсупа. А тут на беду Орлик звонко, как медная труба, заржал вслед кавалькаде; лошадь, казалось, убитая, лежавшая до сих пор неподвижно, вздрогнув, вскочила разом на ноги, вытянулась как струна и тяжело рухнула на бок. Топот коней и ржанье Орлика пробудили в смертельно раненном коне последнюю жизненную искру.

– Вот где пришлось еще раз увидеться, – говорил старик, подъезжая ближе.

– Аллах знает, где люди должны сходиться, – отвечал угрюмо Юсуп. – Он знает, на чью беду сошлись мы: на мою или на твою.

– Я и тебя узнал, – говорил старик, присматриваясь к Батогову.

– Чего не узнать? вместе, чай, сколько дней маялись, – отвечал Батогов.

– Что же, теперь к мулле Назару перешли или с садыковцами?

– Там как придется.

– К тем пробираетесь?..

Старик кивнул на русский отряд, медленно подвигавшийся по Пеншамбинской дороге. Юсуп подъехал вплотную к старику.

– Слушай, мулла Сафар, – сказал он ему твердым, решительным голосом. – Тебе жить немного осталось, не делай же ты под конец дурного дела… Он, – Юсуп показал на Батогова, – не стоит на твоей дороге. Понял?

Сафар оглянулся кругом. Только они трое стояли на склоне кургана, кругом близко никого не было видно… Русские отошли далеко, мирза Назар-Кул спешил стороною обойти маленький отряд белых рубах; садыковцы жались по другую сторону: их больше тянуло к кишлакам, что на правом берегу Ак-дарьи: там, по крайней мере, можно было еще пограбить.

– Гм… их двое, я один, – подумал Сафар и сообразил верно.

– Ну, прощайте, я вам не враг, пошли Аллах здоровья вам и коням вашим!..

– То же и тебе, – произнес Юсуп.

– Хитрит старый сказочник, – подумал Батогов, заметил лукавый взгляд, брошенный на него из-под седых, нависших бровей Сафара.

Звеня кольчугою, поскакал старик к значкам Назар-Кула.

– Нехорошо, – сказал Юсуп.

– Скоро стемнеет, тогда будем знать, что делать нужно, – произнес Батогов.

Несколько всадников отделились от толпы, к которой прискакал Сафар, и поехали назад, разъезжаясь вправо и влево, они ехали сами по себе, точно у них не было определенной цели, всадники ехали шагом, не спеша.

– Смотри, это нас ловят, – произнес Юсуп.

– Ну, вот, – усомнился Батогов.

– Нас ловят. Вон Сафар отъехал в сторону, остановился, сюда смотрит.

– Что ж – удирать, пока время?

– Погоди, они не спешат, – мы тоже… Теперь нам надо к прежнему кишлаку держаться.

Они повернули лошадей. Всадники по знаку Сафара погнали своих быстрее. Темнело. Ясное небо стало заволакивать жидкими тучами, костер, оставленный русскими, разгорался сильнее и сильнее, огонь побежал по сухим сучьям дерева, и над кишлаком росло красное зарево.

Юсуп с Батоговым пошли крупною рысью, расстояние между ними и преследователями было довольно значительно, да к тому же последние еще не решились вполне выяснить свои намерения, а темнело быстро, уже дальняя линия холмов слилась с горизонтом, туман поднимался по низким местам, и, словно громадный факел, пылал вдали ствол смолистого тополя.

– Теперь гайда во всю прыть! – крикнул Юсуп.

– Пускай! – крикнул Батогов и пригнулся к шее Орлика.

Они понеслись. Несколько голосов уныло загикали сзади.

– Слышишь, погнали, собаки, ну, погоди ж ты, старый шайтан, ты мне еще попадешься…

На минуту продолговатый курган совершенно скрыл беглецов. Они круто повернули вправо.

Преследовавшие их всадники видели, где пропали оба джигита, они стали стягивать круг. Через несколько минут курган был окружен, спустились вниз.

«Гей! гей!» – перекликались в темноте голоса. «Гей! гей!» – отзывались им другие… Пристально всматривался Сафар в темноту, каждый камень казался ему всадником, в вое ветра слышался ему насмешливый голос Юсупа.

– Поймали что ли? – подъехал к нему джигит.

– Ну что?.. – подъехали с другой стороны двое.

– Надо было сразу, а то долго очень хитрили, – заметил с досадою высокий всадник, чуть рисующийся во мраке.

– Нечистое дело, – глубокомысленно произнес Сафар и махнул рукою.

Всадники съехались мало-помалу в кучу.

– Это не джигит был, – говорил Сафар торжественным голосом. – Тот, другой, был русский, это правда, я его хорошо знаю, а с ним был сам шайтан, я даже видел огонь на том месте, где они под землю ушли. Да бережет нас пророк от темной силы!..

Наездники благоговейно слушали старика и вздрагивали каждый раз, когда ветер доносил из гор заунывную ноту. Им всем грезилась теперь чертовщина.

Чуть тлеющие уголья кухонного костра, расположенного на самом берегу Акдарьи, распространяли вокруг себя слабый красноватый свет. Черный закопченный котел, втиснутый в наскоро вырытую яму, навис над этою грудою золы и угля, и по ее раскаленным бокам, шипя, сползала грязная пена. Кругом была непроницаемая темнота, только поблизости огня можно было рассмотреть кое-какие предметы: ближе всего виднелись подошвы массивных подкованных солдатских сапог, за ними неясно рисовались бедро и часть спины спящего солдата, с головою завернувшегося в свою шинель; рядом видны были только лоб и рука другого солдата; белая косматая собака положила свою морду на щеку спавшего и дрыгала ногами во сне, глухо взвизгивая по временам. Немного подальше блестела шина тележного колеса; там слышно было, как фыркали и ворочались мордами в соломе ротные лошади; чуть-чуть, словно иголки, сверкали штыки ближайших ружейных козел и мелькала тряпка ротного значка, хлопавшая от ветра по своему тонкому древку.

С шумом и брызгами пенилась Акдарья, пробираясь по каменистому руслу, и сквозь этот шум неясно слышались храп и бред спавших, чьи-то тяжелые вздохи, жалобный стон раненого солдата, разметавшегося в горячечном бреду в телеге, и тихий говор молодого солдата, рассказывавшего соседу что-то про свою деревню.

– Ты, слышь, у нас церковь стояла на горе…

– Мины-мученика-то?

– Нет, Мины в Карбове-селе, а наша Егорья, то бишь Козьмы и Демьяна.

– Ну?..

– Поп-то и говорит: «Вы бы, православные…»

– Братцы, – стонет раненый, – водицы бы мне ковшик, так-то все нутро палит.

– Помрет, – шепчет на ухо тот, что про попа рассказывал.

– Может, и отдохнет…

– Фетисов, тот, фершал сказывал, уже помер.

– Вы бы меня, братцы, к самой реке положили, – мечется раненый, – то есть всю бы вылакал… Ох, батюшки, ой, смерть моя пришла…[4] слышишь, дядя, там у меня ладонка… в жилетке рупь зашит…

– Ершов, буди смену в цепь, – мычит впросоньи кто-то, приподнявшись на локте.

– Потому как на новый престол ризу требовается.

– Это поп-то говорит?

– Ну да.

– Ротный сказывал: выступать еще до свету будем.

– Чего спешите: поспеем…

– Ему лучше знать. Цыц, куцый! Что-то он, братцы, нынче чует что-то – словно недоброе.

– А что?

– Возится все очень, опять блох что напускал мне под шинель.

– Это к морозу…

– Эй, скажи Андрей Ионычу, – кричит ротный конюх с телеги, – Богданов кончился, уж не дышит.

– А Назарка нынче что-то больно шибко напирал. Особливо с четвертого часу.

– Это когда к нему подмога пришла…

– Ну, завыли!..

Действительно, несколько ротных собак повыскочили из-под телеги и громко завыли… Далеко, в цепи часовых, поднялся яростный непрерывный лай… Несколько голосов кричали что-то: одни близко – так, что можно было расслышать слова оклика, другие голоса чуть слышно отвечали… Стукнул отдельный выстрел, и лай собак затих на одно мгновение, чтоб сейчас же разразиться с новою силою… По отсырелой барабанной коже глухо зарокотала дробь тревоги.

Сонный отряд суетливо поднимался на ноги.

X. СМЕРТЬ ЮСУПА

Маневр Юсупа, сбивший с толку преследователей, был более чем прост, только темнота помогла им в бегстве. Днем положение их было бы безвыходно: к горам им нельзя было уйти: там рыскали садыковцы; скакать прямо к отступающему русскому отряду было бы чистым безумием: большинство Назар-куловых джигитов, благодаря Сафару, знали уже, что за птицы затесались в их шайки. Дело было бы совсем дрянь, если бы не стемнело и не затуманилось между буграми.

– Никто как Бог, – шептал Юсуп.

– Опять ва-банк со входящими, – бравировал Батогов.

Оба всадника, выбравшись из лощинки, видели, как скакали по кургану джигиты муллы Сафара. То обстоятельство, что они так скоро прекратили дальнейшие розыски, очень озадачило Юсупа и его товарища.

– Вон они в кучу сбились, стоят.

– Ничего не вижу.

– Да вон чернеют, смотри между ушей лошади, видишь?

– Ну, то, кажись, пригорок.

– Назад поехали.

– А мы что стоим?

– Погоди. В случае чего, нам, пожалуй, придется лошадей бросить, пеших-то нас не увидят в такую темь, а к утру мы, может, доберемся к русским.

– Только бы нам за Акдарью перебраться.

– И чего жгут задаром, смотри.

Над оставленными кишлаками поднимался густой красный дым, и по ветру летели огненные хлопья. Всадники пробирались шагом, держась одного направления, далеко впереди слышался шум, похожий на плеск водяной мельницы.

– Вот теперь холода настанут, – говорил Юсуп, – придут люди в свои сакли: крыши нет, корму нет, баранов угнали, есть нечего.

– Да кому прийти? Чай, почти все перебиты.

– Ну, не все. Да, прогневался на них пророк. Русские бьют их за то, что Назарке служат, Назарка бьет, что к русским льнут. Куда тут кинешься?

– На то, братец ты мой, война. Это что белеет?

Батогов указал на какую-то беловатую, дымчатую массу, чуть видневшуюся вдали.

– Скоро очень что-то – а, кажется, Акдарья.

Раза два они перебирались вброд через отдельные ручьи, пересекли вспаханное поле с торчащими стеблями прошлогодней джугары (род проса), наткнулись на глиняный забор, отыскали лазейку, перебрались. В стороне поднимались высокие стены какого-то двора, за запертыми воротами глухо лаяла собака.

– Мы теперь совсем спустились в долину, – говорил Юсуп, – мы идем как раз наперерез русским, если они будут на Дарье ночевать. Э, да вон и огни *наши*, видишь?

– Ты ничего не слышишь?

– Словно топочут.

Два парных часовых стали приглядываться к темноте.

– Смотри, как бы поганая орда не подобралась. Валетка, молчи!

– Науськай собак вон на те кусты, словно в той стороне что-то…

Послышалось злое рычание.

– Вот, лето-с, так же к Морозову в цепи подобрались: и не слыхал, как голову отрезали.

– Ну, не пугай – и так страшно.

Солдат вскинул ружье и взвел курок.

– Погоди, не пали: может, это так.

– А что его ждать-то?

Разом, с яростным лаем, ринулись несколько собак, до этой минуты совершенно неподвижных, и понеслись как раз к тому месту, где солдаты услышали подозрительный шум. Теперь ясно было видно, как две конные фигуры метнулись в сторону.

– А, черт бы вас драл! – донеслось из темноты.

Фраза эта была произнесена по-русски.

– Никак *наши*, что за леший! – засуетился часовой. – Постой, не пали, кто идет?

Блеснул выстрел и осветил испуганное, безусое лицо молодого солдата, наудалую пустившего свою пулю.

Человек пять солдат, лежавших в стороне, в так называемом секрете, бросились бегом к кустам, поднялась возня. В шуме свалки слышны были стон и русская ругань; голос Батогова, хриплый, взбешенный, кричал:

– Да что вы, дьяволы (следовала характерная русская фраза), говорят вам – свои. Да ну, не душите! А, ты вязать!

– Навались на них сразу, – командовал запыхавшийся голос.

– Я вот тебе навалюсь, к начальнику ведите!

Весь бивуак поднялся и стал в ружье.

Было солнечное, морозное утро, лужицы по колеям Пеншамбинской дороги затянуло тонкою коркою льда, колеса повозок звенели по кремнистому грунту, и солдаты, потирая на ходу руки, бойко шли в такт маршевой песни.

Батогов ехал верхом на своем Орлике, он был еще в том же верблюжьем халате, в котором бежал из аула, только на голове его надета была теперь круглая офицерская фуражка, и из-под нее виднелась полоса красного бумажного платка, которым обернут был лоб всадника; кроме этой раны, рука Батогова была перевязана полотенцем выше локтя, и, судя по бледности его, можно было судить о том, что эти повреждения были довольно значительны. Все это были следы ночной схватки, которую беглецы должны были «выдержать по печальному недоразумению», как выразился в своем донесении начальник отряда, толстенький капитан, степенно раскачивавшийся в покойном седле, рядом с Батоговым. Около них ехали верхом еще два офицера и горнист на выпряженной из повозки хромой лошади. На походных носилках два

здоровых, коренастых пехотинца несли тело, завернутое в несколько солдатских шинелей, из-под серого сукна виднелись красные лоскуты туземного халата и худощавая, смуглая рука, безжизненно свисшая с края носилок. Когда солдаты сбивались с ноги и носилки сотрясались от неверного шага несущих, то ближайшие могли слышать слабый стон и жалобный, тихий лепет раненого. Фельдшер-жидок шел, спотыкаясь, рядом с носилками, грызя в зубах окурок папироски и роясь на ходу в кожаной сумке с медикаментами. Наверху большой ротной телеги, поперек мешков с провиантом, лежало несколько тел, прикрученных веревками к грядкам повозки.

С жалобным мычанием, вытягивая шеи и бодаясь на ходу друг с другом, шло несколько штук рогатого скота, между быками семенили ножками десятка два козлов и баранов, далее тянулись привязанные друг к другу вьючные верблюды, под присмотром конных казаков и черномазого пехотинца, унтер-офицера, забравшегося на самую вершину вьюка переднего верблюда.

Всадники муллы Назар-Кула отстали от отряда и чуть виднелись далеко назади, изредка пуская, вслед удаляющимся русским, безвредные, не долетающие до половины расстояния пульки.

Пеншамбинский минарет и зубчатая стена цитадели поднимались из массы окрестных садов, по мере приближения отряда. Отряд остановился для привала, в виду предместий селения.

– Плох? – произнес Батогов, слезая с лошади и подойдя к носилкам, положенным в тени от повозки.

Жидок-фельдшер взглянул на него и немного струсил, он заморгал ресницами и принялся поспешно скатывать свежий бинт. Глаза Батогова словно уперлись в бедного жидка, в них не было заметно ни грусти, ни злобы, в них даже не было жизни. Тусклые, неподвижные – они были страшны.

– Да, голубчик, ну, что тут, да перестань, – говорил толстенький капитан, трогая Батогова за плечо.

– А! – отозвался тот и даже не обернулся.

– Никитка пуншу сварил. Вот сейчас.

– Да он даже не дышит! Я ничего не слышу.

Батогов быстро сбросил шинели с тела Юсупа, нагнулся низко-низко к самым носилкам и приложился ухом к какой-то массе рваного белья, забрызганного, залитого кровью и еще чем-то зелено-желтым, сильно вонявшим на свежем утреннем воздухе. Темно-желтое лицо умирающего как-то странно съежилось, рот искривился и сухие, горячие губы чуть заметно вздрагивали.

– Юсуп, Юсуп! – громко говорил Батогов и сильно тряс за плечи своего друга.

– Там у меня уже приготовлено, – бормотал капитан. – Вон, видишь, самоварчик дымится.

– Да возьмите его силою, – говорил другой офицер, подходя к носилкам, – видите, человек совсем ошалел.

– Да, поди – возьми, – огрызался капитан.

– Юсуп, да ну, вставай, ведь ты крепок, тебя сам черт не сломит, Юсуп! – Батогов припал на колени и схватил руками носилки.

– Отходит, – степенно, с некоторою торжественностью, произнес жидок-фельдшер и вдруг повалился на землю и откатился на несколько шагов, к самым колесам ротной повозки.

– Отходит?! – зарычал Батогов, готовясь повторить свою могучую затрещину.

– Голубчик, может, я тебе сюда принесу чаю? – ухаживал толстенький капитан. – Никитка!

Грязные тряпки все разом вздрогнули, зашевелились, вытянулись и замерли, стиснутые зубы заскрипели.

– Готово, – произнес Батогов и поднялся на ноги.

А в стороне, присевши на корточки около небольшого огонька, на котором прилажены были маленькие походные котелки, расположилась кучка солдат. Заваренный на завтрак кирпичный чай давно уже кипел и бежал по краям, потому что общее внимание более было обращено на сцену у носилок, чем на котелки. Все говорили шепотом, сдержанно, некоторые даже крестились, приподнимая кепи с назатыльниками.

– Кто же его знал! – вздохнул угреватый унтер-офицер и потрогал пальцем то место на подошве сапога, где совсем отстала заскорузлая подметка и виднелись грязные онучи.

– Известно, – согласился рыжий, весноватый солдат, растирая на ладони табачные корешки.

– Теперь ежели сразу: Куцый, Валетка, опять Кудлай – пес здоровенный, Налет, Полкашка, твоя Венерка…

– Врешь, моя Венерка спала на кухне…

– На кухне?!. А зад у ней кто отшиб?.. На кухне!

– А пуще всех Колпик, так зверем и рвет…

– Как тут сообразить, теребят и шабаш.

– А тут Петров сдуру ахнул, говорю: «Постой, не пали», а он: «Бац!..»

– Фершал сказывал: в самое пузо, на четверть пониже ложечки, в эвто самое место.

– Ну, и шабаш.

– Оторопел я больно, братцы, мне ведь впервой, – слезливо оправдывался Петров, совсем еще рекрут с немного глуповатым, почти детским лицом и худою, плоскою, недоразвитою грудью.

– Оторопел! – упрекнул его угреватый унтер-офицер.

– А силен же он, братцы, – начал рыжий.

– Кто? этот-то?

Солдат взглянул на Батогова.

– Н-да. Меня, это, так тряханул, – думал, смерть пришла.

– А Миронова как шваркнул.

– Бей подъем!.. – запел тенором толстенький капитан, выглядывая из-под какой-то холстины, с недопитым стаканом в руках.

XI. ПЕРВЫЙ КАРАВАН

На большом дворе, примыкавшем к дачам Перловича, работа, что называется, кипела. Штук восемьдесят верблюдов, все больше одногорбых наров, с темно-коричневою, гладко остриженною шерстью, крепких и выносливых, бродили на свободе или же валялись группами, держась к той стороне, куда достигали теплые лучи осеннего солнца; человек десять киргизов прихлебывали и присмактовали около котла; два приказчика из русских, в полутуземных, полугостинодворских костюмах, ставили масляною краскою клейма и метки на объемистых тюках, расположенных правильными рядами, связанных попарно и приготовленных к нагрузке. Сарт, в лисьем халате и в белой громадной чалме, отмечал на лоскутках прозрачной бумаги местного производства какие-то каракули и горячо спорил с одним из приказчиков, одним словом, все что-нибудь да делали.

Дела Перловича шли очень хорошо. Он теперь отправлял в Коканд свой караван, и верблюды были его собственные, не наемные, так что он нисколько не был в зависимости от лени и недобросовестности кочевников. Хозяин был в отличнейшем расположении духа, он давно уже чувствовал себя морально, а следовательно и физически, очень хорошо.

Он сидел в комнате, красиво обставленной в полуазиатском, полуевропейском вкусе. Тут же находились Захо, Федоров, ждали Хмурова, да он почему-то не приехал. Еще человек пять гостей собрались к Перловичу побеседовать. Все общество завтракало.

Завтрак был более чем обильный, завтрак был парадный. Весь стол был заставлен различными европейскими консервами: жестянки с омарами, баночки со страсбургским пирогом, трюфели, разная привозная рыба, все вещи весьма дорогие, особенно принимая в расчет возвышение цен от дальности провоза. Горячий глинтвейн и шампанское дополняли стол, и большинство собеседников было навеселе.

– А ведь пошел в гору, – подмигивал глазами на хозяина Захо, отведя зачем-то в сторону одного из гостей, во фраке и военных панталонах с красным кантиком.

– Расторговался, – согласился фрак и добавил, вздохнув:

– Что же, людям счастье…

– Не одно счастье, тут без сноровки тоже не обойдешься.

– Опять, капитал – сила.

– А у Хмурова нет разве этой силы? А все врозь идет.

– У того больше для вида, опять же, «эти широкие цели», помнишь речь у Глуповского за обедом?

– Это когда о шелководстве говорить собирались?

Капитан с белыми погонами и академическим аксельбантом, услышав слово «шелководство», встал со стула и, прожевывая кусок какой-то красной рыбы, подошел к говорящим.

– Я еще раз повторяю, – начал он, – что пока не установятся правильные сношения…

– Это что там на дворе шумят так? – перебил капитанскую речь голос за столом…

Перлович, который сидел у камина с местным богачом, сартом Саид-Азимом, поднял голову.

– Вьючить начали, – сообщал Захо, нагибаясь над окном.

– Ну-с, господа, – произнес Перлович. – Вы меня извините, я пойду распоряжаться… я скоро вернусь… Надеюсь, вы не будете стесняться…

– Э, помилуйте…

– Что за церемонии!

– Я назначил в четыре часа выступление моего каравана, теперь три. Ровно через час мы поднимем бокалы. – В голосе Перловича чувствовалась какая-то необыкновенная торжественность. – Мы поднимем бокалы с пожеланием успеха первому русскому каравану…

– Ну, занес!.. – послышался чей-то голос.

Перлович остановился…

– Нет, это я про другое, – смутился прервавший хозяйскую речь, вытирая усы салфеткою.

– А там к тому времени соберутся остальные, – переменил тон Перлович. – Хмуров вот подъедет, генерал собирался…

Перлович кончил свою речь пригласительным жестом, – кушайте, мол, пока, – и вышел из комнаты.

– Этого гуся кормят сначала все грецкими орехами, – объяснял капитан, держа в руках банку.

– Пойдем слушать, Дрянет историю страсбургского пирога рассказывает.

– Я бы этого и есть не стал, – сплюнул на сторону Саид-Азим, косясь на банку.

– А что же… Ваш плов лучше, что ли?

– На каждого гуся нужно орехов столько, сколько весит сам гусь, – пояснял Дрянет.

– Каков гусь, – кивнул толстый чайный торговец, приехавший прямо из Кяхты для своих операций по торговле. – Ну, а это из чего приготовляется?

Он подвинул к капитану ящик с сардинами.

– Какой случай был вчера в клубе, – начал фрак. – Вы слышали?

– Это в читальной? Знаю: газеты все, черт знает зачем, растаскали…

– Вовсе нет. Подходит этот, как бишь его, ну, да… он…

– Все равно, – дальше.

– Подходит к мадам Красноперовой и говорит: позвольте на один тур; та, знаете, барыня такая полная, в соках…

– Особа с весом.

– Встает это она со стула, а на стуле…

– Я и по-английски, и по-немецки, и по-итальянски веду свои мемуары, – рассказывал капитан Дрянет, – я даже написал по-арабски трактат о значении шелководства как орудия… или, правильнее сказать, ступени в разливе цивилизующих начал.

– Для кого же это вы писали по-арабски-то? – спрашивал Захо, недоверчиво улыбаясь.

– Еще во время экспедиции моей, – перескочил капитан, пропуская мимо ушей вопрос Захо.

– Это про какую экспедицию вы изволите говорить?

– А про мой поход, или, правильнее сказать, военно-ученую экскурсию на перевал Об-Оф-Аллах-бу, помните мою реляцию, она еще наделала такого шума?

– Да, толковали немало…

Пронзительный рев верблюдов на дворе давал знать, что их, уже навьюченных окончательно, начали поднимать на ноги, разнокалиберные бубенчики звенели, голос Перловича кричал:

– Тут и оставаться пока, тронуться по моему знаку!..

– Хлопочет, чтобы все с эффектом, – заметил кяхтинский купец.

– С большим расчетом действует. Вы думаете, он спроста? Он и этот завтрак с расчетом устроил, подъедут все люди нужные… Ну, тосты пойдут…

– Шампанского немало выйдет.

– То-то, немало… Этот не Хмуров, этот зря тратиться не станет…

За стеною сада послышался стук экипажных колес и топот верховых. Шелестя шлейфами по желто-красным, сухим листьям, густо усеявшим садовую дорожку, шли две дамы, их сопровождали интендантский чиновник, доктор, что был секундантом у Брилло, и еще человека три в военных мундирах.

– Съезжаются, – заметил господин во фраке.

– А Хмурова все нет, – вздохнул кяхтинский купец.

Саид-Азим окинул любопытным взглядом обеих дам и приложил свои руки к желудку[1], в знак самого глубокого уважения.

Генерал подъехал с другого двора верхом, в сопровождении казаков и адъютанта. Перлович встретил его на нижней ступеньке крыльца и с чувством самой глубокой признательности пожал обеими руками генеральскую перчатку.

– Я был в отчаянии… я думал… – с особенной нежностью в голосе говорил хозяин.

– Кажется, я не опоздал?

– Прошу пожаловать.

Генерал тяжело шагал со ступеньки на ступеньку, согнувшись словно под тяжелою ношею (он был в эполетах). Перлович бочком, шагая через две ступеньки, слегка поддерживал генеральский локоть и кивал головою на дверь, давая этим понять, что не мешало бы распахнуть ее на обе половинки. Невидимые руки тотчас же исполнили его сигналы. Все гости стояли на ногах, на всех лицах сияла улыбка, те, которые были в партикулярных костюмах, держались одною рукою за спинки своих стульев, с некоторою независимостью в позе, все же военные держали руки по швам и почтительно согнулись в поясницах. Сарт Саид-Азим и другой туземец, жирный Шарофей, только что появившийся из сада, одновременно произнесли «хоп»[2] и взялись за желудки[3].

– Благодарю, – произнес генерал и добавил, – холодновато.

– Утром мороз большой был, ваше превосходительство, – поспешил донести капитан Дрянет.

– Вот и осень на дворе, – вздохнул купец из Кяхты.

– В видах чисто гигиенических… – начал доктор, но его прервал купец из Кяхты, сообщив, что ему доставлены новые чаи отличного качества.

– Если позволите, генерал, – начала одна из дам и протянула свою руку в светло-зеленой перчатке. Она заметила, что генерал вытащил из кармана большой портсигар из желтой кожи.

– В видах чисто гигиенических… – еще раз попытался доктор.

– А зачем, слушай, – протискался жирный Шарофей к самому креслу, на котором восседал генерал. – Зачем так делать?.. Русский купец не платит, сартовский купец платит… русский куп…

– Все, все платить будут… – засмеялся генерал и потрепал Шарофея по животу.

– Русский купец…

Капитан Дрянет, проскользнув как-то очень ловко под локтем сарта, оттеснил его этим движением и прервал протест.

– Новые машины приспособлены мною для размотки шелка, ваше превосходительство, – я об этом пишу трактат на ит…

– В видах чисто гигиенических…

– Это вы насчет чего? – обратился к доктору генерал.

– Это я насчет пользы теплых набрюшников в войсках. Предохраняя от простуды, они вместе с тем…

Генерал подвинул к себе жестянку с омаром.

Перлович ходил озабоченно, поглядывал в окна, совсем выходил куда-то на несколько минут, смотрел на часы и вообще выказывал нетерпение.

– Я думаю, теперь пора?.. – шепнул он кому-то.

– А Хмуров?

Перлович пожал плечами, выражая этим, что, мол, как же дожидаться одного, когда сам… и так далее. Капитан раза два вынимал из обшлага рукава какую-то бумагу, заглядывал в нее и откашливался. Захо считал стаканы на столе и соображал: всем ли хватит? Голос в соседней комнате говорил: «Погоди, веревок не подрезай, открути только проволоку».

– Милостивые государи… – начал Дрянет, посмотрел кругом, остановился, вспыхнул до ушей и стал откашливаться.

Другой офицер в уланском мундире насторожил уши, даже приподнялся со стула и, по всем признакам, приготовился возражать.

– Погоди, Дербентьев, не перебивай, – шептал ему купец из Кяхты. – Ведь уже так условились: сперва его речь, – он кивнул на Дрянета, – потом твоя…

В комнате настала мертвая тишина. Одна из дам почему-то фыркнула, другая заскрипела вилкою по тарелке, тыкая в маринованный грибок, а грибок был такой скользкий и никак не поддавался ее усилиям, генерал помог.

– Милостивые государи… – повторил Дрянет.

– Стань на стул, – шепнул кто-то сзади.

Оратор было полез.

– Не надо, – сказал генерал и стать чего-то искать под столом ногою.

Та дама, которая не могла справиться с грибком, подвинулась и слегка дотронулась носком своего башмака до генеральского сапога.

– Благодарю, – шепотом произнес генерал.

– В настоящее время, когда…[4]

– Какое избитое начало! – язвительно нагнувшись к соседу, тихо говорил Дербентьсв.

– Умственные силы цивилизованного Запада двинулись на Дальний Восток…

– Получив двойные прогоны… – вставлял Дербентьев.

– Нельзя не видеть в этом новом потоке блистательного репоста, которым ответил наш век тому удару, который был нанесен из Азии, в далеком прошлом…

– Ничего не понимаю… – шептал генерал.

– Нетрудно понять, – продолжал оратор, – что я намекаю на то время, когда движение необразованных, варварских племен, вышедших из Центральной Азии, пользуясь одной только физическою силою, шаржировало или, правильнее сказать, атаковало зародыши европейской цивилизации… Прошли года…

– Прикажите наливать… – распорядился Перлович.

– И вот мы видим новое явление, явление отрадное. Европа отплатила Азии прошлое зло, но отплатила как? Послав от себя поток умственных сил – взамен грубых физических…

Генерал зевнул, Перлович почесал затылок, кое-кто передернул плечами, Дербентьев говорил вполголоса:

– Что, я разве не предупреждал?

– Наука, искусство, торговля, – воодушевлялся капитан, обращаясь при слове «торговля» к Перловичу, купцу из Кяхты и господину во фраке… Оратор искал глазами Захо, но тот стоял к нему спиною и набивал табаком нос. – Все явилось к услугам народа дикого, не вышедшего еще из ребяческого состояния…

Оратор замолчал и стал отыскивать что-то в своей бумаге, вынутой из обшлага… Этою паузою воспользовался Дербентьев, он поспешил встать.

– Позвольте это я сейчас…

– Торговые обороты наши… – справился с рукописью Дрянет…

– Торговые обороты наши, – перебил Дербентьев, – благодаря просвещенному вниманию и распорядительности начальства…

– Я буду иметь с вами дело после… – холодно произнес капитан, обращаясь к новому оратору, и отошел от стола.

– Обороты наши, благодаря вышесказанным обстоятельствам, разрослись до невероятных, скажу более, колоссальных размеров; пределы областей, занятых нашим победоносным оружием, стали тесны…

– Урра!!. – послышалось с другого конца стола.

– Несвоевременно, господа, – заметил Дербентьев, – а наши смелые предприниматели…

Перлович выдвинулся вперед.

– Простирают свои руки даже за эти пределы… Туда, в Коканд, помимо посредства туземных купцов…

Несколько глаз с презрением покосились на Саид-Азима, а тот, ничего не понимая, спокойно выгребал пальцами сардины из жестянки.

– И вот собран и снаряжен большой караван, он здесь, его все видели, вы можете даже слышать эти дикие звуки…

Действительно, верблюды на дворе ревели почти непрерывно, и на все лады гудели бубенчики. В дверях показались оба приказчика, назначенные сопровождать караван. Это были здоровые ребята с красными, полупьяными лицами, вооруженные с ног до головы, больше для эффекта, и с ременными нагайками через плечо.

– Здорово, ребята! – сказал им генерал.

– Наше вам-с… – галантерейно поклонился один из приказчиков.

– Караван этот собран средствами и усилиями блестящего представителя нашей торговли…

– Разноси, – распорядился Перлович.

– Вот он! – Дербентьев с жаром указал на Перловича.

– Я так тронут… эта честь… – бормотал хозяин.

– Благодарю, – с достоинством произнес генерал. – Вы этого вполне заслуживаете.

– Ваше превосходительство!..

– Урра! урра! – ревели все остальные, только Дрянет, подойдя к окну и уставившись в стекло, репетировал: «Неумение диспутировать, доходящее до наглости, служит признаком умственного убожества…»

– Качать!.. – кричал купец из Кяхты. – Ребята, берись! – командовал он вооруженным приказчикам. Те приступили тотчас же.

– Эта честь…

Перлович болтнул ногами в воздухе.

– Музыкантов! – кричал Захо.

Скрытые в саду трубачи грянули туш.

Вытягиваясь в одну линию, степенно двинулись навьюченные верблюды и потянулись мимо окон к воротам… Все бросились к окнам.

Проталкиваясь сквозь толпу, вошел Хмуров. По его лицу видно было, что он имеет сообщить весьма приятное.

– Наконец-то! – послышалось голоса.

– Mieux tard que jamais…[5] – выгнулась всем корпусом одна из дам.

– Ну, новость! – протянул Хмуров, разводя руками.

– Что? что такое?!

– Да не томите, – пели дамы.

– Однако что же, в самом деле? – нетерпеливо спросил генерал.

– Батогов…

– Ну?!

– Здесь, вернулся… я его сам видел.

– Урра!.. – загремело в комнате.

Послышался странный стук и дребезг посуды на столе, словно на пол упало тяжелое тело.

Перлович лежал ничком, без всякого признака жизни.

Известие это было для него уже слишком неожиданно.

XII. СИГАРЫ ПЕРЛОВИЧА

Ночь была ненастная, холодная, мокрый снег, пополам с дождем, бил в стекла, в щелях оконных рам выл осенний ветер, и глухо шумели, сплетаясь между собою, оголенные ветви деревьев.

Все живое пряталось под крыши, и ближе жались к огню туземцы, загородив досками широкие входы своих сакель. В непроницаемой темноте чуть-чуть мигали вдали окна европейского квартала, и кое-где двигались светлые точки бумажных фонарей, с помощью которых пытались пробраться неподалеку кое-кто из не любящих сидеть дома. Вон там внизу, не разберешь где, чуть движется светлый кружок, вон он остановился, пригнулся к самой земле… никак канава… вон тронулся он немного вправо, опять приостановился:

в сжатом пространстве освещенной мглы протянулись, словно оленьи рога, сухие ветви, забелелся угол забора, опять все исчезло во мраке, и с другой стороны топорщатся кое-как связанные перила мостика… Туда двинулся фонарь, помигал еще несколько секунд и пропал за какою-то темною массою, не то крышею, не то кустами, не то…

Ярко пылают сухие яблоновые дрова в просторном белом камине, вся печь разукрашена в местном вкусе, и красный свет, отражаясь от большого зеркала, играет по позолоченным выступам резных украшений. Назябшая нога с негою утопает в теплом, мягком ковре, в продрогший желудок, глоток за глотком, пробирается горячий, ароматический пунш…

– И ты не поверишь, что я благословляю судьбу, пославшую мне это тяжелое испытание, – говорит Батогов и нагибается к самому камину, чтобы поправить развалившиеся поленья…

– Вот, на, щипцы, – говорит Перлович и смотрит вниз на хитрые, причудливые разводы персидского ковра.

– Не попадись я к этим чертям, мог ли я ее встретить… ну, мог ли?..

– Конечно! – глубоко вздохнул Перлович.

– С той минуты я рвался на волю… я спешил сюда. Ведь есть еще время, ее можно спасти.

– Ее должно спасти! – серьезно говорит Перлович и быстро исподлобья взглядывает на гостя.

Батогов встал, потянулся и принялся ходить из угла в угол по комнате. Каждый раз, проходя мимо стола, на котором стоял чайный прибор, он останавливался и прихлебывал из стакана. Перлович полулежал на низеньком диване и сосредоточенно чистил ножичком ногти. А ветер все унылее и унылее напевал свою тоскливую песню, и со стуком вздрагивали оконные ставни под его ударами.

– Бледная, худая, ну кожа да кости, изнуренная до последней возможности, она казалась живым трупом… Если бы ты только мог ее видеть…

– Это ужасно, – ровным голосом говорил Перлович и тем же тоном добавил, – ром вон в том графине, вон, с резной пробкою.

– Этот?

Батогов подлил в стакан.

Перлович кивнул головою и стал рыться в ящике с сигарами.

– Но эта последняя встреча, помнишь, я рассказывал, в камышах… Да, я тогда видел, что ей немного жить осталось, она скоро умрет…

– Может быть, она и умерла?

– Нет, этого быть не может.

– Да почему? Вот прошло уже около месяца, судя по твоему рассказу, – и при той ужасной обстановке.

– Нет, ты этого не говори, не говори, мне кажется, я убежден в этом, у меня есть какое-то предчувствие, что я еще увижу ее. Надо только поспешить…

– Да, терять времени нельзя, во всяком случае.

– У меня уже весь план составлен… вот видишь, мы пошлем деньги через Мурза-бая, я с ним говорил об этом, и он берется…

Перлович наклонился, в свою очередь, к самому камину. Если бы кто-нибудь мог из этого раскаленного, пышущего жерла взглянуть в его лицо, то он, наверное бы, отвернулся, так оно было некрасиво.

– Что такое, ты нездоров? – остановился на полуслове Батогов.

– Я… нет, ничего, я слушаю… Ты говоришь, в камышах?..

– Пять тысяч, говорит Мурза-бай, и он положительно берется это устроить… Он сделает так: во-первых, поедет сам, денег же отнюдь не повезет с собою, а возьмет только задаток…

– Пять тысяч?.. – произносит Перлович, не то спрашивает, не то подтверждает только.

– Да, пять. Потом, конечно, мы должны обеспечить ее.

Плечи Перловича слегка вздрогнули.

– Ведь согласись сам, все это *принадлежит ей*. Ну, положим, всего ей не нужно, она даже знать не должна об этих деньгах.

– Она знать об этом и не будет…

– Что ты? Или это ты от огня такой желтый?

– От огня… так кажется…

– В четырнадцать дней Мурза-бай берется туда доехать, столько же назад, ну да там несколько дней. Я говорю, пройдет не больше как месяц. Сегодня которое число?

– Одиннадцатое. Что ты не куришь?

– Господи! Я готов, кажется, сам туда ехать!

– А за тебя тогда сколько понадобится – тоже пять тысяч или больше? – произнес Перлович, улыбнувшись.

– Эк тебя подергивает!.. – заметил Батогов.

Действительно, улыбка Перловича была более похожа на болезненное подергивание.

– Ха, ха! жаль денег стало!.. – похлопал его по плечу Батогов. – Ничего, раскошеливайся: ведь у тебя, брат, все еще много останется.

– Ты считал?

– Чего считать – караваны какие отправляешь! Сам видел, как к тебе ехал. Да, опять, Хмуров говорил… Это у тебя какие сигары?

– Эти? Это – дрянь: не стоит. – Перлович отодвинул ящик. – Вот, если хочешь.

– Благодарю.

Батогов взял из рук хозяина сигару, которую тот все время вертел у себя в руках.

– Недурна по виду. – Он стал закуривать. – Что-то сыровата…

– Лежалая…

Батогов затянулся раза два и потянул носом дым…

– Что это?..

Перлович встал и вышел, притворив за собою дверь.

– Что-то пахнет маком… – проговорил про себя Батогов, лег на диван и стал курить…

Комната, где сидели друзья, освещалась только одним камином, покуда ярко горели дрова, было светло, теперь же мало-помалу прогорали сухие поленья и с треском обваливались красные уголья, покрываясь темным налетом пепла. Все темнее и темнее становилось кругом, только на яркой поверхности самовара, на окраинах стаканов, на металлических головках пробок играли красноватые блестки. Синеватый дым застилал зеркало, чуть слышно чикали где-то часы.

Батогов лежал навзничь и курил…

Ему хорошо, тепло, он чувствует, как медленно перебирается, будто капля за каплею, кровь в его жилах, вот подходит к вискам, толкнулась там и в ушах зазвенела мелодичными переливами… «Это ром действует: отвык за *это* время, ну и разобрало». Попробовал слегка отделить голову от подушки – нельзя: тяжела слишком стала, словно приросла к изголовью. Безжизненно свисла на пол рука, и чуть-чуть перебирают пальцы волнистую шерсть тигровой шкуры, разостланной перед диваном… А кто-то подполз под диван, приподнимает его своею спиною, слегка раскачивает… Колеблется камин, ныряя в облаках дыма, кивает из-за шкафа голова глиняного, эмалированного китайского божка… Словно поверхность поспевающей нивы, колеблемая ветром, заходили вперебой пестрые узоры ковра… Все в движении…

Чуть приотворилась дверь, высунулось оттуда желтое лицо, потянуло носом накуренный воздух и спряталось…

Что это так жарко стало? светло как! А, это солнце восходит. Медленно ползет из-за туманной дали огненный шар, и от него бегут по темному небу, развертываясь шире и шире, светлые полосы… Ветер гудит в камышах и плещутся где-то волны… Храпит конь, склонивши к воде свою голову… «Гей! гей!» – чуть доносится с того берега… «Стой, бери!.. вот он!..» – слышны торопливые голоса… бегут! Кусты трещат от движения какого-то тяжелого тела… Выстрел! Все застлало дымом… Острые когти впиваются в голые плечи… душат… Два глаза-угля сверкнули у самого лица… рука ищет ножа… вот он, вот его шаршавые ножны, вот каемка бирюзовая, вот ремень, украшенный кистью… ручка, где ручка?.. Пальцы не хотят отыскать того, что нужно… А скоро будет поздно… еще мгновение… да помогите же, помогите!..

Еще раз медленно приотворилась дверь, и опять показалось то же лицо… Перлович шагнул вперед и на цыпочках, неслышно подошел к дивану… Он наклонился. Глаза Батогова были закрыты, и он тихо стонал, вздрагивая ноздрями… Маленький окурок сигары лежал на полу и дымился. Перлович поднял его, раздул и поднес к носу спящего… Минуты три он находился в таком

положении, наконец, бросил окурок в камин, пошатнулся, взялся за голову и неровными шагами выбрался из комнаты. Он даже в дверь не попал сразу: толкнулся к письменному столу, чуть не опрокинул стоявшую на нем лампу и, ощупывая вдоль стены руками, нашел-таки ручку приотворенной двери.

На дворе зашлепали по жидкой грязи конские ноги, рысью подбежавшие к крыльцу. Ключ в дверях два раза щелкнул, и слышно было, как его совсем вытащили из замка.

– Ну, брат, погода! – говорит гость, отряхивая от снега свою меховую шапку.

– Так поздно?..

– Да… Дело такое важное… Просто едва доехал: темно, как у арабов… Я уже и поводья бросил, думаю: «Ну, ты, сивый, отыскивай сам дорогу, как знаешь, а я, брат, ничего не разберу…» Сверху, снизу, с боков, отовсюду хлещет, грязище по брюхо… У Хмурова был: крыши промокли, с потолков льет, полна зала воды, тазы подставляют… у этой, как бишь ее, тоже течет… Да дай хоть водки, что ли, прости…

– А, сейчас… я велю… садись тут…

– Да что ты растерялся, на себя не похож?

– Я сейчас распоряжусь, вот сюда садись.

– В сапоги налилось… А, ушел…

Перлович вышел из комнаты и оставил гостя одного. Тот сбросил с себя намокшую шинель, перекинул ее через спинку стула и стал мерять комнату из угла в угол, потирая окоченевшие руки. Походил, походил, подошел к двери, задернутой тяжелым ковром, приподнял ковер, потрогал ручку: заперта.

– Ну, вот вино, – произнес Перлович, входя с бутылкою и стаканом в руках, он вдруг остановился на пороге, заметив, что гость наклонился к замку завешанной двери.

– А что ты, брат, там не сидишь? – Гость указал на запертую комнату. – Там у тебя лучше: камин и все такое…

– Все равно, там теперь заставлено все… Ну, в чем же дело?

– Какое?

– В такую пору приехать, что-нибудь важное, иначе…

– А, да, да, – гость налил стакан и залпом выпил. – Эх, если бы самоварчик!

Перлович стиснул рукою мундштук пенковой трубки[1], та хрустнула.

– Раздавил? Жаль, – произнес гость, заметив движение хозяина. – Вот видишь ли, приезжает ко мне Хмуров и говорит… история эта немножко длинновата, я, впрочем, буду тебе ее немного сокращать…

У Перловича захватило дыхание: ему послышался шум в соседней комнате…

Совсем рассвело, и в той комнате, которая была *заставлена*, потому только было темно, что сквозь войлочные ставни, которыми были закрыты окна, не

мог проникать грязноватый свет серого, ненастного дня. Когда Перлович вошел в комнату и ставни были сняты, он увидел Батогова, лежащего совершенно неподвижно, на спине, с открытыми, тусклыми глазами, с окоченевшими пальцами, стиснутыми около горла: должно быть, он хотел разорвать душивший его ворот рубахи.

Перлович наклонился к лежавшему, положил ему руку на лоб и тотчас же отдернул ее от неприятного ощущения холодной, лоснящейся массы. Долго стоял он над телом, потом подошел к окнам, с трудом отворил одно из них, и в комнату пахнуло сыростью.

Перлович подошел к столу и сел писать. Холодный ветер, врываясь в открытое окно, пронизывал его насквозь, и дрожащая рука судорожно прыгала по бумаге…

XIII. «ХОТЯ, ВПРОЧЕМ, СОМНЕВАЮСЬ»

Сидя еще в комнате, со стаканом утреннего чая в руках, доктор зевал во весь рот и проверял счеты преферанса, сохранившиеся еще на зеленом, порыжелом сукне раскрытого ломберного стола. Доктор еще не умывался, и на его бакенбардах присохли кое-какие остатки вечерней подзакуски.

– А надул, мерзавец, надул!..

Доктор наклонился над сукном.

– Вот и тут приписал лишнее к висту, а тут вот стер… Ну, жулики… Ты чего?..

– Верховой от Перловича приехал, гнал шибко, инда калитку у нас свернул коленком, – докладывал денщик, высунувшись из-за двери.

– Ну, чего там?

– Письмо привез.

– А, давай…

Доктор взял письмо, посмотрел на печать, поковырял ее пальцем, посмотрел на свет и стал искать на столе перочинного ножичка.

– Подай очки… не там, в брюках поищи, ну?!

Доктор пересел к окну поближе, подрезал письмо, развернул его и начал читать.

– На целом листе накатал, – сообщил он и добавил, – эка нацарапал, должно быть, с перепою руки ходили.

Но мере чтения, лицо доктора принимало все более и более серьезное выражение, и губы многозначительно сжимались.

– Да-с, вон оно как, понимаем, – произнес доктор, окончив чтение, и громко крикнул:

– Умываться давай, лошадь седлать!..

– Случай подходящий… и можно рассчитывать… Н-да… человек со средствами… положим, не без подозрения, – соображал доктор, намыливая руки.

Письмо, полученное доктором, было следующего содержания:

«Любезнейший и уважаемый доктор!

У меня в доме случилось большое несчастье, так сильно меня поразившее, что с большим трудом и тяжелым чувством принимаюсь за это письмо.

Наш общий знакомый и хороший мой приятель, скажу более, друг, Батогов, приехал ко мне еще вчера вечером и, после дружески проведенного вечера, остался ночевать у меня в угловой комнате.

Придя на другой день, то есть сегодня утром, к нему, застал его без всяких признаков жизни. По некоторым данным, я смею предполагать, что он отравился опиумом, который курил даже при мне вечером, несмотря на мои советы бросить…

Может быть, есть *еще надежда* спасти его, хотя, впрочем, сомневаюсь…

Приезжайте как можно скорее – жду.

Весь ваш Ф. Перлович».

– «Хотя, впрочем, сомневаюсь…» – цитировал доктор окончание письма, садясь на свою лошадь.

Прошло три дня. По шоссированной улице, мимо местного клуба, подвигалась под звуки похоронного марша пестрая процессия: священник в новых золотых ризах, поддерживая полы шелкового подрясника, шел по краю дороги, где посуше, беспрестанно обходя кучи запасного шоссейного камня. Человек десять без шапок и в мундирах, поверх которых, на всякий случай, накинуты были шинели, несли большой гроб, покрытый парчовым покровом.

Перлович с Хмуровым придерживали гроб спереди, первый шел молча, потупив глаза в землю, и поминутно прикладывал платок к глазам, второй подтягивал басом хору солдат-певчих.

На балкон клубной залы вышли человек пять, завтракавших до этой минуты и оставивших свои приборы при звуках барабанов.

– Ну-с, государи мои, вот и покончил наш авантюрист свое существование! – говорил интендантский чиновник, присаживаясь на перила.

– А дело нечисто… – заметил стрелок, вытирая рот салфеткой.

– Чего нечисто? Вздор: все аккуратно обработано.

– Однако вы говорите: «обработано»…

– Говорю и добавляю, что пока не найдется личности, заинтересованной…

– Чем?

– Да хоть бы удалением *его* с места действия, так сказать, сокращением сего барина до нуля, дело будет находиться в том же положении, как и теперь, то есть будет почивать в архиве, преданное воле Божией.

– Господа! Оттуда все на дачу Перловича, на поминальный обед! – вбежал на балкон молодой офицерик, отделившийся от процессии.

– Царство ему небесное! – вздохнул интендантский чиновник. – Что же котлетку с горошком? – крикнул он пробежавшему лакею.

– Сию минуту-с.

– То-то – «сию минуту-с»: целый час заказано. Свиньи!

Бой барабанов затихал вдали, когда процессия завернула за угол ближайшей улицы.

– Красного в угол и по желтому карамболь! – возглашал голос из биллиардной…

XIV. ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛА РАХИЛЬ СМОТРЕТЬ НА СЕВЕР

Киргизы Гайнула и Гассан гнали большое стадо овец по зарослям близ аулов Курбан-бия. Оба пастуха ехали верхом, и сколько ни поднимались на стременах, пытаясь разглядеть передних баранов, все не удавалось им заметить сквозь камыш вожаков стада – такое оно было большое. Тальник и камыш трещали кругом, и глухо топотали по замерзлой земле тысячи копытчатых ножек. «Гей! гей!» – кричал Гайнула. «Гей! гей!» – отзывался ему с другого конца Гассан, и громко хлопали длинные кнуты, сбивая высохшие вершинки кустарников.

Сплошными волнами двигалась эта отара (стадо), и, казалось, негде было больше просунуть кулака между плотно прижавшимися на ходу друг к другу, курчавыми, живыми телами баранов. К вечеру становилось дело, и аулы дымились в синеющей лощине.

В одном только месте, далеко еще впереди, разделялись надвое живые волны, огибая какое-то, словно волшебное, пространство, и снова смыкались вплотную, мало-помалу подвигаясь вперед.

– Что там за диковина? – думал Гайнула и начал всматриваться.

– А там что-нибудь да есть, – думал Гассан и даже руку приложил к глазам, чтобы разглядеть получше.

Обоим им хотелось узнать, в чем дело, и оба они повернули лошадей в ту сторону. Ближе и ближе съезжались они, врезываясь в самую гущу отары и, наконец, съехались вместе. Съехались как раз около того диковинного места и переглянулись.

– Видишь, что? – сказал Гайнула и сплюнул.

– Дохлятина, – произнес Гассан и, засунув руку под малахай, стал чесать всею пятернею свой бритый затылок.

– И как это ее до сих пор волки не съели?

– Не нашли, должно быть.

– А вороны трогали, видишь?

– Воронам сверху видней.

Гассан поскреб себе еще затылок и поехал дальше.

То, что видели киргизы-пастухи, то, что так пугало овец и заставляло их бросаться в стороны, была Рахиль.

Она все время ждала избавления… Она слепо поверила тому полуголому, косматому человеку, который заговорил с нею по-русски, который указал ей на север, откуда должна была прийти весть о свободе.

Рахиль ждала этой вести и не спускала глаз с заветной стороны, она во время своей последней болезни все выглядывала по временам из-под кошмы, под которую заползала греться от нестерпимого, смертельного озноба. Рахиль не выползала уже более сама из-под этой грязной, закопченной, населенной мириадами насекомых кошмы.

Ее вытащили оттуда, когда трупная вонь дала знать о том, что для нее уже все кончилось. Ее оттащили подальше от аула, в самые заросли, и бросили… Бросили случайно, конечно, так что полураскрытые, мертвые глаза несчастной обращены были опять на север.

И долго бы еще смотрела в одну сторону бедная Рахиль, да вороны, заметив меж черными кочками белеющееся тело умершей, слетелись, сели поближе, поглядели направо и налево, подскочили еще ближе, совсем ободрились и, прыгая по худым бокам Рахили, принялись за похоронную трапезу.

Птицы начали с глаз, и через минуту, под нависшими выступами бровей, чернели две зияющие дырки.

Рахиль перестала смотреть на север.





Погоня за наживой



Н. Каразин. Переход Туркестанского отряда сыпучими песками от Адам-Крылган к колодцам Алты-кудук. Фрагмент. Опубл.: Хивинский поход. Альбом хромолитографий, исполненных заведением Винкельман и Штейнбок в Берлине по оригинальным акварельным рисункам Н.Н. Каразина. СПб.; М., 1875.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ЗАСТРЕЛИЛСЯ

Дмитрий Ледоколов, опершись локтями о письменный стол, сидел в покойных креслах и пристально рассматривал окурок сигары, дымившийся в одной из бронзовых пепельниц. Этот окурок, должно быть, не очень занимал его, хотя вот уже с полчаса как он не спускал с него глаз; окурок перестал уже тлеть, уже похолодел совсем, а Ледоколов все на него смотрел и смотрел, он даже пальцем его потрогал, отнял руку, вздохнул тяжело, болезненно и уставился в ту же точку каким-то апатичным, почти бессмысленным взглядом.

Ворот рубахи его был надорван; видно было, что его расстегивала нетерпеливая, озлобленная рука; галстук валялся на ручке кресла, а смятый сюртук лежал на полу, и холодный ветер, врываясь в отворенную форточку окна, шевелил рукава его рубашки. Впрочем, Ледоколову не было холодно, несмотря на то, что вместе с ветром в комнату влетали мелкие снежинки и белыми блестками оседали на широких, вырезных листьях какого-то экзотического растения.

На большом письменном столе и внутри его царствовал полнейший беспорядок: письменный прибор разбросан, подсвечники сдвинуты к одной стороне, две фарфоровых статуэтки игривого свойства лежали на полу, у одной из них недоставало уже головы, отбитой упавшей на нее крышкой от чернильницы; бумага писаная и неписаная разбросана была по всей поверхности стола, ящики выдвинуты наполовину, и все, что там находилось, было взрыто и исковеркано. Из одного ящика торчала рукоятка револьвера, и над всем этим возвышался большой фотографический портрет красивой женщины с роскошными пепельными волосами, освещенный мигающим светом пылавшей лампы, пламя которой давно уже облизывало треснувшее стекло, покрывая его черной, густой копотью.

Тоску наводящий полумрак царствовал в дальних углах комнаты, откуда выдвигались только массивные карнизы шкапов, и виднелись на стенах неясные очертания какого-то оружия, развешанного в симметричных группах.

Стрелки на циферблате больших стенных часов показывали половину первого; на тротуаре противоположной стороны улицы давно уже стоял должно быть чрезвычайно любопытный городовой, которому совершенно ясно было видно все, что делалось в комнате Ледоколова.

Этот городовой положительно недоумевал: что такое делается с этим чудным барином? То он прежде неистово рылся и разбрасывал все, что ни попадалось под руку; пистолет вынимал зачем-то, разглядывал его долго, опять спрятал в ящик; сигару закурил было, сломал и на пол бросил, закурил опять и почти сгрыз ее зубами; а вот уже с час как сидит и не шелохнется, не погладит даже большого серого кота, что взобрался на спинку кресел, оттуда к нему на плечо и, мурлыча на ухо, трется у него за щекой мягким, усатым рыльцем.

– Гляди, пожару как бы не наделал! – думает городовой вслух. – Ишь ты, полымя как из лампы прет!..

– Выпимши, может, али так блажит! – замечает дворник, ежась от холода и зевая во весь рот, плотно кутаясь в свой овчинный тулуп, от которого за версту несет кислым запахом дубленой кожи.

– О, Боже мой! – не то простонал, не то тяжело вздохнул Ледоколов, быстро поднялся, загремел креслами и взглянул на портрет.

И вот рот его скривился, как будто под влиянием невыносимых внутренних страданий, на лбу у него протянулись болезненные складки, сухим, горячечным жаром сверкнули глаза, и со звоном полетела на пол какая-то безделушка, опрокинутая конвульсивным движением руки, протянувшейся к портрету.

Фыркнул кот, далеко отпрыгнул назад и исчез где-то между шкапами.

– Важно! – произнес дворник и подтолкнул локтем городового.

– Погоди, что дальше будет! – отвечал городовой. – Проезжай ты, желтоглазый! – крикнул он извозчику, загородившему, было, своей лошадью окно, над которым производились наблюдения.

Неровной, шатающейся походкой принялся Ледоколов ходить по своему кабинету, натыкаясь на этажерки и отдельные столики; ходил долго и снова остановился перед портретом, ероша ожесточенно волосы. Потом он схватил портрет обеими руками, поднес его к самому лицу и жадно впился в стекло своими сухими, горячими губами… Послышалось глухое, прерывистое рыдание, рыдание страшное, без слез, рыдание, от которого болит и ноет грудь, и замирает сердце, стиснутое, словно железными щипцами.

Медленно опустил Ледоколов портрет, поставил его на прежнее место и лег ничком на кушетку. Перед его закрытыми глазами с адской точностью, со всеми мелочными подробностями стали проходить мучительные картины. Тихонько выполз серый кот из своего темного угла, вспрыгнул на спину Ледоколова и свернулся клубком, как раз между его лопатками.

Два года тому назад он встретился в первый раз с ней. Его охватило какое-то странное чувство: ему казалось, что они давно уже знакомы, что они давно уже так хорошо знают, так понимают друг друга; тепло, дружески отнесся он к ней с первых минут знакомства. Она так близко подходила к тому идеалу, который давно уже сформировался в его сердце.

Он полюбил ее. Это была почти не любовь, это было тихое, благоговейное боготворение…

Яркие потоки света льются сверху, охватывают со всех сторон, уничтожая, скрадывая тени. Вся в белом, с длинным шлейфом, стоит она посреди церкви; чудные, золотисто-дымчатые волосы чуть прикрыты цветами и прозрачным газом; матовой белизной сверкает упругое, молодое тело… Она вся кажется лучезарной, прозрачной… У него дух захватывает при одном взгляде на это чудное видение… Он подойти не решается… Ему кажется, что всякий шаг к ней – святотатство. Однако он подходит. На него так ласково, так приветливо смотрят дивные глаза…

– Пожалуйте-с! – приятным старческим тенором приглашает его священник в новой парчовой ризе с разводами, прихватывает их за руки и подводит к аналою.

Свечи им сунули в руки, к горячему лбу прикасается какой-то металлический обруч…

– Дмитрий, милый мой Дмитрий, – лепечут ему на ухо дорогие губки. – Как мы будем счастливы…

Сидя в карете, они плотно прижались друг к другу, они словно срослись вместе.

– Ведь ты меня очень любишь?

Его шею охватывают нежные руки.

– Люби меня, – я стою этого. Ну, скажи, будешь любить меня, да?..

– Люблю ли я тебя!

Слезы перехватывают звуки в его горле. Он задыхается от наплыва страстных, томительных иллюзий…

– Дмитрий, милый мой, я счастлива, я точно в раю, ты плачешь?..

– Ангел, радость моя!..

– Налево к подъезду… стой! – командует кто-то на козлах.

– Пошли, пошли прочь! – распоряжается у ворот хриплый, начальнический бас…

Музыка, шампанское, говор, фраки, мундиры, шлейфы, шиньоны… все так светло и торжественно… Затем туман, туман…

И вот день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем светлой полосой потянулась жизнь. Огорчений, скуки, грусти как будто и не существовало.

Один взгляд дорогих глаз разгонял надвигающиеся тучи.

В мозгу так ясно, он так славно работает, он, казалось, не знает устали; то, перед чем задумался бы Ледоколов в прежнее время, теперь одолевается шутя, под живым влиянием электризующей, чудотворной силы участия любящей женщины.

Труд получил двойное, тройное, увеличенное до бесконечности значение. Результаты этого труда так необходимы для нее…

– Дмитрий, помнишь брошь звездочками, что мы видели в окне у Зефтигена на Морской?..

– Помню, моя крошка, помню… В середине розетка, в шесть лучей, кажется…

Он кладет на стол циркуль, которым работал, оборачивается и целует тонкие розовые пальчики, особенно тот из них, на котором виднеется золотой обручек.

– Ну да, – говорит она, – эта брошь стоит только ста двадцатью рублями дороже моей, только ста двадцатью рублями; и если обменять мою…

– Ребенок милый, игрушечку тебе нужно… Ну, это мы устроим…

– Это расход лишний, дорогой мой; мне так совестно; мы и так уже в этом месяце…

– Тсс!..

Прелестный ротик умолкает, зажатый самым страстным, самым жгучим поцелуем.

– Ты и так много работаешь! – лепечет она и наскоро вытирает украдкой свои розовые губки.

– Пойдем гулять сегодня, ну, и зайдем…

Она становится у него за креслом, гладит его по голове, расправляет волосы, особенно заботясь о том месте, где довольно ясно видны зачатки будущей лысины. Он погружается в какое-то вычисление…

– Ты, кажется, ревнуешь меня?.. – спросила она его как-то раз на одном из вечеров, оставив, наконец, своего мундирного кавалера, с которым проходила чуть не весь вечер.

– Ну, что за вздор!..

– Что же ты такой пасмурный? Пойдем!

Она повисла у него на руке, ему стало необыкновенно весело: он сразу забыл то мучительное чувство, с которым он следил глазами за ними, беснуясь, когда кавалер слишком уж близко наклонялся к своей даме, и в жестах его проявлялась воинственно-страстная энергия.

– Я люблю тебя, я верю тебе; ревность тут неуместна…

Он сам хочет уверить себя, что он не ревнует.

– Смотри!..

Она прижимается к нему еще плотнее и грозит пальчиком.

– Ревновать ту, которую любишь, это значит потерять к ней уважение, перестать ей верить… Я сейчас, Дмитрий…

Она быстро вырывает руку из-под его локтя; перед ней стоит джентльмен высокого роста, в самой почтительной и скромной позе. В выражении его лица, в движении его рук видно не простое желание вальсировать – нет, это молчаливая мольба о жизни…

– Гм… – кряхтит Ледоколов, натянуто улыбается и чувствует, что в его сердце опять ворочается что-то весьма нехорошее…

Иногда ему казалось, что она становится холоднее, безучастнее к его ласкам.

«Пустяки, – думает он, – нельзя же, в самом деле, вечно лизаться; это не в порядке вещей».

А раз, когда они шли вместе по Невскому, он до крови укусил свою губу в досаде на то, что она все время глядела на окна магазинов, отвернувшись от него и едва касаясь своей перчаткой рукава его бобрового пальто.

– И что ты там находишь занимательного…

– Ну, это еще что!

– Кто это тебе поклонился сейчас?

– Не помню фамилии… как-то *мек*[1] или *дек*, что-то в этом роде начинается…

– А теперь это с кем ты раскланиваешься?

– Что это тебя так интересует?..

Она подозрительно смотрит на него и холодно улыбается.

– Да почему же не сказать?..

– Уж ты опять не вздумал ли ревновать меня?

– Гм, что это значить «опять»? Наконец, я же говорил тебе, что ревновать – это недостойно… всякого…

Он почувствовал, что становится смешон, и вдруг, ни с того, ни с сего, поклонился какой-то пестро одетой, совершенно ему незнакомой даме… Та улыбнулась и ответила ему.

– Ну, вот видишь, – говорит ему она, – я же не спрашиваю тебя: кто это?..

Она готова расхохотаться; Ледоколов покраснел до ушей.

– Поедем домой лучше, кстати, пора и обедать, – зевает она, прикрывшись муфтой. – Мне так есть хочется!

Дорогой она немного приласкала его, и опять у него хорошо стало на сердце.

«Но это все такие мелочи, такой ничтожный вздор, – бравировал Ледоколов, перебирая в своей памяти все малейшие эпизоды прошедшего дня. – Это все такие булавочные уколы, за которые нельзя даже и посердиться». Однако он чувствует, что хотя эти булавочные уколы и очень ничтожны, каждый отдельно, но зачем их так много?..

«Вот опять, ну, чего этот барин так от нее шарахнулся, когда я вошел? Я его спрашиваю, в котором часу поезд отходит, а он отвечает совсем неподходящее, я даже не понял ничего, – видимо, человек потерялся…»

– Дмитрий, можно к тебе?.. – слышен за дверью ее голос.

– Конечно, конечно, войди… что за вопрос!..

– Я хочу посидеть около тебя; будь уверен, я тебе мешать не буду!..

Она поцеловала его в лоб и села рядом в другие кресла.

– Можешь ли ты когда-нибудь мешать мне?.. Жизнь моя… Дай я тебе подложу подушку за спину… Васька, пошел, барыню беспокоишь!.. – гонит он серого кота, который тоже взобрался на кресло.

– Нет, оставь его. Ну, работай, работай…

Она еще раз целует его и треплет по плечу. Все сомнения разлетаются прахом, о булавочных уколах нет и помину…

«Не верить этому светлому ангелу – Господи! Да это надо совсем с ума сойти, – это более, чем святотатство», – думает он и начинает подводить какие-то бесконечно длинные итоги.

Целых три недели пришлось ему не видать своей жены, – ему надо было уехать по делу. Эти недели тянулись бесконечно. «Разве телеграфировать о выезде?» – подумал он, садясь в вагон по окончании своих дел, но тут же решил не уведомлять об этом, рассчитывая на сладкие минуты неожиданного приезда.

«Как она обрадуется, дорогая моя, – думал он, поглядывая в окно. – Вот озадачится; ведь она не ждет меня раньше десятого, а тут вдруг тремя днями раньше – бац! А что, разве…»

Он вырвал из бумажника листик, написал карандашом несколько слов и на первой же станции подошел к конторке телеграфиста.

«А, нет, не надо», – решил он, направился к буфету и выпил водки.

В одном из вагонов что-то лопнуло, поправляли с час, там снег задержал на два часа, еще что-то случилось. Поезд опоздал. Поздно ночью, почти перед рассветом, слез Ледоколов с извозчика и постучался в ворота; быстро взбежал он по лестнице, чуть не разбил себе носа в потемках и остановился перед своей дверью.

«Она спит…» – подумал он и, затаив дыхание, чуть дотронулся до ручки звонка.

Все тихо, ничего не слышно.

Он позвонил еще раз, громче.

– Кто там? – послышался за дверью испуганный голос горничной.

– Отвори, это я… – тихо произнес он.

Но, вероятно, горничная приняла его за другого.

– Ты что же звонишь, Ванька-дьявол… входи тише, – барыню разбудишь…

Ледоколов начал раздеваться, девушка торопливо зажигала свечу; она догадалась, что это не ее Ванька.

Ярко вспыхнул огонь и осветил испуганное лицо горничной; глаза ее широко раскрылись, она вскрикнула и выронила свечку из рук.

Ледоколова как обухом ударило в голову. Как ни мгновенно блеснул свет, но он успел увидать, он видел… Да, то, что он видел, было ужасно!

Он видел на вешалке чужую шинель, он ясно ее разглядел, с капюшоном, с военным воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчетливо блестели на сине-сером сукне.

– Огонь зажги! – прохрипел он.

Послышалась торопливая возня и шорох; спички не загорались; наконец, снова была зажжена свеча… Шинели не было…

– Что же это, я сам видел, вот тут – где она? Или это мне почудилось?..

Ледоколов быстро прошел через все комнаты и остановился перед дверью спальни, – дверь была заперта.

– Это ты, Дмитрий? – раздался голос жены. Что-то холодное, сухое звучало в этом вопросе; Ледоколову даже показалось, что это говорит другая женщина, вовсе ему не знакомая.

– Отвори, отвори, отворите!

Он в исступлении принялся трясти дверную ручку.

– Послушай, Дмитрий, – говорила она ему, подойдя к самой двери, – иди в свой кабинет, затворись там и не делай глупейшего скандала; это самое лучшее, что я могу тебе посоветовать!

Опустив голову, схватившись за сердце обеими руками, он пошел в кабинет; у него сил не хватило дотащиться до своей двери, – он прислонился к стене и судорожно вцепился в какую-то драпировку.

Замок щелкнул. Чьи-то шаги, гремя шпорами, быстро прошли к передней.

С этой ночи он уже не видал более своего *ангела*.

Вот уже несколько дней прошло, страшных дней. Он уже думал, что мозг его не выдержит страшного удара, – однако выдержал: он не сошел с ума. На него нашло какое-то странное опьянение. Он ничего не ел, а может быть, и ел, он ничего не помнил; это был тяжелый кошмар, который мало-помалу проходил, уступая место другому, худшему состоянию.

Жизнь потеряла для него всякое значение, она ему была противна. Он ощущал тупую пустоту в сердце, в голове, во всем организме.

Для него все было потеряно[2].

А серому коту Ваське, вероятно, надоело лежать на спине хозяина: он спрыгнул на пол, выгнул спину горбом, поднял хвост колом и зашагал к письменному столу; потом он забрался на кресло, оттуда на ящик с револьвером, затем на самый стол. Здесь он покойно уселся, насторожил уши и углубился в созерцание нескольких исписанных листков.

Если бы Васька умел читать, то он прочел бы следующее:

«Я прошу никого не обвинять в моей смерти…»

Строка эта была зачеркнута; вероятно, начало показалось слишком избитым; затем разгонистым, крупным почерком значилось:

«Прошу исполнить мое предсмертное желание; оно слишком просто и удобоисполнимо и заключается только в том, чтобы не доискивались причин моего самоубийства.

Мне просто надоело жить: а так как никто ничего не теряет оттого, что меня не будет состоять между живыми, то я и прибегаю к услугам моего револьвера.

Прощайте».

Чернила давно уже высохли, и даже поверх письма карандашом начерчены какие-то зигзаги. Видно было, что с исполнением самоприговора не торопились, хотя револьвер был в полнейшей готовности и под взведенным курком краснела головка металлического патрона.

Вдруг в углу, под ворохом газет, на нижней полке этажерки заскреблась мышь. Васька кинулся со стола, опрокинул подсвечник, перелетел через лежавшего Ледоколова и зарылся в газетах.

Ледоколов вздрогнул, вскочил, испуганно осмотрелся кругом, точно он спал до этой минуты и внезапно был разбужен непонятным шумом; он начал прислушиваться.

Мелодично, серебристо звякали и гудели бесчисленные бубенчики разукрашенной ямской тройки. Усталые кони, покрытые пеной, шли шагом, окруженные парным облаком. В санях сидело четверо катающихся: три кавалера и одна дама. Двое из них были совершенно пьяны, и их цилиндры глупо кивали из-за поднятых воротников. Дама положила свою голову на плечо третьего, трезвого кавалера, а тот, приложив два пальца к козырьку своей форменной фуражки, весьма вежливо раскланивался по направлению, где, как поясной портрет в раме, видна была фигура Ледоколова.

Между портретом, стоявшим на столе, и дамой в санях было поразительное сходство; те же пепельно-золотистые волосы, те же глаза, выразительные, смеющиеся, оттененные длинными ресницами, тот же ротик, сочный, задорно улыбающийся… Не было, не могло быть никакого сомнения: в санях сидел оригинал того портрета, на стекле которого ясно видны были следы поцелуев Ледоколова.

Им овладело неудержимое бешенство… он схватил револьвер.

«Вам весело, вы наслаждаетесь!.. Я вам испорчу вашу прогулку…» – мелькнуло у него в голове. Ему сейчас же представилось, какой эффект произведет выстрел в эту минуту… Как вздрогнет она, как зашевелится раскаяние в ее сердце, когда она увидит результаты своей злой шутки… Всю жизнь ее можно отравить одной этой минутой; во сне, наяву, вечно будет носиться перед ее глазами кровавый образ; этот страшный призрак с простреленным черепом не даст ей ни минуты покоя… И *он* тоже… Ну, господа, любуйтесь!..

Ледоколов приложил дуло револьвера к своему виску.

На улице послышался слабый женский крик. Ямщик почувствовал у себя на шее изрядный побудительный толчок.

– Эй, вы, други!.. – махнул кнут ямщика по всем трем конским спинам.

Тройка унеслась. Ледоколов не успел выстрелить. Оно не успел потому… потому что… спусковой крючок как-то особенно туго спускался, вероятно, был плохо смазан, или… вообще что-то случилось с оружием.

– Да, положительно тебе надо уехать куда-нибудь отсюда; это самое лучшее! – говорил Ледоколову на другой день один из его друзей, складывая лодочку из его предсмертного письма.

Он сидел у стола, а Ледоколов, закутанный в халат и с компрессом на лбу, лежал на диване; кот Васька переходил от одного к другому: то потрется боком около ноги друга, то поиграет кисточками хозяйского халата.

– Под влиянием свежих впечатлений все рассеется мало-помалу, пройдет хандра (из лодочки начал формироваться кораблик), ну, и все прочее…

– Да куда поехать? Я бы готов, – говорил Ледоколов слабым, болезненным голосом.

– Поезжай в Африку… Тропическое солнце, негры, истоки Нила, новые открытия…

– Для этого нужны большие средства…

– Ну, конечно… А то в Эмс валяй, в Висбаден, там рулетка, Гретхены, Минхены, Каролинхены, воды разные целительные!

Предсмертное письмо окончательно сформировалось в петуха; петух был поставлен на видном месте, лицом к портрету красавицы.

– Да, действительно, дальше отсюда, – Ледоколов приподнялся на локоть, – тут невыносимо, тут каждый предмет так живо напоминает мне о ней… Слухи доходят; вон вчера еще письмо анонимное получил, – нашлись непрошеные агенты!

– Свиньи… – пробормотал друг, – и кто бы это мог быть? Ты по почерку не узнал?

– Вот портрет этот… каждый раз, как я взгляну на него…

– А вот мы его уберем…

Друг начал завертывать портрет в газетную бумагу.

– Конечно, я убежден, что время возьмет свое, оно излечит…

– А у тебя нет еще… там этих медальонов, групп, отдельных карточек?..

– Много есть!

– То-то, я помню; вы ведь частенько заходили в фотографию…

Друг принялся рыться по ящикам.

– Европа не манит меня вовсе, – продолжал Ледоколов. – Мне надоели люди, мне…

– «Мне душно здесь, я в лес хочу…»[3] – продекламировал друг.

– Старший дворник пришел! – доложил через несколько комнат женский голос.

– Пусть войдет. Что тебе?..

– Насчет квартиры; хозяин спрашивал: так как ежели, как, значит, по условию, вперед потретно… Прикажете получить?

– Скажи хозяину, что может наклеивать на окна билет[4]. Так, что ли? – обратился друг к Ледоколову.

Тот кивнул головой.

– В отъезд изволите-с? – полюбопытствовал старший дворник.

– В отъезд!

На другой же день на всех окнах квартиры Ледоколова красовались белые четырехугольники.

– Если бы ты знал, как меня самого *туда* тянет! – говорил друг, помогая Ледоколову укладываться.

– Что же тебе мешает?

– Как что? Ну, это, как бишь его, – дела!

– Ну, какие у тебя дела?

– Всякие, а ты вот что: как приедешь, пиши, обо всем пиши: все, что как там есть, насчет жизненных удобств и все прочее. Не может же быть, в самом деле, чтобы *там* только одна баранина?[5]

Ледоколов улыбнулся.

– А я, как с делами покончу, сейчас же и сам к тебе. Это возьмешь с собой?

Друг протянул какой-то сверток.

Во всех комнатах пыль стояла густым туманом, в этом тумане копошились, покрикивали и пыхтели несколько полосатых фуфаек, надсаживаясь над каким-то комодом. Черный длиннополый сюртук купеческого покроя поверял мебель по штучке, просматривая по реестру.

– Диван-угольник, обит голубым репсом в стежку!.. – произносил он отчетливо и с некоторой внушительностью.

– Есть! – вскрикивал кто-то из другой комнаты.

Ледоколов со своим другом оставили большой чемодан, над укладкой которого хлопотали, и принялись завтракать.

– Поверишь ли, – говорил Ледоколов, разрезывая сочную, красную, как кровь, котлету, – сегодня в первый раз я чувствую что-то похожее на аппетит!

– И прекрасно. Итак, – друг налил в стакан красного вина, – скатертью дорога!

– Благодарю…

Ледоколов пожал дружескую руку и чокнулся своим стаканом.

– Дюжина стульев гнутых, два ломберных стола, шифоньер-рококо… буфет! – доносились возгласы из дальних комнат.

II. ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

Вдова генерал-майора Фридерика Казимировна Брозе и дочь ее Адель получили каждая по письму. Оба эти письма принесены были в одно время, одним почтальоном, в одной и той же сумке; оба были с адресами, написанными одним и тем же почерком, и оба конверта носили на себе следы далекой и многотрудной дороги. Видно было, что письма эти и подмокали, и высыхали не один раз; пожелтели они, кое-где расплылись побуревшие чернила, протерлись местами углы конвертов, и растрескались смятые сургучные печати.

Рыженькая горничная в веснушках, принявшая письма от почтальона, положила их на подносик и поднесла барыне, которая в эту минуту сидела в гостиной и, положив на диване обе ноги, наблюдала, насколько рельефно обрисовываются под белым кружевным пеньюаром ее пышные, округленные формы.

– Вот письма-с! – доложила горничная.

– Это отнеси к барышне в комнату! – распорядилась Фридерика Казимировна, посмотрев адресы и изобразив на своем, весьма еще красивом, хотя и сильно реставрированном лице сперва некоторое удивление, потом нескрываемую радость.

Она распечатала торопливо конверт и перешла на кресло, поближе к окну, так как было уже около трех часов и в комнате начинало темнеть, особенно благодаря жардиньеркам и массивным драпировкам на окнах.

– Ну, можешь и отправляться! – отнеслась вдова к горничной, все чего-то дожидавшейся, и принялась читать.

– Я так и ожидала, я так и ожидала, – произносила она по временам и снова погружалась в чтение. – Да, это было видно по всему, по всем-м-му, – протянула она, перевертывая страницу. – Как неразборчиво… Что это? Гм! Однако в такую даль, в такую глушь!..

Еще раз перечитала Фридерика Казимировна письмо, положила его в карман, подняла конверт, разорванный надвое, спрятала его и подошла к зеркалу. Долго присматривалась она к какому-то прыщику над бровью, повернулась потом, посмотрела назад через плечо, грациозно передернула лопатками, вздохнула глубоко-глубоко, позвонила и велела зажигать лампы.

– Благодарю вас за прогулку со мной! – говорила красивая, стройная брюнетка, раскланиваясь у подъезда дома с молодым человеком в соболях, стоявшим перед ней с приподнятым цилиндром.

– Мне было так приятно… Маменьке прошу передать мой поклон!

– Merci, до свиданья!

Девушка побежала вверх по лестнице, а молодой человек посмотрел направо, посмотрел налево и стал осторожно переходить улицу.

Адель была действительно очень красивая девушка, особенно в эту минуту, когда мороз так усердно подрумянил ее щечки. Черная бархатная кофточка с меховой опушкой и хвостиками и кокетливо приподнятое платьице так кокетливо обрисовывали ее молодую фигурку, она так грациозно перепрыгивала со ступеньки на ступеньку, засунув ручки в муфту, изображавшую какого-то зверька, так симпатично, весело напевала при этом, что старик швейцар, наблюдавший за ней снизу, крякнул, обошелся без помощи платка и произнес:

– Ну, коза-барышня!

«Молодой друг мой, Адель Богдановна, – читала девушка, запершись у себя в комнате. – Надеюсь, вы простите старику эту маленькую фамильярность; положим, что, хотя я и не совсем еще старик, но… да, впрочем, это вовсе нейдет к делу.

Захотелось мне шибко побеседовать с вами письменно, рассчитывая, что если у вас и не хватало терпения поговорить со мной хоть полчаса лично, то, может быть, вы будете снисходительнее к моему письмецу и дочитаете его до конца.

Вот уже полгода, как я расстался с вами. Я теперь поселился в совершенно новом краю, при самой оригинальной и новой обстановке, и успел уже настолько приглядеться и привыкнуть к моему новому положению, что решился даже поселиться здесь надолго, если не навсегда. Одно только, с чем я не в состоянии примириться, это невозможность видеть моего молодого, хорошенького друга… Ну, ну, не сердитесь, я уже вижу, как вы надули ваши розовые губки и собираетесь рвать на клочки мое бедное послание… Ну, больше не буду; на меня грех сердиться; я такой добрый и постараюсь доказать это сейчас же на деле.

Говорили вы мне как-то, что хотите жить независимо, своим трудом, хотите работать, да только в одном находили затруднение, а именно: куда вы ни обращались, вам нигде не давали никакой работы, а если и давали, то с таким ничтожным вознаграждением, что не стоило и ручек ваших марать, как вы выражались сами, помните, в клубе, когда вы весь вечер бегали от меня, и только за ужином удалось мне поболтать с вами, и то благодаря посредничеству вашей уважаемой мамаши. Ну-с, так вот, видите ли, теперь я вам нашел работу. Извольте слушать и соображать внимательнее. Здесь очень нуждаются в гувернантках, и я вам подыщу такое местечко, что чудо. Что, вот вы опять лобик наморщили, думаете, что за невидаль в гувернантки, какие-нибудь пятьсот-шестьсот рублей в год, а вам ведь надо много, очень много

надо, я знаю, – нет, найдем такое местечко, что хоть пять, хоть шесть тысяч, а не сотен, преподнесут вам за ваши труды, – довольно-с или мало? А то можно и больше, вы только не церемоньтесь, говорите прямо.

Но такие выгодные места находятся только здесь, и потому вам надо собираться в дорогу. Что, испугались? Шутка ли: пять тысяч верст, киргизы, тигры, тарантулы, разбойники… Не бойтесь, – довезут вас бережно и сохранно, как царицу сказочную. Об этих подробностях я уже писал вашей маменьке, и вам надо во всем на нее положиться.

Приедете к нам, остановитесь пока прямо у меня, на всем готовом; лошадки к вашим услугам и верховые, и всякие; ведь вы, я знаю, любите кататься; комната ваша вся в цветочках, персики и виноград прямо в окошечки сами лезут; фонтан, купальни в самом восточном вкусе, и будете вы купаться и нежиться.

А я буду вас нежить да холить, и будете вы кататься, как сыр в масле, а то и лучше.

Делишки ваши, я знаю, теперь совсем плоховаты, да это, впрочем, вам подробно расскажет сама Фридерика Казимировна, я же только предупрежу вас, что, кроме долгов, и довольно крупных, у вас с маменькой ничего нет, а этого очень и очень мало, особенно для вас, моя пичужечка, – виноват, тысячу раз виноват; что же делать, – прямо от сердца идет. Захотите вы, например, покататься в коляске по Невскому, а у вас и гривенника нет на простого извозчика; захотите куда-нибудь потанцевать поехать – хвать! Ни платьица, ни веера, ни перчаточек, – эх, совсем скверно; да что, кушать захотите, и то нету. Ну, не плачьте, не портите ваших прелестных глазок, приезжайте ко мне, и все устроится: будете вы жить, как хотели, своим трудом, и всего у вас будет вдоволь.

Пока высылаю вам по почте две тысячи на кое-какие дорожные приготовления, а там на пути встретит вас доверенный мой, хороший человек, Иван Демьяныч Катушкин, и докатит вас этот самый Катушкин с полнейшим комфортом.

С нетерпением буду ожидать вашего приезда и, стоя на крыше моего дома (у нас тут все плоские крыши, как пол, и на них палатки поставлены, цветы посажены, кустарнички, как у Семирамиды в Вавилоне, – чай, учили в институте об этом), буду день и ночь поглядывать на дорогу: не покажется ли пыль, поднятая колесами вашего экипажа?

Крепко, крепко целую ваши ручки и ножки, мамаши вашей тоже, и остаюсь беспредельно и пламенно любящий вас,

Иван Лопатин».

– Вот уж чего я никак не ожидала! – произнесла Адель, прочтя это длинное послание, и вдруг расплакалась.

Она не поняла и половины письма, не поняла то есть его настоящего значения, но инстинктивно почувствовала, что дело как-то неладно, что ей бы не следовало получать таких писем, что в этом письме есть что-то обидное, более того – оскорбительное, вызвавшее из ее глаз эти невольные слезы.

«Зачем тут так часто он о маменьке говорит? – подумала она. – Разве пойти показать ей это письмо, поговорить с ней – пусть она объяснит мне, что же это такое!»

И с этим решением Адель утерла глаза и вошла в гостиную к Фридерике Казимировне.

Маменька сидела за книгой и сделала вид, что не заметила, как вошла Адель; она даже отвернулась немного от двери, как только услышала шаги дочери.

– Мама… – начала Адель и остановилась.

– Ах, Адочка, ты уже вернулась? – удивилась и обрадовалась Фридерика Казимировна.

– Вот, мама, я письмо получила, и письмо такое странное…

Вдова бегло взглянула в глаза дочери.

«Заплаканы, – подумала она, – это ничего…»

– Письмо, от кого? – спросила она вслух.

– От Лопатина!

– Скажите! Что же это он тебе пишет? Это интересно… Покажи!

Адель протянула ей письмо.

– Он такой славный, такой добрый и честный человек, – говорила маменька как бы про себя. – Это очень мило, очень мило с его стороны: не забывать своих хороших друзей!

– Однако, мама, мы вовсе не так коротко знакомы с ним. Он был у нас всего три или четыре раза; положим, что в обществе мы встречались довольно часто…

– Ах, какой шутник, ах, какой шутник! – произнесла вслух Фридерика Казимировна, прочитывая письмо. – Ба, ба, ба, да это прелестно… гм… Как, только две тысячи на дорожные приготовления!.. Что же ты стоишь, Адочка? Садись вот тут, поближе ко мне… «Катушкин докатит!» Ха, ха, ха! Какой балагур… Ну, сказочная царица, – она взглянула на Адель нежно-нежно и даже пожала ей руку, – тебе это нравится?

– Мама, ты довольна, ты не шутишь? – удивилась Адель.

– Конечно, нет; чего же тебе еще желать лучшего? Да это просто находка, клад, особенно в такое время, когда дела наши так плохи!

– Значит, это правда, что пишет Иван Илларионович о наших делах?

– Правда, более чем правда! – вздохнула Фридерика Казимировна и поднесла к глазам платок с кружевным углом.

Задумалась Адель и замолчала; замолчала и маменька, наблюдая из-под платка за теми складочками, которые то набегали, то расплывались снова на высоком, красивом лбу задумавшейся девушки.

– Мама, да скажите мне, наконец, что это за гувернантки, которым платят по шести тысяч в год и обставляют, как сказочных цариц? Я об этом прежде никогда и не слыхала, это что-то очень странно!

– Есть такие гувернантки, есть! – решительным авторитетным тоном произнесла Фридерика Казимировна. – Особенно там, где так мало женщин… воспитательниц-женщин, – поправилась она. – Притом и другие условия: трудность путешествия, некоторые лишения… Все это оценивается…

– Это что-то подозрительно!

– Ты, наконец, начинаешь мне надоедать!

– Мама, да скажи же ты мне, о чем же хлопочет тут Лопатин, из-за чего? Ну, положим, кому нужна гувернантка, тот и пиши, и приглашай, а Лопатин?..

– По дружбе ко мне и по любви к тебе!

– По любви?

– Да!

– Мама…

– Ты разве не заметила, скажите! А я так давно, давно все заметила… Прекрасный человек, миллионер… Конечно, одна беда, что женат, но если бы, ах, если бы!..

– Так он женат?.. Я этого не знала!

– Но это такой вздор… – Фридерика Казимировна немного смутилась. – Жена его совсем умирающая, больная женщина, она живет где-то на юге в провинции, и час от часу Лопатин ждет известия о ее смерти… Они разошлись уже лет десять; это почти забытая, старая история. Разве он не говорил тебе об этом?

– Нет, мама!

– Ах, как он тебя любит! Нежно, сильно, как дочь, как… Когда он раскрыл передо мной свое сердце, я не могла удержаться от слез, я и теперь готова заплакать, как только вспомню его трогательное прощание!

Адель передернула плечами.

– Ты просто камень, просто камень! Я уже сто раз говорила тебе это. Молодая девушка, только что из института, а такое черствое сердце!

– Да ведь он не к себе же приглашает меня в гувернантки; у него нет ведь детей?

– Это все равно; может быть, он хлопочет для какого-нибудь там семейства, а сам рассчитывает только на счастье тебя видеть, быть к тебе поближе. Это очень просто!

– Просто… Нет, мама, я отсюда не поеду!

– Что?

– Я отсюда не поеду, я не хочу ехать, я не могу…

Адель приготовилась было плакать.

– А, – протянула Фридерика Казимировна. – Вот как… Ну-с, так извольте слушать!

Фридерика Казимировна встала и начала порывисто ходить по комнате.

– Сегодня утром, когда тебя не было дома, приходил сюда пристав описывать все, что только у нас есть… Еще вчера я разменяла последние десять рублей; пойми ты: последние; у нас с тобой ничего нет, ничего, кроме наших гардеробов, и на те, пойди, посмотри, – ты, верно, не успела заметить, – этот скверный пристав понаклеивал красные печати!

– А мое платье, черное, новое? Мне оно так сегодня нужно! – испуганно спросила Адель.

– Твое черное платье тоже под печатью.

– Это ужасно! Это ужасно!

– Более чем ужасно. Но этого мало. Векселя поданы ко взысканию, и меня хотят посадить в тюрьму!

– Мама, да не шути так страшно!

– Я не шучу, дитя мое!

– Что же нам делать? Что же нам делать?..

– Сегодня утром я тоже получила письмо от Лопатина; оно воскресило меня, оно так много дало мне надежд… Я его покажу тебе после, пока надо приготовляться к отъезду. Тут остается один, адвокат что ли, я не знаю, ему Иван Илларионович поручил хлопотать по моим векселям, а мы через неделю, много через две, должны выехать из Петербурга!

– Я, мама, не могу ехать!

– Да ты с ума сошла!

– Поезжай одна, если хочешь…

Адель решительно взглянула на свою мать; та принялась что-то соображать.

– Ах да, – произнесла она, – вчера был у меня Хлопушин; он встретил Жоржа…

Адель вдруг покраснела до ушей; маменька лукаво улыбнулась.

– И, представь себе, Хлопушин говорил мне, что Жорж тоже *туда* едет, и не позже, как этой же весной!

– Мама, ведь *это* очень далеко!

– Нет, не так чтобы очень…

– Мы поедем в коляске или все по железной дороге?..

– Это, дорогое дитя мое, не наша забота. У нас будет господин Катушкин, который нас отлично докатит прямо на крышу к Ивану Илларионовичу!

Фридерика Казимировна засмеялась и нежно прижала свою Адель к материнскому сердцу.

III. ГРУЗ БАРЖИ № 9, ПОД ЛИТЕРАМИ И. Л.

Был прекрасный весенний день. Все кругом смотрело как-то особенно весело и празднично. Все казалось не тем, что есть на самом деле. Все, до сих пор серое, бесцветное, однообразное, играло и пестрело, залитое яркими лучами апрельского солнца, самыми блестящими красками; даже казенные пакгаузы и склады соли, глинистый обрыв, круто спускающийся в реку, топкая грязь у пристани, через которую вели дощатые настилки для проходов, черная дорога, поднимающаяся извилиной на гору, с засевшими по ступицу тяжелыми возами, – все было такое красивое с виду, чистенькое… Серые суконные армяки, заплатанные до последней возможности, бараньи полушубки, засаленные купеческие кафтаны казались какими-то театральными костюмами. А Волга, широкая, голубая, с золотистыми песчаными отмелями, была чудно хороша!.. Золотые верхушки церквей, выглядывающие из-за обрыва, красные и зеленые крыши домов, пожарная каланча с вилообразным шестом и с десятком ворон, поместившихся на его вершине, прозрачные кружевные группы деревьев, едва только покрытых нераспустившимися почками, – все это так отчетливо, резко рисовалось на синем фоне весеннего неба, точно ловко написанная театральная декорация, освещенная и с боков, и снизу, и сверху, и сзади, и спереди…

– Оченно прекрасно! – произнес парень в одной рубахе, приноравливаясь, как бы присесть половчее на опрокинутый бочонок с выбитым донцем.

– Особливо с устатку, на вольном воздухе! – согласился другой парень. Этот совсем был без рубахи, а в какой-то синей куртке, надетой прямо на голое тело.

– Подрядчик сказывал, что ежели к ночи все перетаскаем с баржи, еще четверть на нашу артель пожертвует! – сообщил третий.

– Перетаскаем! Нешто мы лошади!

– Отчего не перетаскать, коли ежели путем взяться…

– Гляди, до свету таскали, а все не видать убыли; самый махонький уголок отобрали…

– Кому наливать… Дядя Кондратий где?

– Побежал за селедками!

– Садись, ребята, сюда на кули…

– Желаем здравствовать. Господи, благослови!

– …Как я, значит, коленкой да об угол… ну, и шабаш!

– А дядю Павла краном по лбу-то… инда загудело!..

Рабочая артель принялась завтракать.

Пароход «Соликамец» вчера вечером пришел на самарскую пристань; он привел на буксире две баржи с грузом. Едва только начало рассветать, как на палубах обеих барж собрались заранее нанятые артели для выгрузки товаров,

и началась кипучая работа. Сперва все бочки таскали какие-то, на поворотных кранах вытягивали их снизу и скатывали по наклонным подмосткам, потом за ящики принялись, а больше всего возни было с паровым котлом и еще какими-то машинами, разобранными по частям и тщательно завернутыми в рогожи.

– Ну, еще, ну, разом!.. – кричал один из десятников артели.

– Навались, ребята, навались! – вопил другой.

– Маленечко бы еще, он бы сейчас и пошел! – убеждал третий.

Но, несмотря на эти возгласы, паровик только покачивался под натиском нескольких десятков рук и никак не хотел удержаться на толстых катках, по которым ему предстояло опуститься на платформу пристани.

– Вот с этим самым дьяволом мы в Нижнем как возились: двоим ноги отдавило совсем, а у одного внутри лопнула жила с надсаду! – сообщал матрос, сидя на канатном свертке и равнодушно поглядывая на толпящихся вокруг паровика работников.

– Э, послушайте, это надо так! – подошел к пристани господин в костюме туриста, с сумочкой через плечо и с пледом, небрежно перекинутым через руку.

– Чего-с?.. – остановился один из десятников.

– Я сам немного механик и понимаю… Вы веревками опутайте так, потом перетяните эдак и потом тащите сюда!

– Ребята, слышь, немец сказывает: путай так, тяни эдак, а опосля вытягивай сюда…

– Ну, его к дьяволу!

– Это немца-то?

– А ну-ка вдруг…

Эх, дубинушка, ухни,
Эх, зеленая сама пойдет, сама пойдет. Ух!

– Стой!

– То есть ни Боже мой, ни на полпальца!

– Взопрели страсть, ребята, шабаш! Гляди, меркуловские водку лопают!

– Ты вот гляди, какие такие слова?

– Где?

– Вот на боку, красной краской обозначены!

Рабочие принялись рассматривать значки и буквы, начерченные бойкими мазками на паровике и на тюках с машинами.

– Одно слово будет тебе «иже», – прочел отставной солдат, водя пальцем, – другое, значит, «люди»!

– Клеймо! – сообщил матрос.

– Иже и люди! – в раздумье повторял солдат.

– И на всяком-то тюку это клеймо обозначено! – произнес один из работников, надевая в рукава какую-то синюю ветошь.

– Позвольте-ка, друг любезный, мне пройти, посторонись, голубчик, землячок, подайся маленько вправо… ну-ка, ты!.. – пробирался сквозь толпу пожилой человек, одетый, как ходят средней руки торговцы из казанских татар.

– Вчерашнего числа прибыть изволили?.. – обратился он к матросу.

– Чего-с? – отозвался тот.

– Пароход «Соликамец» прибыл вчерашнего числа? – повторил вопрос пожилой человек.

– Вчера вечером…

– Так, а ежели… Да позвольте спросить, вы при барже-с состояли или где в другом месте?

– При барже № 9. Вот при этой самой!

– Желательно бы мне знать было… Вот я вижу, тут машины идут, опять и другой товар – все одной фирмы; и так как фирма эта мне доподлинно известна, то позвольте спросить, кто при машинах и прочем приставлен был и где мне их можно видеть?

– А я почем знаю…

Матрос сплюнул, переменил позу, надавил пальцем табак в своей трубочке и отвернулся.

– Как же вам не знать, столько дней вместе шли, верно, видели-с?

– Мое дело особенное, мне что!

– Совсем я не такой человек, чтоб не знать своего дела, и ежели вам можно отлучиться на полчасика, то мы бы…

– Давай просто двугривенный, я ужо вечером сам забегу!

– И самое лучшее, на-ка, братец, да говори проворней, мне отыскать его нужно – дело есть!

– Вот ежели палубу вымыть, опять когда на якорь становимся, воду выкачивать, а до всего прочего… В синей чуйке[1] немецкого покроя, надо полагать, не из русских, однако говорит понятно, Богдан Карлычем кликали, с капитанским помощником вон по той дороге на гору пошли; когда будут назад, ничего не сказали!

– Гм… – произнес любопытный господин в татарском бешмете и принялся рассматривать клейма.

Эти клейма и его заняли так же, как и рабочих, но только те посмотрели, пальцами потрогали, узнали от солдата, что эти слова означают, и пошли завтракать, а он долго и внимательно осмотрел все тюки, на которых только краснели буквы И. и Л., обратил внимание на количество пудов, выставленное на паровике и машинных частях, вынул записную книжечку и карандашом что-то наметил, еще раз обошел вокруг паровика, кивнул головой

матросу, поглядывавшему на него искоса, и медленно, степенно стал переходить по доскам с палубы баржи на пристань.

А на мостике парохода «Соликамец», сидя верхом на складном стуле и положив на колени газету, которую только что читал так усердно, капитан с английской рыжей бородкой, в куцем пиджаке и ботфортах, наблюдал в бинокль белую струю дыма, чуть поднимавшуюся над горизонтом.

– «Самолетский»! – произнес другой господин, поднимаясь на мостик и тоже присматриваясь вдаль.

– «Царевич», идет ходко, однако по расчету опоздает на два с половиной! – произнес капитан.

– Как даль обманывает глаз, ведь вот, кажется, и близко, а поди ж ты!

– Оптический обман!

– Я думаю, в открытом море… Вы там плавали, капитан?

– Нет, я из речных.

Чуть слышно донесся по ветру гул парового свистка. На пассажирской пристани поднялась суматоха. Десятка два извозчичьих дрожек, так называемых долгушек, которые только и можно встретить в степных местах и в поволжских городах, разбрызгивая колесами дорожную грязь, во весь карьер катили с горы, обгоняя друг друга и стараясь занять места поближе к пристани.

Над самым обрывом, обнесенный тесовым желтым забором, стоял одноэтажный старый дом с покосившимся мезонином; над всеми окнами этого дома тянулась надпись, по красному фону белыми буквами: «Трактир златокрылого лебедя», а на фронтоне мезонина изображен был и самый лебедь, кольцом перегнувший длинную, тонкую шею. В первой комнате этого трактира, в так называемой «общей», все столы были заняты рабочими, матросами и всяким сереньким людом; в чистой же половине, у самых окошек, сидели только две группы: одна, состоящая из четырех татар-купцов в лисьих бешметах и шитых золотом шапочках, другая – из двух только собеседников: капитанского помощника с парохода «Соликамец» и другого господина, весьма близко подходящего к описанию матроса на барже № 9. Татары, все в поту, расстегнувши широкие вороты шелковых рубах, засучив длинные рукава бешметов, пили чай, доканчивая шестой чайник солидной вместимости; те же двое дожидались селянки из живых стерлядей, а пока пили английскую померанцевую, закусывая солеными грибами.

– И отсюда сухим путем! – произнес господин, описанный матросом с баржи № 9.

– Далеко, – ух, далеко! – вздохнул капитанский помощник.

– Очень далеко! – согласился его собеседник.

Действительно, иностранный акцент ясно слышался в говоре этого господина, хотя видно было также, что он хорошо усвоил себе русский язык и даже знаком был с некоторыми особенностями народной речи.

– Я полагаю, что везти этакую тяжесть на колесах чуть не четыре тысячи верст придется не менее года?

– По нашим расчетам, в укрепление «Уральское» транспорт прибудет около половины июля, а там…

– Ты, родной, пожалуй-ка мне сюда порцию ветчины с хренком и полынной графинчик; вот к этому столику!

В комнату вошел новый посетитель, в гороховом пальто, в картузе с наушниками, с дорожным мешком в руках и с большим дождевым зонтиком. Господин этот, не обращая никакого внимания на своих соседей, уселся за столик, поставил около себя мешок, отдал трактирному мальчику зонтик с картузом и, потирая руки, крякнул в ожидании ветчины с хренком.

– Слышь, Павлуха, – шепнул один из рабочих другому, когда господин этот проходил через общую комнату, – чтобы мне с этого места не встать, если я его не видал нонче у нас на барже!

– Может, и он; нам што…

– Нет, только чудно, что с рожи как есть он, одежа не та!

– Да тебе-то што?

– А мне наплевать! Кипяточку бы… парень!

– Огурцов соленых кто требовал? – звонко кричал мальчишка в красной рубашке, помахивая над головой тарелкой с огурцами.

– Ну, а из «Уральскаго»? – спрашивал капитанский помощник.

– Там уже подряжены киргизы везти до Казалы на верблюдах; а там по Сырдарье на пароходе. В первых числах сентября должны быть на месте!

– Должно быть, богатый человек этот господин Лопатин?

– Не знаю, я с ним незнаком вовсе, нанят я по переписке, через наше агентство, должен доставить машины, установить их на месте, а затем, ежели не захочу оставаться у него на службе, обратный проезд мне гарантирован. Деньги, впрочем, господин Лопатин пока платит очень хорошо!

– Извините, если я позволю вас перебить…

Господин в гороховом пальто пододвинул свой стул поближе.

– Так как я сам оттуда, и мне господин Лопатин весьма известен…

– Вы из Ташкента?

– Так точно… Позвольте представиться: Сладков, Филипп Петрович!

– Эдуард Симсон! – приподнялся со стула господин с иностранным акцентом.

– Весьма любопытная сторона! – произнес капитанский помощник.

– Еще бы-с! – с некоторым умилением произнес Сладков Филипп Петрович.

– Так вы господина Лопатина хорошо знаете? – спросил Эдуард Симсон.

– Господи Боже мой! Да вы спросите, кто из тамошних его не знает? Мальчишка какой-нибудь, сартенок[2], от земли не видать, а спросите его: где живет

Иван Илларионович? Сейчас, бестия, вас за полу и к самим воротам ихнего дома предоставит. Человек оборотистый, торговый, деловой человек, голова!

– С капиталом? – полюбопытствовал капитанский помощник.

– Сила, а со временем миллионами будет ворочать!

Сладков совсем пододвинулся к столу и даже перенес с собой тарелку с ветчиной. Трактирный мальчик переставил полынную по соседству с английской померанцевой.

– Ну, да и край же, я вам доложу, золотой край для всяких торговых предприятий; то есть за что ни возьмись и ежели при этом еще деньги – ффа! Все это внове, нетронутое, запускай руки по самые локти, греби знай… ну, да вот вы сами увидите…

– Меня, признаться, это все очень интересует!

– Ну, понятно. Тут вам навстречу еще выслан от Ивана Илларионовича Катушкин, не видались еще?

– А вы знаете и господина Катушкина?

– Ивана Демьяныча-то? Ха, ха… Еще бы, – друзья, водой не разольешь. Бывало, вместе…

– Вот не едет что-то. Должен был еще вчера быть в Самаре, – нет; что-нибудь задержало, видно, в дороге!

– Ничего-с, это случается; настоящих почтовых трактов нет пока, то есть они и есть, но, знаете, еще в таком сыром виде.

– А этот Катушкин с транспортом тоже пойдет через степи?

– Не знаю, наем киргизов в «Уральском» и расчет с казаками, что взяли доставку до «Уральского», поручены ему!

– Так-с, человек бывалый, он все это знает!

– Прикажете? – Эдуард Симсон поднес Сладкову портсигар из желтой кожи.

– Сигарочку-с? Позвольте-с. Много-с у вас грузу, много-с!

– Да, порядочно, особенно этот паровик. На пристанях у вас все как-то не приспособлено!

– Ну, а эти вот, что в рогожах… досками обделаны?

– Это новая машина для размотки шелка, тоже с паровым приводом; очень полезное применение!

– До всего доходит человек! – еще раз умилился Филипп Петрович. – Ящики вот опять у вас, штук двести будет; ну те не так чтоб тяжелы!

– Это товары: галантерейный и ткани – не по моей части, при них особо есть приказчик!

– В одном караване пойдете или порознь?

– В одном, если паровик не очень затруднять будет!

– И прекрасно сделаете, верьте моей опытности: исходил я эту степь вдоль и поперек, знаю я ее все одно вот как свои ладони! – Сладков вытянул обе руки

ладонями кверху. – Да-с, самое лучшее не разбиваться: несколькими днями позже, зато вернее!

– Впрочем, это будет зависеть от господина Катушкина!

– Еще бы: «Катушкин туда, Катушкин сюда» – доверенное лицо, первый агент у Ивана Илларионовича!

– Я слышал, – начал капитанский помощник, – что у вас в степи не совсем покойно нынче?

– Пустяки-с, «косоглазые» пошаливают, однако все это при должных мерах – одни пустые страхи!

– Но однако? – вставил Эдуард Симсон.

– Мне ли не знать… Весьма-с, весьма-с приятно познакомиться; позвольте для такого случая бутылочку «тенерифцу»[3], а то шипучего. Эй, мальчик!

– Кроме водки и пива ничего…

– И прекрасно… Любезный, портеру лекоковского[4] четыре бутылки! – скомандовал Филипп Петрович.

Капитанский помощник вытер усы салфеткой, Эдуард Симсон слегка пожал плечами. Мальчишка в красной рубашке, заложив между ног бутылку, неистовствовал ломаным штопором над осмоленной пробкой.

– Здравия желаем-с… Извините, господа, ежели я теперь немного выпивши! – На пороге показался тот самый матрос, что сидел на канатах баржи № 9.

– Ну, ступай, ступай! – вцепился в него трактирный мальчишка. – Сюда нельзя!

– Нет, ты оставь, потому я говорю с барином, с господином то есть. Так как…

Матрос сильно качнулся в сторону, где сидел Сладков.

– Лево на борт! – кричал из соседней комнаты товарищ его, тоже матрос с «Соликамца».

– Потрафлю! – огрызнулся первый. – Ежели я, сударь, был супротив вашей милости свиньей, то потому больше, что по одежде…

– Ну, однако, ступай, любезный, тебе здесь не место!

– А вот я его, подлеца!

Капитанский помощник, сжав кулаки, поднялся со стула.

– Виноват, я, значит, больше… я уйду, – смутился матрос: он только сейчас заметил присутствие начальства.

– Ваше здоровье! – провозгласил Филипп Петрович, поспешив замять неприятную сцену.

Все трое слегка чокнулись стаканами.

IV. ОБИТАТЕЛЬНИЦЫ 26 НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ ПОД ФИРМОЙ «ОТЕЛЬ ЕВРОПА»

Большой двухэтажный дом, с надписью под самой крышей «Отель Европа», заметнее всего красовался на городской площади, бросаясь в глаза своей светло-желтой массой. Дом этот смотрел на площадь сорока шестью окнами, и в каждом почти окне поминутно показывались и исчезали столько же, если не больше, самых разнообразных лиц, населявших «номера отеля».

Да, это было хорошее время для мещанина Антошкина, хозяина «Отеля Европа»; давно он не помнит такого времени. Прежде, бывало, по целым неделям, даже месяцам пустуют заново отделанные номера, ключи успеют приржаветь к замкам, пыль накопится вершковая на клеенчатой мебели, пауки заплетут все углы, протянут нити от зеркала к камину, от камина через канделябр на ширмы, с ширм на шляпу алебастрового рыцаря на угольной тумбе, оттуда опять куда-нибудь в темный угол, а теперь…

– Ну, времена… – вздыхает сам хозяин, мещанин Антошкин, сидя у ворот на крашеной лавочке; не грустно вздыхает, а этак полной грудью, с некоторым довольством, так вздыхают после очень сытного обеда, как бы сожалея, что уже больше «некуда». – Да-с, ну, времена, что делать, и рад бы, да все, все то есть занято до последней конуры; ну, и не взыщите!..

И, прищурив глаза от ярких лучей весеннего солнышка, смотрит он вслед отъезжающему, тяжелому, как верблюд навьюченному, тарантасу казанской работы, увозящему какого-нибудь самарского землевладельца, приехавшего в город по тяжебному делу.

– Наплыв? – произносит господин в военной шинели, показываясь на крыльце.

– Так точно-с! – приподнимает картузик мещанин Антошкин.

– Да, много наехало, – говорит военная шинель. – Вот я вчера прямо с парохода в «Милан» – занято, в «Москву» – битком набито, в «Арзамас» к Малинину – тоже; фу-ты, думаю, положение; приезжаю сюда – только-только один свободный…

– Минуточку опоздали бы и того не нашли бы. Генерал спрашивал с парохода «Царевич»…

– Извозчик!

Несколько долгушек[1] и две пролетки подлетают к подъезду.

– Куда бы?! Вези по городу! – произносит военная шинель и садится верхом на ближайшие дрожки.

– Обозревать едете-с? – раскланивается мещанин Антошкин.

– Да, посмотреть поехать: как, что тут у вас!

– Номерок не дороже двух с полтиной, – подходит матрос с парохода. – Барыня просила приказать…

– А этого хочешь?

Мещанин Антошкин придает своему протянутому кулаку несколько оскорбительно-игривую форму.

– Что так? – удивляется матрос.

– Занято! – коротко отвечает хозяин и даже отворачивается.

На лестнице, уставленной чахлыми растениями, по коридорам, устланным полосатыми ковриками, во всех номерах, двери которых большей частью были растворены то до половины, то совсем уже настежь, царствовали самые разнообразные шум и движение. Только дверь с цифрой «26» была заперта изнутри, и там было так тихо, что можно было подумать, что или спят по целым дням обитатели номера «26», или же там совсем нет никаких обитателей.

Номер этот был занят по письменному уведомлению и долго стоял пустым в ожидании приезда нанявших. Дня четыре тому назад приехали две дамы, показали в конторе какую-то карточку, и их провели в этот номер, который был самый парадный и комфортабельный во всей гостинице. За номер этот было заплачено столько, сколько запросил мещанин Антошкин, а запросил он так, не руководствуясь никакими соображениями, по наитию свыше, должно быть, и потом весьма жалел, что запросил мало.

Несколько раз в день в 26-й номер приносились подносы с чаем, завтраком, обедом, ужином; судя по пустой посуде, выносимой обратно, видно было, что дамы обладали здоровыми желудками и очень хорошим аппетитом. Багаж обеих путешественниц был уважительных размеров, и все, начиная от массивных венских сундуков, оклеенных суровым полотном, до самых миниатюрных несессеров с ногтевым и туалетным приборами, было крайне изящно и ценно.

Дамы эти были очень чистоплотны, потому что умывались по нескольку раз в день, и нарочно приставленная к их номеру горничная то и дело приносила в кувшинах свежую воду и выносила обратно все, что оказывалось лишним.

Дамы эти были крайне нелюбопытны, потому что решительно не хотели высунуть носа из своего номера, не подходили слишком близко к окнам; и когда отворялась дверь, чтобы пропустить человека с подносом или горничную, то случайно мимопроходящие (а их каждый раз было по нескольку человек разом) никак не могли видеть в комнатах ничего, кроме чего-то шелкового, светло лилового, перекинутого через спинку одного из кресел, да угла плетеных ширм, на котором висела маленькая дорожная сумочка.

А между тем в номере 26-м в антрактах между завтраками, обедами, ужинами и чаями велись следующие разговоры:

– Мама, да ведь это, наконец, ужасно скучно… – чуть не плакала хорошенькая Адель, тоскливо бродя из угла в угол и щелкая по паркету каблучками своих изящных шелковых туфель.

– Что же делать? Надо ждать! – спокойно произносила Фридерика Казимировна, сидя с ногами на диване, что было любимой ее позой.

– Эти четыре дня тянулись для меня бесконечно. Мне кажется, что это было так давно, давно, как мы оставили каюту парохода. Шутка ли – четыре дня!..

– Терпение, – это все, что я могу посоветовать!

– Я умру со скуки!

– Не умрешь!

– Ах, Боже мой, Боже мой! Этот проклятый Катушкин не едет… свинья, дурак, рябая рожа!..

– Почему ты думаешь, что у него рябая рожа; ведь ты его никогда не видала?..

– Я сама не знаю, мне так кажется…

Несколько минут молчание. Фридерика Казимировна сидит, не меняя позы, Адель ложится на кровать.

– Мама!

– Что, дитя мое?

– Разве мы не можем сами ехать дальше?..

– Нет!

– Это почему?

– Ты знаешь, что у нас нет почти ни копейки; если заплатить по тому счету, что сегодня прислал наш хозяин, то у нас… впрочем, что же я говорю, даже и половины счета мы заплатить не в состоянии!

– А если Катушкин не приедет?.. – понизив голос, спрашивает Адель и даже на локте приподнимается.

– Тогда… Ах, Ада, какие ты глупости говоришь!

– А если Катушкин не приедет?.. – настойчиво повторяет Адель.

Фридерика Казимировна, в свою очередь, начинает тоскливо пожиматься на диване.

– Не съесть ли нам чего-нибудь? – спрашивает она и протягивает руку к столовой карте.

– Нет, ты мне скажи: что, если Катушкин не приедет?

– Этого быть не может, не может, не может! Ах, да не расстраивай меня, Ада, мне и без того…

– Что?..

– Конечно, сомнения быть не может никакого. Иван Илларионович не такой человек; ну, что-нибудь задержало… вот и все. Надо ждать и ждать…

– Разве котлетку из телячьих мозгов?.. – говорит Адель.

– Позвони! – говорит Фридерика Казимировна.

– И что мы все сидим взаперти, что мы прячемся? – опять начинает волноваться Адель.

– Вероятно, так нужно!

– Странно, мы едем по приглашению Ивана Илларионовича в Ташкент, мне там предлагают место… Разве в этом есть что-нибудь предосудительное?..

– О, помилуй, что за глупости. Но вот видишь; Лопатин писал мне (ведь я показывала тебе это письмо), он писал мне, чтобы мы… как это он выразился так, очень эдак…

Фридерика Казимировна сделала какой-то округленный жест своей пухлой рукой.

– Чтобы мы «дорогой не очень кидались всем в глаза!» – напомнила Адель.

– Да, вот ты сама видишь. Я не знаю, почему это нужно Ивану Илларионовичу, но отчего же в угоду ему не соблюсти этого инкогнито… Это даже довольно интересно; знаешь, в романах это случается довольно часто: какая-нибудь герцогиня или…

– Удивительно интересно: тоска эдакая!

– Ты просто хандришь!

– Да, да, да, да… – расходилась Адель.

– Да тише же!

– Мама, пойдем вниз к общему столу!

– Что ты! Ни за что!..

– Там так весело, шумят так, разговаривают!

– Но ты забыла, что там неудобно быть дамам?

– Неправда: соседки наши обедают там, из номера напротив тоже, из нижнего этажа целое семейство, только мы одни…

– Инкогнито! – протянула Фридерика Казимировна.

– Ну, ты, мама, и сиди со своим «инкогнито», а я пойду одна…

– Адель, ты ужасно можешь напортить!

– Это еще почему?

– Ах, Адель, как я могу объяснить тебе это понятно? Ну, вот видишь ли… Да что же это, в самом деле, Катушкин не едет?

Фридерика Казимировна чуть не заплакала.

– Знаешь, мама, каждый раз, как отворяют нашу дверь, я смотрю в щелку, сквозь ширмы, и вижу всегда одного и того же господина… Он меня начинает немного занимать…

– Удивительно интересно торчать перед дверью: должно быть, делать больше нечего…

– Василий ли входит, Дуняша ли, каждый раз, чуть приотворится дверь, он уже тут!

– Шалопай какой-нибудь. Их много теперь туда едет!

– Он немного похож на Жоржа, только значительно старше!

– Ого, ты успела рассмотреть!

– Тут еще одного я заметила, блондин с длинными усами: у него четыре собаки, и он их все дрессирует в коридоре.

– Ах, этот Катушкин, эта неизвестность!..

– Терпение – это все, что я могу посоветовать! – передразнила свою мать Адель.

Василий, трактирный слуга, внес поднос с порцией мозговых котлет. Адель кинулась к ширмам и приложила глаза к щелке.

– Адель, mais finissez donc![2] – крикнула Фридерика Казимировна. – Дверь зачем оставляешь открытой? – обратилась она к Василию.

– Потому с подносом, никак невозможно; я, было, толкнул ногой…

– Мама, смотри, он опять там стоит!

Ледоколов стоял почти в самых дверях; его отлично видела Адель со своего наблюдательного поста; его успела заметить Фридерика Казимировна, выглянув из-за высокой спинки дивана; только он ничего не мог видеть, кроме угла ширм с висевшим на нем саквояжем и шелкового капота г-жи Брозе, все еще неубранного со спинки кресел.

Положение Фридерики Казимировны с дочерью было действительно несколько затруднительно. До сих пор все шло превосходно. Из Петербурга выехала она, не очень беспокоясь о состоянии своего бумажника, и вынимала оттуда столько, сколько ей нужно было в данную минуту, не справляясь, сколько там оставалось. Семейный, спокойный вагон, отдельная, прекрасная, комфортабельная каюта на пароходе, предупредительность и внимание кондукторов, капитана и пароходной прислуги; это почтительное любопытство, которое видно было в глазах всех спутников, когда ей приходилось выходить из каюты и показываться на палубе парохода, что, впрочем, делалось только ввиду крайней необходимости; наконец, то обстоятельство, что едва только пароход пристал к берегу, как явился слуга из гостиницы Антошкина сообщить, что комната для г-жи Брозе с дочерью готова, – все это сильно тешило воображение Фридерики Казимировны, и если дочь ее довольно безучастно относилась к этим явлениям, зато маменька ее строила самые фантастические планы, и в голове ее бродили, беспрерывно сменяясь, все эффектнейшие страницы прочитанных ею романов, в героинях которых она видела то себя, то свою прелестную Аду. Но вдруг как-то пришлось заглянуть в бумажник, и… Фридерика Казимировна даже похолодела вся, и в глазах у нее заплясали фарфоровые божки, спокойно стоявшие на каминной полке.

– Ада, у нас так мало денег! – тихо, с некоторым дрожанием в голосе произнесла Фридерика Казимировна.

– Ну, так что же?

– У нас почти нет вовсе денег!

Адель слегка вздохнула и ничего не отвечала, а Фридерика Казимировна поплакала немного, позвонила, спросила чего-то поесть и успокоилась.

Теперь вся надежда ее была на Катушкина, который, по последнему письму Лопатина, должен был встретить их в Самаре; а между тем вот уже четыре дня прошло, а его нет как нет. Вчера хозяин счет прислал, – вот он лежит на столике; счет этот весьма солидный; послезавтра надо ждать еще такого же. А если Катушкин еще несколько дней не приедет, – если он совсем не приедет? Разве она знает, что его задерживает? Да и существует ли еще этот Катушкин, о котором она и знала только из писем Ивана Илларионовича? Может быть, это просто миф? А если хозяин потребует денег и скажет, что он ждать не хочет и что он знать не знает никакого Катушкина… Фу!.. Опять холодный пот обдал ожиревшие формы Фридерики Казимировны, она даже есть перестала и отодвинула от себя тарелку со стерлядкой, залитой каким-то лимонным соусом с грибками, каперсами и всякой всячиной.

Когда Фридерика Казимировна показывала своей дочери письма Лопатина, она многое успела скрыть от нее, что, по ее мнению, касалось только ее одной; она, например, скрыла следующее место письма: «Зная впечатлительность Адели, мне весьма приятно было бы, если бы дорогой *случаи к развлечению* представлялись как можно реже (“случаи к развлечению” было подчеркнуто). Говорю с вами откровенно, уважаемая Фридерика Казимировна, ибо вы женщина опытная и поймете сами, в чем дело. Много теперь едет к нам всякого народа[3], и молодого, и старого; найдутся непрошеные провожатые, попутчики; дорогой знакомство сводится быстро: люди в день, много два, становятся на короткую ногу, в дружбу лезут, а там… эх! Да вы, как я уже сказал, сами понимаете… не велика мне радость будет, если Адочка приедет ко мне с занятым сердчишком, а то, пожалуй, и еще того хуже. Вы не можете представить себе, что со мной делается, сплю и во сне вижу ее, наяву в глазах представляется… Эх, кабы я связан не был!.. Катушкину приказано от меня…»

Дальше уже шло все такое, что читала и Адель, а когда Адель занималась перечитыванием дозволенных материнской цензурой мест, то Фридерика Казимировна в это время обыкновенно глубоко вздыхала и произносила с особенным чувством:

– Ах, что это за человек, что это за удивительная душа, и как красив еще, несмотря на свои лета; впрочем, что же это и за лета в самом деле: каких-нибудь… и так далее.

А в бельэтаже за общим столом собралось большое общество; Адель была права, когда говорила: «там так весело; шумят, разговаривают». Там, действительно, очень много шумели и разговаривали.

– Трезор, иси, подлец! Диана, сюда. О-го-го-го! Э, послушайте, там внизу, турните кто-нибудь Минерву, вон она, шельма, под ларь забилась: ну, иси,

ну, иси, на, на!.. – кричал, стоя на площадке лестницы, блондин с длинными усами.

– С целой псарней вояжируете… – обратился к нему весьма пожилой чиновник, только что собственноручно выбравший из садка пару живых и вертлявых стерлядок.

– Со всей семьей!

– Так-с!

– Нельзя же; *там*[4], говорят, фазанов и разной дичи столько, сколько у нас в Рязани ворон. А та-та-та! Так ее, так ее! Да берите прямо за ошейник; она не кусается!

– Породистые?

– Настоящие аристократы собачьей породы… Ну, ну, ты что! Теперь лизаться? То-то!

– Господа обижаются, что собак с тарелок кормите, а потом энти самые тарелки… – начал один из прислуживающих за столом лакеев.

– А ну их, твоих господ!..

– Тс!.. Тс!.. – послышалось в разных местах.

– Мне небольшую рюмку простой водки! – подошел к буфету мальчик в кучерской поддевке и в лакированных сапожках. У этого мальчика были необыкновенно развиты бедра, и высокая грудь волновалась и сильно вытягивалась из под красной кумачной рубашки.

– Манюся, ты это уже третью? – предупреждал кучеренка тощий зеленолицый господин в полувоенном костюме, около которого, рядом с прибором, лежал туго набитый портфель с медными оковами.

– Я маленькую! – пропищал кучеренок.

– Костюм для путешествия, особенно продолжительного, весьма удобный! – заметил сосед зеленоватого господина. – Знаете ли, из экипажа ли вылезть, в экипаж ли вскочить, опять пройти пешком прекрасно… с юбками это все не так способно!

– Если бы она была еще хорошо сложена, ну, это я понимаю, – наклоняется к уху своего супруга худенькая дама, – а то этот противный жир, фи, даже смотреть неприлично!

– Э, гм! – соглашается супруг, откашливая рыбью косточку и впиваясь глазами в этот противный жир.

– Смотри лучше себе в тарелку, тогда не будешь давиться костями! – язвительно замечает ему супруга.

А на другом конце длинного стола самое видное место занимал господин с громадными русыми бакенбардами с проседью. Он громко и энергично рассказывал, соседи внимательно слушали.

– Я туда вот уже третий раз еду, и мне эта дорога вот как известна!

Господин с бакенбардами вытянул кулак и разом распустил все пять пальцев.

– Эх, как бы приятно было иметь вас своим попутчиком! – вздохнул тот самый старичок, что справлялся о породе собак на лестнице.

– И эти все фаланги, тарантулы и скорпионы действительно очень опасны? – спрашивал сосед справа.

– Ну, да, смотря, как придется, – многозначительно произнес оратор, – как придется!

– Это неутешительно!

– Надо привыкать: меня вот раз двести кусали, ничего, обтерпелся!

– Самое ужасное, говорят, это когда придется проезжать через Кара-Кумы? – спрашивает сосед слева.

– Да, да, вот я вам расскажу. Приезжаете вы на станцию. Стой – где станция?.. Ни следа: там колеса кусок валяется, тут головешка какая-то чернеет, и лежат только одиноко на раскаленном песке, в рамке с выбитым стеклом, почтовые правила о взимании прогонов и непричинении никаких обид и увечий ямщикам и смотрителю!

– Только-то? – удивляются со всех сторон.

– Только. Ямщик, этот косоглазый дьявол, сейчас лошадей выпрягает и марш-марш в степи, только вы его и видели; и остаетесь вы одни на произвол судьбе, пескам и всем четырем ветрам, и сидите день, сидите ночь, еще день, еще ночь, там неделя за неделей, месяц за месяцем…

– Ну, что вы говорите!.. Это невероятно!

– Отчего невероятно? Понятно, кто-нибудь поопытней подъедет и выручит, а там вы и сами наберетесь ума-разума и других будете выручать в свою очередь!

– Ну, вот, видите ли, все-таки есть исход!

– А позвольте полюбопытствовать: в чем, собственно, состоит эта спасительная опытность?

– В чем?

– Да-с?

– А вот в чем-с!

Господин с бакенбардами встал, подошел к столу, где лежала его фуражка и еще что-то, взял это «что-то» и положил его на стол перед своим прибором.

– Нагайка?

– Она самая. Вот вам альфа и омега путевой премудрости!

Господин с собаками подошел к столу и стал за стулом: его очень заинтересовал рассказ опытного путешественника.

– Я делаю так, – начал рассказчик, – приезжаю на станцию или, правильнее сказать, в место, где предполагается станция, и с ямщика глаз не спускаю, сторожу его, как кот сторожит мышь, что высунула в щель свою голову. Ну-с, тот, конечно, сейчас лошадей выпрягать торопится, бестия, так что сбрую рвет зубами, а я тем временем из тарантаса вон; киргиз на лошадь, а я на него; сгреб за шиворот: стой! «Эй, тюра[5], кой!» – значит: оставь, пусти! – «Нет, врешь, не

уйдешь: лошадей!» «Ат берды»[6], каналья! «Где я лошадей возьму? – плачет мошенник: – Мои совсем пристали, дальше не пойдут, а других нет, где они – я не знаю, я с той станции, не мое дело!» А я сейчас бац! Вот этим самым инструментом! – Оратор приподнял нагайку. – Вой, вой! Я сейчас опять бац! А за воротник крепко держу; не вырвется. Благим матом визжит киргиз, на всю степь заливается, а тут сейчас и благие результаты этого концерта: из-за одного бугра лошадей ведут, из-за другого хомуты несут, колеса у вашего тарантаса снимают, салом мажут, лошадей вам запрягают, прогонов не берут, разве сами что-нибудь дадите, и с поклонами вас провожают. На следующей станции опять та же история…

– Но я не понимаю одного только, позвольте вас перебить, – обращается к рассказчику усатый блондин. – Ведь дело происходит в степи – их много?

– Много; человек десять набежит, а то и больше!

– Вы одни?

– Один!

– Не понимаю, воля ваша, не понимаю!

– А вот поймете, если испытаете. Таких трусов, как эта поганая орда, вы и во сне не видали!

– Да полно, трусость ли это?

– А то что же?

– За последствия боятся, вот что!

– Гм, за последствия… какие там последствия!.. А вот еще один случай; приезжаю я на станцию «Джалавлы» – тут сейчас перед Кара-Кумами станция такая есть. Ну-с, приезжаю я в Джалавлы…

В зал быстро входят, почти вбегают, два молодых офицера в линейных мундирах: подпоручик Душкин и поручик Милашкин.

– А я увидал! – возглашает поручик Душкин.

– Я тоже видел! – сообщает также во всеуслышание поручик Милашкин.

– Кого, кого? – послышались вопросы.

– Обитательниц двадцать шестого номера! – в один голос произнесли вбежавшие. – Они теперь обе ходят по коридору: одна по своей охоте прогуливается, а другая уговаривает ее опять уйти в комнату, – потеха!

Несколько человек быстро встали из-за стола, задвигав стульями.

– Ты постой, братец, не убирай, – обратился к слуге зеленоватый господин, подхватывая портфель под мышку. – Ты, Манюся, подожди меня здесь!

Но его Манюся уже давно выскочила в коридор, дружески кивнув головой подпоручику Душкину и толкая слегка под локоть поручика Милашкина.

– Так вот приезжаю я в Джалавлы… – говорил господин с бакенбардами. – Э, да что там такое?

Его уже никто не слушал.

– Адель, mais finissez…[7] это скандал! Посмотри, сколько их набралось… – уговаривала свою дочь Фридерика Казимировна, стоя в отворенных дверях своего номера.

Действительно, целая толпа, плотно притиснувшись друг к другу, заняла весь выход из коридора. Передние, несколько смущенные, мяли в руках захваченные со стола салфетки, задние напирали на передних. Каждый хотел, будто бы нечаянно, пройти по коридору мимо наших барынь, но маневр этот положительно не удался вследствие многочисленности маневрирующих.

– Ах, мама, да мне-то что за дело! – огрызалась Адель.

– Но это скандал! – шептала Фридерика Казимировна.

– Ай! – невольно вскрикнула Адель, обернувшись: она только что сейчас заметила сборище при входе в коридор.

– Ну, что я говорила!.. Ты забываешь, что мы не в Петербурге, где никому нет ни до кого дела! – язвительно упрекнула ее г-жа Брозе, захлопывая дверь,

– Да это звери какие-то, я даже перепугалась, – говорила Адель. – А этот, что похож на Жоржа, он живет как раз напротив, дверь в дверь. Я видела, он сидел за письменным столом и что-то писал, а когда я вышла, он подошел к двери и все время стоял на пороге!

– Какие глупости тебя занимают!

– Он мне даже поклонился слегка!

– Ах, Ада, вот видишь, до чего доводят твои шалости!

– Я ему поклонилась тоже!

– Проклятый Катушкин!

– Господин тут вас один спрашивает! – доложил коридорный Василий, входя в номер и протягивая г-же Брозе маленькую бумажку.

– Кто такой? – спросила Фридерика Казимировна, и сердце у ней екнуло.

– Господин, приезжий из степи; они там-с, в конторе, приказали записку отдать и ответ чтобы сейчас!

– Мама, это Катушкин! – произнесла Адель, пробежав записку и передавая ее матери.

– Проси! – произнесла Фридерика Казимировна, села на диван и приняла позу.

Коридорный Василий скрылся за дверью, и слышны были его торопливые шаги, когда он пробежал по коридору и начал спускаться по лестнице.

Адель встала спиной к окну и не спускала глаз с двери. И мать, и дочь сосредоточились на ожидании.

V. В ГУБЕРЛЯХ

– Какая гроза нынче ночью будет, страсть! – произнес ямщик, из местных казаков, и стал тянуть из-под себя запасной халат.

– Да, что-то подозрительно солнце садится! – заметил Ледоколов – Чу! Гром никак?!

– Ветер из Чумного ущелья рвется; вот оно и гремит по горам; завсегда так, – объяснил казак происхождение глухого грохота, доносившегося до слуха путешественников. – Эй, вы, дьяволы, пошевеливайтесь, что ли!..

Он подобрал вожжи и подхлестнул пристяжную, та наддала задом и шарахнулась вбок, нажавши на оглобли; какой-то угловатый черный камень торчал у самой дороги и встревожил подозрительного коня.

– Испужалась!.. Нам бы только до станции добраться, а там ночевать будете, потому – в эту пору никто вас Губерлями не повезет!

– Опасно, что ли?

– Косогоры, обрывы, дорога чистый камень – скользко; опять не видать ничего. Долго ли до греха!

Сильный порыв ветра, налетевший совершенно неожиданно, чуть было не сорвал шапку с головы Ледоколова; тот уже почти налету прихватил ее рукой.

– Надо верх поднять. Подержи лошадей!

Звон колокольчика и стук колес по каменистой дороге замолкли, когда ямщик остановил лошадей. Глухой, заунывный вой доносился снизу из ущелий, затянутых темно-сизым туманом. Солнце село за громадную черную тучу, медленно поднимавшуюся из-за горизонта. Ярко-красный, багровый свет пылал из-за этой тучи, и, словно раскаленные, рисовались на вечернем небе отдельно разбросанные, скалистые вершины. Дорога шла по уступам каменистых холмов, беспрестанно поднимаясь и опускаясь. Направо и налево чернели местами глубокие трещины; жалкие кустарники цеплялись кое-где по откосам.

В стороне, на высоком косогоре, наискось торчала одинокая полувысохшая сосна; вершина дерева, расщепленная громовым ударом, высоко поднималась, упираясь в самое небо своим занозистым, обуглившимся острием, и вот-вот собиралась прорвать грозно надвигавшуюся тучу.

– Видели?.. – таинственно произнес ямщик.

– Что?

– Сосну. Вон на энтой-то самой сосне в ину пору, ночью, огонь стоит на самой вершине. Словно свечка теплится…

– Ты сам видел? – спросил Ледоколов, поглядывая на оригинальное, так высоко забравшееся, изуродованное дерево.

– Нет, самому не приходилось, наши сказывали. Урядник станционный в прошлом году видал, говорил: страсть! Пылает, ровно пакел (факел), а это около словно кто в колокол бьет, таково протяжно. Подъехал ближе – ничего, все как следовает!

– Может, он пьян был?

– У березинского старшины на крестинах был, точно!

– Ну вот!

– Казначей тут, сказывают, ехал, – давно это было, еще о ту пору, как наши казаки от царицы первые льготы получали… Ну вот, ехал казначей… Эй, вы, что ли!..

– Легче под гору!

– Ничего, кони привычные. Ехал это казначей и около самого эвтого места остановился; надобность, может, какая была; хвать-похвать – сумки нету. А в сумке-то у него деньжищ казенных было… Тп-р-ру!..

– Что там?

– Развожжалась!

– Ну, нам от грозы не уйти!

– Может, поспеем. Эй, вы, потрогивай!..

Крупные капли дождя с глухим стуком забарабанили по туго натянутой коже экипажного верха. Стемнело. Тучи заволокли последние отблески вечерней зари, и только в одном месте, около резко очерченного края, сверкала одинокая звезда. Вот и она исчезла. Исчезли очертания скалистых кряжей; исчезло все, поглощенное густым мраком; и только на несколько шагов от экипажа чуть-чуть блестела мокрая от дождя кремнистая дорога.

Вдруг полнеба вспыхнуло разом… В этом красном, пожарном свете промелькнула змееобразная, голубоватая, ослепительная борозда. Громовой удар треснул, словно пушечный выстрел, у самого уха… На секунду все затихло… и глухо зарокотали по горам и ущельям громовые перекаты, то затихая, то раздаваясь с новой силой, то где-то далеко-далеко, то почти над самыми головами путешественников.

– Гляди, барин, с нами крестная сила! – наклонился с козел ямщик. – Вот *оно*, вот!..

– Что там?

– Назад гляди: *оно* самое. Да воскреснет Бог и расточатся…

Ледоколов выглянул. Он высунулся из экипажа, его обдало холодным дождем; он закрылся полой непромокаемого плаща и повторил попытку взглянуть по указанию ямщика.

Высоко, в том месте, где стояла сосна, теплилась небольшая огненная точка, и этот фосфорический, мигающий свет, казалось, находился в постоянном движении. Он прыгал по ветвям дерева, взбирался на самую верхушку и там исчезал на мгновение, и снова показывался, и снова исчезал…

– Это душа казначейская томится, – шептал ямщик. – Удавился он в ту пору, сердечный…

– Поосторожней!

Тарантас сильно качнуло. Снизу доносился шум воды и всплески; какая-то громадная черная масса загромоздила дорогу.

– Что это, станция? – спросил Ледоколов.

– Какая станция… Что за диковина?! До станции еще верст пять будет!

– Окно светится… Да это дормез[1], кажется, на боку лежит. Придержи лошадей!

Еще раз осветилось грозное небо; опять зарокотали горы. При блеске молнии ясно можно было разобрать внизу на дороге большой дормез, стоящий наклонно на трех только колесах. Внутри этого дормеза было освещено, и слышались голоса. Лошади с отстегнутыми постромками стояли около экипажа и, опустив головы, повернулись задами к ветру, жались и вздрагивали при каждом громовом ударе. Ямщика не было; он, вероятно, уехал на уносных лошадях, и намокшие веревочные уносы вместе с вальками[2] висели на конце экипажного дышла.

– Боже мой! Я готова умереть, я не выдержу более!.. – взвизгнула Фридерика Казимировна, когда молния ярко осветила экипажное окно, и жалкой, грязноватой точкой показалось в это мгновение крохотное пламя внутреннего фонаря. – Это ужасно…

Она уткнулась носом в подушку и тяжело дышала, так как в наглухо, со всех сторон закрытом экипаже было душно и невыносимо жарко.

– Мама, я отворю окна. Это невыносимо, я задыхаюсь! – говорила Адель и рванулась привести в исполнение свое намерение.

– Ада… пощади. Ты знаешь, как это опасно, – стонала маменька. – Ты отворишь, молния влетит, и все мы погибнем!

– Но мне дышать нечем… Мне дурно…

– Лучше перетерпеть…

– Это насчет молнии вы, Фридерика Казимировна, напрасно беспокоитесь, – начал Катушкин. – Вот разве дождем помочит, это точно!

Он сидел на передней лавочке, подобрав под себя ноги и боясь пошевелиться. Ему было страшно неловко, ноги у него затекли, и в коленях бегали мурашки, но он стоически выносил свое стесненное положение, боясь потревожить дам.

– Какую ужасную ночь мы должны будем провести! – стонала Фридерика Казимировна.

– Ничего-с, может, скоро ямщик подъедет! – утешал ее Катушкин.

– Иван Демьянович…

– Что прикажете-с?

– У вас есть пистолеты?

– Как же-с, мы в степь без оружия никогда не ездим, только теперь пока не требуется, они в чемодане уложены…

– А что, здесь есть бандиты?..

– Нет, бандитов не водится!

– Да ведь это горы; мы ведь в горах?

– Так точно, Губерли прозываются, отрог Уральского хребта, а там дальше пойдет…

– Мама, как хочешь, а я отворю!

Адель взялась за тесьму.

Опять вспыхнула яркая молния, опять взвизгнула на все Губерли Фридерика Казимировна. На этот раз струсила и сама Адель; она быстро отодвинулась от окна и смотрела в него широко раскрытыми, испуганными глазами.

Чье-то бледное, бородатое лицо мелькнуло за напотевшими стеклами окна. Свет молнии словно голубоватым бенгальским огнем осветил высокую фигуру в плаще, в башлыке, стоявшую у самой экипажной подножки.

– Что я видела… – шептала Адель.

– Ада, не пугай! – волновалась госпожа Брозе.

– Ямщик, ты, что ли? – громко окликнул Катушкин. – Фридерика Казимировна, позвольте, я выйду, может, помочь что нужно…

– Ах, нет, сидите, не пущу, в такую критическую минуту мы будем одни!

Рука без перчатки показалась у самого стекла и легко постучала в окно. Адель заметила блестящий перстень на одном из пальцев таинственной руки.

– Я – проезжающий. С вами случилась одна из дорожных неприятностей. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?

– Это *он*, мама, – тихо произнесла Адель, – наш самарский vis-à-vis!

– До станции недалеко, вы, вероятно, скоро доедете. Нельзя ли вам поторопить нашего ямщика? – поспешил произнести Катушкин.

– Ради Бога. Мы здесь задыхаемся! – крикнула Адель.

– Отворите окно…

– Ни за что… Ах!.. – крикнула в свою очередь Фридерика Казимировна.

Даже Ледоколов вздрогнул от страшного громового удара, прервавшего переговоры.

– Это где-нибудь близко в скалу ударило! – говорил ямщик с козел ледоколовского тарантаса.

– Мой экипаж к вашим услугам, и я довезу вас до станции, если вам угодно! – предложил Ледоколов.

– Ах, как это хорошо, маменька, дайте мне мой большой платок! – обрадовалась Адель.

– Э, гм… – замялся Иван Демьянович.

– Я не поеду ни за что, я не решусь! – говорила госпожа Брозе.

– В таком случае я поеду одна! – объявила Адель.

– Ада…

– Тяните к себе дверцу, у меня не хватает силы! – крикнула девушка Ледоколову.

– Ада… Ада…

Сильный порыв ветра обдал мелкими брызгами дождя всех пассажиров, когда Ледоколов распахнул дверцу дормеза.

– Я вас перенесу на руках!

Он протянул руки.

– Ада, Ада, дитя мое!..

– Как хорошо, как свежо!

Тарантас Ледоколова стоял шагах в трех, не более, от дормеза; на одно только мгновение почувствовала Адель, как две сильные руки подняли ее на воздух, затем она уже сидела в тарантасе, прижавшись в угол и смеясь во все горло: ей вдруг стало почему-то необыкновенно весело.

– Мама, мама, скорее! – кричала Адель.

– Пожалуйте! – протягивал вторично руки Ледоколов.

– Ни за что!

– Мама, да идите!

– Что же, Фридерика Казимировна, теперь уж все одно-с: пожалуйте! – вздохнул Катушкин и добавил как бы про себя: – Своенравная барышня!

– Ай! – ступила, было, на подножку г-жа Брозе и опять попятилась назад.

– Смелее! – ободрительно говорил Ледоколов.

– Я уж при экипаже останусь, так вы уж похлопочите там на станции, чтобы насчет колеса… станционному скажите: от Лопатина, Ивана Илларионовича, он знает! – обратился Катушкин к Ледоколову.

– Непременно. Пошел!

Через минуту звон колокольчика под дугой ледоколовской тройки чуть слышался в вое ветра и глухом шуме проливного дождя.

Иван Демьянович завернулся в шинель, вытянулся во всю длину дормеза, подсунул себе под голову подушку, под бок другую, закурил папиросу и стоически принялся ожидать результатов своего поручения.

«Гувернантка – ха, ха! Несдобровать Ивану Илларионовичу с этакой гувернанткой, да-с! – начал он свои размышления. – При таком, так сказать, оживлении нашего тракта народу едет всякого много… гм! Глаза молодые, разбегутся… услужливость эта проклятая, – ну, и шабаш! Да мне-то что? Только бы довезти да сдать…»

Он опустил стекло и выбросил окурок.

«Симсон сказывал, – продолжал думать вслух Иван Демьянович, – что за леший такой? Меня знает, Лопатина знает, всех знает. Расспрашивал, что и как, – подозрительно! Да ведь приметы какие – ничего не разберешь! Всех перебрал – подходящего нет… Что за черт, право, в самом деле? Тс! Едут никак…»

Ему послышался как будто топот конских ног по дороге; прислушался – ничего не слыхать.

Ивовый пень, подмытый дождевыми потоками, сполз со своего места, навис над обрывом и – рухнул в воду. Кони, привязанные к дышлу, шарахнулись и стали рваться; тяжелый дормез заскрипел и покачнулся.

– Тпру, вы, дьяволы! – крикнул Катушкин, высунулся из окна и посвистал успокоительным образом, как обыкновенно свистят ямщики во время водопоя. Лошади перестали биться. Катушкин начал дремать.

На просторном дворе станционного дома уже стояло несколько экипажей, задвинутых до половины под окружающие двор навесы. Подслеповатый фонарь со стеклами, заклеенными бумагой, мигал у столба, в воротах двора. Другой фонарь, поменьше, чуть-чуть освещал покосившееся крыльцо. Если свет этих двух фонарей не был достаточен для того, чтобы въехавший в отворенные ворота тарантас Ледоколова не наткнулся бы на другие экипажи, зато яркие, широкие световые полосы, направляясь из окон, тянулись через весь двор и достигали даже самой глубины навесов, где виднелись серые, вороные, рыжие, гнедые, пегие и всех прочих мастей почтовые лошади, стоявшие тесными рядами у кормовой колоды.

Окна станционного дома были отворены, и оттуда неслись самые разнообразные звуки: брякала посуда, слышались возгласы: «ну, шельма, иси, подлец, ну, иси!» – «На пе… дана… угол от трех красных!» – «Тубо, Трезор, тубо, каналья!» – «Манюся, ты уже шестую никак?» и т. п.

– Боже мой, сколько народу! – испугалась Фридерика Казимировна.

– Да, съезд большой! – говорил Ледоколов, слезая с козел.

Он сидел вместе с ямщиком, и с его непромокаемого плаща вода текла, как с крыши.

– Дальше дорога очень опасна в горах, и в такую погоду до утра никого не повезут! – сообщал он, помогая дамам поочередно выбраться из экипажа.

– Что-то делает теперь наш Иван Демьянович? – произнесла Адель, взбираясь на ступеньки крыльца. – Мама, осторожней!

– Ничего, идите смелее! – говорила сверху толстая, краснощекая бабаказачка, вышедшая в сени посветить приезжим, загораживая от ветра своей пухлой рукой сильно колеблющееся пламя сального огарка.

– Самовары доливай, Авдотья! – кричал голос из вторых сеней. – Скажи Борьке, чтобы еще две бутылки водки спросил у дьячка: проезжие требовают!

– Ах, черт меня съешь и назад не верни! – долетело из открытого окна.

– Мама… – немного струсила Адель.

– Как же мы, что же мы, здесь и так уже много! – замялась на пороге Фридерика Казимировна.

Дверь отворилась. Десятки глаз смотрели на новых приезжих. Кучеренок с сильно развитыми бедрами не донес рюмки до своих свеженьких, розовых губок да так и остановился на полдороге. Усатый блондин собирался положить кусочек колбасы на нос Трезору и держал этот кусочек двумя пальцами. Спелохватов приостановился метать и, на всякий случай, прикрыл кучку скомканных ассигнаций своей широкой ладонью; около него сидела довольно красивая блондинка с громаднейшим, почти вертикально укрепленным шиньоном, несмотря на дорожный костюм, сильно напудренным, и грызла ногти на своих пальчиках, сверкавших чуть не полудюжиной разнообразных перстеньков. За ними виднелись плечо в кителе со штаб-офицерским погоном,

спина в казачьем мундире и пара ботфортов со шпорами, принадлежащая кому-то, должно быть, лежащему на диване и, несмотря на шум, похрапывающему с носовым присвистом.

Для приезжих дам отвели следующую комнату, поменьше, отделенную от первой только тоненькой перегородкой, не доходящей даже до потолка. Г-жа Брозе и ее дочка, потупив глаза и подобрав свои шлейфы, прошмыгнули через первую комнату под перекрестными взглядами всего общества; даже Трезор, не спускавший сначала глаз с куска колбасы, и тот обратил внимание на Фридерику Казимировну, обнюхав полу ее щегольского бурнуса.

Ледоколов притворил дверь за дамами и остался в первой комнате, все проезжие оказались более или менее знакомыми ему, со всеми приходилось встречаться на пути: то на пароходе, то в Самаре, то в Оренбурге или же просто на станциях.

– Господа, мы продолжаем? – объявил Спелохватов.

– Э-э, позвольте! – протянула спина в казачьем мундире. – Это все насмарку, и это тоже, и это тоже!

– Просто дух захватываете! – произнес штаб-офицер и разобрал пальцами свои густые, черные бакенбарды.

– Что так? – спросил зеленоватый чиновник, сидевший в углу и упрекавший перед этим «Манюсю» в неумеренности.

– Барыня хороша!

– Дочка?

– Маменька то есть – фах! Шик-особа. Глазами так и работает. Вы с ними знакомы? – обратился он к Ледоколову.

– Почти нет! – отвечал тот.

– Э, да это все равно, отрекомендуйте меня, представьте… ну, пожалуйста!

– Отрекомендуйтесь сами, коли хотите. Нельзя ли чаю или чего-нибудь горячего? – спросил он казака-смотрителя.

– Сию минуту закипает. Авдотья, скоро, что ли?

– Что же вы? – говорила спина в казачьем мундире, опершись обеими руками на стол для поддержания равновесия и пытливо глядя на банкомета.

– У меня готово, – произнес тот. – Верочка, отойди подальше, дышит в самое ухо…

– Eh bien![3] – Понтер сделал нетерпеливый жест рукой. – Мечите, что же вы?

– Деньги на стол!

– Что?

– Деньги. Ваша ставка так велика. Вы хотите отыграться на одной карте…

– Что же, вы мне не верите, вы мне не верите?..

– Это мое правило!

Блондин с усами оставил в покое своих собак и подсел к столу; подошел и штаб-офицер-бакенбардист и начал рыться и пересчитывать в своем бумажнике.

– У меня денег много… Я не знаю, выдержит ли ваш банк, а денег у меня много… Миронов… Миронов, черт… скотина!

В двери стремительно ворвался молодой казак-драбант[4], по всем признакам только что проснувшийся.

– Шкатулку мою сюда… живо! Денег у меня нет, ха, ха, ха!

– Это мое правило! – пожал плечами Спелохватов.

Миронов принес шкатулку. Шкатулку отперли. У Верочки заблистали глазки, заблистали ярче, чем розетки на ее пальчиках, она даже покраснела немножко и нежно взглянула на обладателя такой ценной шкатулки.

– Мечите…

Спина в казачьем мундире была, что называется, далеко на втором взводе, и потому в ее манерах проявлялась необыкновенная размашистость и развязность, между тем как язык словно распух и с трудом ворочался во рту.

– Вы в Ташкент едете? – спросил кто-то у Ледоколова, скромно приютившегося у другого столика в стороне и разбиравшего чайный погребец.

– Вы меня спрашиваете? – он поднял голову.

К его столу подошел господин, которого он не заметил с первого раза. Вероятно, его скрывала громадная, изразцовая печь, выдвинувшаяся чуть не на середину комнаты. Это был худощавый брюнет довольно высокого роста, с длинными усами, с добрыми, веселыми глазами, несколько рябоватый, и в голосе его ясно слышался малороссийский акцент.

– Да, в Ташкент! – отвечал Ледоколов и невольно подвинулся, как бы предлагая подле себя место подошедшему.

Есть натуры, которые располагают к себе с первого взгляда. Это была одна из тех симпатичных натур, и Ледоколову вдруг очень захотелось разговориться и познакомиться покороче с малороссом.

– Скука такая, право, сидишь здесь всю ночь, – пробовал заснуть, не мог; шумят очень… Вы в первый раз едете?

– В первый!

– А я так вот уже третий. Каждый раз давал себе слово не возвращаться более, а поживешь годик в России, и опять потянет…

– Вы служить едете?

– Нет, я уже послужил довольно там, будет с меня. Так собираюсь поработать частным человеком… Я, знаете, немного горное дело маракую, так вот хочу попытать счастья!

– В самом деле? – обрадовался Ледоколов! – Так мы по специальности товарищи: я тоже горный инженер!

– Вот и прекрасно, может, вместе работать будем!

Минут через пять они совершенно сошлись и разговаривали, как самые старые знакомые, почти приятели.

Доски тонкой перегородки не совсем плотно приходились одна к другой. Фридерика Казимировиа смотрела в одну щелку, Адель в другую. Усатый блондин, пробравшись по завалинке к окну из комнаты, смотрел в стекло, хотя и сильно затаявшее изнутри, но все-таки позволявшее рассмотреть все, что происходило в комнате. Впрочем, он ничего не видел, кроме широких форм госпожи Брозе и менее широких, но не менее грациозных форм ее дочери.

– Смотрителя березинской станции видели? – спрашивал бакенбардист зеленоватого чиновника.

– Видел, это пятая станция от города, кажется?

– Уж там какая она счетом, не знаю. А глаз у него левый видели? Хорош?

– Подбит сильно!

– Моих рук работа… Приезжаю – лошадей не дает: кроме курьерских, все в разгоне… Ну, понятно, результаты известные: он получил в рыло, а я вследствие этого получил лошадей. Позвольте-с!

Он сложил вчетверо бумажку, прикрыл ее девяткой и протянул к банкомету.

– Вот этот тоже второй раз едет, – малоросс кивнул головой на Спелохватова. – Барыню его я не знаю; это он в Петербурге себе раздобыл, я с ним прежде встречался; он там пообчистил публику… С Батоговым[5], покойником, приятели были. Вы не слыхали про Батогова?

– Нет, не слыхал!

Ледоколов с любопытством наблюдал изящные манеры Спелохватова.

– Хорошо играет. Смотрите: рукава немного засучены, как у фокусников, колода словно святым духом вертится между пальцами, а пальцы-то, пальцы также играют… Музыкальные руки. Что это за барыни с вами едут?

– А, право, не могу вам сказать определительно, я их захватил по дороге, у них экипаж сломался в овраге, верст пять отсюда… Едут в Ташкент. Обстановка роскошная, по всем признакам – авантюристки!

– Хлебные персоны, коли не глупы, в убытке не останутся. Эки пальцы… эки пальцы!.. Смотрите-ка, в Петербурге случалось мне наблюдать подобные манеры в домах у Неплюйцына и Брулева, там у них собираются в ночки темные, осенние этого ремесла художники… Вот и этот барин той же школы… Ловко!..

Малоросс заметил что-то уже очень замысловатое в движении рук игрока и даже крякнул от удовольствия.

– Однако это вы бьете подряд уже пятую карту! – протянула спина в казачьем мундире.

Спелохватов пожал плечами.

– Вы имеете! – он пододвинул ставку к бакенбардисту.

– Ага, заполучил малую толику. А ну-ко уголок опять…

– Ах, черт меня съешь… опять!

– Одиннадцатую тысячу пропирает! – шептал кучеренок зеленоватому чиновнику.

– И не оставит… хоть бы его попридержать; а то что толку. Вот ты с ним с самого Бузулука возишься… и останешься с носом!

– Ведь я же тебе уже передала шестьсот!

– Гм! Шестьсот – тут большим пахнет…

– Ва-банк со всяким чертом… идет… – горячилась спина в казачьем мундире.

– Позвольте, я сочту! – остановился Спелохватов.

– Пойти поглядеть, это интересно. Пойдемте! – пригласил малоросс Ледоколова.

Приятели встали и подошли к столу.

– Ипполит Карлович… – нежно произнес кучеренок.

– Madame?.. – отозвался казак.

– На два слова…

Спина в казачьем мундире, шатаясь, подошла к кучеренку, тот стал шептать ему что-то на ухо.

– Гм!.. Буду глядеть в оба! – произнес Ипполит Карлович и вернулся к столу.

Ледоколов и его новый знакомый не спускали глаз с пальцев банкомета; Верочка незаметно толкнула его в бок. Брови Спелохватова немного сдвинулись.

Карта была весьма крупная. Целая гора бумажек лежала у банкомета под локтем, такая же гора лежала прикрытая сверху надорванной двойкой.

Медленно, с расстановкой ложились карты направо и налево.

Верочка вышла из-за стола и начала прохаживаться по комнате.

– Теперь он готов бы послать к самому сатане всех трезвых наблюдателей! – шепнул малоросс Ледоколову.

– Ай! – во все горло завизжала Верочка.

Все обернулись.

– Какой большой паук, какой страшный… – хныкала блондинка, указывая со страхом на крохотного паука, мирно притаившегося в трещине стенной штукатурки.

– Бита! – отчетливо произнес Спелохватов.

Малоросс расхохотался, махнул рукой и пошел на свое прежнее место, Ледоколов пошел за ним.

– Ах, сколько он денег потянул к себе. Ах, сколько денег! – томно шептала Фридерика Казимировна и вдруг воспылала непримиримой злобой к обладательнице напудренного шиньона.

– Кокотка какая-нибудь, – ядовито прошептала госпожа Брозе и добавила:

– Чего бы нам поесть, Адочка?

В воротах блеснул неожиданно знакомый рефлектор лопатинского дормеза. Иван Демьянович дождался-таки ямщиков с колесом и прибыл, наконец, благополучно на станцию.

Гроза понемногу стихала. На прочистившемся небе кое-где замигали звездочки, и только вдали чуть слышались в горах громовые перекаты, да на самом почти горизонте вспыхивали по временам отблески молнии.

С прибытием Катушкина все оживилось за перегородкой.

Явились разнообразные спиртовые приборы, всевозможные консервы и закуски, запахло свежезаваренным чаем, и жесткие станционные диваны покрыты были ковром и чистыми простынями, да как покрыты! Все ехидное население бесчисленных трещин старой мебели могло целую ночь безуспешно блуждать под полотном, и самый маленький клопик, будь он самых микроскопических размеров, не нашел бы себе лазейки, чтобы выбраться на поверхность и попробовать прогуляться по жирному, розовому телу Фридерики Казимировны или по стройным формам ее прелестной дочки.

Мало-помалу разошлось и остальное общество по своим экипажам. В большой комнате остались только Катушкин, Цербером расположившийся на диване, у самых дверей дамской комнаты, Ледоколов с малороссом, нашедшие себе бесконечные темы для разговора, и пара ботфорт, так и не просыпавшаяся с тех пор, как завалилась с вечера, только теперь эти ботфорты были согнуты под прямым углом, грозя всем близко проходившим своими ржавыми шпорами, и виднелись еще широко натянутые, вытертые от давнего употребления кавалерийские рейтузы и развороченные полы такого же сюртука, из кармана которого висел конец бумажного цветного платка и блестела стальная окова портсигара.

– Да, капитальные залежи, такие, что стоит над ними повозиться, – рассказывал малоросс. – А в каменном угле нужда предстоит великая, такая, что без него, пожалуй, ничего не пойдет…

– Лесов мало?

– Какие леса, все сады, не станет же сарт[6] рубить на дрова деревья, которые рассаживал поштучно, ну, валит он только те, что попорчены, их на небольшой обиход хватает… Ну, а заводская деятельность – это совсем другая статья…

– Мы с вами, кажется, уже имеем удовольствие быть знакомыми? – приподнялся Катушкин со своего дивана.

Он присмотрелся к говорившему и узнал его.

– Да-с, припоминаю. Вы у Хмурова[7] прежде служили, потом у Перловича[8], потом у… кого бишь это еще?..

– Да мало ли у кого, вот у Федорова[9], потом сам по себе пробовал; к Перловичу опять перешел, да мы не поладили… Во многих местах…

– Теперь у кого?

– У Лопатина, Ивана Илларионовича, вы еще их не изволите знать? Из новых негоциантов!

– Слыхал проездом в Самаре, потом в Оренбурге!

– Помогите, помогите! – раздался вопль за перегородкой. Это был голос госпожи Брозе. Катушкин рванулся на призыв.

– Что случилось, что?.. – спрашивал он.

Холодный, предрассветный ветер врывался в открытое окно. Фридерика Казимировна закрылась с головой под одеяло и оттуда только слышалось сперва громко, потом все тише и тише: «Помогите… ах, помогите… помогите…»

Адель приподнялась и испуганно смотрела на открытое окно; рука ее держалась за медный подсвечник, готовая к защите. В комнате было почти темно, потому что ветер затушил свечу.

– Что случилось? – спрашивал Катушкии, целомудренно отворачиваясь от полуоткрытого бюста Адели.

– Я сама не понимаю, – говорила девушка. – Окно распахнулось, кто-то ввалился, упал, опрокинул вон тот стол и опять ушел через окно. Я не понимаю, что это такое?..

– Разбойники, это разбойники… – стонала госпожа Брозе.

Катушкин сообразил кое-что. Он подошел к окну, заглянул в него, захлопнул и запер задвижки, улыбнулся и собирался уходить.

– Ну, спите спокойно, теперь к вам никто больше не ввалится, я принял меры!

– Иван Демьянович! – Фридерика Казимировна выглянула немного из-под одеяла.

– Что прикажете?

– Спите здесь с нами…

– Мама, это что за глупости?.. – произнесла Адель.

– Ада, молчи. Ну, или вот что, возьмите пистолет и ходите под окном…

– Не беспокойтесь больше, я за вашу безопасность ручаюсь. Прощенья просим-с, приятного сна-с. Ну, народ! – вздохнул Иван Демьянович, выходя опять в общую комнату.

Ледоколов и малоросс вышли на крыльцо, намереваясь тоже провести остаток ночи в экипажах.

Все тарантасы, несмотря на то, что лошади, привезшие их, спокойно и совершенно отдельно от них жевали овес у колоды, поскрипывали и покачивались; это в них возились, укладываясь на покой, их владельцы. Везде слышались шепот, вздохи, сопение и даже иногда легкое чмоканье…

У одного тарантаса, засунувши голову под экипажный фартук и привстав на подножку, виднелась спина в казачьем мундире.

– Маня… – шептала спина.

– Тс! Муж может проснуться! – чуть слышно говорил из тарантаса голос кучеренка.

– Ты придешь ко мне, не правда ли?.. Вон стоит моя коляска. Ангел мой, я буду ждать…

– Убирайся, продулся весь в пух, а туда же лезет с нежностями!

– Маня, ведь не в деньгах счастье… жизнь моя…

– Тише!

В тарантасе послышалось откашливание… Спина в казачьем мундире отскочила.

– Ты, Манюся, однако, очень не заходи! – шептал зеленоватый чиновник.

– Без тебя знаю! – отвечала его «Манюся».

Невдалеке блеснул огонек сигары. Там, закутавшись в туземный халат[10], сидел Спелохватов. Ему не спалось, и он рассчитывал что-то, то загибая, то разгибая вновь свои изящные пальцы.

– Вот, батенька, попался было, – говорил сидящий на водопойной колоде блондин с длинными усами. – Задвижку-то они не заперли, я прислонился, понажал – окно бац! – и распахнулось, а я стоял в это время на одной ноге… что-то опрокинулось у них, зазвенело сильно…

Он потер себе рукой колено и, прихрамывая немного, пошел куда-то в темный угол.

– Вот вам причина тревоги, слышали? – заметил малоросс. – Ну, прощайте пока!

Скоро все успокоились окончательно.

С солнечным восходом все уехало со станции. Дормез раньше всех выбрался на дорогу, благодаря предусмотрительности Ивана Демьяновича и его знакомству со смотрителем.

Уже на двадцатой версте обогнал его тарантасик Ледоколова, и когда ямщик свернул лошадей немного на косогор, чтобы объехать дормез, то Ледоколов заметил, как из окна дормеза весело улыбалось и кивало ему хорошенькое, молодое личико.

– Адель, ты ведешь себя непозволительно! – укоряла дочку Фридерика Казимировна.

– Только бы довезти да сдать благополучно, а там не наше дело! – бормотал Катушкин, сидя на козлах и пуская дымок из своей трубочки.

– Эй, вы, други! – покрикивал ямщик.

Бурченко – так звали малоросса – сидел рядом с Ледоколовым и приподнял свою фуражку, заметив девушку в окне дормеза.

Приятели уговорились продолжать путь дальше вместе, на половинных издержках, что оказалось весьма удобным и для того, и для другого.

Звонко гудели колокольчики; весело смотрело солнце, поднявшееся над зубчатой линией губерлинских гор; еще не просохшие после ночного ливня скалы сверкали мириадами блесток; и серебристыми нитями тянулись по дороге наполненные водой колеи.

Начинало пригревать. Свежий горный воздух так животворно действовал на нервы путешественников, возбуждая аппетит и заставляя их пристально всматриваться вдаль, в то место, где из-за густой зелени, в лощине, краснела крыша новой почтовой станции.

VI. «ЭНЕРГИЧЕСКИЕ МЕРЫ»

– Вот это, видите, вправо, кустики чуть чернеют за тем бугром, – это уже последние, и не встретите вы долго теперь ни одного путника… потому началась степь…

Бурченко, произнося эту фразу, пустил кольцом дымок из своей маленькой трубочки и задумчиво стал вглядываться в беспредельную равнину, расстилавшуюся перед глазами путешественников.

– Вон и церковь орская почти пропала из глаз; прощай, Русь! Надолго ли? – вздохнул Ледоколов, привстав в тарантасе, и оглянулся назад.

– А что загадывать? Обживетесь, придется по душе – может, и на всю жизнь останетесь, а нет – что же, вы к тому краю не пришиты, в том же тарантасике и назад приедете! – говорил спутник и стал напевать сквозь зубы какой-то характерный малороссийский напев.

Маленький, легкий, прочный, словно выкованный из литой стали тарантас казанской работы тихонько катился по мягкой степной дороге. Ямщик-киргиз, спустив совсем с плеч грязную рубаху и подставив свою темно-бронзовую, закопченную дымом и покрытую толстым слоем жирной грязи спину под жаркие лучи полуденного солнца, дремал на козлах, распустив веревочные вожжи. Лошаденки киргизские, заморенные усиленной гоньбой, чуть плелись, что называется, собачьей рысцой, обмахивая хвостами степных оводов, целыми роями налетавших на их наболевшие, покрытые ссадинами спины.

Давно миновали кое-какие поля и огороды, разведенные орскими жителями, миновали бахчу с арбузами, что на десятой версте от городка, в самой степи, засеял казак-переселенец, миновали и сторожевой шалаш его, долго еще черневший вдали, как только кому-нибудь из путешественников приходила охота взглянуть назад; и с обеих сторон дороги теперь только колыхались под легким ветром седые верхушки степного ковыля и тощие, полувысохшие стебельки какой-то травки; кое-где зеленелись отдельные небольшие пространства; там, словно вставленные кусочки зеркал, сверкали стоячие мелководные лужи. Какие-то бурые, горбатые массы медленно двигались, то опуская к самой земле, то поднимая кверху длинные, мохнатые шеи – это паслись двугорбые верблюды, принадлежащие ближайшим кочевникам. По дороге навстречу попадались киргизы, то верхом на маленьких лошадках, то на верблюдах, едущие в Орск на тамошний базар приобрести себе променом

на свой товар что-нибудь необходимое для своего несложного хозяйства. Равнодушно смотрели они на русский тарантас; Ледоколову показалось даже, что из-под густой тени бараньих малахаев сверкают далеко не ласковые взгляды[1]. Киргизы неохотно давали дорогу экипажу, хотя в степи места для разъезда было немало.

– Ишь, волками какими смотрят! – заметил Ледоколов.

– Не с чего им барашками прикидываться, – произнес Бурченко. – Вон женщины их едут. Вы еще не видали, чай, таких амазонок?

Он указал на две оригинальные фигуры в красных архалуках и в высоких белых тюрбанах, карьером пронесшиеся мимо тарантаса.

– Гм, наездницы…

– А вон кибитки стоят. Видите? Вон правее, верстах в трех, словно улья торчат!

– Вижу.

– Вот погодите, поближе их рассмотрите. Долго нам не видать теперь другого жилья, кроме этих кошемных дворцов!

Помолчали с полчасика.

– А мы ведь уже чересчур тихо едем! – начал Ледоколов.

– Да, не торопимся! – отвечал Бурченко.

– Что же, мы всю дорогу будем так тащиться?

– Надо полагать!

– Эй, ты, как тебя звать, погоняй, что ли! – Ледоколов, приподнявшись, толкнул легонько в спину дремавшего ямщика.

– Гей, гей! – сипло прикрикнул киргиз, махнул лениво рукой и опять задремал; только теперь спустился с козел на самые дроги, вероятно, во избежание повторения побудительных толчков Ледоколова.

– Оставьте, толку никакого не будет, поверьте, – говорил Бурченко, – клячи их совсем заморены. Ведь раза два в день гоняют, а станция без малого полсотни верст… Доедем как-нибудь!

Пришлось переезжать через широкую водомоину[2], на дне которой стояла сгустившаяся от летних жаров черная илистая грязь. Тихонько спустились туда лошади, завязили тарантас по самые ступицы и стали.

А по дороге навстречу ехал конный киргиз, в поводу вел он другую лошадь, тоже оседланную. Увидел он тарантас, остановился в стороне и стал равнодушно поглядывать: чем, мол, все это кончится?

Побился немного с усталыми лошадьми проснувшийся ямщик; вылезли пассажиры, даже сами приняли участие, ухватившись за какие-то веревочки, покричали, пошумели, похлестали лошадей по бокам и под брюхо… Тарантас с места не двигался.

А тем временем к киргизу, безучастному зрителю, подъехали еще человека три верховых и тоже остановились неподалеку, молча наблюдая за всем происходившим.

– Ну, что же мы будем делать? – спросил ямщика Бурченко по-киргизски.

– А ничего, видишь, не берут; устали очень и не берут! – отвечал спокойно киргиз; сплюнул, почесал спину и отошел в сторону.

– Отдохнут – возьмут! – хладнокровно произнес он в ответ на недоумевающие взгляды Ледоколова.

– Подсобите, вы, эй! – крикнул Бурченко киргизам зрителям.

Те переглянулись, усмехнулись и не трогались с места.

– Что же вы?!

– А нам что! – отвечал один из них. – Почем баранов продал, Гассан, вчера в Орске? – обратился он к товарищу, слезшему с лошади.

– Дешево. Мясники там сбились, цены настоящей не дают, а назад в степь гнать не хотелось!

– Да помогите же! Что вам трудно, что ли?

– Лошади к вашим арбам непривычны!

– Я заплачу вам, коли хотите! – вел Бурченко переговоры.

– А что дашь?

– А вот это дам!

Бурченко показал двугривенный.

– Мало!

– Два дам!

Киргиз отрицательно покачал головой.

– Ну, больше не дам.

Киргизы еще раз переглянулись и тронулись своей дорогой.

– Дайте, сколько хотят. Не сидеть же нам, в самом деле, пока отдохнут эти клячи! – обратился Ледоколов к своему товарищу.

– Погодите, я их натуру знаю! – произнес Бурченко, полез в тарантас и принял там самую спокойную позу, словно действительно намерен был хоть целые сутки провести в таком положении.

– Ну, хорошо! – неожиданно подъехал сзади вернувшийся киргиз. – Мы тебе поможем… Гайда, берись!

Два всадника заскакали с обеих сторон тарантаса, подхватили его веревочными арканами, гикнули и вынеслись на противоположный берег водомоины. Только комья грязи полетели из-под колес, и испуганные почтовые лошади еще с добрую четверть версты пронеслись вскачь, путаясь в оборвавшихся постромках.

– Ну, давай деньги! – подъехал вплотную к тарантасу один из помогавших киргиз.

Бурченко расплатился.

– Мы смотрели: будешь ты бить ямщика или не будешь?

– За что же бить-то его?

– Ваши ведь все бьют наших. Ну, так вот мы и смотрели. За то и помогли, что не бил, а стал бы бить, мы бы… – Киргиз замялся немного, пряча деньги в плоский кожаный кошелек, висевший у пояса.

– А если бы мы его стали бить?.. – спросил Бурченко.

– Ну, мы тогда бы уехали. Вылезай сам из грязи, как знаешь!

– Резонно! – заметил Бурченко и перевел весь разговор Ледоколову.

– Вот как! Вот тут и применяй к делу те нагаечные теории, что предлагал штаб-офицер с бакенбардами, помните, что тремя днями выехал раньше нашего!

– Погодите, еще не то увидите!

Кроме этого небольшого эпизода, других развлечений не предстояло более нашим путешественникам. Скучная, ровная, словно по шнуру вытянутая линия степного горизонта утомительно действовала на зрение, глаза слипались, одолевала сильная дремота, голова невольно отыскивала мягкий угол кожаной дорожной подушки.

Бурченко затянул тенором какую-то песню; ямщик оглянулся, оскалил зубы и затянул что-то свое.

Ленивое бряканье разбитого колокольчика все слабее и слабее слышалось в ушах Ледоколова, словно лошади вместе с дугой и колокольчиком уходили куда-то далеко-далеко от тарантаса… Песня Бурченко о том, как орел сидел на кургане, несколько раз прерывалась носовым свистом и даже похрапыванием и, наконец, замолкла… Тихо, спокойно покачивался тарантас на своих эластичных дрогах. Откинувшись в один угол, полураскрыв рот, спал Ледоколов, и теплый степной ветер скользил по его лицу, путая его густую бороду. Бурченко спал в другом углу, уткнувшись лицом в подушку и стиснув зубами давно уже потухшую трубочку.

– Заснули, дьяволы! – проговорил про себя ямщик, присмотревшись к обоим пассажирам, и сам поспешил свернуться клубком на козлах, привязав вожжи за какую-то скобку.

А привычные лошади шли да шли себе ровной, тихой рысцой и только немного надбавили ходу, когда завидели вдали беловатую точку почтовой землянки.

Солнце садилось, когда тарантас подъехал к станции и остановился перед входом в низенькую саклю-землянку с провалившейся крышей, из-за которой торчало колено трубы от железной печки. Повешенная на деревянных колках кошма заменяла дверь. Поломанный стол и два табурета – единственная ме-

бель «станционного дома» – были вынесены на свежий воздух и стояли у глинобитной стенки дворика, предназначенного для лошадей.

Теперь только груды перегоревшего навоза и клочья кое-какой упряжи свидетельствовали о его назначении. В углу этого дворика стояла старая желомейка[3], около нее лежал ящик повозки и приставлена была сломанная ось. Красный ощипанный петух забрался на самую верхушку желомейки и усаживался поспокойнее, вероятно рассчитывая там провести наступающую ночь.

Несколько поодаль лежала на боку совершенно потерявшая силы, загнанная лошадь, и только чуть-чуть отделила от земли свою страдальческую голову, и пошевелила ушами, когда последний раз звякнул колокольчик остановившейся тройки.

– Ге! Ге! Урумбай! – крикнул ямщик, прислушался и стал неторопливо слезать с козел.

Ответа не последовало.

– Ге! Ге! – повторился призывный крик.

– А, приехали? – очнулся Ледоколов, приподнялся и стал удивленно озираться кругом.

– Чего вскочили? Спите, еще долго придется ждать, – не без иронии произнес Бурченко. – Видите, ни одной лошади нет, да и ямщиков не видать. Должно быть, все в разгоне!

– Что же мы будем делать?

– Ждать, пока вернутся. Ночевать здесь придется. Что же, переночуем. Дело бывалое. «Субар-ма?»* – обратился Бурченко к ямщику.

– Кудук бар! ** – отвечал тот, махнув в сторону рукой.

– Что это вы? – спросил Ледоколов.

– А вот насчет чаю справки навожу. Пойди, принеси ведро воды и огонь разложи, вот тут у стенки. Чаю дам тебе за это! – говорил он ямщику.

– Чаю? – ухмыльнулся тот. – Джаксы! (хорошо). И баранков дашь?

Киргиз слово *баранков* произнес по-русски. Он пригляделся к этого рода хлебу, которым обыкновенно запасаются путешественники по степи.

– И баранков дам!

Ямщик отпряг лошадей и пустил их прямо в степь. Те отошли шагов полтораста, мимоходом обнюхали лежащую лошадь и принялись щипать сухую травку и валяться на спине, дрыгая во все стороны своими разбитыми ногами.

Через четверть часа огонь весело горел, облизывая и коптя шероховатую поверхность стенки, в которую вколочен был железный крюк, а к крюку подвешен был объемистый медный чайник, налитый мутной, несколько солоноватой на вкус водой.

---

* Вода есть?

** Колодец есть!

Быстро стемнело в степи. Последние отблески вечерней зари давно уже потухли, и со степи потянуло сыроватым холодом. Тарантас, землянка, верхушка желомейки с неподвижно, словно какой-то буроватый комок, сидящим петухом, околевающая лошадь… все исчезло, поглощенное густым мраком. Только черные силуэты наших путешественников да оригинальная фигура ямщика-киргиза, сидевшего на корточках в ожидании обещанного чая, отчетливо рисовались на ярко освещенной части стенки.

Дорожный погребец поставлен был вместо столика; хозяйничать взялся Бурченко, и в настоящую минуту он, вооруженный полотенцем, усердно перетирал стаканы и прочие принадлежности чаепития.

– Много народу вашего едет в степь нынче! – произнес киргиз и стал ощупывать рукой хитрые металлические оковки дорожного несессера.

– Это еще что за много! Вот, погоди, скоро еще больше поедут, – угрожающим тоном отвечал Бурченко.

– Вой-вой! – покачал головой ямщик. – И скоро поедут?

Он поближе придвинулся к огню и внимательно следил глазами, как Ледоколов отвинчивал пробку-стаканчик у своей оплетенной фляги.

– Скоро!

– Цс[4]… Беда! – Киргиз вздохнул. – Отчего они все такие сердитые?

– Чем?

– Известно чем! – Он почесал спину. – Дерутся больно.

– А как же вас не бить?

Бурченко засмеялся и хлопнул киргиза по плечу.

– Хе-хе, – осклабился ямщик. – Что же, это все начальники едут?

– Начальники!

– Большие?

– Нет, маленькие, большие после поедут!

– Вот беда будет!

– Это почему?

– Как почему? Вот с четвертой станции все ямщики разбежались; насилу после собрали. А ты спрашиваешь почему?

Из степи донеслись какие-то дикие завывания. Пасущиеся лошади, впрочем, нисколько не выражая беспокойства, не обращали никакого внимания на эти звуки.

– Что это, волки? – поднял голову Ледоколов и потянулся за своим ружьем.

– Нет, верблюды, – отвечал Бурченко. – Тут аул, может, где-нибудь неподалеку, а то так караванные пасутся!

– Аул близко; десять кибиток! – сказал киргиз, понявший, о чем идет речь.

Чай поспел, и Бурченко начал разливать его по стаканам. Ямщику он налил в тыквенный ковш, который тот принес из желомейки. Когда он туда ходил, то путешественникам показалось, что ямщик с кем-то тихо разговаривал.

Бурченко и Ледоколов переглянулись.

– Вы слышали?

– Может, это он сам с собой!

– Нет, другой голос. Разве там кто есть? – спросил Бурченко ямщика.

– Никого нет там, все уехали… кому там быть…

Киргиз, видимо, смущен был этим вопросом.

– А вот я погляжу!

Бурченко встал и шагнул по направлению к желомейке.

– Не надо ходить, зачем? Там больной ауру…[5] Человек совсем никуда не годится! – ухватил его за полы киргиз.

– Ну, черт с ним, коли никуда не годится!

– Может быть, помочь ему чем-нибудь можно. Со мной всякие средства есть, – заметил Ледоколов. – Зажгите-ка фонарь!

– Не надо ходить! – бормотал ямщик.

– Ладно!

Все трое пошли через дворик. Впереди Ледоколов с фонарем, за ним Бурченко, сзади всех ямщик, значительно поодаль, запрятывая на ходу что-то к себе в шаровары. Он успел воспользоваться удобным случаем и стащил целую связку баранок.

Какой-то странный шорох послышался внутри жилища, когда Ледоколов взялся за кошму, служащую вместо двери.

Вошли, подняли высоко фонарь и осветили внутренность желомейки. Мятая, грязная донельзя солома валялась на полу; тут же лежали два рваных хомута и сломанная дуга. Старый чугунный котел, весь проржавевший, стоял на треноге посредине. Никакого живого существа, кроме прыгающих по всем направлениям блох, не было в желомейке.

– Что за черт? – пожал плечами Бурченко.

– Никого нет! – удивился Ледоколов. – Но я сам слышал. Я не мог до такой степени ошибиться!

– Стой! Я видел босую ногу в этой прорехе, – говорил Бурченко. – Как только мы вошли, она прежде всего попалась мне на глаза; теперь ее нет. Он выполз под кошмой, с противоположной стороны. Тс!..

Оба замолчали и стали прислушиваться.

– Да не бойся, это добрые! – тихо говорил кому-то ямщик, не входивший в кибитку.

– Бить будут… – чуть слышно стонал другой голос. – Урумбайку бить будут!

Путешественники поспешили выйти на свежий воздух. Да и пора было: грудь сжималась от нестерпимой вони, наполнявшей все тесное помещение ульеобразного жилища.

Вся голая, с сине-багровыми полосами, тянувшимися крестообразно по плечам, спине и худым, выдающимся ребрам, с распухшим коленом, обмотанным грязными тряпками, полусидела жалкая фигура еще не старого киргиза

и пугливо глядела на русских учащенно моргающими, слезящимися глазами. Но, кроме безотчетного страха, в этом диком взгляде чудилось что-то недоброе.

Так смотрит волк, пойманный в капкан, когда к нему подходит охотник-промышленник и, поплевывая на рукавицы, стискивает рукоять топора, обухом которого намерен прикончить пойманного, лишенного возможности защищаться разбойника.

– Зачем Урумбайку бить… Урумбайку бить не надо… Его уже много-много били… – хрипло бормотал киргиз и все плотнее и плотнее жался к кибиточной кошме, словно хотел продавить ее этим движением.

– Не будут тебя бить; это не такие! – уговаривал его ямщик.

– Лошадей нет… ямщиков нет, Урумбайка ходить не может…

– Не тронем тебя, не бойся… Хочешь, чаю дадим тебе, хлеба? – ласково нагнулся к нему Бурченко. – Эк исполосовали его, сердечного!

– Но это зверство! – возмутился Ледоколов. – Я думал, что рассказы все преувеличены… Это ужасно!

– Самые обыкновенные явления; не то еще увидите. Эй, ты, бери его под мышки, тащи к огню! – распорядился Бурченко.

Ямщик подхватил избитого под мышки и поволок к огню; несчастный еще кое-как действовал левой ногой, зато правая, совершенно парализованная, беспомощно тащилась, бороздя густой слой пыли.

– Урумбайка есть хочет… Из аула никто не приходил, а туда не мог дойти, больно…

– И есть тебе дадут… Ах, ты, проклятая!

Бурченко бегом кинулся к оставленному без наблюдения бивуаку.

Какая-то тощая, облезлая собака, невесть откуда появившаяся, пробилась по самой стенке, поджав хвост между ног и боязливо оглядываясь. Несколько шагов отделяло ее от соблазнительно пахнувших путевых припасов, и только голос Бурченко заставил ее мгновенно исчезнуть в той самой темноте, из которой она так неожиданно появилась.

– Кто же это тебя бил? – расспрашивал Бурченко киргиза, когда все четверо уселись у огня.

– Проезжий вчера бил! – хрипел и захлебывался Урумбай, жадно теребя зубами поданный ему большой кусок холодного мяса.

Не прошло и десяти минут, как несчастный совсем ободрился, подполз к самому огню, с видимым наслаждением отогревал свои избитые члены и перестал вздрагивать при каждом неожиданном движении кого-нибудь из русских, что беспрестанно делал сначала.

– Вот оно, что значит пуганая ворона! – заметил Бурченко, выгребая прутиком уголек для своей трубочки.

– Рано утром вчера, – рассказывал Урумбай, – приехал большой тарантас, фонари по бокам, фонарь наверху, кругом стекла, как в комендантском доме, в Орске; я такого еще и не видал… В прошлом году вот самый большой генерал проезжал, так у того был хуже… А тяжелый какой – беда! Одной тройки мало было, а на станции было всего две тройки да вон эта… – киргиз кивнул в ту сторону, где лежала околевающая лошадь. – Ну, та уже больше не годится. В тарантасе этом две женщины и мужчина ехали и очень уж они хорошо деньги платили.

– Это лопатинская… помните? – обратился Бурченко к Ледоколову.

Тот кивнул головой.

– Ямщик, что привез их, говорил: на водку целую горсть копеек дали; считал, считал он их, да надоело, так и запрятал в шаровары, до другого раза… А тут слух был, из аулов приходили и сказали: будет курьер скоро из Орска… Как я отдам всех лошадей?! Однако отдал… всех отдал. Ну, не успели они еще совсем отъехать, смотрю, еще бежит маленький тарантас, сидит в нем такой толстый, высокий, борода черная… кричит, еще вон с того места кричит: лошадей скорей! Бить буду!.. Вылез он, глазами во все стороны ворочает; цап меня за воротник… Где я возьму лошадей, все уехали, большой тарантас тоже уехал. Никого нет кругом, только мальчик у меня был, такой баранчук маленький, – Урумбай показал на аршин от земли, – спрятался он за трубу, на крышу, и оттуда выглядывает. Я и сам хотел спрятаться, да не успел… а вырваться не могу, держит крепко. «Подожди, тюра», – говорю, а тот-то меня бац! прямо в глаз кулаком, вон подбил как! Стал я рваться, и кричать, и уже ничего не помню. Может, я его сам как-нибудь нечаянно ударил, может быть, и не трогал. Прижал он меня к самой земле, подтащил к своему тарантасу, вынул нагайку и принялся бить… бил, бил он меня… Я сперва считал, думал после жаловаться бию[6], так чтобы счет знать… Да где уж тут… говорит: покуда лошадей не приведешь, до тех пор бить не перестану. А сильный какой – десяти наших мало, чтобы с ним справиться… Кричу я баранчуку[7]: беги в аул, проси, кланяйся, может, кто даст лошадей хоть пару… Побежал мальчишка. Ну, сам знаешь, пока добежал, пока что; из степи тоже не скоро приведут, найти их сперва надо, степь-то велика. А тот-то все говорит: пока не приведут, не перестану… Привязал он меня к колесу, да и лупит; перестанет на минуту, отдохнет, табаку покурит и опять… Уж мне потом и не больно было… Ничего не помню. Как лошадей привели, как уехал проклятый медведь – ничего не помню. Очнулся я, когда темнеть уже стало. Так вот всю ночь и сегодняшний день и провалялся в желомейке. Слышу, вы приехали, страх на меня такой напал, думаю, опять бить будут, притаился я и Богу молюсь. А уж как сюда вы ко мне шли, так уж думал, что совсем мой конец пришел: добьют меня теперь уж совсем до смерти, потому теперь до завтра привести лошадей неоткуда.

А тот-то меня сильно бил – я бы еще не выдержал; немного бы ничего, а много не выдержал…

Киргиз наивно посмотрел на проезжих и еще раз повторил:

– Нет, Урумбайка больше бы не выдержал. Вот тут больно, – он взялся за левый бок. – На ноги встать не могу; спина не позволяет…

– Араку[8] хочешь? Это хорошо, помогает скоро! – предложил ему Бурченко. – Будешь пить?

– Давай арак!

Киргиз жадно, сквозь зубы, прихватив обеими руками поданную ему чарку, вытянул водку.

– Любишь?

– Арак джаксы, коп джаксы арак![9] Я поползу в аул, к утру, может, там буду, и пришлю вам лошадей!

– Я сам съезжу, – вызвался привезший путешественников киргиз. – Где уж тебе! Еще волки сгложут дорогой… На водку дашь? – обратился он к Бурченко.

– А вот приведешь лошадей – дам. Посмотрим, так ли подействуют деньги, как нагайки этого бородача!

– А ведь это тот самый, что ораторствовал тогда. Я его еще в Самаре видел, – сказал Ледоколов, – он еще все наставления дорожные читал всем вновь едущим!

– Кроме него кому же быть больше! – согласился Бурченко.

– Ну, прощай, я поеду! – сказал киргиз и пошел отыскивать своих лошадей.

Несмотря на темноту, он справился скоро. Он припал к самой земле, присмотрелся и тотчас же заметил на более светлом фоне ночного горизонта темные силуэты пасущихся кляч. Через минуту топот конских ног дал знать о том, что ямщик отправился по своему назначению.

– Ну, так как же? я полагаю, теперь спать надо. Уберем все, как следует, и завалимся в тарантас – это самое лучшее! – предложил Бурченко. – Да что это вы опять задумались? Хандрить опять начинаете? Стыдно!

– Грустно что-то стало, да и этот рассказ так на меня скверно подействовал!

– Полноте, на всякое чиханье не наздравствуетесь. Вы много еще услышите и увидите такого, да что я говорю – «такого», гораздо почище. И поверьте моей опытности, спрячьте вашу чувствительность в карман: мы едем в такую сторону, где она вовсе неуместна!

Они убрали дорожный прибор и полезли в экипаж. Повозились немного, умащиваясь, и успокоились, закурил Ледоколов сигару, а Бурченко свою носогрейку.

– Вот в прошлом году, например, – занимал своего товарища на сон грядущий словоохотливый Бурченко, – я сам видел. Барыня тут одна проезжала, и прехорошенькая, молодая еще совсем, такое нежное, юное создание, –

с мужем она ехала… Вышла она из сакли, а киргиз, скотина, и сыграй над ней какую-то шутку, гикнул, кажется, на нее из-за забора; известно, дикарь нецивилизованный, что с него взять? Так ведь что же бы вы думали? Муж держит за локти сзади киргиза-то, а жена пустой бутылкой из-под водки по зубам его дует… Зубы выбила, бутылку разбила, рожу всю стеклом изрезала… Далее смотреть было противно!

– Да чего же вы смотрели?

– А что? Что я мог один сделать? Речи им гуманные читать – не поймут, дураком еще назовут, а то, пожалуй, тоже бутылкой; с ними ведь еще человека три было – по мировым учреждениям на службу туда ехали – и посуды с собой много пустой было!

– И это цивилизаторы?[10]

– Цивилизаторы… Едут всяк по своему делу… Покойной ночи…

– Тс?.. – приподнялся Ледоколов на локте.

– Кто-то возится у нас под тарантасом! – стал прислушиваться Бурченко. – Кто там? – наклонился он, перевесившись через облучок.

Шорох усилился немного; то, что заползло под тарантас, слегка застонало.

– Это ты, Урумбай, что ли?

– Гге, Урумбай есть там, Урумбайка!

– Что ты?

– Тюра спать будут… Собака придет, нехороший человек придет. Урумбайка стеречь будет… Урумбайка не будет спать!

– Ну, вот мы и под охраной! – расхохотался Бурченко. – Итак, постараемся заснуть!

– Но этого нельзя допустить. Больной, искалеченный, почти голый, валяется в пыли под тарантасом!

– Их натуру не переделаете, это, по-ихнему, в порядке вещей. Вы напоили и накормили его, а главное – не били, за это он считает себя обязанным отблагодарить вас, чем может. Прогоните его из-под тарантаса, он отползет два шага и ляжет на дороге. А коли уж хотите что-нибудь сделать, так это вот самое лучшее…

Бурченко вытащил из-под ног ковер и сбросил его на землю.

– На вот, завернись, все теплее будет! – крикнул он Урумбайке.

Затихла возня в тарантасе, заснули, наконец, путешественники. Не затихла, не засыпала только вечно неугомонная степь… И если замолкли там дневные звуки, то теперь каждый легкий порыв ветра доносил с собой что-то неопределенное, то словно звон отдаленного колокольчика, то тихий, продолжительный свист, то слабый крик, внезапно оборвавшийся, то шелест какого-то ползущего тела, а то и такое, что и самое опытное, самое привычное ухо косоглазого степняка не разберет, что оно такое, и вздрогнет во сне полудикий конь, навострив свои надрезанные уши[11], и вскочит на ноги разоспавшийся

верблюд, и призовет на помощь покровительство пророка наивный номад, и шепотом скажет своему товарищу:

– Слышишь, это проклятый шайтан гоняет по степи свои отары (стада)!

VII. ВСАДНИК, ХОРОШО ЗНАЮЩИЙ СВОЕ ДЕЛО

Длинным серебристым столбом отражалась луна, поднявшись над горизонтом, в водах Солено-горького озера. Этот столб тянулся через всю водную поверхность, дрожал, искрился и был в нескольких местах перерезан черными отмелями. Ни кусточка, ни стебелька не виднелось на плоских, пустынных берегах; трудно было даже определить ту черту, что отделяла воду от сероватых песков, покрытых кое-где илом и солонцеватым налетом; казалось, что пески незаметно переходили в воду, – так все кругом было гладко, ровно.

Темная группа каких-то живых существ виднелась в полуверсте от озера. От этой группы по временам отделялось что-то, двигалось, опять сливалось в общую массу, да и вся-то масса, несмотря на то, что находилась на одном и том же месте, как-то странно колебалась, двигалась, и не могло быть сомнения в том, что это были живые существа, забредшие сюда, чтобы хотя сколько-нибудь оживить эту мертвую пустыню.

Это был небольшой табун диких лошадок-куланов. Эти животные любят посещать подобные солончаки и лизать серый песок, пропитанный горьковатой солью.

Несколько кобылок дремали, то стоя и опустив книзу свои немного ослиные головы, то лежа плашмя на боку и вытянув ноги, как лежат обыкновенно павшие лошади. Жеребята копошились около своих маток, вскакивали поминутно на свои тонкие, высокие ножки, прислушивались, подбрыкивали иногда, без всяких видимых причин, задом и снова примащивались к кобылам, теребя губами припухшие, обильные молоком сосцы. Десяток подростков стоял плотной кучей и тоже дремал. Не дремал только один сторожевой, косячный жеребец и, держась поодаль, зорко присматривался к окрестностям, тянул носом воздух, настораживал уши и, понемногу успокоившись, принимался потихоньку бродить вокруг косяка, обнюхивая кучки помета и отфыркиваясь.

Тихо и покойно было кругом, и робкие животные, казалось, были совершенно довольны своим положением. Вдруг жеребец вздрогнул и даже прискакнул на одном месте. Рысью пробежал он несколько шагов по направлению к воде, храпнул и замер, весь обратившись в одно, самое напряженное внимание. Даже в табуне заметно было какое-то беспокойство, и лежавшие кобылки лениво поднимались на ноги.

Из степи чуть доносился мерный, однообразный топот. Эти звуки неслись с противоположного берега Соленого озера. Широко оно в этом месте; только

в совершенно ясную погоду можно заметить желтоватую береговую полосу. Но по воде, да еще тихой ночью, доходят отчетливо и не для такого чуткого уха, каким обладает дикая лошадь.

Успокоился, было, жеребчик, но подозрительные звуки не затихали, не удалялись, а напротив, все яснее и яснее поражали слух. Чу, вот еще что-то прибавилось, будто металл звякнул о металл или кованое копыто наступило на камень.

С легким ржанием жеребец обежал вокруг своего косяка, и все куланы сбились в кучу. Вся куча шагом потянулась в степи, дальше от озера, и долго еще виднелась темная масса, постепенно уменьшаясь в своем размере и сливаясь в общей линии темного горизонта.

А между тем звуки, всполошившие чутких дикарей, теперь уже определенно достигали до слуха; нельзя было сомневаться в их происхождении. То был конский топот. Лошадей было две; обе они шли собачьей рысью, «тротом»[1]; одна ступала тяжелее, значит, она была под всадником, другая – легче, значит, ее вели в поводу. Металлическое стремя звякало по временам, может быть, оно задевало за оковку какого-нибудь оружия.

Нота какой-то заунывной песни пронеслась над озером, усталый конь фыркнул и споткнулся. Яснее и яснее слышалось все это, но только не видно было ни коней, ни всадника. Мглистое туманное отражение лунного света от серых песков скрывало путника; но вот на самом почти берегу показались темные силуэты, отразились в озере кверху ногами, исчезли, еще раз отразились на другом месте и выдвинулись из этого лунного столба, протянув от себя по степи длинные тени.

Эх, да не одна… то во поле дороженька
Пролегала…

Уныло тянул всадник и, словно в дремоте, согнулся над шеей своего коня, лениво помахивая нагайкой.

Если он и воспевал поле, по которому пролегало много дорог, то по тому полю, по которому он сам ехал, не пролегало ни одной. Всадник держал путь целиком степью, руководясь ему одному известными соображениями. Этот всадник не заблудился. Он был слишком опытен для того, чтобы заблудиться. Он хорошо знал пустыню, знал все ее капризы и особенности. Ему не надо было дорог, он сам их прокладывал везде, где только к тому не представлялось положительно непреоборимых препятствий. Довольно было только взглянуть на этого всадника, на его лошадей, на его вьюки, на то, как все это предусмотрительно, со знанием дела прилажено, чтобы узнать в нем травленого степного волка, видавшего на своем веку разные виды.

Всадник был одет в полосатый сине-серый халат туркменского покроя, в кожаные желтые шаровары, поверх халата, и на голове у него был ушастый лисий малахай с красным суконным верхом; за плечами висел одноствольный

штуцер, танеровский[2], казачий, за кушаком, подтягивающим шаровары, торчала рукоять револьвера, шнурок которого был накинут на шею, нож с утопленной (то есть входящей в ножны) костяной ручкой, и висел на ремнях кожаный кошель с патронами и другой, поменьше, с табаком и курительными принадлежностями. За седлом ловко переброшены были переметные сумки, куржумы[3], туго набитые и перехваченные поверх волосяным арканом, так что висели спокойно даже на самом быстром аллюре и не толкали в бока лошади; поверх сумок прилажен был небольшой медный котелочек и складной таган[4]. На передней луке висел теркеш[5] с чашками и кунган[6] для чаю. Все седло и вьюк плотно прикрыты были сверху полосатой, тканной из верблюжьей шерсти попоной, так что вещи и не пылились, и были предохранены от влияния непогоды; кроме того, эта же попона служила ковром во время отдыха. Вторая лошадь была тоже оседлана остролуким хивинским седлом с подушкой, и за седлом свернуто было серое байковое одеяло. На этом коне висел мордой книзу, приторoченный за все четыре ноги, молодой сайгачонок, добытый сегодня утром метким выстрелом танеровской винтовки. На эту лошадь, как на оседланную легче первой, вьючилась постоянно случайно во время пути добытая провизия. Оба коня были казачьей оренбургской породы, крепкие, выносливые, имеющие много сходства с обыкновенными киргизскими лошадьми средней орды[7], но только несколько плотнее на вид и шире в костях; они были вороной масти, оба со звездочками на лбу, с надрезанными ушами, на прямых низких бабках[8] и с длинными волнистыми хвостами, закрученными в хитрый узел по туркменскому обычаю. Трудно было рассмотреть лицо наездника, так оно было запачкано, вымазано и до половины прикрыто густой тканью малахая.

Потихоньку, медленным ходом подвигался терпеливый всадник. Он ехал так, как следует: ни тише, ни скорее; все у него было рассчитано, да и ход лошадей был так верен, что, проследив по часам хотя одну версту, можно было, наверное, с математической точностью определить час и даже минуты прибытия его на данное место.

Таким размеренным ходом путешествуют только опытные степные бродяги, и только тогда, когда имеют в виду очень продолжительное путешествие.

Всадник, по-видимому, избрал ночь для движения и день для отдыха. Это было для него очень выгодно; во-первых, ночью не жарко, и кони менее утомляются, а во-вторых, не так заметно, а это тоже входило в расчет путешественника.

Давно он уже в дороге; подобравшие животы кони похудели и перестали горячиться, втянувшись в мерную побежку. Под ремнями уздечек и подпруг белелась мыльная пена.

Русская песня смолкла. Другой мотив, более веселый, плясовой, сменил монотонные звуки «Дороженьки». Ба! Да это краковяк. Вот ясно слышны польские слова припева.

Всю ночь ехал всадник, давно он уже миновал берега Солено-горького озера. Миновал песчаные наносы, белевшиеся в стороне, пересек какую-то торную тропу… и завидел на светлой полосе утренней зари темный силуэт отдаленного кургана.

Впереди и вправо расстилалась бесконечная степь, левее виднелась волнистая линия песков Талды-Кум; всадник направлялся наискось к этим пескам, и не успело еще хорошо рассвесть, как ноги его лошадей вязли по щиколотки в сыпучем песке, прокладывая себе дорогу между барханами незначительной высоты. Всадник зорко приглядывался по сторонам и вперед, привставая на стременах, и вообще принял вид человека, что-то отыскивающего. Он уже бывал здесь и знал, что искал, только его немного смутили конские следы, еще не занесенные песком, которые раза три попались ему на его дороге.

В одном месте песок был темнее цветом, чем окружающие барханы, он был влажен и лежал плотным слоем. Это была небольшая котловина, обрамленная песчаным кольцеобразным валуном, и в центре этой котловины виднелся оригинальный родник, одно из чудес степи. Представьте себе небольшой песчаный конус, вершина которого ссечена и углублена; в этой природной чашке стоит прозрачная холодная вода, и сколько вы ни выбирайте ее оттуда, чашка будет полна. Эта волшебная, неисчерпаемая чашка, словно нарочно поставленная в глухом безводном пространстве, внушает кочевому дикарю суеверное боготворение, и чтит номад эти спасительные родники, с молитвой подходя к ним для удовлетворения своей жажды. Вода в роднике постоянно как будто кипит; это происходит оттого, что со дна ее пробивается струйка водяной жилы, а песок, окружающий родник, всасывает излишек воды и не дает ей переливаться через край; вода вследствие этого находится в постоянном движении и, несмотря на время дня, сохраняет одну и ту же, довольно низкую, температуру.

В кочевьях средней орды родники довольно часты, но здесь они составляют одно из самых редких степных явлений и, скрытые в стороне от караванных путей, между бесплодных песков, становятся секретом, которым обладают далеко не многие из окрестных кочевников. Вот к такому-то роднику приехал путешественник одвуконь и намеревался здесь провести день и дать отдохнуть своим усталым коням, пробежавшим в одну ночь около восьмидесяти верст, то есть сделавшим за один раз два больших караванных перехода.

Всадник слез с лошади и привязал ее за ногу к приколу; другую лошадь он пустил по воле (он знал, что никакой степной конь не уйдет далеко от своего товарища), а сам, расправив онемевшие немного ноги, пошел на бархан

взглянуть, нет ли чего кругом подозрительного, да, кстати, нарвать бурьяну и колючки для того, чтобы было чем развести огонь и поджарить на нем кусок жирной сайгачины.

Скоро маленький синеватый дымок тонкой струей поднялся из котловины, и весело затрещало пламя, пробегая по сухим стебелькам скудного топлива и накаливая железные ножки тагана и тонкие стенки медного чайника.

Выстояв в этом месте самую жару, путешественник опять привел в порядок свои вьюки и поехал дальше. Выбравшись из Талды-Кум, он взял направление на юго-запад. Опять степь потянулась ровная, как скатерть, и только правее синела полоса озера Челкара. Эта синяя полоса словно отделилась от горизонта и облаком висела на воздухе; в одном месте эта черта переломилась и уступом шла далее, словно отражение в составленном из двух кусков зеркале. Длинная вереница верблюдов тянулась еще выше; два, три животных рисовались отчетливо, можно было даже заметить вьюки, остальные легкими, голубоватыми тенями чуть обозначались, поднимаясь из вод озера-миража[9] и мало-помалу расползаясь в колеблющемся от зноя воздухе. Все эти отражения дрожали и волновались, особенно те, которые находились ближе к горизонту.

Проехал всадник с версту – и явление исчезло, уступив место новому: какие-то странные предметы медленно двигались, извиваясь отлогой дугой. Внимательно изучал всадник этот новый мираж и даже засмеялся от удовольствия. Он узнал большие воловьи повозки, пары рогатых оренбургских волов, верблюдов, перемешавшихся между повозок. Густой, пепельно-серый степной смерч высоким крутящимся столбом закрыл видение, покружился на одном месте и понесся к югу. Мираж исчез, словно вихрь закрутил его вместе с вырванными кустами бурьяна, двумя птицами, не смогшими вырваться из этого воздушного водоворота, и увлек его в пески, где он и рассыпался, налетев на высокие барханы.

– Они, – произнес всадник, – идут хорошо, этот проклятый казак водить умеет…

Несколько раз подносил он к глазам большой бинокль, присматривался к горизонту и снова прятал трубку в кожаный футляр, висевший через плечо на ремешке.

Несколько черных точек виднелось впереди; всадник не догонял их, а ехал навстречу, потому что эти точки быстро росли, формируясь в нечто определенное. То был верблюд и два всадника; на верблюде был всадник, и сверху сидела женщина в киргизском белом тюрбане, с открытым лицом, и погоняла длинной нагайкой усталое животное, тянувшееся на поводу, конец которого был привязан к седлу переднего всадника.

Оба всадника, по костюмам, были мирные киргизы челкарских аулов, расположенных на южном берегу этого озера.

Опытным взглядом всадник оценил встретившихся кочевников и спокойно поехал к ним навстречу, держась поближе к стороне, чтобы съехаться вместе.

– Да будет гладка дорога перед твоей лошадью! – приветствовал его передний киргиз.

– И над тобой да будет рука Аллаха!

– Спасибо; куда глаза твои смотрят?[10]

– На Малые Барсуки, к бию Кашик-ходжа… Как степь живет?

Всадник остановил своих лошадей, остановился и маленький караван.

– Народу много гуляет у святого места Аулье, у Девлет Яра нехорошие люди стоят. Коли ты не к ним, обходи дальше!

– Много?

– Лошадей сорок!

– Туркмены?

– Бузачинцы[11] с Усть-Юрта, есть курома*!

– Ну, прощайте!

– Прощай… Да, караван русский прошел вчера, перед вечером (арбинной караван[12]), да остановился!

– Что так?

– Узнал, что у Девлет-Яра нечисто; пережидает, повозки базаром поставили, волов близко пасут, стерегут в оба; на курган сторожевика поставили…

«Проклятый казак, эдак он все дело испортит», – подумал всадник и добавил громко:

– Далеко стоят?

– С пути влево, на забитых колодцах, в саксауле!

– Ну, прощайте! – повторил наш наездник; и повторил таким тоном, будто бы говорил: «Ах черт бы вас подрал с вашими вестями».

Киргизы поехали в одну сторону, всадник в другую. Раза два оглянулся последний, раза два оглянулись и те.

«Эдак не расспроси вот путем, как раз нарежешься, – думал всадник, – спасибо, народ словоохотливый».

«Что за черт, – думали киргизы, – по виду совсем из наших, а не наш», а баба, что сидела наверху, та сразу порешила: яу**, такой же, как и те, что стоят у могилы.

И снова все было гладко да ровно кругом, снова не видно было нигде ни одного живого существа, даже миражи исчезли, потому что солнце давно уже перешло за полдень, и весь колорит степи изменился из сероватого, знойного в красноватый с лиловым, туманным горизонтом.

---

* Здесь слово «курома» употреблено как общее выражение – сброд, потому и целый уезд куроминский получил свое название, что население его составилось из сбродных киргизских племен, выходцев из разных мест.

** Яу – разбойник.

VIII. ВАГЕНБУРГ[1] В САКСАУЛЕ

В стороне от караванной дороги, в редких зарослях саксаула, на небольшой возвышенности расположился оригинальный лагерь. Оренбургские воловьи повозки, длинные, на широких колесах, стояли четырехугольником, связанные попарно задними колесами; скрещенные дышла были приподняты и образовали ворота, в которые мог проехать даже всадник, пригнувшись предварительно к шее своего коня. Повозки были тяжело нагружены, и их прикрытые войлоком верхи далеко виднелись сквозь саксаульную чащу; издали казалось, что это слоны забрались в саксаул и выстроились рядами; громадный паровик, установленный на восьми нарах здоровых бычьих колес, занимал целый фас импровизированного укрепления. Человек десять погонщиков, казаков и киргиз, возились у повозок, улаживая на досуге все дорожные повреждения. В стороне, в четверти версты от лагеря, кусты саксаула трещали и колыхались, откуда по временам показывались то пегий бок, то рогатая, широколобая голова, то махал хвост, сбивающий со спины назойливого, кровожадного овода; иногда слышалось хриплое мычание, и взлетали кверху комки земли и пыль, взбитые ногой рассердившегося на что-нибудь животного. Там паслись упряжные обозные волы, обгладывая молодые побеги саксаула и сгрызая верхушки полыни и степной колючки. За ними, на небольшом кургане, лысая вершина которого далеко виднелась над саксаульной чащей, поднимался столб черного дыма и мигало красноватое пламя. Там сидели сторожевые и варили себе что-то от скуки, сжигая даровое, обильное топливо.

В центре укрепленного лагеря была поставлена круглая татарская палатка, возвышавшаяся надо всем своим ярко-зеленым конусом; там на ковре лежали три человека и прихлебывали чай из стаканов. Один из них был в белом парусиновом пальто, в фуражке, в высоких щеголеватых сапогах и обладал всеми признаками цивилизованного европейца; двое других были в рубахах, засунутых в киргизские штаны, вымазанные дегтем, заскорузлые до того, что согнулось бы лезвие ножа, если бы пришлось их резать. Корявые, мозолистые, черные, как сажа, пальцы неуклюже придерживали стаканы и кусочки сахара; босые ноги обладали такими прочными, неуязвимыми подошвами, что никакой в свете тарантул или скорпион не мог бы прокусить эту мозолистую кожу. Один из них был совсем старик с седыми длинными усами, с обритой щетинистой бородой и гладко остриженной головой, другой был еще молодой парень и, судя по сходству, сын старика. Европеец был Симсон, сопровождавший транспорт Лопатина, двое других были казак Ефим Мякенький с сыном, взявшие на себя воловью доставку до Казалинска. Этот старик и был тот самый «проклятый казак», раздосадовавший так таинственного всадника.

– Нас немного, и мы бы не устояли на пути, то есть оно, может быть, сами-то и отбились бы, но скотину нашу не отстояли бы ни за что, – говорил старик. – Ты говоришь, сколько этих собак было? – обратился он к своему сыну Прокопу.

– Человек двадцать пять, одвуконь[2] все, я хорошо разглядел! – отвечал молодой казак, осторожно кладя на дно опрокинутого стакана недогрызенный кусочек сахара.

– Да ты близко ли подъезжал? – пытливо посмотрел Ефим Мякенький в глаза своему сыну.

– А то нет?! – Прокоп тряхнул головой. – Одежду я взял у Девлетки-работника и малахай его надел, чтобы не так в глаза бросилось с первого разу; а поехал на саврасом; тот лихо скачет, так чтобы, не ровен час, удрать можно было… Ну, подобрался я к ним сзаду, от могилы еду эдак себе сторонкой, словно сам по себе; мне-то все видно, а им за мазарками не видать…[3] Кони все на приколах, важные кони; у стены пики поставлены; ружья у всякого, снаряд в порядке, известно – барантачи[4]. Я, было, еще ближе подъехал, да «саврасый» – прострели те брюхо – как заржет, те и встрепенулись. Не успел я с бархана спуститься, а мне наперерез двое, сзаду четверо, а один, как есть около самого меня, леший его знает, откуда выскочил; гикнули; я ходу, без памяти гнал. Мосола на дороге встретил, кричу: беги, черт, трухмены! Заметался он, сердечный, лошаденка под ним хромая была (соловой, что у балдуевцев дорогой купили). Ну, его и накрыли…

– Убили, что ль?

– А не знаю; взвыл он волком; должно, ножом куда пырнули, не видал. Уж у самого саксаула отстали, проклятые. Кабы не савраска, где удрать, то есть ни в жисть…

– Но ведь и нас человек пятнадцать, – заметил Симсон, – силы почти равны, можно было бы идти!

– А тебе, купец, хозяйского добра не жалко, что ли? Коли не жалко, так мы свою скотину бережем. Они на нее больше и зарятся! – произнес Ефим.

– Известно, до волов наших добираются, а то что им еще? Нет, надо погодить!

– Да долго ли ждать придется? – нетерпеливо перебил Симсон и встал на ноги.

– А сколько придется. Благо, спасибо Владычице Небесной, место привольное Бог послал: топливо, вода, припасу у нас всякого много, корм есть, чего не ждать? Вот коли бы где на песках довелось али вот середь голого места, ну, тогда все одно – пропадай. Отсидимся!

– Надысь Калашниковы эдак тоже отсиделись! – вставил, со своей стороны, Прокоп.

– Долго ждать нас не станут, им тоже кормиться надо, откроют нам дорогу, это верно! – утешал нетерпеливого англичанина старый казак.

– Я должен к сроку!..

– Какие тут в степи сроки!.. Мы еще таких и не слыхали, – улыбнулся Прокоп. – Вечеряет, батька, пора волов поить. Я пойду!

– Время. Скажи там на кургане, больно огонь широко распустили, балуются со скуки, как бы чащу не запалили, беды наживем!

– Ладно, скажу. За угощение благодарим покорно! – протянул Прокоп Симсону свою руку и вышел из палатки.

– Будем ждать! – вздохнул англичанин.

– Выждем… – как бы про себя произнес Ефим.

– Батька, всполох на кургане! – крикнул Прокоп, вбегая в палатку.

Симсон побледнел, закусил губу и, захватив в охапку револьвер и свою двустволку, кинулся к выходу.

– Всех к волам… загонять живо! – ревел Ефим Мякенький и полез на верх паровика, чтобы осмотреться кругом и сообразить степень опасности.

На сторожевом кургане темная фигура махала жердью с навязанной на конце тряпкой. По саксаулу шел гул и треск: волы ревели и, сгоняемые всеми погонщиками, приближались к вагенбургу. Несколько верблюдов, задрав хвосты и пугливо поглядывая по сторонам, метались, натыкаясь на повозки; саврасый жеребец ржал и рвался на приколе. Четыре киргиза вместе с Прокопом раздвигали возы, чтобы пропустить скотину внутрь лагеря.

Кругом же все было спокойно; ничего подозрительного не было заметно, и Эдуард Симсон взмостился на паровик, где стоял уже старый Ефим и внимательно осматривал замок своей ружницы.

Сторожевые оставили курган, и между саксаулом мелькали их шапки, быстро приближающиеся к лагерю.

– Что за черт, – произнес Ефим, – какая такая беда?..

– Кажется, нас потревожили даром эти трусы… – начал Эдуард Симсон.

– Погоди, – остановил его старик. – У тебя ружье далеко стреляет?

– А что?

– Вон до того кургана хватит?

Он указал на курган, где стоял перед этим сторожевой пикет. Огонь, не поддерживаемый более, стал гаснуть, дым опал и расползался понизу, клубясь между кустами. На красноватом фоне вечернего неба мелькнула тонкая черточка, рядом с ней другая…

– Видел?

– Что такое?

– Пики трухменские. Берегись!..

Симсон чуть не полетел со своего возвышенного поста, так он порывисто отшатнулся и ухватился рукой за веревки ближайшего закрутка.

Старик снял шапку и набожно перекрестился.

О выпуклый, металлический бок паровика, испещренный закругленными головками болтов, что-то звонко щелкнуло, расплюснулось и, оставив чуть заметный знак, отскочило. Клуб дыма вспыхнул на кургане, донесся звук выстрела. У подножья кургана мелькнули красные халаты и блеснула кольчуга. Силуэт всадника показался еще раз, к нему прибавилось еще двое…

– Отвечай, – шепнул Ефим Симсону. – Мое ружье не достанет!

Симсон приложился.

– Задирать ли их? – приподнял он голову и вопросительно смотрел на старого казака.

– Стреляй. Надо их постращать, а-то очень расходятся… Я их натуру знаю!

– Есть! – крикнул с угла Прокоп, наблюдавший за результатом выстрела английской двустволки.

Симсон ничего не видел за дымом. Когда дым рассеялся, то вершина кургана оказалась пуста.

– Может, теперь отстанут! – произнес Ефим.

Атаки барантачей более не повторялись; с их стороны это была только простая рекогносцировка.

Однако эта попытка заставила обозников удвоить свою осторожность. Волов на ночь так и не выгоняли из-за возов. Прокоп сам залег в саксауле, невдалеке от вагенбурга, и от его чуткого уха не ускользнул бы ни один, сколько-нибудь внушающий подозрение, звук. На паровике, как на самом высоком пункте, сидел сменный сторожевой. Эдуард Симсон был в тревожном состоянии и волновался.

«Вот приятная перспектива, – думал он. – Пожалуй, если одолеют они нас, в плен попадемся, увезут, черт знает куда…»

Он немного трусил. Ему представились все ужасы плена в степи у дикарей, он припомнил все, что читал до сих пор об этом, начиная с рассказов Мунго Парка[5] до последних газетных известий.

– И отчего это конвоя не дают торговым караванам? Что за беспечность такая относительно наших интересов? Ну вот, возможна ли правильная торговля… А, что такое? Кажется, шумят в той стороне?

– Нет, ничего, – спокойно отвечал Ефим, – это ветер в саксауле; ну, оно и гудит!

– А что, они обыкновенно убивают тех, кто при караванах, или в плен берут? – спросил Эдуард Симсон у старика.

– Коли очень барахтаться кто будет, ну, с тем покончат; а то им в полон таскать много прибыльнее!

– Я думаю, легче умереть, чем к ним попасться?

– Что так? От них уйти можно. Оно точно, что спервоначалу трудно, а потом обтерпишься и ничего; я два раза был у них в полону!

– Не может быть!

– Да, два раза, – спокойно говорил старый казак. – Раз еще мальчиком, по девятому году; ну, тогда был недолго. С отцом это я попался, – отец-покойник тоже ходил в степь с волами; возили крупу, муку и еще кое-что по торговой части. Был у отца приятель, купец-бухарец Саид-ходжа; узнал это он о нашей беде и у хана хлопотал через муллу ихнего, самого важного; нас с отцом и выкупили. А второй раз… Тс!..

Из чащи донесся резкий свисток; сторожевой на паровике щелкнул курком своего ружья.

Луна поднялась уже довольно высоко, и солонцеватая степь за саксаулом белелась, словно покрытая снегом; там, тихим шагом, ехал всадник на вороной лошади и вел другую в поводу. Всадник, по-видимому, даже и не замечал лагеря, хотя ехал от него не более, как в трехстах шагах.

– Что за дьявол? – пожал плечами Ефим Мякенький, выглядывая из-за воза. – Погоди, Егор…

Он остановил сторожевого казака, который, было, прицелился в проезжающего.

Всадник остановился и повернулся лицом к повозкам. Он стоял несколько минут в таком положении и, казалось, не решался, подъезжать ли ему к обозу или нет. Наконец он решился и тронул вперед своих лошадей.

– Кого Бог посылает? – окликнул старик, когда всадник подъехал ближе.

Ефим окликнул по-киргизски.

– Свой… торговый человек. Еду в Казалу, – отвечал всадник по-русски. – Что стоите на дороге?

– А то, что и тебе советуем остановиться, коли бережешь свою голову! – говорил Прокоп, неожиданно поднявшись почти около самого всадника.

Вороные кони шарахнулись, так неожиданно увидев белую фигуру, словно из-под земли вынырнувшую.

– В степи, что ли, нечисто? – спрашивал проезжий.

– У могил барантачи, на нас нападали, да мы отбились!

– Ну, так я с вами переночую, коли пустите!

– Милости просим, коли добрый человек! – произнес старик.

– А коли худой, – подозрительно взглянул Прокоп, – так у нас тоже глаза есть, не бойсь, не проглядим!

– Экий ты неласковый! – усмехнулся всадник, слезая с лошади.

– Не могу припомнить, а голос положительно знакомый! – шепнул Симсон старому казаку.

– Устал я страсть и спать хочется! – говорил незнакомец, убирая лошадей и привязывая их к дышлу повозки.

– Ужинать будешь?

– Поем, коли дадите. И долго ли это стоите таким манером?

– Вот уж целые сутки… Издали их заметили, а то бы на дороге влопались…

– Кони у тебя хороши больно! – заметил Прокоп.

– Ничего, годятся. Это у вас лапша?

– С бараниной; вот на, возьми ложку!

– А что, теперь с нами поедете? – обратился Эдуард Симсон к гостю.

– Да, уж придется, в обществе все веселее и не опасно!

– И нам выгодно, хорошо вооруженный человек не будет лишним!

– Слышь ты, батько, пойди сюда, – толкнул в бок отца молодой казак, – дело есть!

– Что там еще? – лениво поднялся Ефим.

– Там в возу колесо. Да пойди сам, погляди!

Отец с сыном отошли к одному из возов.

– Ну, что ты?

– Да что, больно у меня сердце не лежит к этому! – Он кивнул в ту сторону, где сидел гость и с аппетитом ел лапшу из большой деревянной чашки. – Как бы худа какого не было, – кто его знает? Едет один, ровно волк; к нам вот подъехал совсем не по дороге, невесть откуда. Может, он одной масти с теми…

– Поглядим – увидим; не гнать же его теперь!

– Гнать не следует, а я бы его скрутил да и шабаш!

– Поспеем, коли надо будет; нас много – он один!

– Не могу припомнить, где это я вас видел? – говорил громко Симсон, обращаясь к соседу.

– Не встречался я с вами никогда, у меня память хорошая – это верно! – отвечал тот.

– Может быть, но ваш голос… голос…

– Сходство всякое бывает… Ко сну так клонит, что страсть. Лошадей своих напою ужо с рассветом!

– Вот вам ковер, если хотите!

– Благодарю покорно. Спокойной ночи!

– Ты, батько, ложись, а я не лягу – сна нету! – говорил Прокоп.

– Что ж, посторожи – дело хорошее!

Старик снял шапку, повернулся лицом к востоку и начал молиться. Набожно склонилась на грудь седая, усатая голова, рука размашисто, отчетливо переходила от лба на живот, с одного плеча на другое. Казак был старовер и крестился всей ладонью.

Тяжело дышали, сопели и пережевывали корм лежащие тесной кучей волы. Под телегами слышался тихий говор погонщиков; гость давно уже храпел, беспечно свернувшись под своим одеялом; улегся и старик, кряхтя и почесываясь; не спал только сторож на паровике, Эдуард Симсон, ходивший по вагенбургу в каком то ажитированном состоянии, и казак Прокоп, подозрительно поглядывавший на вороных лошадей, спокойно стоявших у дышла.

Луна стояла высоко, почти над самой головой, и обливала сонную степь своим серебристым светом. Кругом было спокойно и тихо, но в этой тишине невольно чуялось что-то недоброе, сжимавшее сердце англичанина и отразившееся даже на состоянии духа всех погонщиков. Все спали, что называется, одним глазом и готовы были вскочить и взяться за оружие при малейшем намеке на опасность.

Когда рассвело, Прокоп еще раз сделал разведку в ту сторону, где стояли гробницы «Девлет-Яр». В степи никого не было видно; приглядывался-приглядывался казак вдаль – ничего подозрительного. «Что за дьявол, неужели ушли? – подумал Прокоп и подъехал ближе. – Золу издалека видно, помет конский виден; вон то самое место, где стояли их кони. Не в гробницы ли забрались? Так нет, лошадей много – шутка ли, штук полсотни! – всех в мазарку не попрячешь. Должно быть, и в самом деле ушли».

Еще ближе подъехал, на курган взобрался, обогнул кругом – никого. А отсюда далеко видно кругом – место высокое, выше нет во всей этой степи. Вон их воза стоят, вон даже волов можно разглядеть; поят их, должно быть, ребята: все у колодца столпились. Вон и это чудище – паровик стоит. «Да, ушли… в ночь ушли. Это перед вечером они последнюю попытку делали», – окончательно решил Прокоп и поехал рысью к вагенбургу.

Не успел он подъехать к зарослям, как услышал, что в лагере какая-то суматоха. Погнал коня казак, вскачь пошел по чаще, раздвигая кусты грудью своего саврасого.

Столпились все погонщики в кучу, в середине круг оставили, в кругу стоит кто-то; все наперерыв его расспрашивают; громче всех слышны голоса англичанина и того «гуся», что на вороных приехал.

Голый, в одних только совершенно изодранных штанах, с окровавленными боками, то всхлипывая, словно плача, то хрипло смеясь, стоял киргиз Мосол, попавшийся, было, в плен к барантачам. Он рассказывал историю своего освобождения.

– Сперва я все ползком да ползком: поверху-то светло, а в ложбине темно, а тут, на мое счастье, жеребцы подрались – один с прикола сорвался!

– Как же ты ноги развязал? – спросил кто-то из толпы.

– Перетер о камень – сам уж пророк помогал, не иначе!

– Что же, тебя били много? Это они тебе лоб рассекли? – говорил «гусь».

– Резать, было, совсем хотели, да потом бросили…

– Так они при тебе еще собирались уходить? – перебил Симсон.

– Как же, при мне. Старший их, черный такой, весь чапан[6] на нем кольчужный, говорил: «Что же мы ждать-то будем? Здесь, видимое дело, плоха пожива, а в другом месте упустим что получше».

– Да верно ли? – усомнился Ефим Мякенький.

– Вот высохни я, как этот прут, если сам не слышал! – Мосол поднял с земли какую-то былинку.

– Там, говорят, у них народу столько же, как и нас, и ружья хорошие. Вчера-то – ха, ха! Вечером-то одного ихнего убили, – важного батыра ухлопали, я видел, как привезли!

– Это я стрелял! – похвастался Симсон.

– Да само собой разумеется, уйдут, если уже не ушли, – произнес всадник, приехавший вчера ночью. – В неверную схватку вступать им нет никакого расчета. Мы можем выступать смело!

– Вы полагаете? – не без оживления произнес Симсон.

– Понятное дело!

– Эге, да это наш Мосол! – вскрикнул Прокоп, протискиваясь вперед.

– Ну, что, сынку? Что нового привез?

– Да что? курганы чисты, был у самых могил – ни души нету!

– А, что я говорил? – обратился Симсон.

– Так ушли? – переспросил обладатель вороных лошадей у Прокопа.

Тот взглянул на него искоса и произнес:

– Ушли… да ты, может, это лучше нашего знаешь? – Он понизил голос и не спускал глаз с того, кто стоял перед ним, спокойно набивая себе трубочку.

– Ты, брат, никак умом повихнулся?

– Всяко бывает… Я ведь не в обиду!

Прокоп отвернулся и пошел к волам.

– Ну, вот, жару пережде маленько, а там и волов запрягать будем! – решил Ефим Мякенький.

– Наконец-то! – вздохнул Симсон.

– Еще бы денек другой переждать… – ворчал Прокоп, заслышавший распоряжение своего отца.

Как решил старый Ефим, так и сделали. Часам к четырем пополудни караван выбрался из саксаула, и возы длинной вереницей потянулись по степной дороге. Верблюды вьючные шли стороной. Прокоп уехал много вперед и далеко виднелся его «саврасый», особенно когда ему приходилось повернуться к солнцу своим широким, на диво вычищенным крупом.

IX. РЕНЕГАТЫ

В полуперегоне от «Малых Барсуков», правее караванной дороги, тянется гряда песчаных холмов, то подступая почти к самому пути, то отходя назад, к обширным пространствам, когда-то бывшим озерам, теперь же покрытым топкой, соленой грязью. Берега этих грязей поросли мелкими сортами кустарников, рангом и разными видами степной колючки. Это превосходные пастбища для овец, которые любят бродить по солончакам и лизать вонючую грязь. Киргизы, пользуясь обильными колодцами и родниками, рассеянными по всем «Барсукам», сгоняют сюда бесчисленные отары овец, и берега этих затонов оживляются пасущимися стадами и кое-где чернеющими кибитками кочевников.

Теперь же ни одной овцы не было видно кругом, ни из одной лощины не показывался приветливый дымок. Быстро свернулись и собрали свои стада подвижные степняки и ушли отсюда дальше на запад, в глубь песков, подальше от опасного соседства, а соседство это, так всполошившее мирных киргиз, было не постоянное: сегодня здесь, а завтра, может, Аллах ведает где. Киргизы знали это и поставили по высоким постам конных сторожей, которые должны были известить аулы, когда минет опасность.

Всю эту тревогу наделала вереница всадников, двигающаяся отдельными маленькими отрядами позади холмов, ближе к соленым грязям. Шайки эти пришли от Девлет-Яра, заняли место за большим холмом, в неглубокой балке, и стали на отдых. Только теперь они стали осторожно: огня не разводили, лошадей поставили теснее и сами зря не бродили по степи и в глаза никому не кидались, как прежде, когда они занимали возвышенную площадку у святых могил. Те, кто шли караванным путем, как бы ни присматривались вправо, ничего не видали бы, кроме песчаных, желтеющих на солнце холмов, и, наверное, могли быть далеки от подозрения, что за этими-то, мирными на вид, холмами скрывается грозная опасность.

Немного было счетом этих наездников, но зато нельзя было и трех насчитать одинаковых. Со всех концов степи сбрелись искатели легкой наживы: тут были и туркмены, и киргизы-адаевцы[1], и бузачинцы, и безымянный сброд, невесть откуда появившийся. Группировалось же все это около трех джигитов, отличавшихся от остальных разве только тем, что у двух были бороды с проседью, а третий был рыжий и с лица шибко смахивал на беглого русского солдата, у него даже борода раздваивалась посредине, где в прежнее время пробивалась дорожка, не успевшая еще сравняться с бакенбардами, да и ухватки его были совсем не татарские, хотя по одежде его никто бы не отличил от природного хивинца.

Большинство всадников было в кольчугах и в лисьих малахаях, на одном только туркмене Ата-Назаре была круглая белая чалма, издали отличавшая его от прочих всадников.

Барантачи сидели в кругу и держали совет. Говорил седой Чабык, адаевец; кто слушал, а кто только вид делал, что слушает, а на самом деле дремал, пережевывая табачную жвачку и машинально сплевывая по временам слюну.

И кони их, высокие, подобранные, стояли, понурив головы. Барантачи сделали большой крюк, верст в сотню, чтобы попасть от могил Девлет-Яра к преддверьям «Малых Барсуков». Прямо же, близ дороги, они идти не решились из боязни, что русский обоз наткнется на их следы и опять примет оборонительные меры.

– Верить ли нам твоему тамыру (приятелю) или нет? Ты уж лучше скажи прямо; по крайней мере, мы время терять не станем и пойдем туда, где нам будет повыгоднее… – говорил Чабык и смотрел в глаза рыжему, которого все звали Иван-баем[2], добавляя к его русскому имени киргизское окончание.

– А как знаешь, мне все равно! – нахально усмехнувшись, отвечал рыжий.

– Ты, может, опять над нами свои штуки играешь, ведь у тебя на конце языка правда не поставила своей кибитки… Она даже в гостях там не бывала!

– Не веришь – уходи; я тебя разве держу? Останусь я со своими, да вот, может, Рахим-Берды со своими останется, Ата-Назар… тот меня не бросит… Мы и одни управимся!

– А правда, – начал туркмен Ата-Назар, – *тот*, когда приезжал к нам, выругал нас, говорил, «воронами на виду сидят, воробьев пугают»… Разве это не правда, что мы двое суток у Девлета стояли? За что джигита у нас убили?.. Кто хотел прямо возы брать, нахрапом, не ты, что ли, старый ишак?..

Он злобно взглянул на Чабыка; тот пожал плечами.

– Все по воле пророка, не попустил – ну и не взяли. А отчего он на нас прогневался, не от тебя, что ли?

– Как от меня? – удивленно спросил туркмен.

– Зачем своих жеребцов в «аулы» поставил? Все святое место испакостили…

– Ну, уж и ты хорош тоже, – вмешался рыжий. – Лошадь что, лошадь – живот чистый: от нее ничего не сделается; а в прошедшем году, когда почту в Кара-Кумах грабили, кто в божьем котле* собак борзых поил? Эге, брат, чужие грехи считать умеешь…

Все расхохотались.

– Тогда ничего от этого не было. Мы свое дело благополучно окончили, сам знаешь! – оправдывался Чабык.

– Скоро было очень; Аллах-то, может, еще не успел узнать, так вот теперь за прошедшее тебе бока пощупал. Это верно!

– Слушай, Иван-бай, ты *его* где знал прежде? – спросил Рахим-Берды. – Ты нам не сказал про то…

– Это про кого ты спрашиваешь?

– А вот про того, что к нам ночью на вороных конях приехал!

– Случалось, видались и прежде. Да тебе что?

– Не проведет он нас?

– Какой ему барыш проводить… Он тоже под хозяином состоит, не свою, чужую волю правит!

– Зачем он опять к ним в обоз поехал?

– Значит, нужно!

– Вот еще что мутит у меня на сердце… – вставил Рахим-Берды. – Это как бы нас киргиз-батрак не выдал, ведь они, собаки, к своим привязчивы!

– Не выдаст, я ему такое шепнул, что побоится. Там, говорю, *тот* будет, что от нас поехал. Ежели чуть что заметит, тут тебе и конец; а обделаем дело,

---

* В некоторых степных пунктах – у святых мест – устраивают каменный таган и в него вмазывают плоский чугунный котел с прикованною на цепи ложкой. Котлом этим может пользоваться всяких проходящий и проезжающий, и котлы эти называются божьими котлами. Это один из видов степной благотворительности.

тебе же барыш: коня, говорю, получишь, халат и с нами поедешь вольной птицей. Он не дурак, поймет, «где мясо, где камень». Ну, что ж, Чабык-бай, уйдешь, что ли, от нас или, может, раздумал?

Рыжий Иван-бай засмеялся и нахально глядел на старика, оскалив свои клыкастые волчьи зубы.

– Отстань! – угрюмо произнес Чабык и затянулся из походного кальяна.

– Вон и наши едут! – крикнул кто-то.

– Эге! Ну, никак пусто… – сказал Рахим, всматриваясь в четырех всадников, медленно приближавшихся со стороны соленых грязей.

Ближе подъехали всадники; теперь можно было видеть, что у одного только из них перекинут был поперек седла баран и бился о стремя своей рогатой головой.

– Плохо?! – крикнул им Ата-Назар.

– Яман (дурно)! – отвечал передний. – Все ушли, как куяны (зайцы) от орлов, по норам попрятались. Кибитки сняты, по всем грязям пусто. Уж очень они стали пугливы!

– Вот только одного этого и нашли, – говорил другой, приподнимая барана и сбрасывая его на песок. – Да и то каскыр* прежде нас его тронул!

Действительно, часть бараньего зада была до костей обнажена от мяса и по рваным краям раны можно было без труда узнать волчью хватку.

– Потерпим немного, – усмехнулся Иван-бай, искоса поглядывая на недоверчивого Чабыка, – вон обоз русский заберем, там, сказывали, всякой снеди вволю припасено.

– Не пей кумыса, пока кобыл не подоил! – огрызнулся Чабык.

– Ладно. На крайний бархан ступай кто-нибудь двое. Лежите на брюхе – кольями не торчать на виду. Как что – знать дайте… Кто пойдет? Твои, Ата, что ли?

– Своих посылай, они у тебя ползуны!

– Ну, хороши же вы «яу», как погляжу… Ни твоих не пошлю, ни своим не прикажу. Сам пойду. Эдакое дело да чужому глазу доверить – вороны!..

И Иван-бай поднялся на ноги.

Это был мужчина небольшого роста, коренастый, немного хромой, с необыкновенно развитыми, длинными руками, могучие кисти которых достигали почти до колен. Силу этих рук, словно отнятых у какой-нибудь гориллы и приставленных к человеку, хорошо знали по всем кочевьям между Аральским и Каспийским морями, да, пожалуй, и дальше…

Лет двадцать пять жил он в степи и знал ее так, как не знали коренные номады. А в степь он попал еще мальчиком следующим образом: отец его служил

* Волк.

в багрильщиках у одного из астраханских рыбных торговцев. Раз как-то, вместе с сыном, двенадцатилетним мальчишкой, и человеками десятью работников отправились они к восточному берегу Каспийского моря, к Мангышлаку, на рыбную ловлю. Шхуна их бросила якорь у песчаного мыска, недалеко от озера «Батырь», и часть экипажа высадилась на берег, кто говорит, что пострелять сайгаков, а кто говорит – за другим делом, менее благонамеренным. Хозяин шхуны был вместе с последними, а на судне остался отец рыжего Ваньки и человека три рабочих. К солнечному закату подошли к судну четыре каика (узкие, длинные туземные лодки); хотели подойти поближе, да астраханцы не подпустили, не без основания подозрительно глядя на оборванных туркмен, припрятавших свое оружие на дно каиков, под сети… Пираты боялись двуствольных ружей экипажа, под выстрелами которых не совсем было удобно брать штурмом скользкие, высокие борта судна…

Наступила ночь… Полез один из матросов на рею сторожить, остальные заснули и, должно быть, заснули крепко… Страшный вопль часового поднял всех сразу на ноги… Вся палуба затряслась, когда с высоты трех сажен, как мешок, набитый костями, свалился матрос и брызгал во все стороны своей кровью… Луна взошла уже на небе, и ясно было видно, как корчился и изгибался несчастный, как две каких-то светлых черточки впились в его тело и дрожали при каждом его движении… Это были хивинские стрелы, тонкие камышины с зубчатым, тонким, как шило, острием и красиво оперенные с другого конца цветными обрезками кожи и конскими волосами… Кинулись к ружьям оторопелые рыбаки… Заметались… Куда же это запропастились их двустволки? Багры с насаженными топорами тоже пропали!.. А из-за бортов, со всех сторон, глядят скуластые, узкоглазые рожи, со всех сторон растут темные тела, и заходили доски палубы под топотом нескольких десятков босых ног; по гладкой водной поверхности пронеслось гиканье и вой торжествующих пиратов.

Отец Ваньки долго отбивался, вооружившись какой-то снастью; его убили, остальных двоих скрутили и спустили в каик. Все, что было на судне ценного и удобного для перевозки, забрали, шхуну сожгли.

Красное зарево пожара, отразившись и на воде, и на темном небе, далеко было видно в степи… Видели его и те, что были на берегу, у озера, впоследствии тоже попавшиеся в недобрые руки.

– Когда же ты мне дашь те деньги, что обещал? – сказал рыжий Ванька старому хивинцу, когда каики далеко отошли от горевшей шхуны и тянулись камышами, придерживаясь берега…

– Когда… Ах ты, волчонок проклятый! – засмеялся старик. – Тогда, – добавил он, положив свою руку на стриженую голову мальчика, – тогда, когда будешь большим волком и сумеешь добыть себе сам…

– Ладно, – согласился рыжий, – другой раз не надуете…

Это был первый подвиг ренегата Иван-бая, «кызыл каскыра» (красный волк).

В двадцать лет он уже дал знать о себе по всей степи. В пограничных фортах наших узнали о его подвигах. Голова его была оценена, но, верно, дешево, потому что не находилось охотников позариться на посулы русских властей.

Он женился на дочери одного из кочевых султанов, красивой хивинке, потом еще взял себе одну жену из другого рода. Он мог позволить себе эту роскошь, потому что разбои и грабежи караванов давали ему на это средства.

Он был отважен и дерзок в своих предприятиях до того, что появлялся даже в русских укреплениях и разведывал там обо всем, что ему надлежало знать… В каком-нибудь жалком «лауче» (погонщике верблюдов), оборванном, грязном, приютившемся на базаре, в ожидании нанимателя, или в киргизе, пригнавшем в форт на продажу десяток курдючных баранов, никто не мог узнать известного степного разбойника…

Он появлялся даже в Оренбурге, а потом в Нижнем Новгороде, одетый бухарским торговцем, ходил по караван-сараю, перевидался со всеми своими приятелями (а у него их было немало) и уехал оттуда на почтовых под видом Саид-Аббаса, бухарского уроженца, торговца хлопком и бараньими шкурами.

Раз только попался он. Бурей разбило лодку, на которой он с двумя хивинцами переплывал залив «Мертвый култук»[3]. Его спасло одно из рыболовных судов из Астрахани же. Все обошлось бы, пожалуй, благополучно, но один из башкир, работников на этом судне, узнал в этом безжизненном теле, распростертом на палубе, грозу степей – «рыжего Ивана».

Разбойник очнулся связанным; нисколько не удивившись этому, он попросил есть, ему дали. Разговорился он, расспрашивал о том, о сем, куда его везут и так далее, и кончил тем, что вздохнул и произнес: «Ну, значит, воля Господня. Погрешил довольно, пора и поплатиться». Хозяин судна был старовер и заметил, что Иван перекрестился по-ихнему обряду…

Через месяц «рыжий» опять появился в степи. Как он вырвался, никто не знал. Сам же он рассказывал о своем освобождении такие небылицы, что даже легковерные до всего фантастического и таинственного дикари и те пожимали плечами и приговаривали потихоньку: «что только за язык Бог дал человеку, чего только он не стерпит?»

Начал Иван-бай свои новые подвиги тем, что собственноручно зарезал свою первую жену: он узнал, что та, в его отсутствии, пошалила с одним из молодых батыров соседнего кочевья. Султан, отец зарезанной, сперва обиделся и рассердился на своего зятя, но потом, убедясь в правоте оскорбленного мужа, помирился с ним и дал ему, взамен первой, вторую свою дочь.

Скоро дела пошли по-старому, да, должно быть, еще лучше, потому что из Астрахани прислали сказать, что за голову Ивана плату удвоили, и что тому, кто привезет ее, будь он сам разбойник, простятся все его грехи, и на свободу опять его отпустят…

Посмеялся рыжий над последним обещанием. Хотел, было, сам отвезти свою голову, получить за нее деньги и опять вернуться в степь, да раздумал.

Не прошло и четырех часов, как ушел Иван-бай сторожить на бархан, как он уже назад возвращался. Конь под всадником стлался по песку, и издали было слышно, как храпели и фыркали раздутые от быстрого бега ноздри.

– Гонит шибко! – поднялся Ата-Назар.

– К лошадям! – крикнул Рахим-Берды.

Вся баранта всполошилась.

– Дождались! – подскакал Иван и коня своего осадил так, что тот вспахал песок передними ногами. – Колесная пыль видна от Девлета… Это наши крестники!

– Пошли, Аллах, милости детям своим! – со вздохом произнес старый Чабык и пошел к своим аргамакам, что стояли у самого края и, прижав уши, так вот и норовили брыкнуть того, кто к ним неосторожно подберется.

С севера тянулось большое пыльное облако, что-то неясное мелькало в этом облаке… Ближе и ближе подвигалось оно к холмам, вот уже можно различить волов, возы, всадников, верблюдов, идущих стороной, и над всем этим чернеющую массу паровика, медленно подвигающуюся на своих двенадцати колесах. Восемь пар здоровых волов и четыре верблюда тащили эту махину, и глубокий двойной след прокладывался по степной дороге.

Барантачи, затаив дыхание, сидели на своих лошадях. Они пригнули пики почти до самой земли, согнулись сами, впились глазами в обоз и, как борзые на натянутых сворах, ждали только сигнала к атаке. А сигнал этот должен быть подан оттуда, из этого самого обоза, и даже сам Иван-бай побледнел немного, отыскивая глазами между возов всадника на вороной лошади.

Тяжелые возы скрипели; волы, опустив под ярмом свои рогатые головы, шли мерным шагом, помахивая хвостами и вперив в песок свои мутные, слезящиеся глаза. Работники шли пешком, заложив за спины руки, и так же, как и волы, глазами созерцали дорогу; кое-кто спал на возах, лежа на брюхе, подставив свою спину под палящие лучи солнца. Уныло визжало какое-то плохо подмазанное колесо, монотонно гремели бубенчиками стороной идущие верблюды…

Однообразное, мерное движение, такое же медленное, как и движение вон тех черепах, что парами ползают по степи, прячась под тень сухих стеблей прошлогоднего ревеня, скучное, бесконечное, нагоняет тяжелую дремоту…

Дремлют и те немногие всадники, съехавшиеся вместе под тень паровика… Клюет носом старый Ефим Мякенький, и чуть было не выронил из зубов свою коротенькую трубку, чуть-чуть не свалился с седла и Скобляк, башкир, да вовремя проснулся, вздрогнул, оглянулся кругом мутными, сонными глазами и протер их рукавом свой грязной рубахи… Прокоп уехал вперед; хотел, было, разведать, все ли спокойно у родника, за холмами, да в одном из передних возов ось загорелась, дым повалил из-под воза, и Прокоп остался менять негодную ось

и своротил воз в сторону, чтобы не мешать движению остального обоза. Киргиз Мосол, что из плена вырвался, возился вместе с Прокопом, поднимая на крюку одну сторону воза, пока казак стаскивал поврежденное колесо.

– Вот дойдем к ночи до родничка, у песков, – «чиликом» его орда прозывает… хороший родник, вода чудесная… – говорил старый Ефим.

– Там и ночевать будем? – спрашивал всадник на вороной лошади, держась тотчас же за крупом казачьего коня…

– Там будем!

– Это первый переход такой длинный, – заметил Симсон. – Ведь мы тронулись почти за час до рассвета…

– Там дневку сделаем… – произнес Ефим.

Перекинулись двумя-тремя словами и опять замолчали; опять задремал Ефим; англичанин тоже сделал какое-то странное движение на седле и открыл глаза несколько шире, чем бы следовало…

Эх, да не одна то… эх, да не одна… –

затянул всадник на вороной лошади и пытливо взглянул вправо.

А там все было спокойно и тихо; словно вытянутые в ряд, виднелись конусы желтоватых песчаных холмов, синей полосой проглядывали в промежутках соленые грязи.

«Надули, черти!..» – подумал всадник, снял из-за плеча свою двустволку, поглядел на замки, снова закинул оружие на прежнее место.

– Эй… хозяин… – толкнул локтем башкир Скобляк старого Ефима.

Тот встрепенулся.

– Чего ты?..

– Там, хозяин, что-то не ладно, – кивнул башкир на холмы, – как бы чего не было…

– Посмотрите, – говорил Симсон своему соседу, – вон, на холме, видите… орел сидит, кажется?..

– Шапка трухменская… – сказал Скобляк.

– Прокоп где?.. – спросил Ефим.

– У передних возов…

– Падаль лежит какая-то! – равнодушно заметил всадник на вороной лошади.

Во по-ле дороженька… да пролегала…

Он отвязал повод своего заводского коня, намотал его ему на шею и пустил на волю… Эта лошадь могла бы ему помешать.

– Я начинаю припоминать, – говорил Эдуард Симсон. – Послушайте, не были ли вы в Самаре?.. В трактире, у пристани; мы вместе, кажется… Ой!..

Несчастный англичанин захлебнулся дымом в упор, прямо ему в лицо направленного выстрела. Лошадь его взвилась на дыбы и, затянутая судорожно стиснутой рукой убитого, рухнула на песок, вместе со своим всадником.

Раскинул руками Ефим Мякенький, нагнулся к шее коня; тот поддал задом и отскочил. Свалился «старый волк» и лег ничком, поперек англичанина, прямо к солнцу своим пробитым, развороченным затылком…

– А, ты заодно с ними, собака! – заревел Скобляк и навалился на убийцу.

Тот встретил нападение прикладом своего разряженного ружья… пошатнулся в седле, и они схватились врукопашь, вцепившись друг в друга руками, силясь сорвать с седла один другого.

От холмов, лавой, пригнув пики, погоняя диким гиканьем своих аргамаков, неслись барантачи и обхватывали всю переднюю половину растянувшегося обоза.

– Сбивай в кучу!.. – покрывал все отчаянный голос Прокопа…

Весь окровавленный, спотыкаясь и зажимая бок рукой, он бежал пешком к паровику… Он не видел, что там произошло… Кровь проступала меж его пальцами… Все кружилось перед глазами и путалось: и возы, и волы, испуганные, задравшие кверху хвосты, и верблюды, мечущиеся во все стороны, и дикие наездники, мелькающие там и сям… Вдруг все это исчезло разом… Помертвелые глаза ничего не видели, уши ничего не слышали…

– Сбивай в кучу… Батько!.. – чуть слышно прошептали губы Прокопа.

Он упал.

– Эко сцепились, точно вьюны! – наскакал рыжий Иван и осадил коня перед борцами. – Нешто помочь тебе, земляк…

Он вынул из-за своего широкого пояса длинный пистолет турецкой работы, подобрал коня и поднял вооруженную руку…

Два тела сплелись, словно прилипли друг к другу…

Сдавленные груди тяжело дышали, осоловелые глаза в упор смотрели друг на друга… Скобляк пытался зубами вцепиться в горло своего противника и жевал ворот его халата, грыз шнурок от складного образка, выбившегося наружу…

– Как бы того не попортить! – ворчал Иван-бай и, нагнувшись почти к самым борцам, выжидал удобное мгновение.

X. НОВЫЕ ЛИЦА

– Вот мы и вторые сутки сидим здесь, на одном месте! – произнес Ледоколов с досадой, закрывая книгу, которую читал, и засовывая ее под подушку.

– Что же делать? Некоторым приходилось по неделям просиживать на станциях или, вернее сказать, на местах, где предполагаются станции; вот как здесь, например!

– Что вы там делаете?

– Наблюдаю горизонт с помощью вашего превосходного полевого бинокля и изыскиваю средства к дальнейшему нашему движению!

Малоросс сидел на козлах и почти не отрывал бинокля от своих глаз, щурясь и всматриваясь в прозрачные линии миражных озер, в бесконечную даль безлюдной степи.

– Школа терпения, – вздохнул Ледоколов, помолчав немного. – Сигару хотите?

– Вон что-то чернеет; не то всадник, не то… не разберешь, что…

– Хотите сигару?

– Верблюд… или, постойте-ка… Что же это, в самом деле? Позвольте…

Бурченко, не оставляя своих наблюдений, протянул руку.

– Вот кого-то еще судьба посылает. По дороге пыль!

– Экипаж?

– Не видать за пылью. Что-то большое, кажется…

– Уж не дормез ли с нашими дамами?

– Может быть. Далеко еще, верст пять, пожалуй, будет: не скоро дотащатся. Вы, кажется, оживились немного?.. Не хотите ли бинокль?

– Нет, пользуйтесь им; меня это нисколько не интересует!

– Будто?.. А мне показалось…

– Как ни симпатична она, но, наученный горьким жизненным опытом, я смотрю иначе на эти явления!

– Я тоже вот смотрю… (Бурченко даже встал на ноги) и вижу дормез… Теперь это ясно видно!

– Близко?..

Ледоколов сделал движение, будто тоже хотел лезть на козлы.

– Гм!

Бурченко улыбнулся и подвинулся немного. Ледоколов, впрочем, остался на месте.

– Грустную роль берет на себя эта девушка. Судя по намекам, по рассказам, которые мне приходилось слышать… – начал Ледоколов.

– Нисколько не грустную. Коли она так же умна, как красива, то в накладе не будет… Верочка эта, белобрысенькая, та тоже молодец, скоро разыщет, где раки зимуют. Кучеренок – ну, тот мелко будет плавать, натуришка небогатая. Да на что вот сама маменька: вы думаете, устарела барыня… нет, еще посмотрите, как поработает…

– Вы все смотрите с точки зрения наживы… барыша…

– А то как же?.. Ведь это все тоже своего рода горные инженеры, вот как и мы с вами. Мы будем рыскать по горам и запускать в их недра свои буравы и щупы, они тоже, то есть оно, положим… впрочем, это решительно все равно, дело в результатах!

– Но, послушайте, продавать так свою молодость, девственность, сердце, душу – все за деньги, не согреть себя ни разу истинным чувством, оскорблять так свою духовную природу…

– Чего-с?

– Это не может пройти безнаказанно. Рано или поздно человек остановится, оглянется назад, на свою молодость… Это будет ужасная минута…

– Вот вы опять в крайности ударились… Вот вы изволили видеть, как Спелохватов метал?

– Ну, это к чему?

– Вы, я думаю, заметили, что он, бивши чуть не каждую карту, нет-нет, да и даст что-нибудь и понтеру… Так вот и в этом деле. Вот вы все говорите «продавать да продавать», а иные так ухитряются, что, по-видимому, и продают товар, да из лавки его не выпускают. Все зависит только от уменья и ловкости, а это все достигается рядом опытов, а чтобы сделать опыт, надо сделать решительный шаг. Вот эти барыни и шагнули, да как, чуть не пять тысяч верст сразу. Да напустит на вас Аллах премудрости, храбрые барыни! Нет, это не дормез, а впрочем, ничего не разберешь; пыль поднялась такая!..

Бурченко протер стекла бинокля и опять приставил его к глазам.

– Они самые!..

– Брозе?!

Ледоколов вскочил тоже на козлы и взял бинокль из рук своего путевого товарища.

Оригинальный вид представлял распряженный тарантас, стоящий посреди необозримой, гладкой, как море, степи, и эти две бородатые фигуры, в парусиновых пальто, взобравшиеся на козлы, наблюдавшие с сосредоточенным вниманием что-то такое, что опять скрылось из глаз, заслоненное густым пыльным облаком.

Чуть слышно доносился свист ямщиков-киргизов. Темная, тяжелая масса, поскрипывая и позванивая разболтавшимися гайками, медленно ползла по дороге.

Ледоколов поправил рукой свою бороду и стряхнул с нее завязшую соломинку; Бурченко справился, все ли у него застегнуто.

Ближе и ближе подвигался чудовищный экипаж. Теперь ясно уже было видно, что это такое; всякое сомнение исчезло: это не был дормез госпожи Брозе и ее дочери.

Легкая досада промелькнула на лице Ледоколова.

– Однако слезем с козел на всякий случай! – предложил Бурченко.

Большая колымага, вроде тех еврейских фур, которые попадаются частенько в наших западных губерниях, на деревянных осях и бычьих колесах, запряженная четверкой верблюдов, приближалась к станции. Верблюды были запряжены попарно: пара в дышле и пара впереди. Передняя пара, должно быть, сильно притомилась и начала приставать, потому что «лаучи» слез с горбов одного из верблюдов[1] этой пары и, перекинув поводья через плечо, шел впереди пешком и тащил усталых животных. На задней паре сидел другой «лаучи» и дремал. Плоская крыша этой колымаги была завалена узлами, перехваченными накрест веревками; из боковых отверстий, служащих для

входа и выхода или, вернее, для влазу и вылазу, торчали углы подушек в ситцевых наволочках, торчала даже женская нога, обутая в полосатый синий чулок и красную туфлю без задка.

– Это что за явление? – удивился Ледоколов.

– А вот узнаем… Во-первых, это верблюды не почтовые; видимое дело, они едут на долгих. Где же это мы их обогнали и не видели?

– Ночью как-нибудь, должно быть!

Колымага, дотащившись до станции, остановилась. Лаучи молча, не обращая никакого внимания на тарантас и двух русских путешественников, словно их тут и не было, принялись отцеплять постромки и выводить верблюдов. Внутри колымаги незаметно было никакого движения; оттуда только слышался храп и тяжелое, носовое дыхание спящих.

«Пойти, поглядеть», – подумал Бурченко и подошел к колымаге. Надо было встать на подножку, чтобы заглянуть внутрь. Так он и сделал. С противоположной стороны в это время лез Ледоколов.

Шесть женщин, пять молодых и одна преклонного возраста, необыкновенно развитых, ожирелых до того, что все формы лоснились, спали на перинах. Между жирным затылком в чепце и углом кованого сундучка торчали тараканьи усики и длинный красный нос чистейшего кавказского типа.

– Наблюдаете? – произнес Бурченко, заметив, с каким вниманием созерцал его vis-à-vis интересную картину.

– Что же это такое?..

– Я полагаю, это тоже горные инженеры. Однако это уж слишком! Как ни интересно все это, но наблюдать на таком близком расстоянии…

Бурченко соскочил с подножки, Ледоколов тоже опустился на землю. В колымаге послышалась возня; нога в туфле спряталась, вместо нее высунулась черномазая голова восточного человека, оглянулась, щуря на солнце заспанные, маслянистые глаза, и стала вылезать.

– Уф… как же жарко!.. – послышался женский голос. – Ой, как мине хочется пить! – говорил другой женский голос.

– Амалат Богданович, у вас бутилка?..

– А я же почему знаю… – отвечал Амалат Богданович и, заметив посторонних, поспешил оправить свой архалук с нашитыми на груди патронами[2] и закрутил ус. – Мое почтение… Мы тоже проезжаем в Ташкент… Здесь можно пить чай?.. – почему-то обратился он к Ледоколову.

– Отчего же нельзя, – отвечал за него Бурченко, – В степи просторно, и чай пить никому не возбраняется!

– Очень это хорошо… Боже мой, Боже мой! И отчего это только так жарко?.. У нас, в Шемахе, тоже очень жарко, в Варшаве не так чтобы совсем, в Петербурге тоже очень хорошо, там не жарко…

– Не может быть? – удивился Бурченко.

– Нет, не жарко. Вот в Ревеле и в Кенигсберге…

– Не случалось!

– Прекрасный город… Вы бывали в Ташкенте?

– В Ташкенте был.

– Вот и мы едем в Ташкент… Да что же вы спите все? Вставайте, вылезайте, здесь будем пить чай и гулять будем немножко!

Из колымаги выбросили большой ковер. Амалат Богданович ухватил его за угол и поволок на то место, где ложилась тень от их экипажа. За ковром последовало несколько подушек, наволочка с булками. За всем этим полезли девицы, за девицами пожилая дама с самоваром под мышкой и двумя металлическими чайниками. Кавказец почтительно принял от нее посуду и помог ей спуститься на землю.

– Ставь самовар, Амалат… Пусти меня тут сесть, Каролина! – произнесла почтенная дама и лениво, с самой сладкой миной, раскланялась с нашими приятелями.

Амалат засуетился над самоваром, пыхтя и раздувая его трубу, и осторожно закупоривал бочонок, из которого наливал воду.

– А нельзя будет полюбопытствовать, – обратился Бурченко к восточному человеку, – что именно вы предполагаете устроить в Ташкенте?!

– Новый ресторан!

– Ну, а вот эти барыни, что же они будут делать?

– Будут подавать господам кушанье и играть на арфе! – серьезно ответила за своего мужа Августа Ивановна.

– А что, позвольте теперь вас спросить… – обратился, в свою очередь, восточный человек к малороссу.

– Что прикажете?

– Когда вы изволили быть в Ташкенте, не было там еще ресторанов?

– Таких, как ваш, еще не было, да и теперь нет. Вы первый!

– Ой, как же это хорошо! Слышите, Августа Ивановна, мы первые!

– О!.. – осклабилась почтенная дама, – Вы, господа, к нам, пожалуйста, заходите, когда мы устроимся…

– Непременно…

– А близко здесь аулы? – спросил киргиза Бурченко.

– Должно быть, недалеко. Вон, видишь, солнце? Оно теперь уже на низ пошло, как дойдет совсем до земли, можно назад успеть вернуться!

– Ну, поезжай в аул!

– Зачем же ты в аул посылаешь?

– А по своему делу. Сделаешь – целковый дам!

– Что же тебе там надо?

– Скажи там бию, или кто там есть постарше, чтобы прислал сюда лошадей или верблюдов отвезти наш тарантас в аул. Скажи, мол, купцы едут, хотят у них погостить!

– Купцы? – киргиз подозрительно посмотрел на проезжих.

– Известно, купцы, а ты думал чиновники?

– То-то. Ну, я там скажу. Давай целковый!

– Половину – на, а остальную – когда приведешь лошадей. Ты скажи им, что я за лошадей тоже заплачу, слышишь?

– Слышу-у… Эх!.. Далеко как аул, очень далеко, и так далеко, что не хочется ехать!

Киргиз лениво потянулся и сделал вид, будто собирается прилечь.

– Ведь экая хитрая свинья, ты же ведь говорил, что близко, что к солнечному закату назад вернуться можно?

– Да как ехать; если уж очень гнать… Да нет, у меня верблюды очень устали. Не поеду!

– А, ну, хорошо же, так я сам поеду!

Бурченко выбирал глазами между лежащими верблюдами, которого бы взять. Темно-бурый нар, недавно только остриженный, почему-то ему приглянулся больше прочих. Он подошел и взял за волосяной арканчик, продетый в надорванные ноздри животного.

– Кой (оставь), не твой верблюд! – крикнул киргиз.

– Ладно, испорчу – заплачу!

Малоросс дернул за повод и издал гортанный хриплый звук, которым обыкновенно поднимают верблюдов на ноги. В ту минуту, когда животное подобрало зад, чтобы подняться, Бурченко вскочил на седло, и верблюд поднялся вместе с всадником.

– Ну, прощай, до свиданья, товарищ! – крикнул Бурченко и тронулся.

– Ведь вы не знаете дороги? – крикнул ему вслед Ледоколов.

– В степи надо знать только, в какую сторону ехать; а это я знаю!

– Смотри, Маллык, как бы тебе не вышло чего, – остерег пожилой лауча молодого товарища, – Пожалуется там бию, что ты его не послушал!

– Эй, шайтан! Я его догоню!

– Садись вот на этого да догоняй. Поезжайте лучше вместе.

Киргиз поднял другого верблюда, сел и пустился тяжелой, развалистой иноходью догонять Бурченко. А тот далеко уже виднелся в степи, беспрестанно погонял своего верблюда ударами нагайки и уже чуть мелькал в пыли белой спиной своего парусинового балахона. Ледоколов взял бинокль и наблюдал обоих всадников. Расстояние между задним и передним становилось все меньше и меньше, наконец, они сошлись; поспорили, должно быть, помахали руками. Бурченко вернулся, а киргиз исчез совершенно из глаз, погнав своего верблюда туда, где были аулы.

– Фу, как раскачало… отвык! – произнес Бурченко, слезая с верблюда.

Амалат Богданович со всей своей компанией с недоумением и подозрительно смотрели на происходившие перед их глазами маневры. Они положительно не понимали, что это такое делается. Даже сам Ледоколов недоумевал немного.

– Вот мой план, – говорил Бурченко. – Нам приведут лошадей, мы поедем в аулы. Оттуда мы договорим кого-нибудь везти нас степью, мимо почтового тракта, от аула к аулу и так далее. Если мы будем и медленнее двигаться, то, по крайней мере, путешествие наше будет интересней. Да еще это вопрос, медленнее ли?

– Позвольте вас попросить с нами чай кушать! – подошел к ним Амалат Богданович.

– Пожалуйте, господа! – с приятнейшей улыбкой протянула Августа Ивановна.

– Помилуйте, в таком приятном обществе…

Бурченко подставил локоть Ледоколову, тот взял его под руку. Они подошли к ковру. Эмма, Матильда, Розалия и Каролина пораздвинулись и дали место гостям.

XI. ГРОЗНЫЕ ВЕСТИ

Как только начало заходить солнце, и в степи посвежело, как с той стороны, куда поехал лауча, посланный опытным степняком, показалась довольно большая группа верблюдов, резким пятном обозначаясь на красном фоне заката. Верблюды шли скоро, рысцой; ясно, что они были налегке, без вьюков; виднелись два или три всадника; впереди же всех катил посланный лауча, издали еще давая знать резким криком о своем приближении.

Дамы, хотя и были предупреждены Ледоколовым о том, что послано в аулы за верблюдами и что, вероятно, их скоро приведут, все-таки перетрусили при виде быстро приближающейся кавалькады и с визгом полезли в свою фуру. Даже храбрый кавказец пожелтел и оттопырил губу; он встал на подножку фуры и несколько раз повторил: «Ах, Амалия Ивановна, я не знаю, что это… пожалуйста, поищите мой кинжал, он там где-то, между подушками…»

С верблюдами приехало еще человек пять любопытных киргиз; все они похаживали мимо фуры, полы которой были спущены на всякий случай… Амалат Богданович глядел испуганным зайцем и вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь из прибывших чересчур уж близко подходил к экипажу или же обнаруживал свое намерение заглянуть: да что же там внутри, о чем так хорошо рассказывал лауча, что вызвал их из аула?

Долго спорил и убеждал приехавших Бурченко, стараясь доказать, что до их аулов близко и что довезти их туда не может стоить по пяти целковых с верблюда, как заломили киргизы. Те настаивали на своем, уступали

понемногу и потом вдруг, ни с того ни с сего, возвращались к прежнему требованию. Наконец, сладились, и то потому только, что малоросс обещал сам поехать в аулы и нажаловаться на них бию, а то так и самому губернатору, как доедет до «большого города».

Порешили по рублю за каждого верблюда и принялись запрягать их в легонький тарантас Ледоколова.

– Тут и одному везти нечего, а вы мне шестерых напутываете, только повозку поломаете! – убеждал Бурченко.

– Тяжелая арба! – лаконически отвечал коренастый, полуголый киргиз и, как бы в доказательство своих слов, одним плечом приподнимал на пол-аршина от земли задок экипажа со всеми привязанными там чемоданами.

Долго возились, спорили, шумели, наконец, тронулись. Верблюды оказались никогда не ходившими в упряжке и чуть не разнесли по кускам тарантас. Делать было нечего – пришлось ограничиться только двумя верблюдами и отпрячь четырех; деньги, впрочем, получены были за всех, да еще вперед, на том основании, что, как заявил один из киргизов, ведший переговоры, «вашему брату, русскому, нельзя верить ни на вот столько», причем он показал на своем пальце, насколько именно нельзя верить русскому.

– И обидеться не смеешь, ибо они резон имеют! – заметил Бурченко.

Товарищи подошли к фуре, пожелали дамам счастливого пути и благополучного прибытия на место действия, раскланялись и сели в тарантас. На каждого из верблюдов село по киргизу, конные тоже прихватили их своими арканами. Верблюды пугливо озирались, ежились и вот-вот норовили шарахнуться в разные стороны.

Тронулись.

– С этой минуты мы начинаем путешествовать по новому методу, – произнес Бурченко, – и, поверьте, в накладе от этого не будем!

– Я отдаюсь в полнейшее ваше распоряжение и преклоняюсь перед вашей опытностью! – отвечал ему Ледоколов.

– Путевой, только путевой, – поскромничал малоросс. – Однако они подхватывают! Смотрите, если мы часа через два не будем в аулах!

Было темно, и тарантас прыгал по кочкам, скрипел и сильно покачивался. Ехали без дороги, целиком степью; кусты колючки и бурьяна шуршали и потрескивали, попадая под экипажные колеса; упряжные верблюды вздыхали, пыхтели и подбрыкивали на ходу, когда тарантас набегал на них, и свободно подвязанные оглобли задевали по цибатым ногам животных[1]. Раза два верблюды распрягались или же обрывали постромки, тогда приходилось останавливаться, начиналась опять возня с упрямыми животными; для того, чтобы запрячь их, надо было класть их на землю и надвигать к ним тарантас руками. При усилившейся темноте эта операция занимала много времени. Раза два тарантас крякнул чрезвычайно подозрительно.

– Я боюсь, как бы нам не пришлось бросить наш тарантас за негодностью и продолжать путь на вьюках! – заявил свое опасение Ледоколов.

– Все случается… – утешил его Бурченко.

– Что это, аулы?

Впереди что-то чернело, и слышались голоса.

– Аулы ваши, что ли, вон виднеются? – переспросил у ближайшего киргиза Бурченко.

– Какие аулы? Нет, то не аулы; аулы еще далеко! – отвечал киргиз, приглядываясь вперед.

– Что же это там?

– Это? Караван!

– Да разве здесь дорога?

– Нет дороги. Это из наших аулов чиновников выпроваживают!

– Каких чиновников?

– А разве мы знаем каких? Вы лучше знаете!

– Ничего не понимаю!..

Караван приближался. Можно было рассмотреть, что это тоже были какие-то экипажи, запряженные лошадьми и верблюдами; их конвоировали человек двадцать конных. Всадники были вооружены, и на более светлом фоне неба чернелись тонкие черточки киргизских пик. Колокольчики бренчали под дугами тех тарантасов, которые были запряжены лошадьми; слышалась протяжная, монотонная киргизская песня; слышался какой-то подвыпивший, хриплый тенорок, отхватывающий:

Ой, барыня, барыня,
Сударыня барыня!

– Что такое за чиновники? – стал приглядываться Ледоколов.

– Комиссия какая-нибудь специальная; теперь они в ходу, эти комиссии-то! – высказал свое предположение Бурченко.

Поезда поравнялись.

– Стой! Что за люди? – крикнул с козел переднего тарантаса казак-оренбуржец.

Должно быть, он сделал этот оклик по приказанию сидящего в экипаже, потому что перед этим он нагибался с козел назад и выслушивал почтительно чей-то полушепот.

– Эй, придержи своих верблюдов, тамыр! – остановил своего возницу Бурченко. – Купцы по своим делам! – крикнул он в ответ на оклик.

– Стой, стой! – кричал казак.

– Стой, стой! Да остановитесь же вы, дьяволы! – послышались голоса из других экипажей.

– Это еще что за нахальство? – чуть не вскрикнул Ледоколов и поднялся на ноги.

– Успокойтесь, это не к нам относится, – удержал его товарищ. – Это они на своих возниц кричат!

– Чего стой? Гайда, гайда! Не надо «стой», гайда дальше! – подскакал к переднему тарантасу конный киргиз.

– Я стрелять буду, каналья! Стой, тебе говорят! – высунулась из экипажа темная фигура в шинели и в фуражке с кокардой.

– Не можешь ты стрелять! Гайда, ступай вперед!

Казак на козлах вырывал вожжи из рук киргиза-ямщика, тот не давал и нахлестывал лошадей. Лошади бились и рвались из упряжи. Из других тарантасов повыскакивали пассажиры и подбежали к переднему экипажу. Подвыпивший тенор дотянул до конца свою «Барыню». Два сильно шатающихся кителя подошли к тарантасу Ледоколова.

Оба поезда остановились.

– Ничего не понимаю… – как бы про себя шептал Ледоколов.

– Догадываюсь, догадываюсь… – так же точно бормотал Бурченко.

– Господа купцы, вы это куда? – произнес один из шатающихся кителей.

– В аулы! – отвечал малоросс.

– На свою погибель?

– Как так?

– Назад, назад скорее, если вам жаль ваших голов!

– Бунт… да какой!.. – таинственно предупреждал другой китель, пытаясь стать на подножку экипажа, но никак не попадая ногой, куда следует.

– Где, кто?

– Однако это новость! – удивился Ледоколов и, признаться, немного струсил. – Вот штука!

– Господа, я должен вас предупредить, – вежливым, приятным, самым, впрочем, официальным баритоном заговорила из своего экипажа фуражка с кокардой. – Вся степь в восстании, и вы не в безопасности. Мой совет…

– Удирайте скорее, да и все тут! – перебил один из кителей.

– Знаете, пока это еще не разошлось… пока что… – подвернулся сбоку не то мундир, не то охотничий кафтан (в потемках нельзя было разобрать).

– Да где же восстание? Мы положительно ничего не слыхали! – удивлялся Бурченко. – Там все так спокойно…

– Я вам это сообщаю, я предупреждаю вас, а впрочем, как угодно! – обиделась немного фуражка.

– Поворачивайте оглобли и утекайте с нами! – шептал китель.

– Я не знаю, впрочем, с какими целями вы едете… – не без двусмысленности говорила фуражка.

– Послушайте, а может, и в самом деле опасность серьезная? – тихо говорил Ледоколов.

– Пустяки! Это повторение старого. Я уже понял, в чем дело!

– Мы арестованы! – заявил один из кителей.

– Да-с, в плену! – пояснил неопределенный костюм.

– Куда же это вас везут – в Хиву, что ли? – улыбнулся Бурченко.

– А не знаем, право…

– Выведем на большой тракт и пустим! – объяснил, наконец, конный киргиз ломаным русским языком.

Он понимал, о чем говорили между собой встретившиеся, и все время переводил содержание разговора своим товарищам. В это же время он допрашивал киргизов, везших Ледоколова и Бурченко, и, по-видимому, остался доволен результатами своего допроса.

– Странный плен! – удивился Ледоколов.

– Ну, господа, счастливого вам пути! Каждый едет разной дорогой; вы – в плен, мы – в восставшие степи! – раскланялся Бурченко.

– Ваша фамилия? – строго и холодно полюбопытствовала фуражка.

– Бурченко, – к вашим услугам, а товарищ мой… – Вы позволите назвать себя?

– Ледоколов! – поспешил предупредить его товарищ.

– Гм, понимаю… – произнесла фуражка и откинулась внутрь экипажа.

Шла барыня по мосту,
Полна шляпка хворосту…

– опять начал тенор.

– А что, господа, не можете ли вы поделиться табаком: у меня весь вышел, а в степи, вы сами понимаете… – попросил неопределенный костюм.

– С удовольствием! – произнес Ледоколов и вытащил ящик с сигарами.

Ай, барыня на печи,
Сует в карман кирпичи…

– Развеселые пленники!

– Эй, лучше бы вернуться!

– Гайда, гайда! – опять начались понукания конвоирующих киргизов.

– Прощайте!

– Счастливой дороги!

Поезда разъехались, и долго еще слышались в степи звон колокольчиков и крики: «Гайда, гайда!» – и сквозь все это прорезывались временами забористые куплеты «Барыни».

– Все-таки я решительно не понимаю, в чем дело! – говорил Ледоколов, прислушиваясь к этим удаляющимся звукам.

– В ауле все узнаем подробно!

– Но, послушайте, все это так странно… Ну, если и в самом деле?

– Старые песни!..

– Жаль, что вы не расспросили хорошенько этих киргизов!

– Они вам то же бы сказали, что и я сейчас говорил: приедете, мол, в аулы, все сами узнаете. А что, тамыр, далеко еще до ваших аулов?

– Вон они!..

Киргиз, сидящий на козлах, протянул руку с нагайкой и указал вдали, на самом горизонте, красные пятна кострового зарева.

– Ха-ха-ха!.. – вдруг расхохотался Бурченко.

– Чего вы?

– А вспомнил я о наших барынях, что сидят теперь на станции. Теперь они нашли себе надежную охрану. Ведь вся эта комиссия поехала в ту сторону!

– Вот банкет зададут, на тракте-то!

– «Гран плезир!» – вспомнил Бурченко. – Тише вы под горку-то!

Тарантас перебирался через некрутую степную балку. Темные горбатые массы паслись по сторонам. Неподалеку заржала лошадь… другая, третья… Доносились голоса… Тарантас поднялся на противоположный высокий берег балки.

Громадные, широко раскинувшиеся аулы, освещенные сотнями костров, оживленные, шумные, открылись перед глазами путешественников. Густые столбы дыма, снизу красные, сверху освещенные только что поднявшейся луной, клубились над аулами. Пестрая толпа – преимущественно женщины в высоких белых тюрбанах – стояла на дороге и дожидалась прибытия тарантаса. Черные, закопченные, пузатые, совершенно голые дети, с торчащими на бритых головах косичками, кричали, кувыркались и орали по обеим сторонам экипажа.

– Гей! Гей! – весело кричали киргизы-конвой.

Резкий свист и ответные крики «Гей, гей!» неслись им навстречу.

– Ну, вот мы и в центре восставших аулов! – произнес Бурченко.

Тарантас остановился.

XII. КУРЬЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ

Выйти не успели приезжие из экипажа, как их со всех сторон окружили любопытные, жадные до всяких новостей кочевники.

– Откуда Бог принес?

– Что привезли?

– Чего вам у нас надо?

– Проваливайте, откуда приехали!

– К нам идите, гости божьи будете!

– Нам, девкам, подарков наготовили много?

– Где ж товары ваши?

Посыпались со всех сторон самые разнообразные вопросы и заявления.

– Вот так атака! – произнес Ледоколов, пятясь назад к тарантасу.

– Да дайте же дорогу, чего пристали… Ну, здорово, здорово. А ты щипаться, жирная эдакая! Ой! Да ну вас, черти!.. Пусти, что ли!.. – слышался голос Бурченко. – Что, брат, заревел?.. Не лезь под ноги, босоногий!.. – нагнулся он куда-то вниз. – Ну, дорогу же, говорят вам…

Несколько женщин полезли в тарантас и начали там рыться. Бурченко заметил это обстоятельство.

– Эй, эй, вы, там, не трогать! – крикнул он любопытным красавицам. – Слышь ты, тамыр, – обратился он к одному из киргизов, приехавших с ними, – посторожи, брат, поблагодарю после… Разгони их, пока я к бию схожу!..

– Ладно! – согласился киргиз и принялся разгонять женщин, пустив в ход брань, кулаки и даже неизбежную нагайку – «камчу». Впрочем, все это делалось без всякого озлобления с той и другой стороны.

Молодой джигит, весь в красном, с шашкой – «клынчом», засунутой за поясом, протолкался к нашим приятелям.

– Аман исен сыз? (здоровы ли вы?) – приветствовал он приезжих.

– Здравствуй, брат, – отнесся к нему Бурченко. – Выручи ты нас, ради Аллаха, видишь, как пристали эти сороки… просто не дают ходу!..

– Бабы! – презрительно пожал плечами красный джигит. – Ну, идите за мной. Султан Забык в свою кибитку зовет вас!

– Пойдемте к султану Забыку! – пригласил своего товарища Бурченко, и они тронулись сквозь толпу, раздавшуюся при появлении «красного» и еще человек трех вооруженных джигитов.

Мягкая, словно кошачья лапка, нежная рука ласково тронула за плечо Ледоколова – тот обернулся. Красивая, смуглая, как дубленая кожа, девушка прижималась к нему и хотела что-то шепнуть ему на ухо…

– Ты мне платок подари пестрый и нитку красных шариков на голову. Подаришь?.. – И она нежно смотрела на русского из-под своего белого джавлука (головного убора).

Ледоколов ничего не понял и недоумевал.

– Я к тебе за это приду постель твою оправить и спину чесать ночью. Подаришь?

– Послушайте, Бурченко… вот тут она говорит… я ничего не понимаю…

– Что такое?.. – остановился малоросс.

Девушка фыркнула и спряталась в толпе.

Сопровождаемые конвоем из четырех джигитов, путешественники выбрались, наконец, из толпы, прошли мимо кибиток, из-под приподнятых кошем которых выглядывали мужские и женские лица, провожая русских не совсем ласковыми взглядами, прошли между двумя обширными загонами для мелкого скота; косматые собаки злобно рычали и лаяли, глядя на непривычные костюмы; перебрались через небольшой ручей по вязанкам камыша и хворосту и направились к большой белой кибитке, стоявшей особняком от прочих, около которой собралось довольно-таки народу, и на длинном шесте развевался треугольный

белый значок, украшенный наверху конским хвостом и увешанный суконными кромками. Это и была ставка Рахим-Берды, бия, и султана Забыка, его брата. За белой кибиткой виднелись верхушки других желомеек и кибиток, где помещались их семейства. Неподалеку несколько женщин ставили еще одну желомейку, и в то время, когда одни из них устанавливали ребра крыши, другие разворачивали широкие сшитые войлоки и прилаживали к ним тесьму для обвязки всей желомейки снаружи.

Луна поднялась уже высоко и ровным молочным светом заливала все волнующееся кочевье; свет костров оказался теперь излишним; внутри же кибиток ярко пылали очаги, и багровые лучи высоко поднимались из решетчатых тендюков (верхних отверстий, предназначенных для выхода дыма).

После размена приветствиями и обычных переговоров, Ледоколова и Бурченко ввели в кибитку, на пороге которой встретил их высокий, плотный старик с проседью в клинообразной бороде и с лукавым, словно подсмеивающимся взглядом темно-карих косых глаз… На старике был надет в накидку простой верблюжий халат, из-под которого виднелся расстегнутый ворот шелковой лиловой рубахи и узорные концы шитого пояса; на голове его плотно сидела крошечная парчовая тюбетейка с острым верхом, вся зашитая блестками и ярко сверкавшая при каждом движении старика. Это был хозяин кибитки и бий здешних аулов, Рахим-Берды, человек, пользующийся уважением и доверием чуть не всей степи.

За очагом, на почетном месте, сидел другой киргиз, помоложе, тоже в золотой шапочке, одетый довольно оригинально: поверх длинного халата из какой-то полосатой бухарской ткани накинут был темно-зеленый казакин, выложенный по бортам галунами, а на плечах киргиза красовались русские кованые эполеты с прапорщицкой одинокой звездочкой.

– Мы гостям всегда рады: гость – божий человек, и посылается к нам всегда как особенная милость Аллаха… – закончил свое приветствие Рахим-Берды и посторонился, как бы приглашая вошедших пройти за очаг.

– Благословение всему дому вашему, семейству и всему скоту! – отвечал Бурченко, протягивая хозяину руку.

– Если только в голове у вас нет черной мысли и на языке вашем не кочует обман… Мир вам и счастливый конец вашему пути!

– Благодарю и за себя, и за товарища своего! – поклонился малоросс.

– Милости просим; пожалуйста, садитесь! – приподнялся и подвинулся влево обладатель золотых эполет. Он произнес эту фразу по-русски и самодовольно улыбнулся, заметив изумление на лице Ледоколова.

Это был султан Забык, имеющий русский чин прапорщика и бывавший по делам службы в Оренбурге, Уральске и даже раз как-то в Нижнем Новгороде. По случаю своего официального звания он и носил, поверх туземного костюма, форменный казакин с эполетами.

– Садитесь с нами! – еще раз повторил Забык и поправил на шее красную анненскую ленту с подвешенной на ней медалью.

Последний жест он тоже сделал с расчетом.

Не успели все усесться по местам, как кругом послышались глухие голоса, ропот; слышно было, как толпа вокруг кибитки все прибывала и прибывала… В открытых дверях мелькали фигуры, и поминутно заглядывали все разные и разные лица.

– Однако в этом шуме я не замечаю ничего утешительного! – шепнул Ледоколов на ухо своему товарищу. – Вы слышите?

– Слышу, странно что-то… – отвечал тот так же тихо. – Не добре – гудит громада… Чу-кось!..

Шум усиливался.

– Ата, выйди к ним… Они мне не верят! – заглянул в кибитку красный джигит. – Тебя опять зовут!

– Беспокойные… – проворчал старый Рахим-Берды, кряхтя, поднялся с места и вышел.

На дворе затихло. Слышен был только ровный голос бия и по временам отдельные недоверчивые возгласы.

Бурченко стремительно встал, перешагнул прямо через очаг, помимо всякого этикета, и вышел из кибитки.

– Куда вы?

– Я понял, я это уйму сейчас… – скороговоркой произнес он.

– Зачем тебе ходить? – попытался, было, остановить его Забык, но сам поднялся с места. Его так и подмывало выскочить вслед за Рахим-Берды.

В кибитке остался один только Ледоколов.

– Говорят вам, что мы совсем не такие люди… Стали бы мы иначе приезжать сюда к вам без казаков да с голыми руками!.. – слышен был голос Бурченко. – А ну, не верите, так сторожите, коли не скучно… Чего? Что такое?.. Ладно… завтра уедем, коли верблюдов дадите… Нет с нами; товары караваном идут, мы особняком…

– Я в том порукой… Я!.. – кричал Рахим-Берды.

– Все бы вернее было, если бы уехали… – возвысился сильный молодой голос.

Еще пошумели, еще несколько раз принимался говорить Бурченко; говорил Рахим-Берды, начальнически кричал Забык… Толпа затихала мало-помалу… Наконец затихла совсем. Слышно было, как народ расходился по своим кибиткам, и, словно последние перекаты грома пролетевшей бури, глухо рокотал удаляющийся говор.

– Вот так митинг… – весело произнес Бурченко, входя снова в кибитку. – Горячие головы, черт их дери!

– Если бы еще немного, я их унял бы! Я их унял бы! – сжимал кулак и грозил в пространство султан Забык.

Он гордо поднимал плечи с эполетами и внушительно жестикулировал правой рукой. Вместе с чином прапорщика он приобрел и совершенно начальническую осанку, хоть бы и несколькими чинами выше, так впору.

– Ну, уж ты молчал бы, только дело чуть не испортил! – презрительно взглянул на него Рахим-Берды и, улыбаясь во весь рот, добавил:

– Ну, теперь, кажется, они поверили…

– В чем дело? Расскажите мне, бога ради!.. – обратился Ледоколов к Бурченко.

– Да что, пустяки совсем. Они не хотели верить, что мы не из той шайки, что дорогой встретили. Хотели и нас выпроваживать из аула. Ну, да теперь, никак, поверили!

– Поверили! – согласился Рахим-Берды. – Да, вот успокаивай народ тут, как знаешь, – продолжал он. – Приехали вчера утром рано, только солнце всходить начало. Ну, мы их приняли, думали: гости хорошие. Не знаю я, большие или маленькие они люди…

– Один большой, а то маленькие… Я знаю! – вставил от себя Забык, знакомый уже немного с градацией официальных чинов.

– Ну, вот, приехали они, требуют себе отдельных кибиток, баранов, молока… Все это мы им дали. Потом велели народ сбирать!

– Это интересно! – пододвинулся поближе Бурченко.

Он подстрочно переводил все своему товарищу. Султан тоже, насколько мог, донельзя коверкая русский язык, помогал ему в этом.

– Я, было, не хотел народ сбирать, догадывался уже, что ничего путного из этого не выйдет, да ведь наших знаете? До всяких новостей какие охотники! Ну, смотрю я, а уже весь аул на ногах; собрались сами. Тут и началось!.. А что же нам кумысу не дают? Да пора бы и ужинать! – обратился рассказчик к двум женщинам, еще молодым, очень полным, заглянувшим, было, в дверь кибитки.

– Что же дальше-то?

– Да что, дальше говорили такие речи, что и слушать нельзя было…

– Говорили, что кочевать довольно – больше нельзя… кочевать-то, – вмешался красный джигит, – что все кибитки они казенной печатью к степи припечатают, а кто печать сорвет, тому…

– Ну, ты не говори этого, я не слыхал ничего про печати! – остановил его Рахим-Берды.

– Да он не здесь, а там, около загонов, говорил… наши все слышали!

– Говорили, что пахать землю будут все киргизы с будущего года, это точно; ну, вот, что суд у нас и начальство будет совсем другое. Он пояснил мне, какое именно; да я, признаться, не понял… Ведь вот и не дурак родился, прислушивался, прислушивался – ничего не понял… Двое пошли кибитки считать, а сами уже ничего не видят, на ногах шатаются и все бумагу из рук роняют. Так ничего и не сосчитали!

– Сколько девок в ауле, принялись считать; наши джигиты вступились, насилу разняли! – опять вмешался красный джигит.

– Ну, я потихоньку собрал стариков на совет: обдумать надо было, что делать. Поговорили мы и порешили выпроводить их из аула туда, откуда приехали… А тут еще гроза поднялась: джигиты переполошились… как их унять? Ведь вот ты сам видел только что: опять было гудеть начали. Долго ли беду новую на степь накликать!.. Что мы перед вами? Все равно что вошь перед верблюдом… Пришел я к их старшему и говорю ему, что я ему по душе советую сейчас уехать и всех, что привез, опять с собой забирать. Тот на меня как крикнет: «А, ты бунтовать!..» И… эх, нехорошо… совсем нехорошо!..

– Ударил Рахим-Берды, кулаком по лицу ударил! – с таинственным ужасом, понизив голос, произнес Забык.

– Ловко! – крякнул Бурчепко.

– Ну, я и распорядился… Посадили их силой в их повозки, джигитов снарядили в конвой и отправили… Вы их, я думаю, встретили дорогой?

– Встретили… Что же, неужели без драки обошлось? Ведь их много было, опять казаки с ними были! – удивился Бурченко.

– Нет, Аллах не допустил… Они сильно оробели, когда к ним подступили наши!

– Один так все плакал, просил, чтобы его в Хиву не везли только! – засмеялся Забык.

– Я говорил ихнему старшему, что если им что нужно от нас, чтобы сами не ездили, а за мной прислали или за кем-нибудь из старших. Мы уж знаем, как говорить со своими. А то долго ли до беды!.. Ну, да теперь они больше не приедут! – самодовольно вздохнул старик.

– Приедут! – пророчески произнес Бурченко.

– Не приедут!.. У меня бумага такая есть, что не приедут…

– Какая такая бумага?

– А вот я тебе ее покажу!

Рахим-Берды отпер сундучок, стоящий у его постели, вынул оттуда кошель из красной кожи и начал его разворачивать. Он делал это медленно, обдуманно, тщательно раскладывая лопасти кошеля у себя на коленях.

– Вот она – эта бумага. Смотри!

Он показал восьмушку серой бумаги, тщательно исписанную узорными татарскими письменами.

– На, читай!.. – протянул он бумагу малороссу.

– Читай сам, я по-вашему не умею! – отвечал тот. – Читай громко, а я уж пойму все!

– Ну, хорошо, слушай: «Мы, имена которых стоят внизу, обещаем и клянемся нашими головами, душами и самим Богом, что вперед в аулы “Будугай Сабул Урунар” приезжать не будем и никаких неразумных слов там говорить тоже не будем, ибо от неразумных слов и неразумные дела делаются. Если же

мы слова своего не сдержим, то да низойдет проклятие Аллаха на наши лживые головы…»

За этой курьезной подпиской следовали подписи уже по-русски. Нетрудно было догадаться, что все фамилии были вымышленные. Внизу же красовалась большая форменная печать, оттиснутая черной копотью. Печать эта была приложена по настоянию Рахим-Берды, и уклониться от этого, вероятно, не было никакой возможности.

– Вот так документ! – развел руками Бурченко и расхохотался, да как! На всю кибитку и даже за ее пределы, потому что вслед за этим неудержимым взрывом самого веселого хохота за кошмами послышалась возня, и в той широкой щели, где соединяется крыша со стенками, замелькали десятки блестящих глаз и послышались отдельные вспрыски такого же веселого, добродушного смеха.

Подали ужинать. Целый баран, зажаренный в котле, был поставлен на треноге перед гостями. Султан Забык взял нож, обтер его об голенище своего сапога и очень ловко отделил голову животного. Это считается самым почетным куском и предлагается только гостю. Затем, согласно степному этикету, баран поступает в полное распоряжение гостя, который уже сам от себя распределяет блюдо между присутствующими. Бурченко, положив себе и Ледоколову мяса в отдельную миску из желтой глины, попросил хозяина избавить его от обязанности, налагаемой на него этикетом, и распорядиться ужином самому. Так и сделали.

– Какой же товар вы везете? – спросил хозяин своих гостей.

– А всякий, больше красный… Он другими дорогами идет, в караване!

– Гм!.. Что же, хорошо торговля идет?

– Ничего… торговать можно!

– Плохо! – неожиданно обрезал Рахим-Берды.

– Как так? – совсем уже удивился Бурченко.

– А так. Это мы лучше вашего знаем. Вот ты смотри: десять лет тому назад, когда вы еще за Ак-Мечеть[*;1] не переходили, у нас в кочевьях, в трех родах, четыре тысячи верблюдов считалось и никогда их при аулах не было. Еще за год всех нанимали под караваны. Приезжали караван-баши, задатки давали, и все лето ты бы не увидел у аулов ни одного верблюда, кроме маток да тех, что для своего обихода нужны: все в разгон уходили, и денег у нас было много. Один только наш род пятнадцать тысяч рублей в лето выручал за наем верблюдов. Не хватало верблюдов здесь – к Каратовским горам – вон, вишь куда – ездили нанимать. Ну, а теперь не то!

– Что же, меньше требуется?

– А вот завтра увидишь… На степи сколько их даром пасется – лишние остались. А держим мы их теперь меньше, чем держали прежде. Опять вот

* Нынешний форт Перовский.

весной мор на них был; у одного меня тридцать две головы пало. А все остались ненанятые… Сколько, бишь, у нас на нынешнее лето под русские товары ушло? – обратился Рахим-Берды к султану Забыку.

– Немного. Сот пять ушло; больше не ушло!

– Ну, вот оно и есть. А уж коли вы мало своих товаров к Бухаре везете, так и к вам повезут их немного… это верно… что за торговля против прежнего! Кумысу, чарагым*, из старых турсуков налей! – обратился он к прислуживающей женщине.

– Да отчего же это? Как по-вашему?..

– По-нашему?.. Гм!.. Отчего!.. Конечно, все от воли Аллаха. Без его воли ничего не бывает: ни худого, ни хорошего. Все от Аллаха!..

Говоря это, Рахим-Берды так шутовски улыбался, что называется, себе на уме, и эти умные, смеющиеся глаза ясно говорили: «Да, как же, от Аллаха! Есть, когда Аллаху в такие дрязги вмешиваться. Знаем мы отчего, а ты сам догадайся, коли знать тоже хочешь».

– Ну, коли хотите спать, я вам велел постели постлать в особой кибитке. Вас джигит проводит! – произнес Рахим-Берды.

– Тонкий намек! – заметил Бурченко. – Пойдемте! – обратился он к своему компаньону.

– Да пошлет вам пророк самых сладких снов, – напутствовал их хозяин. – Досщак, проводи купцов! – кивнул он красному джигиту.

Приятели поднялись, простились с гостеприимными старшинами и вышли. Они тотчас же заметили около одной из кибиток свой экипаж, охраняемый сидящим на козлах джигитом; около этой кибитки толпилось несколько женщин, хихикающих и подталкивавших друг друга при приближении русских купцов.

– Это они кибитку для вас ставили, теперь подарка ждут! – объяснил им джигит Досщак, заигрывая на ходу со степными красавицами.

– Тут один очень странный обычай есть, – предупредил Бурченко Ледоколова. – Вы, пожалуйста, не озадачьтесь очень и будьте вежливым кавалером!

– В чем дело?.. В чем?

– А вот увидите!

Гости прошли в дверь кибитки и начали осматриваться. Луна стояла прямо над головами и сквозь верхнее отверстие ярко освещала всю внутренность переносного жилища. На войлоке, застилавшем все пространство, обнесенное телегами, положены были одно на другое несколько ватных одеял и две цилиндрических полосатых подушки. Больше ничего в кибитке не было.

– Хорошо, что они на новом месте кибитку поставили: по крайней мере, блох меньше будет! – заметил малоросс. – Ну-с, раздеваемся и ложимся спать!

---

* Ласкательное слово, относится только к женщинам.

И он начал немедленно приводить в исполнение свое предложение.

– А приятно, после всех этих тревог, вытянуться эдак во всю длину! – зевнул Ледоколов. – Не то что скорчившись в тарантасе!

– Весьма приятно, да вы скиньте сапоги-то!

В кибитку, словно тени, неслышно прошмыгнули две женщины и, крадучись как кошки, подошли к постелям. В одной из них Ледоколов узнал ту самую, что просила у него подарка, когда тот только что вылез из экипажа.

– Что это они?

Ледоколов вскочил и удивленно смотрел на своего товарища. Тот хохотал, глядя на его изумленную фигуру.

– Ничего, успокойтесь и ложитесь, а эти красавицы будут чесать вам спину и пятки. Это самая утонченная любезность относительно гостя. Да чего же тут удивляться? Ведь Коробочка предлагала же Чичикову послать ему девочку почесать пятки![2]

– Ну, ложись, тамыр, ложись! – нежно ласкалась к Ледоколову смуглянка.

– Эх, хорошо, право! Это, знаете, действует довольно успокоительно, – лениво говорил Бурченко. – Выше немного… вот так!.. Пониже теперь – славно!

– Хи-хи… – подсмеивалась киргизка, – а что подаришь?

– А вот увидишь!

Он зевнул во весь рот, так, что чуть челюсти не вывихнул, и стал засыпать.

Ледоколов тоже решил «в чужой монастырь со своим уставом не соваться».

На другой день Бурченко, с помощью султана Забыка, нанял верблюдов вплоть до Сырдарьинских фортов, и путешественники оставили «взбунтовавшиеся» аулы. Рахим-Берды оказал своим случайным гостям последнюю вежливость: он проводил их верхом со своими джигитами верст за десять от кочевья и дорогой, показывая направо и налево, все говорил: «Вон еще пасутся наши верблюды, а вон еще, видите, вон там, за этой лощиной? Это все остались свободные, ненанятые…»

У кургана, вершина которого занята была старой могилой какого-то давно скончавшегося степного батыра, хозяин и гости расстались, и каждый поехал своей дорогой: один назад, к себе в аулы, другие прямо в степь, всю изжелта-серую, знойную, с бесконечным горизонтом, вечно дрожащим однообразно монотонным миражом.

XIII. ОБРАЗЦЫ САМОГО ТОЧНОГО ПЕРЕВОДА С КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Дикая пустынная страна. Кругом, куда только ни достигает глаз утомленного путешественника, все одни пески, пески. То словно окаменевшие в минуту бури морские волны, то словно покойные, гладкие поверхности озер, обрамленные плоскими, низменными берегами, однообразно желтые,

накаленные так, что едва выдерживает привычная босая нога полудикого киргиза, и трескается пересохший рог конского копыта – почти лишенные всякой растительности, мертвые пески…

Кое-где, сквозь песчаную кору, пробивается что-то буроватое, сухое, выгоревшее: это жалкие остатки жалкой степной флоры. Там и сям шмыгают, бороздя сыпучую почву, такие же бесцветно-желтоватые головастые ящерицы, и только быстрое движение да легкий шелест выдают их присутствие…

И воздух неподвижный, мглистый, пышущий расслабляющим жаром, словно замер над мертвой местностью, и не видно в нем ни одного облачка, ни одной летящей птицы, словно все живое бежит отсюда и далеко обходит и облетает это проклятое место, пробираясь в другие, более счастливые страны.

Только человек проложил себе путь через эту пустыню, и тянется узкой полосой почтовая дорога, взбираясь на наносные барханы, спускаясь в ложбины, огибая сыпучие откосы…

Вершины двух закопченных, темно-бурых кибиток виднелись из-за гряды песка, пересекающей наискось дорогу. Песок здесь был сильно утоптан, на нем виднелись следы колес, конский и верблюжий помет, кучки золы, остатки костров, на которых прохожие варили себе чай, рассохшаяся ступица тележного колеса, обглоданные кости и многое тому подобное, свидетельствующее о том, что здесь иногда собирается довольно многочисленно общество.

В одной из кибиток жили четыре казака-уральца, другая предназначалась для проезжающих – это была почтовая станция, одна из тех, о которых с таинственным ужасом говорят еще в Самаре и Оренбурге едущие в степь семейные и не семейные переселенцы…

Один из казаков, в одной рубахе, сидел у входа в желомейку и чинил седельный потник, другой варил что-то в котле, мешая щепкой, двое остальных спали в желомейке, разметавшись крестообразно под влиянием удушливого жара. Лошади, оседланные и стреноженные, бродили около, подбирая своими губами какие-то былинки и обнюхивая остатки костров; и прислушивались они по временам, что за непривычный гул и говор несется оттуда, вон из-за тех барханов, где в глубокой ложбине вырыты два степных колодца, к которым их водят поить и откуда на их спинах привозятся тяжелые турсуки с солоноватой водой на разную хозяйскую потребу. А там вот уже четвертый день собралось большое и шумное общество и расположилось лагерем по дну ложбины, окружив кольцом зияющие отверстия колодцев.

Слух прошел по степи, и от начальника, что живет в Казале, тоже пришли вести – и взбудоражились аулы, ближние и дальние, выслушав присланных из уезда гонцов.

Какое-то очень важное лицо должно было проезжать через Кара-Кумы; и вот представители аулов и разных кочевий, кто за сто, кто за полтораста

верст, а кто и далее, собрались к почтовой станции заявить проезжему свое сочувствие и благодарить за разные льготы и милости.

В рогатых войлочных шапках, в меховых малахаях угрюмо сидели они на песке, подостлав под себя конские попоны и верблюжьи халаты. Отощалые кони их стояли на приколах и дремали; штук десять верблюдов бродили между барханами, неподалеку дымился полупотухший костер из высохшего помета, над костром прилажен был плоский котел, и шевелилась в нем, закипая, какая-то беловатая масса. Кальян дымился кое-где, и слышалось его хрипение; на темноватом фоне сырого песка сверкали медные кунганы-чайники, и одиноко стояли два оловянных блюда и круглый медный поднос с черствыми, совершенно высохшими лепешками и несколькими пригоршнями заплесневелого изюму и кусками наколотого сахара – это были приношения высокому проезжему, местная хлеб-соль, которую должны были поднести старейшие из представителей; седобородый Измаил-бай, высокий, тощий, высохший, словно мумия, и такой же черный Ибрагим-мулла, дюжий Гайкула, с лицом, изборожденным злой оспой, и ученый Ахмат, знающий не только что десять стихов Корана, но даже умеющий подписать свое имя целиком, там, где его товарищам приходится по неграмотности прикладывать только свои сердцеобразные родовые печати. Этому самому Ахмату поручено было и говорить с начальником, давать ему ответы за себя и всех остальных представителей.

Вот уже четвертый день сидят здесь кочевые депутаты; скука их одолела страшная, тоска… голод начинает ворочаться в их выносливых желудках: провизия на исходе; из четырех баранов, приведенных для подарка проезжему, только два остались: один сдох, должно быть, гадина какая укусила, а другого вчера зарезали… Никак не ожидали киргизы, что им придется ждать так долго… и в крайности уже покусились на жизнь пешкешного (обреченного в дар) животного.

Угрюмо, тоскливо глядели загорелые, типичные лица. То поглядывали они на вершину бархана, где неподвижным силуэтом рисовался сторожевой киргиз, то прислушивались они, затаив дыхание, не звенит ли где далекий колокольчик, не слышится ли стук экипажных колес по твердой, улежавшейся степной дороге.

Спокойно сидит, даже дремлет сторож: видно, ничего он не видит, кроме песка да знойного неба, ничего не слышит привычное ухо, кроме фырканья лошадей да чахоточного чихания овец, косматыми комками свернувшихся около блюд с хлебом-солью.

И снова погружались в немое созерцательное состояние угрюмые киргизы, пока какой-нибудь подозрительный звук не выводил их из этой томительной неподвижности.

– Пыль поднялась на дороге. Русская арба едет! – крикнул сторожевой, и разом всполошился весь лагерь.

– А, ну слава Аллаху; дождались таки! – вздохнул Измаил-бай.

– Пророк еще не совсем прогневался на нас! – произнес грамотей Ахмат.

– Ге! Шайтан! – выругался не без удовольствия корявый Гайкула, надевая поверх своего верблюжьего красный суконный халат, обложенный по бортам позументом.

Все остальные тоже поспешили надеть цветные халаты.

– Стой, слушайте, что я говорить буду, слушайте! – кричал, размахивая руками, грамотей Ахмат. – Сперва все кругом становитесь, вот так: ты, мулла, здесь, ты, Байтак, сюда… Назар-бай правее, вы все сзади. А ты, Измаил-бай, ты старше всех, – спереди с блюдом; я около тебя, Ибрагим-мулла слева… ну, так, хорошо…

Ахмат окинул глазом всю картину и, по-видимому, остался совершенно доволен.

– Как только начну я, – продолжал он, – а начну я так: «Высокопоставленный, многомудрый, извергающий разум и благочестие…» Вы сейчас большой «хоп» (поклон) и головы вниз, так и держите…

– Баранов кто держать будет? – спросил кто-то из молодых киргиз.

– Баранов сюда, баранов вперед тащи, чтобы сразу видно было, – сюда тащи…

– Господи! Пронеси грозу и пошли нам всякие милости. Пророк великий, напусти мягкодушие в сердце большого начальника!

– *Прежний* был сердит, а про *этого* беда, что говорили в городе! – тихо шептал кто-то сзади.

– Аллах не без милости…

– Никто, как он!

– Так все и пойдем на станцию. И как только тюра полезет из арбы…

– Сюда идут! – крикнул испуганный, тревожный голос…

Холодный пот выступил под теплыми халатами представителей. Седобородый Измаил-бай чуть было блюдо из рук не выпустил и с недоумением смотрел на заправлявшего встречей Ахмата, а тот, совсем растерявшись, глядел вперед, в ту сторону, где чернели верхушки станционных желомеек.

Ахмат думал в эту минуту: «Что же это такое? Где же это слыхано, чтобы сам начальник, сам великом…»

Два наносных бархана сошлись почти вместе, образовав между собой узкую, извилистую лощину, по дну которой шла дорожка, соединяющая станцию с колодцами. По этой дороге шли две фигуры: обе в простых парусиновых пальто, в белых фуражках, в высоких охотничьих сапогах и с дорожными сумочками через плечо.

– Великий, многомилостивый, извергающий раз…

Бурченко фыркнул, Ледоколов долго крепился и, наконец, разразился неудержимым смехом.

Представители смутились и начали переглядываться. Подозрительные киргизы догадались, что дело не совсем ладно, и инстинктивно почувствовали, что промахнулись.

А дело вышло очень просто. Тарантас Ледоколова принят был сторожем за экипаж ожидаемого лица.

– А что, лошадей не дадут нам? – спросил Бурченко казака, чинившего потник.

Тот поглядел на спрашивающего, видит – не военный, церемониться нечего.

– Известно, не дадут, да и взять-то неоткуда!

– Что же так?

– Не велено – генерала ждут!

– Вот как! Что ж, долго ждать будут?

– Неизвестно. Вон там, у колодцев, давно уже ждут, четыре дня пятый; может, еще прождут неделю!

– Это долго!

– Ничего не поделаешь. Приказание такое есть, чтобы пока генерал не проедет…

– Я предупреждал вас, – обратился Бурченко к своему путевому товарищу. – Надо было по аулам ехать: долго, зато вернее. Ну, да это для кого другого, для нас дело поправимое… Кто же это ждет там у колодцев?

– Епутаты!

– Какие депутаты?

– От орды, со всякого кочевья старшины собраны… велено им ждать и хлеб-соль поднести. Вот они, сердечные, теперь и маются!

– Знакомые порядки… Вы видали когда степных депутатов?

– Нет, не случалось! – отвечал Ледоколов.

– Пойдем смотреть… это очень интересно. Я постараюсь устроить дело так, что эти депутаты помогут нам в дальнейшем нашем движении!

Спутники вылезли из тарантаса, отряхнулись, попросили казака тем временем вскипятить чайник, за что уралец принялся с видимым удовольствием; он сообразил, что тут представится возможность и ему напиться чаю, да, может быть, еще и чего другого, – и пошли по дороге к колодцам.

– Однако, их немало! – удивился Ледоколов, заметив еще издали волнующуюся толпу.

– Знакомые порядки. Вот посмотрите, сегодня или завтра переводчик с казаками приедет… Ах, шуты, они нас за генерала приняли. Вот комедия!

– Не может быть!

– Чего, не может быть: выстроились в порядок…

В эту минуту грамотей Ахмат начал свою приветственную речь.

– Будьте здоровы, да пошлет вам Аллах всяких благ! – произнес Бурченко оратору.

– Будь здоров и ты… – сказал тот.

Киргизы окружили приезжих.

– Ты кто же такой? Ты ведь не большой тюра? – спрашивал Измаил-бай. – Ты передовой от него, что ли?

– Нет, мы так, сами по себе. Кто мы такие, спрашивают! – заметил Бурченко товарищу.

– Понимаю!

– Мы простые люди, маленькие, едем по своему делу…

– Савдагур (купцы)?

– Купцы…

– А мы вас за того приняли. Что же, он скоро приедет? Вы из той стороны?

– Нет, мы из степи, да, впрочем, слышали, что скоро: дня через два!

– Вой-вой! Что же мы есть будем? – воскликнул Ибрагим.

– Осторожней, – шепнул ему на ухо Ахмат – кто их знает, что за люди; может…

Он шепнул ему что-то такое, от чего Ибрагим вдруг замолчал и стал прятаться в толпе.

– Это ты напрасно его пугаешь, – заметил движение Ахмата Бурченко, – мы не лазутчики, а люди хорошие, вот спроси, Батуйка с нами приехал, он знает!

Грязный, лоснящийся от сала молодой киргиз подошел к толпе, едва передвигая ногами в спущенных шароварах.

– Да кто вас тут разберет!.. – недоверчиво произнес Ахмат. – А ведь нам уже не раз доставалось; мы тоже народ травленый!

– Осторожность не мешает. Что же, долго вы тут ждете-то эдак, всем обществом? Да что же мы стоим – мы сядем!

Он сел на песок, Ледоколов тоже, киргиз Батуйка лег на брюхо, у самого колодца, где песок был сыроватей и прохладнее; подумали, помялись киргизы и тоже уселись в кружок.

– Долго ждем! – лаконически ответил корявый Гайкула.

– Так, а скучно, надоело, думаю?..

– Нет, такая великая особа, ждать нужно…

– Да полно грязь глодать (лгать). Вот нам самим ждать приходится – беда!..

– А нам не беда? – проговорился Ибрагим.

– Смерть! – подхватил кто-то сзади всех.

– Ну, вот так-то!

– Эх, – воодушевился разом Ибрагим. – Вот я из своего аула пять дней ехал, да здесь пятый сижу, да, может, ждать сколько буду, да назад пять дней, а дома, без хозяина, что будут жены делать с одними работниками… Лошади мои отощали; разве на этом корме может прожить скотина? – Ибрагим указал

на барханы. – А с собой взять много нельзя было, то есть оно можно, да разве мы знали, что нас за тем требуют, чтобы мы здесь на песке даром сидели?

– Конечно!

– А вот как я выехал, слух такой прошел, – перебил Измаил-бай, – что на «Барсуки» пришли барантачи хивинские. Мой аул в той стороне; я ничего теперь не знаю, что там делается? Может, что такое, что… Эх, как подумаю…

Слезы зазвучали в дрогнувшем голосе старика.

– У меня перекочевка началась, – говорил Гайкула, – а тут сюда вытребовали, просто беда. Да и без баб скучно…

Один только осторожный Ахмат не высказывал никаких жалоб и все еще подозрительно смотрел на русских, особенно на Ледоколова, лицо которого почему-то казалось ему более официальным.

– А вот вы возьмите да и пожалуйтесь начальнику, когда тот приедет…

– Что ты!.. Мы тоже свои головы бережем; *этот* проедет в Ташкент, а наш с нами останется. Мы вот тут сидим, у себя по аулам, а головы наши *там*!

– Как знаете, а мой совет: пожалуйтесь; все, что знаете дурного, все и расскажите…

– Не поможет; только себе беду наживем!

– Слушайте вы. Я вот вам говорить буду… Может ли быть такая сторона, чтобы только одни хорошие люди жили? Везде бывают и худые, и хорошие, и, пожалуй, что худых больше. Вы вот жалуетесь, что вас жмут, а самому большому начальнику сказать боитесь. Откуда же он узнает? А вы все расскажите: этот, что едет, – я знаю его – человек добрый и вам худа не желает, он вас выслушает, дело разберет, и тот, кто прав, правым и останется, а виноватого, может, по шапке погонят. Это верно!

– Да, верно, верно-то оно верно, да страшно!

– Да, по мне, как хотите, я говорю для вашей же пользы. А только случая вам упускать не следует, другого такого нескоро дождетесь. Я вам говорю. Эти бараны у вас для чего?

– На поклон привели…

– Вот вы жалуетесь, что провизия вышла у вас, а это что? Зарезали бы их обоих и съели!

– А генералу?

– Ему этого не надо. Он только правду любит, а баранов у него, пожалуй, больше вашего…

– Мы и так хотели, было, одного прирезать сегодня, да страшно было!

– Катайте без страха. Нас вот угостите. Батуйка, кати арбу нашу сюда: все равно там толку никакого не будет!

Батуйка позвал с собой еще одного киргиза и потащился на станцию.

Не прошло и часу, как Бурченко снискал себе полнейшее расположение всего общества. Бивуак у колодцев оживился, тарантас был привезен, баран

зарезан, и Бурченко собственноручно принялся жарить шашлык, распространявший вокруг себя самый гастрономический, аппетит возбуждающий запах.

Даже подозрительный Ахмат разговорился и принялся расспрашивать Бурченко о всех подробностях их степного путешествия.

– Вот видите, – говорил малоросс Ледоколову, – другие скучают на станциях, а мы вот окружены самым аристократическим киргизским обществом, банкет вот собираемся учинить. Что, кипит вода? – отнесся он к киргизу Батуйке.

– А у вас тут важно, господа поштенные! – подъехал верхом уралец со станции. Он гнал перед собой остальных лошадей к колодцам для вечернего водопоя.

– Ничего, к нам милости просим! – пригласил его Ледоколов.

– А мы, было, там чайничек вашему степенству приготовили, – замялся казак, – там вот и товарищи…

– Зови всех сюда!

– А станция как же?

– Кто ее украдет?

– Ну, ладно, я там одного на всякий случай оставлю, все надежнее будет!

Казак напоил лошадей и погнал их к желомейкам.

– Ведь вот между вами много хорошего народу есть! – наивно произнес старик Измаил-бай.

– А что же вы думали, что только киргизы люди хорошие?

– Нет, не то. Зато и худые есть у вас, такие, что его волком назвать только можно; да что, хуже всякого волка: от того палкой отбиться можно, да он и робок…

– А эти не робки? – Бурченко усмехнулся, припоминая схватку на станции «Сары-су».

– Эх, да что и говорить!

– Солдат ваших много очень шло в прошлом году… – заметил Ибрагим. – С эмиром бухарским воюете?

– Это не по нашей части, наше дело торговое! – уклонился Бурченко.

– Нет, вот как наша сотня, с эсаулом Серовым, под Иканом в передел попала…[1] – начал уралец с георгиевской петличкой на армячинной рубахе.

Он воспользовался случаем, чтобы похвастаться перед проезжими.

– А ты был под Иканом?

– Как же. Окружили нас со всех сторон… ни взад, ни вперед

– Да ты говори по-киргизски; ведь умеешь? И они послушают! – Бурченко указал на киргиз.

– По-киргизски не так складно выйдет, а я могу!

Послушали уральца, как он рассказывал про иканское дело. Оказалось, что киргизские старшины знают все подробности лучше самого очевидца и участника.

– У них изустная передача всяких вестей так устроена, что вся степь узнает о происшествии прежде, чем дойдут почтовые сведения, – пояснил Бурченко Ледоколову. – Лучше всяких газет, просто телеграммы, да и шабаш!

У кого-то нашлась киргизская балалайка – сааз; это разнообразило импровизированный вечер. Только жаль, что темно было совсем: огня такого, чтобы распространял свет на значительное расстояние, нельзя было разложить, по недостатку горючих материалов, а сухой помет только тлеет и, хотя дает значительный жар, зато не дает свету. Верблюдов собрали и уложили рядами, подсыпав им под морды саману (рубленой соломы), и начали укладываться спать. Ледоколов со своим товарищем опять забрались в тарантас.

Весь лагерь погрузился в глубокий сон: заснули люди, заснули верблюды, тяжело вздыхая во сне и пережевывая свою вонючую жвачку, заснули и лошади, растянувшись на песке… А из-за бархана, в глубокой темноте, мелькнула пара огненных точек, мелькнула еще одна, еще… То поджарые степные волки, почуяв мясной запах, подобрались потихоньку к лагерю и поглядывали издали на уцелевшую, единственную овцу, не решаясь очень уж близко подходить к такому многолюдному сборищу.

К рассвету поднялась тревога на станции: приехал переводчик из Казалы, с ним пришла полусотня казаков и привели упряжных казачьих лошадей для подъема генеральских экипажей, – роскошь, которую позволяли себе только самые крупные сановники; остальные же должны были довольствоваться загнанными и все еще полудикими киргизскими лошадьми и верблюдами.

В этом крае создался совершенно оригинальный административный тип переводчика, лица, по-видимому, самого незначительного по роду своей служебной деятельности, но на самом деле не такого маловажного, как это кажется сначала. Там, где власть находится в руках лиц, незнакомых с местным языком, переводчик-толмач – все: он не только передатчик воли и распоряжений начальства, он бесконтрольный истолкователь того и другого, он неизбежный посредник между жалующимся и лицом, которому приносится жалоба, он докладчик по всякому делу, возникшему между туземцами. Киргиз, вовсе не знающий русского языка, русский, не знающий киргизского, – переводчик между ними, и ему открывается обширное поприще эксплуатировать и того, и другого. Сами они все без исключения азиаты, получившие свое образование в России. Хитрые и пронырливые, они с арабской покорностью и предупредительностью почти пресмыкаются пред представителями русской власти и надменно, с самым наглым презрением относятся к зависящим от них туземцам…

Понятно, что всякий туземец, имеющий хотя какое-нибудь дело до представителя русской власти, спешит снискать расположение и покровительство толмача; в этом покровительстве залог к успеху, и ничего не жалеет степной кочевник, чтобы только задобрить какого-нибудь тюра-толмача Бей-Булатова или тюра-толмача Султан-Кучукова и братию…

Сопровождая всюду своего начальника, который без переводчика не может ступить шагу, он заменяет для него все: и домашнего секретаря, и письмоводителя, и адъютанта, и ближайшего наперсника во всех интимных сделках, и мало-помалу переводчик, забирая в свои руки концы от разных запутанных узелков, крепко держит эти концы в своих цепких руках, зная, что этим самым он держит в руках своего патрона, а значит, становится лицом, на деле первенствующим, хотя при разных официальных выходах занимающим самую пассивную роль.

Вот такой-то переводчик и приехал на рассвете на станцию и, пригревшись под теплой шинелью военного покроя, зевал и потягивался, лежа в своем тарантасе.

Конвойные казаки вываживали усталых, замыленных лошадей, станционные казаки возились у огня, кипятя для приезжего воду; урядник – он же и временный смотритель почтовой станции – почтительно стоял у подножки экипажа, неловко приложив кисть правой руки к надорванному козырьку своей фуражки.

– Кто такие? – слышался из тарантаса охрипший от сна и выпивки голос.

– А не можем знать, говорят, купцы!

– Гм, из Оренбурга, что ли?

– Не сказывали!

– Что же, раньше генерала, что ли, выехали или обогнали где на пути?

– Из степи приехали, не по тракту, на вольных!

– Что за черт! Где же они теперь?

– Там, с епутатами у колодцев; прикажете позвать?

– Позови…

– Эй, Миронов, беги к колодцам, скажи купцам: начальник, мол, требует, чтобы живо!

Один из казаков побежал к колодцам.

– Гм, что-то подозрительно, что такие за купцы?

– Одежда немецкая, с лица словно как не из простых…

– Помыться приготовь…

– Пожалуйте-с!

Худенькая черномазая фигура, с азиатским типом лица, с заспанными, оплывшими глазами, прорезанными несколько наискось, в форменном грязном кителе с обер-офицерскими погонами и в шароварах туземного покроя, приподнялась в тарантасе, осмотрелась и занесла ногу через облучок, ощупывая экипажную ступеньку.

– Подмести хорошенько вокруг кибиток; золу убрать! Это что там за падаль валяется? Оттащить подальше, чтобы не видно было! – распоряжался переводчик, сидя на облучке. – Баулин, чай завари, водку достань из погребца

Распоряжения черномазого человечка исполнялись быстро.

– К полудню районный начальник приедет генерала встречать. Сам генерал к ночи быть должен, по нашему расчету. Там ковры привезены; постлать их в желомейке и стулья поставить складные. Да что же купцы не идут?

– Миронов, что ж ты: что же купцы? – засуетился урядник, заметив вернувшегося посыльного.

– Да не идут! – замялся тот.

– Как не идут? – кинулся на него переводчик.

– Так точно; говорят, нам нужды нет никакой, а коли ему нужно, пусть сам придет!

– Гм… Так и сказали?

– В самый раз!

«Подозрительно… купцы ли?» – подумал переводчик; у него уже начали созревать кое-какие соображения.

– Вся орда сюда валит, ваше благородие!

– А ну, хорошо, хорошо… шапку подай из тарантаса… шапка моя где? Погляди, там, должно быть, завалилась…

Он занял место на ковре, разостланном перед входом в желомейку, и важно развалился, приготовясь встретить подходящую толпу.

Яркими, цветными пятнами рисовались халаты представителей на бледно-желтом фоне песков. Этот красивый контраст еще более усиливался от сравнения со скромной, серенькой одеждой казаков. Верхушки вышитых золотом, высоких, остроконечных шапок, широкие галуны[2] и шитье халатов сверкали и искрились, залитые лучами восходящего солнца, суровые лица смотрели важно. Киргизы шли, не торопясь, спокойной, степенной походкой, и, подойдя шагов на десять к желомейке, поклонились, положив руки на желудок, произнесли короткое приветствие и сели.

– А, здорово, знакомые все! – весело говорил переводчик. – Ну что, пришлось ждать долго? Что делать, служба. Я вот тоже жду; ну, да сегодня вечером приедет. Эй, там, пошлите казаков бурьяну и колючки нарвать по барханам побольше, чтобы было чем огонь поддержать; неравно подъедет к ночи, чтобы светло было…

– Да ты вот пять часов ждать будешь, а нас пять дней заставил. Все мы должны были бросить… – начал Ибрагим-бай.

– Что?.. Еще скажи спасибо, что только пять. За месяц притяну – все ждать будете…

– Твоя сила!

– То-то моя. Заранее не собрать вас, так потом, когда надо, никого не разыщешь. У тебя сорок кибиток перекочевали к хивинцам, на ту сторону. Чего смотрел?

– А я что могу сделать? – оправдывался старик Измаил-бай. – Наш народ все равно что птицы: где ему лучше, туда и идут!

– А ты за всех платить будешь. Эту подать на остальных разложу; так и скажи!

– И остальные, пожалуй, уйдут!

– Да ты что-то разговаривать стал много! Я ведь кое-что слышал. Гляди, старый, несдобровать тебе… пришлем казаков в аулы – хуже будет!

– Твоя сила! – лаконично ответил и этот.

– За верблюдов кто в крепость присылал деньги спрашивать? – пытливо посмотрел переводчик прямо в глаза ученого Ахмата.

– Я не от себя, я за своих не требую, другие с меня спрашивают. Ты, говорят, собирал с нас верблюдов казенную крупу перевозить… ты и поди, получай деньги…

– Я им такие деньги заплачу!.. Прошлогоднего захотели? – намекнул переводчик на какое-то событие.

– Сохрани и помилуй Аллах!

– Да вот еще что; из какого это аула… э… гм…

Переводчик замялся; он заметил Ледоколова и Бурченко, подходящих к общей группе.

– Эти? – шепнул он уряднику.

– Они самые! – ответил тот, также шепотом.

– Э, здравствуйте, господа! – раскланялся переводчик, не меняя позы. – Мое почтение…

Ледоколов и Бурченко приподняли фуражки.

– Позвольте отрекомендоваться: переводчик районного начальника, хорунжий Маслак Бутузов!

Наши приятели назвали свои фамилии.

– Очень приятно. По своим делам едете или имеете какое поручение?

– По своим!

– Интересную страну посетить вздумали; впрочем, с вами, если не ошибаюсь, имел уже случай встречаться в этом крае?

Хорунжий Маслак Бутузов обратился к Бурченко.

– Да, я уже здесь бывал; может, и виделись где… Генерала поджидаете? Встречу на рубеже, так сказать, устраиваете? Это хорошо!

– Представители туземного населения заявили свое желание видеть его превосходительство. Вот за сколько верст собрались, руководимые единственно… Народ, знаете, признательный, чувствуют… Чаем позвольте просить…

– Благодарю вас, пили, а впрочем…

Все трое уселись на ковре. Казак-уралец приготовлял посуду; туземцы сидели поодаль, полукругом, и молча наблюдали за русскими. Казаки возились, приводя в порядок поблизости станционных кибиток… Синеватые тени в лощинах исчезали мало-помалу, по мере того, как выше и выше подымалось

солнце. Начинало сильно припекать. Вся компания перебралась под спасительную тень желомейки.

Было далеко за полдень. Жара стояла невыносимая. Шестерик казачьих лошадей, дружно натянув веревочные постромки и уносы, тащил по глубокому, сыпучему песку тяжелый дормез, сверкавший на солнце своими стеклами. Впереди тихонько, чуть-чуть рысцой, шел небольшой казачий конвой; на длинной палке у одного из рыжебородых уральцев трепался красный значок с вышитым наискось белым крестом; казачий офицер, а за ним трубач на прихрамывающей серой лошади ехали у самой дверцы дормеза. В экипаже полулежал старик с седыми усами, в белой фуражке с большим козырьком, и дремал над какой-то немецкой книгой; на передней лавочке сидел молодой офицер-адъютант; судя по его слипающимся глазам и конвульсивной зевоте, от которой он, впрочем, удерживался, его одолевала самая сильная сонливость, но он боролся с ней довольно успешно и ограничивался только тем, что почтительно клевал носом.

За этим дормезом тянулся четвериком еще большой тарантас с фордеком[3], за ним еще несколько троек и в заключение большая русская повозка форменно-казенного образца с походной кухней. Поезд замыкался еще конной группой казаков, растянувшейся длинной вереницей по пустынной дороге.

Медленно тянулся этот поезд, уныло брякали разнообразные колокольчики, лениво покрикивали казаки-погонщики на своих усталых лошадей. На всех лицах было написано только одно: «Эх, да когда же мы, наконец, доберемся».

– А что, скоро, брат, станция? – спрашивал генеральский денщик, сидевший на козлах, казака-кучера.

– Не скоро… Вот видите эти мазарки? – Он указал на чуть желтеющие вдали, на высоком бархане, могилы номадов. – Мы мимо них поедем; так когда поравняемся с ними, двадцать три версты еще останется…

– Занесла нелегкая в проклятую сторону! То ли дело у нас в Питербурхе или даже в Польше… прекрасно!

– Известно, степь…

– Степь! – вздохнул денщик. – Прикажете?

Он вытащил из кармана две папиросы: одну закурил сам, другую предложил казаку.

– Мы старой веры… табаку не курим!

– Напрасно; от скуки – первый сорт!

В следующем экипаже две какие-то весьма солидные по виду личности, положив к себе на колени кожаную подушку, играли в штос[4]. Во всех остальных тарантасах поголовно спали.

Долго ехали таким образом. Солнце начало садиться, и красный кровавый свет скользнул по вершинам барханов и ярким пятном отразился на стенах старых гробниц. Поезд проезжал почти у подножья бархана, занятого могилами, и на лиловом фоне вечернего неба резко очерчивались ярко освещенные фронтоны, зубцы и купола своеобразных сооружений.

– Необыкновенно оригинально и эффектно! – заметил старик, выглядывая в окно дормеза.

– Поразительно, ваше п–во! – поспешил согласиться встрепенувшийся адъютант.

– Позвольте… вы ставите угол от дамы, все это насмарку и по рублю очко?

– Да-с, и по рублю очко-с… – доносилось из второго экипажа.

Наступила ночь, зажгли фонари, осветилось внутри экипажей. Громадный дормез с ярким рефлектором-фонарем наверху казался в темноте каким-то одноглазым чудовищем.

Лошади, освеженные немного ночной прохладой, пошли бодрее, и скоро вдали заалелись на горизонте красноватые пятна. Это было зарево костров, зажженных по распоряжению хорунжего Маслака Бутузова.

Оригинальная, живая картина представилась глазам путешественников, когда усталые лошади остановились на дороге против станционных кибиток.

Шесть громадных костров окаймляли ярко освещенное довольно большое пространство. Посредине стояла желомейка, полы которой были откинуты, и там пестрели полосатые и узорные ковры, тянувшиеся полосой вплоть до самого генеральского экипажа; по одной стороне, вытянувшись в ряд, стояли представители кочевого населения; Измаил-бай и Ибрагим держали в руках блюда, Ахмат стоял, выдвинувшись немного вперед, готовый разразиться речью. Районный начальник и переводчик, оба в мундирах, стояли с другой стороны; за бортом первого торчала аккуратно сложенная бумага. Казаки, сидя на конях, выстроились фронтом по дороге и в третий раз повторяли какое-то приветствие, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме возгласов раз, два и еще чего-то, кончавшегося протяжным …ством.

Старик вылез из дормеза, коснулся рукой козырька своей фуражки и подошел к туземцам усталой, неловкой походкой, расправляя на ходу онемевшие ноги. Адъютант запутался в дверцах своей саблей и освобождался с помощью денщика.

– Ну, здравствуйте! – произнес старик и ласково взглянул на суровые лица представителей.

Хорунжий Маслак Бутузов стал около генерала.

– Скажите им, что я приветствую их и желаю им всякого благополучия!

Хорунжий перевел.

– Великомудрый, высокопоставленный, извергающий разум и благочестие… Мы все, униженные рабы твои… – начал Ахмат, замялся, потупился и замолчал.

– Дурак! – шепнул ему по-киргизски переводчик.

Вдруг быстро выдвинулся Ибрагим, взглянул на переводчика, и глаза его сверкнули недобрым огнем.

– Мы ждали тебя, мы слышали, что ты добрый человек и не дашь в обиду тех, над кем ты поставлен! – начал Ибрагим.

– Что он говорит?

– Рады приезду вашего п–ства… – заикаясь перевел хорунжий.

– Прижали нас так, что нам и солнце не в радость, – продолжал Ибрагим, воодушевляясь все более и более. – С нас берут все, что взять только можно, нам же не дают, чего следует; и не допросимся, а поедешь просить – беды наживешь и на себя, и на весь род свой…

– Целую неделю мы ждем твоего приезда, согнали нас издалека; а дома без хозяев, сам знаешь, как идет дело, – выдвинулся, в свою очередь, седобородый Измаил-бай.

– Голодали мы здесь, лошадей своих поморили…

– Говорит, что живется им хорошо, благодаря начальству, – перебил Маслак Бутузов, загородив оратора. – Обещают молиться Богу за долгоденствие вашего п–ства и всего семейства вашего…

Из темноты выдвинулся Бурченко и стал шагах в трех от генерала; за ним чернелась борода Ледоколова.

– Хивинские барантачи наедут, беду какую-нибудь на дороге сделают, а мы отвечаем, на нас все свалят, мы, говорят, в степи неспокойно сидим, а мы от тех барантачей больше сами терпим, чем русские караваны! – говорил Измаил-бай.

– Ну, будет же вам беда, погодите! – шептал переводчик.

Районный начальник видел и догадывался, что дело идет скверно, совсем не так, как он предполагал, и стоял весь бледный, с отвислой нижней губой; колени его тряслись и колотились одно о другое. Рапорт о благосостоянии района выскользнул из-за борта и лежал на песке, рисуясь белым четырехугольником.

– Они говорят… говорят, что так довольны, что и сказать не могут, – пустился напропалую хорунжий Маслак Бутузов. – Они просят только об одном, чтобы милость начальства и вперед была над ними и что лучше того, что теперь, они и не желают…

– Ну, что вы врете? – неожиданно, как бомба, пробившая потолок, раздался голос Бурченко.

Пристально посмотрел генерал в ту сторону, улыбнулся и произнес:

– Подите сюда!

– Я хорошо знаю туземный язык, так же, как и свой; я слышал все, что говорили вот эти… – Бурченко указал на киргизов. – Они приносили вам самые возмутительные жалобы, они говорили не красно, половины, какое! десятой доли не высказали того, что хотели! Позвольте мне заменить теперь место переводчика!

– Кто вы такой?

– Отставной поручик Бурченко, еду по своим делам. Сюда попал случайно!

– Передайте им, что могут ехать с Богом по своим аулам; чтобы ничего не боялись, чтобы впредь все говорили, что им нужно; скажите им, что я пришлю своего чиновника, который разберет все их жалобы и который им никакого зла не сделает!

Бурченко передал депутатам слова генерала. Все просияли и вдруг все разом повалились в ноги.

Один из тех чиновников, что ставил по рублю очко, притащил из тарантаса довольно тяжелую шкатулку и начал ее отпирать. Два казака принесли из другого экипажа большой чемодан с почетными халатами.

Каждому из киргизов надет был на плечи цветной халат с галунами и дана медаль на красной ленте. Халаты оказались малы и висели на дюжих плечах представителей словно гусарские ментики; бронзовые медали так ярко, так приветливо блестели, и блеск этих медалей, казалось, отражался на просветлевших лицах наивных кочевников. Они были счастливы совершенно, они забыли о всех своих невзгодах и действительно с каким-то благоговением смотрели на старика генерала.

– Лошади готовы, ваше п–ство! – гаркнул сзади начальник конвоя.

– Я надеюсь еще видеть вас! – отнесся старик к Бурченко. – Передайте же им, чтобы ехали себе с Богом! – еще раз повторил он и, не обращая внимания на районного начальника и его толмача, сел в дормез.

Поезд тронулся и мало-помалу исчез во мраке, мигая изредка вдали красноватыми точками фонарей.

Киргизы быстро отошли к колодцам; вслед за ними пошли Ледоколов и Бурченко… Некоторое время раздавалась хриплая ругань начальника района.

Всю ночь ликовали на колодцах обнадеженные депутаты. Бренчали струны сааза, гудел невесть откуда явившийся бубен, и слышались громкие торжествующие возгласы.

Последняя царственная овца была зарезана, и два киргиза, засучив рукава халатов, возились около дымящейся туши, выгребая на песок окровавленные внутренности животного.

– Эх, кумыс весь вышел, беда! – пожалел корявый Гайнула. – Ты вот к нам в аулы приезжай, такого кумысу тебе дадим, что во всей степи не найдешь лучшего! – приглашал он Ледоколова.

– Да вам все равно по пути. Мы вас на своих верблюдах повезем отсюда! – говорил Ибрагим. – Скорей, чем по русской дороге приедете!..

– А вы от крепости подальше, в приречном кургане как бы вам худа какого не сделали! – заботливо предупреждал Ахмат.

– Сами не дадимся в обиду! – похвастался Бурченко.

– А мы, было, боялись жаловаться… Особенно как вы с толмачом чай пили вместе… Ахмат говорил нам: смотрите, берегите ваши головы!..

– Мы думали, ты подослан к нам! – вставил Измаил-бай.

– А уж как толмач обругал нашего Ахмата, злость меня разобрала такая, за горло готов был ухватить его! – говорил Ибрагим.

– Ну, теперь да будет над ним милость пророка, для нас настало хорошее время!

– Я полагаю, они правы, ожидая лучшего будущего! – сказал Ледоколов.

– Вашими бы устами да мед пить, а за неимением меда хватим чайку с ромком. Эй, тамыр, ставь-ка к огню поближе наши чайники!

На рассвете только угомонился бивуак, и то ненадолго: надо было вьючить верблюдов и готовиться к отъезду по своим родным аулам.

И к полудню опять все мертво и тихо было в песках, даже казаки станционные уехали вместе с переводчиком. Только киргизенок, лет четырнадцати, сидел на корточках в тени желомейки и глядел вдаль, где на вершине песчаного наноса взвился кверху винтообразный столб мелкого песку, перенесся на другой, соседний нанос, оттуда еще ближе, затих, было, потом опять взвился, переполз к самой станции и, подхватив клочок какой-то бумаги да несколько папиросных окурков, покружился немного на месте и распался, обдав киргизенка мелкой песчаной пылью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. НЕГОЦИАНТЫ

В комнате был приятный зеленоватый полусвет: солнечные лучи, врываясь в открытое итальянское окно, должны были пройти сперва сквозь кисею, намоченную водой, пробраться между вырезными листьями экзотических растений и, вследствие этих преград, вместо жары вносили с собой самую живительную, ароматную прохладу.

Завтрак был сервирован роскошно. Стеклянный кувшин, налитый до краев шампанским, стоял во льду; сквозь грани стекла краснелись ломти нарезанных апельсинов. Голубоватое пламя спиртовой лампы чуть-чуть облизывало дно другого серебряного кувшина с красным вином – не местным, первушинским[1], а настоящим лафитом, выписанным из Нижнего Новгорода. Такие же спиртовые конфорки подогревали блюда с превосходными котлетами из мяса горных куропаток и фазанов; над разнообразнейшим и самым пикантным hors d'oevre-ом[2] возвышались графинчики с водками и ликерами всевозможных цветов и наименований.

Завтракающих было двое: гость, Станислав Матвеевич Перлович, весь настороже, весь олицетворенное «берегись», немного постаревший с тех пор, как мы его видели последний раз на похоронах Батогова, запустивший себе американскую бородку, изжелта-рыжеватую, с проседью, весь в белой парусине… Даже его английские ботинки были сшиты не из кожи, а из чего-то беловатого, мягкого, эластичного, так что когда он встал и прошел за чем-то через всю комнату, его шагов не было слышно даже там, где бархатистый туркменский ковер не покрывал квадратных плиток кирпичного пола.

Станислав Матвеевич держал себя очень развязно, несколько фамильярно, что называется, по-товарищески… по крайней мере, ему очень хотелось так себя держать.

Хозяин, Иван Илларионович Лопатин, несколько обрюзглый, плотный господин, лет, что называется, «за сорок пять», гладко обритый, в синих очках в золотой массивной оправе, сидел лениво, говорил сквозь зубы, протягивая

слова и не выпуская сигары, жестикулировал округленно, мягко, относился к своему гостю с самой изысканной предупредительностью и вообще имел вид человека, совершенно довольного своим положением, ничего не желающего лучшего.

Маленький скорпион, выползший, вероятно, из-под корзины с виноградом, быстро побежал по столу, наткнулся на банку с анчоусами, бросился вправо и погиб, приплюснутый тяжелым портсигаром Лопатина.

Это было единственное энергичное движение Ивана Илларионовича во время всего завтрака.

– Только при полной, честной поддержке друг друга возможно здесь развитие наших торговых интересов! – докончил что-то Перлович и немного покраснел.

Ему показалось, что губа хозяина как-то странно улыбнулась. Впрочем, это, может быть, был случайный отблеск от графина, придававший физиономии Лопатина несколько насмешливое выражение, потому что, когда Перлович вторично взглянул на своего собеседника, то он уже смотрел совершенно спокойно, почти сонливо, и, заметив, что Перлович протянулся за честером, предупредительно пододвинул ему тарелку.

– Только при полной поддержке… – повторил Станислав Матвеевич.

– Ну, конечно, только при полной поддержке! – согласился Иван Илларионович.

– Каждое дело тогда только может достигнуть серьезных результатов, когда его детали разработаны специалистами. Сжаться, сконцентрироваться в одних руках все не может!

– Еще бы, это совершенно понятно!

– Да, а вот подите же: все эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компания[3] не могут понять этого…

– Ну, это такая все мелочь, маркитанты какие-то!

– Один другого подрывают, портят друг другу каждое предприятие, интригуют, искусственно сбивают и повышают цены!

– Э… хм!..

Опять что-то странное скользнуло по лицу Лопатина.

– Ну, результаты очевидны, – продолжал Перлович, почему-то вдруг понизивший тон. – Всеобщий торговый застой, пустота наших рынков…

– Да, вот, например, крупная фирма Хмурова[4] (она рушилась еще до моего приезда): я уверен, что главным образом тут повлияли те причины, которые вы сейчас высказали!

– Между прочим они… но…

– Вы позволите?

Лопатин снял кувшин с вином и налил стакан своего гостя…

– Да, я вам, кстати, хотел сообщить, так сказать, объясниться по поводу той последней неприятности, невольной, впрочем, совершенно невольной… это я говорю насчет подряда на крупу и перевозку тяжестей караванным путем. Вы на меня, вероятно, не будете в претензии, если узнаете, в чем дело!

– Я уже знаю, – произнес Перлович, – и вы видите, я теперь у вас, – значит, о неудовольствии моем не может быть и речи!

– Я так и думал. Я ничего решительно не знал… Присылают ко мне спросить цены, по каким бы я мог взяться за то и другое; я сказал; вдруг – бац! Узнаю, что вы еще прежде меня назначили большие. Я хотел отказаться, но нельзя было: губернатор настаивал… вы понимаете сами…

– Понимаю. Я здесь потерял около десяти тысяч, это самое меньшее!

– Мне предлагали другой подряд еще, но я ни за что не возьму его и предоставляю его вполне и нераздельно вам. Остальные конкуренты вам не страшны… вот разве…

– Я назначил цены крайние, какие только возможны; за пределами этих цен – убыток… Верьте вы моей пятилетней опытности…

– Удивительно, я был даже поражен, прочитав в интендантстве ваше заявление. Такая дешевизна!

– А вы его разве читали?

Перлович вздрогнул и задвигал креслами.

– Случайно!

– Я вот именно по поводу этого и хотел переговорить с вами… Мы составляем здесь главную силу… Подорвать эту силу можем только мы сами же. От нас же зависит, чтобы эти силы удвоились, удесятерились… даже более того…

– Я понимаю; вы мне предлагаете союз?

– Не совсем, а добросовестное, братское разделение по специальностям, – именно то разделение, о котором я вам говорил как-то на прошедшей неделе в караван-сарае и сегодня, при начале завтрака!

– Я вполне соглашаюсь с вами и принимаю ваше предложение…

Лопатин протянул через стол свою широкую ладонь, Перлович протянул свою. Над остатками блюда с котлетами совершилось дружественное рукопожатие.

– Вот, например, вы затеваете в обширных размерах улучшение местного шелководства…

Лопатин приподнял брови и отделил несколько свою спину от задка кресел.

– Выписываете машины, специалистов…

– Вы это почему знаете?

– Случайно!

– Гм…

– Наконец, дело само так велико, что приготовлений к нему скрыть невозможно…

– Особенно, принимая в расчет вашу пятилетнюю опытность!

– Хотя бы и так. Я сейчас же поставил себе непременным долгом не мешать вам в этом ни прямым путем, ни косвенным… Я даже прекратил работы на своих ходжентских шелкомотальнях!

– Но, кажется, они и без того не пошли бы у вас, по другим причинам?

– Могли бы пойти, но я прекратил, и прекратил их с единственной целью предоставить эту промышленную отрасль безраздельно вам!

– Это очень любезно и великодушно!

Обе руки опять соединились, только ниже, так что парусиновый рукав Перловича запачкался в красноватом соусе котлет.

– Это только выгодно для меня, потому что я рассчитываю на подобную же услугу с вашей стороны!

– Весьма практично. Мне остается только позаботиться, чтобы ваши расчеты сбылись!

– С такими средствами, как у вас, и с вашим знанием дела… – начал Перлович.

– С такой предприимчивостью и опытностью, как ваша, – перебил его Лопатин, – дела каждого из нас могут пойти блистательно!

– Конечно, и от нас же зависит, чтобы дела наши лопнули окончательно (видите, как я откровенен): стоит только нам придерживаться той подрывной системы, которой держатся все эти Захо и прочие…

– Итак…

– Итак, я очень даже рад, что случилось это недоразумение: я говорю о перехваченном вами моем подряде!

– Перехваченном… гм! Это выражение не совсем верно!

– Как бы то ни было, но это подало повод к теперешнему нашему объяснению, результатом которого я более, чем доволен!

– Я тоже!

Собеседники помолчали несколько минут. Лопатин по временам исподлобья взглядывал на своего гостя. Перлович наблюдал за хозяином, выглядывая из-за корзины с фруктами.

Синий дым от сигар тянулся над столом и слегка колебался, поднимаясь все выше и выше к штучному потолку в туземном вкусе. С улицы доносился стук экипажей, топот верховых, выкрикивание мальчиков-таджиков, торговцев фруктами и разными сластями. Перловичу показалось, что хозяин начал дремать, по крайней мере, он заметил чрезвычайно продолжительный кивок его головы. Он поднялся со стула.

– Надеюсь, мой уважаемый Иван Илларионович, что как-нибудь и вы соберетесь ко мне запросто позавтракать. Я всегда дома от трех часов до шести!

– Непременно, непременно, – поднялся тоже Лопатин, – буду… вероятнее всего, завтра же буду; мне тоже хотелось бы присмотреть себе место для дачи в вашей стороне. Вы мне дадите кое-какие указания?

– С удовольствием… Итак, до завтра!

– Я велю сейчас подать вашу лошадь… Эй! Федот! Максим! Кто там?

Приказчик в длинном сюртуке, остриженный в скобку, вынырнул из боковой двери.

– Лошадь господина Перловича… Вы верхом? Как это хорошо! Как это полезно! А вот я так нет, пробовал – тяжело, знаете, в мои лета…

– Ничего, привыкните, здесь это в обыкновении, да во многих случаях и нельзя иначе… Прощайте!

– До свиданья, до свиданья!

Лопатин проводил своего гостя на крыльцо, посмотрел, как тот садился на лошадь, похвалил эту лошадь, раскланялся еще раз, даже послал воздушный поцелуй отъезжающему Перловичу и вернулся в свой кабинет.

«Ишь, подъезжал как, а должно быть, большой руки мошенник!» – подумал он, глядя на кресло, где только что сидел Станислав Матвеевич.

«Хитрит, собака!» – думал Перлович, рысью переезжая городскую площадь и взглянув издали на высокие трубы лопатинского дома.

II. В ПРИЕМНОЙ У ГУБЕРНАТОРА

– Если вы, господа, не боитесь сквозного ветра, то я распоряжусь сейчас, чтобы отворили окна! – произнес дежурный адъютант, сделав общий поклон и вытирая себе лоб и шею носовым платком.

Он был в мундире, застегнутом на все пуговицы, что в такую жаркую погоду было очень и очень неудобно. «Господа», стоявшие по углам и у круглого стола, занимавшего середину залы, тоже были в мундирах и тоже страдали от жары. Они находились в нескрываемом волнении: они ждали, и это ожидание так и высказывалось в их взглядах, хотя и перебегавших для виду с одного предмета на другой, но все-таки упорно останавливавшихся на одной и той же точке. Этой точкой была головка бронзовой дверной ручки, в виде орлиной лапки, державшей полированный шарик.

Было мгновение, что этот шарик дрогнул и запрыгал. Все затихло мгновенно и словно вросло в квадраты и треугольники дубового паркета, но тревога оказалась напрасной: дверная ручка перестала прыгать, и все опять погрузилось в томительное, тоскливое ожидание.

– Я полагаю – отворить; знаете, это очистит воздух! – вкрадчивым полушепотом ответил массивный штаб-офицер, комендант какой-то отдаленной крепостцы, вызванный для объяснений из своей трущобы.

Три молодых офицера ловко поклонились, что означало их полное согласие. Старичок в мундире гражданского ведомства поежился и отошел

в сторону, где, по его расчету, не мог коснуться до его подвязанной щеки предательский сквозной ветер. Прочие сделали вид, что не слышали вовсе адъютантского предложения; только угреватый интендантский чиновник значительно произнес:

– Будет ли это приятно его превосходительству?

Адъютант распорядился.

В приемную губернаторского дворца в отворенные окна ворвался целый поток ароматного воздуха; из сада несло смолистым запахом молодых почек, свежевзрытой земли, свежестью арыка Бо-су[1], бойко бегущего по дну оврага.

– Ух, хорошо! – послышался чей-то довольный возглас.

– Тс, тс!

Адъютант приложил ухо к таинственным дверям, пожал плечами и отошел.

– Долгонько изволят беседовать с этим господином! – таким же полушепотом обратился к нему массивный комендант.

– Да, уже час скоро! – не глядя на последнего, проворчал адъютант.

– Кто такие-с?

– Новый купец, Лопатин, Иван Илларионович! – выдвинулся поближе интендантский чиновник.

Легкий стук колес рессорного экипажа ровно и плавно катился по шоссе, повернул направо, прогремел по мостику, зашуршал по крупному песку, которым была усыпана площадка перед подъездом дворца, и остановился. Слышно было, как фыркали лошади, как чьи-то шаги вбежали на крыльцо.

– Перлович! – сообщил один из присутствующих, узнавший коляску, шагом отъезжающую от подъезда.

– Что бы это значило, как вы полагаете? – обратился к своему соседу интендантский чиновник.

– Вызвали, может быть?

– Ну, нет! Я список на сегодняшний день видел: его нет!

– Так, может, какое дело есть!

– Гм, дело… нет-с, не то!

– Я вам доложу, – осторожно подобрался к разговаривающим старичок в гражданском мундире. – Совсем тут другая причина. Э… хм… Станислав Матвеич, мое почтение, как ваше здоровье?

– Здравствуйте, здравствуйте! – говорил скороговоркой Перлович. – Что, его превосходительство может меня принять? – обратился он к дежурному адъютанту.

– Подождите, я доложу. Там теперь…

– Кто там, кто?

Станислав Матвеевич отлично знал кто, потому что успел уже осмотреть всех присутствующих и знал, кого недостает.

– Разбирает! Хе-хе, – шептал старичок интендантскому чиновнику, – страшно стало!

– Вы не знаете, по какому делу приглашен был Лопатин? – спрашивал Перлович адъютанта, отведя его несколько в сторону.

– А, право, не знаю!

– Ну, ну же… говорите, барон… ну!?

– Да ей Богу же!

– Давно он там?

– Уже с час скоро. Сейчас я пойду доложу об вас…

– Ах, пожалуйста!

Станислав Матвеевич отошел к окну и стал смотреть в сад… Он был во фраке, со складной шляпой в руках.

Он был несколько взволнован, узкие брови его нервно подергивались, пальцы коверкали лайковую перчатку.

– И вот они теперь все друг под друга подкапываются! – шептал старичок, косясь то на спину Перловича, то на дверь, ведущую во внутренние апартаменты.

– А с виду-то какие приятели… Я вчера слышал, под руку прогуливаются по балкону и разговаривают, комплименты так и сыпят, так и сыпят!

– А сами так и норовят пакость какую-нибудь сделать друг другу!

– Да, вот *тот* теперь, то есть готов душу прозакладывать, там мины подводит, а этот контр-мины обдумывает!

Перлович быстро обернулся, прошелся по зале, остановился перед дверью, переложил шляпу из-под одной мышки под другую, сел на стул, но тотчас же опять вскочил и начал прохаживаться.

– Ну, что? – бросился он к адъютанту, вернувшемуся в приемную.

– Ничего не сказал. Я подождал, сколько мог, и ушел!

– Э-эх!

– Генерал сам сейчас выйдет… Да вот, кажется, идет уже. Господа, прошу по местам!

Все задвигалось, прокашлялось и затихло. Перлович выдвинулся вперед и заслонил собой старичка в мундире.

– Э-э-э, позвольте…

– У вас шарф расстегнулся! – шепнул адъютант одному из молодых офицеров.

Все руки сразу начали ощупывать свои шарфы.

В отворенных дверях показалась сперва широкая спина Лопатина и фалды его фрака с торчащим кончиком платка, а за этой фигурой блеснул шитый воротник и красный лампас.

– Благодарю вас, очень благодарю! – говорил генерал.

– Помилуйте, ваше превосходительство!

– Очень, очень вам благодарен!

– Вы слишком добры, ваше превосходительство!

– Не ко всем, нет, не ко всем. Да, наконец, тут личность совершенно ни при чем; главное – польза края, успех нашего дела. А я, со своей стороны, все, что могу, что только в пределах моей власти!

– Конечно, ваше превосходительство, всегда найдутся люди, готовые, так сказать, подставлять ногу всякому благому начинанию!

– Я вас понимаю!

– Итак, ваше превосходительство…

– Все, что я вам уже обещал. До свиданья!

Генерал протянул руку Лопатину, тот подержал ее несколько мгновений между своими ладонями, еще немного попятился и, весь сияющий, прошел через приемную.

Он хорошо заметил Перловича, но сделал вид, что не заметил его вовсе.

Дверь во внутренние апартаменты снова закрылась, к недоумению всех присутствующих.

– Могу я теперь войти? Мне так надо! – говорил Перлович адъютанту.

– Пойду, еще раз спрошу!

– Завтрак накрывают на террасе!.. – сообщил кто-то, заглядывая в окно, выходящее в сад.

– Генерал благодарит и просит записаться, – появился в дверях адъютант. – А вас, Станислав Матвеевич, он принять сегодня не может!

– Но почему же?!

– Не знаю, он сказал только: Перловичу скажите, что я его принять сегодня не могу, больше ничего!

– Прощайте, барон!

Перлович быстро повернулся, закусил губу и вышел.

– А подрядец за ним-то, пожалуй, не состоится! – подмигнул вслед отъезжающей коляске Перловича интендантский чиновник.

– Вчера приезжал – тоже не принял. В совет подавал – придержали, а тот цены сбавил… немного, а сбавил! – сообщал старичок, садясь в свои дрожки.

– Провалится…

– Вот это уж второе дело у него перебивают; да какое дело!.. Вы куда теперь?

– К Лазоркину: у него Манюся его именинница, звал на пирог!

– Довезите и меня!

Интендантский чиновник забежал с другой стороны и полез в экипаж.

– Такая, я вам доложу, баталия открывается между нашими коммерсантами – беда!

– Ну, тот тоже себя за горло взять не позволит. Эй, налево в переулок!

Свернув налево, дрожки с двумя седоками скрылись за углом большого сараеподобного здания, над входной дверью которого красовалась надпись: «Вновь открытые московские бани, с отдельными номерами, с мужской и женской прислугой».

III. РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ

Возвращаясь домой от губернатора, Лопатин находился в самом оживленном настроении. Присутствие Перловича в приемной его несколько смутило, но он скоро оправился и, развалившись в своей коляске, насвистывал какой-то веселенький мотивчик.

«Вот и второй подряд у него из зубов, так сказать, выхватываю», – думал он и нежно поглаживал серебряный набалдашник своей палки, голову бульдога в треугольной шляпе.

«Верьте моей пятилетней опытности… хе-хе! – усмехнулся он, припоминая недавнее посещение Станислава Матвеевича. – Опытности… Нет, брат, нам делить с тобой нечего, не с руки, не приходится. Или я все заберу в свои руки, или ты попробуй утопить меня, коли сможешь. Да-с! Потягайся-ка!»

Плавно катилась покойная коляска по новому городскому шоссе. Ряды тополей, окаймляющие улицы, шелестели своей серебристой листвой, приятный ветерок ласкал и нежил несколько вспотевшую лысину Ивана Илларионовича.

Он держал шляпу в руках и прикрыл голову тонким белым фуляром[1]. Он уже успел освоиться с некоторыми местными приемами и привычками.

– Повернешь вокруг крепости, проедешь на Бешагач, оттуда мимо губернаторских дач к Салару! – приказал он своему кучеру из бессрочно-отпускных стрелков.

Иван Илларионович снова погрузился в размышления и воспоминания:

«Ну, что бы он теперь делал в Москве, в Петербурге или там, в Нижнем, где он заканчивал свои последние торговые операции?.. Кто говорит, состояние, которым он обладал, довольно крупных размеров, дела его были немаловажные, но все это терялось как-то, стушевывалось в массе еще более крупных оборотов… никому в глаза не бросалось… ну, положим, знали на бирже, на рынках там, что ли, что есть, мол, Лопатин купец… ну, и только! А тут… ха-ха! Звезда первейших размеров; обширнейшие палестины для всяких торговых оборотов. Действуй только! А что главное: это известность. У губернатора принят».

И вот перед Лопатипым, в клубах шоссейной пыли, стали проходить все мельчайшие подробности аудиенции.

«Вот Хмуров, например, человек уже совершенно пустейший, авантюрист и больше ничего, а каково пошел, каково! Европейская известность. От иностранных держав орденские украшения получал. Портрет вон во “Всемирной Иллюстрации” напечатан был: сидит это в русском кафтане, тигр лежит у самых ног [2], значит, в полном повиновении».

Иван Илларионович приложил палец ко лбу и почесал за ухом. Он соображал: какого и ему бы завести зверя. Разве опять тигра – страшно!

«Непременно, – подумал он, – как увижу Скворцова, спрошу у него, что он посоветует».

Вот придут его караваны, машины привезут. Перекупит он у Перловича его остановленную фабрику, увеличит ее, настроит того и сего… Шелководство заведет такое, что ух!.. Тут выводят червей, там собирают коконы, морят их, разматывают, моют, сушат, красят… Паровой двигатель так и работает… материалу не хватает – собирай, ищи, стаскивай отовсюду, у всех отнимай, души эту торговую мелочь… все в одни руки…

У него даже началась легкая одышка. Он расстегнул жилет и ослабил узел белого галстука.

Открываются непосредственные сношения с Лионом, с Италией… туда он отправляет шелк в сырье… Непрерывные цепи верблюдов тянулись от Ходжента чуть не до самого Оренбурга. Отсюда ему шлют готовые ткани. В Петербурге, в Москве, во всех городах российских обширнейшие склады… Цены понижаются, иностранные фирмы трещат, не выдерживают конкуренции, лопаются одна за другой…

«Иван Илларионович Лопатин!» – гремит во всех углах его имя. Он едет по Европе – прием, почет, удивление.

«Legion d'honneur»[3], «Льва и солнца»[4], «Honni soit, qui mal y pense»[5], постой, какие еще есть ордена?! И все это на шее, от одного плеча до другого, звенит, блестит, колышется…

– Возьми вправо, коляска, вправо, скорей! – кричит молодой, сильный голос.

Глухой грохот, оглушительное шипящее шуршание шоссейного камня несется навстречу. Штук пятнадцать разномастных лошадей, перепутанных по всем направлениям веревками, тащат какую-то чудовищную, дробящую машину – каток. Молодой офицер-сапер, верхом на высокой белой лошади, чертом вертится в клубах шоссейной пыли, заскакивает справа, слева, сзади, спереди…

– Нахлестывай, нахлестывай! Чубарого жарь!.. Передняя тройка, чего замялась?.. Ай-ай-ай-ай!.. Гайда, гайда! Ух-ух!.. Ну, еще, ну, разом!

Щелкают нагайки по крупам выбивающихся из сил лошадей, свистят и гикают осипшие голоса саперных солдат.

– Гей, гей! Гони, гони!.. Ах, черт тебя дери!..

Каток остановился.

Чуть-чуть стороной объехала коляска Лопатина всю эту оживленную массу.

– Здравствуйте! – любезно раскланялся Иван Илларионович, узнав знакомого ему офицера. – Работаете?

– Укатываю… идет отлично!

– Скоро кончится постройка шоссе?

– О, да; раньше назначенного срока, гораздо раньше. Этот каток я сам устроил. Он ужасно тяжел, зато действует отлично… И как все это мне дешево стало!

– Будто бы?

– Да как бы вы думали? Эта вот линия шоссе до самого того угла…

Сапер указал концом нагайки, до какого именно угла.

– …обойдется мне на четыре с половиной тысячи дешевле ассигнованной суммы. Какова экономия!

– Превосходная! Для начала это очень недурно. Что же вы думаете делать с этой экономией?

– Как что? Представить ее по назначению!

– Чего-с?

– Или предложить устройство плиточного тротуара, хоть по главной линии…

«Вот оригинал!» – подумал Лопатин. – Да вы бы лучше ее сюда… эту экономию-то…

Иван Илларионович сделал выразительный жест рукой.

– Ну-ну-ну! Нечего брови хмурить, вы видите, я шучу… Ко мне заезжайте почаще… без всякой церемонии…

Легкий кабриолет, запряженный кругленьким белым иноходцем, подъехал с другой стороны; в нем сидела красивая барыня и, привстав немного, высматривала: где бы ей удобнее было пробраться. Остановившийся каток со всеми своими лошадьми и лопатинская коляска совершенно загородили дорогу.

Из-под полей овальной соломенной шляпки выбивались пряди темных, вьющихся волос, слегка напудренных шоссейной пылью, и сверкали веселые, оживленные глазки; на ее щеках так и пылал бархатистый румянец, который чрезвычайно шел к темноватому цвету ее смуглой кожи. Впрочем, эта смуглость была следствием загара, потому что когда ветер колыхнул и откинул ее кружевную косынку, то округленное, обнаженное плечико наездницы так и кинулось в глаза Ивана Илларионовича своей матовой белизной.

– Господа, вы совершенно заняли весь проезд! Я не могу выбраться! – произнесла красавица, придерживая свою лошадку и вглядываясь сквозь пыль: «Кто это такой сидит в коляске?»

«Ай да барынька!» – мелькнуло в голове Лопатина.

– Марфа Васильевна! Я сейчас вам очищу дорогу, сию минуту! Эй! Продвинь вправо! Осади лошадей! Вот так! – распоряжался сапер, ринувшись на выручку барыни в кабриолете. – За мной, Марфа Васильевна!

Наездница тронула своего иноходца концом бича и поравнялась с коляской Ивана Илларионовича.

Лопатин поклонился.

– Bonjour! – кивнула головкой Марфа Васильевна.

– Катаетесь? – вторично раскланялся Иван Илларионович.

Он познакомился уже с ней как-то недавно, на балу в Мин-Урюке, и даже заплатил за ужин, за которым председательствовала красавица, окруженная своими поклонниками.

– И вы тоже, кажется? – улыбнулась она и очень ловко, совершенно, впрочем, нечаянно, выставила свою ножку, обутую в маленькую красную туземную туфлю с острым, несколько загнутым носком.

Ветерок и тут оказал помощь невинному кокетству Марфы Васильевны, колыхнув ее юбки. Красивая округлость ее ног, несколько повыше щиколотки, выказалась в полнейшем блеске.

– Что же это вы не верхом? Вы такая любительница, сколько я знаю! – заметил Лопатин.

– Прокофьев! Ты, кажется, куришь? Давай огня… живо! – крикнул сапер, заметив, что Марфа Васильевна вынула портсигар.

– Ах, с моим седлом случилось несчастье. Оно такое старое и все развалилось. Я посылала чинить, говорят, не стоит!

– Надо новое выписать!

– Это так долго. Я видела одно в магазине у Захо, но он просит так дорого.

– Э!.. Хм!.. – замялся, было, Лопатин.

– Какая у вас славная коляска, лучше, чем у самого губернатора. Merci!.. – обратилась она к саперу, слезшему с лошади и подошедшему к ее кабриолету с дымящейся солдатской трубкой.

– Я к вам сегодня чай приеду пить вечером… можно? – спросил тот, смахивая платком какого-то мохнатого червяка, взобравшегося на платье Марфы Васильевны.

– Конечно, можно; даже должно… Только смотрите, если вы собираетесь ухаживать за мной, то берегитесь: я знаю ведь, кому надо на вас насплетничать… До свиданья!

Дорога перед кабриолетом была расчищена. Наездница щелкнула вожжами и промелькнула, скрывшись за поворотом.

Коляска тоже поехала дальше; массивный каток снова завизжал, загремел и зашуршал, дробя шоссейный камень.

И вспомнилась Ивану Илларионовичу другая пара таких же чудных глазок, таких же стройных ножек, мелькавших в вальсе из-под длинного газового шлейфа… Вспомнился голосок ее, звонкий, нежный, так и проникающий в душу; ее ротик, складывающийся в капризную, своенравную гримаску.

– Пошел домой! – глубоко вздохнул он.

– Чего-с? – обернулось к нему обрамленное бакенбардами лицо отставного стрелка кучера.

– Домой! – крикнул он громко, откинулся в глубину экипажа, вынул из бокового кармана бумажник, отыскал там какое-то письмо, развернул его и стал перечитывать.

Письмо это получено было еще накануне. Оно было от Катушкина. Иван Демьянович извещал своего патрона о том, что г-жа Брозе и «их дочка» благополучно и в добром здоровье прибыли в Казалу и там сели на пароход

«Арал», где он нанял им отдельную каюту. Сам же он лично остался в Казале и даже предполагает проехать назад до Уральского укрепления, так как никаких сведений о движении каравана с машинами и товаром он еще не имеет, и это повергает его в немалое сомнение. Если же что узнает определенного, то уведомит тотчас же. Г-жа Брозе, по его расчету, должна прибыть в Чиназ к двенадцатому июля, даже, может быть, раньше, если ничто не задержит плавания парохода.

– Это значит, – рассчитывал Иван Илларионович, – дней через пять надо послать в Чиназ экипаж, или же, что самое лучшее, поехать самому и там дожидаться прибытия парохода… Однако это хорошо, что я поспешил отделкой комнат…

Далее сообщал Катушкин, что Перлович, через своих агентов, скупил весь спирт, находившийся в фортовых складах, и грузит его на баржи… Цену на крупу и муку поднял на двадцать процентов, а пшеницу в Казале законтрактовал еще на корню; и как бы вследствие сих его действий не причинилось бы какого вреда относительно последнего подряда, ибо агенты его, то есть Перловича, действуют крайне быстро и небезуспешно.

«Погоди, брат, я тебе крылья то пообломаю! – думал Иван Илларионович. – Ишь, ты, гусь каков, как я погляжу!»

Он вспомнил дружеские рукопожатия над остывшим блюдом с котлетами.

Затем Катушкин просил выслать в Казалу денег и, сколь возможно, не замедлить высылкой. Заканчивалось письмо всякими добрыми пожеланиями, кои шлет ему по гроб верный, вечно обязанный слуга его, Иван Катушкин.

– Лошадей выводи хорошенько, хомуты оботри насухо и смажь! – распорядился Лопатин, вылезая из коляски.

Он прошел через двор, поднялся на террасу, задрапированную полосатым тиком, вынул ключ из кармана и отпер дверь, украшенную мелкой азиатской резьбой по темному карагачу.

Он вошел в помещение, предназначенное для г-жи Брозе и Адели. Все здесь было обдумано и приспособлено к своему назначению. Пол приемной был устлан ковром, вдоль стены тянулись упругие низенькие диваны с подушками-валиками в турецком вкусе; в углах и перед диванами стояли столики, на них китайские вазочки с цветами, курительницы, пепельницы и разные безделушки; по стенам были развешены картинки довольно пикантного свойства; фигурные, золоченые рамы так красиво обрисовывались на шелковистом фоне узорного адраса*, которым были обиты стены комнаты. Большой матовый фонарь спускался с потолка как раз над серединой круглого стола. Прямо была широкая стеклянная дверь, ведущая на террасу, в сад, направо

* Ярко-цветная, полушелковая ткань местного производства.

дверь в спальню Фридерики Казимировны, налево – в спальню Адели. Из этой последней спальни еще вела куда-то небольшая дверь; она была заперта и даже заставлена большим трюмо, так что с первого раза ее даже невозможно было заметить.

В комнатах было немного душно и пахло розами, горьким миндалем и мускусом. Иван Илларионович открыл окна, велел подать себе платье и переоделся из фрака в летний костюм, весьма напоминающий те балахоны, что носят американские плантаторы. Затем он развалился в покойном качающемся кресле и опять принялся мечтать. Иван Илларионович сегодня находился в каком-то особенном, мечтательном настроении.

На письменном столе, в темной бархатной раме, стоял превосходный акварельный портрет будущей обитательницы этой комнаты. Лопатин не спускал глаз с этого портрета.

И вдруг вспомнилась ему сегодняшняя встреча на шоссе. Сходства много, очень много; те же насмешливые, задорные глазки, та же улыбка, даже голос…

– Кушанье на столе. Господин там какой-то дожидается! – показался в дверях кудреватый парень в поддевке.

– А, что такое?

Лопатин точно проснулся, протер кулаком глаза и даже потянулся.

– Кто там такой?

– Не могу знать, впервой вижу, одежа невоенная!

– Ну, сейчас выйду. Попроси в гостиную… или нет, постой, зови лучше наверх!

Парень скрылся за дверью, а Лопатин стал поправлять перед трюмо свой костюм, пришедший немного в беспорядок. Потом он зашел за трюмо, щелкнул там чем-то и более оттуда не показывался.

Он теперь находился уже в своем кабинете и оттуда слышен был только его голос, отдававший какие-то приказания.

В ту же ночь Марфа Васильевна, вернувшись довольно поздно, почти перед рассветом, к себе домой, нашла посреди комнаты ящик довольно больших размеров, на крышке которого ясно значилось, что посылка эта предназначалась именно ей, а не кому другому.

В ящике оказалось прекрасное новое дамское седло со всеми принадлежностями.

Марфа Васильевна улыбнулась и подумала: «Хорошо бы, если бы за седлом последовала лошадь, а там…»

– Набрюшников, вы можете теперь ехать домой! – обратилась она к казачьему офицеру, сопровождавшему ее и принимавшему самое деятельное участие в раскупорке ящика. Теперь он стоял посреди комнаты в выжидательной позе.

– Марфа Васильевна! – захлебнулся, было, Набрюшников.

– Что вы?

– Здесь, на пороге вашей двери, я готов провести всю ночь…

– Хорошо, только выйдите прежде и позвольте мне запереть дверь на ключ!

И она хлопнула дверью как раз перед носом опечаленного кавалера.

Марфа Васильевна начала раздеваться, а Набрюшников сел на свою лошадь и шагом поехал по узкому переулку.

IV. БУРЧЕНКО И ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

– Кто там такой – взглянуть разве, кого это Господь посылает?

Лопатин отдернул немного дверную драпировку и посмотрел в образовавшуюся щель.

Там стоял Бурченко и, заложив руки за спину, рассматривал арматуры из азиатской сбруи и оружия, развешанные по стенам комнаты.

«Личность новая, не видал никогда! – подумал Иван Илларионович. – По какому бы это делу?»

– Здравствуйте! Чему обязан вашим посещением? – громко произнес он, выходя из своего кабинета.

Бурченко обернулся.

– Отставной капитан Бурченко, позвольте отрекомендоваться, – произнес он, – а пришел к вам по делу, и если вы можете уделить мне часок времени, то с позволения вашего…

– Вы обедали?

– Позавтракал довольно плотно и очень даже недавно.

– Ну, жаль! – пожал плечами Иван Илларионович. – Я, видите ли, очень проголодался и намерен сесть сейчас обедать; если это вас не стеснит…

– Нет, отчего же, вы себе обедайте, а я вам буду рассказывать. К концу обеда, может быть, до чего-нибудь и договоримся!

– Ну, вот и прекрасно. Итак, милости просим!

Лопатин вышел на террасу, где был накрыт обеденный стол. Бурченко пошел за ним, прихватив с собой какой-то сверточек, лежавший на стуле вместе с его белой, холщовой фуражкой.

Посетитель как-то сразу понравился Ивану Илларионовичу, хотя его немного потертый костюм и пыльные, высокие сапоги произвели на него сначала не совсем выгодное впечатление.

– Ну-с… Да вы, может быть, скушаете чего-нибудь? Эй, подайте еще прибор!

– Не беспокойтесь, пожалуйста!

Лопатин уселся в кресло и подвязал салфетку под горло.

«Любит, должно быть, покушать», – смекнул Бурченко, глядя на эти приготовления.

Хозяин улыбнулся и кивнул головой, как бы приглашая Бурченко приступить к делу.

– Небезызвестна вам, хотя вы, сколько я знаю, в этом крае еще недавно, – начал гость, когда Лопатин покончил с тарелкой зеленых щей с яйцами, – та нужда, которую мы здесь терпим от недостатка топлива…

– Гм… – прокашлялся Лопатин.

– Лесов нет, то есть они есть, да далеко в горах, чуть не за облаками, садов рубить не приходится, разве что уж совсем пришло в негодность. Потребность в топливе увеличивается с каждым днем, цены на дрова вследствие этого страшно поднимаются, особенно теперь, когда начали строить заводы разные!

– Верно, верно!

– Ну-с, принялись изыскивать всякие способы поправить это невыгодное положение дел, уменьшить зло, так сказать, – каменный уголь добывать начали, отыскали что-то, много шумели, опыты делали, но… но все это были одни только попытки, попытками они и остались. Я уже давно здесь, и все это происходило на моих глазах, а потому я знаю, что говорю!

– Ну, а эти копи, что разрабатывает Алмазников или вот этот ходжентский винодел, как, бишь, его?..

– А что в них толку? Да и кроме их были, и все это как-то не клеилось: то залежи оказывались до того бедны, что не стоило их разрабатывать, и то вывоза из гор не было, то другое что-нибудь мешало!

– Да отчего же это?

– А не знаю. Я, по крайней мере, предполагаю, оттого, что ни у кого не хватало ни смелости, ни предприимчивости проникнуть в самую глубь этих гор, поразведать там все закоулки, узнать, что такое скрыто под этими громадами, пожить там подольше, порыскать, изучить каждую тропинку; надо было порисковать своей персоной, а не щупать эти горы по краешкам, боясь хоть на один шаг отойти от казачьего или солдатского конвоя, чтобы не попасться как-нибудь под аркан или нож одичалого горца… Вы знаете пословицу «Чем дальше в лес…»

– Вы меня крайне заинтересовываете. Позволите? – Лопатин налил вина в стакан и подвинул его гостю.

– В конце концов, вышло, что мы все-таки не добились ничего путного!

– Да была ли возможность добиться каких-либо лучших результатов?

– Была, я в этом ни одной минуты не сомневался и поступил так: прежде всего я вышел в отставку, так как служба мне, само собой разумеется, мешала; затем я отправился на розыски. Более года рыскал я по горам, возвращался по временам в ближайшие русские посты, запасался там чем следовало и опять отправлялся на розыски. Раза три чуть не попался, было, в руки кокандцев; совсем, было, погиб раз, да вывернулся уже почти что чудом –

теперь не время, а после как-нибудь я вам порасскажу довольно интересные подробности. Дело окончилось тем, что у меня вот в этом самом свертке заключаются такие сведения, которые могут не только обогатить отдельную личность, но упрочить благосостояние целого края!

Иван Илларионович пристально посмотрел в глаза своему гостю, покосился на сверток и приготовился было что-то произнести.

– Что? Конечно, не верите? Это весьма понятно; другие вот тоже не верят, ну, да я и уверять никого не намерен: само дело выскажется за себя со временем. Я вам только сообщу, что я открыл каменноугольные пласты, взломанные и вывороченные почти на поверхность скатов вследствие вулканических причин. Разработка их не представляет никаких затруднений, да и вывоз удобен. Да если бы только вы видели, каков уголь… Вы знаете толк в угле?

– Очень мало!

– Ну, я вам покажу, у меня есть образцы… Что за уголь! Англичане бы его зубами из земли выгрызли… чудо!..

Глаза Бурченко разгорелись, он встал даже со стула, прошелся по террасе и опять сел.

– Где же это? – начал, было, Лопатин.

– Да что уголь! Руды – свинцовые, медные, серебряные… Какие жилы!.. Лежат они, тянутся, как змеи, во все стороны и ждут только смелого удара киркой и ломом, чтоб показаться на свет божий… Раз как-то, вот слушайте, что я вам расскажу: страшная гроза свирепствовала в горах. Я успел укрыться, вместе со своей лошадью, в затишье за скалой, то есть в относительном затишье; меня и било градом, и хлестало дождем, но, по крайней мере, здесь я мог держаться на ногах, в другом месте меня бы давно сорвало бурей. Прямо против меня, по ту сторону ущелья, горы затянуло тучами, и я только слышал гул обвала, такой, что до сих пор еще звенит у меня в ушах при одном только воспоминании… Подмыло ли их, или это было последствие подземных ударов, вернее последнее, но только в пропасть глубиной без малого полверсты рухнули целые скалы и загромоздили своими обломками Каракол…

– Как вы назвали?

– Чего-с?.. Да ручей, что тянулся по дну лощины. Дело не в названии. Две недели я не отходил от следов, оставшихся после обвала: я изучил напластования, сделал рисунки, определил местность… Какие широкие пути к обогащению я видел в этих темно-серых, красноватых, зеленоватых, с металлическими отблесками жилах! И, судя по видимым образцам, не трудно было догадаться, что можно было найти дальше, роясь по их направлениям…

– Вы никому об этом не говорили до сих пор?

– Нет, говорил, только карт своих не показывал и местности не определял. Денег просил… Без денег как приступить!

– Ну, и не дали?

– Не дали. В Петербурге был, говорят: «далеко», да, может быть, все это еще преувеличено мной, а на деле, пожалуй, окажется, что игра не стоит свеч… Один, было, обещал… да там оспа свирепствовала в то время и свалила его, а наследников дожидаться было некогда. В Нижнем посоветовали к вам обратиться, да и сам я думаю, что здесь скорее можно что-нибудь сделать, виднее как-то. Вот я к вам и обращаюсь!

– А вы не обращались ли к Перловичу? У него такая предприимчивая натура, он за все хватается!

– Нет, к нему не обращался!

– Почему же?

– У меня на то свои причины!

Брови малоросса сдвинулись, и на его лице промелькнуло несколько злое выражение при имени Станислава Матвеевича. Это обстоятельство не скрылось от Лопатина.

– Ну, и хорошо сделали! – произнес он. – Что же вам именно нужно?

– Во-первых, мне нужно немного пока – тысячи две, не больше… Я поеду вдвоем со своим товарищем по ремеслу, которому я отчасти доверил свое открытие!

– Кто это?

– Ледоколов. Вы его не знаете, он из Петербурга, и я познакомился с ним дорогой!

– Он здесь теперь?

– Нет, в Казале он сел на пароход и теперь скоро должен приехать, я же пробрался сухим путем, на почтовых…

– Гм… – замялся, было, Лопатин.

– Ну-с, так вот, изволите ли видеть, если вы мне дадите сперва эти деньги на риск, рассчитывая их и получить обратно, и не получить, то я снова отправлюсь в горы, подготовлю все, сделаю еще те разыскания, которые нахожу необходимыми, и тогда уже устроим все по порядку, юридическим путем… Вы лично все увидите, находка моя перестанет быть секретом; вы, может быть, найдете возможным затратить более значительный капитал, навербуем рабочих – не солдат, нет, а непременно местных, туземных рабочих – выпишем нужные машины и откроем такое производство, что на веки веков хватит и нам, и детям нашим, и внукам, и правнукам… Ну-с, так как же?

Бурченко вопросительно взглянул на хозяина.

– Ваш товарищ едет на пароходе «Арал?» – спросил тот его и стал вытирать салфеткой свои толстые губы.

– Что такое!?

Малоросс озадачился довольно сильно. Лопатин повторил вопрос.

– А не знаю, может, и «Арал»; я не справлялся! – холодно ответил он, взял свой сверток и поднялся со стула.

– Сидите; куда вы? Я вот вас хотел спросить, не видали ли вы двух дам, которые тоже должны ехать на этом пароходе?

Злая усмешка вторично пробежала по лицу Бурченко.

– Как же, видел; да вы об них не беспокойтесь: они окружены самым изысканным и утонченным попечением.

– В самом деле?

Лопатин стал комкать салфетку, потом швырнул ее в сторону и принялся за другую.

– Там около них так много услужливых кавалеров… Мне бы хотелось знать, что вы решите насчет моего предложения?..

Лопатин взглянул на него словно спросонья и залпом выпил стакан воды.

– Вы извините, – произнес он, – я был причиной, что мы несколько уклонились от нашего первоначального разговора!

– И очень даже уклонились…

– Я вам эти деньги дам; я более дам, я вам могу сейчас же дать пять тысяч…

– Сейчас мне не нужно. Мне деньги нужны будут через десять дней. Приедет мой товарищ, мы вместе отправимся в горы, и тогда…

– Вы получите деньги, как только они вам понадобятся. Считайте, что они в вашем кармане!

– Спасибо!..

Бурченко протянул Лопатину свою руку.

– А то, что в этом свертке?..

– Вы сейчас увидите: здесь рисунки профилей и разные заметки. Я с удовольствием готов вас посвятить в некоторые подробности!

– Сегодня вечером я совершенно свободен и надеюсь вас видеть у себя!

– Хорошо, буду!

Бурченко раскланялся и вышел, а Иван Илларионович отправился к себе в кабинет и долго прохаживался по комнате, обдумывая что-то и жестикулируя. Потом он опять пошел в комнату Адели, остановился перед ее портретом, поскреб себе затылок всей пятерней и процедил сквозь зубы:

– Дон-Жуаны проклятые!

V. «БЕДНЫЙ, НАИВНЫЙ РЕБЕНОК»

В своей жизни многим приходилось путешествовать по русским рекам, но едва ли кто-нибудь из них может составить себе и приблизительное понятие о плавании пароходов аральской флотилии по главной артерии всего среднеазиатского края – Сырдарье.

Медленно, с бесконечными препятствиями самого разнообразного свойства, чуть-чуть вспенивая мутную воду своими высокоустановленными колесами, шаг за шагом подвигается неуклюжий, плоскодонный пароход и тянет на буксире за собой такую же неуклюжую баржу, а иногда и две.

Наступает ночь, быстро темнеют печальные окрестности, последний красноватый отблеск исчез с вершины мачты и окраин пароходных труб. Линия плоского берега, то изжелта-песчаная, волнистая, то заросшая бесконечными, непроходимыми камышами, теряется, сливаясь в темноте в сплошную массу тумана, встающего над мертвой рекой.

Пароход причаливает к берегу и останавливается. Большинство пассажиров высаживаются, разводят огни, ставят шалаши, расстилают войлоки, всякий устраивается, по возможности, комфортабельнее.

Проводится ночь. С рассветом опять все спешат занять свои места на пароходе, на барже, в каютах, под парусиновым навесом, растянутым над всей палубой. Разводятся пары, опять начинается и тянется на целый день утомительное, невыносимо-скучное, черепашье движение. И так подвигаются к далекой цели плавания, делая не более шестидесяти-семидесяти верст в сутки, особенно вверх по течению, когда рейс от Казалы до Чиназа делается не менее как в двадцать пять дней, а чаще в целый месяц.

Мне кажется, что финикияне путешествовали именно подобным образом и приблизительно с такой же скоростью, когда им пришлось исполнить просьбу египетского царя Нехао[1].

Пароход «Арал» уже часа три как остановился на ночлеге близ урочища «Баюзак на Джаман-Дарье». Оригинальный бивуак раскинулся по берегу, занимая небольшую песчаную отмель, единственную, не заросшую камышами; кругом же сплошь тянулись густые заросли, то неподвижно тихие, таинственные, то внезапно всколыхнувшиеся и глухо шумящие от легких порывов влажного, пропитанного туманом речного ветра.

Ночь была темная, безлунная, мглистая; ни одной звезды не было видно на небе; как привидения, подымались и белели во мраке высокие пароходные трубы; между ними, на мостике, медленно двигалась взад и вперед такая же неопределенная, беловатая фигура часового.

Вот еще кто-то поднялся на мостик; легкие ступеньки трапа заскрипели под ногами взошедшего, мелькнула белая фуражка, заискрилась красная точка закуренной сигары.

Дмитрию Ледоколову не спалось в душной, тесной каюте: там было так жарко, там так невыносимо мучили и словно огнем жгли кожу какие-то пренесносные паразиты, а тут еще вдобавок забрались в голову черные думы, печальные воспоминания, другое что-то, неясное, в чем еще Ледоколов не мог отдать себе отчета.

«Эх!» – вздохнул он, надел сапоги, надел свое парусиновое пальто, шапку, захватил с собой буйволовый хвост на деревянной ручке для отмахивания мириад назойливых комаров, забивающихся в нос, рот, уши, не дающих ни

промолвить слова, ни даже свободно вздохнуть без этого спасительного хвоста – необходимой принадлежности каждого, временного и постоянного обитателя этой местности, – закурил сигару и выбрался на палубу.

Прежде, чем попасть на мостик, ему надо было пройти мимо небольшой двери, ведущей в каюту у правого колеса. У этой двери, до половины стеклянной, завешенной изнутри зеленой шторкой, Ледоколов на минуту приостановился и вздохнул протяжнее обыкновенного. В этой каюте горел огонь – спущенная шторка светилась ярко-зеленым, изумрудным транспарантом. На этом светлом фоне мелькнул неясный силуэт. Ледоколов замер, как легавая собака на стойке. Силуэт исчез. Ледоколов вздохнул еще раз и пошел дальше, осторожно шагая через свертки канатов, через головы двух спящих кочегаров, пробираясь к трапу.

Яркие огни пылали у самой воды на берегу, около них двигались темные фигуры кашеваров. Сырой камыш тлел в той стороне, откуда потягивал ветер, и густой белый дым стлался над бивуаком. Там и сям белелись конусы наскоро поставленных палаток; злобно ворчала собака, насторожив уши и косясь на туман, будто чуяла там невидимого врага; кто-то тихим, ровным голосом рассказывал какую-то бесконечную сказку; кто-то бредил во сне и метался; отовсюду несся храп спящих, и уныло, монотонно звенели мириады комаров, легкими, туманными облачками носившихся над водной поверхностью.

– Мама, ты не спишь? – тихо спросила Адель, приподнимаясь с кушетки и отыскивая ногой туфлю.

– Ох, что-то нет сна, так душно, жарко! – простонала Фридерика Казимировна, тяжело ворочаясь на раскинутом складном кресле-кровати.

– Разве отворить дверь?

– Что ты, что ты! Налетят комары, и тогда что мы будем делать? Пододвинь ко мне арбуз. Ты его опять не прикрыла салфеткой.

Рой мух загудел по каюте, когда Адель тронула блюдо, на котором лежала половина сочного, темно-розового арбуза.

– Он тоже, мама, не спит! – произнесла девушка, минуту помолчав.

– Ты почему знаешь?

– Он сейчас мимо прошел!

– Ты видела?

– Да. Я слышу, кто-то идет, – Адель отодвинула немного шторку, – гляжу – он! Такой грустный, задумчивый: идет, под ноги не смотрит, чуть не упал, наступил на кого-то…

– Хочешь? – Фридерика Казимировна отрезала большой ломоть арбуза и пододвинула блюдо к дочери.

– Нет, я сейчас пила воду с вином… Так вздохнул глубоко-глубоко и на нашу дверь посмотрел!

– Очень нужно!

– Знаешь, мама, он мне рассказывал про свою жизнь в Петербурге… Теперь я знаю, почему он такой всегда грустный!

– Особенно, когда видит, что ты на него смотришь?

– Нет, это у него не притворство!

– Отчего же это он грустит все?

– Его обманула любимая женщина и предпочла другого. Он говорил мне, что теперь не может верить больше ни одной женщине… Он потерял веру во все человечество. Он говорил мне, что даже в моих глазах, в моей улыбке…

– Ада, когда это ты изволила так с ним распространяться? – Фридерика Казимировна приподнялась на локте и пытливо посмотрела на свою дочь.

– Когда?.. А, помнишь, на прошедшем ночлеге, когда мы выходили гулять на берег…

Адель немного смутилась и потупила глазки.

– Это когда вы изволили с ним вдвоем под ручку уйти от нас вперед? Очень хорошо! – не без язвительности произнесла госпожа Брозе.

– Нет, это было тогда, когда вы, маменька, так отстали от нас, идя под руку с капитаном парохода!

Адель вспыхнула; ее брови задвигались, предвещая грозу в каюте.

– В эти вентиляторы совершенно не тянет! – поспешила Фридерика Казимировна переменить тон и тему разговора.

Адель сунула, наконец, свои ножки в туфли и накинула на плечи кружевную тальму.

– Ты это куда, Адочка?

– На палубу, там так хорошо, прохладно!

– Ах, Ада, ангел мой, не ходи!

– Это почему?

– Потому что… ну, мало ли почему! Ну, вот, например, там близко спят матросы, могут в бреду глупость какую-нибудь сказать… Сонный человек…

– Вот еще глупости!

Адель приотворила дверь.

– Я тоже пойду с тобой!

– Идите, кто же вам мешает!

Amis! La nuit est belle,
La lune va briller[2], –

тихо, вполголоса напевал Ледоколов, облокотившись о перила мостика.

– Я не знала, что вы так мило поете! – услышал он сзади себя и быстро обернулся.

– Адель Александровна, это вы?!

Ему вдруг захотелось ринуться к ней и принять ее в свои объятия, Адель тоже почувствовала желание, несколько на это похожее. Оба, впрочем,

ограничились одним только желанием и остались на прежних местах: он – у перил, она – посредине площадки, стройная, грациозная, потупив глазки и пощипывая пальцами кружева своего легкого костюма.

– Вы не спите? – начала Адель.

– Могу ли я спать! – глубоко вздохнул Ледоколов.

– Комары мешают? – лукаво улыбнулась Адель.

– О, если бы только комары!..

Она подошла к перилам, заглянула за борт, покосилась на часового и передернула плечиком.

«И зачем торчит здесь этот болван?» – промелькнуло у нее в голове.

– …Нельзя, друг ты мой любезный, служба! – говорил внизу чей-то голос.

– Известно, служба. Макарова за что вчера линьками лупили? – отвечал кто-то другой.

– А за то же самое – служба!

– …И встал салтан со своего золотого трона, и взял ее за белы руки, чмокнул три раза в сахарные уста… – слышалось откуда-то продолжение сказки.

– Адель Александровна… – начал Ледоколов и немного пододвинулся к девушке.

В ответ на это Адель тоже чуть-чуть шагнула в его сторону и, приложив пальчик к губам, стала прислушиваться. Ей показалось, что скрипнула дверь их каюты.

– Это может показаться странным, я вообще не доверяю никаким предчувствиям, но – что вы на это скажете? – выходя сюда ночью – теперь уже около часу пополуночи – я был убежден, что увижусь с вами, что буду говорить с вами… Не имея никакого права, никакого повода, я ждал вас. Вы пришли. Конечно, это только случайность, не более, как случайность, но…

– Это, действительно, только случайность! – заметила серьезным тоном Адель.

Если бы было не так темно, то Ледоколов мог бы заметить насмешливую улыбку, скользнувшую на губах девушки.

– Я иначе и не смел думать. Но не сердитесь на меня, если я воспользуюсь этой случайностью. Я давно собирался поговорить с вами, высказать вам то, что почти с первой встречи стало моей господствующей мыслью… Я хочу предостеречь вас, спасти вас… вы на краю…

– Дмитрий Николаевич, вы меня ужасно пугаете! – чуть не вскрикнула Адель и в ту же минуту почувствовала, что ее рука очутилась между ладонями Ледоколова.

– Не бойтесь! Я чуть было не назвал вас «мой дорогой друг». Отвечайте мне откровенно, просто: знаете ли вы, куда вы едете?

– В Ташкент! – наивно глядя ему в лицо, ответила Адель.

– Знаю, знаю! Мой вопрос был направлен совсем не к этому; дело не в городе, не в названии местности… Но зачем? Что вы думаете найти там? Знаете ли вы это?

– Конечно, знаю, мне кажется, что я знаю!

– Ну, так говорите мне: зачем же?

– Господин Лопатин, наш старый знакомый, то есть более знакомый моей маменьки, предлагает мне там место гувернантки с хорошим обеспеченным содержанием. Я буду трудиться, учить маленьких детей, я буду заниматься делом, не то что прежде в Петербурге, когда мы с маменькой с утра и до ночи не знали решительно, как бы убить невыносимую скуку!

– Вы убеждены в том, что вы оживете именно в Ташкенте?

– А как же?!

– Бедный, наивный ребенок!

– Пожалуйста, не плачьте обо мне! – надулась Адель, однако руки своей не отняла и даже ответила легким нажатием на энергичные рукопожатия Ледоколова.

– Слушайте же!

Ледоколов говорил торжественным тоном, подчеркивая и оттеняя каждую фразу.

– Слушайте; Лопатин знал вас прежде. Вы ему нравились, даже более, чем нравились. Он уехал. Вы очутились в самом безвыходном положении: без денег, с одними долгами, ждать помощи неоткуда. Заметьте, я говорю только то, что слышал от вас самих и вашей маменьки. Я не основываюсь на тех оскорбительных слухах, которые движутся вместе с вами, вокруг вас, опережают вас и, наверное, теперь облетели уже весь Ташкент!

Глубоко вздохнула Адель; сердце ее билось сильно и так близко от локтя Ледоколова, что тот чувствовал эти лихорадочные, учащенные пульсации.

– В такую скверную минуту к вам, как с облаков, слетает предложение Лопатина. Вам предлагают место гувернантки, которое, впрочем, только обещают найти, так как у самого Лопатина детей нет. Жалованья шесть тысяч. Везут, как царицу, отрывают вас от общества, к которому вы привыкли, с которым вы освоились…

– Мне страшно, вы говорите зловеще. Господи! Что же со мной будет? – чуть не заплакала Адель.

– Видимое дело, вас продают. Вас губят! – воодушевился Дмитрий Николаевич.

– Губят! – тихо, чуть слышно повторила Адель.

– Я не решаюсь даже назвать настоящим именем то, что хотят из вас сделать. Но не плачьте, дитя мое, не плачьте. Еще не поздно, еще не все потеряно!

Адель стояла перед ним, закрыв лицо руками. Ледоколов внутренне торжествовал. Он сиял!

– Меня обманывают? Обманывают? Да?

– Да, да! И я решился помешать этому, открыть вам глаза… Что вы, что с вами?

Ошеломленный Ледоколов отшатнулся назад и смотрел на Адель широко раскрытыми глазами.

Она смеялась ровно, почти беззвучно, глазенки ее искрились в темноте.

– Неужели вы думаете, что вы мне сказали хотя что-нибудь нового? Кто же из нас теперь «бедный, наивный ребенок»?

– Адочка, Ада! – послышался снизу голос Фридерики Казимировны.

– Иду, мама, сейчас! Ну, до свиданья! Уже рассветает!

– Ада!

– Да погоди, мама, какая ты несносная! Ну, слушайте же теперь: вы мне очень нравитесь, надеюсь, что по приезде в Ташкент вы не прекратите нашего знакомства, завязавшегося в дороге. Прощайте!

Адель сбежала с лестницы, и через секунду щелкнула дверная задвижка их каюты.

– Ах, Ада, я так боюсь за тебя! – говорила Фридерика Казимировна в каюте.

– Это еще что? – не переставала смеяться Адель.

– Ты такая увлекающаяся, влюбчивая!

– Вся в тебя, maman!

Адель покосилась в ту сторону, где была капитанская каюта.

– Ты права, и поэтому, по собственному опыту, я желаю тебя предостеречь, так сказать, открыть тебе глаза!

На всю каюту разразилась Адель громким, неудержимым хохотом. Фразы были так похожи.

– Pas de danger! Pas de danger![3] – хохотала она, и ее веселый смех доходил до ушей растерявшегося, пораженного, все в одной и той же позе стоявшего Ледоколова.

Рассветало. Зашевелился народ, затрещал смолистый саксаул в пароходных топках. Боцманский свисток прокатился развеселой, лихой трелью.

– Разводить пары! – хрипло пробасил сонный голос в капитанской каюте.

VI. «ОТ СКУКИ БОЛЬШЕ»

Капитан Сипаков, заведующий почтой в «Забытом» форте, произнес: «пики!», почесал колено и зевнул так, что у него даже хрустнуло за ушами.

– Стоит вистовать из-за такой дряни! – заметил юнкер Подковкин, малый лет за сорок, никак не осиливший до сего преклонного возраста русской грамоты и четырех правил арифметики и потому не удостоенный офицерского ранга.

– Нет, отчего же? Потрудитесь открыть! – заявил маркитант Моисей Касимов, не то из литовских жидов, не то из казанских татар.

– Порассмотрим… Эге! Ну-ка! Так! Еще, пожалуй, ремизец будет!

– Ну те к черту! Только пульку затягиваешь!

– Позвольте же, нельзя же!

Сипаков дремлет, пока Касимов разбирает его игру. Подковкин косится на графин и тарелку с остатками какой-то соленой снеди.

– Еще бы немножко рыбки-то подкрошили, Анфиса Петровна! – сладким голосом обращается он к перегородке.

– Не довольно ли? – слышится приятный, несколько ожирелый женский голос.

– Соснуть перед вечерним-то чаем. Эка скука, прости, Господи! – произносит Сипаков, он же хозяин дома.

– Тоска такая, страсть! – вздыхает за перегородкой Анфиса Петровна, его половина.

– Скоро почту ждать надо, вы уж не забудьте газетку или книжечку какую! – просит маркитант и отмечает мелом на истертом, порыжелом сукне карточного стола.

– Э-эх! – зевает Сипаков.

– А-ах! – зевает Анфиса Петровна.

– И то идти спать! – решает юнкер Подковкин, поднимаясь со стула.

Выпили гости, выпил хозяин; разошлись, залегли каждый на своем месте, и понесся храп по всему форту Забытому.

Мертвая тишина, тоска, скука!

Серое, знойное небо, серая даль, серые, бесконечные чащи джиды, колючего терновника, серые сыпучие пески, серая лента дороги, на которой давно уже не видно ни одного живого существа, и покойным, мягким, двухвершковым слоем лежит солонцеватая пыль, бережно храня полукруглые следы верховой лошади, расползшийся след верблюдов, прошедших здесь чуть не трое суток тому назад. Серые, однообразные линии крепостного вала, скучный казенный фасад одноэтажной казармы, покривившийся полосатый флагшток и безжизненно висящая на нем запылившаяся тряпка.

А неподалеку, сквозь редеющую чащу, – мутная, ленивая река, словно дремлющая в своих печальных берегах, словно втихомолку прокрадывающаяся мимо Забытого форта, боясь как-нибудь потревожить бесконечный сон его обитателей.

Жар, зной, духота. Не шелохнется воздух, не провеет в нем ни одна живая струйка и не разнесет по беспредельной степи ни этого смрада помойных ям, поднимающегося из-за угла полуразрушенной башни – остатка прежних кокандских укреплений, ни кислого, капустного запаха солдатских кухонь, приютившихся рядом с башней, ни даже спиртуозного запаха от маркитантских бочек, выставленных на солнце для просушки.

Все живое дремлет и спит, забившись от этой мертвящей жары всюду, где только есть хоть какой-нибудь намек на тень и прохладу. Ни одной собаки не видно на улице; даже около навеса мясника, где их собираются всегда целые стаи, и здесь дремлет только одна паршивая, рыжая собачонка и зализывает во сне свою искалеченную лапу.

Большая, жирная свинья, с полудюжиной поросят, одна только бродит по опустелым улицам и глухо, внушительно хрюкая, тычет своим рылом во все, что только не найдет для себя любопытного. Перешла она улицу, подобрала мимоходом дынную корку, захватила кстати подошву солдатского сапога да наколола рыло на гвоздь и бросила.

У опрокинутого тележного ящика, правее дегтярного бочонка, лежит старое солдатское кепи, рядом виднеется стриженый затылок, корявая рука, сжатая в кулак; закушенный пучок зеленого лука стиснут в этом кулаке; рой мух гудит над спящим, и слышно тяжелое, носовое прихрапывание.

Ткнула свинья рылом в этот загорелый, мясистый затылок; один поросенок принялся теребить лук из кулака, другой стал обнюхивать кепи, третий наведался, нет ли чего в дегтярном бочонке, четвертый еще полез куда-то.

– Отстань, земляк! Не могу больше! – глухо мычит во сне кузнец Малышка, унтер. – Сказано, шабаш, да и полно! Тетка Дарья, отваливай. Ишь ты, каторжная, а я было…

Воспаленные глаза на минуту открываются.

– Комендантская! – бормочет кузнец и, повернувшись на другой бок, снова предается своему сладкому far niente[1].

Свинья со всем семейством путешествует далее.

А по дороге, мелькая в зарослях, шажком плетется верблюд; он тащит за собой что-то вроде тележки на трех колесах, вместо четвертого подвязана гибкая жердь; на этой повозке большой кожаный чемодан с железной цепью, несколько зашитых в холст ящиков, два-три узла; поверх всего сидит казак-оренбуржец в серой армячинной рубахе, с винтовкой за плечами. Совсем почти голый киргизенок сидит на горбах верблюда и всматривается вдаль: не завидит ли над этой бесконечной чащей тонкую черточку крепостного флагштока.

Это идет давно ожидаемая, желанная почта в форт Забытый, а отсюда она пойдет уже далее, по остальным фортам, вплоть до самого Ташкента.

Проснулся перед вечером капитан Сипаков и подошел к окошку.

– А, вот оно, вот! – улыбнувшись, крякнул он, завидев въезжающую в ворота почтовую повозку, и потер себе руки.

– Шляпку вот эту отправь, не забудь, в Чимкент; вот и укупорка вся цела прежняя, только адрес я маленько залила салом; ну, да там разберут! – говорила Анфиса Петровна, принеся из-за своей перегородки шляпку с цветами и бантами, надколотый ящик, тряпку и веревочки с припечатанными концами.

– Эк ты ее потрепала! Как я ее теперь отправлю?

– Известно, носится, не железная она, материал, ишь ты, какой дрянной!..

Анфиса Петровна потянула за банты.

– Говорила – на один раз, в церковь только сходить, а вот как заносила чужую вещь!..

– Ничего, не впервой; мантилью, что в Ташкент купчихе Федоровой из Петербурга высылали, я, почитай, два месяца носила, а ничего, сошло!

– Да, пока жалоб не было, Бог миловал!

– Была бы укупорка в порядке, а там не наше дело!

– Поди чай готов?

– Тут, что ли, пить будешь?

– На дворе, за сараем. Ну, поди, не мешай! Постой! Там у тебя еще что-то есть? Душегрея никак?

– Пардесю[2], да ты ее погоди до следующей почты; послезавтра надеть надо!

– Ну, проваливай.

Анфиса Петровна вышла, захватив из почтового чемодана какую-то газету в обертке. Сипаков принялся за разборку.

Пришел юнкер Подковкин, забежал маркитант Моисей Касимов, заглянула в окно еще какая-то физиономия с бакенбардами.

– Вы, братцы, идите-ка за сарай, к Анфисе Петровне, а я пока займусь по службе! – пригласил их Сипаков.

– Служба прежде всего! – согласился Подковкин. – А-а, поглядеть, что это за книжица? – полюбопытствовал он и, захватив с собой «книжицу», вышел.

– Газеточек парочку можно? – осведомился Моисей Касимов и, не дожидаясь ответа, направился за сарай, тщательно освобождая на ходу «Сын Отечества» из его оболочки с печатным адресом.

– Смотри, назад в порядке вернуть! – крикнул им вслед капитан. – Эх, служба! – вздохнул он. – А частной-то переписки нынче что-то немного!

«Вот так-то оно, – думал он, занимаясь “разборкой”, – другой заорет: незаконно, мол, подло! А поди-ка сам, поживи здесь, в Забытом, шестой год, как я, не то еще со скуки сделаешь». – Анфиса, ножичек мой перочинный пришли и свечку! – «Кому какой от того вред может быть? А никакого; другой и не заметит вовсе, что в его писульку заглядывали, а мне польза и назидание. Эх, подумаешь, другой раз какие только письма бывают занятные, никаких романов не надо. “Петру Максимовичу Пустопорожнему, в собственные руки”, ну, это побоку. – Что же ножичек-то? – “Его превосходительству”… гм, печать частная, без орла… Эх! Подмывает, а страшно… а в этаких-то настоящий смак и сидит… Нешто Подковкина, позвать, он мастер? В прошлом году эдакто большое бедствие для друга своего закадычного предупредил: донос это на него шел, куда следует, шел-то он шел, да не дошел… хе, хе… “Господину Перловичу в Ташкент”… ну, это значит в карман; ужо поглядим!»

– Герася, нонче из нарядов ничего нет? – появилась в дверях Анфиса Петровна со свечкой и ножичком.

– Погоди, после, еще не глядел по тюкам!

– Маланья Ивановна забегала, сказывала: может, для ней пары ботинков каких-нибудь не будет ли, или там что-нибудь из другой обуви?

– Так вот я для твоей Маланьи Ивановны службой рисковать стану. Накось!

Сипаков сложил свои персты весьма непочтительно и протянул их к своей супруге.

– Только на невежество и способен, потому – мужик!

– Чаю пришли, ступай, графинчик тоже!

Часа два «разбирал» капитан почту. Анфиса, было, сунулась к нему, да дверь была на крючке.

– Что, занят еще? – осведомился Моисей Касимов.

– Заперся! – со злостью отрезала Анфиса Петровна. – Все, чтобы только от жены сделать тайно!

– Нельзя же, может, какой секрет государственный!

– Окна извнутри завешаны, – сообщил юнкер Подковкин, – я, было, заглянул, ан нет!

– Графин я ему туда снесла, нескоро теперь выйдет!

– А мы пока своим делом заняться можем… сдавай-ка, брат!

– Засядем… – согласился Подковкин,

Анфиса Петровна занялась по хозяйству.

Совсем стемнело, и давно уже пробили вечернюю зорю на фортовой гауптвахте. Засветились ряды красноватых четырехугольников – казарменных окон; мутная луна поднялась над рекой. Окончил Сипаков свои служебные занятия.

– Ты что, словно как не по себе? – заметила ему заботливая супруга.

– Ничего, что же, я в порядке. Все как следует. А что?

– Важное есть что-либо, надо полагать? – спросил Моисей Касимов. – Верно-с?

– Пустяки все… Что же, господа, преферансик?

– Не поздно ли?

– Что за поздно, самое время. Днем-то выспались, небось?

Уселись за преферанс.

Невнимательно играл Сипаков, не замечал ходов своего партнера, не замечал даже сигналов, которые делала ему Анфиса Петровна, успевшая как-то подглядеть прикупку.

Семь в червях без четырех остался.

– Фю-фю! – подсвистнул юнкер Подковкин и подозрительно поглядел на хозяина.

– Так, мол, и так, Иван Илларионович, вот, мол, какие дела под вас подвод…

– Что такое? – озадачился юнкер.

– Чего-с? – даже со стула вскочил Моисей Касимов.

– А? Как? Кто с чего ходил? – опомнился Сипаков и, выхватив какую-то карту, поспешил прихлопнуть ей пройденного Касимовым козырного туза.

– Нет, шалить изволите, так не полагается! – засмеялся маркитант.

– Не лучше ли бросить? – посоветовала Анфиса Петровна, предвидя для своего супруга плохие результаты пульки.

– Доиграем, отчего же?

– Ужин простынет!

– Ну, побережем записи до завтра! – предложил сорокалетний юнкер.

Покончили, поужинали, разошлись.

– Что бы такое было? Не догадываетесь? – спрашивал у Подковкина Моисей Касимов, когда они оба пробирались домой.

– Завтра проврется; много-много, если послезавтра узнаем. Дело бывалое, особенно, ежели выпьет!

– Кто идет? – протяжно доносилось с гребня крепостного вала.

– Свои! – пробасил юнкер Подковкин.

– Свои, голубчик, свои! – поспешил Касимов удовлетворить любопытного часового.

А Сипаков, перед тем, как лечь в постель, прошел к себе в комнату, вынул из кармана письмо, адресованное к Перловичу, и прочел его внимательно, останавливаясь, потирая себе лоб и вдумываясь в каждую фразу письма, в каждое его слово. Это было уже вторичное чтение, и по мере того, как оно приходило к концу, под нависшими усами читавшего разрасталась все более и более самая самодовольная улыбка.

– Голубчик, Герася, родной ты мой, что такое? – приставала супруга, ласкаясь к нему.

– Отстань! Спать ложись! – решительно объявил ей Герася.

– Ну, уж будто бы мне нельзя сказать? А-а, нельзя? Ну, хорошо же!

Анфиса Петровна сердито отвернулась. Сипаков принялся разоблачаться.

– Последний раз говорю – не скажешь? – поднялась на постели супруга. – Ну, что же?

– Не вашего, бабьего, ума дело! – произнес капитан и завернулся с головой в одеяло.

VII. КАКОГО РОДА ВЬЮКИ ПРИВЕЗЕНЫ БЫЛИ В БОЛЬШОЙ ФОРТ КИРГИЗАМИ АУЛОВ ТЕРМЕК-БЕС

В самой середине Большого форта на Сырдарье стояла очень большая палатка. Человек до ста могло бы поместиться в ней без особенной тесноты; парусина, из которой она была сделана, выкрашенная ярко-зеленой краской, так и горела на солнце; особенно сверкали и искрились, отражая от себя

бесчисленные лучи, медный крест на гребне шатра и такие же медные шарики на верхушках палаточных кольев. Это была временная церковь и помещалась она посредине громадной площади, покрытой сплошной пылью. Кругом, по окраинам этой площади, виднелись приземистые мазанки, домики фортовых обитателей, и подслеповато глядели на площадь своими крохотными окошками, заклеенными большей частью промасленной бумагой.

Несмотря на сильный полуденный жар, большая толпа собралась перед церковью. Кроме того, со всех сторон шли и даже бежали обыватели форта, направляясь к толпе, и на лице каждого написано было тревожное, даже несколько боязливое любопытство.

Несколько верблюдов, ободранных, усталых, запыленных, стояли немного в стороне; лаучи сидели около них на корточках; только один, стоя, сворачивал в пучки волосяные арканы, которыми подвешивались вьюки. Вьюков самих не было при верблюдах, они были сложены у входа в церковь. Вьюков этих не было видно, потому что они были совершенно окружены народом.

Да, это был довольно интересный груз, который давно уже не привозился в Большой форт в таком количестве, – настолько интересный, что комендант форта заблагорассудил приставить даже часовых к тюкам, и штыки этих часовых, столбами стоявших друг против друга, виднелись над толпой и еще более подстрекали любопытство отставших обывателей, запыхавшихся и силящихся пробраться вперед, где было повиднее.

Всех тюков было четыре, они лежали рядом и, несмотря на то, что были прикрыты общей кошмой, можно было заметить по складкам войлока, что каждый из них имел удлиненную форму – форму, чрезвычайно похожую на человеческое тело; одно только обстоятельство разрушало это сходство, это то, что там, где по всем соображениям должны были бы вытягиваться округленные формы голов, там войлок плотно прилегал к земле, не образуя решительно никаких складок.

– Оставь! Слышь ты! – остановил один из часовых любопытного молодца в халате и в туфлях на босую ногу.

– Нельзя разве посмотреть? Что за важность!..

– Отойди!

– Я только уголочек приподниму!

– Фу, разит как, страсть! Авдотья, пойдем домой. Чего тут делать? – обратился отставной матрос рыбак к белокурой солдатке в ярко-красном кумачном платье.

– Погоди, Кузьмич, сват, погоди, куда спешить? – останавливает его подгулявший приказчик из хлебного магазина. – Постой!

– Вонища, ишь ты какая!

– Известно, жарко, они-то, чай, все прокисли!

– Теперь скоро комендант явится с доктором: вскрывать будут, – сообщил щеголеватый писарь в кителе и с папироской в зубах.

– Это, значит, потрошить? Ах, страсти какие! Для чего же это?

– Для делопроизводства по всей форме… Фу, ты, черт, папироска погасла! У кого огонь?.. Чтобы доподлинно узнать, от каких причин и почему, для занесения всего в протокол, при надлежащем постановлении. Спасибо, брат. Ну, и все прочее!

Писарь приостановился и стал закуривать потихоньку папироску.

– Пакость какая! Да я теперь целую неделю есть ничего не стану мягкого; все это мерещиться будет, право… ей-богу!.. Пойдем домой, Кузьмич!

– А, пойдем, Авдотья, черт, леший, ты опять с этим рыжим?

– В выражениях нельзя ли осторожнее! – окрысился обруганный халат в туфлях на босую ногу.

– Ладно, брат, сочтемся после. Возьми весла, сват, греби в «прохладу»!

– Ох, Господи! Помяни души усопших рабов твоих!

– Позвольте, господин писарь, позвольте, почтеннейший! Конечно, мы по своей малограмотности, однако, при всем прочем… Для чего же их теперь резать, когда доподлинно видно, что голов нету. Какие же тут еще причины требуются?

– Гм! Какие! А хоть бы для того, например, чтобы точно определить; по смерти ли произошло отделение от туловища сего необходимого члена или же до оной!

– Как-с?

– Лопатинский караван ограблен весь дочиста, и народ, что при нем был, в Хиву уведен, кроме вот *этих*, – это верно!

Седой старик в плисовых шароварах, в красной шелковой рубахе и офицерском сюртуке без погон, произнося эту фразу, сделал жест рукой, такой, как будто только что скрепил своей подписью самый важный документ, затем вынул из кармана цветной фуляр и стал его медленно разворачивать.

– Почему же это вы изволите полагать? – подвернулся к нему рыжий халат.

Старик уставился на него своими слезящимися глазами, высморкался и, тщательно отершись, произнес:

– По некоторым соображениям!

– Так-с; да и к тому же уж это, поверьте, недаром. Отойдемте-с сюда, ветерок от нас будет, все дышать легче!

Они отошли.

– Слух недаром по всему форту идет, недаром. Одного господина проезжего, с рыжей бородой, словно из иностранцев, изволили видеть?

– Кто такой?

– Гм! Кто такой-с? А кто его знает, кто он такой-с. Вчера-с был день святой великомученицы Евпраксии, супруга моя, покойница, именинница, и я завсегда…

Слезы зазвучали в голосе рыжего халата, и он протер кулаком, а потом полой халата свои охмелевшие глаза.

– И я завсегда не то, чтобы очень, но праздную и ликую… то бишь… Ну, да это все единственно. Прихожу я к другу своему, приятелю Маркычу, что на станции состоит… Ну, тут рябиновая пошла, осетрина в уксусе на закуску, и эта борода рыжая, мы ее никогда допрежь не видали, а тут бац: «здравствуйте, – говорит, – мир честной компании!..» Садись, говорим, милости просим!

– Откудова?

– Чего-с?

– Господин этот откудова и что за человек?

– А Христос его ведает… Сели, выпили. «Что это, мол, у вас по городу…» заметьте, по городу, – какой же у нас город? Форт! И завсегда, коли что, говорят «по форту…» Да-с, вот оно как, а он это – «по городу». Ну, ладно, по городу, так по городу, думаем мы с Маркычем. «Что это у вас по городу, – говорит, – слух идет…» и это рассказывает. Про все, как следует, насчет убийства и разграбления. А у нас, сами знаете, до сего никаких слухов не было, это верно; потому, коли что, мы с Маркычем первые… а он знает; откуда же он знает? Обидно-с!

– Ближе был, надо полагать!

– То-то, ближе! – Я говорю Маркычу: прислушайся, а он шепчет: запри дверь на крючок! Как же это возможно?

– Рискованное дело!

– А после всего этого пришли мы с Маркычем в беспамятное состояние!

– Это перемахнули, значит?

– Воля Божья! Пришли мы это в беспамятство и проснулись уже сегодня утром, думаем: как, что, а *он* купаться идет: полотенце под мышкой, зонтиком покрылся; валит прямо к пристани, на нас и не глядит, как с Маркычем квасом прохлаждаемся!

– Заметил и я. На комендантском дворе, в канцелярии, осведомился, кто такой? Сказывали, еще не был!

– Как вот этих привезли, все тут стоял; при нем и разгружали. С косоглазыми говорил по-ихнему бойко. Я подошел – замолчал и прочь пошел, опять на пристань!

– Посторонись, посторонись, дорогу дайте!

Толпа заволновалась, подалась немного то вправо, то влево; образовался довольно свободный проход. Часовые перемигнулись и отхватили ружьями подходящий к случаю приемец.

– Капитана Шиломордина нет еще?! А, каково вам это покажется?! – послышался внушительный, видимо, начальнический голос.

– Я дал ему знать уже давно! – каким-то боковым поклоном согнулся на ходу адъютант с портфелем под мышкой.

– Послать!

– Я, позвольте вам сообщить, думаю, что он не болен ли!

– Опять?

– Теперь его неделя. Он всегда целую неделю, а потом ничего, сходит в баню и опять месяца на два подряд исправен, если не случится какого-либо особенного случая: годовой праздник или же чье тезоименитство!

– Ну, за Горошкиным послать. Ежели на охоте, то Викторову дать повестку!

– Слушаю-с!

– Войлок откинуть! Брр! Какая гадость!

– Полнейшее разложение, и к вскрытию никакой возможности приступить не представляется! – сообщил худощавый доктор с чахоточным, пятнистым румянцем, в теплой шинели, несмотря на жару, и беспрестанно что-то нюхающий из стеклянного флакона с цепочкой.

– Ну, для формы нужно же, нельзя без этого!

– Что же, взрежу! – язвительно вздернув плечами, вздохнул доктор.

– Но, во всяком случае, придется подождать до приезда этого господина Катушкина. Он мне пишет… Что такое он мне пишет?

– Судя по его письму, он должен быть сегодня к вечеру…

Адъютант стал поспешно рыться в портфеле и вытащил оттуда смятый полулист исписанной бумаги.

– Вот извольте видеть!

– Прочтите еще раз!

– Он пишет… э… гм! «Вслед за отсылкой тел, подобранных на месте нападения, с киргизами аула Термек-бес, я выезжаю сам. Остановлюсь в аулах Бугат-тысай для снятия необходимых допросов и для отобрания показаний от старшин. Аур…»

– Точно следователь какой официальный!

– Чего-с?

Комендант обернулся, адъютант остановился перечитывать письма. За ним стоял человек среднего роста, несколько полный, с окладистой рыже-красной бородой и в крупных синих очках с боковыми сетками от пыли в золотой массивной оправе. Он то и сделал это замечание.

– Извините! Я, кажется, помешал. Вы здешний комендант?

– К вашим услугам!

Чистенький, весьма приличный дорожный костюм незнакомца и его солидная физиономия внушали некоторое почтение и заставили коменданта взяться за козырек своей фуражки с назатыльником. Адъютант тоже откозырял, доктор холодно раскланялся.

– Нигебауэр, аптекарь. Еду в Ташкент; заходил к вам, но мне сказали, что вы здесь, на площади. Такое необыкновенное происшествие!

– Что тут необыкновенного, просто оказия! – заметил комендант. – Ну-ка, дальше что? – «Аптекарь – не велика птица!» – подумал он. – Извините; вот мы тут по службе, кончим сейчас и тогда… – добавил он вслух.

– Сделайте одолжение! – поклонился аптекарь, отошел к телам и начал их довольно внимательно осматривать.

– Он самый! – шепнул рыжий халат на ухо старику.

– Дураки вы оба с Маркычем! – так же тихо ответил ему старик.

– Гм, гм! – откашлялся адъютант. – По расчету, изложенному в письме господином Катушкиным, он должен быть как раз сегодня вечером!

Нигебауэр приподнял голову.

– Тут присланные тела?

Адъютант кивнул головой куда следует.

– Ефима Мякенького с сыном, англичанина Эдуарда Симсона и одного из работников?

– Голые и без голов; как тут их разбирать: кто и кто? – пожал плечами комендант. – Да, я полагаю, этого и не надо. Как вы, доктор, думаете?

– А, что такое? Вы меня спрашиваете?

– Вас!

– Да, конечно. Господин Нигебауэр, вы как будто побледнели, вы взволнованы?

Доктор пристально посмотрел на рыжебородого аптекаря.

– О, это ничего. Дорожная усталость, этот запах, вид изуродованных трупов – все это не может действовать благоприятно!

– Ну, понятно!

– Вот еще на обороте, – перевернул адъютант исписанный листок, – господин Катушкин просит о задержании в форте, если, конечно, таковой окажется, одного человека, приметы: среднего роста, полноват, небольшая черная борода и таковые же усы, одет по-киргизски, лошади вороные, без отметин!

– А, ну, примите меры: осмотреть постоялые дворы, почтовую станцию, а главное, на базаре, у Бузуева в трактире тоже…

– У заставы не мешает поставить человек четырех для наблюдения! – шепнул доктор на ухо коменданту.

– У заставы? У заставы непременно!

– Да вы бы не так громко…

– Мое почтение! – откланялась рыжая борода.

– Зайдите в правление, там вам поставят отметку на паспорте! – крикнул адъютант.

– Непременно!

Нигебауэр медленно зашагал через площадь, распустив свой парусиновый зонтик.

– Чего это вы так смотрите? – заметил комендант доктору, все время следившему за удаляющейся фигурой аптекаря.

– Хорошая борода, густая, ровная! – произнес доктор как бы про себя. – Куда это он повернул? А, в слободку!

– Ну, так что же?

– Справьтесь, пожалуйста, на каких лошадях приехал этот Нигебауэр!

– Это для чего?

– Я видел, вчера еще видел, – выставился рыжий халат, все время прислушивавшийся к разговору начальства, – на почтовых; рыжая с лысиной в корню, серая на пристяжке; ямщик Каримка, тот самый, что в прошлом году пальцы на ногах отнимали – отморозил зимой я помню…

– Гм! Странно! – нервно скривил рот чахоточный доктор. – Я готов прозакладывать все, что угодно, ежели б оказалось, что этот аптекарь приехал на вороных лошадях, верхом, что борода у него накладная!

– Ну, что за вздор!

– Не вздор, позвольте вам заметить!

– Да чушь!

– Это удивительно! Вероятно, я на чем бы то ни было да основываюсь. Эти крючки за ушами…

– Это от очков крючки! – поспешил заявить адъютант.

– Нет, то золотые; а стальные, стальные зачем? Я их довольно ясно заметил. Они, положим, отлично были замаскированы волосами, но я их видел… видел, как вот вижу вас, как этих… Фу! Просто нет никакой возможности дышать! И чего мы здесь стоим?

– Прикрой! – распорядился адъютант.

Рыжий халат и человека три из толпы ринулись исполнять приказание адъютанта.

– Потом я заметил еще одну вещь, чрезвычайно подозрительную. Конечно, при других обстоятельствах это пустяки…

– Знаете ли что? – остановил его комендант. – Идемте домой, пора обедать. Моя барыня приготовила удивительную ботвинью!

– Из раков?

– Да еще из каких! Вот…

Комендант показал на ножнах своей сабли приблизительные размеры раков.

– Ну-с, и в ожидании приезда этого Катушкина, поднявшего всю тревогу, мы будем выслушивать все ваши подозрения. Allons![1]

Он согнул руку калачиком, доктор сунул туда свою, освободив ее предварительно из-под шинели, и они не спеша отправились по направлению к комендантскому домику, побеленные трубы которого виднелись над группой чахоточных, запыленных кустиков. Адъютант зашагал за ними, переложив портфель из-под одной мышки под другую.

– И по частным домам посмотреть не мешает! – доносился уже издали начальнический голос.

Толпа тоже стала понемногу расходиться.

Я вечер в лужках гуляла! –

доносился с базара развеселый пьяный голос.

– Ребята, слышь, не видали ли где тетки Бородихи? – спрашивал запыхавшийся денщик, обращаясь больше ко всем и ни к кому в особенности.

– Тебе зачем эта вöструха понадобилась? – спросил кто-то из толпы.

– Поручик требует, чтобы беспременно. Допрос снять следует по делу!

– Ладно, брат!

Гру-у-сть хотела разогнать –

доносилось с базара, но уже несколько ближе.

Резкий звон колокола на пристани и барабан на площадке, перед казармами местного батальона звали «на работу».

Дневная жара начала спадать.

VIII. УЛИКИ НАКОПЛЯЮТСЯ

Когда солнце село, к северной заставе Большого форта подъехала довольно оригинальная кавалькада. Впереди всех ехал Иван Демьянович Катушкин, верхом на иноходце своего приятеля, одного из старшин аула Бугат-тысай; всадник был, видимо, измучен, запылен с ног до головы и почти качался в седле от усталости. За ним рысил высокий, тощий киргиз, вооруженный длинной пикой и каким-то допотопным огнестрельным оружием. Два ободранных, почти голых киргиза, тоже верхом, вели между своими лошадьми третьего пешего, руки которого были привязаны к задним седельным лукам; босые ноги пленника были покрыты кровью и грязью, колени ссажены и стерты почти до костей: видно было, что несчастный несколько раз падал от изнеможения, а так как привязанные у седел руки не давали ему упасть на землю, то ему приходилось тащиться волоком на коленях, пока всадники не останавливались и не поднимали его ударами нагаек. Сзади всех еще ехала группа вооруженных киргизов, и вели двух лошадей, оседланных по-походному… Свободно болтающиеся по бокам седел вьючные мешки, коржуны, были пусты, размотавшийся аркан тащился по земле… Обе лошади были сплошь покрыты пылью, обратившеюся в грязь там, где ремни седловки натирали мыльную пену… Трудно было распознать масть лошадей, разве только очень опытный глаз мог определить, что обе были чисто вороные, без всяких отметин.

Когда Иван Демьянович въехал в ворота Большого форта, почти никого не было на опустелых улицах. Эта часть больше торговая, тут все были временные навесы и ятки для товара[1], убираемого на ночь, и потому, кроме двух-трех туземцев-сторожей, дремавших вдоль забора, где осталось еще немного нестоптанной, свежей травки, и не было так пыльно, как посреди

улицы и площади, Иван Демьянович не заметил никого, как ни приглядывался направо и налево.

Если бы не было так темно, то он, пожалуй, заметил бы в окно разломанной сакли худощавое женское лицо, выглянувшее на мгновение и спрятавшееся снова так же быстро, как и показалось, – заметил бы, пожалуй, и всю женщину, промелькнувшую в светлом промежутке между саклей и углом хлебного лабаза… Если б он потом обернулся, то, наверное, увидел бы, как эта женщина перебежала улицу позади кавалькады; но он ничего этого не видел, а прямо направился к светлым четырехугольникам комендантских окон, периодически заслоняемых тенью шагающего взад и вперед линейца часового.

Через полчаса Иван Демьянович сидел уже у коменданта за ломберным столом, на этот раз раскрытым вовсе не для карт. Сам хозяин ходил по комнате и пыхтел из длинного черешневого чубука; доктор полулежал на диване; адъютант сидел на стуле у дверей и, с позволения начальства, крутил папиросу. Супруга коменданта, бойкая старушка, находилась в соседней комнате и, упершись лбом в медную планку замочной доски, внимательно наблюдала за всем, что ей было видно в замочную скважину.

– Я сам согласен с предположением господина Катушкина, что тут совсем не обыкновенный случай простого грабежа, – тут, очевидно, другие цели! – произнес доктор.

– Не предположение это мое, – прервал его Иван Демьянович. – Какое тут, помилуйте, Бога ради, предположение! А просто так оно и есть!

– Ну, понятно! – пыхнул комендант.

– Я по следу добрался до Кара-таш. Вы бывали там?

– Не случалось!

– Весь берег плоский, кроме только этого места; здесь же камень чистый, над водой стоит кручей, и глубина тут, я вам доложу, страсть. Опять же илом все затягивает. Как туда их затащило?

– Так, вы говорите, следы привели вас к самому Кара-таш?..

Доктор поднялся с дивана, подошел к стене, где была развешена местная карта, и начал по ней водить пальцем.

– К самому. Машины и все громоздкое было свалено туда. Это верно! Куда им было тащить их?!

– Здесь! – произнес доктор. – Дайте-ка, родной, свечку – темновато!

– Если бы это простой грабеж, ну, забрали бы бакалею, красный товар[2], скотину бы увели, а то на кой им черт? Паровик бы и все машины остались бы на месте, и потеря была бы не Бог весть какая!

– Однако… – пожал плечами комендант и тоже начал рассматривать карту.

– Это-то Кара-таш? – пригнулся он к самой бумаге, так что чуть не дотронулся до листа носом. – А, вон оно что… тс… так!

Небольшая звездочка, начерченная на карте, приняла для него теперь особенное значение; он ее рассматривал с таким вниманием, что невольно

думалось, не отыскивает ли он там следов погибшего паровика и дорогих машин разграбленного каравана?

– Далее, позвольте вам доложить, по расспросам киргизов оказалось, что в разных пунктах видели человека весьма подозрительного виду-с, на вороных лошадях, тех самых, что, изволили видеть, я привел с собой!

– Хорошие лошади!

– Таперича этот, человек, – не тот значит, а Мосол-киргиз, что работником состоял у Ефима Мякенькаго; мы его поймали в кочевьях, и очень он мне подозрителен показался!

– Вы ему уши обрезали? – заметил доктор.

– Нельзя же, маленько попытали его, иначе нешто от них чего допросишься? Опять же только одно ухо!

– Что же он показывает?

– А то, что состоял с ними в заговоре и, хотя положительно не знает, кто такой этот был, что на вороных лошадях, однако в лицо узнать может!

Доктор стал шептать что-то на ухо коменданту.

– Почему ж не заарестовать? – ответил тот уже вслух.

– Человек, о котором я вам писал…

Катушкин встал; на лице его мелькнуло какое-то выражение таинственности, даже голос его стал тише, доходя почти до полушепота.

– Это насчет задержания-то? – остановился посреди комнаты комендант.

Иван Демьянович вздрогнул и боязливо оглянулся.

– Так точно-с. Он теперь здесь! – произнес он еще тише, как бы намекая этим коменданту на необходимость понизить голос, когда речь коснулась этого предмета.

– Ага! – обернулся доктор, все еще рассматривавший карту.

– Ну-с…

Комендант пальцем подманил вестового, взглянувшего было в дверь, и, Бог весть по каким соображениям, также шепотом произнес:

– Трубку набей и раскури!

– Негде ему быть, окромя как здесь. Выехать он еще не успел. Пароход еще не отходил, на станции тоже надо прописаться – когда успеть? Я его проследил до почтовой станции Алты-кудук, откуда он поехал уже на почтовых, сменных, своих же лошадей бросил он в табун Ибрагим-бея. Мы нагнали вскорости, потому кони еще были горячие. Я их забрал из табуна…

– На почтовых… – соображал про себя доктор.

– Только теперь, надо полагать, этот человек совсем в другой одеже!

– Пожалуй, из черного рыжим сделался! – перебил доктор.

– Вы все на своем стоите? А вы, любезнейший, не подозреваете ли когонибудь, а? – обратился комендант к Катушкину.

– Как не подозревать? Да что толку в подозрении-то? Вот когда бы нам его захватить здесь как ни на есть, ну, тогда другое дело!..

– Узнайте, где остановился этот аптекарь Ниге… как бишь его? И попросите его сейчас же ко мне! – распорядился комендант самым решительным, безапелляционным тоном.

Адъютант поспешно поднялся со стула. Дверь во внутренние апартаменты распахнулась настежь, комендантша влетела, как бомба, и, подбоченясь обеими руками, остановилась посредине комнаты.

– Ну, не колпак ли ты? Ну не дубина ли? – отчеканивала она, глядя в упор на своего ошалевшего супруга.

Иван Демьянович поспешил отвесить самый почтительный поклон; доктор начал язвительно хихикать; писарь и два вестовых зафыркали в соседней комнате.

– Что же это ты, в самом деле, мать моя? – развел руками комендант. – За что же это ты так сразу?

– Исподволь, потихоньку, узнать, разнюхать, окружить, сцапать и с глазу на глаз к допросу… Вот что нужно сделать, понимаешь? А ужинать я дам после!

– Аграфена Павловна, ручку вашу поцеловать позволите? – подошел к ней доктор.

– Господин комендант, явите такую божескую милость, помогите, чтобы, значит, так точно, как вот они сказать изволили! – Иван Демьянович указал на комендантшу.

– Да я готов, я сейчас. Эй! Казаков десять человек сюда живо!

– А уж, Иван Илларионович, ежели что, будьте благонадежны, вас не забудет!

– Что, что такое?

Густые брови коменданта сдвинулись, глаза выкатились, ноздри запрыгали; он сложил руки на груди по-наполеоновски и шагнул к озадаченному Катушкину.

– Да что же, помилуйте, господ… Ваше…

Доктор поспешил на помощь к оторопевшему Ивану Демьяновичу.

– Не теряйте времени, если хотите, чтобы вышло что-нибудь путное, а главное – послушайте вы моего совета. Вы от этого ничего не потеряете, вы уже не раз были в выигрыше от этого!

– Благодарю!

Он протянул доктору свою широкую ладонь.

– Самое лучшее – предоставьте это самому господину Катушкину. Он как лицо, более всего заинтересованное…

– Будьте милостивы, господин комендант!

На дворе затопотали лошади, забрякало что-то металлическое, гнедая морда с лысиной заглянула в окно.

– Команда готова! – доложил вестовой.

– Однако сбирайтесь! А после все ко мне ужинать! – решила Аграфена Павловна и сама собственноручно надела на голову мужа его холщовую фуражку.

IX. НА БАЗАРЕ

Скрипя и завывая несмазанными осями, толкаясь концами этих осей обо все выдающиеся углы плоскокрыших домов-сакель, по одной из очень узких и кривых улиц азиатского Ташкента пробирались четыре арбы, нагруженные головами сахару всех существующих размеров и форм; арбы эти были прикрыты войлоками и перевязаны веревками, для того чтобы этот сладкий товар не рассыпался от скачков и толчков, которыми награждала дорога, грубо вымощенная крупным, неровным камнем… Вообще же укладка сахара была самая небрежная, видно было, что его, во-первых, собирали из разных пунктов по десяткам и даже менее голов, а во-вторых, и везли не особенно далеко.

Арбакеши сидели верхом на тех же лошадях, что были запряжены в арбы[1]; весь транспорт, несколько растянувшись по дороге, сопровождали два русских приказчика – русские только по тому признаку, что из-под их бараньих шапок торчали рыжеватые пряди волос, всем же остальным они мало чем отличались от таджиков-арбакешей.

Различные препятствия поминутно загораживали движение арб: то навстречу лениво шагали мохнатые верблюды с тюками табаку и хлопка, то попадалась такая же арба, то верховые, туземцы и русские, пробирающиеся на центральный туземный базар, смешанный гул которого, расходясь из-под сплошных навесов, достигал уже слуха проезжих.

– Вой, вой![2] – покачивали головами в чалмах всадники туземцы, подбирали ноги почти на седло и, осторожно прижимаясь к стенам и обтирая их своими полосатыми халатами, пропускали арбы…

– Держи в сторону, дьяволы! – еще издали кричали и грозно взмахивали нагайками всадники русские, и разве только крайняя необходимость заставляла их взять вправо или влево.

– А куда нам держать? Жми сам в сторону! – отвечали конвоирующие приказчики.

– Да что же вы, братцы, не той дорогой идете? Вы бы на «медресе»[3] взяли, а то вам все навстречу будет! – понижали тон и вступали в разговоры всадники, узнав своих.

– Ладно, нам везде дорога! Эй, ты, там, чертова голова, сворачивай верблюдов во двор… А ты, пес, с ишаками куда лезешь?!

– Что везете?

– Сахар!

– Чей?

– Перловича…

– Эй, эй, тамыр! – робко окликает одного из приказчиков передний арбакеш.

– Чего тебе?

– Вон казы едет, сам казы*… как же быть?

– Гайда! Чего стали?! Гайда, гайда!

– Дорогу, дорогу, дорогу! – кричат пешие, босоногие скороходы седобородого казы, размахивая своими белыми палками.

Угрюмо глядит из-под нависших бровей маститый старик, сдерживает своего аргамака, покрытого бархатной попоной, сверкающей шитьем и блестками, и сворачивает, избегая скандала, в первый двор, дощатые ворота которого мгновенно распахиваются перед ним, при одном только движении поводьев в их сторону…

Дорога становится шире; вдали видны темные входы базара. Смех, говор, визг точильных колес, ржание лошадей, хриплый рев верблюдов, бряцание чего-то металлического сливается в сплошной гул… Там и сям вьются голубоватые дымки, шипит поджаренное масло и заражает спертый воздух; во всех углах сверкают медные бока массивных самоваров, мелькают красные халатики мальчиков, прислужников в чайных лавках. Гремя в бубны и уныло распевая стихи Корана, бродят странствующие нищие монахи, «дивона», и выбирают место посуше и полюдней, где бы удобно было начать свои проповеди.

В одной из чайных лавок, несколько больших размеров, чем остальные, собралось довольно много посетителей. Пол этой лавки поверх циновок был устлан полосатым ковром, «шлямом»; по стенам, на полках стояли ряды самых разнообразных кунганчиков, медных и даже посеребренных, сверкающих мелким чеканом и резьбой. Громадный самовар, ведер в десять, свистел и пыхтел, выпуская из своей трубы клубы черного дыма; закопченный, покрытый каплями грязного пота сарт, согнувшись на корточках, раздувал его снизу кожаными мехами. Хозяин, чернобородый таджик Исса-Богуз, как будто предвидел такое многочисленное собрание гостей в своей лавке, – он успел надеть, поверх своего серого, замасленного халата, новый адрасный, так и шумящий при каждом движении таджика.

«Точно шелковый!» – самодовольно думал Исса-Богуз и проворно перетирал красным кумачным платком ярко-зеленые чашечки, настоящие китайские, с замысловатыми знаками на их плоских донышках.

Мальчики-прислужники, самые толстенькие, самые красивые по всей чайной линии, бойко сновали по лавке, едва успевая складывать в хозяйский кошель медные чеки** и даже серебряные коканы***; два водоноса, полуголых атлета, свалив со своих плеч одиннадцатый турсук (кожаный мех) с водой, подобострастно ухмыляясь и сверкая своими зубами, просили за свои труды, не в счет платы (по кокану в сутки), по чашке горячего и зеленого чая.

---

* Казы – высшее лицо, «сартовский митрополит», как его называют наши солдаты.

** Чека – треть копейки.

*** Кокан – двадцать копеек.

Богатый купец Шарип-бай выпил уже очень много чашек чая, так много, что уже отрыгнул раза три[4] и беспрестанно вытирал пот на лбу и шее полой своего нижнего халата; верхний же, шелковый, прошитый местами золотом и блестками, был спущен с одного рукава, и полы его были раскинуты так ловко, что невольно кидались в глаза всякому. Не без расчета это было сделано, и не один уже проходящий мимо лавки со скрытой завистью полюбовался блестящей материей.

Важно поглядывал спесивый Шарип-бай, как бы раздумывая: кого бы удостоить своим разговором?

– Хорош кишмиш? Я думаю, один сор и навоз? – презрительно скривив рот, спросил он своего соседа, купца из кожевенного ряда, Мушана-Али, скромно отбиравшего у себя на коленях ягодки изюма[5] посвежее и почище.

– Пить чай можно. Конечно, тому, кто не старается возвеличиться питьем чая с сахаром, когда нечем другим гордиться! – отпарировал тот и взглянул на него так, как будто говорил: «что, брат, не на беззубого напал!»

– Сколько с меня за чай? – обратился сконфуженный задира к мальчику-прислужнику, сделав вид, что не слышал ответа Мушана.

– А что же, право, – начал кто-то из самого дальнего угла лавки, – нынче сахар так дорог стал, так дорог, что не всякому, ох, далеко не всякому можно им пользоваться!

– Ужасная дороговизна! – повернулся от самовара хозяин Исса-Богуз. – Двенадцать русских рублей за пуд, а было только десять!

– Да теперь нет его совсем у нас на базаре. Последний, что привезли из Бухары, купцы русские у нас закупили!

– Словно сами не могут выписывать! Им выгоднее; и мы бы у них покупали, а то, шутка ли, мы берем из Бухары, из вторых рук; они у нас и своим-то по тройной цене продают в русском городе!

– Караваны у них не пришли, я знаю! – поднялся на ноги и шагнул к выходу Мушан-Али.

Ему там было уж очень жарко, и он выбрался наперед, где и сел снова на корточки, облокотившись спиной о резную колонку навеса.

– Теперь в русских лавках и нет сахара. Откуда его взять? Перлович купец, что на чимкентской дороге сидит… вот тот самый, что еще здесь с Саид-Азимом рядом караван-сарай с красным товаром держит…

– Знаю!

– Видал его не раз и я!

– Ну, так вот он и скупил весь сахар из наших лавок, а наши дураки его продали, себе даже ничего не оставили!

– Потому хорошую цену дал, ну, и продали. По пяти копеек на кадак (фунт) набавил – как не продать?!

– А верно ты, бай, сам тоже свой продал, что вступился? Так, что ли? – засмеялся Исса-Богуз.

– До моих торгов нет тебе дела! – огрызнулся Шарип.

– Так вот, – продолжал Мушан-Али, – караваны ихние придут еще, пожалуй, через месяц, а то и больше, сахар-то весь в его руках. Какую цену захочет, такую и запросит. Его воля!

– Хорошую цену возьмет! – почесал затылок сосед…

– Ярм-целковый (полтинник)[6] за фунт… Мне говорили сегодня утром! – вмешался еврей, торговец крашеным шелком, все время прислушивавшийся из-под своего навеса напротив к разговору в чайной лавке.

– Слышите, что джюгуд (еврей, жид) говорит: ярм-целковый!

– Ой, ой, какие деньги загребет! – покачал головой седой мулла и понюхал табаку из своей тыквенной бутылочки.

– Будто наши не могли сами продавать свой сахар в русский город! – пожал плечами Исса-Богуз.

– А ты спроси вон у него, он возил на прошлой неделе, десять пудов возил, – хорошо ли продал?

Мушан-Али указал на таджика в розовом ситцевом халате, прятавшего в эту минуту себе за пазуху остатки недоеденной лепешки.

– И не спрашивай! – махнул тот рукой.

– Что, или плохи барыши были? – засмеялся Исса-Богуз.

Только вздохнул в ответ розовый халат и, шагая через ноги гостей, начал пробираться к выходу.

– А не пора ли и мне в свой караван-сарай? – поднялся тоже на ноги Шарип-бай и начал отыскивать свои туфли, «ичеги»[7], между целыми рядами верхней обуви, стоявшей на ступенях лавочного возвышения.

– Слышал, «караван сарай»! – подтолкнул локтем Мушан-Али одного из соседей. – Только успел завести лавку побольше, чем у других, уже караван-сараем величает…

– Таджик – хвастун, сарт! – презрительно сплюнул в сторону сосед.

– «Сарт»! Да ты-то кто сам? – остановился в вызывающей позе Шарип-бай и пристально посмотрел через плечо на говорившего.

– Я… я кто? Я узбек, природный узбек, а не…

– Э, э, э! Зачем ссору заводить? Не надо ссоры заводить… Эй, бай, нехорошо! – вмешался хозяин лавки.

– Велик Аллах, и гроза, и солнце в руках его! – бормотал мулла один из стихов Корана.

Звуки бубна и погремушек медленно приближались с правой стороны, из-за угла мечети, выдвинувшейся к самому базару. Толпа быстро густела; в соседних лавках заметно было особенное движение: торговцы запахивали свои халаты и выбирались из-за сундуков с товарами на пороги лавок… Десятка

два мальчишек скакали и бесновались по улице, ловко увертываясь между лошадиных ног, прыгая по камням, положенным, как переходы, через топкую черную грязь улицы.

– Святые идут! – пронесся крик из толпы.

– Дорогу, дорогу дайте!..

Посетители лавки Исса-Богуза тоже поспешили перебраться к порогу.

Серединой улицы шла группа «дивона»[8] из шести человек.

Грязные, покрытые салом, присохшими объедками, на несколько шагов вокруг заражающие воздух халаты не доставали до колен и рваной бахромой трепались по голым, костлявым ногам монахов. Эти халаты пестрели самыми разнообразными цветами; казалось, они были сшиты из всевозможных образчиков материй, так они были сокрыты заплатами[9]. У каждого через плечо висела холщовая сума на веревке. Пояса у всех были обвешаны кисточками, звонками и разными путевыми предметами; главную роль тут играли ножи, сверкавшие, несмотря на грязь и нищету всего костюма, серебряными бляшками и белыми костяными головками черенков. На головах, небритых, как у всех мусульман центральной Азии, надеты были высокие, конусообразные шапки, клетчатые – черное с зеленым; края этих шапок оторочены были бахромой, совершенно сливающейся с грязными, сбитыми в колтун волосами.

Эти шапки дивона почти никогда не снимают. Что должно быть там, под этими тяжелыми, теплыми колпаками?

Полосы грязного пота струились по исхудалым, фанатичным лицам. Босые ноги тяжело, без разбору дороги ступали и месили уличную грязь, никогда не просыхающую под навесами базаров.

За спинами этих юродивых висели большие бубны, затянутые бычьим пузырем и обвешанные бубенчиками и побрякушками. Странный, чрезвычайно неприятный, раздражающий нервы, сухой металлический звук издавали эти инструменты при каждом движении дивона.

В руках у них были тяжелые, точеные палицы из темного ореха[10], окованные железом, снабженные на концах острием в виде пики.

Шли эти монахи все пятеро в ряд, заняв почти всю ширину улицы. Один, шестой, шел впереди, мерно, через шаг ударяя в бубен кусочком толстой подошвенной кожи.

Это был совсем уже одряхлевший старик. Он шел, согнувшись в пояснице и ковыляя на своих кривых ногах, тощих, как ноги скелета, чуть обтянутые кожей. Беззубый рот шевелился, причитая что-то непонятное. Из-под косматых, совершенно седых бровей тупо смотрели желтоватые бельма и придавали всему лицу что-то страшное, отталкивающее.

– Сам Магома-Тузай, слепой Магома! – тихо, шепотом пробежало в толпе.

– Здесь! – остановился один из дивона, чернобородый атлет, и с размаха воткнул в землю свою палицу.

«Благословение и мир месту, где остановятся, о, Аллах, твои служители!» – пробормотал Магома-Тузай и тяжело опустился сперва на колени, потом, откачнувшись как верблюд, с которого хотят снять вьюки, сел на свои мозолистые, корявые пятки.

Все остальные дивона сели сзади него, полукругом.

Перед стариком поставлена была деревянная чашка для сбора приношений.

– Аллах отобрал от стада своих любимых овец и дал им то, чего лишены были остальные. Он дал им способность видеть то, чего не видят другие. Смотреть вперед и знать все, что встретится на дороге, когда другие могут только знать то, что пройдено ими!

– Что он говорит? Ничего не слышно! – произнес довольно громко хозяин чайной лавки, Исса-Богуз.

– Тише ты, горластый! – крикнул кто-то из толпы.

– Да когда и вправду не слышно, что толку. Говори, старик, громче! – поддержал Богуза аксакал Годдай-Агаллык, остановившись верхом на своем коне перед его лавкой.

– Не перебивайте вы!

– Да тише же!.. Эй, перестаньте там посудой брякать! Да уйми же, собака, своего осла!

– Шевелит только своими дохлыми губами; ничего не разберешь… – проворчал Шарип-бай, не ушедший только потому в свой караван-сарай, что хотелось тоже послушать проповедь.

– Да скорчит пророк твою спину и пошлет немоту на поганый язык твой за эти слова! – прошипел седобородый мулла.

– Ну, гляди, сам на себя не накликай!

На ноги поднялся тот самый чернобородый дивона-атлет и потряс над головой своим бубном.

– Гм, гм… – откашлялся он, и это громовое откашливание, покрывшее собой гул толпы, обещало могучий голос, такой, что не заглушат его ни говор, ни бряканье посуды, ни даже завывания беспокойного осла, длинные уши которого шевелились между двух рогастых вязанок топлива.

– Вот это так!

– Эко рявкнул!

Послышались одобрительные возгласы.

– Тринадцатый десяток лет лежит на плечах праведника! – начал чернобородый, указав рукой, сжатой в кулак, на замолчавшего Магома-Тузая.

– Ой, ой, какой старый! – покачал головой один из зрителей.

– Что за старый, – презрительно пожал плечами хвастун Шарип-бай, – моему отцу, если б он остался жив, теперь было бы пятнадцать десятков!

– Попался бы ты мне три года тому назад! * – шептал седобородый мулла.

– Торба с ячменем не всегда висит у коня на морде! ** – усмехнулся Шарип-бай.

– Время отняло у него силу голоса, – ревел чернобородый, – но прибавило ему ума… Ум его, голос мой… я начинаю!..

Он сел на корточки рядом с Магома-Тузаем, который шептал ему что-то на ухо, другой дивона сел перед ним, шагах в четырех, да так и уставился глазами на проповедника.

Его обязанность была вторить проповеднику и уместно поставленными вопросами и перерывами оттенять известные места проповеди.

Глухо забренчали разом поднятые над головами бубны. Дивона учащенно закивали своими колпаками. Магома-Тузай поднял глаза к небу, которое, впрочем, скрыто было от него, как его слепотой, так и закоптелым навесом базара, и сильно три раза ударил себя кулаком в грудь.

Дивона-атлет начал:

О белом верблюде***

Была земля. На этой земле стояло вечное лето, потому что деревья, трава, кусты были вечно зелены… На этой земле была вечная весна, потому что вечно все цвело, и никогда не вяли красные махровые розы… и как же эти розы хорошо пахли!.. На этой земле был вечный день, потому что солнце стояло на одном месте, как раз посредине неба…

– О, Аллах, какая это была хорошая земля!.. – удивился другой дивона. – Слушайте, слушайте, правоверные!

– На земле этой был вечный отдых, потому что зачем было трудиться и работать, когда все было готово, все под руками. Все деревья были снизу до верху покрыты плодами, и если ты сорвал один, на том же месте сейчас выростал другой. Бараны паслись уже совсем готовые, вареные и жареные… молоко текло по всем арыкам!

– И даже везде были зарыты колодцы с бузой****!– провозгласил дивона, сидевший напротив.

– Нет, колодцев с бузой не было! – кротко остановил его чернобородый.

– Как не было?! Я сам…

– Не перебивай некстати!

---

* Намек на бухарское владычество, когда вся сила была в руках духовенства.

** Местная пословица, по смыслу подходящая к нашей «Не все коту масленица».

*** Одна из проповедей, записанных доктором Авдиевым в 1867 году; мусульманское духовенство, возбуждая народ к поголовному восстанию против русских, к «хазават» (священной войне), рассылало по городам своих агентов – «дивона» с подобными подстрекательными речами.

**** Хмельной напиток – первобытное пиво.

– И на этой-то счастливой земле жили вечно счастливые люди!

Снова загудели бубны. Рассказчик перевел дух и запил из поданной им чашки. Магома-Тузай снова принялся ему шептать на ухо.

– Земля эта принадлежала белому верблюду… Чистый, самим Аллахом посланный на землю, он жил на этих блаженных лугах, ел одни розы, пил чистое молоко, спал на шелковых халатах и одеялах!

– Что за житье было этому верблюду! – вскрикнул другой дивона.

– А разве людям было хуже? – заметил проповедник.

– Кто говорил, что худо, и людям хорошо, только за что же людям все это давалось, мне кажется, что они этого не стоили!

– Нет, стоили, потому что были очень хорошие мусульмане, не то, что нынешние!

– Ну, где теперешним! – согласился другой дивона.

– Люди должны были знать только одно дело – это ходить за белым верблюдом, они должны были рвать ему розы, подавать молоко и подстилать на ночь одеяло. Они должны были чистить его, мыть и обливать розовым маслом. Вот все, что они должны были делать!

– И как подумаешь, мало было дела!.. И за такую малость жить на такой блаженной земле!

– Велик и многомилостив Аллах: он не хотел налагать на плечи человека тяжелого груза!

– И долго жили на этой счастливой земле счастливые люди; жили бы и теперь, но…

Чернобородый вдруг зарыдал, вцепился себе руками в бороду и ожесточенно принялся теребить грязные волосы. Грустно опустил голову на грудь Магома-Тузай, остальные дивона затянули протяжную, плачевную ноту.

В этих заунывных звуках, в этих всхлипываниях, прорывающихся в монотонном дребезжании бубен, в этой мертвой тишине, охватившей всю толпу, было что-то странное, тоскливо сжимающее сердце, тяжелое, от чего свежему человеку хотелось бы во что бы то ни стало отделаться, как от давящего кошмара.

И Шарип-бай перестал язвительно улыбаться, и Исса-Богуз потупил глаза в землю, и большинство слушателей занялось упорным созерцанием почвы у себя под ногами. Только седобородый мулла торжествовал и смело глядел на толпу каким-то вызывающим взглядом.

– Но эти люди стали забывать служить белому верблюду! – прорвался сквозь общее рыдание всего хора дивона голос чернобородого.

И все разом затихло.

– Раз они не принесли ему роз. «Зачем, – думают, – когда он сам может нарвать себе сколько угодно». Другой раз они забыли поднести молоко к его морде. «Зачем, – думают, – когда оно течет у него под ногами». А раз так даже забыли подостлать ему для спанья одеяло!

– О, неблагодарные, о, паршивые собаки, они только не забывали думать о своих животах!

– Нахмурил Аллах свои грозные брови – и потемнело вечно сверкающее солнце. Холодом пронесло над землей, и надвинулись с севера, из-за ледяных гор, черные, тяжелые тучи.

– У-ух! – разом произнесли все дивона и затряслись под своими халатами.

– Не унялись дурные люди, не поклонились они белому верблюду, не стали просить его умилостивить грозного Аллаха, а еще сами рассердились на святое животное. «Из-за твоей лени все Бог посылает нам беды», – сказали они и со злостью отвернулись.

– Несчастные, они сами на себя накликали свою погибель!

– По ледяным горам загремел гром… Ярче прежнего солнца загорелась в тучах кровавая молния. Завыл ветер с севера, и в этом ветре завыло еще что-то страшное, чего люди еще и не слыхивали. То выли проклятые северные волки. Через ледяные горы, из ледяной страны, бесчисленными стаями шли голодные звери. Из их открытых пастей валил смрадный дым, из гортаней вылетал расплавленный свинец и чугун и поражал смертью все встречное. У этих волков были стальные зубы – острые, крепкие, и никакая кольчуга не могла защитить тело от этих страшных клыков. Волки эти были все белые, и шли они рядами, и казалось, конца не будет этим рядам, так их было много. Дорога перед ними была зеленая, сзади же красная. Красная, потому что вся земля покрывалась кровью. И цепенели от ужаса все люди!

– Еще бы не оцепенеть! Этакие страсти! – ввернул другой дивона.

– Ринулись волки на белого верблюда, принялись жечь его своими раскаленными языками, рвать стальными зубами, и полилась святая кровь на землю, и подогнулись крепкие колена бедного животного. Упал белый верблюд. Разом потухло солнце; холод и смерть стали на земле, замерзли реки, высохли деревья, и погибшая земля покрылась белым снегом. Так настало волчье царство! Залился слезами умирающий верблюд и громко вскрикнул: «Аллах многомилостивый, пощади свой народ, он еще исправится и будет помнить твою грозную волю!» И отвечал Аллах: «Ну, хорошо, еще не все потеряно, я прогоню от вас этих волков, только…»

– Пойдем-ка, брат, к начальнику, там вашего брата уже одиннадцать человек забрано! – вывернулся из толпы уральский казак в армячинной рубахе и схватил чернобородого за ворот.

– Кой! (оставь), – заревел тот и сильно толкнул казака.

Тот упал от этого могучего толчка, способного сбить с ног даже дюжую лошадь.

Все дивона вскочили на ноги. Старого Магома-Тузая окружила заволновавшаяся толпа. Глухой ропот пробежал под базарными сводами.

– Ну вас к черту! – заворчал Исса-Богуз и поспешно стал задвигать досками вход в свою лавку.

– Уйти, пока чего не вышло! – попятился задом Шарип-бай.

– Бей его! – крикнул кто-то в толпе.

Человека четыре накинулись на казака, только что успевшего подняться на ноги.

– Брось, брось! Не трогать! – ринулся в толпу аксакал Годдай-Агаллык и раздвинул ее своей лошадью.

Сзади, в базарном выезде, показались силуэты горбоносых конских морд и замелькали темные фигуры с торчащими за плечами концами винтовок.

В кулаке чернобородого сверкнул нож, тяжелые палицы дивона взмахнули высоко в воздухе.

– В ножи их! – громко крикнул седобородый мулла и, махая рукой, с пеной у рта, ничего не видя, не сознавая, ринулся на казаков в каком то исступленном азарте.

– Свяжи его, дурака старого, кушаком! – распорядился казачий офицер, командовавший конным патрулем.

Толпа быстро стала расходиться.

– Предатели! Второй раз предали волкам белого верблюда! – задыхаясь, кричал седобородый мулла, барахтаясь в казачьих руках.

Ему на голову накинули башлык и закрутили концы его на шее.

– Что же меня вязать? Я и так пойду! – кротко, слезливо глядя по сторонам, бормотал Магома-Тузай.

– А где еще один, самый-то рассказчик?

– Чернобородый? Он сюда побежал, вот в этот переулок! – кричал Исса-Богуз, указывая налево.

– Я тоже видел; сюда! – указал нагайкой аксакал Годдай-Агаллык.

– Здесь, здесь! – кричал таджик Хаким, мясник. – У меня, за бурьяном, на задворке спрятался!

Кинулись на крик три казака и из народа человека четыре и вытащили со двора на улицу чернобородого, волком озиравшегося на толпу и наскоро шарившего у себя на поясе рукой.

Он нож искал; думал, что висит у него на своем месте, и забыл совсем, что обронил его, когда прыгал через сундуки джюгуда Исаака, пробираясь к Хакимову задворку.

И поволокли конные казаки злополучных дивона к кокандским воротам, на русскую половину, к допросу, в канцелярию начальника города.

И снова закипела встревоженная этим эпизодом базарная жизнь, и снова повалил народ в чайную лавку Исса-Богуза. Зашуршали приостановившиеся на время точильные колеса, застучали молотки в лавках медных и серебряных дел мастеров, и зашипел кипяток, полившись из самоварных кранов в медные чеканенные кунганчики.

Богуз громко крикнул:

– Эй, вы, батча[11], подавай живее! Гляди, там в угле бай чаю спрашивает!

X. КУПЦЫ ИЗ «КЭРМИНЕ»

В расстоянии полуверсты от центрального базара, перебравшись через довольно плохой деревянный мост, перекинутый через овраг Босу, дорога раздваивается: одна идет несколько левее, к базару, другая же круто поворачивает направо и, лепясь по обрывистому берегу, бесчисленными зигзагами выводит в жилую часть города, занятую преимущественно домами местной аристократии и только крупными торговыми деятелями, имеющими здесь свои обширные караван-сараи.

Наружный вид этой части города, несмотря на отборность ее населения, мало чем отличается от остальных частей, заселенных более скромными обитателями: те же узкие улицы, те же приземистые сакли с плоскими крышами, та же грязь по колено в дождливое время, а в сухое – мелкая, серая пыль, полуаршинным слоем лежащая на дороге. Ни одного окна, ни одной двери не ведет прямо на улицу; все это смотрит вовнутрь, сосредоточивая замкнутую жизнь в своих «хане» (дворах), скрытых от глаз постороннего наблюдателя[1].

Мертвая тишина стоит здесь; пусты улицы, лежащие в стороне базарных, проездных линий; только в известные промежутки времени важно проезжают по ним верхом на аргамаках сановные обитатели, сопровождаемые пешей прислугой. Да на крышах, между зеленью выглядывающих из-за них фруктовых деревьев и стройных, пирамидальных тополей, мелькнет иногда цветной рукав шелковой рубахи, сверкнут два живых глаза из-под накинутого на голову халата[2], прозвенит колокольчиком голос ребенка или послышится веселый женский смех, внезапно оборвавшийся, будто бы затворница вовремя спохватилась, сама испугавшись своей смелости.

Немного дальше, почти на рубеже этой мертвой части города с живой базарной, виднеются высокие ворота караван-сараев и приплюснутые купола мечетей. Темно-зеленые группы развесистых карагачей бросают густую тень на поверхность заплесневелых прудов[3] – водных резервуаров города. Везде, где только улица становится шире, образуя небольшие площадки, лежат ряды отдыхающих верблюдов, стоят распряженные арбы, снуют и суетятся лаучи и арбакеши. Новые, еще неразгруженные караваны тянутся по улицам и сворачивают в ворота караван-сараев. Полукруглые, заостренные кверху арки словно всасывают в себя эти цепи верблюдов, проглатывая одного за другим вместе с их вьюками, качающимися по бокам, с их всадниками, кивающими с высоты седла своими меховыми малахаями.

Здесь уже шум, оживление, – не тот нестройный, неопределенный шум базара, а что-то совсем особенное, определенное; наблюдатель только по слуху еще издали может разобрать, где что делается, чем тот или другой караван-сарай занят.

– У Шарофея чай и табак вьючат! – говорит караван-баш Мангит, отбирая верблюдов, чересчур уж потерших себе спину.

– У русского купца опять собрался народ: все с железом не может покончить! – говорит другой. – Смотри, Ахмат променял-таки своих двух «наров» (одногорбый верблюд из Андкуи[4]); взял четырех «тюя» (двугорбых) и ишака афганского, – здоровая скотина: я видел, больше лошади поднимает!

В этой-то части города и находился новый караван Перловича, переделанный им недавно из остатков индийского караван-сарая, сгоревшего во время недавнего землетрясения.

Этот караван-сарай был отделан очень роскошно, сообразно с местными условиями. Недаром приезжие из Бухары и Коканда купцы считали первым долгом завернуть к «богатому русскому купцу Станиславу-баю-Перловичу», – его имя без частицы «бай» теперь уже не произносилось, – и полюбоваться его просторными навесами для отдыха прислуги, крытыми, чистыми складами для товара, тенистыми галереями вокруг всего двора и почти единственным прудом – «хаузом», не покрытым зеленой плесенью и не заражающим воздух, как большинство остальных городских резервуаров.

Едва только посетитель въезжал в ворота, ему не приходилось привязывать свою лошадь, где попало, на солнцепеке: для этого ему тотчас указывали на сараи вдоль стен, с правой стороны ворот, где все было уже заранее прилажено для своего назначения. Пройдя через первый двор, посетитель уже пешком попадал на второй, несколько меньших размеров. Часть этого двора была занята «хаузом», к которому вели арыки, вводя в него чистую воду и выводя ее потом другими путями далее. Посреди другой части находилось довольно большое, четырехугольное возвышение, глинобитное, расположенное так, что как раз приходилось под густой тенью карагачей, роскошной группой поднимающихся посредине двора. Здесь помещены были большие весы, с поднятых лотков которых товарные тюки можно было прямо накатывать на арбяные платформы. Целый ряд полуворот вел в просторные пакгаузы, а левее, под навесом, поддерживаемым точеными колонками в местном вкусе, расписанными яркими красками и позолотой, находилась резная дверь, ведущая в помещение самого хозяина, и приемные для его гостей.

Перловичу часто приходилось по своим торговым делам по целым дням проводить в караван-сарае, и потому все здесь было им приспособлено для жизни так же, как и в его городском доме.

– Хорошо обстроился, очень хорошо! – говорил его сосед Саид-Азим-бай, побывав в новом помещении Перловича и вернувшись домой.

– Гм, хорошо, я думаю, у эмира в Бухаре хуже! – соглашался с ним его тамыр (приятель) Шарофей и, взявшись за луку своего красного, раззолоченного седла (он собирался уезжать), остановился, взглянул в ту сторону, где из-за стены виднелись вершины карагачей в русском караван-сарае, и добавил, улыбнувшись:

– Хороший человек этот Станислав-бай-Перлович!

– Хороший хозяин! – поправил его Саид-Азим, сделав особенное ударение на слове «хозяин».

Станислав Матвеевич только что вернулся из города. Он слез с лошади, бросил поводья черномазому татарину-конюху, расправил колена, щелкнул нагайкой по лакированному раструбу сапога и тихонько поднялся на ступеньки крыльца.

Четыре белых чалмы разом произнесли «хоп» и «аман», нагнулись в пояс и показали ему верхушки красных тюбетеек, вокруг которых намотано было полотно чалм.

– Кто такие? – обернулся Перлович к Шарипу, встретившему его на пороге.

– Купцы из Кэрмине, по вчерашнему делу! – отвечал старый Шарип, с почтением принимая от своего хозяина шапку, перчатки и нагайку.

– Будьте здоровы! Милости просим в дом! Давно здесь?

Четыре чалмы поднялись так же одновременно, как и опустились, и открыли четыре бородатых лица узбекского типа.

– Пришли вот опять к тебе; были у соседа твоего, почтенного, достославного Саида-Азима-бая; обещал тоже прийти сегодня сюда, чтобы уж все кончить! – произнес один из купцов и, предупредительно рванувшись вперед, сжал легонько обеими ладонями протянутую ему руку.

– Придет, Саид придет, он мне говорил утром. Ну, подождите, пока Шарип дастархан* приготовит! – распорядился Перлович, здороваясь поочередно с купцами. – Ну, хорош путь был?

– Твоим благочестием доехали благополучно! В Кызыл-Купыр на границе взяли с нас один раз зякет[5] со всего товара, а потом в Дюзаке еще раз, вдвое против прежнего. Это так и следует?

– Стало быть, следует, когда берут. Прошу пожаловать!

Перлович прошел в дверь и жестом пригласил узбеков следовать за собой. У самого порога купцы сняли верхнюю обувь, остались только в одних мягких кожаных сапогах, в виде чулок, «мусса», и друг за другом, пригнув головы[6], хотя дверь была настолько высока, что самый высокий человек не мог бы достать до притолоки верхушкой своей шапки, взошли в прохладную приемную, устланную полосатыми коврами, с мягким, несколько возвышенным сиденьем вдоль стен комнаты.

Уселись. Перлович сел тоже, по туземному образцу, на ковер. Два мальчика-батчи принесли кальян и подносы с дастарханом.

Гости Станислава Матвеевича в первый раз только находились в Ташкенте. Они пришли с караваном бухарского хлопка и табаку, который рассчитывали сбыть здесь и закупить партию русских товаров, преимущественно ситцу и коленкору. Перлович через своих агентов предложил им не дожидаться,

---

* Угощение из разных сластей, настолько же неизбежное, как угощение чаем в Москве.

пока распродастся товар, а променять им их груз на готовый товар из своих складов, конечно, с некоторой уступкой.

Дело было очень выгодно для Станислава Матвеевича и небезвыгодно для купцов из Кэрмине, и сегодня эта сделка должна была оформиться и скрепиться; ждали только Саид-Азима, который тоже участвовал в сделке, так как у Перловича в настоящее время не оказалось всего количества нужного товара.

Светлый четырехугольник отворенной настежь двери разом загородился массивной фигурой Саид-Азима.

– А, ну, теперь мы все в сборе! – произнес Перлович, он не здоровался с вошедшим, потому что уже видался с ним сегодня утром.

– Как же жарко! – вздохнул Саид и, приподняв свою кашемировую чалму, отер с лица и головы пот концом шелкового пояса.

– У нас еще жарче! – заметил один из купцов. – Арыки пересохли; на Чапак-аша заперли воду и не дают на низы. Боятся наши, как бы рис не выгорел!

– Отчего же не дают? – спросил Перлович.

– Плотина, говорят, неисправна; от наших народу в Самарканд требуют для земляных работ!

– Послали?

– По человеку с каждого десятка выслали. Много народу пошло, мы обогнали дорогой. Бек Заадинский с ними!

– Рахмед-инак?

– А то кто же. Он сидит пока крепко. Эмир ему халат прислал недавно!

– Халат! – презрительно скорчил губы Саид-Азим. – У вас там еще все халаты! Халат что… халат вздор, а вот это…

Он раздвинул руками свою густую, черную бороду и показал большую золотую медаль на владимирской ленте[7].

Не менее презрительно пожали плечами купцы из Кэрмине и только вскользь взглянули на этот яркий металлический кружок, так и сверкавший на лиловом бархате Саид-Азимова халата.

– Всякому по заслугам, – равнодушно произнес один из них.

– А что же твой муфти, приятель? Пора бы ему прийти! – заметил Станислав Матвеевич и поглядел на часы.

– Придет, через полчаса придет! – отвечал Саид, прижав указательным пальцем дырочку кальяна и собираясь втянуть дым. – Я ему все велел приготовить; как придет, этим, – он кивнул головой на купцов, – придется только подписать, и дело сделано!

– Да, надо бы кончать, – заявил ближайший узбек. – И мы бы даром не теряли времени; нагрузились бы и пошли!

– Поспеете. Лопатинских приказчиков видел: муку у Шарофея торгуют для последнего подряда!

– Что же, сторговали? – процедил сквозь зубы Перлович.

– Цену хорошую дают, отчего не продать!

– Дурак твой Шарофей!

– Что так?

– Сядет этот подлец у вас у всех на шее, помяните мое слово; все к себе заберет; увидите тогда, спохватитесь – поздно будет!

– Всем дела хватит и нам останется! – задумчиво произнес Саид-Азим.

– О ком это он говорит? – спросил купец из Кэрмине.

Остальные переглянулись и стали тихо переговариваться.

– Вчера, я знаю, – шепнул Саид-Азим хозяину, – от него к этим все-таки присылали, надбавку против нашего делал…

– Как же, делал! – подтвердил купец, расслышавший, о чем идет речь.

– И Аллах вас спаси с ним связываться: этот человек – ходячая ложь и обман!

– Да мы не потому, а как же, когда мы тебе уже обещали?

– И хорошо сделали; вышли бы иначе из Ташкента пешком, в одних халатах!

– Оборони пророк!

– Что же ты так его чернишь сильно, – лукаво улыбнулся Саид-Азим, – или все за последний подряд сердишься? Ведь, ишь ты, сколько грязи накидал на его голову!

– И Шарофей твой на всю жизнь мне врагом сделается, если продаст ему муку. Лопнет он со своим подрядом!

– То его дело, мне что!

– Слушай. Скажи ему – ты его сегодня увидишь еще – скажи ему, что я сверх последней лопатинской цены по пяти копеек на пуд надбавки во всяком случае делаю!

– В убытках будешь! – мотнул головой Саид-Азим, как бы думая: «ведь вот чудак-то!» – Уж больно ты зол на него. И чего это только вы не поделите? Отчего же теперь наши купцы…

Быстро поднялся на ноги Станислав Матвеевич и шагнул к дверям. Ему послышались голоса на переднем дворе.

Собственно один голос так поразил его…

– Коняку моего ты, краснощекий чурбан, привяжи где-нибудь. Сюда, что ли? – говорил этот голос в воротах.

– Лопатин приехал! – произнес Саид-Азим, узнав голос. – Вон со своего иноходца слезает! – говорил он, выглядывая за дверь. – Какой же он, право, толстый!

Перлович быстро вышел из сакли.

Видимо, озадаченные, в полнейшем недоумении переглядывались между собой оставшиеся купцы. Уже из одного только того обстоятельства, что вчера вечером, видимо, тайком, были к ним от Лопатина подсыльные, чтобы

отбить от Перловича выгодную сделку, пользуясь тем, что сделка эта существовала пока только на словах, они догадались о вражде этих двух торговых деятелей. Несколько фраз, вскользь брошенных Перловичем, и последний разговор его с Саид-Азимом окончательно убедили их в этом. А тут вдруг сам к нему приехал! Что за диковина? Не могли наивные узбеки переварить этого обстоятельства.

– Смотри, подерутся сейчас! – шепнул один другому.

– Он без ножа пошел? Ты не заметил? – спросил другой.

– Нет, что-то было в руках. «Жизнь человека и всякого зверя, большого и малого, и птицы, и рыбы – все в воле Аллаха!»[8]

Пронзительный, раздирающий душу вопль пронесся по двору.

– Зарезал! – крикнул узбек и вскочил на ноги.

Поднялись и остальные трое, сильно побледневшие, смущенные, и поспешили к порогу.

– Чему я обязан, дорогой мой Иван Илларионович… Вот неожиданность! Благодарю, тысячу раз благодарю!

– Нет, что же, я давно собирался… Эк он его ожег! И это часто случается?

Станислав Матвеевич обнял Лопатина правой рукой за талию, левой же поддерживал его под локоть. Таким образом они взошли на крыльцо и остановились перед дверью в позах Чичикова и Манилова[9].

– В старых постройках их попадается довольно много.

Поди, скажи Шарипу, чтобы маслом деревянным тебя намазал скорее! – обернулся Перлович к одному из мальчиков-конюхов, присевшему на землю и скорчившемуся от невыносимой боли.

– Какие эти скорпионы ядовитые… Он, верно, наступил на него! Что, это не очень опасно? – спрашивал Лопатин.

– Пустяки, сегодня же к вечеру здоров будет, – отвечал Перлович, – но что это больно – то, действительно, ужасно! Я сейчас велю подать стулья… Эй, Шарип! Мы, знаете, обжились здесь, привыкли уж просто на коврах!

– В повалку-то?..

– А то пойдемте, пожалуй, на другую половину, на европейскую, – я ее называю европейской потому, что она меблирована по-нашему. Туда нам подадут кое-чего со льдом, vous comprenez?[10]

– Отчего же не здесь? Тут так прохладно. А, Саид-Азим, приятель, здорово! А я, было, к тебе тоже заезжал, да говорят, из дому уехал. Ах, ты, старый греховодник!

Лопатин потрепал Саид-Азима по животу.

– Ну, эк! – икнул тот, однако улыбнулся и произнес: – Другой раз придешь, дома буду!

– Мы пойдем! – робко подступил один из купцов.

Перлович сделал нетерпеливое движение.

– А вот и мой мулла муфтий пришел, – сказал Саид-Азим. – Мы сейчас и к делу можем прис…

Он разом остановился, почувствовав, как Перлович дернул его за полу халата.

– Да я, может быть, мешаю? Вы, пожалуйста, не стесняйтесь! – поспешил заявить Лопатин.

– Выведи их на второй двор; я сейчас приду! – шепнул Перлович Саиду.

Маленькая, старческая фигурка в необъятной чалме, в полосатом зеленом халате, с длинным футляром под мышкой и сверточком проклеенной прозрачной бумаги, сунулась, было, в дверь, но, заметив жест Саид-Азима, быстро юркнула назад и скрылась.

– Хорошо, хорошо, с большим вкусом! – рассматривал Лопатин штучный потолок и алебастровые украшения стен, делая вид, что совершенно не замечает ничего происходящего.

Перлович проводил купцов за порог, Саид-Азим помедлил с минуту, побарабанил пальцами по своему колену с видом человека, которому положительно спешить некуда, спросил Лопатина о состоянии его здоровья и здоровья его домашних[11], порылся в фисташках, одном из основных блюд дастархана, и потом уже вышел из сакли. Он переступил порог медленно, верхние сапоги надел еще медленнее, зато, шагнув за дверь, сразу поддал ходу и почти бегом перешел дворовую площадку.

В сакле, где Саид рассчитывал найти купцов, их не было… «Куда же это они делись?» – подумал он и стал оглядываться.

Крикливый голос муллы несся с первого двора… Грамотей горячился и что-то доказывал, там же слышны были и голоса купцов из Кэрмине.

– Вот, Саид-бай, они от дела отказываются! – кинулся навстречу Саид-Азиму его писец.

Вопросительно взглянул тот на купцов… Все четверо стояли кучкой под карагачами и пощипывали бахрому своих поясов.

– Что же это вы? – спокойно спросил их Саид.

– Мне что же, я, пожалуй… – начал один из них. – Да мой товар вместе с другими, как его выделишь?

– И ты не хочешь? – улыбнувшись, обратился Саид к другому.

– Я один что? Как другие. Вот они не хотят!

– А ты?

– Я уж вместе со всеми, как они, так и я.

– Ну, мулла, пиши договор. Печати с вами?

– Мы печатей класть не будем и договора вашего не хотим. Мы уж лучше по-прежнему на базаре сдавать будем!

– Да вы чего это ветер переменили: то с одной стороны был, а теперь вон уж откуда дуть начало!

– Слушай, бай, ты один с нами делай, а «того» не надо, Бог с ним. А то мы, пожалуй, с другим, что вчера присылал к нам; у него в глазах все-таки немного больше правды!

– А лучше всего, если мы по-прежнему, на базаре, хоть долго, а вернее, а то с вами связываться – еще беды наживешь! – выступил из группы другой купец.

– Ложь у вас на языке, ложь и в глазах, – начал третий, борода с проседью, и с укором взглянул на Саид-Азима. – А ведь с тобой, бай, прежде можно было дело делать!

И, не сказав прощального приветствия, купцы повернулись и, не спеша, пошли к воротам, мелькая из-под халатов зелеными задками своих туфель.

Вопросительно посмотрел мулла-муфтий на Саид-Азима и стал укладывать в футляр свои письменные принадлежности: камышовые перья, кривые ножницы для обрезки этих камышинок, медную ложечку для восковых чернил, кисточку для намазывания печатей и самые печати, сердцеобразные металлические пластинки с вычурными вырезными знаками.

Исподлобья смотрел Саид-Азим на удаляющихся купцов, и когда последняя чалма скрылась за воротами, с досадой плюнул в сторону, прямо на отпечаток на песке ноги одного из ушедших.

Сильно бросившаяся в глаза двуличность Станислава Матвеевича разом пробудила все недоверие и подозрительность азиатской натуры.

А Перлович, сидя, как на иголках, с глазу на глаз с Иваном Илларионовичем и давясь глотками холодного шампанского, ждал, когда же это его позовут скрепить своей подписью их выгодную сделку.

– Как посмотрю я на вас, на вашу предприимчивость, на все это вокруг вас, как это все растет, обставляется, так мне даже немного завидно становится, право! – говорил Лопатин и дружески, несколько даже фамильярно, притиснул слегка к столу холодную, сухую руку хозяина.

Саид-Азиму-баю в эту минуту подавали его аргамака, и он, с помощью конюхов, лениво взбирался на свое высокое седло. Неловко ему было, да и не хотелось как-то идти к Перловичу объявить о несостоявшейся сделке, и он предоставил это своему муфтию, который уже переминался на пороге с ноги на ногу, придумывая оборот речи, могущий менее всего обидеть русского купца Станислав-бая.

Должно быть, на его язык навернулись, наконец, подходящие фразы, потому что мулла решительно крякнул, оправился, сложил руки на желудке[12] и смело переступил порог комнаты.

XI. НА ПРИСТАНИ

Крещеный еврей Зимборг, отставной каптенармус одного из местных батальонов, приехав из Ташкента домой в Чиназ, первым долгом распорядился, чтобы его супруга Амелия сама таскала в погреб из повозки бочонки с водкой и ящики с бутылками. Лично он не мог ей помочь в этом, потому что ему

надо было по очень спешному делу тотчас же навестить товарища своего, отставного горниста Александра Вульфзона, тоже из евреев, содержателя единственной в Чиназе гостиницы с номерами для приезжающих.

– Иди, иди, уж я без тебя управлюсь! – говорила ему супруга, тщательно заслоняя своей вертлявой особой темный промежуток между углом широкой двуспальной кровати и покосившимся шкафом с посудой.

– Только смотри, – предостерегал ее супруг, – чтобы у меня ни одна бутылка не оказалась разбитой: все должны быть целы, сам укладывал и ехал потихоньку. Смотри!

Слово «разбитой» было произнесено с каким-то особенным ударением; очевидно, что это был намек на какое-нибудь известное обстоятельство; к тому же и худощавое, бойкое лицо Амелии вспыхнуло при этом слове, и она с досадой произнесла:

– Стану ли я еще эдакую скверность пить! Не найду будто лучшего!

А выждав, когда муж ее скрылся за поворотом в переулок, произнесла более ласково:

– Ну, ступай теперь, Ваня, да скорее, а то встретитесь с мужем, опять раздеретесь на всю улицу, как в прошлый раз… что хорошего!

– Конечно, что хорошего! – согласился щеголь фельдшер Ваня и, чмокнув на ходу хозяйку в ее потную щеку, юркнул за дверь, оттуда в калитку на задворок, перелез через забор и пошел себе вольготно по базарной улице, закуривая смятую папиросу.

Александр Вульфзон был занят наклеиванием заплат на бильярдное сукно, прорванное вчера подвыпившими юнкерами, когда к нему пришел его приятель.

– Здорово, что нового? – произнес он, завидев входящего Зимборга.

– А поди сюда! – подманил его пальцем тот.

И между ними началось оживленное совещание.

– Амелия! – крикнул экс-горнист своей супруге (у него тоже была супруга Амелия). – Поди скажи, чтобы ту комнату с передней, что в три окна на двор, вымели чисто-начисто, ковер постлали и клопов из дивана кипятком выпарили!

Это распоряжение было результатом совещания.

– Кого такое ждешь? – протянула откуда-то супруга.

– А тебе что? – так же протянул супруг.

– А зачем мне не сказать?

– А затем, что не надо, – ответил сначала Вульфзон, но потом подумал и произнес: – Лопатина, вот кого. Ну, теперь ты знаешь? Иди же, выпаривай клопов!

Амелия Вульфзон пошла исполнять возложенное на нее поручение, а Александр Вульфзон прогладил еще раз горячим утюгом по заплате и сказал мальчику Пашке, маркеру:

– Ты, дьяволенок, смотри, не смей шаров гонять, пока совсем не просохнет; и господам офицерам скажи, что просят немного подождать, – слышишь?

– Слышу! – отозвался мальчик Пашка и стал из сжатого кулака выпускать мух по одной, пришептывая: «первая, вторая, третья…»

Его интересовало, сколько это он захватил их за раз, махнув рукой над столом, пыльная поверхность которого была покрыта остатками обеда и пивными лужами, размазанными пальцем.

В ночь приехал из Ташкента Иван Илларионович Лопатин, в коляске четверткою, и тотчас же получил приглашение остановиться в собственном комендантском доме. Он поспешил отклонить от себя это любезное приглашение и предпочел расположиться на диване в гостинице Александра Вульфзона.

– Заедят, подлецы! – сомнительно покачал головой Иван Илларионович, нагибаясь со свечой к подозрительным щелям мебели.

– Ни Боже мой! – протестовал экс-горнист. – То есть дай Бог, не сойти с места. Моя жена собственноручно их ошпаривала – так ошпаривала, так ошпаривала…

– Разбудить меня пораньше завтра. Пароход придет в восемь, так будите эдак часов в семь или даже в половине седьмого. Своих лошадей я вышлю за ночь в Дзингаты на подставу, а мне послать за почтовыми! – распорядился Лопатин и грузно заворочался на диване, от которого еще до сих пор струился легонький пар, и попахивало чем-то вроде лазаретного бульона.

– Желаю вам самых хороших, самых превосходных снов! – на цыпочках попятился к дверям Вульфзон.

– Туши свечу! – промычал Иван Илларионович и повернулся носом к стене.

Ему хотелось спать, ему казалось, что он вот-вот так и погрузится в сон, едва только почувствует под головой свежую наволочку пухлой подушки. Однако это только казалось.

Свист парового свистка, пыхтение паровика и глухой шум работающих колес так и поражали его слух, хотя пароход этот, в данную минуту, находился, по крайней мере, в сорока верстах ниже по течению Сырдарьи, и никто в Чиназе, кроме Лопатина, не мог слышать его приближения. Мало того, сквозь закрытые веки он видел даже, что делается на этом пароходе, на его палубе, на мостике, под мостиком и даже в каютах, несмотря на их запертые двери…

«И как это хорошо устроено: ты вот тут лежишь себе покойно и рулем правишь… клопы тебя не кусают… Да, хорошо быть капитаном!» – «По заслугам, всякому по заслугам», – раздается внушительный генеральский голос. – «Ваше превосходительство!» – захлебывается от умиления Иван Илларионович. – «По заслугам! – еще внушительнее говорит генерал. – “Владимира” получили, “Анну”[1] на шею получили, в капитаны парохода произвели, – мало!? Еще чего хотите?»

«Адель» в петлицу, если позволите-с… – «Чего?» – грозно хмурится генерал. – «Конечно, ваше превосходительство, я приложу все старания, чтобы заслужить; и так как при всем своем капитале…»

«Льва и Солнца пожалуйте!»[2] – вывертывается откуда-то, словно из-под ног, Перлович и загораживает генерала своей спиной. – «Нет, позвольте»! – энергично протестует Иван Илларионович и тянет его за полы парусинового пальто. И эта белая спина со своими тремя продольными швами, с двойными прорезами карманов пониже, с перламутровыми пуговицами, так аккуратно прочно пришитыми, никак не поддается его усилиям. «Что же это? Ведь это не то совсем; мукой пахнет!.. Ха-ха-ха! Ведь вот не узнал-то мешка с мукой, не узнал… хорош лабазник!»

«Право на борт! Стоп машина! Вали все в кучу, в бунты складывай!» – громко в длиннейший рупор командует Лопатин… И вот тысячи невидимых рук со всех сторон надвигают бесконечные вереницы белых, пыльных, туго набитых мукой мешков. Вот эти пузатые мешки так и смотрят в глаза Лопатина своими красными клеймами «С. П.». «Что же это такое? Почему же все “С. П.”, когда я велел клеймить “И. Л.”? Позвать Катушкина, живо!.. Однако, эй, вы там, сзади, легче, стойте, задавите!.. Да стойте же, черти! Стойте, дьяволы! Не слышат!.. Ой, батюшки!.. Господи!..»

Со всех сторон надвигаются целые мучные стены; выше и выше растут они. Вот уже чуть виден высоко вверху маленький кружочек голубого неба. Все затихло кругом и потемнело, словно в могиле; и только за стенами этого хлебного колодца глухо, чуть слышно шумят пароходные колеса.

«Да клюнет ли?» – спрашивает знакомый голос. – «Клюнет, мама, вот смотри!» – говорит другой голос, тоже знакомый, – нет, более чем знакомый; чудный, дорогой, от звука которого так и полилось теплое масло по сердцу Лопатина. Голоса эти несутся сверху. Там, на самых верхних мешках сидит Адель и грациозно держит в руке длинную удочку; около нее сидит Фридерика Казимировна и держит на коленях коробочку с червями…

Сильно подскакнул кверху Иван Илларионович. «Эх, высоко!» «Клюнуло!» – торжественно произносит Адель… И вот чувствует он, как острый холодный магнит притягивает железо, так этот крючок тянет его все кверху, все кверху. Вытащили.

«Ах, мама, не то, совсем не то; мне “его” не надо; я думала…» – говорит капризница Адель. – «Бери, Адочка, бери, дитя мое», – уговаривает ее Фридерика Казимировна. – «Не надо! – решительно произносит Адель. – У него есть жена в черниговской губернии». – «Помилуйте, она совсем умирающая женщина. Да притом, черниговская губерния так далеко отсюда», – лепечет сквозь слезы Иван Илларионович и ловит ноги красавицы, впивается своими толстыми губами в банты ее туфель. – «А это что?!» – грозно хмурит брови Адель и указывает вперед рукой.

И видит Лопатин, что снова стоит на руле, перед ним высокие, белые пароходные трубы, за ними тянутся какие-то веревки, очень много веревок; и за этими-то веревками, поверх палубного навеса, на облитом кипятком диване, лежит, как на ладони, вся черниговская губерния.

«Я вам советовала еще прежде убрать “ее” куда-нибудь подальше! – шепчет ему на ухо Фридерика Казимировна. – Вот если бы вы слушались моих советов, этого бы и не случилось. Смотрите, как важно развалилась!»

«В воду ее, за борт! – кричит взбешенный капитан. – За борт ее, подлую, живо!»

Все матросы, они же и приказчики, с гамом и свистом кидаются на несчастную черниговскую губернию, хватают ее вместе с диваном, раскачивают… Ух!

Как хорошо, как легко! Словно гора свалилась с усталых, разбитых плеч. Даже пароход пошел шибче, избавившись от лишнего груза.

«Ну, теперь другое дело! – ласково произносит Адель и гладит Лопатина по его кругленькой лысине. – Теперь мы можем и к аналою…»

«Догонит, догонит, берегитесь!» – шепчет ему на ухо madame Брозе. Обернулся Иван Илларионович, и вот видит он над вспененной колесами водой, как раз посредине этой волнующейся борозды, бледное, исхудалое лицо. Худые, голые руки с угрозой подняты из воды; светлый обручок сверкает на одном из этих крючковатых пальцев; на этом обручке он ясно читает свое имя…

«Полный ход, полный ход!» – кричит он, нагнувшись к слуховой трубе. Он боится, что этот страшный призрак догонит пароход, уцепится за него и снова влезет на борт… «Полный ход!» – отчаянно вопит Лопатин. «Полный ход!» – визжит сбоку Фридерика Казимировна… «Как хорошо, как скоро!» – хлопает в ладоши и звонко смеется Адель.

Крак! Пароход затрещал и разом остановился.

Холодный пот проступил под бельем Ивана Илларионовича, и мурашки забегали у него по спине.

«На мель сели!» – «Нет, на камень напоролись!.. Важно! Как есть во всем аккурате! Ссаживай, ссаживай!» – со всех сторон кричат голоса.

«А пойти посмотреть, в самом деле, на какого черта мы это нарезались», – прошел мимо Бурченко, фамильярно хлопнул Лопатина по плечу, даже по животу потрепал и со смехом добавил: «ишь ты, тоже в капитаны суешься…»

Вот он перегнулся за борт, пристально рассматривает что-то. «Ха-ха! Ледоколов, это ты? Чего это ты на самой дороге расселся, пароходы на полном ходу останавливаешь?»

«Золото, брат, здесь промываю», – слышится внизу чей-то голос.

«Золото!» – томно стонет Фридерика Казимировна и хватается за сердце.

«Мама, удочку дай скорее, мою удочку! – торопится Адель, прислушиваясь к звуку этого голоса. – Его-то мне и надо, а этого…» Она презрительно

смотрит через плечо на Лопатина и лихо, как наездница на седло, бочком садится на борт парохода, распутывая поспешно леску своей удочки. Она вся сияет, вся в восторге; она так хищно улыбается и широким размахом кидает крючок за наживой.

«А, если так, то пропадай все… пропадай моя голова! Проп… проп… проп…» захлебывается от бешенства Лопатин и ищет глазами чего-нибудь такого… как бишь его?.. А, вот оно, вот…

Железный багор торчит откуда-то из-за бочек; острие у него такое длинное, блестящее; его-то и нужно! Обеими руками схватывает он это оружие, лезет на борт, замахивается что есть мочи…

«Иван Илларионович!» – испуганно говорит Адель.

«Иван Илларионович!» – визжит Фридерика Казимировна.

«Иван Илларионович!» – урезонивает его Бурченко.

– Иван Илларионович! Уже семь часов скоро! – отчетливее прочих произносит экс-горнист Вульфзон; и так как первые три оклика его остались без результата, то теперь уже он решается дотронуться до этого пухлого, потного плеча, выставленного из-под узорного, ярко цветного халата туземного покроя.

– А?.. – поднялся Лопатин, обвел вокруг воспаленными, красноватыми белками и тотчас же потребовал себе графин квасу похолоднее, «да нельзя ли с ледком?»

– За косой отмелью дым виден; так рассмотреть нельзя, а господин поручик Скобликов в трубу смотрели, так, говорят, очень явственно заметно! – доложил экс-горнист, собственноручно устанавливая на табурете большую медную лохань для умыванья.

Все полуплоские крыши домиков чиназской слободки были заняты любопытными чиназцами, с большим нетерпением ожидавшими прибытия «снизу» каждого парохода. Это прибытие – эпоха в жизни маленького городка. Сколько новостей привезет пароход, сколько новых лиц появится в Чиназе, население которого, хотя на несколько дней (время стоянки парохода), значительно увеличится! Особенно ждут этого времени содержатели разных питейных лавочек, а их в Чиназе тридцать восемь, и с каждым днем открываются все новые и новые. Если обратить внимание на то, что число домов в Чиназе не превышает ста двадцати, то будет ясно, что все кабатчики рассчитывают больше на приезжих и проезжих, чем на своих местных обитателей. Не один Зимборг ездил накануне в Ташкент за подкреплением своих складов: и Ицко Скуратов, и Гамамедин Истанбулов, и даже отставной майор Шампиньончиков, – все позаботились о том, чтобы матросы и пассажиры парохода могли вполне вознаградить себя за свое полуторамесячное воздержание во время плавания.

Кроме групп на крышах, по пыльной прямой дороге, соединяющей слободку с местом пристани, тянулись группы линейных солдат, белых с головы

до ног, женщин, обитательниц слободки, так и горящих на солнце своими яркими, преимущественно красными, платьями. Прокатил, обдавая всех пылью, комендантский тарантас со всем его семейством; проскакало несколько офицеров, и даже пронеслась просто бегом, подобрав юбки, вертлявая Амелия Зимборг, которой казалось, что именно только одна она опоздает к интересному моменту прибытия парохода.

Пароход «Арал» подходил уже близко; он подвигался почти у самого берега. Вся палуба судна была покрыта народом; даже две баржи с мукой и бочками, казенным грузом, шедшие за пароходом на буксире, кишели пассажирами.

Пестрая, разнохарактерная толпа, толкаясь, обгоняя друг друга, подвигалась по берегу, провожая «Арал», когда он, поравнявшись с базаром, замедлил ход. С палубы на берег, с берега на палубу давно уже завязались самые оживленные разговоры. Общее внимание привлекала особенно последняя баржа, между тюками которой виднелись десятка два веселых, смеющихся женских лиц и раздавались плач маленьких ребят и убаюкиванье их матерей.

– Баб-то, баб что везут, – страсть! – горячился молодой солдат-линеец, цепляясь по самой окраине песчаного берега реки и рискуя каждую минуту оборваться с кручи прямо в пенистую борозду за колесами.

– Это опять жен солдатских на передовую линию вытребовали. Которого батальону, тетка? Эй, ты, слышь, курносая! – сложив руки у рта, кричит другой солдат, из фурштатских.

– Тише ты!

– Чего тише? Хочу – кричу, хочу – нет. Тетка-а!

– Смотри, смотри, вон на куле сидит, толстая такая, в лаптях: право, как есть деревня!

– Пооперятся маленько, погоди: господам офицерам белье мыть станут, живо приоденутся!

– Да вот так как раз с вашего мытья и приоденешься! – откликается из толпы зрителей молодая бабенка в шелковом платке и кумачном платье – значит, уже из оперившихся.

– Ох, ты, пава косоглазая!

– Отстань!

– Чего отстань? Я с лаской!

– Прокофьев, легче, капитан сюда глядит; ишь, усом как повел!

– Да вот он те шкуру вздерет! – понизив голос, замечает «косоглазая» и перемигивается с усатым капитаном.

– А нет лучше матросов! – тихонько замечает одна женщина другой, тоже из «оперившихся».

– Странный вкус! – подернув плечом, замечает та.

– Известно, народ с деньгами, не то, что наши голыши!

– Конечно, если кто из одного антересу!

– Дура!

Развеселые ребята энти самые матросы!

– заливается самым высоким, тамберликовским тенором тот самый «фурштат», что заявлял о своем праве кричать или не кричать.

– А вот у этого самого дерева привязывают канат; видите, как это просто у нас устроено: с парохода подадут трап, сходцы такие с перильцами, – ну, и все готово. И как это удачно, что высота берега совершенно подходит к высоте парохода. Хотели, было, прежде строить пристань, да зачем? Вы сами видите, что это совершенно лишнее. Вот извольте посмотреть. Эй, ты, красный халат, подвинься влево!

Угреватый адъютант местного батальона принялся, было, усердно показывать Лопатину, как незатейливо, просто пристают пароходы «у них в Чиназе».

– Да, да, конечно, очень хорошо… Не может быть!.. Вы думаете? – больше из вежливости, вовсе не слушая адъютантского рассказа, невпопад отвечал Иван Илларионович.

Он теперь уже не спускал глаз с пароходного мостика. Он видел там… он ничего там не видел, потому что проклятый ветер, как будто нарочно, назло ему, потянул в его сторону и окутал черным, вонючим дымом всю середину судна. И эти горластые трубы так и пыхтят, выбрасывая все новые и новые густые клубы. Все затянуло, ничего не видно. А, слава Богу, ветер меняется, дым отнесло назад. Вот мелькнула у самой трубы белая фуражка… вот зеленое что-то показалось… Это? Нет, это ведро висит на крючке и сверкает на солнце своим полированным боком. А, вот оно, вот!

– В прошедшем году, представьте… – жужжит на ухо адъютант.

Какой-то бородатый стоит у перил и лорнирует берег. При взгляде на эту фигуру у Лопатина сильно заскребло на сердце, и в его мягкую ладонь впились острые углы фигурного серебряного набалдашника. Ему вдруг захотелось, чтобы капитан (а его высокую фигуру с рупором в руке было видно теперь совершенно отчетливо) поддал коленом сзади этого бородача, – эх, как хотелось!

Лопатин был почему-то уверен, что это именно и есть *он* – сам Ледоколов или кто бы то ни было, но только…

У него захватило дух, и начали подкашиваться колени. Говор и шум толпы словно затихли, словно невидимые руки разом зажали ему уши, и только глухой, неопределенный гул стоял в помутившейся, ошалелой голове.

Около мачты мелькнул вуаль, закивали звездообразные кружки зонтиков; между белыми фигурами матросов, кинувшихся устанавливать трап, отчетливо колыхнулись два женских платья.

– Легче, ваше степенство, в угольную яму попадете! – предостерегает его какой-то пестрый халатник.

– Какие лошадки у вас, почтеннейший Иван Илларионович! – кричит ему комендант, пробираясь вперед.

– Адочка, дитя мое, смотри, вон он, вон! – указывает зонтиком Фридерика Казимировна и порывисто устремляется по зыбким доскам трапа.

– Я вас сейчас познакомлю с Лопатиным! – говорит, обращаясь к Ледоколову, Адель и, опираясь на его руку, грациозно пробует кончиком ноги, насколько удобно будет ступить ей на доски.

– Кто такие, кто такие? – шепчут кругом.

– Эх, хороши барыни! – замечает громко кто-то сзади.

Сойдя на берег, Адель тотчас же освободила свою руку и поспешила на выручку мамаши.

Почти без чувств, испуская исступленные, истерические рыдания, Фридерика Казимировна так и замерла на шее Ивана Илларионовича, обвив ее своими руками.

– Должно, хозяйка приехала. То-то обрадовалась! – шептали в толпе.

– Сдобная баба. Эк ее встряхивает!

– А это, надо полагать, дочка; красивая девка!

– Не девка, а барышня. Девки вон Дашка с Пашкой, а это, вишь ты…

– Конечно, уважаемая Фридерика Казимировна, это я вполне чувствую… – задыхаясь и силясь освободиться из этих пламенных объятий, пыхтел Лопатин.

Ему так хотелось ринуться к Адели, расцеловать ее руки, расцеловать ее всю, не обращая вовсе внимания на эти сотни посторонних глаз. Какое ему было дело до других, когда…

– Ну вот, мы и приехали! – спокойно, даже несколько холодно, произнесла Адель и церемонно протянула ему кончики пальцев.

– Ах, чего мы только не натерпелись за эту ужасную дорогу! – простонала Фридерика Казимировна, как-то особенно выразительно обдернув платье на своей дочери.

– Что ты, мама? Напротив, мне было ужасно весело! – начала Адель.

– Моя коляска ждет вас. За багажом я пришлю из гостиницы. Сюда, сюда, за мной! – заторопился Лопатин, теперь только заметив, что общее внимание было обращено на их группу.

Он предложил руку Фридерике Казимировне и хотел предложить другую Адели, даже уже согнул ее в надлежащее положение…

– Проклятый! – промелькнуло у него в голове.

Адель опять уже стояла под руку с Ледоколовым.

– Ах, кстати, Иван Илларионович, – поспешила красавица, – позвольте вам представить: monsieur Ледоколов, наш дорожный знакомый. Он во время пути так много оказывал нам услуг!

– Очень приятно! – пробормотал Лопатин и вдруг рассвирепел на своего кучера, неподвижно сидевшего на козлах коляски, шагах в двадцати от пристани.

– Кузьма! – как-то захлебываясь крикнул Иван Илларионович, – Кузьма! Подавай же, скот…

– Славные лошадки, особенно пара дышловых! – протянул ему руку старичок комендант, масляные глазки которого в эту минуту рассматривали гораздо внимательнее дам Лопатина, чем его лошадей.

Села Фридерика Казимировна; почти не касаясь подножек, на руках Лопатина, вспорхнула Адель. Четверка гнедых загорячилась и заплясала на месте.

– Ледоколов, как только приедете в Ташкент, пожалуйста к… – начала, было, Адель.

– Пошел! – крикнул Иван Илларионович.

– У-ух! – отшатнулся адъютант, протирая глаза, залепленные пылью, поднятой колесами экипажа.

– Однако! – произнес старичок комендант, тоже вытаскивая цветной фуляр из заднего кармана.

– Видели? – язвительно произнесла дама в ситцевом капоте, здешняя казначейша.

– Видела! – тем же тоном ответила другая дама, здешняя попадья.

Запыхавшаяся, покрытая пеной четверка остановилась перед воротами почтовой станции. Лопатин вылез из экипажа и пошел распорядиться насчет лошадей.

– Ты хоть бы немного теплоты, хоть немного… – шептала на ухо Фридерика Казимировна, когда они остались одни в коляске.

– Отстань, мама! – задумчиво произнесла Адель, апатично смотря на суматоху перед станционными воротами.

– Жестокое сердце, безжалостная! В твои лета такая холодность!

– Мама!

– Не замолчу, не замолчу. Наконец, ты должна же понять, что просто из одного такта не мешало бы…

– Мама!

Адель сдвинула брови и рванула пуговку у перчатки.

– Ну, не буду, не буду. Адочка, ангел мой, войди же в наше положение. Ведь я для тебя же…

– Иван Илларионович, я пить хочу! – крикнула Адель.

– Сию минуту, сейчас. Эй, Кузьма! Там, под козлами, погребец… проворнее, да не копайся же.

– Если бы кусочек льду!.. – кокетливо улыбнулась девушка.

– Льду, послушайте! – ринулся Лопатин к казаку, смотрителю станции. – Ради Бога, все, что хотите, льду нельзя ли, хоть немного?

– Льду? – улыбнулся казак. – Ишь ты! Да у нас льду и зимой не скоро отыщешь.

– Э-эх! – тоскливо посмотрел кругом Иван Илларионович.

В эту минуту он за один кусочек льду готов бы дать отрубить себе если не руку, то, по крайней мере, половину пальца.

– Пойдите сюда! – поманила его пальчиком Адель. – Я вовсе не такая капризная и могу легко обойтись без льду, если его невозможно найти. Вы все хлопочете, вы устали?

Она почти ласково взглянула на потное, красное лицо Ивана Илларионовича. Фридерика Казимировна даже заерзала от удовольствия; рука Лопатина задрожала, наливая из бутылки в стакан красное вино.

– Готово! – заявил казак-смотритель.

И снова загудели на разные лады голосистые бубенчики почтовой четверки.

А в тот же вечер, сидя на террасе ташкентского дома Ивана Илларионовича, Фридерика Казимировна самым убедительным тоном говорила хозяину:

– Хотите – верьте мне, хотите – нет, но только эта холодность, по-моему, одно притворство. Зачем бы ей, в противном случае, всю дорогу твердить только одно и то же: «Ах, мама, да скоро ли мы приедем? Скоро ли я увижу доброго, славного Ивана Илларионовича?» Ну, честное же слово, клянусь вам моей материнской любовью! – поспешила с уверениями госпожа Брозе, заметив у своего собеседника недоверчивое подергиванье плеч.

– Дай Бог вашими бы устами… – глубоко вздохнул Лопатин.

– Терпение и терпение! Однако как вы еще молоды сердцем! – протекторским тоном произнесла Фридерика Казимировна и поцеловала в голову Ивана Илларионовича.

XII. ЗА ДВЕРЯМИ

Весть о приезде госпожи Брозе с дочерью быстро разнеслась по всему Ташкенту. В первый же день по шоссе, мимо окон лопатинского дома, устроилось что-то вроде гулянья. Все проходящие и проезжающие считали своей непременной обязанностью задержать шаг и не спускали глаз с этого длинного ряда окон, выжидая, не мелькнет ли хотя в одном из них головка необыкновенной, почти сказочной красавицы.

Только что приехавший из Чиназа поручик Скобликов говорил в ресторане у Тюльпаненфельда, что он и во сне не мог бы представить себе такой красавицы, что это что-то такое, что просто дух захватывает при одном только взгляде. А товарищ его, капитан Пуговицын, заверял, «как честный офицер», что он, придя домой с пристани, должен был выпить целую столовую ложку камфарного спирта, чтобы только успокоить свои расходившиеся нервы.

Марфа Васильевна, взволнованная, смеющаяся и веселая на вид, но заметно обескураженная, ровно восемь раз проехала по шоссе в своем кабриолете и два раза верхом.

– Наша-то, говорят, и в подметки не годится той… – ясно донеслось до ее слуха из одной группы гуляющих.

Она очень хорошо знала, кто эта *наша*, и ее даже в жар кинуло от этого замечания.

Кто-то сообщил, что сегодня вечером Лопатин и его дамы будут на Минурюке, и у решетки этих ташкентских «минерашек»[1] столпилось столько экипажей и верховых лошадей, что распорядились прислать десятка полтора конных казаков для водворения хотя бы какого-нибудь порядка.

Кое-кто пытался просто под видом обыкновенного посещения или же по какому-либо деловому предлогу проникнуть в дом Ивана Илларионовича, но и эти маневры не удались окончательно. Одним было сказано, что, мол, господин Лопатин не здоровы и принять не могут, просят, мол, извинить до другого раза; другим было напросто отказано: «дома нет», хотя это было слишком уж бесцеремонное уклонение от истины. Одного только отца иерея Громовержцева принял Иван Илларионович, и то потому, что когда тот, пройдя с другого подъезда, очутился в столовой, то Лопатин, закусывавший цыпленком в этой же комнате, не успел принять никаких мер и с самой кислой улыбкой произнес:

– А, батюшка, здравствуйте! Вот спасибо, что посетили. Не прикажете ли?

Иван Илларионович одной рукой сделал пригласительный жест к столу, а другой помахал как-то у себя за спиной, что, по мнению прислуживающего парня, означало: убирай со стола проворней!

– Отчего же, – согласился отец иерей, – много нельзя, но единую можно; к тому же у нас теперь разрешение вин… Постой, братец, погоди же! – придержал он за рукав молодца в поддевке, поспешившего, было, исполнить мимическое приказание своего хозяина.

– Жарко!? – не то спросил, не то заявил Илларионович, пройдя по комнате и мимоходом опустив портьеры в соседние апартаменты.

– По мнению господина Реомюра, тридцать два – в тени; на солнце же тридцать восемь и доходило даже до сорока… Тропическая температура! Великий жар! – погладил себя по желудку отец иерей.

– О-ох! – вздохнул Лопатин и тоскливо посмотрел на ярко-зеленую шелковую рясу гостя.

– Здоровье ваше в каком положении находится? – осведомился тот.

– Сегодня плоховато. Голова что-то болит, и так вообще нехорошо себя чувствую; я даже думаю сейчас прилечь.

Как утопающий за соломинку, так Лопатин ухватился за этот вопрос о его здоровье.

– Хорошее дело! – произнес отец иерей, усаживаясь в кресло попокойнее и, по-видимому, вовсе не понимая намека.

– О-ох! – еще раз, значительно протяжнее, вздохнул Лопатин.

– Задумали мы… – начал гость и подвинул свое кресло немного вправо.

Портьера, опущенная рукой Ивана Илларионовича, задела аграмантом за боковую розетку и образовала щель, довольно значительную для того, чтобы можно было видеть большую часть соседней комнаты. Отец иерей заметил это обстоятельство и двинул кресло единственно с целью воспользоваться своим открытием.

– Задумали мы, – продолжал он, – выписать для новостроящегося храма живописной работы икону святого великомученика Георгия, копьем змия прободающего, и пару паникадил серебряных – либо из Москвы от господина Овчинникова, либо из Нижнего от купца Блиноедова; средства же наши на сии предметы в должный размер не скомплектовались… э… гм!..

– Конечно, я со своей стороны могу… – поспешил Лопатин. «Авось, – подумал он, – уберется, как получит радужную; все равно, не отделаешься меньшим». Он полез в карман за бумажником.

– Не спешите, – придержал его руку отец иерей. – По заведенному мной порядку, вам пришлется шнуровая книга, где вы собственноручно и отметите ваше приношение, выразив в цифрах размеры оного!

– Да, да, хорошо, я готов! – говорил хозяин и поднялся со стула.

– Да-с, мы не то, что другие: мы не имеем привычки преграждать путь контролю, мы все начистоту! – спокойно разглагольствовал отец иерей, не понимая или не желая понимать и этого намека.

Лопатин опять сел.

– С приездом родственников ваших можно вас поздравить? – произнес гость, немного помолчав.

– Приехали, благодарю вас. «Фу, как надоел, каналья!» – отвечал Иван Илларионович, – последнюю половину фразы, впрочем, он сказал про себя.

– Приятно и радостно должно быть свидание с дорогими сердцу, особенно из такого отдаленного далека!

– Вы меня уж извините, батюшка: я уж пойду! – не выдержал, наконец, Лопатин.

– Пожалуйста, не стесняйтесь, что за церемонии! – нехотя поднялся-таки с кресел отец иерей.

«Жаль, не видал, а весьма было бы интересно», – подосадовал он, выходя из комнаты и приятно шелестя своим шелковым костюмом.

– Ну, что, видели?

– Какова?

– Ну, что, правда, что говорят?..

Посыпались на него со всех сторон вопросы, едва он только спустился со ступеней крыльца.

– Особы весьма благовоспитанные и красотой от природы щедро награжденные! – соврал отец иерей, плотно усаживаясь в свой желтенький тарантасик.

Едва только «не в пору гость» вышел из комнаты, Иван Илларионович юркнул на дамскую половину. По дороге он завернул в свой кабинет, вытер тщательно руки и лицо одеколоном с водой, попрыскал чем-то на борт сюртука и взял в рот мятную лепешку.

«Хорошо ли это, что я в клетчатых брюках при светло-сером остальном?» – подумал он, подумал и переменил эти клетчатые на безукоризненно белые.

– Я никак не ожидала, чтобы в такой глуши, в такой дикой стороне можно было так комфортабельно устроиться! – ясно слышен был голос Фридерики Казимировны.

Вероятно, она находилась в спальне своей дочери, потому что слышно было, как переставляли и звякали скляночками и баночками на ее туалете, а ведь эта спальня была так близко от кабинета Ивана Илларионовича!

– Ах, мама, скучно… эта проклятая стена! – доносился голос Адели, только неотчетливо, значительно глуше.

Лопатин сообразил, что красавица находилась на террасе. Он весь сосредоточился в слухе.

– Мама, я готова, а ты?

– Как готова, к чему это?

– Да ведь мы собирались кататься! Я же просила тебя послать спросить о коляске!

– Видишь, дитя мое, экипаж не совсем исправлен… разве завтра? – соврала Фридерика Казимировна.

Она еще утром говорила Ивану Илларионовичу о желании Адели сегодня же ознакомиться с наружностью Ташкента, но Лопатин посоветовал ей отклонить пока Адель от этого желания, находя это необходимым по некоторым соображениям.

– А, вот как! – холодно произнесла Адель. – Хорошо, мы подождем до завтра!

– А ты не замечаешь, Адочка, как интересен Иван Илларионович; как он помолодел за это время… кто бы мог подумать, что ему уже сорок два!

У Лопатина сердце запрыгало от удовольствия.

«Молодец баба, – подумал он, – непременно подарю пару “внутреннего”, сегодня же подарю!»

– Как, мама, да ведь ему уже за пятьдесят! – ясно послышался голос Адели. Вероятно, она теперь тоже вошла в свою комнату.

– Какие глупости! Но что я узнала, Ада! Представь, мне говорил Павел сегодня, что Иван Илларионович по целым дням и ночам просиживал здесь и не спускал глаз с твоего портрета! Даже во сне он бредил только твоим именем! – врала госпожа Брозе. – Ах, как он тебя любит, ах как любит!

«Пересаливает»! – поскреб в затылке Лопатин.

– Воображаю, какая эта блистательная фигура! – захохотала Адель. – Вот он сидит тут, вероятно, на этом стуле, смотрит сюда, руки у сердца, вздохи на всю комнату… вот так!

Должно быть, Адель изобразила в эту минуту Ивана Илларионовича, потому что задвигались кресла, и послышалось что-то вроде пыхтения.

– Ты, Ада, вечно с дурачествами! – упрекнула ее Фридерика Казимировна.

– А-ах! – во весь рот зевнула Адель и щелкнула дверцей шкапика.

Лопатин почему-то осклабился.

– А что, мама, «он» приедет сегодня? – опять начала Адель.

– Не думаю!

– Но ведь я его просила навещать нас, он обещал мне быть на другой же день по приезде!

– Ты видела сама, как Лопатин с ним холодно обошелся: он даже не протянул ему руки, когда ты вздумала представить его на пристани!

– Если он будет так обходиться с моими друзьями…

– Тс!..

– Что ты?

– Я слышала за этой дверью… посмотри, Адочка, там, за трюмо…

Иваи Илларионович схватил свою фуражку и повесил ее на ручку двери. Он поспешил на всякий случай замаскировать замочную скважину. Этот маневр оказался как нельзя более кстати, потому что Адель шмыгнула за трюмо, прислушалась и приложила глаз к скважине.

– Темно… – произнесла она, – и я ровно ничего не слышу!

«Друзья… эге… вот как! – бормотал Иван Илларионович, на цыпочках отходя от двери. – Значит, не один этот бородатый…»

Сердце у него защемило, и во рту стало как-то скверно, горько, не помогала даже мятная лепешка, почти истаявшая на горячем языке Лопатина.

– Там господин вас спрашивает! – остановил его на полдороге парень в поддевке.

– Кто?

– Тот самый, что у вас намедни был… Бурченко, сказывал; да он не один: их двое!

– А!.. – протянул Иван Илларионович, подумал, сообразил и сказал: – Ну, проси… в зеленую комнату проси; я сейчас к ним выйду!

– Вот этих сейчас потурят! – говорил Набрюшников, наблюдая с высоты своего гнедого аргамака за входной дверью лопатинского дома.

– Нынче уж сколько народу толкалось, всем отказ, одного Громовержцева принял, а то никого больше! – говорил другой офицер, сидя без сюртука на подоконнике противоположного дома.

– Кто такие, ты не знаешь?

– Одного знаю, он уже недели две как в Ташкенте, у Тюльпаненфельда встречались; да он из старых, еще из черняевских[2]; а другого никогда не встречал… лицо что-то знакомое!

– На покойника Батогова смахивает сильно!

– Да, есть большое сходство, только ростом повыше. Назад пойдут, ближе рассмотрим!

Предположение рассмотреть поближе новоприезжего так и осталось одним предположением. Прошло десять минут, четверть часа, полчаса, наконец, час – Бурченко и его товарища не «потурили».

– Что бы это значило? – удивился немного офицер на подоконнике.

– Стало быть, так надо, – совершенно резонно заметил Набрюшников и нагнулся с седла, заглядывая во внутренность комнаты.

– Что это, вы закусывате? – спросил он.

– Да, собираемся; не хочешь ли?

– А пожалуй! – поспешил Набрюшников и ловко соскочил на землю со своего цибатого гнедого[3].

XIII. СОПЕРНИКИ

– Если этот барин не попятится, сегодня же порешим; а там, не откладывая в долгий ящик, и за дело. Ну, заждался же я вас! Что так долго? – говорил Бурченко своему товарищу в лопатинской приемной.

– Шли очень тихо – бесконечные остановки. Знал бы, не поехал! – отвечал Ледоколов и – соврал: он был очень доволен своим путешествием на пароходе и нисколько не раскаивался, что предпочел его сухопутному тракту.

– Ну, конечно, – согласился Бурченко, – тащились, как черепахи! Что, хорошо? Ну, а *то* как, благополучно?

– Что такое?

Ледоколов слегка покраснел.

– Да вот насчет вашего сердца, окончательно разбитого? Залечили, что ли?

– А здесь живут все-таки довольно сносно! – уклонился Ледоколов, оглядывая обстановку комнаты. – Я составил себе, признаться, совсем другое понятие!

– С деньгами везде можно. Вот мы с вами нароем их, денег-то, – не то заведем!

Бурченко посмотрел на часы и сверил их с бронзовыми часами на камине. Ледоколов отворил дверь на террасу и заглянул в новоразбитый садик в полуанглийском, полукитайском вкусе.

Густые кусты тутовника и белой сирени разрослись почти у самой стены дома; на ярко-зеленых клумбах виднелись вертикальные черточки цветочных штампиков; красные и белые мальвы яркими группами разнообразили

темную зелень кустарников; вдоль наружной стены тянулась легкая решетка, по которой ползли завитками молодые, последней посадки, виноградные лозы.

– Каково! – удивился Ледоколов.

– Недурно, – произнес Бурченко, тоже выйдя на террасу; – особенно, принимая в расчет, что года два тому назад, я помню, тут был заброшенный пустырь да несколько кустов…

– А тебе что нужно? – обратился он к вошедшему.

– Хозяин вас к себе на ту половину просит-с, – пожалуйте! – говорил парень в поддевке.

– Хорошо, пойдем к нему, на его половину. Пойдемте, Ледоколов!

– Пожалуйте-с, сударь… господин… – настаивал парень в поддевке.

– Чем это вы там занялись? А, вон оно что!

Бурченко пожал плечами и улыбнулся.

– А, куда?

– Пожалуйте-с…

– Я сейчас видел… Бурченко, вы не заметили там, на том конце сада…

– Видел, видел! – расхохотался Бурченко и взял Ледоколова под руку.

Парень в поддевке проводил гостей с террасы, оглянулся и запер дверь на ключ; он даже проводил их через комнату и так же аккуратно запер за ними следующую дверь.

– Вы уж, господа, извините, что заставил себя так долго дожидаться! Милости просим, милости просим! – вывернулся откуда-то сбоку Иван Илларионович.

– Ну-с, господин Лопатин, – начал Бурченко, когда все трое расположились на креслах в одной из комнат на другой половине, – если вы не переменили вашего решения помочь мне в известном вам деле…

– Я своих слов никогда не беру назад и решений своих никогда не меняю! – с достоинством перебил хозяин, приглядываясь довольно пристально к фигуре Ледоколова.

– Очень хорошо-с, с такими людьми и дело вести приятно… Вы знакомы уже? Мне вот они говорили, что третьего дня на пристани чиназской…

– Познакомились, познакомились!

– Господин Лопатин тогда был так взволнован своей семейной радостью, что, весьма естественно, не удостоил меня своим вниманием! – заявил Ледоколов.

– Тысячу извинений!

Иван Илларионович протянул Ледоколову свою руку, тот свою; рукопожатие совершилось весьма холодно; пальцы как-то не сжимались.

«Соперники тоже, умора!» – подумал Бурченко. – Так вот-с, – начал он громко, – мы с ним с завтрашнего дня начнем готовить нашу, так сказать, экспедицию. Лошади у меня приторгованы, людей я нанял – трех человек пока, из здешних, а там будем довольствоваться местными средствами. Надо вам за-

метить, что я все эти приготовления делал не то чтобы по секрету, а просто без лишнего шума – эдак-то лучше; и вы не очень пока распространяйтесь!

– С какой же стати! Я только и говорил об этом с одним губернатором, но если б вы меня предупредили…

– У… эх! – почесал за ухом Бурченко.

– Вы находите, что и это напрасно?

– Как бы вам это сказать? По-моему… Ну, а что ж вам говорил губернатор-то?

– Весьма одобрительно отнесся, весьма одобрительно, и, знаете ли?

Лопатин с торжествующим видом посмотрел на малоросса и приподнял палец кверху.

– Обещал даже, в случае надобности, вооруженное содействие!

– Вот этого-то я и боялся! – вторично принялся чесать за ухом Бурченко.

– Но, согласитесь сами, – вмешался Ледоколов, – дело может повернуться так, что мы будем иметь надобность в вооруженной силе, и это обещание…

– Цель моя такова, что мы должны стараться избежать этой надобности, во что бы то ни стало. Только один путь к успеху – это убедить туземцев в очевидной выгоде для них быть нашими союзниками, заставить их свыкнуться с той мыслью, что их денежные интересы, – а они до них крайне падки, – совершенно зависят от них; тогда они, кроме той помощи, которую окажут нам, предложив в наше распоряжение свои рабочие руки, так усердно будут оберегать целость наших голов, что нам никакого вооруженного содействия и не понадобится. Вот положение, в котором мы должны находиться; иначе и эта наша попытка подойдет под категорию всех прежних, так называемых казенных, окончившихся большим или меньшим фиаско!

Бурченко говорил резко, с каким то озлоблением. Уж очень его взбудоражило это «вооруженное содействие!»

– Как хотите, батюшка, как хотите! – развел руками Иван Илларионович. – Я все уже предоставлю вам; с моей же стороны только полнейшая готовность содействовать вам деньгами, и для начала…

Он поднялся со стула и направился, было, к дверям.

– Вот тут подробный счет, что мне надо на первый раз! – подал ему Бурченко сложенный листок бумаги.

– Прекрасно-с!

Лопатин бегло просмотрел счет. «Умеренно», – подумал он.

– А как скоро полагаете отъехать?

– Чем скорее, тем лучше; я полагаю, дня через три!

– Они тоже едут вместе с вами? Господин Ледоколов, вы тоже?..

– Вместе! – произнес Бурченко.

– Если что-нибудь не задержит! – почти одновременно произнес Ледоколов.

– Что же может задержать? Я полагаю, ничего задержать не может! – Лопатин подозрительно взглянул на гостя.

Тот прислушивался к чему-то, к какому-то странному шелесту в соседней комнате; Бурченко молча копался в своем портфеле.

– Ну-с, каково вам в дороге показалось? Вы еще в первый раз были в таком продолжительном пути-с? – ни с того, ни с сего спросил Лопатин, а сам подумал: «Дай-ка я поразговорюсь с ним: может быть, еще и нет особенной опасности».

– Благодарю вас! Путешествием своим я остался как нельзя более доволен; оно было так интересно и разнообразно, благодаря его спутничеству (Ледоколов указал на своего товарища). Я видел так много нового…

– Ну, это, впрочем, первая половина дороги, – вмешался Бурченко, – а вторая половина, та, я думаю, была еще интереснее?

– Что же так-с? – спросил Лопатин и почувствовал себя как-то неловко.

– На пароходе я тоже встретил, случайно, такое прекрасное общество: госпожа Брозе с дочерью…

– Родственницы мои, очень близкие родственницы! – перебил Иван Илларионович. – Так вы все время находились с ними?

– Да, всю остальную дорогу!

Ледоколов чувствовал, как краска ударила ему в лицо.

– Фридерика Казимировна много говорила мне об вас… и, я со своей стороны, должен поблагодарить вас за все, – да-с, за все-с… – Лопатин никак не мог подобрать подходящее слово, за что это ему следовало поблагодарить своего гостя.

«Ишь, как покраснел, бестия! – подумал он, пристально глядя ему в глаза. – Э-эх, нечисто, кажется, дело…»

– Madame Брозе женщина весьма достойная… – окончательно смутился Ледоколов и со злостью, которая слишком уж заметна была в каждом его движении, поднялся со стула.

– Ну-с, так не будем напрасно отнимать у вас времени! – тоже поспешил подняться Бурченко.

– Мое почтение-с… – начал, было, Лопатин, но вдруг вздрогнул и остановился.

– Они уходят! – ясно послышался за дверями голос Адели.

– Адочка! – также послышался умоляющий голос Фридерики Казимировны.

«Здесь! Да каким же это образом? Что же это такое?» – пробегало у него в голове.

Он совсем растерялся и не заметил протянутой к нему руки Бурченко, которую тот, подержав минуту на воздухе, улыбнувшись, спрятал в боковой карман. Он видел только Ледоколова, стремительно бросившегося к дверям.

Движение это, впрочем, было весьма естественное: аудиенция кончилась, они попрощались и должны были уходить; другой двери из комнаты, где они сидели, не было…

– Иван Илларионович, мы вам не мешаем? – кокетливо произнесла Адель, появившись в отворенных настежь дверях.

За ней виднелось полное, слегка смущенное лицо Фридерики Казимировны и ее пухлая рука, бойко делавшая Лопатину какие-то знаки.

– Мы уже кончили! – раскланялся Бурченко и хотел пройти мимо.

Адель, кошечкой, самой шаловливой, ласковой кошечкой, подбежала к Лопатину и наивно принялась теребить борт его парусинового пальто.

– А мы в саду гуляли! – говорила она. – Мы прошли через двор и оттуда в маленькую калиточку, – там есть такая маленькая-маленькая калиточка; – я проскочила легко, а мама – ха-ха-ха! Мама чуть-чуть не завязла!

– Какая ты болтушка, Ада! – бормотала Фридерика Казимировна. – В твои лета и так шалить!..

– Как в мои лета? – удивилась Адель. – Ведь ты же говорила, что тебе тридцать пять; ты вышла замуж двадцати – значит, мне только… ха-ха-ха! – колокольчиком залилась Адель, сообразив результат своего вычисления.

– Ребенок! – томно произнесла маменька.

– А мы видели вас в саду, – обратилась Адель к Бурченко. – Ну, как вы доехали? Вы прежде нас приехали в Козалы? И охота вам была ехать в этом поганом экипаже – ах, как он надоел нам! Зато на пароходе как было весело!.. Здравствуйте, Ледоколов; мы вас тоже видели… я даже вам махнула платком. А вы посмотрели, постояли на террасе и ушли… Мы ведь с вами уже три дня как не видались…

– И эти три долгих дня… – начал, было, Ледоколов, но Адель не дала ему кончить.

– Вы уже наговорились о делах; мы так и думали, когда шли сюда. Вечер такой прекрасный! Мы будем пить чай вместе, у нас. Надеюсь, что я имею на это право?

Она посмотрела через плечо на Лопатина таким задорным, вызывающим взглядом.

– Гм, гм… и прекрасно! – впору спохватился Иван Илларионович. – После сядем в преферанс или ералаш. Вас двое, я и Фридерика Казимировна…

– Этот вечер у меня может быть свободным! – равнодушно произнес Бурченко.

– Мне так приятно… – согнулся по направлению к Адели Ледоколов.

– Шалунья! – наладила все одно и то же Фридерика Казимировна.

– Извините, я распоряжусь! – как-то глухо произнес Лопатин, пошатнулся немного, побледнел и быстро вышел из комнаты.

– О, чтоб *его* черти взяли! Чтоб *его* там, в этих горах, первой глыбой придавило! Чтоб *ему* шею свернуть на первой круче! – причитал Иван Илларионович кому-то *ему* всякие благие желания, допивая третий стакан воды со льдом. – Скорее, скорее отправить их в горы, подальше, куда-нибудь подальше! Ух!.. – вздохнул он, наконец, и стал натирать себе виски губкой, намоченной в туалетном уксусе.

– Барыня к себе чай пить просят… Там уже и гости! – доложил парень в поддевке.

– К дьяволу убирайся! – захрипел Лопатин и закашлялся. – Скажи, что иду сейчас! – добавил он несколько покойнее, когда тот, изумленно вытаращив

глаза, задом стал пятиться к двери, не понимая, за что это так осерчал его смирный в обыкновенное время хозяин.

Общество расположилось на террасе «дамской половины». Солнце садилось, и густая синеватая тень расползлась по саду. Чай разливать взялась Фридерика Казимировна, которая и заняла место за серебряным самоваром.

– А вы сюда, поближе ко мне! – пригласила она малоросса, указав на ближайший стул. – Адочка!

– Что, мама?..

– Поди сюда… Вы извините, если я на один миг отниму у вас собеседницу!

Ледоколов, к которому относилась эта фраза, хотел что-то сказать, да, должно быть, раздумал.

– Ну, что тебе, мама?

Адель оживленно рассказывала что-то Ледоколову, она остановилась на полуслове и нехотя подошла к матери.

– Нагнись сюда. Хотя, господа, и не следует секретничать в обществе, однако я позволю себе эту неловкость…

Фридерика Казимировна принялась шептать дочери на ухо, показывая рукой то на стол, то на ее костюм. Она этими жестами маскировала настоящее содержание речи…

– Это не годится, – горячилась она, – это совсем бестактно!.. Ты хоть при Иване Илларионовиче не очень-то с ним того – понимаешь? Ты не знаешь Лопатина: он мягок, как воск, но если злоупотреблять этой мягкостью, то дело может разыграться довольно неприятно и для нас, да, пожалуй, и для него!

Адель прикусила губы.

– А вот я посмотрю, чем это может кончиться! – И брови ее задвигались.

– Адочка, ангел мой! Но благоразумие, благоразумие! – переменила мгновенно тон Фридерика Казимировна. Она очень боялась этой скверной складочки над бровями.

– Я знаю, что делаю! – отчеканила Адель.

– Тысячу извинений, что заставил себя ждать! – развязно вошел на террасу Лопатин.

– Садитесь! – важно показала ему на стул красавица.

Она входила в роль «полновластной хозяйки этого гнездышка».

– Самый крепкий и побольше сахару… видите, Иван Илларионович, я помню хорошо ваш вкус! – приветливо улыбалась Фридерика Казимировна, протягивая Лопатину стакан чая…

Адель молча пододвинула ему корзинку с хлебом. Это небольшое внимание очень благотворно подействовало на Лопатина, но только на одно мгновение: эта же хорошенькая ручка подвинула корзинку и Бурченко, и Ледоколову; последнее даже сопровождалось улыбкой, не менее приветливой, чем улыбка мадам Брозе.

– …В котором, вы говорите, году? – неожиданно спросил Лопатин, резко повернувшись к Бурченко.

– Я ничего не говорил!

– Виноват, мне послышалось…

Несколько минут тянулось тяжелое, невыносимое молчание: все чувствовали себя как-то неловко. Даже Бурченко был вовсе недоволен этим чаепитием на свежем воздухе: он досадовал на себя, что принял приглашение.

«Черт его знает, еще взбесится совсем этот самодур… дело, пожалуй, расклеится», – подумал он и подыскивал тему для разговора более удобного, имеющего более общий, умиротворяющий характер.

Ледоколовым овладело какое то странное смущение; эта тяжелая, неуклюжая фигура Лопатина как-то давила его; этот упорный, стеклянный взгляд, почти все время устремленный на него, начинал его сердить не на шутку; по временам он испытывал то ощущение, которое должен бы был испытывать человек, сознательно усевшийся в партере на чужое кресло: а ну, как подойдут сейчас и скажут: «А позвольте, милостивый государь…»

Фридерика Казимировна все еще продолжала улыбаться, но эта улыбка становилась все кислее и кислее… Она тоскливо смотрела на свое растянутое изображение в самоваре; она боялась чего-то, и эта боязнь формулировалась так: а что, если у нее отнимут вдруг этот хорошенький, так изящно выгнутый, на диво полированный серебряный самовар, мало того, вдруг скажут: «А убирайся-ка, матушка, опять туда, откуда приехала, коли не умела повлиять на дочку, как следовало…» «А как повлияешь на этого дьявола?!» – решила Фридерика Казимировна и со злостью взглянула на «дьявола», с самой невинной миной прихлебывавшего из маленькой китайской чашечки.

– Ах, какой ужасный случай был с нами в дороге! – начала Фридерика Казимировна. – Представьте себе, Иван Илларионович… У нас сломался дормез…

– Представляю! – буркнул Лопатин.

Из этого тона Фридерика Казимировна заключила, что ее рассказ не доставляет особого удовольствия, и отлавировала назад.

– Адочка, подвинь мне стакан Ивана Илларионовича: он, кажется, кончил!

– Нет, мама, ты налила ему первый, а этот я налью сама; посмотрим, кто лучше… Вы будете беспристрастным судьей, да?

– Я, Адель Александровна, как всегда… – запутался Лопатин, а так как ручка Адели, протянутая за стаканом, очутилась около него так близко, то удержаться и не поцеловать ее было уже не под силу.

– Э-хм! – поперхнулся Ледоколов глотком горячего чая.

– Ведь это «родственный», не более, как «родственный»! – утешал его втихомолку Бурченко.

Фридерика Казимировна бросила на свою дочь взгляд, исполненный благодарности и признательности.

Стало быстро темнеть. Зажгли большой китайский фонарь, висевший как раз над серединой стола. Прозрачная, разрисованная яркими арабесками бумага пропускала самый нежный, приятный свет, и в этих матовых лучах дрогнули тысячи светлых точек, замелькали бесчисленные крылышки ночных бабочек, налетавших на огонь из окружающей тьмы, из всех уголков и закоулков обширного сада.

Адель разболталась одна за все молчаливое общество. Она доставила Лопатину еще два раза случай приложиться к ее ручке; она даже не отдернула сразу своей ноги, когда почувствовала под столом прикосновение мужского тяжелого сапога. Положим, что она заподозрила в этой неловкости своего vis-à-vis – Ледоколова, и подумала даже: «экий длинноногий!» Но ведь Иван Илларионович не мог же слышать того, что только подумалось, и почувствовал себя необыкновенно хорошо после этого электризующего прикосновения.

Предполагаемый вист или преферанс не состоялся: Адель прямо заявила, что не допустит «этой противной, скучной игры», приличной только дождливому, серому Петербургу.

– Ах, как хорошо!.. Как темно!.. Так вот и тянет туда, в эту глушь!

Она стала на крайнюю ступеньку террасы и жадно смотрела в этот густой мрак южной летней ночи.

– Я гулять хочу. Ай!..

Летучая мышь черкнула в воздухе так близко, почти у самого ее лица; в сырой, росистой траве слышался почти непрерывный тихий шелест.

Адель спустилась с террасы. Ледоколов поспешил предложить ей руку, но Адель не заметила этого предупредительного движения и повисла уже на локте Ивана Илларионовича.

Фридерика Казимировна поспешила овладеть рукой Ледоколова, Бурченко пошел «solo».

«Что-то уж он очень наклонился к ней, говорит как-то эдак…» – волновался Ледоколов, глядя на едва обрисовывающуюся в темноте массивную спину Лопатина и более заметное пятно – белую кружевную косынку его дамы…

Он поддал ходу, – ему так хотелось уменьшить это расстояние, образовавшееся между первой и второй парами.

– Ах, как, действительно, ночь прекрасна! – вздыхала Фридерика Казимировна, задерживая шаг и этим осаживая порывы своего кавалера.

– Вот так полонез закатываем! – выступал сзади Бурченко, шагая осмотрительно, дабы не наступить на этот бесконечный шлейф госпожи Брозе, загребающий на ходу все, что только ни попадалось на садовой дорожке.

XIV, XV[1]

……………………………………………………………………………………...

XVI. ГРОЗА НА ГОРИЗОНТЕ

– Высох, как спичка, желт, как лимон, и смотрит гиеной…

– Да, переменился страшно. Эй, что же салат? Вечно по целому часу ждать приходится! Котлета стынет!

– Вчера я был у генерала, завтракали… он тоже был, то есть до такой степени раздражителен стал, что даже со стороны смотреть странно – шесть сигар исковеркал прежде, чем закурил одну. В вист сели, так генерал говорит: «Ну, нет, батенька, с вами играть невозможно: вы, – говорит, – не в своем…» и это рукой на лоб указал.

– Гм!..

– Вспылил страшно, понятное дело, бросил карты и говорит: «Вы, ваше превосходительство, гарантированы вполне от этого (он тоже показал на лоб): для того, – говорит, – чтобы сойти с ума, надо его иметь», – каков! Так и отрезал.

– Чу-у-дак!

– Ну, натурально, вист расстроился. Хорошо еще, что сейчас раков подали – вот какие раки! Страсть! Ну, генерал занялся и не обиделся!

– Он у нас добрый.

– Смотри!

Один из собеседников покосился немного вправо, другой удержал вилку с куском котлеты на полудороге и тоже метнул глазами в ту же сторону.

Перлович скомкал газету, которую читал, судорожно отбросил в сторону и, сильно отодвинув стул, поднялся на ноги.

Проходя мимо буфета, из-за которого усердно кивал ему Тюльпаненфельд, Станислав Матвеевич остановился на минуту, хотел что-то сказать, да махнул рукой и быстро вышел из ресторана.

– Действительно, что-то неладно! – пожал плечами один из собеседников.

– Что-нибудь по части торговых фортелей не выгорает!

– Как бы чего хуже не было!..

– Видели? – говорил старичок в мундире, в другом углу залы.

– Видел! – отвечал другой старичок, тоже в мундире.

Они вдвоем ели одну порцию ботвиньи, тщательно оберегая свои разноцветные регалии, украшавшие промежуток между бортами.

– Да-с!

– Ох-ох! Капнули никак, Мартын Захарыч!

– Где, где?

– На «Станиславчика»…[1]

– Вы-то свою «Анну»[2] поберегите!

– А я ее салфеточкой прикрою, вот оно и хорошо будет!

– Поверьте вы мне, – говорил внушительно доктор (наш старый знакомый), – что в нем совесть шевельнулась: угрызение чувствует, уж это верно, все признаки, и к тому же…

– Провидение простирает свою десницу! – изрек отец иерей Громовержцев, которому по его сану и не подобало бы заходить в рестораны, но… «на сих отдаленных окраинах, к тому же на единое мгновение, для пропущения малого стакана допелю и закушения оного бутером…» – Да-с, Провидение! – отрыгнул отец иерей и потянулся в угол, где стояла его палица[3] с массивным серебряным набалдашником, а на ней висела широкополая шляпа, покрытая тоже белым чехлом, как и форменные офицерские фуражки.

Дорогой Станислав Матвеевич встретил двух знакомых офицеров, проезжавших по городским улицам своих новоприобретенных иноходцев. Проносясь по обеим сторонам коляски Перловича, офицеры усердно раскланялись. Они, словно по команде, одновременно приподняли свои фуражки и вслед за этим так же одновременно произнесли:

– Свинья!..

Их уж очень обидело то обстоятельство, что Перлович даже и не заметил их салюта. А как же он мог заметить это, когда все его внимание обращено было на листок почтовой бумаги, дрожавший в его худых, цепких пальцах.

Проехали улицы, выбрались из-под остатков триумфальной арки хмуровской архитектуры; сады по чимкентской дороге остались сзади. Коляска въехала в ворота дачи и остановилась перед подъездом.

Перлович все читал или, по крайней мере, казалось, что читал, не замечая и остановки экипажа, и намекающего покашливания кучера, и вопросительной позы его старого Шарипа, распахнувшего входную дверь на ее обе резные половинки.

– А! – словно проснулся Станислав Матвеевич, встряхнул головой, потер рукой виски и полез из экипажа.

«В первом моем письме я уведомил вас…» – вот фраза письма, не выходившая у него из головы, притянувшая к себе все его внимание.

«В первом письме? – думал он. – Но ведь это и есть первое письмо, другого я не получал. – Он хорошо помнил это, он так сердился на *него* за медленность – и вот… – Гм, так, значит, было еще первое письмо; это ясно видно из содержания того, что находилось у него в руках. В *том* письме, должно быть, все подробности – это тоже ясно, – иначе зачем бы эти фразы: “как вам уже известно… так же, как и тот раз”. Значит, он не получил этого *первого* письма, значит, оно пропало… Куда же оно могло пропасть? И какая непростительная неосторожность с *его* стороны послать *это* письмо по почте!..»

Холодный пот выступил на лбу Станислава Матвеевича. Он даже вздрогнул и залпом выпил стакан воды с каким-то сиропом.

– А что, если *это первое* письмо не пропало, если оно теперь находится в других руках?

У него в глазах потемнело, и он тяжело опустился на диван, поспешно расстегнув жилет и развязав, почти разорвав, бант белого галстука.

– О, да вздор! Все пустяки. Ну, что ж такое? Во-первых, это письмо могло пропасть окончательно, не попадаясь вовсе ни в чьи руки, и тогда… во-вторых…

Маленький прилив бодрости так же быстро исчез, как и появился.

– Во-вторых… нет, этого «во-вторых» быть не может! Это письмо – улика, страшная улика, отдающая его целиком в руки… ух, какие скверные, ненавистные руки!

И вспомнил он, как подозрительно все косились на него, как на приговоренного, когда он заезжал в ресторан. Они уже знали все. Да, это ясно. Сомнения тут не могло быть никакого.

– Ну, что тебе надо, что?

Со злостью и страхом Перлович взглянул на Шарипа и даже попятился в угол, инстинктивно протягивая руку к стулу.

Старик-сарт стоял в дверях и молча, вопросительно глядел на своего господина.

– Тюра звал? – произнес он наконец.

– Нет, вовсе не звал, зачем мне звать тебя?.. Не надо… Ступай отсюда… ну, ступай! Да иди же!.. «А, сторожит, следит тоже», – подумал Станислав Матвеевич, с ненавистью глядя на этот красный, морщинистый затылок, скрывшийся за драпировкой.

Солнце склонялось к западу; в большие, выходящие во двор окна ворвались косые лучи света, разом озарившие всю внутренность комнаты, все металлическое засверкало, по потолку и столам забегали светлые пятнышки.

Перлович взглянул в окно.

– Сколько народу там! Чего это они собрались? Что делают? Вон арбы приехали с клевером; полуголые арбакеши сваливают зеленые снопы на крыши дворовых навесов и нет-нет все сюда поглядывают, в это окно, в котором должна быть так ясно видна вся его фигура… Вон два приказчика прошли через двор и тоже сюда покосились, шепчутся… А вон тот стоит на крыше, так и уставился, глаз не спускает, тоже сюда смотрит… Подлецы, предатели!

Перлович, под влиянием какого-то инстинкта самосохранения, поспешно откинулся назад, в другой угол дивана, куда не достигал этот выдающий, все на показ выставляющий луч света…

Серый осенний день. Кругом чахлые кустарники, желтый, полувысохший бурьян, кучи бурелома и валежника, оставшиеся после вырубленного леса… Под вывороченным пеньком, совершенно прикрытый вырезными, перистыми листьями папоротника, весь зарывшись в мягкий, седой мох, залег притаившийся заяц и чуть-чуть поводит своим настороженным ухом: он прислушивается. Страшные звуки несутся со всех сторон, трещат сучья под десятками собачьих лап, фыркает конь где-то неподалеку. Ух, как близко, чуть не вдоль его вытянутой струной спины, щелкает охотничий арапник. И там, и тут, и отсюда, и оттуда грозит смертельная опасность… «Бежать?.. Куда? Со всех сторон враги… Он окружен. Вон между этим кустом и беловатым

стволом покривившейся березы еще есть, кажется, свободное пространство. Разве туда?» И там словно из под земли вырос и грозно кивает косматый белый хвост… Слышно тяжелое дыхание; красный, покрытый пеной язык, белые, острые клыки мелькнули так близко… Сильно, учащенно колотится сердчишко несчастного зверька… Он весь замер: ни одна шерстинка не тронется, даже косые глаза прикрыты, и чуть-чуть дергаются веки в смертельном, безысходном ужасе… Сопящий, фыркающий нос раздвигает желтые листья – последнюю преграду.

Вот в таком точно или, по крайней мере, чрезвычайно близком к этому положении чувствовал себя Станислав Матвеевич, только с той разницей, что хлопанье арапника, фырканье коня, собачьи хвосты и языки – все это было пока только в одном его воображении.

«Разве бежать? Как и заяц под кустом, – подумал Станислав Матвеевич. – Но куда? К этим дикарям, в Бухару, в Хиву, что ли? Это – та же смерть, та же погибель! Назад в Россию? А как? Через всю эту степь, через ряд фортов и крепостей, в каждой из которых его могут захватить, скрутить, и тогда все пропало? А это все? Разве это унесешь с собой?»

Он с невыразимой тоской поглядел кругом.

Прямо перед ним, в простенке между двумя глубокими нишами, плотно, словно прилипши к плиточному полу, стоял металлический несгораемый шкаф; этот шкаф прислан был ему еще в прошедшем году, – и тогда уже было что в него прятать, а теперь… А это, что на дворах, в его караван-сараях, на пути, в караванных вьюках, на рынках Коканда и Бухары, наконец, в его грандиозных проектах, в одном воображении его воспламененного мозга?.. Все это придется бросить и спасать… что же? Одну только разбитую, исковерканную жизнь! А, вот оно что! Значить, поздно, значит, все кончено!..

На дворе послышался торопливый топот коня и звяканье оружия; два казака показались в отворенных воротах; за плечами торчат стволы винтовок, шашка путается и мешает слезть с лошади. Белый четырехугольник сложенной бумаги затиснут под ременную портупею. Казак идет сюда; он ступил на крыльцо. Эх, как звякают шпоры по его ступеням! Кто-то пробежал. За стеной портьера колышется.

– К вашему высокородию! – ревет медвежий голос.

Какая-то горилла загородила треугольный просвет распахнувшейся драпировки.

– Что такое?.. Зачем же это?.. Я и сам могу… Здравствуй, голубчик! – сам не понимая что, несвязно произнес Перлович и взял машинально протянутую ему бумагу.

Больше он ничего не слышал и не видел.

– Диковина, – говорил своему товарищу казак, садясь на лошадь, – взял это он «повестку», поглядел, губами что-то пошамкал, да как хлопнется на бок, – благо, еще у него на полу-то мягко – вершка на полтора ковров настлано!

– Может, хмелен был?

– Нет, посуды около не видать было. Так на водку и не получил ничего, а надо бы. Да ну, не вертись, «прострели те пузо»*! – вытянул он нагайкой своего чубарого.

А между тем содержание бумаги, полученной Станиславом Матвеевичем, было самого невинного свойства. Печатный бланк со вставным только именем и даже за номером, приглашал пожаловать на бал, имеющий быть такого-то числа, у его превосходительства, и проч., и проч. В конце же значилось предуведомление, что господам военным нужно быть в мундирах, а неслужащим и купечеству не иначе, как во фраках; пояснено было даже, что туземные именитые жители, получившие это приглашение, избавлены от необходимости надевать фрак, а могут явиться в своих парчовых, шелковых, бархатных и всяких других халатах.

Затем добавлялось, что бал этот имеет между прочим целью слияние национальностей, победителей и побежденных, а посему первые приглашались по возможности способствовать достижению этой благой цели, занимая туземных гостей и объясняя им главнейшие преимущества цивилизованной общественной жизни перед их полудиким, варварским бытом.

Последнее добавление принадлежало соединенным перьям офицеров местного генерального штаба и явилось результатом двух ночей усиленной умственной деятельности.

Бумага эта не то что была бы запечатана, а так, подклеена немножко, только чтобы не развертывалась. Так, по крайней мере, сам себя уверял доктор, приводивший Перловича в чувство и не утерпевший, чтобы не осведомиться насчет содержания этого «пакетца».

Потом доктор весьма досадовал на себя, как это он сразу, по одному наружному виду, не узнал, в чем дело? Ведь и сам он, да и не один он, еще с утра получил подобную же повестку.

И, помусолив языком окраину листка, он поспешил привести пакет в его первобытное состояние.

XVII. «ГИДАЛЬГО»

Случай помог Ледоколову провести вечер в доме Ивана Илларионовича; раз попав туда, он решился во что бы то ни стало поддержать это знакомство. Это входило в его расчеты.

---

* Характерная брань уральских казаков.

На другой же день, часов в одиннадцать утра, «в самый визитный час», как уверил его белобрысый барон, авторитет по части знания местных светских обычаев, Ледоколов надел фрак, достал из дорожного футляра цилиндр, совершивший вместе с ним далекое путешествие, и направился к лопатинскому дому.

«Посижу подольше, поразговорюсь, – мечтал он дорогой, – надо усыпить эту подозрительную, дурацкую ревность. К маменьке приласкаться не худо: это тоже может быть весьма полезно, пригласят завтракать – останусь».

Ледоколов слез с дрожек и рассчитал извозчика.

– Дома нет! – заявили ему в полуотворенную дверь.

– Как дома нет? – озадачился Ледоколов.

– Да уж так-с! – говорил голос за дверями.

– Гм… А госпожа Брозе и их дочь?

– Мадам-то? Сейчас… Тоже дома нет! Должно, что так-с!

Голос за дверями заговорил менее решительным тоном. Очевидно, он справлялся в эту минуту: какого рода ответ надо держать относительно этого непредвиденного пункта?

Тот, кто мог надоумить его, вероятно, говорил одной пантомимой, потому что как ни прислушивался Ледоколов, другого голоса было не слышно.

– Слушаю-с, чего-с? Как-с? Только одни они-с… – шептал голос за дверями.

– Барынь тоже нет дома. Никого дома нет: уехавши! – отчеканил он уже довольно определительно.

– Ведь ты, братец, врешь… – начал, было, Ледоколов, и не мог докончить возражения, – не мог уже только потому, что вслед за ответом захлопнулась дверь перед самым его носом. Мало того, кроме визга дверного засова, в массивном медном замке что-то внушительно щелкнуло, даже не один, а целых два раза.

– Однако! – пожал плечами визитер и пожалел, зачем так поторопился отпустить свою долгушку.

Еще раза два пытался Ледоколов проникнуть, наконец, туда, где… и так далее, но каждый раз его встречали неудачи, подобные первой его попытке.

Встретился он раз, случайно, с Лопатиным на улице: что за странность? Иван Илларионович рассыпался в любезностях.

– Загордились, батенька, что не заглядываете? Грех! – мял ему руку Лопатин и смотрел на него так ласково, так дружелюбно. – И барыни вот все осведомляются об вас. Что, мол, да как, мол? Заходите же, право, ну!

«Зайду завтра!» – решил Ледоколов и зашел.

– Только вот перед вами уехали, и барыни с ними! – с соболезнованием в голосе сообщил ему тот же голос за дверями.

– Да ведь я сейчас приказчика их встретил: он говорил… – рассердился, было, Ледоколов и тотчас же услышал знакомый визг и щелканье.

Как нарочно, случилось так, что первое время госпожа Брозе и ее Ада положительно никуда не выезжали. Следовательно, рассчитывать на встречу вне дома Лопатина было бесполезно. А этот проклятый, ненавистный дом, такой тяжелый, словно приплюснутый сверху, обнесенный скучными стенами, был, очевидно, для него заперт.

Припомнил Ледоколов, что как-то вечером, ужиная у Тюльпаненфельда, он слышал, как в общей комнате интендантский чиновник распространялся об удивительных свойствах здешнего климата.

– То есть вы не поверите, – говорил он, – девочка скромненькая, пятнадцати лет, ничего не знала, не понимала, приехала сюда и… что бы вы думали? Вот!

Оратор сделал округленный жест перед своим жилетом.

– Ну, батюшка, тут совсем особые причины! – докторально заявлял другой собеседник. – Согласитесь сами, прикиньте хоть на счетах, на сто пятьдесят мужчин приходится всего только одна с третью женщина! Спросите хоть у самого Глуховского: он собирал эти статистические данные!

– Ну, конечно! Теперь вот опять, – дребезжал козлиный голосок, вытирая рот салфеткой, – наши барыни: там были верные, благочестивые жены, приехали сюда – и что же?.. Вы сами знаете, господа, ведь это ни на что не похоже! Это уж какая-то поголовная эпидемия!

– Ну, вот, вот, вот – обрадовался интендантский чиновник. – Скажите – не климат, не его влияние? Конечно, на нашем брате, мужчине, это влияние не так в глаза бросается, а есть… ох, есть! По себе знаю!

– Конечно! – соглашается тот, кто сначала пытался отыскать другую причину. – Южный климат, жар; опять пряности и горячительные напитки, но все-таки если бы пропорция была нормальней…

– Да где ее взять, эту пропорцию-то, где? Вон Шелкопериха горничную с собой привезла, – рыло такое, что и не взглянул бы другой раз, а тут бац! За чиновника замуж вышла. Дело у мирового вчера разбиралось…

– Всяко бывает… Мы вот в джизакском походе из гнилой лужи хлебали, да слаще меду казалось, – нужда!

– Влияние климата! – настаивал интендантский чиновник.

«Должно быть, что это влияние климата!» – припоминал Ледоколов, отправляясь на продолжительные ночные прогулки под окнами лопатинского дома, особенно с той стороны, где, по его соображениям, приходилась дамская половина.

Через стену он узнавал вершины тех самых тополей и тутовника, под которыми они бродили впотьмах, всем обществом, и, глядя на эти темные, кудреватые группы зелени, у Ледоколова быстрее обращалась кровь и усиленнее толкалось что-то под жилетом, заглушая даже отчетливое чиканье его хронометра.

Прогулки эти он начинал, обыкновенно, вечером, когда южные сумерки густели настолько, что не так резко бросалась в глаза проходящим и проезжающим его печальная фигура. Прогулки эти тянулись частенько вплоть до рассвета.

А ночи были такие чудные, темные, ласкающие, так возбудительно действовавшие на без того донельзя возбужденные нервы Ледоколова. Подолгу стоял он перед садовой стеной, и перед его глазами, в этом густом мраке, проходили самые томительные, волнующие кровь картины. То чудилось ему, что эта ровная линия стенного гребня тянется вверх, заостряется в какие-то готические башни древних замков; светятся красным светом узкие окна бойницы, визг цепей слышится за этими мрачными стенами, надрывается плач заключенных красавиц. Они ждут избавителя, визг его призывного рога.

«Разве махнуть через? – мелькала не раз у него в голове отважная мысль. – Стена не так чтобы уж очень высока. Вот с этой стороны, если б только кто подсадил».

И если б в подобную минуту действительно нашелся этот кто-нибудь, Ледоколов не задумался бы привести в исполнение свое намерение.

«О, моя радость! Звездочка моя милая!..» – ощущал он на себе *влияние климата* и, опершись разгоряченным лбом о шероховатую поверхность стены, припоминал все мельчайшие обстоятельства их путешествия вместе на пароходе «Арал», припоминал он все эти чудные, блаженные минуты.

– Жулик, надо полагать!

– А черт его знает! Нешто забрать?

– Ну, его к лешему!

Темные конные фигуры объездных казаков топочут в нескольких шагах от Ледоколова, нагибаются с седел, подозрительно всматриваются в темноту и проезжают мимо.

– Боже!..

Ледоколов отскочил и начал прислушиваться: за стеной слышится голос. Это ее голос! Нет; все тихо; слышно только, как шелестят ветви деревьев, как храпит кто-то пьяным, носовым храпом.

– Вы бы серенаду спели понежнее! Где ваша гитара, mio gidalgo?[1] – говорит сзади грациозный женский голосок. – Бедняжка!.. Ха-ха-ха-ха! – звонко хохочет Марфа Васильевна, и вот уже далеко, постепенно замирая, слышится мягкий стук колес ее шарабана.

– Смешно! И чего это он хлопочет, простаивая ночи под стенами? – хохочет Набрюшников, поталкивая шпорами гнедого, чтобы тот не отставал ни на полшага от подножки экипажа.

«Смешно! – думает, но не высказывает вслух Марфа Васильевна, косясь на своего кавалера. – И чего это он хлопочет, рыская по ночам за моим шарабаном?»

– Ну, до свиданья! – остановила она на перекрестке своего иноходца.

– Марфа Васильевна! – начал, было, Набрюшнилов.

– Вам надо ехать направо, потому что мне надо налево. Вы поняли?

Фраза эта произносится тоном, не допускающим никакого возражения. Набрюшников покоряется без явного ропота.

– Еще, пожалуй, столкнешься с кем-нибудь; ну ее, неприятности наживешь по службе! – вздыхает он и унылым шагом направляется к своим казармам, в кокандское предместье.

А тут и Бурченко все пристает, и пристает, как нарочно, все в такие минуты, когда Ледоколову вовсе не до тех неизмеримых богатств, скрытых в недрах диких гор, куда нога человеческая еще не проникала.

– Да послушайте же, – говорить ему малоросс, – ведь вот отправляться скоро надо будет, а у нас с вами не бог знает сколько сделано насчет приготовлений. Тут столько хлопот, возни, а вы все где-то пропадаете!

В ответ на подобное замечание Ледоколов обыкновенно краснел и говорил, что он «собственно готов каждую минуту, что с его стороны…» и так далее, что-нибудь в этом роде.

– Бур подержанный купил у Алмазникова, плох, но с некоторыми приспособлениями пойдет в дело!

Ледоколов машинально выводил карандашом по маршрутной карте какие-то линии.

– Вчера вот у Лопатина был; обещал ему непременно отправиться в горы в следующую среду!

– Вы там были? Что же вы мне не сказали, что идете? Я бы с…

– А где вас искать? Я вот и на прошлой неделе был. Сижу, разговариваю с нашим капиталистом, смотрю – вы по той стороне идете, улицу переходите, я думал…

– Я шел туда же, но мне сказали, что дома нет. Это, наконец, подлость!

– Какой вы чудак! Словно всякий не имеет права пускать в свой дом, кого он хочет, и не пускать также, кого хочет. Эх, знаете ли что, благо к случаю пришлось; и охота вам лезть, как посмотрю я на вас? Мало вам одного раза? Нет, вам надо поскорее да подальше убираться от этих глазок, так ревниво оберегаемых от вас нашим барбосом… то бишь цербером Лопатиным. Мне, конечно, вас не учить, но все-таки отчего не дать доброго совета? Да, кстати, к губернатору насчет того дела съездили?

– Я еще не успел… – замялся Ледоколов. – Я, впрочем, сейчас…

– Ну, вот видите… жаль! Теперь уже поздно, четвертый на исходе. Завтра хоть не забудьте! – остановил он своего товарища, заметив, что тот метнулся в угол за шляпой.

– О, конечно!

Помолчали немного.

– Черт его знает! – начал Бурченко, посматривая на продолговатый рогожный тюк, перехваченный по всем направлениям крепкой смоленой веревкой. – Как мы его потащим в горы? На вьюках тяжело, ежели на колесах – есть там одно место скверное, не проедем на арбе; разве вот что…

– Когда вы прошлый раз были у Лопатина, вы их видели? – спросил, словно очнувшись от сна, Ледоколов.

– Эк вы! – озадаченно взглянул на него Бурченко. – Кого это *их*?

– Да ведь вы понимаете, о ком я спрашиваю! – начал, было, сердиться Ледоколов.

– Ах, да! Ну, видел!

– Что же, говорили что-нибудь обо мне?..

– Кажется, говорили… а впрочем… да, да, говорили, как же! Я им рассказывал, как вы все у дверей стучитесь, а вам все говорят: дома нет. Представьте, они об этом ничего и не подозревали!

– Подлец, да я ему!.. Я покажу, что мы не в Азии, где можно запирать женщин и не пускать к ним тех, кто…

– А где же мы? – расхохотался Бурченко. – В Азии, батюшка, в настоящей Азии, в самом центре оной. Да ну, сядьте же и не горячитесь, да осторожнее; ведь вы чуть барометр не свалили – вещь, сами знаете, хрупкая!

– При первой же встрече с этим скотом…

– Послушайте, однако, ну, что хорошего? Рассердится и денег не даст – это верно; он потому только и дает их так охотно, что хочет поскорее нас с вами отсюда выпроводить. Иначе чего бы ему так торопить!

– А если я совсем не поеду, назло ему не поеду, а останусь здесь?

– Это будет уже совсем глупо… то бишь неостроумно. Положим, я не связывал вас никаким договором на бумаге, но… – Бурченко серьезно взглянул на своего товарища; улыбка исчезла с его лица, он передернул плечами и сухо произнес: – Как хотите…

– Во-первых, я этого не сделаю, и ваш холодный тон в данном случае совершенно некстати! – спохватился Ледоколов.

– Да, я и забыл: Адель Александровна просила вам передать, что… да так, это именно придется сегодня вечером… так вот, сегодня вечером они едут кататься по чимкентской дороге…

– Ну?

– Больше ничего. Только и сказала всего, что, мол, едут кататься по чимкентской дороге. Разве вам этого мало?

– И вы могли это забыть? Вы могли бы, пожалуй, вспомнить об этом завтра и тогда сказать мне? – укоризненно взглянул на своего друга Ледоколов.

– Признаться, забыл, да вот вспомнил еще пока своевременно, ну, и слава богу! Куда же это вы?

– Завтра я буду у губернатора и сообщу вам результаты! – уклонился от ответа Ледоколов, шагая через рогожный тюк и пробираясь к двери.

– Гулять на чимкентскую дорогу? – варьировал вопрос Бурченко.

– Гулять на чимкентскую дорогу! – произнес Ледоколов, позабыв даже притворить за собой двери.

XVIII. НРАВСТВЕННАЯ СДЕЛКА

А между тем на дамской половине лопатинского дома жизнь складывалась далеко не так привлекательно, как предполагала даже Адель, увлекавшаяся иногда розовыми мечтами своей маменьки, и как предполагал сам Иван Илларионович, так предусмотрительно распланировавши комнаты своего дома.

Во-первых, Адель начинала скучать. Фридерика Казимировна пыталась развлекать ее в подобные минуты, и сама едва успевала прикрывать рукой рот, растягиваемый конвульсивной зевотой.

– Тоска! – вздыхала Адель.

– Э, полно, Адочка! Ну, пойди, погуляй по саду; там, я видела, распустились новые колокольчики…

– А черт с ними! А-а-а! – зевала Адель.

– Они такие оригинальные, светло-лиловые с красными жилка-а-ами! – зевала еще громче Фридерика Казимировна.

Адель вставала и уходила к себе; маменька придвигала поближе столик с фруктами… Проходили томительные, бесконечные часы.

– Боже, сколько дней никуда ни шагу! – врывалась Адель снова в общую комнату. – Кроме этого несносного сада, в котором все, все приелось и пригляделось до тошноты, я не вижу ничего. Это невыносимо!

И она порывисто бегала из угла в угол и, наконец, вопросительно останавливалась перед Фридерикой Казимировной.

– Что делать? Ты сама виновата, сама! – холодно говорила madame Брозе, лениво ощипывая самые спелые, самые отборные ягодки винограда.

– *Он* думает, что этим путем можно чего-нибудь добиться! Да я скорее умру! – взвизгивала Адель, бросалась на диван и принималась рыдать судорожно, истерически, теребя и коверкая цилиндрические диванные подушки в местном вкусе.

Фридерика Казимировна обыкновенно относилась весьма спокойно к этим явлениям. Она не боялась слезливых припадков своей Ады; ее скорее могли бы напугать, да и пугали не на шутку, такие минуты, когда ее красавица дочь задумывалась молча, вся сосредоточившись в себе самой, словно улитка, ушедшая в свою раковину, когда на ее лбу набегали грозные, не добро предвещающие морщинки…

Вот такие-то минуты тревожили madame Брозе и заставляли ее изыскивать всевозможные средства рассеять эти грозовые тучи и вызвать на лице Ады хотя что-нибудь похожее на улыбку.

– Да, ты сама виновата! – повторяла Фридерика Казимировна и начинала напевать «Dites lui» из «Герольштейнской герцогини»[1] – свои любимые мотивы. – Ты очень хорошо знаешь, – продолжала она, протянув руку и ласково погладив Аду по ее вздрагивающим от рыданий лопаткам (Ада лежала ничком, уткнув лицо в подушки). – Ты очень хорошо знаешь, что мы находимся совершенно в руках Ивана Илларионовича: без всяких средств, в дикой стороне, лишенные возможности возвратиться в Петербург, – мы совершенно зависим от Лопатина. Помни, Иван Илларионович для нас все! Без него все бы погибло, все! Спасенья нет. Ты это очень хорошо должна понимать!

Фридерика Казимировна умышленно представляла свое положение в таком виде.

«А вот я ее припугну! – думала она. – Может, это лучше подействует!»

– Боже мой! – вздыхала Ада, поднималась, вытирала глазки и так же, как и маменька, только совершенно машинально, тянулась к корзинке с фруктами.

Фридерика Казимировна чавкала и звучно жевала, Адель высасывала ягодки с каким-то весьма грациозным всхлипыванием. Опять наступало молчание, только не надолго.

– Скажи, пожалуйста, Ада, неужели ты думаешь, что все это нам предлагалось и дается теперь или, по крайней мере, обещается даром?

– Мама, да если он мне противен. Мне гадко, мне даже страшно, когда он только дотрагивается до моей руки… Ты знаешь ли, как трудно мне бывает скрыть это от…

– Да ты этого и не скрываешь. Гм!.. Но какое, однако, институтство! Не быть даже настолько актрисой! Впрочем, как знаешь! Сама после и пеняй на себя, если ему тоже надоест переносить одни только неприятности, и он повнимательней отнесется ко всему окружающему!

– Я тебя не понимаю…

– Нет, это я вообще… эта архитекторша… Мавра или Марфа, так, кажется? Помнишь, мы с террасы видели ее в шарабане?

– Ну?

– Она очень, очень красивая женщина. И я даже кое-что уже слышала. Я, конечно, не хочу тебя тревожить пустыми слухами; мало ли что болтают… но…

Madame Брозе многозначительно умолкла и, грациозно раскинувшись в позе стереотипных султанш на театральных подмостках, плавно опахивала себя настоящим, привезенным из Кульджи, китайским веером.

– Но ведь он держит меня взаперти, как рабу какую-нибудь. Если мне удается завоевать себе прогулку в экипаже, то это делается, как нарочно, поздно вечером, когда все темно, когда я никого и ничего не могу видеть!

– И когда тебя тоже никто не может видеть, добавь! – прерывала Фридерика Казимировиа. – Вот в этом-то и все дело. Пока он не будет уверен в тебе, до тех пор ты положительно не будешь пользоваться свободно всеми удовольствиями здешней светской жизни. А их так много, так много! Сам Иван Илларионович говорил мне, что пока…

Маменька приготовилась соврать, и соврать капитально, потому что Иван Илларионович никогда не решился бы высказать ей того, что теперь ему навязывали.

– Я не способна привязаться к нему, не могу! – горячилась Адель. – А при этой обстановке достаточно только простого сравнения, чтобы первый встречный…

– Например, Ледоколов?

Фридерика Казимировна язвительно улыбнулась и покосилась на свою дочь.

– Да, да, он! – вспыхнула Адель.

– Однако этот барин не очень-то о тебе думает. Вот уже сколько времени даже и носа не показывает! – опять соврала Фридерика Казимировна. Она очень хорошо знала, что Ледоколову постоянно отказывали, что, впрочем, не удерживало его от повторения своих попыток проникнуть в дом Ивана Илларионовича.

– Неправда! – оборвала ее Адель. – Я уже говорила вчера о нем с его приятелем. Я нарочно вошла в кабинет к Лопатину, когда узнала, что там Бурченко… Его этот урод не велел принимать. Нет, я подобной ревности не в состоянии больше переносить!

– Ада, но ведь это так естественно!

– Это невыносимо!

Плечи Адели начинали поддергиваться; она вот-вот готова была разрыдаться снова.

– Какой ты, в самом деле, ребенок, как посмотрю я на тебя! – мягко начала Фридерика Казимировна. – Ты знаешь пословицу: «за двумя зайцами» и так далее, эта пословица – вздор. Можно гоняться не только за двумя зайцами – гораздо больше. Я говорю тебе потому, что знаю по личному опыту. Я больше тебя жила на свете, и ты должна верить, что мать не захочет зла своей дочери… Ты должна слушать мои советы, и если уж тебе так нравится этот слюнявый Ледоколов…

– Мама, я тебе не говорила этого…

– Все равно, я очень хорошо вижу, не хитри!

– Мне скучно. Мне вообще нужно общество!

– Все, все будет! И если ты будешь настолько умна, что сумеешь замаскировать это непонятное отвращение к Ивану Илларионовичу, приласкаешь его, будешь сама терпеливо и без разных неуместных выходок выносить его ласки, не так, как вчера за чаем, то не только один Ледоколов… ха, ха, ха!

Ну, да ты умница, ты сама очень хорошо понимаешь, что можно сделать из такого колпака, как Лопатин!

– Колпака? – расхохоталась Адель.

– Ну да! – смутилась немного Фридерика Казимировна. – Он ведь такой добрый, мягкий…

– Добрый, мягкий! – тихо повторила Адель и вдумалась. – Знаешь, мама, – начала она, немного помолчав, – заметь ему как-нибудь половчее, чтобы он не так уж часто приставал со своими ласками. Знаешь, эта отвратительная привычка брать меня за талию своими потными лапищами… и потом, зачем он душится бергамотным маслом?

– О, это все такие мелочи, которые легко улаживаются, особенно при содействии такой посредницы, как я! – весело засмеялась Фридерика Казимировна.

– Посредницы! – так же тихо, как и первый раз, повторила Адель, и на ее лбу опять задвигались какие-то нехорошие складочки.

Фридерика Казимировна быстро переменила тему разговора.

– А ну-ка, тащи их сюда из коляски, – сюда неси, за мной! – слышался голос Лопатина на подъезде.

– Мама, я уйду к себе и запрусь! – быстро вскочила Адель. – Скажи там ему что-нибудь, выдумай.

– Адочка! – поймала ее за платье Фридерика Казимировна. – Да ну, что за ребячество, ну как не стыдно!

– Не могу! Пусти! Скажи, что я ночь не спала и теперь сплю, крепко сплю!

– Хорошо, делать нечего! К чаю я тебя вызову непременно, слышишь?.. Ишь, ведь на ключ заперлась! Своенравная, скверная, упрямая девчонка!.. Ах, Иван Илларионович, как это мило! А мы вас раньше вечера не ждали!

– Здравствуйте, матушка, здравствуйте! – Сюда, братец, клади, на стол; ну, ступай! – вертелся в дверях Лопатин, пропуская впереди приказчика с продолговатыми свертками материй, завернутых в китайскую бумагу. – Ну, замаялся я, страсть! Здоровье ваше как?

Иван Илларионович с перевальцем, солидно подошел к Фридерике Казимировне и приложился к ручке. Потом посмотрел направо, посмотрел налево, прислушался и, понизив голос почти до шепота, произнес.

– Где же Адель-с? Адочка где же?

– Ах, она, бедная, спит теперь. Только что заснула. Представьте себе, как началась у ней зубная боль, так всю ночь напролет!

– Тс! Простудилась, должно быть?

– Как страдала, ах, как страдала!

– Как же вы мне это с утра не прислали сказать? Ай-ай-ай! Я бы Авдиева с собой привез – лучший здешний доктор!

– Ну, ведь это не опасно!

– Однако не говорите!

Иван Илларионович на цыпочках подошел к дверям спальни Адели, нагнулся и приложил ухо к замочной скважине. Его толстая, массивная фигура была в эту минуту чрезвычайно комична. Madame Брозе не могла удержаться от улыбки.

– Спит, кажется, крепко! – решил Лопатин и осторожно, также на цыпочках, поддерживая руками баланс, перебрался обратно на диван к Фридерике Казимировне.

– Она просила меня разбудить ее, как только вы приедете!

– Будто?! – встрепенулся всем телом Лопатин,

– Да, только я не решаюсь. Так жалко тревожить ее сон!

– Оборони Господь!

– Что это? – кивнула Фридерика Казимировна на принесенные свертки материй.

– А это-с, помните, Адочка видела образчики китайских атласов: по черному полю птицы, цветы и драконы золотом и цветными шелками – ей понравилось тогда, так я уж на всю ее комнату и обои, и драпировки, и на обивку мебели выписал; дорогонько, ну, да что! Деньги дело наживное-с. Хе-хе! Так, что ли-с?

– Какой вы добрый. Вы мне совсем избалуете мою Аду!

– Хотел бы, ух, как хотел бы! Ничего бы не пожалел, только бы… – глубоко вздохнул Иван Илларионович и грустно покачал головой.

– Ca viendra![2] – не без намека произнесла Фридерика Казимировна.

– Вашими бы устами… Вы не поверите, ведь я сам себя не узнаю, что со мной делается! Ведь вот пятый десяток, облысел, расползся, а хуже всякого шестнадцатилетнего мальчишки врезался!

– Ну, вы еще вовсе не так стары! – сунулась, было, с утешением Фридерика Казировна.

– Где уж тут-с! Сам я понимаю, что какая я ей пара? Не может она любить меня, – это естественно. Дурак бы я был, если бы добивался этого; но ведь привязаться можно, привыкнуть, приласкать когда-нибудь. Сердце ведь у меня доброе! Да я бы, кажется, за эту привязанность… Ведь я ее одну только в голове держу. Осовел даже совсем: сегодня вот счет перепутал, бросил до приезда Катушкина, он ужо выручит… Эх, судьба!

– Знаете, что я вам скажу? Я хорошо знаю натуру моей Ады и могу дать вам дельный совет, хотите меня слушать?

– Говорите, матушка, говорите!

– Во-первых, она слишком уверена в вашей любви, а потому не очень дорожит ей; во-вторых, вы вовсе ошибаетесь, если думаете, что Ада к вам

не привязана. Иначе зачем бы ей так скучать вчера весь день и сегодня, и только и спрашивать меня: «ах, маменька, да чего же он не едет?»

– Так ли-с?

Подозрительно, как-то искоса взглянул Лопатин на свою утешительницу и насторожил слух. Ему послышался шорох за дверями справа. Замочная скважина, которая до сих нор светилась, вдруг потемнела.

– Как здесь жарко! – поднялась с дивана Фридерика Казимировна. – Пойдемте в сад или на террасу; кстати, мы не рискуем разбудить Аду своим разговором!

Она заметила тоже последнее обстоятельство, а, по ее соображениям, Аде не следовало бы слышать всего, что предполагалось сообщить Лопатину.

– Поменьше ласкайте ее, поменьше балуйте, не обращайте, если можно, внимания на нее, вообще относитесь к ней поравнодушнее, – конечно, это для вас трудно, но вас вознаградят последствия! – говорила Фридерика Казимировна, спускаясь со ступенек террасы и повиснув на руке своего кавалера.

– Ах-ха-ха! – вздыхал Иван Илларионович, отстраняя слегка рукой мешавшие пройти, наклонившиеся под тяжестью поспевающих плодов ветви имбирной сливы.

Тихонько отворилась дверь из спальни Адели. Красавица шмыгнула к столу, бегло осмотрела китайские ткани и, заслоненная со стороны сада откинутой дверной драпировкой, принялась наблюдать за гуляющими.

– Но если бы я только знал, что между мной и ею стал кто-нибудь другой… – доносилось из сада, и слышно было, как злость и бешенство задерживали дыхание говорящего, стискивая горло, пропуская только отрывистые, короткие фразы.

– Mais calmez vous, mon ami![3] Успокойтесь! Даже и тени нет ничего подобного! – плавно пела Фридерика Казимировна.

– Ого! А вот я посмотрю! – сдвинула брови Адель.

Должно быть, ветер подул в другую сторону или разговаривающие стали осторожней, потому что больше ничего не слыхала Адель, кроме того только, как поминутно на усыпанные желтым песком дорожки падали с легким стуком и расплюскивались подточенные червями сливы и персики.

– Если у вас есть карточка этой барыни… – вдруг донеслось с той стороны, откуда Адель совершенно не ожидала.

– Достать можно! – говорил Лопатин.

– Положите ее на видном месте, в кабинете на столе, или лучше так бросьте в ящик, а ящик неплотно притворите – это будет натуральнее!

– Попробую!

– Это возбудит ревность, а там…

Разговаривающие слишком уж близко подошли к террасе и даже обнаружили намерение подняться по лестнице. Адель поспешила шмыгнуть к себе в комнату и опять притворила за собой дверь.

XIX. СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Солнце спустилось к самым горам, в воздухе посвежело, и на всех ташкентских улицах стало люднее и оживленнее. Показались группы пешеходов, не идущих за каким-либо делом или с определенной целью, а видимо, прогуливающихся; показались всадники, шажком гарцующие на своих горячих аргамаках и карабаирах; замелькали белые и цветные шлейфы амазонок, окруженных обыкновенно со всех сторон многочисленной свитой кителей и рубашек, темно-красных шаровар туземного покроя и синих форменных рейтуз в обтяжку. Покатились коляски с начальством, производя по гладко укатанному шоссе тот приятный, цивилизованный стук, свойственный только благородным рессорным экипажам.

Из ворот лопатинского дома тоже выехала изящная коляска, пронеслась по главному шоссе и тотчас же свернула в первый попавшийся на пути переулок. Сам Иван Илларионович, в желтой шелковой рубахе и бархатной безрукавке, ловко правил парой сытых, кругленьких, как дыньки, гнедых лошадок. Он был так занят своим делом, что даже и не заметил громко и не без энергии заявленного протеста по поводу неожиданного сворота с главного шоссе – ташкентского Невского проспекта.

– Иван Илларионович, да куда же вы? Слышите, я не хочу! – кричала Адель и даже зонтиком толкала в широкую спину кучера-аматера[1].

– Ах, Ада, ты так кричишь, что обращаешь на себя общее внимание! – заметила ей маменька.

– Шали-пошаливай! Эй! Я тебя!.. – отнесся Иван Илларионович к правому гнедому и прищелкнул его по спине вожжей.

– Они, они! – пронеслось по шоссе от одной группы гуляющих к другой.

– Вот так-то лучше, а то там пылища такая! – придержал Лопатин лошадей перед спуском в Бо-су и с громом въехал на новый деревянный мост на чимкентской дороге.

– Там так весело: гуляют, катаются! – надулась Адель.

– Какой чудный, полный аромата и неги воздух! – раскинулась в своем углу Фридерика Казимировна. – Смотри сюда: вон старичок на ослике!

– Смотрите, смотрите! Ах, как это красиво! – вскрикнула Адель, оглядываясь назад через откинутый верх коляски.

Оглянулся Лопатин, оглянулась Фридерика Казимировна, – то есть попыталась оглянуться, но ее попытка не удалась: толчки и подскакиванья коляски, понесшейся во всю прыть, положительно мешали ей приподняться.

– Ах, да что же там, Ада? – произнесла она с досадой.

– Должно быть, бандиты, – хохотала Ада, – иначе чего бы Ивану Илларионовичу гнать так лошадей… Да тише вы!

– То есть это черт знает, что такое! – ворчал Лопатин, – и стал сдерживать свою пару, он опомнился и сообразил, что удирать и бесполезно, и комично.

Человек десять всадников, заметив еще с шоссе экипаж Лопатина и цветные зонтики его дам, свернули с шоссе и понеслись наперерез коляске. Любопытных было бы не так много, если бы всадников не подстрекнул пример красивой наездницы в красной амазонке, лихо перескочившей шоссейную канаву и понесшейся в карьер прямо через церковную площадь, через груды строительного мусора, раздвигая на скаку грудью своего коня кусты и молодые, новопосаженные тополи аллеек будущего городского сада. Все эти всадники красиво скакали, спускаясь по боковым тропинкам в Бо-су, и обнаруживали видимое намерение догнать экипаж.

– La bourse ou la vie![2] – звонко хохотала Марфа Васильевна, и этот веселый крик ясно доносился до ушей пассажиров лопатинской коляски.

– Архитекторша! – шептала на ухо Адели Фридерика Казимировна; она-таки обернулась и удовлетворила свое любопытство.

– Иван Илларионович, придержите лошадей! – холодно произнесла Адель. – Слышите же, или я вас совсем попрошу остановиться и выйду!

Коляска поехала шагом. Фридерика Казимировна, бог весть отчего, начала волноваться и ерзать по пружинным подушкам коляски. Широкий затылок Лопатина побагровел. Его почему-то особенно заняла одна из этих бляшек на сбруе; все внимание его обращено было именно на эту бляху; ему так хотелось дотронуться до нее кончиком своего бича, а бич не слушался, прыгал и дрожал в его руке, выделывая самые непредвиденные скачки и взмахи.

Адель откинулась назад, в самый угол; от этого движения вуаль упала на ее лицо. Она отбросила ее опять на свое место, причем почти сорвала со шляпки этот голубой клочок легкого газа.

«Еще подумают, что я прячусь», – подумала она, прислушиваясь к быстро приближающемуся топоту конских ног, к этим веселым голосам, между которыми особенно отчетливо звенел бархатный контральто «архитекторши».

С правой стороны коляски показалась вороная конская голова, грызущая пенистые удила уздечки, мелькнул красный лампас и нога со шпорой, за ней другая голова, рыжая, злобно прижавшая назад уши… Мелкой пылью пахнуло в коляску, и запахло конским потом.

– Bonsoir, monsieur![3] – кивнула головкой Марфа Васильевна, блеснув в глаза своей красной амазонкой.

Косые лучи заходящего солнца озарили ее с ног до головы; словно в огне горела красивая наездница и горячила своего белого коня, не знавшего положительно, на какую ногу ему ступить, чтобы только угодить своей госпоже,

чтобы только избавиться от щекотливого прикосновения ее хлыстика, скользящего по его потной лебединой шее.

Лопатин неловко переложил вожжи в одну руку и приподнял свою шапочку с павлиньим пером.

– А каким вы молодцом в этом костюме! – продолжала Марфа Васильевна, мельком окидывая взглядом Адель и ее маменьку. – Помолодели… Прелесть! Вы меня извините, – обратилась она к сидящим в коляске, – что я отвлекаю внимание вашего кучера от его настоящего дела; дорога, впрочем, гладка, как скатерть, и опасности никакой не предвидится…

Адель сдвинула брови настолько, что уже больше было невозможно. Фридерика Казимировна готова была обеими пятернями вцепиться в это эффектно освещенное лицо архитекторши, если б оно было только поближе. Лопатин обнаруживал ясное намерение опять пуститься вскачь.

Всадники то и дело опережали коляску, сдерживали лошадей, снова пропускали экипаж мимо и снова обгоняли его, перешептываясь и без всякой застенчивости рассматривая незнакомых дам, о которых так много слышали.

Бог весть, до каких пор тянулось бы это неловкое положение, если бы случай не выручил катающихся.

– Это что такое? – вдруг расхохоталась Марфа Васильевна.

– Это-с тот испанец! – фыркнул подлетевший с боку Набрюшников. – Он самый-с, я уже давно его видел, как он бегом, наперерез через стенки дул-с!

Из-за угла обвалившегося каменного забора, между двух широких фиговых листьев, показалась голова Ледоколова, спряталась на минуту и снова показалась, только ближе, у самой дороги.

Такое большое общество, окружающее коляску, видимо, озадачило Ледоколова; он колебался мгновение: подойти или нет, и тотчас же обнаружил свое решение, перескочив канавку и направляясь наперерез прямо к дверцам экипажа.

– Стойте! – произнесла Адель.

– Ада, это скандал! – задыхалась Фридерика Казимировна.

– Хорошего успеха! – улыбнулась Марфа Васильевна, еще раз кивнула головкой Лопатину, отсалютовала хлыстиком дамам и, обращаясь к своим спутникам, крикнула:

– Гайда, ребята!

Вся кавалькада понеслась вперед, поднимая клубами пыль и оглашая вечерний воздух топотом конских ног, мелькающих в пыли металлическими полумесяцами подков.

Коляска остановилась.

– Прогуливаетесь?.. – начал, было, Иван Илларионович и поперхнулся.

– Прогуливаюсь! – улыбнулся Ледоколов, и на его вспотевшем, раскрасневшемся лице ясно промелькнуло следующее выражение: «На-ка вот, съешь! Что, взял?»

– Какая случайность! – запела Фридерика Казимировна.

– Давненько не видались! – снова начал Лопатин. – Что не заходите?

«Ах, ты, свинья!» – подумал Ледоколов. – Да вас все дома не было! – произнес он громко.

– И нас тоже! – язвительно заметила Адель, в упор глядя на Лопатина.

– Э-хм!.. – смешался тот и стал поправлять шлею вожжой.

– Я вас так давно не видал, я так рад этой случайной встрече! – дрожащим от волнения голосом говорил Ледоколов и хотел, было, поставить ногу на ступеньку; но он чуть-чуть не упал под колесо, потому что коляска тронулась совершенно для него неожиданно.

– Да придержите же лошадей! – крикнула Адель. – Вы теперь куда же? – обратилась она к Ледоколову. – Назад в город или может быть…

– Я не имею определенной цели… я…

– Прекрасно! Садитесь с нами и едем домой. Этот вечер вы проведете с нами… Что ты, мама?

– Нет, это я ничего; повернулась и толкнула нечаянно!

– Может быть, господину Ледоколову это не совсем удобно… – начал, было, Лопатин. – Вот Бурченко говорил мне, что так много дела у них, особенно теперь, перед самым отъездом…

– Нет, я пока свободен! – поспешил успокоить его Ледоколов; только он с недоумением посмотрел на экипаж, на то именно место, где могла бы находиться подставная скамеечка.

– Коляска такая просторная. Мама, двигайся! Вы сядете между нами…

– Да вот сюда, со мной! – выбрал из двух зол меньшее Иван Илларионович и поспешил подвинуться вправо, поближе к фонарю.

– Я вас, может быть, стесню? – не заметил Ледоколов лопатинского маневра и полез в коляску.

– Ну, вот я вас, наконец, вижу; как же вы поживаете здесь, рассказывайте! – потеснилась Адель и подобрала шлейф своего платья.

Высокие сапоги Ледоколова были в грязи и грозили оставить заметный след на этом шлейфе. Фридерика Казимировна тоже позаботилась о сбережении своего костюма и окидывала неожиданного соседа не совсем ласковым взглядом.

– Домой! – распорядилась Адель.

Коляска повернула и полной рысью понеслась к городу.

Всю дорогу одна только Адель поддерживала разговор. Она непрерывно болтала то с Лопатиным, то со своим соседом, то с маменькой, переложившей, наконец, относительно Ледоколова гнев на милость. Она была еще очень молодая женщина; профиль Ледоколова показался ей интересен, и опять это чересчур уж близкое соседство (коляска вовсе не оказалась такой просторной, как предполагала Адель).

«Да он очень недурен; в нем есть что-то такое, чего я не замечала прежде, – думала Фридерика Казимировна. – А что, если?..»

В ее голове начал созревать двойной план. Она начала, должно быть, тоже испытывать на себе *влияние климата*.

В ответ на веселую болтовню Адели Иван Илларионович отделывался односложными звуками; Ледоколов все извинялся, не стесняет ли, мол, он и уж совсем, разве только святым духом, держался в сидячем положении; Фридерика Казимировна томно и протяжно вздыхала.

В пыльной мгле вечерних сумерек, сгустившихся над городом, замелькали огоньки; окошечки крохотных домиков городских предместий приветливо осветились сквозь темную зелень деревьев. Караван, звеня деревянными бубенчиками, медленно полз с горы, пересекая дорогу. Сзади гудел, догоняя, почтовый колокольчик; трескотня барабанов слышалась в той стороне, где темными, правильными массами виднелись крепостные стены.

«Судьба! – угрюмо думал Лопатин, осаживая лошадей у подъезда. – Сам, в своем собственном экипаже, так сказать, собственноручно приволок. Авось либо?» – шевельнулась в нем надежда, что Ледоколов откажется от приглашения и не войдет в дом.

А тот так внимательно, так бережно высаживал дам из коляски; в эту минуту особенно тщательно возился с Фридерикой Казимировной: та никак не могла поставить ногу на подножку, боялась оступиться, и, наконец, навалившись всем своим дебелым существом на Ледоколова, доверилась безусловно его силе и ловкости.

– Чай с нами кушать! – произнес Лопатин таким тоном, который гораздо более шел бы к фразе: «А проваливай, брат, к черту!»

– С удовольствием! – раскланялся Ледоколов и «самоварчиком», с обеими дамами под руку, поднялся на ступеньки крыльца.

XX. ВО ТЬМЕ НОЧНОЙ

Как и в тот раз, тысячи ночных бабочек и всякой мелкой крылатой твари опять налетели из темноты на приветливый свет ламп, прикрытых узорными абажурами, опять красиво сверкала своими гранеными боками серебряная масса самовара, отражая в себе лица собеседников.

– С ромком балуются! – делал свои замечания Набрюшников, сидя верхом на гребне садовой стены и наблюдая за всем, что делается на ярко освещенной террасе.

– Ветчина привозная… А это что в жестянках – ты не знаешь? – тихонько спрашивал товарищ его, хорунжий Подпругин, взбираясь туда же.

Оба они могли совершенно спокойно исполнять возложенное на них Марфой Васильевной поручение. Кроме покровительства ночного мрака, они были

скрыты развесистыми ветвями тутового дерева. Со стороны дороги можно было заметить, и то с трудом, разве только одних их лошадей, стоящих у самой стены, на длинных волосяных чумбурах[1].

– Рыба, должно быть! – удовлетворил Набрюшников любознательность своего товарища,

– Тише ворочайся, чуть не сшиб, тс!..

Наблюдатели затихли на своем посту и сосредоточились в слухе.

Несмотря на всю прелесть обстановки, разговор за чайным столом как-то не клеился. Лопатин пытался, было, разыгрывать относительно своего непредвиденного гостя роль любезного и внимательного хозяина, но это ему положительно не удавалось. Адель, напротив того, вняв, наконец, советам и убеждениям своей маменьки, старалась выказать относительно этого же гостя как можно более спокойствия и равнодушия, но это ей тоже не удавалось. Фридерика Казимировна – та уже совсем дала волю своему впечатлительному, нежному сердцу и томно, почти сквозь слезы, смотрела на *интересный профиль*, продолжительно вздыхала и, под влиянием охватившего все ее существо экспромтом налетевшего чувства, млела, млела и, чуть-чуть прихлебывая, пила всего только шестую чашку душистого чая с тутовым вареньем. Ледоколов тоже был как-то, что называется, не в ударе; его так стесняло присутствие Лопатина, он так много хотел высказать Адели, поразговориться с ней; он знал, что подобные случаи редко повторяются, может быть, даже не повторятся никогда, и вот этот случай пропадет даром. «Не пускаться же, черт возьми, в откровенности, когда тут торчит этот барбос!» – вспомнил он обмолвку Бурченко.

– Икры советую, прислали из Уральска! – пододвинул ему жестянку Иван Илларионович.

– Благодарю. Вы, Адель Александровна, извините мне мое откровенное замечание, переменились, и даже очень, за это время!

– Паюсной ящик и зернистой два бочонка. Представьте себе, зернистая икра в этом году… – отвлекал Ледоколова совсем в другую сторону Иван Илларионович.

– Боже, как ночь прекрасна! – вздыхала Фридерика Казимировна. – Вы, monsieur Ледоколов, как любитель и знаток природы…

– Осторожней! – удержала руку Ледоколова Адель. – Какой вы рассеянный: вы чуть не проглотили попавшую в ваш стакан ночную бабочку. Бедная, она опалила крылья и…

– Опалила крылья, это скверно! – зафилософствовал Ледоколов. – Но я не знаю, что лучше: потерять ли крылья совсем, или иметь их связанными и не пытаться развязать!

Он значительно взглянул на Адель; та улыбнулась. Иван Илларионович нахмурился. Фридерика Казимировна поспешила на выручку.

– Вы – поэт и рыцарь, вы сейчас же броситесь на помощь к связанной бабочке и освободите ее, избавив ее от труда самой распутывать свои цепи!

– Ничего не слышу! – шептал Набрюшников Подпругину.

– Слезть бы тихонько да по за кустам, по за кустам! – советовал тот.

– Влопаешься, пожалуй. А, ну!

– Да, наконец, вы легко можете впасть в весьма комичную ошибку, разлетевшись освобождать то, что вовсе не теряло свободы! – произнесла Адель,

«Важно! – не утерпел и одобрительно крякнул Иван Илларионович и тотчас же сообразил: – Ловко срезала молодца! Там у меня есть булавочка с камешком, тысчонки две с половиной штука… Преподнесу завтра же, безотлагательно преподнесу».

И он с чувством самого глубокого благоговения взглянул на свою Аду, прихлебывающую чай из плоской китайской чашечки.

– Ах, да, я начал было… я хотел сказать вам, что вы переменились… – замялся Ледоколов и почувствовал, как несносная краска ударила ему в лицо. – Вы похудели… в ваших глазах… скажите, вы не скучали?

«Никакого такта! Нет, этот не годится, – думала в эту минуту Адель, – надо маскировать, а он…»

Ей ужасно досадно стало, зачем это он *не годится*. Ей так хотелось, чтобы именно он, Ледоколов, *годился*.

«Попрошу маму, она его настроит, как следует, или сама как-нибудь попытаюсь при случае», – думала она и, переменив тему разговора, попыталась прежде всего замять неуместные намеки Ледоколова.

– Что ваши караваны, о которых вы так беспокоились вчера? – обратилась она к Ивану Илларионовичу. – Я все слышала из своей комнаты. Вы, кажется, опасались чего-то? С кем это вы говорили? Голос незнакомый!

– Приезжий один из фортов, – встрепенулся Лопатин. – Да пустяки: «слухи, – говорит, – ходят нехорошие». Верно, вздор. Оно, точно, немного странно: запоздали очень… Вот и Катушкин не едет, а давно бы следовало, судя по последнему письму!

– Слухи и здесь ходят между туземцами, впрочем… – вставил Ледоколов.

– Вздор-с! – лаконически произнес Лопатин.

– Говорят! – пожал плечами Ледоколов.

– Мало ли что говорят-с! – скривил рот Иван Илларионович.

– Ай! – шарахнулась в сторону, где сидел гость, Фридерика Казимировна и так плотно прижалась к Ледоколову, что тот должен был поддержать руками испуганную даму, иначе мадам Брозе рисковала упасть со стула.

– Что вы, маменька?

– Что такое-с?

– Там, за кустами, кто-то ходит, вон там… Ай!

– Что за дьявол! – поднялся Лопатин и приподнял лампу над головой. – Кто там? Никого нет. Да где вы слышали или видели, что ли, кого?

– Там, там!

Большая серая кошка шмыгнула из-за куста, блеснула зелеными глазами, вильнула пушистым хвостом и исчезла.

– Ха, ха, ха! – засмеялась Адель. – Вот кто наделал всю тревогу!

– Ползи опять к стене, чуть было не влопался! – шептал Набрюшников. – А все ты шумишь шашкой, не мог снять раньше! Тихонько…

– Рожу наколол на что-то, – шептал Подпругин. – Ничего, ладно, кошка выручила, ползи вперед!

– Сюда-с, пожалуйте! – послышался голос парня в поддевке.

– В саду?

– Так точно-с, пожалуйте-с!

– А, Бурченко! – удивился Ледоколов и покраснел: его почему-то очень смутило это неожиданное явление.

– Милости просим, милости просим! – весело поднялся навстречу новому гостю Иван Илларионович. – А мы здесь все по-семейному; чай будете кушать?

– Да дело такое вышло, я и зашел; спрашивал, не спят ли еще? Нет, говорят, гости есть, я и зашел! – говорил Бурченко, спускаясь со ступенек террасы и раскланиваясь с дамами.

– И прекрасно сделали; садитесь!

– Да что садиться-то, нам надо о деле потолковать… Ну, Иван Илларионович, раскошеливайтесь: скоро нам уезжать надо, пора!

– Не ранее, как через неделю, я думаю! – заметил Ледоколов.

– Чего-с? Что нам тут целую неделю делать? Раньше можно, а что, не хочется уезжать отсюда, а? Пригрелись, батюшка! – засмеялся малоросс, глядя на своего товарища, все еще не пришедшего в себя от смущения.

– Ну, а как раньше? – полюбопытствовал Иван Илларионович.

– Да хоть завтра же. Утром нельзя, а к вечеру, на ночь, весьма удобно, я так и предполагаю!

– Вы вместе и поедете? – спросил Лопатин, кивнув глазами на Ледоколова.

– А то как же!

– И прекрасно, и прекрасно! Ну-с, так вам денег? Идемте сейчас ко мне, уладим все. Дело прежде всего, дело прежде всего! – почувствовал Иван Илларионович прилив какой-то необыкновенной радости. – А там опять сюда, если не поздно будет, и выпьем «посошок», а то нет – завтра! Завтра лучше; мы сочиним вам проводы с хлебом-солью и всякими пожеланиями. Идем!

Он подставил руку Бурченко и сделал пригласительный жест Ледоколову, который очутился в самом неловком положении: ему так хотелось остаться, благо убирается этот *барбос*, а тут и его тянут; отказаться – неловко.

– Вернитесь сюда, если успеете, если не засидитесь там! – тихо произнесла Адель, улучив мгновение, когда Лопатин пропускал вперед Бурченко, обязательно придерживая дверь.

– Как досадно, что вы лишаете нас общества господина Ледоколова! – запела Фридерика Казимировна.

– Да он как хочет, я и один там все улажу! – говорил Бурченко. – Оставайтесь, если хотите! – обратился он к своему товарищу.

– Нет, нет! – не выдержал Лопатин. – Дело общее – все уж втроем, сообща. Идемте-ка ко мне; что вам тут с бабами сидеть?

– До свиданья! – протянула Адель Ледоколову свою ручку.

– До свиданья! – томно произнесла Фридерика Казимировна и поймала его за другую руку. – Мы вас, впрочем, проводим до самого помещения Ивана Илларионовича!

– Э-хм! – закашлялся Лопатин.

– Как жаль, ах, как жаль, что вы нас так скоро оставляете! – нежно шептала Фридерика Казимировна, все еще не выпуская руки Ледоколова.

«Что за странность! – думал тот в эту минуту. – Какая перемена с барыней: то прежде смотрела на меня волком… то вдруг…»

– Во всяком случае, приходите завтра, перед отъездом, я позабочусь, чтобы вам не отказали! – успела-таки еще раз шепнуть Ледоколову Адель у самых дверей собственных лопатинских апартаментов.

– Порешим, все сообща порешим! – весело, доносился из-за дверей голос Ивана Илларионовича, – А денег – сейчас! За деньгами дело не станет. Деньги что! Было бы дело, а деньги найдутся…

– Хорошо, коли бы все богатые люди так думали: много бы хороших дел можно было бы наделать! – говорил Бурченко.

– Может, еще и утром завтра соберетесь! – опять слышался голос Лопатина.

– Эк я ему сижу поперек горла! – ворчал Ледоколов, идя за ними.

Все трое заперлись в большом хозяйском кабинете и уселись на покойных складных креслах.

Адель со своей маменькой остались одни на своей половине. Парень в поддевке и мальчик-сартенок явились убирать со стола.

Дамы посидели еще с полчаса, подождали, не вернутся ли гости, покончив свои дела. Ожидания их не сбылись. На попытку Ледоколова, выраженную фразой: «А что, не зайти ли нам проститься, может быть, еще не спят?» – Лопатин поспешил заверить, что уже «наверное спят или, во всяком случае, раздеваются».

– Ну, чего уж тут! Идемте-ка лучше домой! – поддержал Лопатина Бурченко. – Завтра разве перед отъездом зайдем. Покойной ночи!

И приятели отправились к себе домой, а Иван Илларионович в свой кабинет, где уже дожидался его парень в поддевке с серебряным умывальником и чистым полотенцем в руках. Иван Илларионович с тех пор, как доктор сказал ему, что это поддерживает свежесть кожи и вообще моложавость, имел привычку всегда умываться на сон грядущий.

Адель тоже затворилась в своей комнате и начала раздеваться.

– Адочка! – подошла к ней Фридерика Казимировна и положила руку на плечо. – Дитя мое, милое, дорогое дитя!

Адель сидела в креслах, перед зеркалом своего туалета, и видела в нем только отражение своей маменьки. Она видела там полное, довольно красивое лицо, значительно подрисованное, особенно около глаз и бровей, с эффектно загнутыми, черными, как пиявки, на висках колечками, с наклеенной мушкой, ловко оттеняющей ямочки на щеках. Все это было ей давно знакомо, давно изучено до последней мелочи. Но теперь что-то странное, особенное заметила она в этом лице – что-то такое, что заставило ее быстро обернуться и пристально посмотреть прямо в заплаканные глаза своей маменьки.

– Мама, что ты, что с тобой?! – приподнялась Адель. – Ты плачешь?

– Ада, ты очень *его* любишь? – проговорила, почти простонала Фридерика Казимировна.

– Кого это? – удивилась Адель.

– Его… Ледоколова?

– Послушай, мама! Уж ты не сама ли изволила? – засмеялась Адель. – Все это так подозрительно…

– Ах, Ада, люби его… А я, со своей стороны…

– Знаешь, что, мама, я тебе посоветую: ложись спать и перед сном выпей два стакана холодной воды!

– Ада, я и сама, чувствую, что делаю глупость… Тем более, что в мои лета – почти ведь под сорок…

– Сорок восемь! – поправила Адель.

– Но ведь ты знаешь мой впечатлительный, нежный, легко увлекающийся темперамент…

Адель сняла со своего плеча руку Фридерики Казимировны (она была такая горячая, влажная, а ей и без того было жарко) и засмеялась ровным, беззвучным смехом.

– Что же, ты мне соперницей быть хочешь… да? Ха, ха, ха! Ну, хочешь, я тебе уступлю его добровольно, хочешь?.. Слушай, ты это в один вечер сегодняшний или еще прежде?..

– Нет, Ада, ты меня не понимаешь. Я вижу, ты еще не знаешь совсем своей матери. Любите друг друга, – любите, будьте счастливы, а я, со своей стороны, буду счастлива уже тем, что буду любоваться на вас, жить вашей жизнью. Насчет Ивана Илларионовича это можно очень удобно устроить. Он даже не будет и подозревать… Я это беру на себя!

– Мама, я спать хочу! – отодвинула кресло Адель. – Ступай к себе! Ну, ступай же!..

Она почти вскрикнула последнее: «Ступай же!» В эту минуту все: и Лопатин, и Ледоколов, и Фридерика Казимировна, и даже она сама – все показалось так гадко! Ее красивые брови опять сдвинулись вместе, образовав грозную складочку над переносьем.

– Ну, Господь с тобой! – нежно приложилась губами к плечу дочери Фридерика Казимировна и плавно вышла из ее комнаты.

– Нет сна, нет сна! – декламировала она, остановившись на террасе и вдыхая полной грудью ароматный ночной воздух. – Ночь так прекрасна!

Она опустилась на ступеньки и принялась мечтать. Ярко-зеленый четырехугольник завешанного шторой окна спальни Адели мгновеннно погас.

– Нет сна! – шептали губы мадам Брозе.

– Становись козлом, я тебе на плечи, а потом подсоблю тебе уже сверху! – шушукались голоса у садовой стены.

«Что это? Какая-то фигура мелькнула неподалеку между кустами или это ствол дерева? Нет, это человек… Воры! Нет, нет, это Ледоколов, не может быть и сомнения! Однако какая смелость, какая очаровательная отвага!»

Фридерика Казимировна быстро скользнула с террасы и ринулась в чащу темного сада.

– Это вы? – прошептала она, задыхаясь и протягивая руки.

Темная фигура шарахнулась, было, назад, но потом, должно быть, переменила намерение. Фридерика Казимировна внезапно почувствовала себя в самых пламенных объятиях…

«Он принимает меня за Адель! – промелькнуло у ней в голове. – Боже, это не он, нет!..»

Она приготовилась, было, кричать, но по некоторым соображениям, решилась лучше выдержать геройское молчание.

Спустя несколько минут она поднималась уже по ступенькам террасы.

– Я не виновата… я нисколько не виновата, – утешала она сама себя, – я была только жертвой случайности – не более, как простой случайности…

Она тотчас же сравнила свое положение с положением многих героинь прочитанных ею романов.

«Однако их было, кажется, двое!» – вспомнила она, уже совсем засыпая.

– А об этом Марфе Васильевне докладывать? – наивно спрашивал Подпругин, садясь на лошадь.

– Я те доложу! – припугнул его Набрюшников, тоже влезая на седло.

И оба всадника галопом понеслись по шоссе, взбудоражив всех собак, до этой минуты мирно спавших у заборов и под воротами.

Разнообразнейший лай и тявканье преследовали галопирующих наездников.

XXI. В ГОРАХ

Две недели прошло с тех пор, как Бурченко с Ледоколовым оставили Ташкент и уехали в горы.

Дней десять тянулись они по еле проложенным горным тропинкам. Их маленький караван состоял всего только из трех всадников; они захватили с собой в виде проводника, да кстати и слуги, одного из шатающихся бездомных байгушей[1], Насыра Кора, киргиза, служившего когда-то джигитом еще при черняевских отрядах[2]. За всадниками, прыгая, скрипя на все лады, тащилась двухколесная кокандская арба в одну лошадь, которая, впрочем, нанята была только до известного пункта, откуда уже совсем было немыслимо пробраться на колесах, и где Бурченко рассчитывал нанять вьючного верблюда для доставки груза на место предполагаемых работ.

Негостеприимная горная природа представляла нашим путешественникам на каждом шагу тяжелые препятствия, казавшиеся с первого взгляда почти непреодолимыми. Настойчивость и энергия Бурченко брали верх над этими препятствиями, и, наконец, измучившись донельзя, путники достигли-таки благополучно замеченного и определенного малороссом пункта и расположились маленьким лагерем.

Уже несколько дней, как стояли они на месте. Временный бивуак начал принимать некоторый вид оседлости.

Для Бурченко время летело почти незаметно. Он по целым дням пропадал, рыская по окрестным горным кишлакам, добывая необходимые рабочие руки. Ледоколов оставался дома, если можно назвать домом маленькую коническую туземную палатку, растянутую пауком на кольях, обнесенную небольшим ровиком, за которым разбиты были коновязи для лошадей; он занимался исследованием горных пород и определением удобнейших пунктов для начала работ, для закладки будущих неисчерпаемых рудников фирмы «Бурченко и компания».

– Вот еще завтра на рассвете надо кое-куда смахать: может, удачнее дело будет! – говорил Бурченко как-то вечером, измученный и усталый, с наслаждением протягиваясь на ковре во всю длину своего роста. – Вы, пожалуйста, не смущайтесь, если меня дня три дома не будет. Далеконько, да и дело, может, подходящее!

– Опять за рабочими? – с нескрываемой досадой ворчал Ледоколов.

– А за ними самыми. Буевцы надули, подлецы, не пришли[3]. Впрочем, еще завтра последний срок, да мало их будет; а тут надо рук столько!.. Эй, тамыр[4], гляди, у тебя из котла бежит… А вы все кончили?

– Все; по крайней мере, все, что только можно было сделать вдвоем с Насыркой… Скука! Поехал бы с вами, если бы было на кого все это оставить! – окинул взглядом Ледоколов все несложное хозяйство их бивуака.

– Терпение, терпение! – говорил, зевая во весь рот, Бурченко. – Вы меня разбудите, когда ужин поспеет!

– Разбужу, спите!

– Пешком долго шел. Лошадь засекла ногу-с! – зевал малоросс, засыпая.

Крепким сном заснул малоросс, утомленный своей горной поездкой. Эх, скучно! Тихо так, только огонь вот потрескивает легонько; Насырка скоблит тупым ножом какой-то лоскут кожи. Гул ветра в горах, однообразный, томительный, то стихнет немного, то снова усиливается.

Пробовал, было, Ледоколов приняться за свои чертежи и расчеты, но бросил их. Снова принялся, пометил кое-что, ни с того ни с сего вывел на полях: «Ада, Адочка» и машинально проверил длинный ряд цифр, изображенный по соседству с какой-то геометрической фигурой. Наконец снова все бросил, сложил этот ворох исписанной и исчерченной бумаги, сунул его в кожаный портфель самых внушительных размеров и бессознательно уставился на эти синеющие горные кряжи, бесконечно высокие, ушедшие куда-то в пространство, за эти сизые тучи, ползущие по самым снежным вершинам. Ручей сверкал и прыгал в нескольких шагах от лагеря, он вырывался оттуда, из той вон узкой щели, что видна между верхом палатки и согнутой, заплатанной спиной Насырки, сосредоточенно мешающего в котле деревянной надколотой ложкой (кашиком).

Собаки их, куда же это они забежали? Их что-то не слышно. А, тявкнула одна никак, вон за камнями белый пушистый хвост мелькает, это Полкашка!

И вот все это начало сливаться вместе, во что-то неопределенное, туманное, вновь стало складываться, но уже совершенно в иной форме. Иной образ вставал перед его глазами: чудный, дорогой образ красавицы-женщины. И припоминал он все мельчайшие подробности их встречи, и все столкновения, каждое слово, каждый жест возобновлялись в его памяти с самой поразительной отчетливостью. Все, все, от сцены в коридоре гостиницы в Самаре до последней сцены проводов, на повороте чимкентской дороги.

«Это любовь! – припоминал он. – Не может быть и тени сомнения. Это высказывалось в каждом ее слове, в каждом пожатии руки. Вот даже тогда, когда мы одни оставались на пароходе, или…» И вдруг в его голову начало прокрадываться незваное, непрошеное сомнение. Он тотчас же припоминал и что-нибудь такое, что сразу подкашивало все его надежды, – хотя бы даже последнее мгновение, когда он подошел к их коляске.

– Когда вы нароете побольше золота, ну, тогда… – начала, было, она и не договорила. Лопатин так некстати подвернулся со своим проклятым «посошком».

«Зато маменька-то уж что-то очень нежно на вас поглядывает…» Тьфу! – припомнил он утешение своего товарища.

– Золота, денег! Ну, конечно! – находили на него минутами припадки трезвости. – А что же я могу дать ей, кроме этого? Она, по всему видно, особа не из очень чувствительных, голодать с милым дружком не намерена. Пожить

любит! Лопатин может доставить ей все, что нужно. Разве вот физика его ей не по нутру? Ну, да обтерпится, найдет себе, пожалуй, утешителей, пополняющих то, чего не найдет она в Лопатине. В эдакие-то утешители попасть разве?

И холодом обдавало его от одной этой мысли. Он чувствовал, как ревность, мучительная, страшная ревность подступала к самому его горлу, душила его, жгла, рисуя перед его глазами самые томительные, невыносимые картины. Он хватался за сердце от этой жгучей боли, он пытался отогнать от себя эти видения – и не мог.

– Нет, или я, или он, но вместе, делить добровольно, я не могу!

Ветром, холодным, освежающим ветром подуло из глубины ущелья и освежило несколько его пылающую голову.

«Жениться разве, так сказать, законным? Она бы, пожалуй, пошла на это, но нельзя – женат. Венчать от живой жены никто не станет, даже сам Громовержцев не решится. Самое лучшее – бросить и перестать даже думать. Эх, хорошо бы! Ну, положим, красива, очень красива, так, что даже дух захватывает от одного только воображения… Черт знает, что делается! Глупо, глупо! Вон и Бурченко все подсмеивается – и прав, с какой стороны ни заходи – все прав. Действительно, смешно, – более чем смешно! Вон он лежит в растяжку и во сне ворчит что-то. Эк захрапывает, эк захрапывает! А у меня вот и сна нету. Э, да, что тут – кончено!» – Эй, Насыр, готова шурпа, что ли?

– Скоро готова будет, еще мимножка, самая мимножка, и готова будет! – не оглядываясь, весь погрузившись в свое занятие, учащенно мешает в котле Насырка.

«Вот тут, благо, судьба послала дело. В горы подальше загнала. Все устраивается так, что даже легко забыть это… Легко!.. Ада! Ангел! Да можно ли забыть тебя, дорогая, ненаглядная!..»

И разом исчезало все трезвое настроение, точно оно и в самом деле было нанесено горным ветром, разом исчезала вся его отважная решимость.

«Вот пойдет наше дело – это верное, богатое дело. Бурченко так убедительно, так ясно доказывает всю колоссальную выгоду этого предприятия. Да, наконец, это очевидно: менее, чем в год-два, мы составим себе крупное состояние, настоящие жизненные средства, и тогда…»

– Ужинать будешь? – поднимается на ноги Бурченко. – Ого, что-то шумит в горах, как бы гроза к ночи не собралась. Насырка, ступай-ка, крепи веревки да привали камнем потяжелее нижнюю кромку, вот так… Каков аппетит у вас, коллега?

– Ничего что-то не хочется, а впрочем…

И наши приятели сели ужинать, пропустив перед Насыркиной стряпней по серебряному стаканчику из запасного, обшитого кошмой бочонка.

Мало-помалу к их бивуаку подходили разные люди, то просто пешком, то верхом на лошадях или ишаках, оборванные, темно коричневые; сразу

взглянуть – ну чисто волки одичалые, а приглядишься – совсем добродушные, наивные ягнята. Смотрят весело, немного глуповато, зубы свои, белые, как слоновая кость, скалят, наивно улыбаясь. Все внимательно слушают, что только ни говорят им Бурченко с Ледоколовым, даже сам Насыр-бай джигит, и ничему не верят.

– Что же вы с голыми руками пришли? – говорит им Бурченко. – Я же вам говорил, чтобы кетмени свои захватили с собой. Голыми руками, что ли, рыть землю и камень ломать будете?

– А зачем мы ее рыть будем?

– Да я же вам говорил, зачем! – удивился Бурченко.

– А денег дашь?

– Дам!

– И кормить будешь?

– И кормить буду!

– Ну, давай денег прежде и накорми!

– А этого хочешь? Экого себе дурака нашли!

– Нет, этого не хотим, сам ешь!

– То-то!

Бурченко заметил в толпе шестерых с кетменями на плечах. Это были дюжие ребята из кишлака Таш-Огыр; он подозвал их, указал отбитое шнуром место на полусклоне оврага и велел начинать. Подумали дикари[5], посмотрели на Бурченко, переглянулись между собой, поплевали на свои черные руки, взмахнули кетменями и приостановились.

– А как надуешь?

– Вот же вам, гляди!

Бурченко отсчитал из кожаного кошеля по кокану на человека и положил их на землю.

– Это ваше; кончите – возьмете. Начинайте же, Аллах вам в помощь!

Целый день работали таш-огырцы, а остальные сидели на корточках, перешептывались, пересмеивались. Бурченко на них и внимания не обращал.

– Ну, завтра и мы будем работать! – говорили они вечером, видя, как таш-огырцы прятали деньги в узелки своих поясов и садились ужинать. Сунулись, было, и остальные к котлу, да отогнали их. «Прежде, мол, наработайте себе на ужин».

И начались, таким образом, работы по каракольскому ущелью; за десять верст слышно было, как звякали железные кетмени о твердый камень: по всем горам прокатывался гул от обвалившихся и сдвинутых с кручи обломков. Бурченко торжествовал.

Раз, было, неприятность одна случилась – так, маленькое недоразумение. Подошли к палатке, где жили «русские савдагуры» (купцы), трое из буевских горцев, вызвали хозяина и говорят:

– Слушай, ты вот нам из твоего кошеля каждый вечер по кокану даешь; давай лучше теперь все, что есть, разом!

– Чего вы это еще захотели? – нахмурил брови Бурченко, а сам шепнул Ледоколову:

– Вы револьверы приготовьте на всякий случай; я понимаю, к чему дело клонится, – я еще вчера заметил, как переговаривались они и других подбивали!

– Вас вот всего двое, а нас много; не дашь – все равно силой возьмем, а будешь барахтаться, тебе же хуже будет – понял?

– Понять-то понял… – немного побледнел Бурченко. Струсил, было, и Ледоколов, поспешивший на помощь товарищу с оружием.

Минута была критическая. Одни в горах, ждать помощи неоткуда – кругом все чужие лица, на которых не разберешь, чего от них ждать, – смотрят как-то тупо, работу бросили и палатку со всех сторон охватывают… Насырка к лошадям, было, кинулся, седлать на всякий случай принялся… Вот ташогорцы стоят особняком: разве они помогут? Да мало их!

– А что у вас в головах? – решительно возвысил голос Бурченко.

– Как что? Что у всякого человека должно быть! – заговорил кто-то из передних.

– Не совсем; должно быть, что-нибудь похуже, или Аллах послал темноту на ваши мозги и залепил вам глаза грязью? Слушайте же! В кошеле у меня, вот в этом самом, что лежит у моей постели, столько денег, что придется вам коканов по десятку на брата, сами делить поровну будете; да еще, чтобы до них добраться, надо со мной и вот с ним тоже покончить (он покосился на Ледоколова), а это нелегко будет: человек пятнадцать околеют прежде, чем моя голова вам достанется, – вы эту штуку знаете?

Он протянул револьверы, толпа попятилась и расширила круг.

– А потом узнают в большом городе, пришлют солдат – опять вам беда будет; чай, слыхивали, что тогда бывает, и все это из десяти коканов на брата? Хорошо рассчитали! Эх, вы, верблюжьи головы! А добрым путем, работой, все эти коканы и без того ваших рук не минуют. Я вот еще в большой город съезжу, еще привезу такой мешок, а там еще – так ведь последнее дело много для вас выгоднее будет, ну, сообразили?..

Толпа молчала, таш-огырцы начали вслух подсмеиваться.

– Ну, что ж, подходи, кто до моего мешка хочет добраться! Что же вы?

– Нет, мы не пойдем, зачем нам? Это мы так только… Вон эти трое нас подбивали, а мы не хотим! – заговорили в толпе.

И опять спокойно начались прерванные работы. Сила простой логики взяла верх над хищным инстинктом полудиких горцев.

В ту же ночь неподалеку от общего лагеря послышалось дикое вытье и отчетливые, сухие удары ременных концов по чему-то мягкому… На земле,

ничком, были растянуты трое подстрекателей, руки и ноги их были крепко привязаны к вбитым в землю кольям, халаты сняты, рубашки тоже, и на их избитых спинах все прибавлялись и прибавлялись новые темно-багровые рубцы, резко обозначающиеся после каждого удара…

– Это зверство, этого допустить невозможно! – кинулся, было, Ледоколов.

– Оставьте! – остановил его Бурченко. – Вы только насмешите их своим непрошеным вмешательством. Понять ваших побуждений они не поймут и вас не послушают – значит, нам компрометировать себя неудачной попыткой не следует!

– Но эти вопли…

– А заткните уши, коли нервы слабы, да к тому же неужели вы думаете, что это целую ночь тянуться будет?

Вот они уже никак и перестали. Эх, знаете ли что: сами избитые и те бы над вами завтра смеялись…

– Эх, якши маклашка[6] была! – прошел мимо Насыр, возвращаясь с экзекуции. – Я и сам раза два тронул… эх, славно!

На этом веселом, смеющемся лице не было и тени озлобления. Он произнес эти слова, как будто бы говорил: «Эх, славная выпивка была, я и сам стаканчика три выпил».

Наказанные на другой день, впрочем, не работали и отдыхали, лежа на животах и пересмеиваясь с работающими товарищами; несмотря на все увещания Ледоколова, Бурченко им не дал за этот день платы…

– За что? За то, что кверху затылком провалялись? Ладно! – говорил он, туго затягивая ремнем значительно отощавший кошель с коканами.

– Писал Лопатину давно, да что-то нет ответа, а деньги выходят. Как бы остановки в деле не было? – сказал раз Бурченко, придя с работ завтракать.

– В Ташкент съездить надо! – заметил Ледоколов и чуть не закашлялся.

Какое-то странное волнение сжало ему горло, и даже в жар его кинуло от одного предложения ехать туда, где… и так далее.

– Придется вам ехать! – решил Бурченко.

– Я готов хоть сию минуту!

– Ничего, завтра еще успеете. Смотрите, вы не подгадьте нашего дела, будьте дипломатом. Одно только обстоятельство смущает меня немного…

– Э, полноте! – произнес Ледоколов и произнес таким тоном, что у Бурченко невольно промелькнула мысль:

«А, должно быть, проветрился!»

На другой же день Ледоколов собрался и уехал, захватив с собой Насырку-джигита и обещая ровно через двадцать дней приехать обратно.

XXII. ТРЕВОЖНЫЕ СЛУХИ

Возвратясь из почтовой конторы, Иван Илларионович отправил джигита-почтаря с эстафетой. Адрес был такой: «по тракту до Казалы, Ивану Демьяновичу Катушкину; справляться на каждой станции»; из этого адреса видно было, что сам Лопатин не знал, куда именно надо отправить эстафету. Невесело было на душе у Лопатина. Даже не порадовало его сегодня утром то обстоятельство, которое всегда вызывало в нем самую счастливую улыбку и довольное потирание по округленно выдающемуся из-под тонкого белья желудку, вздрагивающему от внутреннего довольства, – каждое утро с «дамской половины» барышня присылала справиться, каково, мол, почивать изволили и все ли в добром здоровье? Это осведомление, редактируемое, впрочем, всегда от имени Адели самой Фридерикой Казимировной, на этот раз не вызвало улыбки на осунувшемся лице Ивана Илларионовича, всю ночь проворочавшегося с боку на бок на своей постели, строившего различные предположения насчет судьбы Катушкина и его давно ожидаемых караванов; надо сказать, что предположения эти не имели в себе ничего утешительного.

Темные слухи вот уже скоро неделя как носятся по всему городу; начались они в туземной части; через людей Перловича дошли до лопатинских приказчиков; даже официальное было извещение от казалинского коменданта, только извещение это было какого-то неопределенного, темноватого свойства; этого извещения, впрочем, никто не видал, но все его трактовали, каждый по-своему, передавая новость от одного стола ресторана Тюльпаненфельда до другого. Дошли слухи и до Ивана Илларионовича, позже всех, конечно; сунулся он к генералу прямо за объяснением.

– Bon courage, mon ami[1]… Еще пока ничего нет особенного, может быть, все еще вздором окажется! – утешил его генерал и предложил портеру с честером.

– Да что же именно, ваше превосходительство? – попытался было Лопатин.

– А это спросите там, в штабе… Что-то разграбили, кажется, перерезали, в воду опрокинули… Да там вам скажут; toujours à la votre![2] – любезно чокнулся он с Лопатиным своим стаканом.

– Да Катушкин, бестия, чего же не пишет? – рвал пуговку перчатки Лопатин, садясь в коляску.

В штабе ему посоветовали послать эстафету, если он не хочет терпеливо дожидаться «более толковых, то бишь более подробных, официальных извещений», – поправился маленький штабной офицерик Штофус, придерживая пальцем одноглазку[3], никак не хотевшую держаться без этой помощи на своем месте.

Вот послал эстафету Иван Илларионович, вернулся домой и, не заходя даже, по обыкновению, на дамскую половину, насупившись, уселся в кресле в своем кабинете.

«Скверно, если правда! Главные расчеты лопнут, капиталу чуть не две трети затрачено; а этот-то “лях”, чай, поди там радуется, бестия», – думал Лопатин, воображая себе ликующую, веселящуюся фигуру Станислава Матвеевича.

И на «дамскую» половину забрели эти таинственные слухи и значительно смутили спокойствие Фридерики Казимировны.

– Адочка, ты слышала? – позвала она свою дочь.

– Вздор какой-нибудь! Опять кто-нибудь во сне мной бредит или аппетит потерял по моей милости? – отозвалась она, не отрываясь от книги, которую пробегала, лежа на кушетке.

– Ах нет, Ада. Да пойди сюда! Ты думаешь, мне легко кричать через две комнаты?

– Ну, говори, в чем дело!

– Ты, Адочка, не волнуйся…

– Ну, же!

– Все его караваны, – помнишь, он все говорил, что ждет с таким нетерпением, – ах, все эти караваны разграблены, все перебиты… Иван Демьянович, добрый, внимательный Иван Демьянович…

Фридерика Казимировна поднесла платок к глазам.

– Что же Иван Демьянович?

– На кол посажен!

– Как на кол?! – удивилась и вместе испугалась Адель, мгновенно представляя себе все неудобство этой посадки.

– Как? – вздохнула madame Брозе. – Ужасно!.. А главное, что это бедствие грозит Ивану Илларионовичу окончательным… Более, это было бы ужасно, это было бы более чем ужасно!.. Знаешь, я даже стараюсь гнать от себя эту идею!..

– Ну, что ж такое! – задумалась Адель.

– Как, что же!.. Гм… – задумалась тоже Фридерика Казимировна; помолчала, встала, подошла к дочери и нежно приложилась губами к ее голове.

– Я поговорю с капитаном парохода «Арал»: он, говорят, приехал из Чиназа… я с ним увижусь и устрою так, что он тебе его представит!

– Кого это, маменька? – подняла голову Адель.

Фридерика Казимировна немного замялась.

– Этого… ну, генерала; такой видный, красивый, bel homme[4], – еще совсем молодой человек: лет под сорок, побольше, и какая блистательная карьера!.. Куда же это ты, Адочка?

Адель ничего не сказала, быстро встала и пошла на террасу, даже не взглянув на свою немного озадаченную маменьку.

– Ого!.. – произнесла Фридерика Казимировна.

– Коляску прикажете закладывать? – высунулся из-за дверей парень в поддевке.

– Попозднее немного! – распорядилась Фридерика Казимировна.

«Кажется, я поторопилась немного», – соображала она, принимаясь наблюдать за дочерью из-за той самой портьеры, откуда Адель прислушивалась к разговору своей маменьки с Лопатиным.

Быстро ходила Адель по дорожке перед террасой взад и вперед и тяжело, продолжительно вздыхала, будто за один раз хотела захватить как можно больше воздуха. Ей было душно; ее давило что-то тяжелое, скверное. Ее прекрасные, влажные глаза совсем спрятались под нависшими дугами нахмуренных бровей; тонкие пальцы беспокойно бегали и дрожали, расстегивая крючки душившего ее корсета.

– Объездишься, матушка, объездишься! – усмехалась Фридерика Казимировна, закуривая папироску.

XXIII. НА ДОРОГЕ

Скрипучая почтовая повозка, запряженная парой худых, как скелеты, лошадей, дребезжа и побрякивая на всевозможные лады, катилась по чимкентской дороге по направлению к Ташкенту. В тележке сидел Ледоколов, с нетерпением поглядывая через плечо ямщика, солдата из бессрочно-отпускных, на зеленеющие, зубчатые группы фруктовых садов и тополевых питомников, примыкающих с этой стороны к городским предместьям.

Тамыра Насырку с верховыми лошадьми он оставил дожидаться на той станции, где выходила на большую дорогу горная караванная тропа. Он рассчитал, что на переменных почтовых он, по крайней мере, целым днем раньше будет в Ташкенте.

А день, целый длинный, томительный день – как это много, особенно при том нравственном настроении, когда каждый час, каждая минута кажутся бесконечными!

– Трогай, братец, потрогивай! – торопил Ледоколов своего возницу.

– Поспеем, ваше степенство! – подергивал тот веревочными вожжами. – Эй, вы, корноухие, работай! Я те, дьявол, лягаться!.. А этого хочешь? Шшш! Тпру!

Повозка остановилась, подскакнув напоследок так, что седок еле удержался на своем месте. Надо было подвязать заднее колесо перед крутым спуском в овраг, на противоположном берегу которого виднелась какая-то декорация – павильон в виде русской избы, с резными украшениями, так оригинально выглядывающий из массы зелени, посреди чисто азиатской, типичной природы.

Эта изба была построена и предназначена исключительно для загородных удовольствий: прогулок, пикников, проводов, встреч и тому подобное. Поместившись как раз на перепутье, на том пункте, где кончаются красивые го-

родские окрестности и, взамен их, начинается унылая, однообразная дорога на «Шарап-хана», изба эта превосходно выполняла свое назначение, и старик сторож каждый вечер, ложась спать, собирал у себя в каморке значительный запас пустых бутылок, которые и сбывал очень выгодно Алмазникову, Тюльпаненфельду и прочим ташкентским виноделам.

– Эх, братец, как ты копаешься! – нетерпеливо ворочался Ледоколов.

– В аккурат предоставим, ваше степенство. Сидите крепче! Ну, трогай!

– Стой! – выпрыгнул на ходу из повозки Ледоколов и бегом пустился вниз, напрямик, через кладки, перекинутые для пешеходов, не желающих делать длинный обход на мост.

Ледоколов заметил на другой стороне, под густой тенью карагача, коляску, запряженную парой гнедых. Откормленные лошади стояли спокойно, отмахиваясь от комаров хвостами и грызя металлические трубки нашильников[1]; кучер сидел на камешке около и покуривал трубочку; две или три верховых лошади без всадников тоже виднелись сквозь живую изгородь. В окнах павильона мелькали фигуры и слышались оживленные, веселые голоса.

Ледоколов узнал коляску, узнал мелькнувшую в окне вуаль, узнал голосок, только что, сию секунду крикнувший: э-хо! и, должно быть, поджидавший, когда овраг ответит ему тем же криком, отраженным и повторенным несколько раз его скалистыми откосами.

Адель со своей маменькой сегодня поехали кататься одни, без Ивана Илларионовича. Более «подробные сведения» были, наконец, получены в штабе, и Лопатина вызвали за какими-то объяснениями к губернатору.

– Знаешь что, оставим мы это; говори о чем-нибудь другом, я и так уж совсем расстроена! – говорила Адель, сидя в коляске.

– Я только к тому, чтобы всегда иметь путь отступления, быть, так сказать, готовой ко всему…

– Ну, хорошо, хорошо, после!

Адель так нетерпеливо, капризно заворочалась на своем месте, что маменька поспешила действительно переменить разговор и начала, по обыкновению, с природы. Она вообще очень любила природу.

– Ах, какие мотыльки! Посмотри, Ада, вон на лопушник садятся!

Адель мельком взглянула на мотыльков.

– А вон птичка. Ада, сама зелененькая, носик желтенький!

– К павильону! – обратилась Адель к кучеру, заметив, что тот, доехав до обычного пункта, начал, было, поворачивать лошадей.

– Не далеко ли, Адочка?

– Чем дальше, тем лучше! – буркнула Адочка. – Я бы, пожалуй, совсем отсюда уехала, если бы…

Она не договорила и обратила теперь все свое внимание на группу всадников, рысью взбиравшихся на гору по извилистой тропинке, ведущей к какому-то строению, совершенно скрытому с этой стороны массой самой разнообразной зелени.

– Какой вид прекрасный! Павел, остановись; мы будем любоваться отсюда закатом солнца! – распорядилась Фридерика Казимировна.

Коляска остановилась.

Один из всадников, вероятно, слышавший последние слова madame Брозе, задержал свою лошадь, повернул ее кругом почти на одних задних ногах и лихо подскакал к экипажу.

– Прежде всего, – начал всадник, приложив руку к козырьку своей белой фуражки, – я прошу тысячу извинений, что, не имея чести и удовольствия быть знакомым с вами, позволил себе заговорить…

– Какой урод! Терпеть не могу этих белобрысых! – шептала Фридерика Казимировна.

– Барон Шнельклепс, а те – мои товарищи-стрелки; мы прогуливаемся по окрестности; вы, если не ошибаюсь, тоже? Вы, сударыня, изволили заметить, что вид хорош, он даже более чем хорош, но оттуда, с высоты окон этого павильона, вид открывается еще лучше, и если вам угодно присоединить вашу прогулку к нашей…

– Благодарю вас! – церемонно раскланялась madame Брозе. – Павел, поезжай домой!

– Ну, мама, пойдем наверх, в тот павильон! – решила совершенно иначе Адель.

– Но, Ада, эти господа совершенно нам незнакомы… и притом…

– Наш мундир, сударыня… – обиделся, было, барон и, заметив, что девушка хотела, было, выйти из коляски, поспешил заявить, что к павильону можно проехать даже в экипаже.

– За мной! – скомандовал он кучеру.

Коляска свернула за всадником и начала подниматься. Остальные члены кавалькады встретили дам в самых почтительных позах у входа.

Это все были офицеры вновь прибывшего стрелкового батальона. Они в настоящую минуту знакомились с окрестностями нового города и собирались немного покутить. У каждого в седельной кобуре было по бутылке местного красного вина и по куску швейцарского сыра.

– Скромно и благородно! – говорил рыжеватый подпоручик, помогая дамам выходить из коляски.

Грустное настроение Адели начало мало-помалу проходить; Фридерика Казимировна нашла, что формы барона Шнельклепса весьма недурно обрисовываются из-под кителя в обтяжку, и если бы только не эти льняные волосы… Поручик первый открыл превосходное эхо в овраге, особенно если

кричать в окно из большой комнаты. Тотчас же началась проверка этого открытия.

– Ада, Ада… смотри, это он! – вскрикнула на всю избу Фридерика Казимировна и, не обращая ни на что внимания, забыв даже формы барона, ринулась к подъезду навстречу поднимавшемуся, запинавшемуся, красному как рак, Ледоколову.

– Какими судьбами? – дружески произнесла Адель и протянула прибывшему обе свои руки.

– Адель Александровна, какая встреча! Здесь!.. Да ведь я чуть не умер без вас. Как я рад, как я рад! – целовал Ледоколов протянутые руки.

– А здесь, вы думаете, не вспоминали о вас? – томно пропела madame Брозе.

Расчеты господ офицеров на дамское общество не сбылись. Адель грациозно кивнула им головкой и под руку с Ледоколовым начала спускаться к коляске; Фридерика Казимировна поспешила за ними.

Офицеры переглянулись между собой, посмотрели свысока на Ледоколова, а это было так удобно, принимая в расчет местоположение, и занялись своими съестными припасами.

Дамы усадили Ледоколова между собой. Почтовая повозка поплелась за коляской.

Если б Ледоколов не был в таком лихорадочном, восторженном состоянии, он, вероятно, заметил бы то полное спокойствие, с которым относилась к нему его красавица-соседка с правой стороны, а несколько дружески сказанных слов и легкое пожатие руки окончательно сбили его с толку.

Фридерика Казимировна млела, кисла и не без тоскливой ревности посматривала на дочь; особенно смущало ее колено Ледоколова: «зачем оно так близко?»

– Да вы двигайтесь больше сюда: здесь еще так много места! – дергала она своего соседа за рукав его парусиновой рубахи…

– Вам надо сесть в вашу повозку: мы сейчас въезжаем в город! – прервала Адель интересный рассказ о том, «как в горах скучно, дико, какая тоска грызла его, и даже пребольно; и что если бы только не надежда…»

– Так вы к нам завтра? – спросила она.

– Завтра утром, как только возможно рано; прямо из штаба!

– Я постараюсь, чтоб вас приняли… Мама, m-r Ледоколов протягивает тебе руку… Мама, да что ты так задумалась?

– Подождите, минуту подождите… – заторопилась Фридерика Казимировна. – В моей голове созревает план. Зайдите с этой стороны: мне надо вам сказать…

– Мне? – удивился Ледоколов и забежал с другой стороны экипажа.

– Нет, не могу, не могу… У меня не хватает решимости. Я лучше вам напишу…

Фридерика Казимировна вытащила записную книжечку и принялась что-то поспешно царапать карандашиком. Ледоколов терпеливо ждал; Адель готова была расхохотаться.

– Возьмите, но прочтите только тогда, когда мы успеем подальше отъехать! – сунула madame Брозе бумажку в руку Ледоколова. – До свиданья!

– До свиданья!

– Пошел!

Гремя полудюжиной бубенчиков и расколотым колокольчиком, вся окруженная облаками пыли, вынеслась из-за поворота почтовая тройка, обогнала коляску и приближалась уже к остаткам триумфальной арки. Проезжий приподнялся в своем тарантасе, изумленными глазами посмотрел на дам, потом на Ледоколова, приподнял фуражку, хотел, было, остановиться, но, вероятно, раздумал и понесся дальше.

– Катушкин! – вскрикнули разом обе дамы.

– Мама, ведь ты говорила… – начала, было, Адель.

– Ах, как у меня бьется сердце! Ах, как бьется! – волновалась madame Брозе.

– Что это ты написала Ледоколову?

– Не спрашивай… это решается моя участь… в этих строках… Ада, милая моя, ты ведь все уже знаешь! Ты молода, перед тобой еще так много, а для меня ведь это может быть уж последнее! – истерически зарыдала Фридерика Казимировна. – Не отнимай его у меня, Ада, не отнимай! – всхлипывала она, пытаясь удержать душившие ее рыдания. – Ты, Павел, не говори никому то, что видел, никому… я тебе пять рублей дам за это…

– Благодарю покорно… не наше дело; я вот, ежели что, насчет сбруи или там… Вправо держи там!.. Долгушка!

– Я думала, было, что это так, ничего; но теперь, когда увидала его после такой долгой разлуки, Боже! Я не знаю, что со мной делается!

– Эк тебя! Да успокойся, мама. Да ну, полно! Смотри, вон сюда глядят, пальцами показывают!

– Дай флакон!

Коляска плавно покатилась по городским улицам.

Ледоколов быстро развернул полученную бумажку, пробежал ее и обомлел; пробежал еще раз и покраснел до самого ворота рубахи. Он, казалось, не верил своим глазам и еще раз принялся перечитывать неверным, дрожащим почерком нацарапанную записку.

«Сегодня ночью приходите к нам в сад, Лопатин не знает еще о вашем приезде – это отклонит всякое подозрение с его стороны. Садовая стена не так высока, особенно из переулка. Ваша…»

Больше ничего не было в этой записке.

«Садовая стена не так высока…» – бормотал ошеломленный Ледоколов.

– На станцию, что ли? – спрашивал его ямщик, придержав лошадей на перекрестке.

«Особенно из переулка…»

– Чего? В федоровские номера! – очнулся Ледоколов и еще раз принялся перечитывать курьезную записку.

XXIV. ОПЯТЬ В САДУ

– Конечно, обидно-с, и далее весьма разорительно… но чтобы, на сем основываясь, полагать, что дело надо бросить, – это будет, как есть, напротив. А при должном окончании следствия и при открытии виновников, даже убытки все вернуть можно, потому – присудят! – говорил Катушкин в кабинете Ивана Илларионовича, прихлебывая с блюдечка и поглядывая на кончик своей сигары.

– Вернут убытки?! Где уже тут вернуть убытки! – уныло вздыхал Лопатин, совсем распустившись в своих покойных креслах.

– Как есть. Теперь извольте видеть, что здесь подведена механика, – это положительно известно: следы все в наших руках; откуда все дело шло, тоже не трудно угадать!

– Он, он, несомненно, он… Ну, сторонка! – вздохнул еще протяжнее Лопатин.

– И ежели бы только в руки нам очевидную улику, такую, чтобы, значит, совсем мат, безо всякого разговору, ну, и шабаш…

– Ну, сторона!

– Ничего не сторона: везде так заведено, что друг под дружку подкапываются, а особливо по нашему коммерческому делу. Там вот на такой манер, а здесь вот на эдакой. Да это еще что; случается, что и до головы добираются, не то что…

– Ну, вот, вот! – тревожно заговорил Иван Илларионович. – Я и говорю: мы вот тут сидим, а они…

Он поспешно встал, подошел к окну и опустил тяжелую портьеру.

– Оно, конечно, осторожность не мешает, – улыбнулся Катушкин, глядя на хозяйский маневр, – но тоже и в уныние приходить не приходится!

– Осторожность – не уныние. Всяк должен себя оберегать; положим, без риска нельзя. Вот мы попытались рискнуть – приехали сюда, дело завели, а тут вот оно что вышло… Тс!.. Слышали?

– Ничего не слыхал. Гм!..

– Зачем дальше искушать судьбу, зачем?

– Так, значит, дело бросить?

Иван Демьянович бросил в камин окурок сигары и укорительно покачал головой.

– Что же, ваше дело хозяйское! – произнес он, кисло улыбнувшись и передернув плечами.

– Какое хозяйское! Разве я к тому… – заторопился Лопатин. – А кто мне поручится, что вчера вот одно случилось, сегодня, бац, другое, завтра опять и, наконец, дойдет дело до того…

– Кто кого, известно. Вот они нас бьют, а нам кто запретил им в отместку?

– Нет, уж я на разбой не пойду, нет!

– Хаживали!

– Что!? – Лопатин озадаченно взглянул на Ивана Демьяновича.

– Не в обиду будь сказано, а, по-моему, все равно… да опять же скажу, что в нашем торговом деле без этого никак невозможно!

– Положим, я интриговал против него. Вот в интендантстве насчет подрядов совсем дело ему испортил. С винокуренным заводом опять так подвел, что он должен был понести значительный убыток. Но ведь это борьба законная; кто ему мешает делать то же? Шансы равны!

– Тот же разбой-с. Вы его в интендантстве придушили, а он в Кара-Кумах вас подловил; и опять же нам много выгоднее, потому что, ежели мы его накроем, – а это весьма возможно, – то и убытки наши, и все прочее вернется, а его на каторгу сошлют, потому его разбой не облечен в законную форму. Вы вот не ожидали ничего подобного, духом от этого сильно упали!

– Не упал, нет, а есть во мне какое-то предчувствие скверное. Фу, ты, черт! Это ваше пальто там в углу? А я было… – перевел дух Лопатин. – Когда этот разбойник увидит, что он в наши руки попасться может, то мало ли на что пойдет! У него, я слышал, такие шайки подобраны.

– Люди с разбором, это точно!

– Ну, вот, мало ли на что с отчаяния пойдет человек, когда увидит, что все потеряно… А если мы ликвидируем покойно дела…

– Да, как зайцы из-под выстрела, отсюдова ходу – так, что ли? То-то смеху нам в затылок будет!.. Эх, Иван Илларионович! Конечно, мое дело приказчичье, но ежели, как потому, что мы с малолетства, еще при покойном родителе нашем[1] друг другу доподлинно известны, то, значит, поручите это дело мне-с; доверенность полнейшую пожалуйте, потому она завсегда мне потребуется. А уж коли робость берет, то на время можно и в Петербург, либо в Нижний отъехать… Верьте мне, не в начале наше дело, а к концу подходит, и то, что у нас в руках, выпускать задаром не приходится!

– Все это хорошо, есть только у меня это подлейшее предчувствие…

– Одни пустые слова-с!

– Лях проклятый! Что-то его вот уже давно не видать нигде?

– Болен, сказывают; я уже навел справку. Отчета сегодня принимать не будете?

– Да уж до завтра, поздно, первый час, никак?

– Второго четверть!

– Так, по дороге, скажи Павлу, чтобы здесь спать лег, в передней, а Дементию садовнику тоже накажи приглядывать!

– Распоряжусь! – улыбнулся Иван Демьянович, поднимаясь со стула. – Прощенья просим!

– Вот оно как! – вздохнул Лопатин, оставшись один.

– Ну, что, Иван Демьянович, как-с?.. – остановил Катушкина во дворе один из приказчиков, поджидавший все время его возвращения из хозяйского кабинета.

– Раскис! – махнул рукой Катушкин.

– Так-с! – кивнул головой приказчик и пошел проводить Ивана Демьяновича «вплоть до самого его флигеля».

Разделся Иван Илларионович, долго очень крестился, покачивая головой и слезливо глядя на эти сверкающие, ежом торчащие во все стороны иглы золоченого венчика, окружающие что-то темное, неопределенное; отвесил земной поклон, особенно продолжительный, и потому только не оставивший на его лбу знака, что пол под образницей был покрыт мягким ковриком, и, наконец, лег под одеяло. Повернулся на другой бок – не спится; опять отвернулся потом к стене – не спится. Так вот и представляется Лопатину вся эта кровавая сцена посреди голых песков: так вот и видит он, как с кручи каменистого утеса рушатся громадные массы и засасывает их бездонной тиной.

– Иван Илларионович! – легонько стучит в дверь его Павел.

– А, что такое? Кто там? – тревожно вскочил с постели Лопатин и дрожащей рукой принялся шарить по ночному столику.

– Иван Илларионович! У нас что-то в саду неладно… Дементий прибегал сейчас, сказывал: через стену лезут, снизу-то на свет видно было…

– Кто лез? Много народу? Да где сапоги? Куда ты, черт, сапоги затащил? – засуетился Лопатин.

– Тихонько, Иван Илларионович, огня не надоть, зачем? Там ребята пошли, снаружи-то, а мы из саду, может, и накроем…

– Господи, Господи! Что же это еще такое?

– Пожалуйте-с… халат наденете али пальто-с?

– Тише!

Тихий говор доносился из сада. Это был шепот, прерываемый чем-то, весьма похожим на всхлипывания.

Скверное подозрение мелькнуло в голове Ивана Илларионовича. Страшные призраки гибели каравана, опасения за свою собственную голову – все исчезло перед другим, еще более тяжелым, невыносимым видением.

Подобрав полы халата, теряя на ходу туфли, Иван Илларионович, как кот на добычу, шмыгнул из кабинета в приемную, оттуда на балкон, и его разгоряченное, потное тело сразу обдало холодным, сырым предрассветным воздухом.

– Ты, Адочка, иди спать, уже пора! – произнесла Фридерика Казимировна, взглянув на часы.

– А ты? – спросила Адель.

– Я еще посижу здесь в саду, голова болит, и, я думаю, легче будет на свежем воздухе!

– Мне тоже что-то спать не хочется; я посижу с тобой!

– Ах, нет, Ада, зачем утомлять себя?.. Иди, мой ангел, иди. Ты так устала, глазки у тебя слипаются, ты положительно спишь сидя…

– И не думаю!

Фридерика Казимировна не без досады двинула своим креслом, да так, что даже одно колесцо с ножки соскочило и зазвенело по усыпанной песком площадке сада, на котором вот уже с час как сидели маменька с дочкой, наслаждаясь ароматным воздухом фруктового сада.

Помолчали минут десять.

– Ада, иди же спать, дитя мое, не упрямься! – начала опять ласковым тоном Фридерика Казимировна.

– Мама, ты так настойчиво посылаешь меня в постель, что я могу подумать, бог знает что…

– Что же такое? Ничего нет особенного… я без всякой задней мысли!

– Может быть, я тебя стесняю… так? Или, по крайней мере, могу стеснять впоследствии… да? Говори откровенно!

– Ах, друг мой, какие глупости! Ах, да, на твоей ротонде, я видела, отпоролось кружево, знаешь, тут, около ворота…

– Ты что написала Ледоколову?

– Адочка!

– Хочешь, я тебе скажу…

– Адочка!

– Ты его ждешь теперь, и я, понятно, должна стеснять тебя – вот ты меня и гонишь спать… так? Да, ну, сознавайся… ведь меня не перехитришь!

– Адочка!

– Да нечего все: Адочка да Адочка. Ну, слушай, я тебе скажу откровенно: Ледоколов не годится… то есть он мне не годится… Я, было, сначала думала иначе, но теперь…

– Адочка, уйди, друг мой, ради Бога!.. Тс!..

Кусок штукатурки отвалился от стенного гребня и ясно, отчетливо защелкал по листьям гигантского лопушника, росшего под самой стеной.

Сердце Фридерики Казимировны забилось так сильно, что эти учащенные удары должны были быть слышны, по крайней мере, на том конце сада. Мадам Брозе была убеждена в этом, и пухлым, округленным локтем поспешила заглушить это нескромное биение.

– Ну, прощай! Дочь твоя тебя благословляет и разрешает, и прочая, и прочая, и прочая!

Адель сделала театральный жест и, беззвучно смеясь, шмыгнула на террасу.

«Боже, что же я делаю?! Ведь он не ко мне… он воображает… что же я буду говорить? Я, кажется, не решусь!» – пробегало в голове Фридерики Казимировны.

Какая-то тень мелькнула шагах в трех от нее.

– Боже, он меня не видит, он идет прямо! Дмитр… – прошептала она, и прошептала так тихо, что даже сама себя не слышала.

Тень остановилась, внимательно посмотрела на освещенное окно спальни Адели, еще шагнула немного вперед.

– Сигнал бы какой-нибудь подать! – соображал Ледоколов и тихо кашлянул.

– Courage, maman, courage![2] – совершенно неожиданно произнесла Адель, нагнувшись к самому уху своей маменьки.

– Ай! – вскрикнула Фридерика Казимировна.

Ледоколов бросился на крик.

В темноте он видел два силуэта.

– Ах! Ах! Ах… Ха-ха-ха! – разрешилась Фридерика Казимировна истерическим припадком.

– Этого еще недоставало! – громко произнесла Адель. – Ледоколов, вы пришли кстати (она чуть не фыркнула); – расстегивайте платье, распустите шнурки, я сейчас принесу воды!

– Я умираю, я умираю, мне душно! – томилась Фридерика Казимировна, отдавшись в полнейшее распоряжение растерявшегося, озадаченного Ледоколова.

– Вот вода… подождите, я брызну в лицо! – подбежала Адель с графином в руках.

– Я не виновата, я не виновата! – коснеющим языком лепетала Фридерика Казимировна. – Сердцем повелевать невозможно… Я женщина с сердцем… Я еще молода… О, Боже мой!

– Тут так много булавок! – отдернул руку Ледоколов.

– Трите виски… Ай! Идут, сюда идут!

«Попался», – мелькнуло в голове нашего Дон-Жуана.

– Куда? Держи его, Павлушка, держи! – кричал, задыхаясь, Иван Илларионович. – Там от стены отхватывай, от стены, живо! Уйдет!

– Поймал, Иван Илларионович, поймал-с! – навалился сзади на Ледоколова Павлушка. – Что, чего? Драться не велено! Нонче не те времена! Ой, Дементий, держи, уйдет!

– Прочь… убью!

– Нет, шалишь!.. Веревку подай!..

– Бей его, подлеца, бей, сколько влезет: все беру на себя! – неистовствовал Лопатин.

– Иван Илларионович, не делайте глупостей, слышите, я вам приказываю! – кинулась Адель к Лопатину.

– Чего-с? Глупости?! Нет, это не глупости! Что, не любишь? А, любовников заводить…

Он не докончил: звонкая пощечина так и врезалась в его одутловатую, раскрасневшуюся щеку.

Фридерика Казимировна заблагорассудила погрузиться в самый глубокий обморок.

На цветочных клумбах, взрывая рыхлую землю, ломая и коверкая кусты, растения, цветочные палочки с надписями, завязалась ожесточенная свалка. Ледоколов боролся один против трех.

– Иван Илларионович, что вы делаете? Бросьте, вы, эй, вы, там, бросьте! Павел, брось! Павлушка, черт, леший!

Катушкин с фонарем в руках прибежал на место катастрофы.

– Вот оно дело какое… да, вот дело! – бормотал Иван Илларионович, тяжело опускаясь на ступеньки террасы.

Свежесть ли ночи (Лопатин был в одном белье), пощечина ли, так неожиданно полученная, внезапное ли появление Катушкина повлияли на него, но только в нем совершилась реакция.

– Оставь, ребята: что его бить? Этим дело не поправишь! Оставь уж, бог с ним!

– Вы мне дорого поплатитесь! – налетел, было, на него Ледоколов.

– Уходите, батюшка, уходите… Эх, вы! – остановил его Катушкин.

– Помогите! – чуть слышно простонала Фридерика Казимировна.

«Поделом вам, Адель Александровна, поделом», – сама себе говорила Адель, стоя перед зеркалом в своей комнате и прислушиваясь к затихающей мало-помалу суматохе на садовой площадке.

На другой день Лопатин получил длинное письмо от Ледоколова. В этом письме говорилось о том, что личные их счеты не должны смешиваться с «общим делом», что он приехал в Ташкент именно по этому делу, и будет

совершенно нелогично, если то «недоразумение» может помешать успеху их предприятия. Он обращался к здравому смыслу Ивана Илларионовича, предлагая *лично* от себя и даже требуя какого угодно удовлетворения.

В ответ на это послание Ледоколов в тот же вечер получил тоже довольно подробное и обстоятельное извещение, подписанное, впрочем, Катушкиным.

Иван Демьянович уведомлял господ горных инженеров, что дальнейшее участие в их деле Ивана Илларионовича прекращается, а что насчет личных счетов и предлагаемого удовлетворения, то чтобы они не беспокоились, ибо выданных денег обратно требовать не будут; что же до иного прочего, то Катушкин лично уже от себя просит господина Ледоколова всякие претензии прекратить, ибо сие самое для господина Ледоколова не может иметь хороших последствий. Для входа и выхода предназначены собственно двери и ворота, а что ежели через стену и, наипаче того, в ночное время, то государственными законами сей путь весьма неодобряем.

– Накось, раскуси! – ухмыльнулся Иван Демьянович, дописывая эту последнюю фразу.

– Так его, мошенника, так! – одобрительно кивал Лопатин, глядя через плечо своего старшего приказчика.

– Скверно! – произнес Ледоколов, дочитав послание. «Вы уж, батюшка, смотрите там, не подгадьте», – невольно припоминалась ему напутственная фраза его товарища.

На другой же день, рано утром, Ледоколов послал коридорного Максимку на почтовую станцию за лошадьми по чимкентскому тракту.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. КИШЛАК ТАШ-ОГЫР

В горном кишлаке Таш-Огыр было заметно какое-то особенное, необыкновенное оживление. Тихие, малонаселенные горные поселки казались и людны, и шумны.

Плоские, расположенные террасами по скатам гор крыши сложенных из дикого камня сакель пестрели группами детей и женщин; мужское население тесной кучкой стояло у выезда или же поодиночке бродило по улицам, переговариваясь и перекликаясь с теми, кто был на крышах. Все это указывало друг другу пальцами, смотрело вдаль, по направлению к западу, и поминутно прикрывало глаза руками – так трудно было выносить ослепительный блеск известняка и обломков мрамора, сверкавших на солнце по ярко освещенным горным скатам.

Там змеилась узкая конная тропа, спускаясь с высот в ущелье. Шла эта тропа зигзагами – иначе совсем невозможно было бы спускаться и подниматься на эту гору. Собственно, ничего особенного не было видно на этой тропе, кроме четырех всадников-туземцев, чалмы которых кивали вдали, то прячась за обломками скал, то снова показываясь, когда тропа выводила их на более открытое место.

Всадники эти ехали не в кишлак Таш-Огыр, а из него: это было заметно по тому, что чалмы их, очень большие, почтенные чалмы, на каждую из которых пошло по крайней мере по тридцати аршин индийской кисеи, не увеличивались в своем размере, а напротив того, все уменьшались и уменьшались, и в настоящую минуту казались чуть заметными точками; они, наконец, исчезли совсем за выдвинувшейся почти на самую дорогу, изрытой, угловатой скалой «Шайтан-каиком» (Чертовой лодкой). Форма этой скалы ничем, впрочем, не напоминала лодку; зловещее же прилагательное «шайтан» она получила, вероятно, вследствие того, что особенно как-то мрачно смотрела своей черной массой между остальными светлыми горными породами.

– Уехали!

– Ну, и слава Аллаху!

– Пошли им пророк дорогу гладкую, как сама лысина почтенного муллы Касима!

– Это от нас; а к нам – чтобы она была корява и изрыта, как его собственные щеки!

– Все равно доберется. Там ты что хочешь делай, а в свой срок доберется. Жди вот через восемь месяцев!

– Жадные!

– Да ведь они не от себя: посылают – ну, и едут. Они, может быть, сами, по своей воле, и не хотели бы, да посылают – ну, как же тут быть?

– Да, «не хотели бы», ха-ха! Не бойсь, скажи ему: мулла, что хочешь – или сиди дома и спи со своими бабами, ешь шашлык, пилав, запивай его айраком или даже хоть русским араком, и вот тебе за эту благодать, ни за что ни про что, сто коканов; или поезжай по кишлакам за сбором, шатайся по горам день и ночь, спи один, где попало, без крыши, да еще подай за это двести – так он и думать не станет: сам побежит седлать свою лошадь!

– Тоже свою выгоду понимает!

– Мало ли ему в свой карман перепадет! Чай, из того, что наши аксакалы собрали с нас, Ак-паше и половины не видать!

– А заметили, какая у того лошадь хорошая: за две тысячи коканов не купишь! А халат-то – ух! Мне бы только хоть один часик поносить такой. Блестит, как чешуя на рыбе!

– Не по ишаку седло!

– Чего не по ишаку? Пошли меня сборщиком – не такой заведу!

– То-то тебя и не посылают!

– А все-таки хорошо, что уехали! Слава Аллаху!

– Еще ладно, что только два дня прожили у нас!

Вот такие разговоры и болтовня шли по всему Таш-Огыру, с крыши на крышу, со двора на двор, из одного закоулка в другой, и разносились дальше, по другим кишлакам, пестрящим дикие горные скаты.

Суровый, неразговорчивый, старый Амин-Аллаяр и тот даже веселей взглянул из под своих нависших бровей, потер костлявые руки и произнес:

– Ну, теперь мы месяцев на восемь вздохнем посвободней; подати сдали, ну, и да благословит Аллах наши достатки!

Слышал эти слова другой старшина, Джан-оглы, подошел к Амину и говорит:

– А все-таки мы теперь много меньше Ак-паше платим, чем платили прежде бекам да кокандскому хану!

– Это еще посмотрим! – пожал плечами Аллаяр и покосился влево, к востоку, где синела щель «Каракол-лощины».

– Ну вот, чего бояться! – понял намек Джан-оглы. – Мы ведь теперь не ихние, мы под Ак-пашой состоим. Они не смеют!

– А кого они бояться будут? Спросят, что ли?

– Пришлют белых солдат (ак-сарбаз) – небось испугаются! Нет, не посмеют!

– А где эти ак-сарбазы? За сто верст стоят, что случится – они нас не прикроют. Ну, пожалуй, дадим им знать… Э, да что говорить, сам понимаешь, не маленький!

– Аллах многомилостив!

– На него больше и надеемся… Ты, мулла, домой?

– Домой, а что?

– Заходи ко мне, коли будет время, у моего сына бок вот как раздуло! (Аллаяр показал на пол-аршина от своего бока.) Посмотри, что такое, ты ведь ученый!

– Зайду!

На одной из ближайших крыш, присев на клеверные снопы, старая Ханым угрюмо посматривала на свой опустелый дворик, гладко утоптанным квадратиком расстилавшийся у нее под ногами.

– Что, Ханым, – пошутил с ней мимоходом Джан-оглы, – где твои белые куры? Здоровы, что ли? Много ли яиц теперь нести будут?

– В своих животах увезли, проклятые! – покосилась та опять на ту же тропинку. – Да что ты пристал ко мне с курами – твои бараны целы ли? Поди, сосчитай лучше!

– О-ох! – вздохнул в ответ Джан-оглы.

– Избави нас пророк от всякого лиха! – поддакнул ему Амин-Аллаяр.

И оба старика медленно, сановито пошли по улице, спускаясь все ниже и ниже, к опаленным кустам горного можжевельника, где расположились более просторные и почище немного на вид сакли аксакала Аллаяра-Амина.

И остальные обитатели кишлака Таш-Огыр, должно быть, уж вдоволь нагляделись вслед уехавшим сборщикам и мало-помалу начали расходиться по домам.

Солнце не свой брат, печет так, что страсть, прогревает далее мохнатые бараньи малахаи, накаливает плечи и спины сквозь верблюжье сукно халатов и словно кричит сверху: «Эй, вы, там, убирайтесь-ка поскорее по своим норам, под крыши, куда кто может; коли не хочешь беды нажить, ищи себе такого места, куда моим жгучим лучам не под силу будет проложить дорогу!»

И покорные этому клику люди скоро все до одного попрятались по своим норам и осталось на виду только несколько бродячих кур-хохлаток да большой золотистый петух с красной головой, наивно поглядывающий кверху, в эту молочно дымчатую мглу накаленного воздуха.

Там, распустив свои полутороаршинные крылья, плавал громадный ягнятник и зорко смотрел вниз, словно раздумывая; какую бы из этих вкусных хохлаток удобнее ему сцапать?

Солнечный зной, разогнавший по домам таш-огырских горцев, должно быть, не очень пугал всадника, приближавшегося в эту минуту к кишлаку.

Всадник был весь в белом; на нем был поверх всего костюма накинут широкий парусиновый плащ с капюшоном, напоминающий своим покроем

бурнусы бедуинов[1]; его степная, рыжая лошадь, с тяжелой горбоносой головой, не привыкшая к горным тропинкам, бежала лениво, спотыкаясь, и то и дело получала по своему откормленному крупу легкие удары киргизской нагайки.

Старая Ханым, первая заметившая всадника, знала, что путешественник был хорошо вооружен. Она знала это, во-первых, уже потому, что по их местам никто без оружия не ездит, а во-вторых, она видела, как за плечами и у пояса всадника несколько раз вспыхнули на солнце яркие металлические отблески.

– Опять никак к нам тот же «русский крот» едет! – проворчала она и тихонько, поберегая свои старческие кости, стала спускаться с крыши.

«Русский крот» остановился на минуту, откинул капюшон на спину и слез с лошади. Закинув поводья на шею коня, он пешком начал взбираться на кручу, к кишлаку, а его рыжий, легонько заржав и покосясь по сторонам, поплелся следом за своим хозяином. Теперь ясно была видна русая борода приезжего и чехол от револьвера, от которого на шею шли красные шелковые шнурки с кисточками, двуствольный карабин топырился сзади из-под плаща, привязные шпоры резко звякали по камням извилистой дорожки.

– Ишь, словно повымерли все! – произнес Бурченко, приостановившись у сухой можжевеловой жерди, перегородившей вход в улицу. – Эй, тамыр, как тебя звать? Эй, ты, чего там за углом прячешься?

Он заметил темно-коричневое, смуглое лицо с желтоватыми белками, выглянувшее было из-за стены крайней сакли, и синеватые тряпки рваной рубахи.

– Да тебе кого? – хрипло окликнула его рваная рубаха.

– Аллаяр-бай дома или уехал куда из аула? – спросил Бурченко, откидывая жердь и проводя рыжего в улицу.

– Никуда не уехал… Эге! Да это вот ты кто! – веселей отозвалась рваная рубаха.

– Узнал? Куда это, кажется, сюда? Тут у вас запутаешься. Я вот четвертый раз приезжаю, а все не пригляжусь!

– За мной ступай!

Рваная рубаха пошла вперед, мелькая своими голыми, мозолистыми, как у доброго верблюда, пятками. Бурченко шел за ней, расправляя на ходу усталые от длинного горного переезда ноги.

– А у нас это время гости были из «русского кургана», закетчи, мулла Касим и амлакдари (сборщики)[2]. Сегодня только уехали; раньше бы пришел – застал бы! – сообщал Бурченко его провожатый.

– Жаль. Много собрали?

– Про то аксакалы знают… Ну, вот тебе и Аллаярова сакля; давай «силау»! (наше «на водку»!).

– Ладно, больно легко зарабатывать будешь! Чего на мои раскопки не идешь, коли деньги любишь?

– У тебя работы много, тяжело!

– Зато и зарабатывают акчи (денег) много!

– А очень они мне нужны, акчи-то эти! – зевнула во весь рот рваная рубаха. – Ну, прощай! Вечером чай будешь пить, меня зови, я это люблю. Позовешь, что ли?

И оборвыш, не дожидаясь ответа, пошел прочь, отмахиваясь от золотисто-зеленых мух-навозниц своими спущенными с плеч рукавами.

Мулла Аллаяр встретил своего гостя на пороге, и пока они разменивались обычными приветствиями, одна из трех жен хозяина, сухощавая Нар-беби, приняла рыжую лошадь от Бурченко и, прикрываясь стыдливо халатом, повела ее куда-то в угол, где уже махал какой-то белый хвост и слышалось тихое приветственное ржание. Серый, старый, как сам хозяин, аргамак Амина-Аллаяра тоже приготовился встретить своего, знакомого уже ему, гостя.

Давно, еще прежде, бывал здесь Бурченко; последний раз он приезжал сюда почти месяц тому назад: ему нужны были рабочие руки; с большим трудом, с помощью самых красноречивых уговоров, а главное – раздачей денег частями вперед ему удалось добыть десятка два работников. Недоверчивые дикари были неподатливы и никак не хотели поверить, что у этого *русского крота* (так его все называли по роду его занятий) не было каких-нибудь других, враждебных им целей; а тут еще примешался и суеверный страх к гяуру-иноземцу[3], который осмеливается рыскать по их местам один-одинехонек: они так привыкли видеть русского тюра не иначе, как в сопровождении целого конвоя «ак-сарбазов». «Не без “шайтанлых” (чертовщины) дело обходится. С ним, пожалуй, свяжись – беды наживешь. Ну его, не надо нам его денег!» – думали наивные дикари. Но эти самые деньги были такие светленькие, новенькие, так приветливо звенели! «Что же, не все ли равно; деньги как и везде деньги. Разве на них написано, от кого они в руки наши попали?» – подшептывал им другой, более убедительный голос, и находились смельчаки, рисковавшие связаться с гяуром и заработать у него десятка два-три этих беленьких, серебряных коканов. Ничего, все обошлось благополучно. Случилось, эдак недели через две, вернуться в кишлак одному из шести первых, решившихся идти за Бурченко работников. Смотрят все на него – ничего, человек как человек, не скорчило его, не покрыло его никакой болезнью, говорит, что жить хорошо, кормят всякий день мясом, хотел, было, сказать, что араку дают каждый день тоже по два стакана, да промолчал: увидел в толпе муллу Аллаяра и побоялся.

Побыл в кишлаке денька два мардигор (работник)[4] и назад в горы пошел, да еще не один: четверых с собой увел.

Случилось одно обстоятельство, подорвавшее было расположение горцев к «русскому кроту». Разнесся слух по горам, что все подати будут увеличены вдвое против прежнего. Это приписали изветам Бурченко. «Вот он тут шляется, тычется всюду со своим носом – верно, дал знать, что мы хорошо живем,

вот на нас и набавили!» – говорили те, кто по каким-либо причинам был недоволен нашим инженером. Другие им охотно верили. Дело могло бы окончиться очень плохо; из одного кишлака Бурченко был просто-напросто выгнан силой; в одном из горных проездов по нему даже стреляли. Мардигор Джонгыр, привязавшийся к своему хозяину, шепнул ему как-то на ухо: «Уезжай, тюра, лучше отсюда пока цел! Верь – дело тебе говорю». Но Бурченко не уехал, и дурное время миновало так же быстро, как и пришло: слух о надбавке остался только слухом, а аккуратно выплачиваемые заработные деньги своей привлекающей силы не потеряли; все шло хорошо до катастрофы с Лопатиным.

Теперь, когда присылка денег из Ташкента, из конторы Ивана Илларионовича, прекратилась, надо было приискивать другие средства. Долго ломал голову предприимчивый малоросс, как бы извернуться, не прибегая к просьбе об официальном пособии, и, наконец, додумался. С этим-то решением он и приехал в кишлак Таш-Огыр, в самый значительный из горных кишлаков; и теперь, когда чашка с пловом, поставленная перед ним гостеприимным хозяином, была покончена, выпит был и чай кирпичный, сваренный с молоком и бараньим салом, он принялся излагать перед Амином-Аллаяром свой план, убедительно и толково поясняя ему все обстоятельства.

Бурченко говорил спокойно, взвешивая и обдумывая каждое слово, внимательно выслушивал все возражения, как бы ни казались они наивны с первого раза, подбирал самые удобопонятные и неотразимые доказательства и с удовольствием видел, как на умном лице старшины ясно выражалось понимание и даже согласие с его доводами. Часа два битых говорили они. Джан-оглы пришел в половине разговора, сел на корточки и тоже все поддакивал. Соглашались молчаливыми кивками головы и еще двое стоявших в дверях.

– Ну, так как же? – закончил Бурченко и глазами повел вокруг себя в ожидании ответа.

– Хорошо! – лаконически промолвил Амин-Аллаяр.

– Хорошо! – попугаем повторил за ним Джан-оглы.

Еще раз молча кивнули чалмами гости в дверях.

– Так что же, пойдут? – варьировал свой вопрос Бурченко.

– А не знаю! – пожал плечами Аллаяр.

– Как тут можно знать? – также пожал плечами Джан-оглы.

Гости в дверях только переглянулись.

– У сына твоего бок ничего, скоро пройдет, – обратился Джан-оглы к хозяину, пододвинувшись поближе, – это его зеленая ящерица оплевала. Ты возьми черного козленка, перережь ему шею тем ножом, что после человечьей никакой еще крови не пробовал, – есть такой?

– У меня нет; откуда такого взять?

– У соседа Искандера есть; он третьего дня… – начал, было, гость в дверях.

– А ты рассказывай, бей в бубен по всему колодку! – шепнул ему другой.

– Я тебе принесу этот нож! – вызвался первый.

– Ну, так вот ты зарежь этим ножом козленка, – продолжал наставления Джан-оглы, – а потом вымажи кровью больной бок и левую пятку. Печень же козлиную…

– Слушай, Аллаяр-бай, – не без досады перебил знахаря Бурченко, – я к тебе за десять ташей* приехал, о деле тебя спрашивал, как к своему лучшему другу за советом пришел, а ты настоящего ответа дать не хочешь!

– А что же я тебе скажу? – удивился немного мулла Аллаяр.

– Согласятся они на мое предложение или нет? Ты старшина ихний, ты знаешь. Коли ты мою сторону держать будешь…

– Ничьей я стороны держать не стану. Я вот соберу народ к вечеру – всех соберу, кого найдут дома, ты им сам и говори. А мне что? Сам я к тебе в работники не пойду, других отговаривать не стану. Пойдут – их охота!

– Всякий знает, что ему лучше, так пускай и делает! – согласился тоже Джан-оглы. – Так вот эту самую печень…

– Так сегодня вечером соберешь народ, это верно?

– А я разве когда тебя обманывал?

– Ну, ладно, буду ждать вечера… Э-эх, замаялся я по вашим дорогам! – потянулся Бурченко и подтащил к себе какую-то мягкую рухлядь.

– А ты отдохни до вечера. Здесь, в сакле, прохладно! – пригласил его хозяин.

– Да уж больше делать нечего! – произнес гость и, заложив шпору в какую-то щель, принялся стаскивать свои тяжелые походные сапоги, подбитые крупными остроголовыми гвоздями.

II. РЕЧЬ БУРЧЕНКО

Солнце спустилось уже к самой зубчатой окраине гор, загорелись, словно залитые золотом, далекие ледники; вечерним холодом повеяло снизу. Прыгая с камня на камень, поднимая красноватые облака пыли, наполняя воздух разнообразным блеянием и ревом, подходили к аулам стада, пасшиеся днем по заросшим сухой травой и горькой полынью каменистым откосам.

Кучи навоза, зажженные у входа в кишлак, мимо которых должен был проходить скот, обкуриваясь таким образом во избежание чумной заразы, распространяли на далекое расстояние едкий дымный запах.

Оживленный говор пошел по кишлаку; со всех сторон потянулся народ к площадке перед саклями Амина-Аллаяра.

Проснулся Бурченко и начал одеваться. Та же женщина, что убрала его лошадь, принесла ему большую чашку с кислым молоком. Жажда морила

* Таш – восемь верст.

«русского крота», и он, окунув свои усы в густую белую массу, чуть не залпом вытянул всю чашку и отер рот рукавом своей рубахи.

– Собирается народ! – оповестил его Аллаяр, взглянув в саклю.

– Сейчас выйду! – отозвался Бурченко, заглянув на всякий случай в револьверную кобуру: все ли, мол, там в порядке?

Громче и громче становился говор вокруг. Слышалась топотня босых ног и сухой стук по камню кованых, остроконечных каблуков[1]. Лошадь ржала и билась где-то неподалеку. Даже крыша той сакли, где одевался Бурченко, тряслась и вздрагивала под тяжестью взобравшихся на нее таш-огырцев.

«Ну, либо пан, либо пропал! Чем-то окончится этот митинг?» – промелькнуло в голове малоросса.

И он решительно шагнул через порог прямо на яркоосвещенную последними лучами вечернего солнца сборную площадку.

Шум толпы нисколько не стих и не усилился при появлении *русского крота*, словно его и не заметили. Только все разом взглянули на него, кто прямо, кто искоса, и в этом беглом взгляде отразилось минутное любопытство, тотчас же успокоившееся, как скоро таш-огырцы убедились, что Бурченко – все тот же самый Бурченко, которого они видели в последний раз, и в наружности его не произошло никаких перемен, более или менее могущих обратить их внимание.

– Здравствуйте! Да пошлет вам пр… Что же это они в самом деле?! – озадачился немного малоросс этой холодностью.

– Аман! Аман! Амансыз! Кудак-кунак![2] – послышались в говоре толпы отрывистые приветствия.

– Вот я к вам в гости приехал, – начал Бурченко, – да, кстати, и дело надо сделать вместе с вами!

– Что ж, от дела никто не бежит!

– Дела всякие бывают: дурные и хорошие! – послышались голоса.

– С дурным делом я к вам не пойду: вы меня уж знаете! – возвысил голос Бурченко. – Говорил я об этом с тамыром своим, Аллаяр-баем; он вот вас собрал, чтобы я мог сообщить это дело всем вам разом. Будете слушать – я начну, а нет – так что и толковать, я даром ломать своего языка не стану!

– Что же, говори!

– Кричать очень громко приходится: вас ведь всех не перекричишь. А вы бы призатихли на часик!

– Эй! Вы, там, на крыше, тише! Вам говорят! – прикрикнул Джан-оглы. – Да будет вам о своей ослице говорить: и после наговоритесь! – обратился он к двум «гальча»[3], громче всех кричавшим и то и дело хватавшим друг друга за обшивки халатов.

– Молча-ать! Тс! – выскочил оборвыш с желтыми белками глаз, тот самый, что провожал Бурченко, и, вооружившись длинной палкой, стал изображать

из себя полицейского коваса[4], гордо поглядывая на толпу и мерно шагая из одного угла площадки в другой.

– Наш-то дивона расходился!

– Дурак-то, дурак! Ха-ха-ха!

– Тс! Тише же, в самом деле!

– Зачем я в горы сюда к вам приехал и что здесь делаю – вы уже хорошо знаете! – говорил Бурченко.

– Знаем! – рявкнул желтоглазый.

– Молчи!

– Теперь ты говоришь, что тавро у ней на левой ляжке и ухо зубцом надрезано… – дошептывал гальча о своей ослице, да вовремя заметил нахмуренные брови самого Амина-Аллаяра и затих, одной мимикой дополняя окончание своей речи.

– Много ваших работали у меня и теперь еще работают, никто не жаловался, всем было хорошо. Все может и дальше так же хорошо пойти, только с небольшой переменой. Вот об этой-то перемене я и приехал говорить с вами. Я до сих пор вам за вашу работу платил деньги. Деньги эти мне давал другой человек; давал он их мне взаймы, потому что верил мне и рассчитывал получить их обратно с хорошим барышом. Ну, дело наше шло хорошо, больше половины сделано; осталось уже немного; барыш был на носу, и мы бы его с тем человеком поровну бы разделили…

– А нам что пришлось бы из этого барыша? – нерешительно выдвинулся молодой парень в синей длиннополой рубахе и в бязевых коротких чембарах, засученных по колено.

– Вам бы ничего не пришлось, потому что вы каждый день получали плату за свою работу. Вы на *кость** ничего не ставили; барыш бы остался только тому человеку, что деньги свои тратил, да мне, потому что я, главный *уста* (мастер), заправа всему делу, тоже из одного этого барыша и хлопотал, и работал без жалованья!

– И много бы вам пришлось этого барыша-то? – полюбопытствовал кто-то из задних рядов.

– Полагаю, что на нашу жизнь хватило бы с излишком. Уж, во всяком случае, побольше, чем вы все зарабатывали вместе!

– Ишь вы, какие ловкие! А вы с нами бы поделились, – заметил тот же голос.

– Вот за этим-то я и приехал сюда, чтобы предложить вам это. Только нам надо сговориться!

– Что ж, это хорошо!

– Надо прибавки к плате просить: он даст!

– Понимаем, к чему он клонит!

---

* Не рисковали.

– Еще по ярм-теньга[5] в сутки, и меньше чтоб не ходить!

– Не даст!

– Даст: за тем и приехал. Ты ведь слышал!

– Тише вы, слушайте! – перешептывалось многочисленное собрание.

– Теперь тот человек мне денег больше не дает, а работу кончить надо, вам тоже платить надо, а у меня самого денег нет, – значит, платить нечем!

– Эге! Вон оно что!

– Прогорел, значит!

В толпе послышался полусдерживаемый смех. Бурченко перевел дух. Дело его подходило к самой сути.

– Теперь, если вы будете по-прежнему работать у меня, то вместо платы вы разделите между собою весь тот барыш, что получил бы тот богатый человек, что отстал от нашего дела. И тогда на вашу долю придется гораздо больше, чем полтора кокана в сутки. По меньшей мере, каждый принесет домой свой «гамон»[6], набитый деньгами, да навяжет, пожалуй, еще узелки на обоих концах пояса. И все за то только, что вы поработаете еще с месяц, не получая денег. Согласны на это или нет – говори прямо. Всяк, что хочет сказать против этого, говори!

Бурченко замолчал и с лихорадочным нетерпением выжидал ответа. Он не мог рассмотреть выражения лиц своих слушателей, потому что сгустившиеся сумерки рисовали перед ним только темные, движущиеся силуэты. Он заметил только, как несколько из этих фигур стали мало-помалу отходить дальше и уменьшаться в размере; он заметил даже несколько концов от чалм, висящих обыкновенно сзади: ясно было, что обладатели этих чалм повернулись к нему затылком.

У *русского крота* заворочалось на сердце что-то неловко: он предчувствовал неудачу своей миссии, а с этой неудачей если не полное прекращение, то, по крайней мере, длинный перерыв так успешно начатого дела.

Толпа же, как нарочно, молчала. Трудно было определить, что заключало в себе это гробовое молчание; полное ли пренебрежение и нежелание даже объясняться по поводу «такого дикого предложения русского крота», или же всякий пытался обдумать это предложение, и в таком случае…

– Ты вот нас, кроме денег, еще кормил на свой счет, и – зачем неправду говорить – хорошо кормил, теперь же кормить будешь?

– Нет, уж теперь кормитесь сами, как знаете, зато…

– Обещай хоть кормить, а то пропадет все! – тихонько шепнул на ухо Бурченко подошедший сзади Амин-Аллаяр. – Другой и шел к тебе больше из-за плова с бараниной, чем из-за денег!

– Ну, насчет корма, пожалуй, еще особо переговорим! – поправился Бурченко.

– А скажи ты нам, только смотри, правду говори! – громко возвысился резкий голос справа.

Бурченко насторожил уши.

– Отчего тот человек деньги перестал давать? Может, увидал, что из всего-то дела проку не будет, и порешил лучше потерять то, что уже потрачено, чем еще больше вертеть дыру в своем кармане?

– Что ж я, по-вашему, совсем дурак, что ли? Вы же меня все умным человеком называли прежде! – уклонился от прямого ответа Бурченко.

Он не хотел раскрывать настоящей причины: она была слишком сложна, по его мнению, чтобы ее могли усвоить себе слушатели, а ко всему, что только останется непонятным, они, само собой, отнесутся с сомнением, чтобы не сказать больше – с полным недоверием.

– Нет, ты не дурак, этого никто не говорит, – дребезжал все тот же голос, – ты умный…

– Так как же это могло случиться, что я, который начал дело и всем им орудую, не увидал бы этого прежде? Я бы прежде его бросил, если б оно было невыгодно!

– Так-то так, так отчего же?

– Умер тот человек, вот и все! – отрезал Бурченко.

Он решился на этот категорический ответ. Ведь все равно: Лопатин, действительно, умер для их дела – значит, малоросс вовсе не уклонился от истины.

Снова молчание воцарилось в толпе; кто-то даже присвистнул. Две или три груди протяжно вздохнули, с приличным этому печальному известию оттенком во вздохе.

– А ну, пошлет ему Аллах на том свете всего, что он заслужил хорошего на этом! – пробормотал Джан-оглы.

Только совершенно наступившая темнота не позволила Бурченко заметить, что едва ли только треть всех слушателей осталась на месте, большинство разошлось по домам. Трудно было придумать более красноречивый ответ на предложение русского крота, как это молчаливое удаление.

– Так на чем же мы порешим, говорите? Ну, говори хоть ты первый!

Бурченко обратился в ту сторону, где слышался знакомый голос, задавший последний вопрос.

– Погоди до завтра! – отвечал за того Амин-Аллаяр.– «Всякое дело яснее, когда на него светит солнце»; что мы тут впотьмах толковать будем? Они выслушали тебя, ну, и довольно пока. Теперь вот спать пойдут. Бабы-то их по саклям, думаю, уже заждались. Может, им Аллах во сне настоящий совет пошлет. Подожди до завтра!

– Подожди до завтра! – повторил за Аллаяром его подголосок Джан-оглы.

– Прощай пока, спи спокойно! Завтра, может, и порешим на чем-нибудь. Прощай! – послышались голоса.

– До завтра, так до завтра! – согласился Бурченко.

Толпа начала расходиться.

Не прошло и часу после того, как разошлись по своим домам таш-огырцы, как весь кишлак затих, погруженный в глубокий сон. Погасли последние огни, чуть-чуть мерцавшие в горном тумане, и только вершины гор выплывали из этого тумана скалистыми островами да ближе виднелись темные, конусообразные силуэты расположенных на крышах куч клевера, джугарры[7] и рогатые вязанки корявого топлива.

Душно было в сакле, да и не спалось к тому же. Бурченко выбрался на свежий воздух, влез по приставленной к стене сломанной арбе на одну из крыш и уселся на клеверной куче.

Весь аул виден был ему, как на ладони, только последние, крайние сакли расплывались как-то в тумане. Так же пропадала и светлая полоска кремнистой дороги. С легким треском вылетали из черного, закопченного дымового отверстия искорки; должно быть, там не совсем еще погас огонь под таганом, и тлели уголья, раздуваемые струей врывавшегося сквозь дверную щель ночного ветра. Вот его рыжий прядет ушами и чешет зубами в подстриженной холке своего серого соседа. Вот какой-то старик с длинной седой бородой тоже взобрался на крышу, столбом стал на самом краю, протянул сухие руки к востоку и медленно опустился на колени. Серая кошка, не слышно ступая, крадучись шмыгнула по самому гребню стены.

«Как далеко слышно в горах тихой ночью! Раз-два, раз-два – ведь это там, внизу, за Шайтан-Каиком! Нет, это только отдается, а топочут лошади совсем не в той стороне, а напротив. Это, должно быть, едут по Каракол-ущелью. Только кого же это нелегкая несет по горам в такую пору? – прислушивался Бурченко. – Что ж, дороги в горах никому не заказаны, значит, им надо, коли едут. А ну, как?..»

Чуть заметная полоска утренней зари скользнула по вершинам, и заискрились по ледникам серебристые блестки. Холщовая рубаха отсырела на тумане; совсем мокрые стали снопы; утренний холод пробежал по всем жилам. Поежился малоросс и стал потихоньку спускаться с крыши.

«Что хорошего принесет мне день?» – подумал он и заснул с этой мыслью, завернувшись с головой в свое байковое одеяло-попону.

III. КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

– Вставай, тамыр! Эй! – шепнул ему на ухо мулла Аллаяр. – Вставай, да тихонько, без шума!

И он сильно потряс его за плечо, прикрыв ему рот на всякий случай рукой, как бы не вскрикнул громко спросонья.

– А, что такое? Что случилось? – приподнялся Бурченко на локте и сразу догадался, что случилось что-то особенное, далеко из ряда вон выходящее.

Тревога и сильная озабоченность выражались на умном лице Аллаяра. Тревожная беготня слышалась и по всему кишлаку.

Яркий рассвет сквозил в дверные щели и чертил полосами шероховатые стены сакель. Заглянул Бурченко в одну из этих щелей. Вся площадка видна была отсюда, большая улица вплоть до самого поворота. Часть горы синела между двух сакель. Ярко-красное пятно так и рисовалось на этом синем фоне.

Всадник в красном халате, голова, шея и плечи в стальной кольчуге, держа в руках длинную пику, оперся тупым концом ее в землю и приготовлялся слезать с коня.

Другой всадник уже слез, привязывал коня к концу сухой жерди и зорко глядел сюда, прямо на их дверь. Так, по крайней мере, казалось Бурченко, сразу угадавшему, что такие за птицы прилетели! Еще несколько красных халатов высыпали верхом из-за поворота. За стеной, словно тонкие камышины, покачивались пики с волосяными кистями под острием.

– На вот тебе балту*. Тут стена тоненькая, всего в полтора вершка, не больше, сразу проломишь! – шептал ему Аллаяр. – В дверь тебе нельзя выйти – увидят, а там ты на женскую половину попадешь. Проползешь на крыши и в солому забейся. Там и лежи, пока я не приду. Проворней!

И он сунул в руки Бурченко короткий топор, а сам встал около двери, положив руку на задвижку и нетерпеливо поглядывая на своего гостя, скоро ли он выберется из сакли указанной ему дорогой.

С одного удара топор просунулся насквозь. Меньше, чем в полминуты, Бурченко выломал такую дыру, что в нее могли свободно пролезть его широкие плечи. Захватив свое оружие, он полез.

– Ай! – взвизгнула Ак-Алма (белое яблоко), молодая жена Аллаяра, заметив на своем дворе мужчину, да еще русского.

Она была в одной рубахе и расчесывала косы большим медным гребнем.

– Шайтан, сам шайтан! – закричала Тилля (золотая), другая жена, быстро отвернулась лицом к стене и присела на корточки.

Две остальные тоже разинули рты, чтобы кричать, да заметили в той же дыре, откуда вылез *шайтан*, строгое лицо Аллаяра и его кулак, явно грозивший крикуньям, и затихли, недоумевая, что же такое все это значит?

Быстро перебежал Бурченко через женский дворик. Большая, желтая, как шафран, скирда соломы так и горела, освещенная восходящим над горами солнцем. «Русский крот» вскарабкался к ней и стал поспешно зарываться, оставив себе для наблюдения достаточное отверстие.

Только-только вовремя успел спрятаться Бурченко – вся площадь уже была покрыта всадниками.

– Ну, беда! От соседнего бека за сбором податей приехали! – говорил, проходя мимо, Джан-оглы,

– Да ведь мы уже русским платим, мы уже очистились за две трети! – протестовал кто-то другой.

---

* Топор.

– И этим тоже платить придется. Не заплатим – хуже: силой возьмут… без счету!

«Вот оно что! – подумал Бурченко и стал пальцем ощупывать револьверные стержни – все ли капсюли на своем месте. – Не ровен час, понадобится…»

Высокий, широкий в плечах мужчина, по типу узбек, слез с лошади, порасправился, не спеша, молча указал одним кивком своей чалмы место под навесом и расправил пальцами свою подстриженную бороду. Два джигита постлали коврик на указанное им место и расправили полы его халата, когда он грузно уселся, сердито поглядывая по сторонам, на группы растерявшихся таш-огырцев.

Это был сам сборщик. Ему подали кожаный мешок, висевший за его седлом, и он систематически принялся вытаскивать оттуда письменные принадлежности и цилиндрические сверточки прозрачной, мелко исписанной бумаги.

Красные джигиты, кто конный, кто пеший, рыскали уже по всему кишлаку, и только человек шесть осталось у навеса, в виде почетной стражи бекского сановника.

– Э-гм! – откашлялся сборщик. – Ну, мулла, здравствуй! Как тебе живется с новыми соседями? – обратился он к Аллаяру, угрюмо стоявшему перед ним и пощипывавшему концы пояса. – Обижают вас белые рубахи, должно быть? Коли что, можете пожаловаться, я передам хану, и он накажет русских!

– Угощение что же не приготовили? – вполголоса говорил Аллаяру один из приезжих джигитов. – Смотри! Вот он рассердится – беды наживешь!

– Не ждали, потому и не приготовили!

– Не ждали! – пропустил сквозь зубы сборщик. – Мы вас нарочно прошедший год не трогали и сбора не брали. После войны с русскими хан дал вам немного поправиться. Ну, а теперь вот приехали… Все ли у тебя готово? Ты ведь прежде всегда был такой аккуратный!

– О чем тюра спрашивает – я не знаю. Ум у меня маленький, не то, что у тебя. Где мне понять? – говорил Аллаяр.

– Седая у тебя голова, а таких простых слов осилить не можешь. Сборы все, за прошедший год и за нынешний, готовы?

– Не то что готовы, а и уплачены сполна: у меня и записи есть с печатями!

– Кому же ты это платил? – грозно надвинул брови сборщик. – Белым рубахам?

– Да, русским. Под кем живем, тому и платим. Жили прежде под вашим ханом – вам платили, теперь под Ак-пашой состоим – ему платим!

– А вот за то, что платили неверным, хан вам прислал неласковое слово и подати за то увеличил. Вот ты и знай! На, смотри!

Он протянул Аллаяру развернутую полоску бумаги с болтающейся на шелковом шнурке треугольной печатью из зеленого воска.

– Слушай, тюра! – взглянул на бумагу Аллаяр. – Ну, твоя сила теперь: можешь все забрать – что видишь, то и забирай, да разве это будет по правде?

– По правде, зачем русским передались? – усмехнулся сборщик.

– В прошлом году, когда мир держали, и от русских, и от вас высланы были люди. Вместе, сообща землю делили. Вон по ту сторону гор ваше, по эту – к русским отошло!

– А ты Коран читаешь? Ты ведь грамотный?

– Где мне знать столько, сколько в твою голову входит!

– Разве такие договоры ведут с неверными? Эх, ты! А еще сам муллой считаешься! Знаешь, где русская граница?

– Где же, по-твоему?

– А только там, куда достают их пушки. Только то ихнее, где они солдат своих держат. А сюда когда могут прийти русские, по-твоему?

– А тогда, – понурил голову Аллаяр, – когда от нашего кишлака один пепел останется!

– Догадлив, то-то!

– Большой поклон тебе делаю!

Аллаяр нагнулся и тронул землю пальцами.

– Не жми ты нас, – начал он, – мы люди бедные, по два раза одну и ту же подать платить не под силу… Бери с нас, что делать, только бери хоть поменьше!

– Сколько по закону следует, столько и возьмем!

– Что закон? Он ведь в твоей воле! Что положишь, так и будет. Да уж за одно еще тебе поклон: уйми своих джигитов. Слышишь, на том краю какой крик? Как бы худа какого не сделали!

– А скорей сбирай, мы и уедем. Нам здесь долго делать нечего!

– Да что, к полудню все будет готово, а пока нашим хлебом тебе кланяюсь. Не взыщи на угощении!

Мулла Аллаяр посторонился и пропустил двух парней с блюдами плова в руках и мешком мелких, желтых, как лимоны, дынь и других сластей.

– Великий жар Аллах посылает! – сменил ханский сборщик официальный тон разговора на более частный.

– Я уж пойду хлопотать! – попятился Аллаяр.

– Не держу! – лаконически произнес сборщик и захрипел поданным ему тыквенным кальяном.

Долго лежал Бурченко в соломе. Большая половина всего происходившего была видна ему, как на ладони. Близко подходили красные джигиты (кызыл-чапан)[1] к соломенному скирду. Один даже лег поваляться немного, не более как шагах в трех от спрятавшегося. Была минута, когда малоросс совсем уже считал себя погибшим и чуть-чуть не пустил в ход свое оружие.

«Хорошо, что я в солому залез, а не во что другое! – думал он, посматривая, как рядом разбирались для корма клеверные кучи. – На солому-то никто не зарится… Э!..» – он вздрогнул и высвободил руку с револьвером.

Что-то холодное прикоснулось к его шее.

– Пей, а то сомлеешь, пожалуй! – тихо шептал ему женский голос. – Да лежи смирно; может, скоро уедут!

Бурченко узнал Нар-беби, ползком подобравшуюся к его скирду. Женщина протягивала ему кувшин с молоком, заткнутый мокрой тряпкой, и сухую лепешку (чурек).

Минута была удобная, все джигиты, как нарочно, собрались на площадке, где сгоняли баранов для податей, и Бурченко успел благополучно воспользоваться приношением. Ушла женщина и унесла с собой пустую посуду.

А с площадки несся металлический, тихий звук перебираемого серебра и меди – это на разостланном белом войлоке Аллаяр вместе с ханским сборщиком считали коканы и чеки и раскладывали их в кучки по десяткам и сотням.

Потом одежду сносить начали: пятьдесят халатов простых, бязевых двадцать, верблюжьих зимних и двадцать адрасных полосатых. Чуть не со всего кишлака сбирал Аллаяр податную одежду и сам уж от себя поднес сборщику дорогой лисий халат, крытый красным сукном и вышитый на спине и полах шелками и мишурой.

– Якши… Алда-рас-былсых*! – кивнул чалмой сборщик и, для соблюдения этикета, накинул поднесенный халат поверх своего костюма.

– Носи на здоровье! – приложил руки к желудку и потом поднес их ко лбу и губам Аллаяр, а сам подумал: «Чтобы тебе провалиться сквозь землю со всей твоей шайкой, чтобы на тебя Шайтан-каик обвалился, когда ты погонишь мимо него нашу скотину, чтобы…»

Далеко перешло за полдень, когда окончился сбор, и джигиты стали приготовляться к отъезду.

Вперед погнали баранов и коров (кара-мал). Джигиты тупыми концами пик подгоняли отсталых животных и сбивали их в кучи. Один только молодой, черный, как уголь, бычок не хотел, должно быть, покидать свою родину, злобно косился все на красных джигитов и, наконец, нагнув свою широколобую голову с кудрявым завитком между рог, скачками кинулся на ближайшего всадника.

– Э-гей-кой! – крикнул джигит и подставил быку острие.

«Пикадоры! Просто Испания, да и шабаш!» – думал Бурченко, глядя из-под скирды на всю эту живую, оригинальную сцену.

Ему почему-то стало очень весело; он чувствовал, как от его сердца отваливалось мало-помалу что-то тяжелое, скверное. Он чувствовал то, что должен чувствовать человек, наблюдая, как, шаг за шагом, все дальше и дальше удаляется от него смертельная опасность.

---

* Хорошо, благодарен.

«Вот и сам толстый сборщик поднялся, наконец, на ноги; аргамака ему подвели, вот уж садится… Эк его подхватывают и подсаживают со всех сторон! Сел, оправился. Аллаяра нет, он ушел куда-то. Джан-оглы провожает: так и не разгибает спины, все за живот держится и напутственные пожелания произносит. А, подозвал его *тот-то*, нагнулся, говорит и рукой показывает, никак сюда!? Нет, это в другую совсем сторону, туда, где белеет тропа, ведущая к русскому кургану. Суматоха! Человек шесть красных дьяволов отделились в сторону, переговариваются о чем-то…»

– Сюда, скорее, спускайся проворней! – торопливо шепчет сзади сам Аллаяр и рукой тянет его за полу рубахи.– «Тинтян» (дурак) проговорился, искать тебя собираются!

Оглянулся Бурченко, смотрит, на Аллаяре лица нет, даже пожелтел весь, сам руками солому сзади спешно раскидывает.

– Ну, уж живой не дамся в руки, да и дешево тоже не обойдется им! – стиснул зубы Бурченко и спустился на женский дворик.

– Уходи лучше; там тебе баба лошадь держит, не твою, – твоя хороша, да к нашим горам не привычна, – а я тебе даю моего серого. Будешь гнать, не бей в бока гвоздями, что к сапогам у тебя прилажены, а гладь по шее рукой да кричи на левое ухо: «гайда, карак-бар!»* Тогда тебя разве ветер один догонит!

За стеной проскакал всадник, еще и еще… Собака жалобно завыла, забившись в канаву: зад у ней отдавили и чем-то вдоль спины огрели.

– Здесь, должно быть, больше некуда ему спрятаться! – слышался близко хриплый голос желтоглазого.

Бегом пробежал Бурченко через женский дворик, пролез в калитку. Женщина, закрыв лицо накинутым на голову халатом, «серого» в поводу держит.

– Ну, прощай! Скоро проведаю; жив буду, даст Бог увидимся! – наскоро простился малоросс с хозяином и вскочил на седло.

– Ге-ге-гей! Мона мона (вон)! – завыли джигиты, едва только белый плащ «русского крота» мелькнул между сакель, быстро спускаясь к лощине по узкому, кривому переулку.

– Лови, лови! Ур (бей)! – послышалось с другой стороны.

Словно дикая коза, прыгая с камня на камень, через глиняные стенки, сползая на заду с такой кручи, что в другое время и пьяному не пришла бы охота спускаться, несся серый. Он чувствовал, как рука всадника нежно гладила по его тонкой, сухой шее. Он слышал, как над самым его ухом хотя и незнакомый голос произносил знакомые слова: «Гайда, гайда, карак-бар!»

Да, хорошо, что Амин-Аллаяр догадался дать ему своего серого: на рыжем степняке он давно бы сломал себе голову и уж наверное с первой же угонки попался бы в руки красных халатов…

---

* Уходи, воры.

IV. СТАРАЯ ЛИСИЦА

Бржизицкий принадлежал к числу тех темных личностей, которые руководствуются одним правилом: ubi bene – ibi patria[1]. Он явился в Ташкент в то самое время, когда Перлович только что занял место первоклассного торгового деятеля.

Сочувственно отнесся Станислав Матвеевич к новоприбывшему; нетрудно было сообразить, что такая личность, как Юлий Бржизицкий, будет ему небесполезна.

Изучив в совершенстве за последние годы своего пребывания в Верном и ауле Ата местные языки и обычаи, Бржизицкий оказался надежным помощником в торговых операциях Перловича. Не прошло и года, как он положительно стал правой его рукой. Он работал не из-за жалованья, а из известного процента в барыше; значит, его личные интересы были тесно связаны с интересами его патрона.

– Эка пройда, эка пройда! Кабы нашему такого! – говорили про него приказчики распадающейся фирмы Хмурова.

– Талейраном обзавелись[2], батенька! – заявил Перловичу даже сам генерал за завтраком.

– Земляк и преданная личность! – уклончиво произнес Станислав Матвеевич.

Появился Лопатин на ташкентском торговом горизонте. Бржизицкий первый натолкнул Перловича на ту идею, что новый деятель не может не повредить их делу, монополизированному уже потому, что с окончательным падением Хмурова остальные мелкие торговые деятели не представляли Перловичу опасной конкуренции.

Юлий Бржизицкий исчез.

– Куда это вы «своего» командировали? – спрашивал Иван Илларионович Станислава Матвеевича, встретившись с ним на туземном базаре!

– А я его в Ирбит послал: меха приторговать. Там еще кое-что я затеял! – отвечал Перлович.

Лопатин поверил и не справлялся, да и справки ни к чему бы не повели, потому что в чимкентской почтовой книге значилось, что Бржизицкий уехал именно на Верный, значит, по сибирскому тракту.

Почтовая тележка-тарантасик только что остановилась у навеса станционного дома. Весь в белой парусине, с дорожной сумкой через плечо, запыленный так, что невозможно было распознать цвета волос на голове и бороде, усталый и несколько разбитый, впрочем, несмотря на эту усталость, приветливо кругом улыбающийся, Юлий Адамович Бржизицкий вылез из повозки,

произнес: «Наконец-то!» и послал сартенка, одного из тех, что толпились у крыльца с лотками винограда и абрикосов, за извозчиком-долгушкой.

– С приездом имею честь… Долгонько изволили в отсутствии находиться! – показался на крыльце смотритель из отставных казачьих офицеров.

– Да, такиповояжировал! – перехватил Юлий Адамович саквояж в левую руку, чтобы освободить правую для рукопожатия.

– Станислав Матвеевич приезжали намедни… очень беспокоились…

– Дела, да и далеконько!

– До Иркутска доезжать изволили?

– В ту сторону… Там никого нет?

Юлий Адамович кивнул на окно общей приемной комнаты.

– Офицера два из Чиназа: казначей с адъютантом, барыня с ними… Зайдете?

– Нет уж, я спешу… Сюда подкатывай, ближе к крыльцу. Ребята, помогите-ка!

– Вещи накладывай на дрожки, живо! – скомандовал смотритель ребятам, дюжим ямщикам-туземцам, дремавшим на припеке у завалинки.

– Иван Демьянович вчера приходил под вечер; справлялся, между прочим, не приехали ли… Прикажете?

Смотритель чиркнул о подошву своего собственного сапога спичкой, заметив, что приезжий вертел в руках только что обрезанную сигару.

Юлий Адамович пристально взглянул на смотрителя; тот щурился на солнце и прикрывал рукой мигающее пламя спички.

– Что это он так интересуется? – произнес Бржизицкий, помолчав немного. – А он сам давно приехал?

– С неделю будет. У них тут беда стряслась, не изволили слышать?

– Что такое?

Смотритель поспешил чиркнуть другую спичку, потому что первая была потушена неловким движением Бржизицкого при закуривании сигары.

– Караваны лопатинские, того-с, обработали дочиста: машины и все прочее; кто говорит тюркменцы, кто говорит адаевцы, кто думает, что ни те ни другие, а…

– Какие машины?

Бржизицкий повернулся спиной к собеседнику. Надо было поправить какой-то ящик, слишком свесившийся с дрожек.

– А уж не знаю доподлинно. Говорят, шелкомотальные, прядильные и разные прочие. На большой капитал потеря! За город или в караван-сарай?

– За город! Трогай, братец! – уселся Бржизицкий верхом на дрожки, поприжав чемодан коленом, прихватив все сверху левой рукой.

– Прощенья просим!

В углу двора, в стороне, противоположной той, где находились ворота, стоял большой полуразобранный тарантас. На фордеке этого тарантаса сидел красный петух, ворочал шеей, хохлился, расправлял крылья и, по-видимому, приготовлялся запеть; пониже его, на подножке козел, сидела мохнатая шавка, томно склонив голову, высунув язык набок и бросая на петуха

самые умильные взгляды. Эта ли сцена, или что-нибудь другое так увлекло Юлия Адамовича, что тот сосредоточил все свое внимание в данном направлении и положительно не видел, как в ворота, навстречу выезжавшему экипажу, показалась конская голова, за ней светлое пальто, такая же светлая шапка из-под козырька которой краснелись полные, одутловатые щеки Ивана Демьяновича.

Катушкин нисколько не озадачился, встретившись на почтовом дворе с Бржизицким, он знал уже о его приезде – ему дали знать с этой же станции, и он поспешил сюда только для того, чтоб лично удостовериться в этом.

– Отвернулся, не глядит, совесть не чиста, видимое дело! – улыбнулся он, глядя на маневры Юлия Адамовича.

– Потрогивай, братец! – толкнул тот в спину кучера, все еще интересуясь сценой на сломанном тарантасе.

– Юлий Адамович! Сколько лет!..

Катушкин встал в воротах, так что дрожкам нельзя было миновать его лошадь. Бржизицкий видел, что избежать встречи невозможно.

– А! – повернулся он в эту сторону и изобразил на лице что-то вроде улыбки.

– А тут вас поджидали! Станислав Матвеевич даже захворал от беспокойства, что это вы так замешкались? Ну, что Ирбит, что новенького? Бывал я там, давно еще, мальчишкой… Да вы спешите, что ли, куда?

– Да, да, спешу! Ну, здесь что, как? Все ли благополучно? Я слышал, не знаю, насколько это верно, но еще в Чимкенте…

– Это насчет караванов нашей фирмы? – пристально поглядел Иван Демьянович прямо в глаза Бржизицкого и тихонько начал поворачивать лошадь.

– Да, говорили, что-то очень серьезное?.. Трогай же, братец!

Извозчик почувствовал еще толчок в спину.

– Ничего, пустяки; оно точно, что убыток, да супротив судьбы нешто пойдешь? А, впрочем, дело маловажное… как по чьему, впрочем, капиталу. Сегодня вечером, может, посвободнее будет – приезжайте к Тюльпаненфельду, поболтаем!

– Не знаю, будет ли время; впрочем, меня так интересуют подробности «этого дела»…

– Какого это-с?

Бржизицкий вскинул глазами и усиленно затянулся дымом сигары.

«Ишь, пытает!» – подумал он.

– Да вот все насчет каравана. Ведь этакий, подумаешь, случай!.. Постараюсь быть, постараюсь! До свиданья!

– Прощайте!.. То-то, чай, Станислав Матвеевич обрадуется; а он, сердечный, сильно осунулся, сильно!

– Что так?.. Трогай же!

– От беспокойства душевного, полагаю… Так до вечера?

– До вечера!

Дрожки покатились по шоссе. Катушкин, не въезжая во двор станции, повернул лошадь и рысцой поплелся к дому Ивана Илларионовича.

Едва он отъехал несколько шагов, как ему навстречу продребезжала еще почтовая повозочка парой; что-то похожее на узел выскочило из этой повозочки и подкатилось к ногам его лошади.

– Стой, стой! – крикнул вслед Иван Демьянович.

– Стой! – ревела басом шинель в повозке, собственноручно хватаясь за вожжи.

– Обронили-с! – указал на узел Катушкин, взявшись за козырек фуражки.

– Покорнейше благодарю! Сам вовремя заметил! – произнесла шинель, тоже раскланиваясь.

Катушкин поехал дальше. Шинель снова уселась в повозку, втащив за собой узел, и крикнула: «Пошел!»

Повозка въехала во двор.

– Эк их нынче разносила нелегкая: телега за телегой! – проворчал смотритель, глядя в окно на нового приезжего.

– А где тут комната для приезжающих? Покажи-ка, братец!.. Эй, ты, леший, скуластое рыло, тащи чемодан! Сюда, что ли? – озирался во все стороны приезжий, видимо, не узнавая местности. – Фу ты, дьявол! Ничего не пойму! Эка город выстроился на пустырях то, ха-ха!.. Мое почтение! Вы здешний смотритель?

Он заметил в дверях форменную фуражку с кокардой.

– Точно так: хорунжий Дрыгин! Подорожную пожалуйте!

– Сипаков, из форта Забытого, по открытому предписанию!

– Проходите в горницу-с. Самовар потребуется?

– Не дурно бы… Эка обстроились, эка обстроились! То есть ни за что бы не узнал… места бы не узнал даже!.. Осторожнее, братец, что об угол шаркаешь? Видишь – вещь ценная!.. Ух! Фу ты, ну и жара же!

– Вы, верно, давно не были в Ташкенте? – поинтересовался хорунжий Дрыгин, входя вместе с приезжим в горницу.

– С самого занятия… Я еще из черняевских – из старых… Да прошу со мной чашку чаю… что же, право?

– Ежели с благородным человеком в компании, притом же по нонешнему жаркому времени…

– Я, знаете, с ромом… из самого Забытого везу: «ром-головолом» прозывается!

– Да вы веселый! Может, на крылечко столик вынести?

– На вольном воздухе? Важно!

Два ямщика принесли стол, накрыли его чем-то вроде попонки, принесли и самоварчик, зеленовато-бурый, нечищеный, вероятно, тоже с черняевских времен. Самоварчик этот бойко шипел, посвистывал и во все стороны брызгал горячим паром. Уселись.

– В мое время вот и тут, и тут, и даже там-с – все это, верите ли, был чистейший пустырь: саклишки кое-какие татарские были – впрочем, самая малость, а больше все так – пустопорожнее место… А теперь, ишь ты, вплоть до Салара застроилось, и важно застроилось… я проезжал, видел. Воочию чудеса, право!

– Собор новый воздвигается… Позвольте, я наливать буду?

– Прошу покорно… Видал, видал, как же! Извозчики, биржа!.. А это что за домики на выезде?

– Бани громовские[3], а правее – окружный совет… Я сливок велю подать?

– А вот мы этих, от бешеной коровы, хе-хе!

– По казенной надобности или по своей?

– Я-то?

– Да-с!

– По своей… а, может, и по чьей другой… Еще прошу стаканчик, да лейте больше этого-то «головолому»!

– Можно-с!

– Знаете вы, позвольте вас спросить, милостивый государь, господина коммерсанта Перловича?

Сипаков подбоченился, глотнул из стакана и вопросительно посмотрел на собеседника.

– Как не знать! Вы это к нему?

– К нему, да-с… А не изволите ли вы, милостивый государь, знать господина Бржизицкого?

– Юлия Адамовича! Как же, и его знаю!

– Юлия Адамовича, вы говорите? Так, литера Ю действительно: «Ю. Бржизицкий», так, так.

– Да он сейчас здесь был. Вы должны были с ним встретиться, только что перед вами выехал!

– Полный такой, круглолицый, весь в белом?

– Он самый!

– Как же, встретились, точно, любезный господин: «Обронили-с!» говорит, а я ему: «Покорнейше благодарю, сам видел». Узел тут с тряпьем, ящик в повозке дырявый… Как же, встретились. Так это он самый и есть?

– Да, Юлий Адамович Бржизицкий, поверенный и компаньон Станислава Матвеевича!

– Гм! Будем знать, каков он из себя видом… Пожалуйте еще стаканчик!

– Не лишнее ли? Так у вас к ним и дело есть? Что же, по коммерции или так, административное?

Хорунжий Дрыгин долго силился, чтобы отчетливо выговорить последнее слово, и даже крякнул от удовольствия, – знай, мол, наших!

– А как придется. Оно, пожалуй, что коммерческое, а то и до администрации может коснуться, как выгорит… Лейте больше!

– Да вы-то что же сами? Позвольте-с, какое же такое дело-с?

– А такое, что секретности требует – так то-с!

– Конфиденциальное-с! Так сказать, инкогнитное… Долей, брат, самовар, да подбавь угольков… Разве яичницу с сухарями сработать?

– Не дурно бы!

– Мы ее, знаете, с луком…

– Первый сорт!

– Эй, позови тетку Марью!.. Да мы не переберемся ли на мою половину? А то, знаете, ежели знаете, вплотную…

– Да, оно здесь немножко людновато!

– Сан-фасонисто очень… милости просим!.. Фу, ты, дьявол, эк качнуло!

– Потому «головолом»… Тащи все за нами!

– Пожалуйте наперед!

– «Обронили-с», говорит, хе-хе-хе! Политичный человек! Сами, мол, знаем, покорнейше благодарим!

– Ты слушай, ежели проезжающий будет или там что еще, так чтобы у меня все в порядке…

Хорунжий Дрыгин взглянул особенно строго на писарское пальто, наблюдавшее за всей сценой, сделал внушительный жест и метнулся к двери. Сипаков зашагал за ним, задев ногой за табурет и повалив его вместе с лежавшим на нем саквояжем.

– Ух, чуть не забыл! Подыми, братец!.. Вот оно тут, мы его для прочности через плечо, рукой за ушко прихватим! «Обронили-с!» Хе-хе!.. Покор…

За стеной загудел приближающийся колокольчик. Сипаков и хорунжий Дрыгин скрылись за дверями.

– Ежели, паче чаяния, сам генерал… – высунулась, было, из окна голова Дрыгина.

– Да уж будьте покойны: знаем свое дело! – успокоило его писарское пальто.

V. ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ УЖЕ НАД ГОЛОВОЙ

– Вы мне писали об этом. В письме, как вы сами говорите, сообщались все подробности дела. Этого письма здесь нет. Где оно? Где оно может быть? Это письмо – ваша улика, – поймите вы это, Бржизицкий!

Станислав Матвеевич остановился перед своим поверенным и пристально взглянул ему прямо в глаза. В этом взгляде выражался и страх, и надежда. Он думал, он был почти уверен, что ответ Бржизицкого успокоит его; стиснув зубы, затаив дыхание, он ждал этого ответа с таким точно чувством, с каким

приговоренный, стоя уже на эшафоте, смотрит, как вскрывают только что, сию минуту присланный конверт; в этом конверте, может быть…

«Может быть, опасность вовсе не так велика; может, она только мнимая? – пробегало у него в голове. – Вот сейчас Юлий Адамович вынет из кармана это письмо и скажет: “Да вот оно, почтеннейший Станислав Матвеевич; бросьте его в камин, если угодно, благо, он так жарко топится”. И сгорят на этих красных угольях все эти страшные улики, отнявшие у вас сон, спокойствие, сделавшие из вас в какие-нибудь три недели ходячую мумию».

– Ну, что же?

Перлович положил руку на плечо Бржизицкого; тот сделал невольное движение: такое неприятное чувство произвело прикосновение этих сухих, костлявых пальцев, холод которых ощущался даже сквозь парусину его пальто.

– Потеря или исчезновение этого письма для меня новость, и новость весьма неприятная! – произнес Юлий Адамович.

– Ага!

Перлович чуть не отскочил назад и нервно зашагал по комнате.

– Что же нам теперь остается делать? Ждать, как бараны, когда придут к нам с ножом? Ждать ареста, суда, потери всего? Письмо это теперь в руках…

– Оно может не находиться ни в чьих руках. Оно, может быть, потеряно на дороге и уничтожено. Наконец, оно могло попасть и в такие руки, которых нам опасаться нечего. Во всяком случае, отчаиваться не следует – по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что письмо попало именно туда, откуда нам может грозить настоящая опасность!

– Это письмо в руках Лопатина!

– Почем знать!

– У меня есть проклятое предчувствие, что оно именно там. Вчера я встретился с Катушкиным, сегодня утром я видел самого Лопатина: эти взгляды, эти намеки… я не могу их переносить!

– Это для нас было бы самое худшее!

– Вы говорите так спокойно. Вы говорите, как будто я не рискую потерять разом все – и средства, и…

– Рискуете? И я рискую столько же, сколько и вы, даже больше!

Юлий Адамович задумался, пошевеливая щипцами уголья в камине. Он даже рукой отмахнулся, когда Перлович опять начал распространяться о своих предчувствиях. Озадачило сильно его исчезновение этого письма. Вот перед его глазами, застилая черный силуэт каминной решетки, стали проходить все подробности дела, все эпизоды его разнообразного, полного приключений путешествия «с коммерческими целями». Он взвешивал теперь каждый шаг, каждое положение. Он соображал.

Станислав Матвеевич шагал из угла в угол; проходя мимо своего поверенного, он задерживал шаг, словно хотел остановиться, пожимал плечами и нервно ломал свои пальцы.

– Да, они напали на след! – ясно и отчетливо произнес Бржизицкий после довольно продолжительного молчания.

– На след… – машинально повторил Станислав Матвеевич.

– Эта хитрая лисица гналась за мной от самых Барсуков, – говорил ровным голосом и, по-видимому, совершенно спокойно Бржизицкий. – Он обнюхал все мои следы, он рыскал по аулам и собирал сведения. Мне нужно было убедиться в этом; я нарочно выждал его в Большом форте – и убедился. Меня не спасло бы даже переодевание. Со всех сторон оцепили дворик, мне некуда было деться. Меня предупредили поздно, и я ушел только чудом!

Станислав Матвеевич перестал ходить по комнате, звук его шагов по ковру прекратился. Бржизицкий поднял голову.

– Они искали аптекаря Нигебауера, – продолжал он, – господина с рыжей бородой, в синих очках. Они не тронули оборванного «лаучи», протащившего мимо них верблюжье седло на своей спине.

– Аптекаря Нигебауера, вы говорите?

– Да, так думали другие, но эта старая лисица знала, за кем гонится; я обманул ее, я спутал свои следы так, что она потеряла меня из вида. Я пробрался на сибирскую дорогу. Катушкин был уже здесь, в Ташкенте!

– Он приехал уже давно?

– Не знаю. Он встретил меня на станции, и эта встреча не была случайной. Это ясно было видно по всему. Он ждал меня, ему надо было только видеть меня, только взглянуть на меня!

– И теперь, когда вы тоже убеждены, что Лопатин знает настоящих виновников этого «дела», когда мы уже открыты…

– Я этого не говорил!

– Но сейчас, сию минуту!

– Они могут догадываться, они могут знать даже наверное, но покуда нет улик – нет и опасности!

– Это письмо…

– Это письмо может нам только очень дорого стоить. Оно наших рук миновать не может!

– Я не понимаю вас!

– Допустим, что вскрывший это письмо сумел оценить его значение и намерен извлечь из него для себя пользу. Прежде всего, он обратится к нам. Кто даст ему дороже нас за его молчание? Кто более всего заинтересован этим? Мы. Это сообразить нетрудно!

– Но до сих пор еще никто не являлся!

– Это меня крайне радует. Может быть, никто и не явится. Во всяком случае, мы будем предупреждены вовремя. Нельзя же допустить, чтобы тот,

в чьих руках находится это письмо, не предпочел бы скорее получить от нас хорошие деньги, чем удовольствоваться какой-нибудь грошовой официальной наградой!

– «От нас», – повторил Перлович. Его почему-то покоробило от этих слов, да и вообще фразы: «мы, наше дело, наши средства» – производило на него какое-то весьма неприятное чувство.

– Да, от нас. Что делать, придется, может быть, поплатиться, а может быть, и так сойдет; но чтобы отчаиваться и считать все потерянным…

– Вы мне дали этот совет, вы, ссылаясь на свою опытность, уверили меня в полном успехе этой интриги… – резко заговорил Станислав Матвеевич.

– А разве мы не успели, разве мы не достигли того, что нам нужно? Если бы только не это письмо…

– Проклятое письмо!

– Сегодня вечером я буду говорить с Катушкиным. Мы условились видеться с ним у Тюльпаненфельда. Если бы вы могли под каким-нибудь благовидным предлогом поехать к Лопатину, это было бы тоже очень недурно. Надо постараться выпытать у них все, что только возможно; надо хорошо изучить оружие своего противника, и я начну это сегодня же вечером.

– Бржизицкий!

Станислав Матвеевич хотел что-то сказать своему поверенному, но, должно быть, раздумал. Он потер себе лоб, глотнул из стакана, в котором, в чем-то розовом, плавал кусок льда, и начал закуривать сигару.

– Я слушаю! – произнес Юлий Адамович, не поворачивая головы.

– Видите, я хочу вам сказать, предупредить вас! – В тоне голоса Перловича зазвучали нерешительные ноты. – Мне было бы очень грустно, если бы вы перетолковали мои слова в другую сторону!

– В чем же дело?

– Вы не можете быть настолько наивны, чтобы не знать, что мы оба, то есть и вы, и я, – Перлович сделал особенное ударение на слове *вы*, – рискуем совершенно одинаково. Оба равно виноваты!

– Ну-с?

– Вы понимаете, что я хочу сказать, я не могу подыскать настоящего выражения!

– Говорите прямо. Вы боитесь, чтобы я того… не продал вас, просто-напросто? Ну, хорошо-с, откровенность за откровенность. Я приехал сюда и сошелся с вами года два тому назад, у меня не было тогда ничего, а теперь я смотрю на ваше дело, как на свое собственное, во всех отношениях, и, значит, поднимать руки самому на себя мне не приходится!

– Я вас понял! – произнес Станислав Матвеевич и взглянул на своего собеседника.

Хорошо, что Бржизицкий отвернулся в это мгновение и искал свою фуражку, иначе он заметил бы, сколько злости, сколько непримиримой ненависти блеснуло в этом, по-видимому, совершенно безжизненном, апатичном взгляде.

– До свидания пока! – поднялся Юлий Адамович. – А хорошо бы, если бы вы сегодня же съездили к Лопатину. Ведь у вас за это время до открытого разрыва не доходило?

– Буду. Вы к Тюльпаненфельду?

– Да; надо быть аккуратным!

И, не протягивая руки хозяину, Бржизицкий вышел из комнаты, притворил за собой дверь, постоял минутку, прислушался и не спеша направился по галерее, тянувшейся с этой стороны вдоль всего дома Станислава Матвеевича.

Весь день и вечер Перлович не выходил из дома. Поездку к Лопатину под каким-то благовидным предлогом он отложил до другого дня.

Запершись у себя в кабинете, он все время рылся в книгах, считал что-то такое, откладывал в сторону разные бумаги и документы, проверял сосчитанное и снова принимался щелкать костяшками счетов. Все это он делал торопливо, вздрагивая и даже озираясь по сторонам при каждом неопределенном стуке. Со стороны его можно было бы скорее счесть за что угодно, только никак не за хозяина, занимающегося у себя в кабинете своими собственными делами.

Массивные металлические дверцы несгораемого шкафа несколько раз отворялись и затворялись, без шума поворачиваясь на своих ловко прилаженных, смазанных петлях.

С особенным вниманием Станислав Матвеевич отнесся к довольно увесистой пачке наличных денег, как нарочно вчера только полученных и не пущенных еще в оборот; он пачку эту положил особенно, тщательно уложив ее предварительно в дорожную сумку.

Далеко за полночь возился Станислав Матвеевич у себя в кабинете, наконец, кончил.– «Если придется бежать, то, по крайней мере, все будет готово», – решил он, кутаясь в плед и ежась от несносного лихорадочного озноба.

Он был почему-то убежден, что бегство неизбежно.

VI. НЕДОРАЗУМЕНИЕ

В ресторане Тюльпаненфельда давно уже горели новые канделябры; зажжены были и матовые стеклянные шарики, развешанные на проволоках между кустами запыленного тутовника вдоль всей наружной решетки. Официанты во фраках и в кожаных туземных шароварах убирали остатки обеда с большого стола посреди залы и меняли залитые вином салфетки… Где-то за стеной наигрывала шарманка и слышался сиплый женский голос, напевающий «Скажите ей»[1]; в бильярдной щелкали шары, и кряхтели игроки,

сытыми, переполненными желудками наваливаясь на бильярдные борта… Двое из посетителей спали в креслах, замаскировавшись газетами, из-под которых виднелись только ноги их в синих панталонах с лампасами и сапогах со шпорами. Человека три сидели в темноте на балконе, где виднелись только красные огоньки их сигар, то потухающие, то разгорающиеся, озарявшие на мгновение щетинистые усы и свежевыбритые подбородки… Старший приказчик Тюльпаненфельда сводил счеты и, между прочим, придерживая пальцем то место, где останавливался, объяснял облокотившемуся на прилавок чиновнику, почему со вчерашнего дня рюмка обыкновенной очищенной стала не пять, как прежде, а десять копеек.

– Так это для контроля? – недоумевал чиновник.

– Да-с, для правильности, потому как не у всякого совесть в должной наличности состоит…

– Ну, вот! Все народ благородный…

– Положим, а все-таки… Да вот, сами знаете, прежнее положение – рюмка пять, закуска – пять, итого те же десять, только порознь… За водкой я усмотреть всегда могу, потому графины у меня под рукой; а тут – где же? Один вилкой тычет, другой тычет – посетители навалят к прилавку, где углядеть?! С него десять следует, а он говорит только пять: «Я, мол, не закусывал», а где уж тут не закусывал, коли и прожевать не успел порядком… Нет-с, теперь я знать ничего не хочу. Не в пример удобнее!

– Так, так…

– Десять копеек подай, и шабаш!.. Ивану Демьяновичу-с!

– Здравствуй, брат, здравствуй! Комнатка желтенькая свободна?

– Пожалуйте-с!

– Придет «лях» – скажи ему, где я. Да он не был еще, не показывался?

– Юлий Адамыч-то? Слышал, что приехать изволили, а здесь еще не были!

– Чайку собрать и красненького… Здравствуйте, батюшка, здравствуйте! – наконец-то заметил Катушкин шестой раз возобновлявшего свои поклоны чиновника у прилавка.

– Иван Илларионович как-с, в своем здоровье?

– А ничего – что ему делается, Христос с ним!

– Сродственницы как?

– Сродственницы? Хе-хе! Сродственниц-то этих мы скоро того-с – тю-тю! Листок нынешний где? Да вон он никак на судке лежит? Подай-ка его сюда!

И, захватив газету, у которой один угол был уже оторван особенно любознательным читателем, Иван Демьянович бочком поклонился и с перевальцем направился в угольную.

– Сколько с меня? – полюбопытствовал как-то вскользь чиновник.

– Что кушали?

– Водки очищенной рюмка, этой вот, зелененькой, тоже, этой маленькая, вон той еще одна и один бутерброд с языком!

– Осетрину в уксусе кушали?

– Нет, осетрины не ел!

– Ох, кушали!

– Один только бутерброд… Четыре водки и один бутерброд!

– То-то вот оно и есть! Без пятачка полтина!

– Запишите там…

Последние слова были произнесены совсем уже на лету. Чиновничья спина, суетливо пробиравшаяся между стульями, виднелась уже у самой выходной двери и стушевалась во мраке.

– Это сукно уже было прорвано, мерзавцы! И здесь, и тут, и тут, вот еще наклеена заплата, – ишь, мошенники!.. – горячился чей-то баритон в бильярдной.

Недолго пришлось Ивану Демьяновичу дожидаться в «угольной желтенькой»: не успел он пробежать и первого столбца «Туркестанских»[2], как в общей зале послышались приветственные восклицания, вкрадчивый, мягкий голос Юлия Адамовича, о чем-то осведомлявшийся, и фраза: «Сюда пожалуйте; проведи барина!» – «Один?» – «Одни-с!» – «Э… гм!»

Бржизицкий развязно вошел в комнату, произнес: «Каюсь, опоздал. Добрый вечер, коллега!» и еще издали протянул обе руки, обнаруживая намерение дружески заключить Ивана Демьяновича в свои объятия.

– Я только что, только что перед вами! – оставил газету Катушкин. – Сюда не садитесь: ножка что-то не того… на диванчик лучше. Ну, что, как патрон ваш, в добром ли все порядке найти изволили?

– Все, как должно: что хорошо, что дурно. В контору забегал, дела о подрядах просматривал… Вы нам с вашим-то немного… comme ça[3]!

Бржизицкий наглядно изобразил ногой, как дают подножку.

– Дело торговое!

– То-то торговое! Вы бы меня подождали, а то двое на одного рады навалиться!

– Извините-с, Иван Илларионович все один орудовал, своим собственно только умом, потому я был в отлучке!

– Куда же это вы вояжировали? – крайне озадачился Юлий Адамович.

«Ишь, прикидывается, каналья»! – подумал Иван Демьянович.

– За мамзелью командирован был, а потом по степи колесил по случаю этой оказии!

– Да, да, слышал, еще на дороге слышал. Скажите, весьма любопытно! И как все это вышло? Рассказывайте!

Бржизицкий даже ближе немного подвинулся, так уж ему было любопытно. Поглядел искоса Катушкин на своего «коллегу»: «Смотрит так просто, ложечкой в стакане помешивает, сахарцу подложил кусочек, бестия!»

– Да что рассказывать: чай, сами все хорошо знаете! – неожиданно произнес он, да так и воззрился на своего собеседника, как ястреб на закопошившуюся в жниве перепелку.

– Позвольте, у вас муха в стакане! – качнулся к самому столу Бржизицкий и тщательно принялся ловить ее на кончик своей ложечки.

– Откуда же мне знать? – спокойно произнес он, окончив эту операцию.

– Откуда-с? – повторил Катушкин, сделал значительную паузу и добавил:

– Хоть из газет, положим, чай, все уже давно описано в Листке-то?

– Не читал!

– Да-с, дела! Такой, я вам доложу, непредвиденный пассаж, что только разве наша фирма и могла выдержать. Все было кругом спокойно, ничего худого не слышно. Четыре каравана в Бухару перед нами прошли благополучно, а тут – накось! Симсона знаете?

– Какого Симсона?

– Не знаете? Гм! Англичанин, машинист. Да, позвольте, ведь вы еще с ним в Самаре, в «Златокрылом Лебеде» разговаривали!

– Я?! Я вас не понимаю. Я, в Самаре?!

Бржизицкий передернул плечами с видом полнейшего недоумения.

– Фу ты! Все я забываю, что вы в Ирбит ездили. Мне показалось… черт знает, что это мне показалось. А тут еще Симсон, покойник, говорил мне, будто видел вас. Да-с, убили беднягу, ухлопали сердечного! Так, ни за что сгиб парень; если бы его в полон повели, ну, еще бы ничего; наш выручил бы, денег не пожалел бы, выкупил; а тут, без всякого проку, самым разбойничьим манером… Да и не один Симсон!

– Кто же еще? – закашлялся Бржизицкий, быстро поднялся и отошел в угол, где стояла плевальница.

Не то посмеиваясь, не то просто щурясь, глядел Иван Демьянович на эту спину и плечи, вздрагивающие от какого-то подозрительного кашля.

«Покусывает!» – подмигнул он одним глазом, словно в комнате был еще кто-нибудь третий.

«Пытка, это пытка! – процедил сквозь зубы Бржизицкий. – Он все знает. Он убежден теперь вполне, и если бы только улика, хотя какая-нибудь улика…»

Он вздрогнул и обернулся. Дверь приотворилась как-то подозрительно, откуда выглянула незнакомая физиономия, кашлянула легонько и опять скрылась. В голове Бржизицкого мелькнула мысль о западне, об аресте.

– Ну что же? Вероятно, было следствие; открыли что-нибудь? – говорил Бржизицкий слишком уже спокойным голосом, снова подходя к столу.

– Все открыли. Что надо было, то все открыли! – произнес Иван Демьянович, потирая руки и не спуская своих прищуренных глаз с лица Бржизицкого.

Положение Юлия Адамовича было невыносимое. В его мозгу копошилось страшное подозрение: неужели это письмо у него в руках? Этот решительный тон, эта уверенность…

Опять скрипнула дверь, опять мелькнуло там что-то воинственное. Бржизицкий невольно покосился на открытое окно, откуда лезли в комнату запыленные ветви. Он чувствовал, что начинает теряться, он чувствовал потребность перевести свободно дух, оправиться. Ему предстояла схватка, а он был к ней так мало подготовлен. Противник оказался гораздо сильнее, чем предполагалось.

– То есть вот как! – продолжал в том же тоне Иван Демьянович. – Все дело теперь как на ладони. Недаром сорок восемь дней по степи рыскал, зато вот-с…

Он протянул руку вперед, почти к самому лицу Бржизицкого, и сжал в кулак.

– Все тут! Так-то-с!

– Дай Бог! Дай Бог!

– Ровно знакомый кто-то? – присмотрелся Иван Демьянович через плечо Бржизицкого к еще раз приотворившейся двери. – В большом форте встретил я. Куда же это вы?

– Я сейчас, на одну минуту: портсигар в пальто!

Бржизицкий быстро поднялся и вышел из комнаты. Сюртук шарахнулся от двери, пропустил мимо себя стремительно пронесшегося Юлия Адамовича, подумал немного, пощупал что-то в грудном кармане своего сюртука, откашлялся основательно и шагнул через порог.

– Мое почтение-с! – начал Сипаков.

– Здравствуйте! – произнес Катушкин, узнав, наконец, встреченного им сегодня утром приезжего.

– Имея крайнюю надобность в личном объяснении, я покорнейше прошу уделить мне несколько времени для оного. Сипаков, имею честь рекомендоваться; приехал из форта Забытого!

– Что прикажете-с?

Сипаков стоял в той позе, в какой обыкновенно являются к начальству с докладом, только на физиономии его выражалась не та изысканная, доведенная до крайних пределов почтительность, а какое-то «себе на уме». Его осовелые немного глаза, его усы, лихо закрученные помадой с воском, эти шевелящиеся морщинки на висках так вот и говорили: «А как я тебя, любезный, сейчас передергивать стану, держись!»

– С господином Бржизицким имею честь говорить?

Иван Демьянович пристально посмотрел на капитана и ответил не сразу.

– Да вам что угодно? – предпочел он, немного помолчав, эту уклончивую форму.

– Не благоугодно ли будет устроить обстановку так, чтобы нам не могли помешать. Господин, что сейчас вышел, обещал скоро вернуться, а дело такое, что всяк посторонний…

– Подождите четверть часика в соседней горнице; я сейчас к вашим услугам! – заинтересовался Иван Демьянович и не без досады посмотрел на дверь, в которую снова должен был войти Юлий Адамович.

– Буду ожидать. Я здесь налево, сейчас у крайнего столика!

– Очень хорошо-с!

Сипаков вышел.

Катушкин начал соображать.

«Бржизицкий сегодня только приехал, этот тоже. Очевидно, они друг друга не знают. Хочет что-то сообщить; видимо, дело важное. А ну как?..»

Иван Демьянович даже на диване заерзал от нетерпения.

В дверях появился Павлушка-официант.

– Юлий Адамович… – начал, было, он во все горло.

– Тс! Говори тише.

– Юлий Адамович просили извинить-с: нездоровье какое-то приключилось, взяли дрожки и домой поехали… – договорил Павлушка совсем уже шепотом.

– Домой уехал, гм… Это верно?

– Сам видел-с. Я им еще фуражечку на крыльцо вынес. Сели и поехали, говорят: «Поди, мол, скажи…»

– Ну, ладно, проси господина, что был здесь сейчас!

– Э, гм!.. – откашлялся за дверями Сипаков.

– Пожалуйте-с!

Иван Демьянович сделал рукой пригласительный жест. Сипаков собственноручно запер за официантом дверь и даже поискал глазами крючка или какой-нибудь задвижки.

– К вашим услугам! – привстал Катушкин.

– Это тоже, позвольте-с… все вернее будет, а то тут народ, я вам доложу, чуткий!

Сипаков направился к окну и тоже тщательно прихлопнул его, хотел, было, притворить каминную дверцу, да, должно быть, раздумал.

– Видите ли, в чем дело-с, – начал он, присев на стул. – Люди вы это, богатые, с капиталом, я же человек маленький, кроме жалованья ничего не имею…

«Вот тебе раз, никак, просто-напросто на бедность просить пришел?» – подумал, было, Катушкин.

– Не приобретете ли вы у меня один документик?

– Какой документик?

– Акция такая, что ни на одной бирже не появлялась еще, а на охотника ежели – больших денег стоит!

– Ну-с?

Катушкин смотрел на Сипакова, Сипаков на Катушкина. Первый недоумевал, в чем дело, второй, видимо, собирался, что называется, огорошить.

«Ведь и не сморгнет!» – подумал Сипаков, запуская руку за пазуху. – Да что тут долго тянуть. Это вот видали-с? Извольте прочитать!

И Сипаков, вытащив из кармана аккуратно сложенный большой лист, четко и крупно исписанный, подал его Ивану Демьяновичу.

Молча взял в руки Катушкип бумагу, развернул ее и начал читать, подвинувши к себе канделябр поближе. Сипаков наблюдал за читавшим, поглядывая через верхний край развернутого листа.

Лихорадка начала трясти лопатинского поверенного при чтении этого документа, пальцы впивались в прыгающий перед глазами лист и оставляли на нем потные пятна.

– Э, гм! – откашлялся Катушкин и, не отрывая глаз от строк, ощупал дрожавшей рукой стакан и жадно глотнул из него раза два. У него в горле все пересохло и даже в глазах зарябило от сильного прилива крови.

«Разобрало!» – замечал Сипаков все изменения на широком, побагровевшем лице читавшего.

Катушкин снова принялся перечитывать.

– Это не его рука, это копия! – произнес он и сам не узнал своего голоса.

– Копия-с! – улыбнулся Сипаков. – А вы думали, вам оригинал-то, документа самый, так и вручат сразу? Мы тоже не ногой сморкаемся…

– Письмо это с вами, настоящее?

– А там как придется… пока в нем не предстоит надобности. Вот мы, как следует порядочным людям, потолкуем, в цене сойдемся, а там из рук в руки…

– Однако вы из ловких!

– По простоте-с!

– Какую цену желательно вам получить за это письмо?

– А как вы полагаете?

– Где вы его взяли?

– Невидимо Господь снискал своей милостью!

– Дело, знаете, вышло серьезное… Что нам тута в трактире решать! Не поедем ли мы лучше к моему хозяину: совместно и порешим? Может, и кончим сразу… – вкрадчиво начал Катушкин.

– Если вы насчет чего такого замышляете, так это напрасно, потому со мной вы ничего не поделаете иначе, как по доброму согласию. Письма со мной в наличности нет; где оно находится – вам не будет известно!

– Напрасно беспокоитесь. Силой от вас ничего отнимать не будут, а потому больше, что много удобнее… Угодно-с?

– Что же, поедем; за городом живете, я слышал?

– В самом центре-с… пожалуйте. Павлушка, к счету приспособь! – кивнул Иван Демьянович на стол и, прихватив Сипакова под локоть, направился к двери.

Уж очень он боялся выпустить из рук так неожиданно появившегося Сипакова. Он даже нарочно черным ходом прошел с ним, чтобы не встретиться с кем-нибудь в залах ресторана.

– И притом позвольте предупредить… я не совсем с пустыми руками… – уперся, было, капитан.

– Э, батюшка! – махнул рукой Иван Демьянович. – Подавай, долгушка! – крикнул он, когда им в лицо пахнуло свежестью ночного воздуха, и тотчас же попятился назад, на крыльцо, – так неистово хлынули на него со всех сторон налетевшие из мрака конские морды, под самыми разнообразными дугами.

– Легче вы, черти! – отмахнулся Сипаков.

– Садитесь, милости просим! – приглашал его Катушкин, поправляя рваную полосатую подушку, из-под которой торчала солома.

Сели и тронулись

«Что за оказия», – думал хорунжий Дрыгин, разбуженный стуком шагов и голосами в соседней комнате, которую занял для себя приезжий из форта Забытого.– «Вдвоем приехали, шепчутся о чем-то. А ну-ка!..» – И хорунжий, в одном белье, босиком, вылез из-под своего ватного одеяла, тихонько подобрался к двери, да так и впился в светящуюся сердцеобразно звездочкой замочную скважину.

А приезжий только что проводил Ивана Демьяновича и в десятый раз говорил: – «Владейте на здоровье. Топите их, разбойников, что их баловать», – на что Иван Демьянович отвечал: «А вы, родной, богатейте с нашей легкой руки; ведь тысяча-то рублей большие деньги – с ними чего-чего нельзя поделать умному человеку, страсть!»

– Ишь ты! – облизнулся за дверями хорунжий Дрыгин.

– Ну, бани! – глубоко вздохнул Сипаков, оставшись один, и сел пересчитывать полученную от Ивана Демьяновича пачку.

Он все еще не мог прийти в себя от всего, что случилось с ним в этот вечер.

«Продешевил, продешевил! – соображал он, припоминая, как они приехали к Лопатину, как его огорошило то обстоятельство, что Юлий Адамович Бржизицкий оказался Иваном Демьяновичем Катушкиным. На попятный было, да нельзя, судом припугнули, даром бы все пропало! – Да-с, влопался… и как это я мог ошибиться? Он самый, как хорунжий, бестия, сказывал

намедни, так и есть из себя полный, в белом парусиновом пальто, только что со станции съехал… эка дьявольщина! Ну, куда ни шло: и тысяча – деньги. А все жаль! Много бы больше дали, если бы на настоящих покупателей напал – жаль! Да и народ же какой аккуратный: все начистоту, из рук в руки… Ты ему письмо, он тебе деньги. Травленые волки!.. Тс! Что за леший!»

Под дверями послышался шорох и что-то вроде сопения.

Поспешно собрал свои деньги Сипаков, аккуратно обернул их листом сахарной бумаги[4], обвязал веревочкой и уложил к себе за пазуху. Потом он прислушался еще немного; шорох не повторился. Задул свечу капитан, разделся, обернулся лицом в угол и начал впотьмах отвешивать земные поклоны.

VII. «ПОТОМУ – ШАБАШ!»

Со дня ночной сцены в саду прошла уже почти целая неделя. Иван Илларионович ни разу не показывался на дамской половине. Он даже избегал возможности показываться на глаза кому-нибудь из ее обитательниц.

С самого утра он, обыкновенно, или уезжал на весь день в свои караван-сараи, или же запирался с Катушкиным в кабинете. Даже заветная дверь из кабинета в спальню Адели была заперта на ключ и завешена массивным ковром. Недавно он получил записку, подписанную, впрочем, Фридерикой Казимировной. В этой записке умоляли его прийти выслушать объяснения, – объяснения, которые и для него были бы весьма полезны. В этой записке уведомляли его, что Адель очень дурно себя чувствует, что она так расстроена, и сама Фридерика Казимировна, как мать, хорошо знающая психическую натуру своей дочери, не может ручаться, что болезнь эта не примет серьезных размеров, если положение дел не изменится. В заключение дружески пожималась почтенная рука уважаемого Ивана Илларионовича, и высказывались надежды, что по получении этой записки… и прочая, и прочая. Лопатин не отвечал на эту записку. Иван Демьянович, уже от себя, зайдя перед вечером, сообщил, что напрасно, мол, беспокоят Ивана Илларионовича: «Потому – шабаш!»

– Но ведь он думает… он убежден! – пыталась, было, madame Брозе удержать раскланивающегося Катушкина и даже за рукав его прихватила.

– Напрасно и вы беспокоиться изволите, потому что Иван Илларионович, хотя и порешил, чтобы всю эту историю кончить, однако, обиды вам никакой не сделают, и все, как должно: на проезд обратно и прочее вознаграждение…

– Уйдите вон! – ворвалась в эту минуту Адель, слышавшая из своей комнаты эти переговоры. – Скажите этому старому дураку…

Но Иван Демьянович уже не слыхал остального. Он шарахнулся назад в двери и нисколько не поинтересовался узнать, что такое поручали ему передать «старому дураку».

– Хе, хе! Старому дураку! – посмеивался он, шагая через дворик к себе во флигель. – Не знаете вы этого старого дурака! Конечно, от сильного чувства,

особенно ежели нелегко дается, можно в расстройство свою сообразительность привести, но при должном охлаждении, к тому же добрый совет со стороны… покажет вам себя этот старый дурак совсем в ином виде.

– Пешком пойду! Ни одной его тряпки, ничего из этой дряни не возьму с собой!.. – металась по комнатам Адель в истерическом припадке, расшвыривая разнообразные футлярчики и безделушки, стоявшие на туалете и шифоньерках.

– Адочка, благоразумие! Молю тебя о благоразумии! – бегала за ней со стаканом в руках Фридерика Казимировна, подбирая на ходу разбросанные вещи и припрятывая их в более благонадежное место.

– После всего этого… после таких оскорблений, чтобы я от него хотя бы одну копейку… – рыдала Адель, падая на кушетку.

– Но ведь согласись сама: ведь он обязан обеспечить! – обняла ее за талию madame Брозе. – Ведь это вовсе не какая-нибудь милость с его стороны, не подаяние: это должное… и если только он…

– Ничего мне не надо, ничего!

– Ах, Адочка! Ну, положим, слава богу, что все это обошлось без последствий, ну, а если бы?..

И она сделала округленный жест перед своим желудком.

– Я бы тогда отравилась… повесилась… утопилась… я бы тогда…

– Адочка, темнеет, скоро ночь, а ты говоришь такие ужасные слова…

– Старый, проклятый сатир! – нервно вздрогнула и съежилась на кушетке Адель, припоминая, вероятно, что-нибудь уж очень неприятное.

Фридерика Казимировна вздохнула очень глубоко и продолжительно, зевнула в руку, подняла еще один бархатный, яйцевидный футлярчик, попавший ей под ногу, и полезла осторожно на стул, придерживаясь за шнурки драпировки.

Она нашла необходимым зажечь лампадку перед образом и нежным, расслабленным голосом попросила дочь подать ей китайскую вазочку со спичками.

На другой день Адель, утомленная слезами и истерическими припадками, еще крепко спала у себя на постели, как в дверь кто-то легонько стукнул, подождал и еще стукнул, несколько громче.

– Кто там? – прислушалась Фридерика Казимировна.

– Письмецо от Ивана Илларионовича и посылочка! – говорил за дверью голос Катушкина.

– Ах, Иван Демьянович, подождите минутку, я сейчас! – заторопилась Фридерика Казимировна и торопливо начала одеваться.

– Ничего-с, подождем: время имеется! – успокоительно произнес лопатинский поверенный, и слышно было, как он задвигал креслами, рассчитывая, вероятно, на довольно продолжительное ожидание.

Фридерика Казимировна хотела, было, сначала разбудить Адель, но раздумала и притворила даже плотнее дверь ее спальни.

«Только мешать будет своими сценами», – решила она, наскоро проводя растушкой по своим бровям и ловко изображая в углах глаз черные, весьма эффектные точки.

– Мне так, право, совестно! – говорила она, наводя на затылок ручное зеркальце и невольно морщась (так много виднелось там чего-то серебристого).

– Не торопитесь! Что же, коли в окраску пойдет – нельзя тоже, чтобы скоро, дело известное! – шутливо говорил Иван Демьянович.

Фридерика Казимировна нисколько не обиделась этим замечанием, хотя кончики ее ушей побагровели мгновенно.

Немедленно повешенное на дверную ручку полотенце закрыло отверстие замка, и Иван Демьянович принужден был прекратить дальнейшие наблюдения.

– Ну-с, какие вести вы принесли нам? – произнесла madame Брозе, одной рукой принимая пакет, а другой любезно приглашая Катушкина переступить через порог.

– Самые прекрасные! Извольте прочитать, сосчитать, получить и расписаться в получении оного вот в этой книжечке…

– Что же это такое? – удивилась Фридерика Казимировна. – Садитесь!

Катушкин оглянулся кругом, покосился на дверь спальни Адели, прислушался, сообразил, что барышня, должно быть, еще почивают, и, произнеся шепотом: «Покорнейше благодарю-с», на цыпочках подошел к дивану и осторожно опустился.

Madame Брозе начала читать.

– Это к дочери? – остановилась, было, она и взглянула на Ивана Демьяновича.

– Все единственно-с, – привстал немного тот, – читайте!

«Милостивая государыня, Адель Александровна!» – читала madame Брозе, забегая глазами вперед, так уж ее заинтересовало содержание полученного послания.

«Года два тому назад я имел “несчастье” познакомиться с вами. Извините, что я употребил именно это выражение; могло бы быть совершенно наоборот, но случилось так, что это выражение для меня совершенно уместно.

Ваша наружность произвела на меня такое впечатление, что я, несмотря на свои лета, несмотря на то громадное расстояние (я говорю про возраст), которое находилось между нами, я полюбил вас; я не мог сладить со своей страстью, я стал искать сближения – это было очень смешно, очень, пожалуй, гадко, но вот мои оправдания.

Предложить вам своей руки я не мог, по причинам, вам хорошо известным; добиваться от вас любви, такой, конечно, которая бы отвечала моей, было бы сущей нелепостью; нелепость эту я мог себе представить, даже несмотря

на мое ослепление. Я рассчитывал только на одно: вы были в крайнем положении, вы были почти нищая (положим, вы лично еще не успели испытать тяжесть этого положения), но у меня не хватило духу подвергнуть вас этому, и я спас вас в последнюю уже, крайнюю минуту. Вы были обставлены комфортом, лаской, предупредительностью, самым внимательным попечением. Все ваши капризы, прихоти исполнялись почти беспрекословно. Вам обещалась вся эта обстановка и впредь. Я полагал, я был так недальновиден, что смел рассчитывать, что вы способны, наконец, привязаться к человеку, от которого все это исходило. Сперва, думаю, чувство благодарности и признательности, затем, мол, и другое, конечно, не страстное, но спокойное чувство привязанности. К тому же, признаться вам сказать, и ваша маменька поддерживала меня именно в том приятном заблуждении, уверяя меня, что эту-то привязанность вы ко мне и питаете, только высказывать сего не желаете, по причине, мол, вашего капризного характера…»

Фридерика Казимировна, дочтя до этого места, подумала немного и тщательно зачеркнула пером последние строки.

Письмо Лопатина проходило, так сказать, через ее материнскую цензуру.

«К несчастью, – продолжала она читать, – я имел много данных, – я уже не говорю о последнем пассаже, – убедиться мало-помалу, что о подобной привязанности не может быть и речи; мало того-с: с каждым разом, когда я был с вами, я видел, что у вас растет другое чувство – чувство крайнего ко мне отвращения и ненависти.

Поверьте, я умел понять, в каком ужасном положении находились вы, когда… И если я не мог сладить со своей страстью в данную минуту, то в другое время, при должном, хладнокровном взвешивании всех обстоятельств, при добром совете со стороны…»

Фридерика Казимировна не совсем-то ласково вскинула глазами на Ивана Демьяновича. Тот в эту минуту спокойно подлавливал рукой какую-то зелененькую мушку, летавшую над его лысиной.

«Я пришел к тому заключению, результатом которого явилось это письмо.

Ну-с, родная моя, поезжайте с Богом обратно в Питер! Будьте счастливы, если встретите человека по душе, а Иван Илларионович свое дело тоже знать будет. Известное обеспечение, подробно изложенное в приложенном при сем документе, будет высылаться вам аккуратно… Насчет обратного пути тоже все устроено, и дан будет вам, как и тот раз, надежный провожатый.

Прощайте и не поминайте лихом, а если что понадобится, то всегда помните, что я к вашим услугам. Маменьку вашу мне, признаться, видеть нежелательно: уж очень она мне не по сердцу за ее ложь, двуличность и всякие пакости (насчет последнего пассажа мне тоже все, как следует, известно). С вами же лично проститься мне бы очень хотелось. А впрочем, как вам Господь на душу положит».

Опять заиграло перо в пухлой руке Фридерики Казимировны; на этот раз с несравненно большим ожесточением.

«За сим остаюсь все тот же самый Иван Лопатин».

«P. S. Считаю долгом заявить вам, что, по случаю кончины супруги моей (я на прошлой еще неделе получил о сем извещение), по прошествии узаконенного траурного времени, намеревался я скрепить все законным браком с вами, но, при ваших чувствах ко мне, оное счел немыслимым».

У Фридерики Казимировны в глазах позеленело: она даже не заметила, что последние слова были написаны совсем другим почерком; она даже не заметила легонькой улыбочки, промелькнувшей на довольном лице Катушкина, когда тот заметил, какое впечатление произвела его приписка, сделанная, впрочем, без ведома Ивана Илларионовича.

– Где же расписаться, вы говорили? – томно спросила madame Брозе, окончив чтение и прикладывая платок к своим покрасневшим глазам.

– А вот книжечка-с! Тут уже все приготовлено. Черкните только-с звание, имя, отчество и фамилию вашу; извольте писать: по сему… вот и все-с! – окончил он диктовку, глядя через плечо на еле разборчивую, волнообразную строчку, изображенную дрожащей рукой Фридерики Казимировны.

– Прощенья просим-с. День отъезда Иван Илларионович просили назначить, как вам будет угодно, только чтобы дня за два их уведомить, для соответственного по сему распоряжения. Счастливо оставаться!

И Иван Демьянович, захватив разносную книжечку, бочком направился к выходной двери.

Фридерика Казимировна еще раз тщательно процензуровала письмо, заперла конверт с деньгами и документом к себе в бюро и пошла в спальню Адели.

Красавица дочь крепко спала, разметавшись в своей взбудораженной постели; ее сухие губы были раскрыты, и оттуда вылетало горячее, не совсем здоровое дыхание; щеки сонной горели, как в огне. Свеча на ночном столике, видимо, не была потушена и догорела сама собой. На полу, у постели, валялась закрытая книга.

Madame Брозе положила письмо на столик, на видное место, и разбудила свою дочь самым нежным, самым искренним материнским поцелуем.

VIII. ТРЕВОГА И ПОБЕГ

Старый, опытный волк бредет, понурив голову, опустив до самой земли хвост-полено, прищурив подслеповатые глаза, чуть поводя своими надгрызенными в прежних боях и схватках ушами. Бредет он, не спеша, шагом, по сторонам не смотрит – незачем! Все ему давно знакомо, все пригляделось: и эти пожелтевшие кусты орешника, между которыми, уныло воя, проносится

осенний ветер, и эти обгорелые сосновые пни, и беленькие черточки березовых стволиков, и эта крикливая стая носатых грачей, только что слетевшая с размокшей пашни за опушкой. Даже вот этот шест с метлой наверху, торчащий на повороте новой межи, и тот не обращает на себя внимания старого бродяги. Плетется он по избитой, исстари проторенной тропе и все ниже и ниже клонит свою хищную морду с оскаленными клыками, с краснеющим между ними кончиком запенившегося языка.

Бредет «матерый» на выгон, что за оврагом, у самой опушки; там еще, должно быть, пасутся тощие «животишки» соседней деревни Преснохлебаловки, и не раз уже пользовался там серый разбойник то курчавой ярочкой тетки Маланьи, то поросенком дяди Никиты, а то так даже теленком самого отца дьякона. Очень уже ему эти обеды легко достаются. Пастушонки все маленькие, четырнадцать лет от роду старшему, дрыхнут себе в шалаше, прикрывшись с головой отцовскими тулупами, или на речке у огонька варят в котелке картошки, накраденные в огороде целовальника Парфена Карпыча; собаки тоже все дрянь дрянью, десятерых на один волчий зуб мало. Лафа, да и только!

Вот и тащится теперь наш волк за съестным, ни о чем не беспокоясь, потому беспокойства ему ниоткуда не предвидится.

Вдруг он сразу остановился, даже назад попятился и хвост промеж задних ног поджал под самое брюхо, ушами повел, прислушался – что за черт, что-то не ладно; подождал волк немного, присел, потом прилег, опять встал, за куст зашел, промеж двух кочек забился – волнуется.

«Что за оказия? – думает он. – Все, по-видимому, в порядке, а что-то словно не того…»

А голод не свой брат: кишки ворочает, долго не дает раздумывать. Опять пошел волк вперед, только много тише; дошел уже до самого оврага: вон и дымок синеет у воды, влево бубенчик брякает близко – знает он даже, на чьей шее это брякает. Эвось, волк те заешь, ягнят-то сколько. Которого бы сцапать? Да нет, свою шкуру уж очень вдруг жалко стало; подумал, подхватил языком липкую, тягучую слюну, повернул назад, да и ходу, чем дальше, тем шибче, вот уж вскачь запрыгал, пугливо по сторонам озирается, от всякого шума в сторону бросается; версты четыре продрал, забился в самую чащу, на глухой болотине и залег, вздрагивая и ежась от совершенно неожиданного, бог весть откуда налетевшего страха.

И все, что до сих пор казалось таким простым, таким знакомым, все это уже смотрит теперь не так, все словно грозит, все предваряет о какой-то скрытой, неминуемой, смертельной опасности.

И верно, что это не мнимая опасность: она, действительно, существует, не пригрезилась она волку, а ему подсказал ее и предостерег его верный таинственный инстинкт, никогда до сих пор не обманывавший опытного зверя.

Вот в таком точно положении струсившего волка чувствовал себя Юлий Адамович со дня разговора своего с Катушкиным. Он очень хорошо понял, что настала пора принять оборонительное положение. Он чуял теперь врага, и врага могучего, пренебрегать которым было бы более чем неблагоразумно; он ясно сознавал, что опасность растет все более и более с каждой минутой, что скоро настанет та минута, когда будет уже поздно. Он решил во что бы то ни стало предупредить эту скверную минуту и зорко стал приглядываться и прислушиваться ко всему окружающему.

Старый волк насторожил свои воровские уши.

И вот под влиянием этого чувства все обыденные явления, до сих пор казавшиеся самого невинного свойства, стали принимать для него совершенно иное, тревожное значение. Каждая встреча, каждый взгляд, совершенно случайно брошенный в его сторону, казались ему крайне подозрительными. В каждом слове он слышал скрытый намек; подчас ему становилось просто страшно в присутствии других людей, особенно принадлежащих по мундиру к предупредительным или карательным административным элементам, а между тем его так и тянуло в эту среду, так и подмывало во все вслушаться, вглядеться, взвесить, сообразить.

– А позвольте, милостивый государь…

Юлий Адамович вздрогнул всем телом и даже в сторону шарахнулся: рука в галунном обшлаге мелькнула чуть не у самого его лица и звякнуло что-то металлическое.

– …позаимствоваться огоньком вашей сигарки! – докончил исправляющий должность городничего, капитан Широкошагаев, неожиданно подвернувшийся из-за покосившегося угла летнего барака пожарной команды.

– Я-с… я с большим удовольствием… Позвольте, я сначала раскурю. Ваше здоровье как… семейство ваше… супруга-с? – засуетился Бржизицкий.

– Э, гм… супруги не имею еще, семьей не обзавелся, покорнейше благодарю. Оревуар-с… я сюда!

И капитан солидно зашагал к дверям барака, у которого давно уже, вытянувшись в струну, жилился часовой, рассчитывающий, вероятно, этим напряженным жиленьем выразить всю свою исправность по службе.

«Знаем мы, мол, зачем тебе сигару закурить потребовалось», – думал и передумывал Юлий Адамович и поспешно свернул в переулок – свернул потому, что заметил впереди еще какие-то два шитые воротника и кончик казачьей винтовки.

Сегодня утром в туземном городе, около ворот караван-сарая Перловича, завязалась свалка между евреями и сартами[1], – началась с пустяков, как обыкновенно; кончилось тем, что пришлось употребить целый казачий взвод, чтобы разогнать дерущихся. В другое время Юлий Адамович оставался бы самым равнодушным, спокойным зрителем со стороны, теперь же, оправившись

от первого испуга, потому что всякий шум стал производить на него это неприятное действие, он поспешил подать самую деятельную помощь блюстителям порядка и с этой целью поднял на ноги всех служащих при караван-сарае.

– Ну, батюшка, спасибо, что со своими молодцами с энтого фасу их перехватили, а то бы где управиться! – говорил ему казачий офицер, вытирая рукавом кителя пот на своем красно-буром, загорелом лице.

Юлию Адамовичу было очень приятно слышать это одобрение.

– Я всегда за порядок, всегда за порядок… Отдохнуть заходите. Эй, отпереть ворота для господ казаков! Я им сейчас, с вашего позволения, по стакану водки… – засуетился он.

И не только что угостил казаков водкой, но, особенно расчувствовавшись, выдал им по полтиннику на человека, а хорунжему презентовал качевский серебряный подстаканник, случайно подвернувшийся под руку.

Ехавши домой, он остановил лошадь у губернаторского подъезда и зашел с единственной целью потолкаться в приемной и прислушаться. В приемной было очень мало народу, человека три стояли в стороне и о чем-то горячо говорили; при входе Бржизицкого они разом замолчали и стали переглядываться; это показалось ему очень подозрительно.

– Генерал сегодня не принимает! – подошел к нему дежурный адъютант.

– Неужели? – удивился Бржизицкий. – Ах, как жаль! А мне было…

И он замолчал, потому что ему положительно незачем было видеть губернатора.

Быстро вошел в комнату знакомый ему штабной полковник, взглянул на него как-то странно, – так, по крайней мере, ему показалось, – вернулся, сказал что-то тихонько ординарцу у дверей и ураганом пронесся чрез приемную прямо во внутренние апартаменты.

«Попался, попался!» – проступил у Бржизицкого под бельем холодный пот, и он, неловко раскланявшись, поспешил отретироваться. Весь как-то нравственно съежившись, не глядя никуда определенно, а как-то в пространство, шмыгнул он мимо ординарца, мимо часового у дверей. «Вот, – думал он, – сейчас за шиворот схватят, дорогу ружьем загородят»; однако никто его за шиворот не хватал, никто дороги ружьем не загораживал, и он благополучно добрался до своей лошади.

Он даже нарочно проехал мимо дома Ивана Илларионовича, хотя это было совсем уж не по дороге.

Сунулся, было, он в ресторан Тюльпаненфельда, слез с лошади, передал лошадь на попечение мальчика-сартенка, взошел на крыльцо, шагнул через порог, приостановился на мгновение и поспешно вернулся назад – так уж его встревожила фраза, случайно долетевшая до его слуха.

– Я вам говорю, его еще не арестовали! – горячился кто-то в одной из боковых комнат.

– Как не арестовали? На другой же день и арестовали; как же иначе? Ведь он в рожу ему закатил; тот обиделся, подал рапорт. Ну, понятное дело, «военное положение…» Эй, опять салфетки все во вчерашнем шпинате… Свиньи!

– Пожалуй, серую шинель наденет?

– Как бы хуже не было!

Очевидно, речь шла не о Бржизицком, но Юлий Адамович не слышал уже дальнейшего разговора – он усиленно погонял свою лошадь, а вместе с топотом копыт по шоссе в его ушах звенели и варьировались на разные лады неприятные, роковые слова: арест… арестовали… еще не арестовали…

– Ну, что наш Юлий скажет хорошего? – в третьем лице отнесся к Бржизицкому Станислав Матвеевич, когда тот вошел к нему в кабинет, притворил за собой дверь и на мгновение приостановился, словно не соображая сразу: зачем он сюда зашел, что ему надо сказать?

– А что я вам могу сообщить? Рис выгрузили, с красным товаром нынче тихо. Вот еще…

Перлович резко позвонил и крикнул шарахнувшемуся за дверями Шарипу, чтобы тот подал свечи.

В комнате было довольно темно; багрово-красный луч заходящего солнца прорвался в окно и, нарисовав на стеклах узорчатую, кружевную тень какой-то ветви ближайшего к окну дерева, скользнул по выдающемуся углу массивного шкафа и разделил всю комнату на две почти равные части. В одной, благодаря слабому свету этого луча, можно было рассмотреть находившиеся в ней предметы, в другой же царствовала густая синеватая тень, и там-то чуть очерчивалась фигура Бржизицкого.

Перлович не мог видеть лица своего агента, но он очень хорошо слышал звук его голоса, поразивший его с самой первой ноты. Это говорил не Бржизицкий – по крайней мере, он никогда не говорил так…

Вы одни; кругом глухой лес, гниющие болотины, подернутые туманом; фосфорические блестки мигают в воздухе над этой массой гнили. Из мрака сгустившихся сумерек со всех сторон тянутся сухие ветви, принимая самые фантастические образы. Эти ветви, словно костлявые руки лесных чудищ, пытаются сорвать вас с седла; рогатые пни торчат по сторонам исковерканной непогодой дороги; храпит пугливый конь, осторожно ощупывая копытом неверную почву. Вам жутко; нервы ваши напряжены до последней степени. Вы пытаетесь бороться с этим скверным чувством; силой воли и рассудка вы побеждаете его и бодрее вглядываетесь в темноту. Даже ваш конь инстинктивно чувствует это и заражается бодростью вашего духа. Чу! Что это? Крик, раздирающий душу, тоскливый, как-то хрипло скрипящий, пронесся в воздухе. Вздрогнул конь и осел на задние ноги; разом исчезло все ваше завоеванное

спокойствие. Опять тоска, опять неприятное, тяжелое чувство одиночества, что-то очень близкое к паническому, бессмысленному страху.

А между тем вы очень хорошо знаете, что за существо издало этот отвратительный вопль. Вы знаете, что это не проделки какого-нибудь фантастического лесного духа. Скромный филин, сверкнув в темноте своими желтыми глазами, стряхнул с крыльев дождевую воду и, собираясь перелететь на соседнюю дуплистую липу, затянул свою негармоническую песню.

И в настоящую минуту звук голоса Бржизицкого был для Станислава Матвеевича чем-то вроде крика филина.

Быстро поднялся на ноги Перлович, подошел к своему поверенному, пристально взглянул на него и произнес:

– Что, плохо?

Тот не отвечал.

– Это письмо… Вы, верно, узнали, где оно? Оно…

– А дьявол его возьми, где оно! Я не знаю, я только могу догадаться. Вы вот сидите здесь, вы не видите ничего, не слышите этих постоянных намеков, не косятся на вас все встречные!

В первый раз еще Бржизицкий заговорил таким раздражительным голосом.

– Так, значит, коллега, нам надо… – начал Перлович,

– Погодите еще день, и я узнаю все… Бежать еще будет время, да, наконец, может быть, и не от чего будет бежать нам!

– Вы же говорили, что письмо это не может миновать наших рук!

– Да, я это говорил, это так бы и было, может быть, и будет, но меня смущает только одно обстоятельство!

– Что еще?

– Вчера вечером у Тюльпаненфельда, а может быть, это было раньше, мне не сказали, когда именно… конечно, я не видел его сам, но мне говорили, это все равно… мне говорили, что… фразы были так похожи, сколько я припоминаю… проклятый листок переходит из рук в руки!

– Какой листок?

– Это письмо… копия ли это, самый ли оригинал – я не знаю; его нашли в одной из боковых комнат. Его нашли в той самой комнате, где был недавно я. Не я же сам, наконец, его потерял, – значит, другой, а я был там только вдвоем с Катушкиным – только вдвоем с Катушкиным. Какая-то рожа еще заглядывала – я не встречал ее прежде. Этот листок был потерян или забыт в этой комнате; не я его потерял – значит, Катушкин; если же и не он, то эта рожа. Я заезжал после на почтовую станцию и узнал, что это был приезжий из Забытого форта. Он был пьян до потери сознания и спал. Добудиться было невозможно. Проклятая свинья мычала только во сне и ворочалась. Завтра рано утром я опять под каким-нибудь предлогом постараюсь увидеть этого приезжего и отысповедаю его.

– Это письмо исчезло на почте, на дороге… – соображал Перлович.

– Я догадываюсь, в чем дело, и завтра узнаю все. Кроме того, я бы вам посоветовал тоже съездить в город, а пока…

И Бржизицкий, не попрощавшись с хозяином, вышел из комнаты, оставив Станислава Матвеевича на досуге соображать и догадываться.

А на другой день Станислав Матвеевич, приехав в свой караван-сарай, не нашел там Бржизицкого. Дела в этот день почти не было, рабочие спали в тени навесов или же бродили под базарными сводами. Из туземных приятелей (тамыров) Перловича мало кто наведывался к «русскому баю»; только сосед, кожевенник, Мусса-Джан зашел около полудня, да так и огорошил хозяина караван-сарая возгласом:

– Ба! А что же это народ болтает, что тебя русские в курган (крепость) посадили?

– Кто же это именно болтал? – спросил Станислав Матвеевич, и разом побледнел, как та выштукатуренная гипсом стена, около которой они сидели. «Уж если на базаре болтают…» – промелькнуло у него в голове.

– Все говорят, хе, хе, все говорят! – присаживался поудобнее на пестрый шлям Мусса-Джан. – Все говорят. И у Саида-Азима говорят, и в шелковом ряду говорят, и кузнецы эти корявые в русском городе[2] на «больших» работах были – пришли, всем своим рассказали. Пойду, думаю, проведаю; прихожу, а ты здесь сидишь себе и угощаешься. Юлий-тюра где?

И Мусса начал осматриваться, не сидит ли где-нибудь в углу «Юлий-тюра», как обыкновенно называли все туземцы поверенного Станислава Матвеевича.

Пришел еще один сосед с другой стороны, остановился на минуту на самом пороге, изумленно взглянул на Перловича, потом на Мусса-Джана, еще раз переглянулся и тогда уже произнес приветственное «аман!»

– А нам говорили… – начал новый гость.

– Что, верно, мне голову отрезали, на кол посадили? – вспылил Перлович. Нервы его до такой степени были раздражены за последнее время, что он потерял способность удерживать порывы вспыльчивости.

– Что же ты сердишься, – равнодушным тоном заметил гость, – мало ли чего народ болтает; много всякого вздора и не про тебя одного говорят. Всего не переловишь, что носится по ветру!

И он усердно захрипел кальяном, зажав пальцем дырочку в верхнем тыквенном полушарии.

– Ты кого это зарезал? – прямо, без обиняков, рявкнул басом мулла Кулдаш, загородив всю входную дверь своей массивной фигурой.

– Ну, прощайте! Некогда мне тут с вами болтать, дело есть! – не выдержал Перлович, поднялся на ноги и пошел во внутренний двор, чтобы только избавиться от докучных посетителей.

– Все знают, все говорят! – тоскливо сжималось у него сердце. – А может быть, *там*?!

И холодный пот проступил у него от одного только страшного предположения.

Солнце стояло еще высоко, а уже Станислав Матвеевич прискакал к себе на дачу. Окольной дорогой, через туземные сады, пробрался он на чимкентский тракт. Он положительно боялся русского города. Даже во двор он не въехал, а привязав лошадь за калиткой, прошел через виноградники, прямо к своему балкону.

– Тюра Юлий был у тебя! – докладывал ему Шарип. – Там записку, бумагу такую тебе оставил, вон на столе лежит!

– Давно он был?

– Давно. Долго сидел. Меня в кузницу посылал с лошадью, а сам все здесь сидел!

– Ну, ступай. Эй! А еще никого не было?

Перлович значительно понизил тон голоса при этом вопросе и даже оглянулся.

– Еще никого не было, никого… Да, купец из Коканда, что верблюдов у нас менял, приходил… ну, тот только так был: справиться о здоровье заходил. А больше никого не было! – еще раз повторил Шарип уже за дверями.

На видном месте, на темно-зеленом фоне столового сукна, так и лез в глаза маленький белый четырехугольник. Эта была записка Бржизицкого.

«Дело наше безвозвратно проиграно. Я узнал, наконец, все, – писал четким, решительным почерком Юлий Адамович. – Письмо в руках Лопатина. Кажется, что уже сделано распоряжение об аресте. Все улики против нас, и мы сделаем самое лучшее, если позаботимся о спасении своей собственной шкуры. Я уже позаботился об этом. Я не хотел бежать вместе с вами, по той причине, что двоих гораздо удобнее ловить, чем одного. Если вам удастся благополучно перебраться через тянь-шаньские отроги, то постарайтесь увидеться со мной в Кашгаре или же далее, на пути к Кашмиру. А впрочем, это решительно предоставляется на ваше усмотрение. Не вздумайте только броситься к Бухаре: там вас непременно перехватят и выдадут обратно русскому правительству. Это мой совет.

Юлий Бржизицкий».

– Так скоро! – прошептали губы Перловича. – Так скоро!

Его даже не удивил поступок Бржизицкого: он находил это так естественным, что сам бы, пожалуй, поступил так же. Но только как же горько стало у него во рту, – казалось, вся желчь подступила к горлу, когда в его пораженном мозгу возник ненавистный призрак Юлия Адамовича, спасающего свою собственную шкуру.

Вот мелькает в пыли круп его лошади. Чуть виднеется голова из-за согнутой спины; рука, вооруженная нагайкой, усердно сечет взмыленный конский круп.

Перловичу почему-то казалось, что Бржизицкий в эту минуту удирает именно таким патриархальным образом.

IX. СБОРЫ

Беспорядок, полнейший хаос царствовал в уютной, так комфортабельно устроенной квартире madame Брозе и ее дочери. Вся середина общей круглой комнаты была заставлена открытыми баулами, сундуками и разными укладками; тиковые полосатые внутренности чемоданов так и лезли в глаза, и в комнате преобладал запах ремней и экипажной кожи. На спинках кресел и стульев эффектно драпировались роскошные шлейфы всевозможных цветов и материй.

Фридерика Казимировна ловко лавировала между всеми этими предметами, соображала, распределяла и метала во все стороны самые хозяйственные, озабоченные взгляды. Адель у себя в комнате щелкала замочками бесчисленных туалетных ящичков.

– Утром, пораньше, как можно пораньше! – решительно произнесла Фридерика Казимировна. – Чуть свет. Я думаю, даже до восхода солнца. А ты как полагаешь, Адочка?

– Мне решительно все равно!

– Или уж вечером, попозже, как стемнеет? А то, знаешь, вставать надо так рано. В это время всегда так спать хочется… Разве вечером?

– Отстань!..

– Ну, так уж вечером! – перерешила madame Брозе. – Сегодня не мешало бы покончить с укладкой пораньше. Платья, те вот, с кружевами в большой баул. А то, знаешь, что я придумала? Действительно, лучше утром. Здешние мерзавцы всю ночь таскаются по улицам, и как бы поздно мы ни поехали, нам не избежать какой-нибудь демонстрации.

– Да, проводы будут! – задумчиво произнесла Адель.

– Ну, вот, вот… Итак, утром! Ты, Павел, так и доложи Ивану Илларионовичу, что, мол, решили завтра утром, чуть забрезжит свет, так и скажи: приказали, мол, сообщить, что рано утром, чуть забрезжит свет!

– Слушаю-с! Больше ничего не прикажете? – попятился Павел к дверям.

– Ничего, или нет, постой! Я сейчас напишу несколько слов, а ты передай эту записку лично Ивану Илларионовичу, так прямо в руки и отдай – никому больше. При Катушкине тоже не отдавай, а так, знаешь – да ты понимаешь, в чем дело, понимаешь?

– Понимаю-с!

Фридерика Казимировна присела к бюро и торопливо принялась тыкать пером в фарфоровую чернильницу.

Так вот уже третий день madame Брозе с дочерью собирались в обратную дорогу.

Фридерика Казимировна совершенно уже освоилась с мыслью об отъезде и успокоилась. Ее несколько тревожил только самый процесс этого отъезда. Ей все казалось, что целый Ташкент собирается смотреть на них; из каждого окна так вот и будут высовываться разные физиономии и провожать их экипаж самыми насмешливыми, сатирическими взглядами.

– Архитекторша, та, подлая, непременно со всей своей ватагой выедет. Конечно, я ничего, мне наплевать! – соображала Фридерика Казимировна. – Но Ада с ее нервозностью! – Адочка, ангел мой, ты все свои вещицы: броши, серьги – последние эти с большими камнями – собери в одно место. Дай, я их уложу в мой несессер. Ведь это ценности все лучше, когда будет все в одном месте и под руками!

– А вот я их все отошлю сегодня к Лопатину! – буркнула Адель, с азартом захлопывая какой-то ящик. – Всю эту дрянь…

– Адочка, что ты это, что ты? Это будет капитальнейшей глупостью. Не смей и думать! Да, наконец, я не позволю: это капитал, это твои средства, и я, как мать… Вздор! – заволновалась Фридерика Казимировна.

– Ты что это писала Лопатину?

– А чтобы он хоть перед самым отъездом зашел показать свои ясные очи, лупоглазый болван! Этого, наконец, требует простое чувство приличия! – кипятилась мадам Брозе.

– Зачем? Вот еще, очень нужно!

– А за тем, что ты ничего не понимаешь… Если б он хотя несколькими днями раньше мог освободиться из-под влияния этого негодяя, то дела, наверное, пошли бы совсем иначе!

– Все к лучшему! – задумчиво говорила Адель.

– Ничего не к лучшему. Сто раз можно ссориться, и не из-за таких пустяков, и потом сходиться еще прочнее!

– Бррр! – замотала головкой Адель.

– Нечего отфыркиваться! – со всего размаха уселась Фридерика Казимировна на диван, так что даже пружины крякнули, и отлетела одна из обойных пуговиц.

Минут через десять прерванная укладка возобновилась.

– Ну, а этот парюр[1], я думаю, сюда не влезет! – говорила мадам Брозе уже совершенно успокоившимся голосом.

– Сегодня утром я справочку навел-с; оказалось, что уже сделано распоряжение! – говорил Иван Демьянович, присаживаясь на стул рядом с креслом Ивана Илларионовича.

– Обещал губернатор, обещал, самые деятельные меры обещал. Ну, что *там*?

Лопатин глубоко вздохнул и принялся пухлыми пальцами отстегивать нижние пуговицы своего белого жилета.

– Укладываются, слава тебе, Создателю!.. Ну-с, батюшка, Иван Илларионович, как мы теперь с обоими этими делами пришли, так сказать, к благополучному окончанию…

– Не совсем еще, – ох, не совсем!

– В аккурат! Молодцов так теперь подловили, что им ни взад ни вперед! Это верно-с, то есть вот как! (Катушкин растопырил правую пятерню, поиграл в воздухе пальцами чуть не перед самым носом Лопатина и сжал их в кулак.) Сегодня ночью (он понизил голос) облаву учинят и сцапают… Общий обыск – и пошла писать. Теперь уж не увернутся, где уж!.. Так мне и сам господин полковник сказывал. Насчет же иного прочего, так верьте вы мне, Иван Илларионович, не стоит дело выеденного яйца, потому этого добра завсегда достаточно… И ежели у человека капитал, так только свистнуть…

– Тяжело!

Лопатин покачал головой и потупился.

– Попривыкнете, это скоро. И ежели при подходящем развлечении…

– У ляхов что делается?

– Все в должном порядке и на своих местах. Платежи в конторе приостановили; Станислав Матвеевич будто поспокойнее стали, а *этот* что-то сильно мечется!

– Что так?

– Предчувствие, надо полагать. Со мной вчера на Большой улице встретился – свернул через кирпичный завод в переулок – хе, хе, избегает!

– Слушай, Иван Демьянович, ты, брат, не сердись… что же, это ничего, это даже следует… и притом я только на самое малое время… Минута другая, не больше…

Иван Илларионович беспокойно задвигался в креслах и как-то странно, почти просительно взглянул на своего собеседника.

– Это насчет чего-с?

– Когда они поедут – ты говорил, завтра, чуть свет – так, кажется?

– Так-с!

– Ну, так вот, видишь ли, мы с тобой тоже… Я только посмотрю на нее, пожелаю ей… Ты ведь понимаешь? Нельзя же так сразу вырвать из сердца… и это…

Иван Илларионович нащупал рукой конец фулярового платка, торчавший у него из кармана, и потянул его.

– Понимаю-с. Что же, как прикажете, мне что же!

– Ну, вот, вот, ты сейчас воображаешь, что я там расчувствуюсь и… вовсе нет: этого, наконец, требует простое чувство приличия!

Иван Илларионович никак уж не предполагал, что в эту минуту, на разных половинах дома, по одному и тому же поводу произносилась одна и та же фраза.

– Верхом или шарабан прикажете?

– А как ты, брат, думаешь?

– Я полагаю, верхом будет сподручнее, потому в экипаже нам по одной дороге придется, а тут мы со стороны на дорогу выедем у русской избы. Много удобнее будет…

– Так уж ты…

– Слушаю-с, будьте покойны!

И Иван Демьянович поднялся со стула, почтительно и легонько сжав между двух ладоней протянутую ему руку.

X. АРЕСТ

Вечерело уже, когда на задворки лопатинского дома прискакал казак-уралец, оставил своего маштака[1] так, без привязи, посредине двора и прошел к флигелю, занимаемому Катушкиным.

Немало тревоги наделало появление этого всадника, и когда тот, в сопровождении самого Ивана Демьяновича, вновь показался на крыльце, уже все население лопатинскаго дома высыпало на двор и столпилось у конюшенных навесов.

– Иван Демьянович, куда это вы-с, на ночь-то глядя? – осведомился один из приказчиков, услыхав, как тот приказал седлать себе «бурого», да попроворнее, потому – спешно.

– А куда следует! – основательно ответил Иван Демьянович и, спешно застегиваясь на ходу, рысцой направился на хозяйскую половину.

– Куда это, землячок? – вкрадчиво обратился к казаку другой приказчик.

– На охоту! – ответил тот и стал копаться у подпруги своего седла.

– Это чего же-с?

– Какая такая охота?

– Шли бы спать; чего из нор повыползли! – сплюнул на сторону казак и замолчал.

А тут и Катушкин вышел на крыльцо, сел на подведенного к нему «бурого», и оба всадника выехали за ворота.

Страшная темнота царствовала кругом, такая темнота, что всякий опытный всадник предпочитает скорее довериться путеводному инстинкту своего коня, нежели своему собственному зрению. Поговорка «Хоть глаз выколи» – здесь как нельзя более уместна: в этом мраке органы зрения совершенно бесполезны. Это не тот белесоватый мрак наших ночей, в котором вы ясно различаете массы и очертания предметов, когда вы ясно видите более светлое

полотно дороги под ногами и можете безошибочно определить место, где находитесь. Здесь не то. Густой, тяжелый мрак надвигается со всех сторон; он давит вас, он словно отделяет вас от всего остального, и вы ощущаете неприятное, жуткое чувство одиночества.

Все ваше внимание сосредоточивается только на одном звездообразном кружке света под вашим фонарем. В черте этого света каждая мелочь, камушек, черепок, след конского копыта, брошенный окурок сигары – все получает значение. Вне же этого ограниченного пространства все исчезает, поглощенное мраком ночи. Вы не видите даже черты, отделяющей горизонт; даже самые звезды, неподвижно висящие в пространстве, не дают вокруг себя мерцающих лучей, словно на черное сукно нашитые бляхи.

Минут через двадцать всадники выбрались из европейской части города; это было заметно уже по тому, что окончились прямые, ровные линии шоссе, и кони поминутно начали вязнуть в грязи и спотыкаться, пробираясь по узким, кривым переулкам «кокандского» предместья.

Несмотря на довольно позднее время, по саклям кое-где виднелись огни и слышались голоса. Откуда-то понесло гарью, падалью потянуло от мясных лавок, притаившихся у самой полуразрушенной стены прежней крепости.

В одной из сакель, более обширных, в которой, вопреки туземному обычаю, были проделаны на улицу окна, заклеенные промасленной бумагой, собралось довольно многочисленное общество. Судя по форме силуэтов, поминутно рисовавшихся на грязно матовом фоне бумаги, нетрудно было догадаться, что большинство посетителей были туземцы.

Вот массивная чалма загородила собой почти весь четырехугольник окна, вот мелькнули рога оригинальной киргизской войлочной шапки, вот суетливо движутся две кругленькие, словно обточенные, верхушки столбиков тюбетейки. Пьяный говор и крик, унылые ноты монотонной туземной песни, дикое завывание совершенно опьяневшего, пришедшего в экстаз индийца, русская характерная брань, комично произнесенная, очевидно, нерусским языком, и жалобное, слезливое всхлипывание какого-то, совсем почти голого байгуша-сарта – несутся из отворенных настежь дверей, во все дыры прорванной оконной бумаги.

Затхлый запах чего-то гнилого, едкая, спиртуозная вонь кабака так и шибают в нос. «Там-там-там» – глухо гудит сторожевой бубен больше от скуки развлекающегося сторожа.

Большой бумажный фонарь тусклым пятном виднелся под черной аркой ворот «Кокан-Дерваз», отбрасывая на эти старые, почерневшие своды растянутые тени всадников. Проехав ворота, казак тронул своего коня вперед, Катушкин поехал за ним. Тот переулок-щель, по которому пришлось ехать, был слишком узок даже для двух всадников рядом. Металлические стремена поминутно визжали, чертя по шероховатым поверхностям стен бедных сакель «жидовского квартала».

Тихо было в уснувшем квартале мирных красильщиков*. Только собаки, заслышав топот коней и тихий говор всадников, вскакивали во сне и выли, глядя с крыш на ночных путешественников. Кучки клеверных снопов, привезенных еще с вечера, уборка которых на крыши отложена была до утра, поминутно загораживали дорогу. Грязные струи воды, прорвавшиеся из какого-то внутреннего «хауза» (пруда), бежали самой серединой переулка, плескаясь по камням мостовой и пенясь в трещинах. От этой струи распространялся в ночном воздухе едкий запах кубовой краски и сандала[2].

– Эка дорога! – шептал Иван Демьянович.

– Скоро лучше пойдет, – ободрял его казак, – а там в сады выедем. Их высокоблагородие, чай, уж на повороте дожидаются!

– Погоняй, братец, погоняй! – торопил казака Катушкин.

Выбрались, наконец, на относительный простор; проехали через двор мечети, на которой, под окружающим четырехугольное здание мечети навесом, прямо на голых циновках спали седобородые муллы; чуть не задавили индийца «Тэрли», растянувшегося поперек улицы, и выехали на обрывистый берег Бо-су. Шум быстробегущего арыка и глухой плеск мельничных колес доносились откуда-то снизу, из этих сырых, беловатых волн медленно поднимающегося тумана.

Прямо виднелось что-то черное, приземистое, бесконечно расползающееся вправо и влево. Там кое-где мигали желтоватые и белые точки фонарей и слышны были периодические удары сторожевых бубнов и сухой звук трещоток. То был большой ташкентский базар. Отсюда всадники свернули направо, спустились под гору, и скоро прохладный, свежий воздух, сменивший вонючую атмосферу города, дал знать, что близки были сады, широким кольцом окаймляющие все городские предместья.

Красноватая точка вдали то вспыхивала, то погасала. Весело заржал казачий маштак, из темноты послышалось ответное ржание.

– Вон полковник, сигарку курит! – сообщил казак.

Всадники погнали лошадей полной рысью.

– Очень благодарен, ваше высокоблагородие, очень премного благодарен, что уведомили! – говорил через минуту Катушкин, усердно раскланиваясь по тому направлению, где мигала полковничья сигара.

– Вы просили, и притом генерал приказал. Вы ему таких чудес наговорили об этом Бржизицком, что он боится, как бы не прозевали его и на этот раз, тем более что он или извещен кем-то об аресте, или догадывается! – цедил сквозь зубы офицер.

– Оборони Господь!

– Я полагаю, весь двор окружить, у калиток поставить часовых и потом сразу: одни во флигель, а другие прямо к Перловичу! – говорил кто-то еще в темноте.

---

* Главнейший промысел местных евреев.

– То есть верите, просто сквозь пальцы несколько раз прорывался… Ну, ты, черт!.. – чуть не оборвался вместе с лошадью Иван Демьянович в какую-то яму у самой дороги.

– Не вывернется!

– Очень уж прекрасно, что мы объездной дорогой!

– Вы находите?

– Как же-с, таперича мы прямо от садов, а человек пяток со стороны большого тракта зашлем – куда им деться?.. Эх, важно!..

Катушкин даже на седле заерзал от подступающего нетерпеливого волнения.

– В «Большом форте» тот раз… – начал, было, он.

– Тс! – предостерег один из передних.

Невдалеке показались два светлых четырехугольника, на которых можно было различить темные переплеты окон. Внизу слышно было, как тяжело сопели и чавкали дремавшие верблюды, собака рычала в стороне. Вдоль какой-то стены медленно двигался бумажный фонарь, то скрываясь на мгновение за толстыми стволами тополей, то появляясь снова.

– Это мы вот много выше стоим теперь, нам через стену и видно, – объяснял Катушкин. – Те два окна, что светятся, *его* кабинет и есть. Не спит еще, значит… А правее, вон чуть трубы видны, то «приказчичья»; тут сейчас и Бржизицкого квартира, нам ее теперь нельзя за стеной видеть!

– Так не уйдут! – улыбнулся полковник, осторожно слезая с лошади.

– Пошли Господи… – шептал Иван Демьянович.

Человека три казаков остались при лошадях, остальные, подхватив свои шашки, чтобы не звякали даром, потихоньку, ощупью, спотыкаясь и чуть не падая, отправились оцеплять загородную дачу Станислава Матвеевича.

– Стойте, ребятушки, стойте, голубчики мои, тут вот калиточка должна быть, я помню! – суетливо говорил Иван Демьянович, ощупывая руками вдоль стены и путаясь ногами в высоком сухом бурьяне, выросшем у самого фундамента. – Есть, нашел; заперта никак!

И он легонько потрогал железную скобу.

– Становись, Илья, к самой стене, я на тебя, а там через стену махну, – шептал один из казаков.

– Оборвешься!

– Да понапереться плечом – и так отскочить… а ну-ка!.. Ну еще!..

– Чу!..

Чьи-то шаги послышались за калиткой и остановились.

– Тс! – даже присел на месте Катушкин, и сердце у него забилось так сильно, так сильно, что вот-вот готово было выпрыгнуть из-под жилета, так, по крайней мере, казалось самому Ивану Демьяновичу.

– Зашли ли наши с той-то стороны? – сомневался кто-то.

– Эвось, сколько времени!
– Кто там? – окликнул голос со двора.
– Ну, так как же? – недоумевали казаки.
– Отворяй! – решительно произнес Катушкин.
– Да кто такие?
– Отворяй скорее… дело есть…
– Какое такое дело по ночам; приходите завтра!
– Навались разом! Ну, все вместе. У-ух!
– Караул!

– Бегом, братцы, за мной бегом! – перелез Иван Демьянович через сорванную вместе с косяками калитку. – А, ты драться! Сюда, сюда! Вот крылечко, за окнами смотри, чтобы не выскочили. Полковник сам где?

Разбуженные неожиданным шумом, приказчики Перловича и служившие у него туземные работники поднимались на ноги и положительно не понимали, что такое происходит перед их заспанными глазами.

А между тем Катушкин, хорошо зная топографию всех дачных построек, ломился уж в двери квартиры Юлия Адамовича.

К его крайнему удивлению, дверь оказалась незапертой и тотчас же уступила усилиям отворявшего. В комнатах было тихо и, как казалось, пусто. Неприятная догадка промелькнула в голове лопатинского поверенного. Он нащупал спички в кармане, чиркнул. И вот из мрака мало-помалу выделяются различные подробности меблировки, освещенные колеблющимся синеватым пламенем. Стол письменный с разбросанными в беспорядке бумагами, опрокинутый стул посреди комнаты, углы каких-то шкафов, вот кровать, застланная одеялом, даже не смятая, не приготовленная далее к спанью. Ясно, что обитателя не было дома.

«Когда он ушел: сейчас ли, давно ли?.. – пробегало в голове Ивана Демьяновича. – А ну как и на этот раз! Да нет, не может этого быть: он здесь, должно быть, у хозяина».

– Вы, ребята, пошарьте здесь хорошенечко, ведь знаете его, каков он из себя? А я туда… я разом… не может быть!..

И он, бегом, еле переводя дух, пустился через двор к балкону, у которого все еще ярко светились окна хозяйского кабинета.

Ярко горела лампа на письменном столе Станислава Матвеевича, ярко и весело пылал камин, докрасна накаливая забытые в угольях щипцы, во весь рот улыбались шафранные китайцы на спущенных шторах, мягким разноцветным узором пестрели ковры на полу и диванах; мириадами металлических искр сверкало развешанное по стенам туземное оружие и сбруя, блестели полированные бока шкафов и этажерок. Все смотрело как-то празднично и уютно. Только сам хозяин составлял резкий контраст с обстановкой своего жилища.

Бледный, небритый, в смятом парусиновом пальто и с всклокоченными волосами, он то шагал из угла в угол по комнате, то садился к столу и, подперев свою пылающую голову, неподвижно уставлялся взглядом на карту, разложенную на столе и занимавшую чуть не большую его половину. Иногда карандаш, дрожа и прыгая в худых пальцах Станислава Матвеевича, чертил на этой карте какие-то, ему одному понятные заметки. По временам он судорожно стискивал себе обеими руками голову, словно силясь унять этим движением невыносимую боль, или же, откинувшись назад, на спинку кресел, обдумывал что-то и соображал, шевеля поблекшими, сухими губами, выделывая руками непонятные жесты.

– Бежать, бежать, пока еще не поздно! – произнес он, наконец, довольно ясно.

К этому решению он пришел еще вчера; он инстинктивно чувствовал, что вокруг него творится что-то недоброе.

Так же, как и Бржизицкий, он уже несколько дней метался по городу. Приятель его, один из чиновников губернаторской канцелярии, даже намекнул ему довольно ясно о серьезной опасности; сегодняшняя же записка Бржизицкого окончательно решила дело.

Весь вечер был проведен над картой. Перлович изучал маршрут своего предполагаемого бегства, соображал, обдумывал, пытливым глазом вглядывался он в эти кривые и ломаные линии, в эти красные кружочки – города и кишлаки, в эти лабиринты горных цепей, ему казалось, что он видит уже новые страны, пробирается по этим чуть заметным дорожкам. Топот погони слышится за плечами… голоса!.. Уйдет ли он, доберется ли вот хоть до этого ущелья? А там… А что же там? Пустынная, неизвестная местность, полудикий народ… лишения… Хорошо еще, если он встретится с Бржизицким, если они доберутся до английских владений. Ну, тогда еще, действительно, не все потеряно; а если… И у Перловича перед глазами начали проходить все страшные сцены плена у этих дикарей и тяжелого, безвыходного, бесконечного рабства… И припомнил он, что давно, уже несколько лет тому назад, он слышал рассказ об этой ужасной жизни – непосредственно от человека, лично испытавшего, слышал он это.

– Как холодно… как холодно… – дрожал и стискивал стучащие зубы Станислав Матвеевич и подсаживался к самому камину, словно думая этим жаром унять нестерпимый внутренний холод.

То на него находили минуты совершенного спокойствия, даже какого-то забытья. Его клонило ко сну, в ушах стоял тихий, монотонный звон; все предметы колебались перед его глазами и застилались каким-то туманом. То вдруг его охватывало положительное бешенство, он порывисто вскакивал на ноги и, сжав кулаки, дико оглядывался, словно искал глазами, на ком бы это ему все выместить.

Его караван-сараи, его склады, начатые громадные обороты, от которых предвидятся не менее громадные барыши, все это устройство, положение – и все это надо было бросить… Из-за чего? Из-за глупой, бессмысленной ошибки подлеца Бржизицкого…

Если бы в эту минуту «подлец Бржизицкий» явился в хозяйский кабинет, вряд ли это посещение обошлось бы ему благополучно; но он не мог явиться. Он в это время находился, может быть, уже далеко… Он вовремя позаботился о своей личной безопасности и счел даже нужным скрыть от Перловича настоящий своей след, сообщая ему в известной нам записке, что, мол, будет поджидать прибытия Станислава Матвеевича в Кашгар, если ему удастся так же благополучно пробраться через «тянь-шаньские отроги». В своем же благополучном прибытии в Кашгар Бржизицкий не сомневался.

«Сто тысяч, только сто тысяч…» – возникли в мозгу Перловича новые представления. Это все, что он мог увезти с собой. Если б знал раньше, если бы он мог мало-помалу обратить все это в деньги, в такой вид, что вот, мол, взял все, уложил в маленький чемоданчик, привязал за седлом. И он остановился перед своим несгораемым шкафом, отразившим на металлическом щите половину его белой фигуры, – остановился и пристально стал вглядываться в эти львиные бронзовые морды, закрывающие отверстия бесчисленных замков и засовов.

– Ну, вот, не может быть… вздор!.. – произнес он довольно спокойно, хотел еще что-то сказать, да горло не пропустило звука, конвульсивно сжавшись, задерживая ускоренное дыхание… Только похолодевшие пальцы, словно машинально, протянулись к личинкам и стали ощупывать их, быстро перебегая с одной на другую.

Вдруг он засуетился, непонятная энергия охватила все существо. Хитро воткнутый ключ завизжал в первом замке – не подается… к болтам – они не заперты, они только наложены для вида. Сильно потянул Станислав Матвеевич за скобы; тихо, без шума отворилась тяжелая дверца, и перед глазами Перловича, освещенные светом камина, показались пустые металлические полки.

Его предупредили.

Какой-то глухой шум несся со двора; за дверью, по голым плитам пола, зашлепали босые ноги Шарипа… Говор… Звякнуло что-то. За окном шелестят кусты, лошадь заржала неподалеку.

– Ну, пусти, дурак! – спокойно говорил за дверью чей-то баритон.

– Погоди, нельзя так, тюра докладывать велел. Не ходи! – горячился Шарип, загораживая дорогу.

Слышится легкая возня.

– Я очень рад, господин Перлович, что застал вас еще на ногах и совершенно одетым – это сократит церемонию! – любезно раскланиваясь, говорил полковник, входя в распахнувшуюся дверь.

Из-за его плеч виднелись еще две официальные фуражки, между ними протискивалась вперед недоумевающая, заспанная физиономия старика Шарипа.

– Я также очень рад. Благодарю, от души благодарю! – сжимал руку полковника Станислав Матвеевич.

Тот невольно обернулся, чтобы видеть, на кого это так пристально уставился Перлович.

– Итак, господа, садитесь, милости просим! – Перлович говорил ровным, беззвучным голосом, говорил куда-то в пространство, ни к кому особенно не обращаясь, и все сильнее сжимал руку полковника. – Садитесь! Мы собрались здесь, чтоб обсудить, главным образом, цели нашего предприятия… Ах, да… место для дам… я вообще немного стесняюсь в дамском обществе… дамы – женщины, они испугали нашего верблюда… Только двое… посреди Кашгара… сто тысяч за седлом… Шарип! Чаю и вина, и позаботься об лошадях господина губернатора!

– Вы, кажется, больны? – мягко заговорил офицер. – Успокойтесь немного. Мы должны сейчас ехать вместе с вами. Берите вашу фуражку, вот она!

– Pardon! Я, кажется, наступил на ваш шлейф?

– Да нет, куда ему уйти? Это пустяки, – слышался все ближе и ближе голос Ивана Демьяновича. – Пустяки… сегодня еще утром в городе видели. Вероятно, где-нибудь спрятался. По сараям поискать надо, а то по хозяйским комнатам. Пропустите-ка, ребята, раздайся! А *сам-то* налицо?

И Катушкин, запыхавшийся, взволнованный, протискался вперед, сквозь толпу, собравшуюся у дверей кабинета Станислава Матвеевича.

Перлович выпустил руку полковника и, заложив руки в карманы своих панталон, стал медленно прохаживаться по комнате, осторожно переступая через более яркие пятна коврового узора. Его окаменевшее с первой минуты лицо стало как-то странно улыбаться. Что-то идиотическое, животное начало проявляться в этих искаженных чертах.

Мозг его не выдержал и на этот раз изменил своему хозяину.

Решено было не употреблять силы и дать знать в городе обо всем случившемся. К кабинету Перловича приставили часовых; из комнаты вынесли все, что могло бы служить оружием. Казаки ходили на цыпочках, говорили шепотом; им жутко было прислушиваться к нелепой, бессвязной болтовне несчастного.

– Вы думаете, притворяется? – спрашивал полковник Катушкина, выйдя с ним в соседнюю комнату.

– А кто его знает, ваше высокоблагородие, будто как и взаправду, а то пожалуй, что… Да вот доктора утром подъедут, те порешат. А то скверно, что самого настоящего-то волка из рук выпустили!

И Катушкин подал «его высокоблагородию» найденную им на столе Перловича записку Бржизицкого.

По прочтении этого клочка бумаги продолжать дальнейшие поиски и ворочать вверх дном все на дачах Перловича было совершенно бесполезно.

XI. «КОЛЯСКА ИВАНА ИЛЛАРИОНОВИЧА ТЕПЕРЬ СВОБОДНА»

Как ни хлопотала Фридерика Казимировна, чтобы выбраться пораньше из города, *пока эти мерзавцы не начали таскаться по улицам*, но когда из ворот лопатинского дома выехал знакомый нам дормез, солнце поднялось уже над проснувшимся Ташкентом, и на его базарных площадях и улицах с каждой минутой все разгоралось и разгоралось обыденное движение.

Глухо гремели по шоссе колеса громадного экипажа, навьюченного и нагруженного сундуками, баулами и чемоданами. Зеленоватые шторки дормеза были спущены, и только с одной стороны, с той, где находилась Фридерика Казимировна, по временам сквозила небольшая щелка и виднелись толстые, пухлые пальцы, унизанные кольцами и перстнями.

Появление на улицах этого экипажа, единственного во всем Ташкенте по своим размерам, выкрикивание ямщиков, особенно передового киргизенка, просто бесновавшегося на своем седле, не могли не возбудить любопытства всех, кто только ни встречался на улицах. Прохожие и проезжие останавливались, переглядывались, делая различные замечания и догадки. А тут еще на одном из поворотов дорога оказалась загорожена арбами с клевером, пришлось остановиться на несколько минут…

– Как ты там ни говори, Адочка, как ни рассуждай, а мне все-таки жаль его! – с чувством говорила маменька. – Как-то грустно и тяжело становится на душе, как подумаешь… Ну, чего смотрят, чего глазеют, болваны? Ишь, пальцами показывают! Вот уж не понимаю этого провинциального любопытства!

А красавица-дочь ничего не отвечала на замечания своей мамаши. Она была немного утомлена бессонной ночью, проведенной в сборах и укладках, и, откинувшись в угол кареты, дремала под эту глухую, ровную стукотню колес и дробный перебой копыт почтового шестерика.

Едва они выбрались из города, как им навстречу, из-за триумфальной арки, в облаках пыли, пронеслась открытая коляска – спереди казаки, с боков казаки, сзади казаки. В этой коляске сидел Станислав Матвеевич и с ним рядом знакомый нам штаб-офицер. На передней скамеечке, придерживаясь за скобы козел, торчала тщедушная фигурка какого-то жидообразного брюнета с докторскими погонами на плечах.

Перлович тупым, безжизненным взглядом уставился в лицо своего vis-a-vis и ощупью пересчитывал пуговицы на докторском кителе; полковник раскинулся в коляске «à la Napoléon» и, вытянув бесцеремонно ноги, с сознанием необыкновенной важности своего поста, поглядывал то искоса на арестованного, то вопросительно на доктора, то внушительно на трясущихся и подпрыгивающих казаков сборной сотни.

– Сто тысяч одна, сто тысяч другая, сто тысяч третья, – бормотал Станислав Матвеевич, – сто тысяч четвертая, сто тысяч пятая…

– Однако черт возьми! И чаю хочется, и закусить хочется, и спать до смерти хочется. Всю ночь напролет провозились! – мечтал полковник о предстоящем отдыхе, по исполнении возложенного на него поручения.

– Кто же мне теперь за визит заплатит: из следственной ли комиссии, или это уже Лопатина дело? Терпеть не могу вот эдаких неопределенностей! – недоумевал доктор, все крепче и крепче придерживаясь за скобы, так уж его поддавало и подкидывало на неудобном сиденье.

Наши путешественницы не видели этого поезда. Едва только заслышан был вдали стук колес, Фридерика Казимировна поспешила опустить шторку. Она все еще боялась «враждебной демонстрации».

– Мне, наконец, душно, мама! Долго ты еще будешь закупориваться? – словно проснулась Адель.

– Теперь, я думаю, можно: кажется, мы уже довольно далеко отъехали! – сообразила Фридерика Казимировна.

Раскупорились.

Ярко-зеленые стены садов потянулись по обеим сторонам экипажа. Бесконечно высокие тополи и развесистые карагачи покрывали сплошной тенью всю дорогу, еще не успевшую просохнуть от ночной росы; из-за гребней глиняных стен выглядывали туземные детские головки, смуглые, в красных шапочках, сверкающие глазенками и ярко-белыми зубами. Арбы и верблюды, попадающиеся навстречу, сворачивали и жались к сторонам; стаи розовых скворцов с шумом перелетали с одной группы деревьев на другую. Дормез начал потихоньку спускаться к Бо-су, подтормозив колеса, и на том берегу, в массах темной зелени, показался знакомый уже нам, изукрашенный мелкой резьбой фасад «русской избы».

Два всадника, довольно тучных по очертаниям своих фигур, распустив поводья, как-то сутуловато сидя на своих седлах, виднелись на повороте или, правильнее, над поворотом, потому что они находились на довольно высоком обрыве, у подошвы которого пролегала самая дорога. Лошадь под одним из всадников, развесив уши, мотала головой и отфыркивалась от какого-то слишком уж назойливого овода; под другим – спокойно обкусывала себе молодые, желтоватые побеги ближайшего куста и забиралась все дальше и дальше в чащу, так что всадник принужден был потянуть, наконец, за повод и этим хотя сколько-нибудь унять расходившиеся порывы утреннего аппетита своей лошади.

– Адочка! Смотри, смотри скорее! – заволновалась Фридерика Казимировна.

– Что такое? Чего ты это так?

– Лопатин! Смотри, вон стоит! И с ним этот… Что, что, что я тебе говорила? Видишь теперь, как этот человек умеет чувствовать. Разве остановиться на минуту?

– Это его дело, а не наше!

– Ну, отчего же? Эй, послушай! Стой! Постой, придержи лошадей! – крикнула ямщику madame Брозе, торопясь спустить стекло переднего окна.

Дормез остановился: Лопатин и Катушкин начали спускаться с обрыва.

– О, как вы добры, Иван Илларионович, как вы великодушны! – запела Фридерика Казимировна.

Иван Илларионович раскрыл, было, рот, хотел было сказать что-то, – и вдруг учащенно заморгал глазами и поспешил вытереть себе нос перчаткой.

– Что ж! Так, значит, Господу Богу угодно! – поспешил ему на помощь Иван Демьянович. – И все это к общему благополучию. Мы, значит, сами по себе, вы тоже ни в чем в обиде не состоите. Всякого вам счастья и благополучия во всех начинаниях; главное – пошли, Господи, здоровья! Трогай, братец! – закончил он свою речь, кивнув ямщику.

– Стой! Стой! Стой! – послышалось внутри дормеза, но этот голос был покрыт грохотом экипажа, в карьер подхваченного шестериком на крутой подъем противоположной стороны оврага.

Когда экипаж был на самом уже верху, то на мгновение еще раз показались обе верховые фигуры.

Иван Илларионович подсмаркивал носом – уж очень щекотали там бежавшие по его оплывшему лицу слезинки – и махал своей фуражкой. Фридерика Казимировна поспешила поднести платок к глазам. Адель откинулась назад, в самый угол дормеза, и начала отыскивать в своем кармане коробочку с мятными лепешками. Она вдруг почувствовала припадок тошноты. Вероятно, опять какие-нибудь воспоминания произвели это неприятное действие.

И в тот же день, после обеда, Иван Илларионович получил маленькую треугольную записочку, от которой за несколько шагов пахло ванилью и розами.

«Что такое?» – подумал он, понюхал, присмотрелся к почерку и распечатал, немало повозившись-таки с хитро сложенным конвертом.

«Добрейший и любезнейший Иван Илларионович!

Мне очень приятно было бы покататься сегодня в вашей прелестной коляске; я немножко прихворнула, и доктор запретил мне на некоторое время прогулку верхом.

Ваша коляска, кажется, теперь свободна, и я вполне уверена, что вы не затруднитесь исполнить эту маленькую просьбу.

Все та же М.Л.»

– Видишь, братец? – протянул Лопатин эту записочку Ивану Демьяновичу.

– Вижу-с! – улыбнулся Иван Демьянович.

– Понимаешь, к чему дело идет?

– Как не понять!

– Послать, что ли?

– Чего-с?

– Коляску-то?

– Что же, поразвлекитесь немножко, оно очень вам полезно будет в теперешнем вашем душевном состоянии!

– Ну да, да, я и сам так думаю!

– Ежели уж нельзя обойтись, то, во всяком случае, *эта статья*, по нашему коммерческому делу, много подходящее будет!

Лопатин сделал распоряжение приготовить к вечеру его щегольскую коляску.

XII. КАРАКОЛЬСКИЕ РУДНИКИ

Дело Бурченко после описанных нами событий не клеилось. Только малороссийская настойчивость и упрямство удерживали его на месте работ. Не раз уже ему приходила в голову идея либо бросить дело, либо начать хлопотать об официальной поддержке; с нескрываемой грустью поглядывал на все эти груды взломанного камня, на эти холмы вырытой земли, на эти зияющие отверстия шахт, из которых белели крестообразные брусья скреп и подпорок.

«А что, разве и в самом деле? – думал он, и тут же сам разбивал вдребезги возникшее в его голове предположение. – Эх, да что толку. Ну, пришлют казенного инженера, пришлют роту пехоты, казаков полсотни. Укрепление, пожалуй, еще возведут, какое ни на есть! Этих-то, настоящих работников, спугнут с насиженных мест, тогда из кишлаков горных уже никто ни ногой, разве в базарный день, раз в неделю».

Ледоколов из кожи лез, лишь бы усердием и своим знанием хотя как-нибудь поддержать испорченное им дело. Он положительно надрывался над работами и рысканьем для вербовки вольных рабочих.

А этих-то вольных рабочих с каждым днем становилось все менее и менее. Они уходили часто так, сами по себе, не предупредив «русских уста» (мастеров)[1], не сказав даже слова, и уносили с собой свои инструменты, а подчас даже и хозяйские.

Прошла еще неделя – и остались только те, кто положительно не знал, где бы ему чего-нибудь поесть, – остались единственно только потому, что каждый день, в большом котле, вделанном в камни у самого обрыва Каракол, варилось несколько фунтов рису, и торчала какая-нибудь верблюжья или лошадиная кость – все, чем только мог кормить их Бурченко, кошелек которого тощал в наводящей уныние прогрессии.

К чести «русских уста» надо отнести то обстоятельство, что они не позволяли себе лично иметь другой стол, кроме общего котла; жидкий кирпичный чай по утрам – это вся роскошь, которую они допускали в отношении своих желудков.

– Скверно! – вздыхал Бурченко.

– Ну, еще, может быть, справимся. Придет неожиданный перелом, дело обернется к лучшему! – бравировал, впрочем, весьма унылым тоном Ледоколов. – Случается, что вот, думаешь, совсем плохо, а…

– Что же, с небес, что ли, свалится? Поверьте, если и свалится что-нибудь сверху, так разве вон тот кряж. Его что-то уж очень подмывает за последнее время. Я вот ходил смотреть после той бури: сомнительно, шибко сомнительно!

– Обвал нас, во всяком случае, не заденет! – и тут попытался сунуться с утешением Ледоколов.

– Вчера еще четверо ушли, сегодня в ночь двое… Осталось…

– Девять человек осталось, целых девять человек. Это чего-нибудь да стоит!

– Ничего-таки не стоит!

И не мог не согласиться Ледоколов, что оставшиеся девять человек ленивых бродяг, работающих только из-за того, чтобы их подпустили к котлу, действительно ничего не стоят при деле, где еще полторы недели тому назад двести кетменей и лопат поднимали стукотню на всю каракольскую лощину.

Сегодня рано утром подошел к Бурченко один из работников, последний таш-огырец, и, опустив кетмень на землю, сказал:

– Ты, брат, уходи лучше!

– Что так? – приподнялся на локоть Бурченко.

– Видел, ночью трое наших с той стороны приходили?

– Ну?

– Так вот они сказали нам такое слово, что вам уходить надо – тебе и тому бородатому. Куда это он поехал?

– Неподалеку, что же они тебе сказали такого?

– Не мне одному, все слышали. Ты говоришь, неподалеку, куда же именно, в какую сторону? – И работник поглядел вниз по Караколу, где между двумя темно-синими скалами виднелась белая зубчатая полоса далеких ледников. – Как бы он не попался! Если теперь он там… гм! – начал он соображать вслух и чесать своими черными, заскорузлыми пальцами широкий, потный затылок.

– Да ты говори толком, что обиняками закидываешь? – поднялся совсем на ноги Бурченко, заинтересованный соображениями таш-огырца.

– Назар-барантач идет со своими шайками; человек сто будет, вот что! Может, сегодня к ночи нашими местами проходить будет, а может, еще… Гляди, вон едет!

Даже побледнел малоросс от такой неожиданности и при слове «едет» схватился за оружие.

– Не Назар, погоди еще! – усмехнулся работник. – Твой тамыр едет; вон он с горы, за красными камнями, спускается!

И действительно, вдали, по тропе, вьющейся между темно-красными грудами железистой почвы, белел широкий плащ Ледоколова, во всю прыть коня спускающегося к ручью.

В безопасную минуту, когда никто не гонится сзади, когда не слышно за спиной топота вражеского коня, никто бы не рискнул так галопировать по этой опасной дороге.

Бурченко невольно почуял близость тревоги. Даже Карим взялся за седло и покосился в ту сторону, где стоял на приколе серый конь – подарок муллы Аллаяра.

– Беда, беда! – еще издали кричал Ледоколов. – Назаркины люди Таш-Огыр прошли; я сам четырех «казыл чапан»[2] (красный кафтан) видел – чуть было не попался!

Взмылился конь Ледоколова, и передние ноги дрожали от скачки по горным дорогам.

– А что они нам сделают: взять у нас нечего! – пожал плечами Бурченко.

– Если бы все рабочие, что прежде работали, налицо состояли, мы бы не побоялись назаркиной сволочи, а теперь…

– А теперь мы-то уйдем, а вас заберут всех троих и погонят туда, откуда уже не вывернетесь! – оскалил зубы таш-огырец, сплюнул табачную жвачку и пошел себе, не простившись, по той самой тропинке, на которой еще виднелись кованые следы ледоколовской лошади.

Не прошло и четверти часа, как еще гонец прискакал на каракольские рудники. Это был посланный от муллы Аллаяра из Таш-Огыра. Очень лаконическую весть принес он – только два слова было в этой вести.

«Уходите скорее», – вот все, что прислал им сказать Аллаяр, и в доказательство того, что это именно идет от таш-огырского старшины, гонец вынул из кожаного гамана маленькую сердцеобразную печать, которую и оттиснул сейчас же на холодном кусочке бараньего сала.

Печать оказалась знакомой, как Бурченко, так и его товарищу, и сомневаться не представлялось никакой возможности.

– Седлай, Карим, лошадей! – вздохнул, глубоко вздохнул малоросс и отвернулся лицом на север, чтобы не видеть того, что ему так трудно, так тяжело было оставить.

– Мясо-то не забирай с собой: нам оставь! – окружили его оставшиеся рабочие, оборванные, полуголые, с худощавыми, скуластыми лицами какого-то буроватого, землистого цвета.

– А куда мне его? Берите, жрите на здоровье!

И Бурченко указал на распяленную на шестах красную тушу вчера только зарезанного верблюда.

Дня три тому назад, в десяти верстах от рудников, проходил караван из Андижана. Один из верблюдов оступился, рухнул вниз, сажень на пять высоты, и переломал себе ноги. Издыхающее животное куплено было малороссом за бесценок, и его мясо было последним подарком от «русских уста» несчастным, проголодавшимся горцам-бездомникам.

Скоро собрался печальный караван из трех всадников и одного вьючного верблюда и потянулся к северу, уходя от «кызыл чапанов» страшного Назара-Кула.

И в этот же день, только что солнце спустилось к горам и понизу начали темнеть глубокие лощины, на Каракол нагрянули «кызыл чапаны».

С любопытством дикарей бродили джигиты-барантачи по рудникам, осматривали все, руками трогали для большей наглядности и никак не решались спуститься вниз по лестницам в эти черные, зияющие провалы, откуда, казалось им, вот-вот, в массах красного огня, вылетит разная, напущенная гяурами, чертовщина. Наивных разбойников особенно интересовал и смущал забытый впопыхах Ледоколовым испорченный барометр-анероид.

– Не тронь! – остерегал один кызыл-чапан другого. – Как хватит во все стороны – будешь тогда знать! Брось его на землю!

– Шайтанлык (чертовщина), одно слово; рук не погань, брось!

А на другом конце, на выезде, собралась густая толпа около двух смельчаков работников, рискнувших остаться на месте и выжидать прибытия шайки.

– Так что ты говоришь, чего они здесь искали, под землей-то? – спрашивала стальная кольчуга, придерживая одного из работников за ворот – для верности, должно быть.

– Как же это вы, собаки поганые, уйти им дали, а?.. – горячилась рогатая войлочная шапка, тряся за ворот другого.

– А поди, тронь их, как же! – оправдывался работник. – Мы, было, сунулись к ним, а они только плюнули в нашу сторону – мы и попадали на землю. Ну, кто-то ноги так и подкосил… Не попусти мне, Аллах, никогда больше есть баранины!

– Разве пойдешь против самого шайтана? А они его родные дети! – собирался в свое оправдание врать другой.

И барантачи убедились, что, действительно, против самого шайтана ничего не поделаешь. Одно только удивляло их: отчего эти шайтановы дети от них удрали, если им стоит плюнуть, чтобы подкосились вражеские ноги?

Впрочем, этот непонятный страх тешил самолюбие барантачей и они не тревожили больше оставшихся на месте работников, изъявивших желание на другой день идти вместе со всей шайкой.

А через неделю после этого события тревожные слухи с быстротой электрической искры разнеслись по всему Ташкенту и его окрестностям; говорили, что в Манкенте ночью сделано нападение на почтовую станцию, будто бы зарезан там проезжавший какой-то казачий офицер, уведены в плен двое русских, служивших при этой станции. На Чирчике, во время переправы, чуть было не попался в руки барантачам даже сам уездный начальник. В другом кишлаке порезали русских сборщиков податей; разбойники прошли даже дальше и появились на большом почтовом тракте, у станции Апыр. Слухи эти мало-помалу оказывались справедливыми.

Высланы были немедленно небольшие конные отряды для противодействия разбойникам. В городе засуетились.

Новый слух пробежал по Ташкенту и возбудил еще более толков и говору: мадам Брозе и ее красавица-дочь не избегли рук назаркиных кызыл-чапанов… Передавались даже все мельчайшие подробности этого ужасного события. Словно кто-нибудь был на месте происшествия и видел своими глазами разыгравшуюся драму.

Как громовым ударом, поражен был Иван Илларионович этой вестью; он сразу даже не понял, не сообразил, в чем дело, и несколько минут сидел, словно ошалелый, поводя во все стороны бессмысленными глазами. И вот на этих глазах заблистало что-то, налилось в крупные капли, потекло по щекам…

– Что же убиваться изволите, Иван Илларионович; разве это от вас? Воля Божья, значит! – сунулся, было, с утешением Катушкин.

– Загубил я ее, загубил! – зарыдал Лопатин и припал лицом на шитую шелками диванную подушку.

И – странная случайность! – от этой подушки, от вышитого на ней букета китайских роз и фантастических лилий пахнуло на него запахом резеды – преимущественными духами хорошенькой архитекторши.

XIII. «ЭТО ОНА»

– Вон там, внизу, давно ли ехали, часа два не больше, тепло так было, славно, а здесь… бррр!

И Бурченко передернул плечами под своим плащом из верблюжьего сукна и затискал плотнее полы между седлом и коленями, чтобы не так продувал снизу сыроватый, пронизывающий горный ветер.

– Это только пока за тот уступ переберемся, а там опять будет затишье… Однако, черт возьми, действительно прохватывает!

И Ледоколов тоже начал поправлять свой плащ и башлык, приостановив лошадь и повернув ее спиной к ветру, так что пушистый хвост его коня путался между задних ног и хлестал по брюху.

– Закурили?

– Не могу сладить: все тухнут… Фу ты, проклятый ветер!

– Постойте, у меня, кажется, удачнее дело идет. А, готово! Хотите?

– Благодарю. Ну, однако, надо погонять… Что у вас, хромает никак?

– Кажется, засекся немного. Ну, не бойсь, чего ушами прядешь!

И приятели подбавили ходу, чтобы хотя к ночи успеть пройти за перевал, где они ожидали найти относительное затишье.

Как ни крепился Бурченко, как ни представлял себе, что дело их не выгорело, что его надо бросить, что самое лучшее – и не возвращаться более

«на погорелое место», как шутливо сам же он называл преждевременно скончавшиеся каракольские рудники, – однако не выдержал и, тронув Ледоколова за плечо, произнес:

– А что, не съездить ли нам?

– Куда?

– Гм, куда! Проведать, посмотреть, что там и как; может, завалили их эти кызылы-то, а может быть, и все в порядке!

– А попадемся?

– Мы осторожно: ночью, что ли… два всадника всегда могут так пробраться, что никому и в глаза не бросятся. Вот раз мне случилось тоже вот так, вдвоем: поехали мы – я да еще один топограф такой неважный…

И Бурченко для примера привел один из бесчисленных эпизодов своего шатанья по горам и долинам.

– Да что же, поедем!

– Знаете, может быть, в Таш-Огыр проехать можно. Поговорю опять с приятелем Аллаяром – кто знает, народ ведь так думает: сегодня одно, а завтра – другое. Больше, откуда ветер дует… Да вы не улыбайтесь: случаются такие неожиданные вещи!

А Ледоколов еще шире улыбнулся и готов был, что называется, фыркнуть, потому что вспомнил, как дня три тому назад совершенно в том же духе утешал своего приятеля, уверяя его, что всегда может случиться что-нибудь такое непредвиденное, и прочая, и прочая.

Велели Каримке оседлать своих лошадей, забрали у маркитанта провизии дня на четыре, не больше, сели и поехали, никому в укреплении не сообщив о цели своей поездки.

Прислал уездный начальник казака спросить, куда это господа частные инженеры собираются ехать? Он видел из окна своей квартиры, как Бурченко приторачивал к седлу походные чемоданчики.

– Так, прогуляться! – удовлетворил любопытство начальника Ледоколов.

– Неподалеку! – пояснил от себя Бурченко, садясь на лошадь. – В горы!

И вот теперь-то Ледоколов с Бурченко ехали посмотреть на свое пепелище и попытаться еще раз оживить совсем уже умершее на вид дело.

Добрых шесть часов езды осталось им до каракольского ущелья. А уже дело становилось к вечеру. Сырой, жидкий туман полосой сползал с гор и мелким дождем наискось несся навстречу путешественникам. Унылый гул ветра слышался в далеких ущельях. Все небо затянуло сизыми, тяжелыми тучами. Горные орлы-ягнятники забились в свои расщелины, где чернелись их косматые гнезда, усеянные кругом белеющими костями козлят и горных куропаток. Даже архары – и те не виднелись больше на вершинах торчащих особняком скал, а попрятались со своими самками и ягнятами в более безопасные убежища. Все предвещало сердитую непогоду, собирающуюся разыграться во всем своем грозном величии.

– Раньше, как на Караколе, негде укрыться! – решил Бурченко. – Во всяком случае, ночевать уже будем на месте.

– Доедем ли мы, как стемнеет? – сомневался Ледоколов.

– Хотя за полночь, но доедем: дорога знакомая.

И восемь кованых конских ног дружно работали по каменистой дороге под глухой, монотонный аккомпанемент усиливающегося ливня.

Два ярких костра пылали на самом берегу Каракола, и далеко разбегались во все стороны лучеобразные колеблющиеся полосы красного света. Десятка два лошадей, заседланных, навьюченных по-дорожному, стояли на приколах, поодаль одна от другой. У огней толпились темные фигуры, заслоняя их своими силуэтами, слышался громкий говор, выкрикивания муллы, нараспев гнусившего какие-то стихи из Корана, злобно взвизгивал статный жеребец, покрытый полосатой попоной, норовящий как бы половчей лягнуть в бок своего соседа.

Это остановилась на ночлег шайка «кызыл-чапанов», возвращавшаяся со своего удачного набега.

Удачным их набег можно считать уже потому, что, во-первых, число барантачей уменьшилось только на четыре человека, между тем как частенько случалось, что из шайки в сорок человек возвращалось только четыре, бог весть, какими судьбами уцелевших батыра. Во-вторых, еще потому, что, кроме их верховых коней, на длинных чумбурах стояло еще с десяток благоприобретенных лошадей и штук шесть верблюдов, навьюченных почти что по самые уши. Что было в этих вьюках, накрытых от непогоды и пыли широкими узорными войлоками, Аллах ведает. Вернее спросить: чего только там не было. А главное, что составляло венец всей добычи, это были вон те темные, закутанные с головой фигуры, неподвижно, словно не живые люди, а какие-то камни, полулежащие на разостланном у огня ковре-гиляме.

Давно уже, еще с вечера, шайка пришла на Каракол и теперь только выжидала рассвета, чтобы тронуться снова в дорогу. Лошади уже выкормились и отдохнули, торбы с ячменем давно уже сняты были с их сухих, породистых морд. Джигиты тоже все уже из общего котелка вылакали, и только один красный халат, очищая посуду, чтобы привязать ее снова к седлу, усердно сбирал пальцем с краев закопченного котла побелевшие остатки застывшего сала. Кунганчики чайные тоже были убраны. Даже выспаться успели барантачи, а если и растягивала кое-кому рты конвульсивная зевота, так это было скорее влияние сырости и холода ночи, чем навязчивый позыв к сладкой, неотразимой дремоте.

Совершенно спокойно расположились барантачи в каракольской лощине; они и не подозревали, что за ними, из боковой расселины, зорко наблюдают четыре посторонних, враждебных глаза.

Ничком, совершенно растянувшись на мокрой земле, притаившись за вывороченными каменными глыбами, лежали Бурченко с Ледоколовым и выжидали, скоро ли уберутся «эти бродяги» и уступят им свое место. Уже с добрый час, как подползли они сюда. Толстые плащи не пропускали мокроты, и каменистая почва успела уже нагреться несколько под их телами.

Лошадей они оставили версты на полторы сзади, тоже в удобном месте; Бурченко не рискнул держать их ближе; он совершенно справедливо опасался, что они своим ржанием и фырканьем выдадут неприятелю их присутствие.

– Что же, долго это мы созерцать их будем? – шептал Ледоколов.

– Погодите, они скоро уйдут. Вон, уже собираются. Видите, приколы вытягивают. Эка награбили, эка награбили сколько!

– Смотрите, смотрите, пленные есть! – волновался Ледоколов. – Вон совсем почти голый, вон связанный на брюхе лежит. Вон еще, кажется! Женщины!

– Да, да. Несчастные, эк их закутали! Это их так, за седлами, и поволокут?

– А то как же?

Кое-кто из джигитов оправили уже своих лошадей и начали садиться. У одной вьючной лошади, только что успели тронуться с места, лопнула веревка, охватывающая весь вьюк снаружи. Лошадь подбрыкнула; одеяла стеганые, полосатые, тканые, различная одежда, какая-то медная утварь – посыпалась на землю. Послышались крики, сумятица; наконец, сладились.

– Что с вами, что с вами? – озадачился Бурченко, взглянув на фигуру своего соседа. – Да что же такое, говорите! Осторожнее, сумасшедший!

И он с силой схватил Ледоколова за шею и попытался пригнуть к земле, чтобы спрятать эту полупомешанную, бледную, дрожащую от волнения фигуру, до половины поднявшуюся над камнями-баррикадами.

Одну из пленных женщин в эту минуту сажали на седло. Два дюжих джигита подняли ее на руках, усадили верхом на круп лошади, а третий джигит, уже сидевший на этом же коне, размотал чалму и приготовился припоясать несчастную к своему поясу.

Не сопротивлялась несчастная усилиям разбойников, хотя ее нежные белые руки были совершенно свободны. Она только, и то каким-то машинальным движением, поправила волосы, выбившиеся из-под платка и закрывшие ее лицо. Она открыла это лицо – на одно только мгновение открыла его. Не то слеза, не то свет костра сверкнул в этих больших, темных глазах, окруженных густой синевой.

– Это она… это она! – неистово вскрикнул Ледоколов, рванулся, вскочил на ноги и ринулся вперед, ничего перед собой не видя, потеряв всякое сознание.

– Несчастный! – схватился за голову Бурченко.

Не сразу понял он, что такое произошло перед его глазами, там, внизу, между двух разметанных, полупотухших костров разбойничьего бивуака.

Вслед за этим отчаянным, потрясающим душу воплем послышались тревожные, гортанные крики барантачей. Две или три лошади шарахнулись с перепугу, вырвались, смяли державших и, задрав хвосты, трепля свои вьюки, поскакали по ущелью. Несколько выстрелов коротко стукнули, замолкли на мгновение и гулко зарокотали по горам, подхваченные эхом. С визгом защелкали по камням неизвестно кем, неизвестно куда пущенные пули.

Да и сами барантачи не сразу поняли, в чем дело; особенно один, приземистый, кривоногий «китабец»[1], с комичным недоразумением на своем широкоскулом, изуродованном оспой лице, посматривал то на свою саблю (клынч), то на лежавшее перед ним навзничь, конвульсивно вздрагивающее в последней агонии тело.

– И когда это я ее из ножен выволок? – косился джигит на кривой, серпообразный клинок, по глубоким, прорезным долам которого струились и сбегали буроватые, липкие капли. – Эк, я его свистнул, го-го-го! А зачем?

– Да, зачем?

– Да ведь не я один, кажется! Ловко пришлось…

И джигит, нагнувшись к телу Ледоколова, ощупывал пальцем кровавые рубцы его расколотого черепа.

– Словно живым не могли взять! – пожал плечами другой. – Чего обрадовались! Нас много, он один – связать арканом, да и все тут…

– Сам ножом пырнул!

– Где? У меня и ножа-то в руках не было!

– А вон из-под ребра торчит!

– И откуда это он выскочил?

– А черт его знает, откуда!

– Из ям, вон тех, что русские колдуны нарыли. Вон оттуда и выскочил. Я сам видел! – горячился бараний малахай и суетливо указывал на темные отверстия шахт, видневшиеся сквозь предрассветную дымку.

– Нет, не из ям, а вон откуда! – тряхнул головой джигит в кольчуге. – Я там еще что-то видел, да одному пойти посмотреть боязно!

И джигит покосился в ту сторону, где теперь уже совершенно ясно были видны камни, служившие прикрытием нашим инженерам.

Началось совещание.

Осторожно, с трех сторон зашли барантачи, осмотрели все место, даже камни с места своротили, переглянулись и торопливо пошли прочь, к лошадям, стороной обходя окровавленное тело.

А Бурченко в это время успел уже, сначала ползком на брюхе, а потом бегом, согнувшись в полфигуры, уйти из опасного пункта и, едва переводя дух от усталости и волнения, невольно дрожавшими пальцами распутывал как нарочно затянувшиеся в узел поводья.



Приложения



Э. Ф. Шафранская

«КАРАЗИН! АЗИЯ!»

ТУРКЕСТАНСКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В 2000-е годы в публицистике и интернет-блогах зазвучал вопрос: где же русская литература, отразившая эпоху российского завоевания Средней Азии?

Интервьюер «Русского журнала» задает современному писателю вопрос: «Тема колонизации азиатских окраин Империи почти не становилась темой литературных произведений, хотя во взаимопроникновении европейской и среднеазиатской культур можно увидеть ключи и к некоторым социокультурным процессам уже советского времени. С чем связано такое умолчание о единственном для России крупном колониальном освоении?»

Отвечает писатель Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни): «Ну, если бы оно было единственным… Был еще Крым; был, конечно же, Кавказ. Они, похоже, и оттянули основные литературные ресурсы. И какие: Пушкин, Лермонтов, Толстой… Тут совпал период “колониального освоения” с романтизмом; романтизм вообще чувствителен к экзотике, к “берегу дальнему”. Даже кавказские повести Толстого еще светятся романтизмом, хотя и остывавшим… С азиатскими окраинами все было сложнее; когда русские войска брали Ташкент и подчиняли Бухарское ханство, романтизм уже отпылал. А реализму с его умением открывать новые миры в самом ближайшем и обыденном, в “борще с мухами”, эти экзотические окраины были ни к чему. Толстой, понятно, уже туда не поехал. Вронского отправил, как в тридевятое царство. И в советское время Туркестан оставался литературно неосвоенным. Не считая туркменских вещей Платонова и “Узбекистанских импрессий” Кржижановского…»[1].

---

[1] *Абдуллаев Е.* Туркестан, Розанов, Заратустра // Русский журнал. 01.09.2011. URL: http://www.russ.ru/pole/Turkestan-Rozanov-Zaratustra (дата обращения: 08.11.2017).

В унисон писателю рассуждает историк Сергей Абашин: «Большой Средней Азии, в отличие от маленького Северного Кавказа, вообще не повезло с великими русскими писателями. Хотя известно, что регионом они интересовались, Салтыков-Щедрин использовал “ташкентцев” для своей критики имперской бюрократии, Тютчев перед самой смертью живо интересовался военной экспедицией в Хиву, а Достоевский восторженно принял новость о взятии Скобелевым крепости Геок-тепе. И Толстого тоже Средняя Азия не обошла стороной»[2].

Тем не менее был писатель, весьма известный при жизни и плодотворный, «открывавший новые миры и экзотические окраины», а именно Туркестан, – это Николай Николаевич Каразин (1842–1908), военный, художник, этнограф, прозаик, участник завоевания Туркестана Российской империей. Пришло время познакомить современного читателя с литературным творчеством Каразина по ряду причин: одна из них состоит в том, что идеологический диктат XX в. сделал все, чтобы это имя было забыто, несмотря на то, что при жизни Каразина с ним сотрудничали современники (Л. Толстой, А.П. Чехов и др.), и вплоть до 1930-х годов его имя было популярно, а влияние его прозы обнаруживается в творчестве многих писателей.

Каразин – пионер в создании тех образов и стереотипов о Средней Азии, которые живы до сих пор. Другими словами, Каразин – слагатель туркестанского текста русской культуры[3]. Множество мемуаристов вспоминает Каразина как очевидно известного в свое время культурного деятеля. При жизни Каразина, параллельно с публикациями его романов и очерков, в петербургских журналах печатались рецензии на них и подробные разборы, содержащие однозначную оценку: Каразин – явление самобытное, узнаваемое. Были и сугубо отрицательные рецензии – одиозного В.П. Буренина (под псевдонимом Z), а также некоего «Л-ича»[4]. Проза Каразина переводилась на иностранные языки как при жизни (на немецкий, французский)[5], так и в XXI в. – на английский[6].

---

[2] Аккаунт Сергея Абашина на facebook, запись от 5 окт. 2017 г. URL: https://www.facebook.com/sergey.abashin/posts/1115044558626182 (дата обращения: 08.11.2017).

[3] Безусловно, Н.Н. Каразин не зачинатель русской ориенталистики. У него были именитые предшественники, например, О.И. Сенковский, однако литературное освоение среднеазиатского ареала – прерогатива Каразина.

[4] *Z*. Ташкентские эффекты романа г. Каразина («Дело», октябрь) // С.-Петербургские Ведомости. 1872. № 324. С. 2; *Он же*. Ташкентский романист г. Каразин («Дело», ноябрь) // Там же. № 352. С. 2; *Он же*. Два слова о романе г. Каразина: «В погоню за наживой» («Дело», январь-ноябрь) // Там же. 1873. № 338. С. 2; *Л-ич*. Ташкентский романист-обличитель // Неделя. 1874. № 12. С. 430–437.

[5] При жизни Каразина переведены несколько сборников его прозы: на немецкий – «Ак Токмак. Очерки нравов Центральной Азии», опубликованные в «Deutsche Rundschau» в 1875 г., «Der Zweibeinige Wolf» – «Двуногий волк» (1876); на французский – «Scènes de la vie terrible dans l’Asie centrale» – «Сцены ужасной жизни в Центральной Азии» (1880) и «Le Pays ou l’on se battra: Voyages dans l’Asie Centrale» – «Страна, в которой сразимся: Поездки в Центральную Азию» (1879) и др.

[6] *Karazin N.N.* In the Distant Confines / Translated with an introduction by *Sariti A.W.* Bloomington, Indiana: AuthorHouse, 2007.

Имя Каразина надолго исчезает из официального литературоведения XX в. Лишь в 1992 г. появляется словарная статья о писателе[7]. Однако в ранний советский период он все же был удостоен статьи в Литературной энциклопедии (1931), где ему вынесли вердикт, вычеркнувший имя Каразина из истории литературы. Вот фрагмент энциклопедической презентации-приговора: «*К.* изображал купцов, предпринимателей, аферистов, к-рые бросились в Среднеазиатские владения в погоне за легкой наживой. Жестокая борьба этих рыцарей первоначального накопления друг с другом на почве конкуренции – обычная тема его произведений. *К.* менее всего интересуется угнетенными и бесправными “инородцами”. Среди русских писателей прошлого он – один из немногих – является ярким представителем колониального романа. У *К.* заметно пристрастие к кричащим эффектам и мелодраматической фабуле»[8].

Как видно из цитаты, текст составлен в стилистике вульгарного социологизма, с его классовыми акцентами, взаимосвязью социальной ниши писателя (в статье подчеркнуто дворянское происхождение Каразина) и его творчества. Упомянутые «кричащие эффекты» (вероятно, составители имели в виду этнографизм сюжетов Каразина) – это, пожалуй, самая яркая черта, делающая его прозу неповторимой. Она завораживает современного читателя, а уж тогдашнего, для которого Каразин был Колумбом Средней Азии, и подавно. Называть любовные сюжеты «мелодраматической фабулой» – этого принижающего «комплимента» может быть удостоен, при желании, всякий любовный сюжет. Упрек советских критиков в адрес Каразина по поводу того, что он «менее всего интересуется угнетенными и бесправными “инородцами”» может быть опровергнут дореволюционной критикой, свободной от прессинга советской идеологии и писавшей совершенно противоположное – в частности, о пристрастии Каразина к изображению местных народов, на которых, как указывал литературный критик П. Никитин, он и «сосредоточил свое внимание»[9].

Таким образом, откровенно тенденциозная энциклопедическая статья 1931 г. о Каразине исключала его из русской литературы. Причины дальнейшего забвения Каразина лежат в идеологической плоскости.

В 1930-х годах власть грубо вмешивается в колониальный дискурс, в художественную литературу в том числе. Появляется иная риторика – антиколониальная, в основе своей противопоставленная колониальной политике

---

[7] *Баскаков В.Н.* Каразин Николай Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2 / Гл. ред. П.А. Николаев. М., 1992. С. 468–469.

[8] *В.Б.* Каразин // Литературная энциклопедия / Ред. коллегия: П.И. Лебедев-Полянский, И.Л. Маца, И.М. Нусинов и др.; отв. ред. А.В. Луначарский. М., 1931. Т. 5. С. 107–108. (Инициалы составителя статьи, В.Б., в энциклопедии не раскрыты.)

[9] *Никитин П.* Ташкентские рыцари. (Повести и рассказы Н.Н. Каразина. Иллюстрированное издание) // Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 19. Под псевдонимом *П. Никитин* в журнале «Дело» печатался литературный критик П.Н. Ткачев.

царской России: «Обе революции 1917 года, временный распад империи, кровавая Гражданская война и установление большевистского режима с обещаниями построить новое общество на принципах, отрицающих колониализм, стимулировали в российских интеллектуальных кругах артикуляцию антиколониальных дискурсов»[10].

СССР наследовал от Российской империи, по преимуществу, всю территорию в ее прежних границах – в частности, Русскую Среднюю Азию (или Туркестанский край), возникшую под таким именованием в результате военной экспансии. Процессы, происходившие в этом регионе, до 1917 г. позволительно было (и есть) именовать колонизаторскими, но после это стало называться «добровольным процессом вхождения», хотя захват окраинных территорий Средней Азии продолжался прежним способом и после установления советской власти. То, как это воссоздано в прозе Каразина – очевидца, участника русско-туркестанского проекта, противоречило пропагандистским мифам, которые тиражировались на протяжении всего советского XX в.

Намеренное забвение склонно провоцировать анекдотические ситуации. Никогда не описывался казус, связанный с упоминанием имени Каразина в советском романе «Гнет» Анны Алматинской, во всех изданиях которого (1957, 1958, 1964, 1969, 1974, вкупе – многотысячный тираж) есть фраза: «Очнувшись, Древницкий увидел знакомые стены, окна с тюлевыми гардинами, гравюру *Карамзина* “Находка”. Удивленно повел глазами» (курсив мой. – *Э.Ш.*). Контекст этого фрагмента таков: место – Туркестан, время – эпоха генерал-губернаторства К.П. фон Кауфмана, рубеж 1870–80-х годов, т.е. самое каразинское время, его сюжеты, его персонажи. «Находка» – так называется акварель художника Николая Каразина, на ней изображен номад верхом на верблюде, вокруг – пустыня, колючки; номад приметил внизу белую форменную фуражку русского военного и пристально ее разглядывает сверху. Именно такая гравюра с работы Каразина могла висеть в интерьере русского офицера, находящегося в Туркестане, – Каразина(!), не Карамзина. Можно предположить, что в текст вкралась опечатка. Но она повторена во всех изданиях романа, с которым – от одной публикации к другой – работали редакторы и цензоры, о чем свидетельствуют изъятые из поздних изданий фрагменты (ср. издания 1958 и 1969 г.). При такой тщательной выверке романа все же упустили *Карамзина / Каразина*. Или не знали? Скорее всего, это не опечатка (или редакторская оплошность): имя художника Каразина, а тем более литератора, прославившего новую «далекую окраину», не было известно издателям (редакторам, корректорам), в отличие, конечно, от самой Алматинской, для которой фигура Каразина была известной и славной, о чем она упомянула в своем романе: «Здесь есть о чем писать. Каразин не только статьи в газеты пишет – романы занятные. А его рисунки на местные темы – экзотика!»[11].

---

[10] *Тольц В.* «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М., 2013. С. 169.

[11] *Алматинская А.В.* Гнет: Роман: В 2 кн. Ташкент, 1969–1970. Кн. 1. С. 348.

Никем не замеченным осталось упоминание о Каразине в повести Константина Симонова «Двадцать дней без войны» (1973): описывается интерьер одной из квартир в Ташкенте времен войны – эвакуации 1940-х годов, куда попадает командированный из Москвы журналист «Красной звезды». «На стенах комнаты, так же как и в прихожей, висели акварели 〈…〉 Старая Средняя Азия! Арбы, верблюды, караваны, всадники, лошади. Под двумя акварелями, висевшими пониже, на одной из которых был изображен пригнувшийся к луке седла казак с нагайкой, а на другой – табун лошадей, Лопатин разобрал подпись: “Каразин”, – и вспомнил, как в молодости читал полные занятных подробностей книжки этого превосходного акварелиста, участника туркестанских походов. Кто-то живший раньше в этой квартире любил Среднюю Азию, собирал эти картинки Каразина, да так и оставил их здесь»[12].

Судя по этому фрагменту, автор весьма неравнодушен как к художнику, так и писателю Каразину. И когда Лопатин, герой симоновской трилогии, на поле боя встречает генерала Ефимова, последнего обладателя квартиры с каразинскими акварелями, тот первым делом спрашивает его: «Ну и как там, не набезобразничали товарищи артисты? Картинки мои висят? – Висят»[13].

О влиянии каразинской прозы на Симонова свидетельствует не только фамилия военного корреспондента – Лопатин (однофамилец каразинского персонажа из «Погони за наживой»), но и сам жанр симоновского повествования: «Из записок Лопатина». Многие тексты Каразина сопровождены подзаголовочными данными: «Дневник корреспондента», «Из записок линейца». Генетически деятельность симоновского Лопатина вышла из деятельности военного корреспондента каразинского повествователя/рассказчика.

Именно из очерков, рассказов, романов Каразина читатель XIX в. узнавал о быте и нравах, фольклоре среднеазиатских народов, вошедших в Российскую империю. Каразинская проза гораздо раньше вошла в культурный слой России, чем этнографические очерки военных востоковедов. Каразин дал старт многому из того, что впоследствии стало сводом растиражированных стереотипов о Туркестанском Востоке, он первым внес в отечественный дискурс русифицированную лексику – так называемые ойкотипы и эндемики[14], связанные с зарождавшейся на его глазах билингвальной языковой культурой.

Нынешнее издание прозы Каразина имеет как историко-литературное, так и собственно историческое значение. Туркестанский текст в русской культуре стартовал с тех самых пор, когда в Среднюю Азию пришли российские

---

[12] *Симонов К.М.* Двадцать дней без войны // Симонов К. Собр. соч.: В 10 т. М., Т. 7. 1982. С. 237–238.

[13] Там же. С. 347.

[14] Эндемики – слова, характерные для данной местности, отдельного этноса (для «внутреннего пользования»), не имеющие широкого хождения. Ойкотипы – прецедентные тексты, характеризующие речь определенного ареала; ойкотип – от «ойкумена», термин К.В. фон Зюдова, перенесенный им из ботаники в фольклористику и означающий «наследственный вариант растения, адаптировавшийся в какой-то среде в результате естественного отбора» (см.: *Путилов Б.Н.* Фольклор и народная культура. СПб., 2003. С. 179).

военные, когда в печати стали появляться заметки, очерки, этнографические сообщения, а потом уже и художественная проза о том крае – примерно с 1860-х годов.

Редакция журнала «Русская старина» (1907) по случаю юбилея творческой деятельности Николая Каразина предваряет публикацию его очерка такой врезкой: «В конце (27 ноября) истекшего года исполнилось тридцатипятилетие деятельности Николая Николаевича Каразина, популярного художника-этнографа и писателя, автора печатаемых ниже воспоминаний.

Молодость свою (род. 1842 г.) Н.Н. провел в Туркестане, участвуя во всех почти делах русских войск при среднеазиатских завоеваниях и в ученой экспедиции на Амударью, что дало ему богатый этнографический и художественный материал для будущих работ. Выйдя в 1871 г. в отставку, посвятил себя литературной и художественной деятельности. За 80-е годы имя Н.Н.К., как талантливого иллюстратора и бытописателя среднеазиатской жизни, приобрело широкую известность; его романы и повести “Двуногий волк”, “В пороховом дыму”, “В камышах”, “На далеких окраинах”, открывая дотоле неизвестный мир, пользовались таким же постоянным успехом, как и характерные рисунки азиатской пустыни с караванами верблюдов. В 1877 г. Каразин вместе с Вас. Ив. Немировичем-Данченко, В.В. Верещагиным выдвинулся в качестве талантливого и добросовестного военного корреспондента.

Из позднейших его работ обращают на себя внимание иллюстрации к изданию путешествия Государя императора Николая Александровича в бытность Наследником на Восток.

Каразин известен также и своими акварелями, он один из основателей общества русских аквалеристов, и каждый год на этих выставках появлялись его вещи.

Деятельность Н.Н. весьма плодотворна: им напечатано более двадцати пяти томов[15] романов, повестей и рассказов, иллюстрации же его в течение многих лет появлялись в наиболее распространенных еженедельных журналах, и имя Н. Каразина всегда встречалось читателем как одно из хорошо знакомых и самых симпатичных»[16].

А журнал «Нива» еще в 1874 г. знакомил своих читателей с новыми гранями личности и деятельности Н.Н. Каразина: «Ученая экспедиция по течению Амударьи… занимает в настоящее время умы всей читающей публики. Деятельное участие, которое принимал в этой экспедиции даровитый сотрудник “Нивы”, Николай Николаевич Каразин, обещая много интересных очерков и рисунков нашему журналу, в то же время придает новый и так сказать общественный интерес его личности. Пользуемся этим случаем, чтобы познакомить наших читателей с жизнью и деятельностью художника,

---

[15] Оговорка: известно одно полное собрание сочинений Н.Н. Каразина – в 20 томах.

[16] Русская старина. 1907. Т. 129. Январь. Февраль. Март. С. 531–532.

давно уже известного им со стороны его литературного и художественного таланта»[17].

После приведенных биографических данных Каразина, перечня военных походов, в которых он участвовал, редакционная презентация продолжается хвалебными отзывами о его деятельности: «Начало литературно-художественной деятельности Каразина относится к 1871 году, когда он внезапно выступил во всеоружии двух дарований: как живописец с целым рядом среднеазиатских эскизов и как писатель – с первого произведения своего завладевший вниманием публики. С тех пор он является одним из деятельнейших сотрудников “Нивы”, “Illustrated London News”, “Всемирной иллюстрации”, “Беседы” и “Дела” ⟨…⟩ Соединяя в себе наблюдательность этнографа с талантами писателя и живописца и будучи ориенталистом благодаря службе в Средней Азии, Каразин не мог не обратить на себя внимания при составлении ученой экспедиции в места его прошлых военных подвигов. Он принял новое назначение с восторгом и горячностью, которою отмечены все его труды…»[18].

Сама фамилия Каразина стала собственно символом русского Востока. Художник Виктор Уфимцев, в 1920-е годы отправившийся из Омска в Туркестан, оставил такую запись: «Вокруг выжженный, желтый простор и горы синеющей каймой опоясывают горизонт. К а р а з и н! А з и я!»[19].

Ранжирование писателей прошлого по «рядам» (писатель первого ряда, второго и т.д.) стало общим местом как в науке, так и в повседневности.

В новейшей истории литературы случались «переходы» писателей из одного ранга/ряда в другой (например, Н.С. Лесков). Литературоведческая иерархия писателей «по рядам» относит беллетристов ко второму и третьему. Термин «беллетристика» имеет как нейтральную коннотацию («повествовательная проза»), так и негативную («легкое чтение»)[20]. Тем не менее для XIX в. было характерным любого автора художественной прозы именовать беллетристом, без каких-либо дополнительных смыслов.

Рассматривая давний литературный процесс уже как историю, само собой возникает стремление к упорядочиванию: что было характерно для текущей литературы? каковы ее предпочтения? какова поэтика? Литературовед И.А. Гурвич пишет: «Бросается в глаза зависимость между утверждением реалистических принципов и формированием русской классики, ее стремительным расцветом. Но тем же обстоятельством вызван и подъем беллетристики ⟨…⟩ Ибо беллетристу как раз по силам рисовать “с натуры”, ибо “обыкновенному таланту”[21] впору оперативно откликаться на злобу дня, обозревать окружающее, живописать многообразие лиц, занятий, укладов. Там,

---

[17] Николай Николаевич Каразин // Нива. 1874. № 36. С. 561.

[18] Там же. С. 562.

[19] *Уфимцев В.И.* Говоря о себе: Воспоминания. М., 1973. С. 45.

[20] См.: *Гурвич И.А.* Беллетристика в русской литературе XIX века. М., 1991.

[21] По классификации В.Г. Белинского, существует иерархия: гений, гениальный талант и обыкновенный талант.

где происходит “открытие мира”, беллетрист зачастую впереди – не по значению, а по счету времени»[22].

Именно к таким «обыкновенным талантам» относится Каразин. В пользу этого говорит поэтика его прозы, сложившаяся под влиянием современных писателю литературных запросов, мод, целей. Если целью беллетристики было воспроизведение специфического мышления определенной среды[23], то Каразин с ней успешно справился: среда его прозы – это русское «ташкентство» разных социальных ниш – военной, чиновничьей, купеческой, крестьянской.

Для поэтики прозы Каразина (как для поэтики беллетристики вообще) характерны такие черты и приемы: повествователь – путешественник, наблюдатель, обозреватель; сочетание авантюрного, социологического, исторического сюжетов; ситуация частного человека в историческом событии; предпочтение создавать не характер, а типологический персонаж; «изображение “среды обитания” (жилища, утвари, интерьеров и т.п.)»[24]; присутствие детективного мотива; этнографическая составляющая. В итоге реализуется одна из главных функций беллетристики – ознакомительная.

В чем же причины замалчивания прозы Каразина в XX в.? Они не могут быть связаны с творчеством, с собственно художественными текстами. Их надо искать в другой плоскости: идеологической, ментальной, или в том антропологическом узоре, который пропагандировала на определенном этапе истории власть – советская.

Много печатавшаяся до 1917 г. проза Каразина известна ныне очень узкому кругу специалистов. Широко освещенный писателем колонизаторский проект вызывает читательскую оторопь. Реалистические картины российского силового вторжения на чужую территорию не укладываются в сознание, сформированное советской пропагандой, учебниками и кинолентами. Захват Средней Азии в представлении современников рисуется в виде картинок вестернов, или, точнее, «остерна» в духе «Белого солнца пустыни», с которым проза Каразина никак не гармонирует. Ведь русская экспансия в Среднюю Азию «несла культуру и цивилизацию» – расхожий стереотип, зачатый идеологией еще Российской империи и продолженный советской.

Каразин описывает сопротивление туземцев русским завоевателям: «Стойко защищают свое, уже дымящееся местами, гнездо. Исстари насижено оно их прадедами, и куда как не хочется отдавать его ненавистным белым рубахам, “Ак-кульмак”[25]»[26], а также упорство русской силы в завоевании

[22] *Гурвич И.А.* Указ. соч. С. 22.
[23] Там же. С. 34.
[24] Там же. С. 52.
[25] Ак-кульмак – белые рубахи, часть обмундирования русских солдат той поры, вместе с красными кожаными штанами, *чембарами*, – эту солдатскую униформу можно видеть на среднеазиатских полотнах В.В. Верещагина и Н.Н. Каразина.
[26] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 13. С. 167.

новых земель: «Пройдет годик-другой, мы устроимся: все это, что мы теперь занимаем, с оружием, да с оглядкою, все это будет наше, навеки закрепленное, и настанет мир и тишина. Вот как там, что сзади осталась… Сторона здесь богатая, привольная…»[27]. Именно эта интенция стало основой советской пропаганды.

Вот один из пропагандистских примеров-приемов, работавших на детскую аудиторию: в ленинградском журнале «ЁЖ» за 1928 г. опубликовано письмо мальчика из «далекой солнечной окраины». Он пишет о том, как трудно октябрятам проводить революцию в Узбекистане. Родители не разрешают есть ложкой, носить трусики: «…не вздумай носить трусики. Если увижу – убью»[28]. Письмо составлено неумело с точки зрения современных экспертов по Востоку, низко оценивших «документальность» этого письма. Однако подобные ходы продуктивно формировали образ русской и советской миссии, несущей благо «диким», «нецивилизованным» народам. «Пропагандистские кампании с использованием фильмов, музыки, театральных постановок и печатной продукции всегда предшествовали изменениям в политике. Но в отличие от дореволюционной деятельности джадидов[29], такие формы просветительской работы щедро финансировались новым государством. А молодежные организации, например Всесоюзная пионерская организация, комсомол и прочие объединения добровольцев, вовлекали людей в сферу нового режима»[30]. Так зрел ориентализм советского разлива, инерция которого ощутима до сих пор.

Проза Каразина разрушает благолепие этой миссии. После 1917 г. его творчество перестало существовать – советские цензурные организации (Главлит и др.) вычеркнули его из литературной жизни. Наступило полное забвение – забвение двадцати томов прозы, опубликованной в виде полного собрания сочинений Н.Н. Каразина в 1905 г. (хотя в советское время были публикации детских книжек Каразина, но они не имели отношения к главной теме его творчества – колониальному проекту).

Один шаг выхода из забвения уже сделан: в 1993 г. опубликован сборник избранной прозы Каразина. Г. Цветов, автор предисловия к сборнику, пишет: «Видимо, с выходом этой книги творения Н.Н. Каразина можно будет отнести к “возвращенной литературе” 〈…〉 Идеологически отточенный глаз советских издателей узрел опасные политические просчеты даже у Николая Каразина,

---

[27] Там же. Т. 5. С. 148.

[28] Ложка и трусики: Письмо из Туркестана // ЁЖ: Ежемесячный журнал для детей. 1928. № 4. С. 16–17.

[29] Джадиды – мусульманские просветители конца XIX – начала XX в.

[30] *Халид А.* Ислам после коммунизма: Религия и политика в Центральной Азии / Пер. с англ. А.Б. Богдановой. М., 2010. С. 99.

из-за которых художник и был предан забвению, казавшемуся оправданным, заслуженным, справедливым»[31].

Соратником Каразина по «хронотопу» был прославленный живописец Василий Верещагин: оба – участники туркестанской экспансии. Верещагин, как и Каразин, тоже был прозаиком – что известно не столь широко в сравнении с его статусом живописца – думается, по тем же причинам.

Если о картинах Верещагина можно еще спорить, кто их создатель – пацифист или приверженец империи[32], то его литературные тексты однозначно свидетельствуют: он разделял имперские амбиции, в отношении к колонизируемым территориям и народам применял такие красочные эпитеты, как «восточный деспотизм», «варварство», «разврат», «содомский грех», – все то, что можно и должно искоренить с приходом русской, европейской культуры. Известен факт, что Верещагин в 1876 г. «подал военному министру докладную, где доказывал общность интересов России и Англии в борьбе с варварским мусульманским миром»[33]. Советские «толмачи» Верещагина не согласились с такой точкой зрения художника – касательно Англии, потому как «счастье» народам Средней Азии светило только из России[34]. Ныне, на рубеже XX–XXI вв., Верещагин-литератор тоже возвращается к читателю. Если расставлять имена Верещагина и Каразина «по ранжиру» в колониальном дискурсе, который проанализирован Эдвардом Саидом в «Ориентализме»[35], то места распределятся так: Верещагин – рупор ориентализма, Каразин – и да, и нет, скорее, он его критик. Каразин, в отличие от Верещагина-литератора, показал в своей прозе обоюдную жестокость «цивилизаторов» и «цивилизуемых», т.е. туземного населения:

«Посмотрите! – указал я адъютанту на что-то яркое, лежавшее в густом винограднике. Мой спутник задрожал и побледнел как полотно. Да и было отчего.

Это *что-то* – была женщина, даже не женщина, – а ребенок лет четырнадцати, судя по формам почти детского тела. Она лежала навзничь, с широко раскинутыми руками и ногами; лиловый халатик и красная длинная рубаха были изорваны в клочья; черные волосы, заплетенные во множество косичек, раскидались вокруг головы, глаза были страшно открыты, судорожно стиснутые зубы прикусили конец языка; под туловищем стояла целая лужа крови.

Даже казаки переглянулись между собою и осторожно объехали, отвернувшись от этого раздирающего душу зрелища.

---

[31] *Цветов Г.* Забытая слава // *Каразин Н.Н.* Погоня за наживой: Роман, повести, рассказы / Сост. А.А. Мачерет. СПб. 1993. С. 5.

[32] *Бобриков А.А.* Этнографический эпос. Туркестанский Верещагин // Бобриков А.А. Другая история русского искусства. М., 2012. С. 368.

[33] *Дудаков С.* Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России: Очерки. М., 2000 (цит. по: *Бобриков А.А.* Указ. соч. С. 368–369).

[34] *Бобриков А.А.* Указ. соч. С. 368–369.

[35] *Саид Э.В.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., 2006.

А вот и наш поплатился: из какой-то очень небольшой дверки, ведущей в землянку, до половины вырытую в земле, торчали две ноги, обутые в русские подкованные сапоги; эти ноги были неподвижны. Казаки ухватились за них и принялись тащить наружу. Вытащили, – смотрим, – ничего не разберем: только и осталось человечьего, что одни ноги; все остальное буквально измолочено тяжелыми кетменями»[36] («Зарабулакские высоты»);

«Страшный вид представляла эта деревня: вся улица засорена всевозможным хламом, всюду гниют неубранные, разбухшие от июльской жары трупы... Многим пришлось взглянуть на дело рук своих более трезвым, неподкупным взглядом»[37];

«Всюду корчились и дико стонали заколотые сарты[38]. Солдаты положительно вышли из себя; вид наших израненных стрелков доводил их до бешенства»[39] («Ургут»);

«Я увидел страшную картину: целая куча тел, наваленных одно на другое, загородила почти весь проезд; некоторые были еще живы и страшно корчились в предсмертной агонии; ватные халаты дымились и тлели: видно было, что выстрелы по ним сделаны почти в упор. Группа солдат, составив ружья, стояла тут же, делая при этом кое-какие замечания; два офицера крутили папиросы и говорили что-то о разнице между бухарскими и хивинскими коврами»[40].

Каразин в каждом тексте, будь то очерк, роман, рассказ, отмечает, что местное население встречало завоевателей далеко не дружелюбно: «Из-под приподнятых кошем… выглядывали мужские и женские лица, провожая русских не совсем ласковыми взглядами… косматые собаки злобно рычали и лаяли на непривычные костюмы…»[41] («Погоня за наживой»).

---

[36] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 68.

[37] Там же. С. 73.

[38] Во Всероссийской переписи 1897 г. обитателей Средней Азии делили на тюрков и сартов (*Кадио Ж.* Лаборатория империи: Россия / СССР. 1860–1940 / Пер. с фран. Э. Кустовой. М., 2010. С. 78). В предыдущей переписи (1870) кочевников «именовали киргизами, горожан – сартами, а крестьян – узбеками» (Там же. С. 84). В 1871 г. военный востоковед Л.Ф. Костенко, «неутомимый путешественник и серьезный исследователь» (*Басханов М.К.* Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. М., 2005. С. 128), так прокомментировал слово «сарт»: «Так как все оседлые жители правого берега Сыра (равно как и в Хивинском ханстве) называются *сартами*, то и заключили, что это название есть местное наименование племени таджиков. В действительности не так. Мои наблюдения привели к следующему: слово таджик означает название племени, слово же сарт – название рода жизни, занятий, в переводе оно значит торгаш, человек, занимающийся торговлею, горожанин, мещанин. Это название дано кочевниками Средней Азии людям, живущим в городах, какого бы происхождения они ни были (узбеки, татары, персы, все равно). Таким образом, название сарт как бы противопоставляется кочевнику, а также земледельцу (земледелие и оседлость в Туркестане не все равно)» (*Костенко Л.Ф.* Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб.: А.Ф. Базунов, 1871. С. 79).

[39] *Каразин Н.Н.* Ургут: Из походных записок линейца // Дело. 1874. № 5. С. 293.

[40] Там же. С. 295.

[41] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 122.

Туркестанская война XIX в., став главным объектом изображения Каразина, напрочь ушла из сознания современного человека: никогда не упоминаются те десятки тысяч солдат, которые остались лежать в среднеазиатской земле, в песках пустыни, большею частью захороненные тайно от врага, чтобы он не отрыл их могилы (которых, собственно, и нет), без крестов, без каких-либо опознавательных знаков. За что сражались те солдаты? Кто-нибудь о них сегодня помнит?

〈…〉
Мир ему! один лежит в пустыне,
И никто не поискал,
Не нарезал имени, прозванья
На отломке диких скал;
Не творят молитвы, поминанья;
Персть забвенью предана;
У одра больного пожилая
Не корпела мать родная,
Не рыдала молода жена…[42]

Возможно, потому и «не захотели» помнить прозу Каразина, потому что в ней бесстрастно, почти документально, отражена война, не вписывающаяся ни в советскую, ни в постсоветскую идеологическую парадигму.

В изображении войны в русской литературе XIX в. неоспоримо новаторство Льва Толстого, которое сполна отображено в «Севастопольских рассказах» (1855–1856) (в «Войне и мире» присутствуют вариации и перепевы тех севастопольских мотивов). От рассказов Толстого до публикаций о войне Каразина – небольшой временной промежуток: туркестанский баталист целиком находится под влиянием своего современника. Даже персонажи Каразина вспоминают недавнюю Крымскую войну: «…а дело было в Севастопольскую еще кампанию. Так вот, стоит наш редут… (эсаул показал при этом на большой кусок швейцарского сыра), а так вот, впрочем, немного поближе (тут он тронул рукою половину холодной жареной курицы и даже действительно пододвинул ее поближе к сыру) – так вот французские ложементы, камнем рукою перешвырнуть можно было, не то что из ружья пулею»[43] («Ночь под снегом»).

Как и Толстой, Каразин знал войну изнутри, был ее участником, награжден именным золотым оружием с надписью «За храбрость».

Толстой, желая придать своим очеркам документальность, дает им хронологически точные календарные заглавия. Каразин тоже пишет очерки – репортажи с места боевых действий, публикуя их в «Ниве», – а после они переходят в художественные повествования, сохраняя очерковую докумен-

[42] *Грибоедов А.С.* Соч.: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 28. Стихотворение «Восток», приписываемое А.С. Грибоедову.
[43] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 114.

тальность: в датах, географии, топонимике, дислокации воюющих сторон. Толстой описывает небольшие бои (в «Севастопольских рассказах»), то же находим у Каразина. Толстой развенчивает правильные, спланированные сражения (создав в «Войне и мире» сатирическую деталь: «Die erste Kolonne marschiert… die zweite Kolonne marschiert… Die dritte Kolonne marschiert…»), война для Толстого – это стихийное событие. Человек на войне, по Толстому, действует неразумно, убивая себе подобных автоматически. Именно так изображает войну и человека на войне Каразин.

«Все приостановилось, как будто озадачилось немного. С минуту не сообразили, как и что: послышалось множество команд, самых разнообразных и даже противоречащих друг другу.

– Каша! Каша! – кричал, задыхаясь, худощавый штаб-офицер, суетясь на лошади в беспорядочной толпе белых рубах… ему очень хотелось преобразовать эту толпу в нечто похожее на стройный батальон, и он пытался подействовать на самолюбие солдат, подобрав такое обидное сравнение.

Расталкивая солдат, в щеголеватом, коротеньком кителе, прискакал на сером коне один из адъютантов.

– Это четвертый батальон? Генерал приказал… чтобы сейчас…

Шагах в десяти шлепнулось ядро, за ним другое, несколько ближе. – Адъютант исчез.

Само собою, словно инстинктивно, дело делалось, как следует: машинально каждый повернулся лицом к неприятелю и всякий, как кто стоял, так и пошел прямо на выстрелы.

Значительно левее, совершенно отдельно от всех, шел какой-то батальон в стройном порядке, странно режущем глаза в общей неурядице»[44].

Слова: *каша, противоречащих, беспорядочной, машинально, инстинктивно, какой-то* – создают смысловой ряд неопределенности и автоматизма.

Каразин, как и Толстой, пишет о мародерстве на войне, о потере солдатами человеческого облика: «Стройные крики “ура”, которые мы слышим на парадах и на маневрах, не дают понятия о том адском хаосе звуков, который слышится в минуту отчаянной свалки. Те, кто в данную минуту перестал быть людьми, не могут издавать человеческих звуков: рев, свист, пронзительный визг, то что-то похожее на дикий хохот, то жалобное, почти собачье завывание, смешались с характерным стуком окованных медью ружейных прикладов об голый человеческий череп»[45].

В отличие от Крымской войны, изображенной Толстым, проигрышной для России, локальные бои Туркестанского похода, воссозданные Каразиным, увенчались успехом. Если главная интенция Толстого – это бесчеловечность и бессмысленность войн (в «Севастопольских рассказах»), то у Каразина другие задачи: продолжая толстовскую традицию в изображении войны

---

[44] Там же. Т. 9. С. 54.
[45] Там же. С. 55.

как таковой, писатель-туркестановед не скрывает захватнического, экспансионистского нашествия русской армии[46]. В рассказе «Ургут», как ни в каком другом тексте Каразина, звучат эти характеристики: показана самоотверженность народа, защищающего свою землю, не желающего отдавать ее непрошеному гостю. Люди горного селения Ургут, безоружные против вооруженных русских солдат, пускают в ход все, что можно: валят деревья, загораживая проходы, вооружаются батиками (шары с шипами, насаженные на древко), кетменями, лопатами, вилами, палками – и сражаются до последнего: было собрано погибшими до семисот человек. «Цель экспедиции была отчасти достигнута, – заключает рассказчик, он же участник штурма, – непобедимый Ургут был взят и разорен горстью русских. Это имело громадное значение в моральном отношении»[47].

Каразин, вслед за Толстым, показывает войну не как красивое зрелище, а как ужас в крови и слезах, оторванных, отрезанных частях человеческого тела. Для литературы XIX в., русской и западной, это был шок.

«Какую скверную, отталкивающую форму имеет человеческое тело, от которого отделяют голову: сразу даже не разберешь, что это такое. Зияет багровый разрез, хлещет алая кровь и, шипя, смешивается с пылью, запекаясь в черные клубы, темной дырой виднеется перехваченное горло…»[48] («Зарабулакские высоты»).

Делать публично доступными и тиражировать тексты Каразина, содержание которых явно противоречило советской пропаганде «дружбы народов», Главлит, вероятно, счел невозможным (хотя никаких отдельных циркуляров, запрещающих имя и творчество Каразина, найти не удалось).

«В области художественной литературы… ликвидировать литературу, направленную против советского строительства ⟨…⟩ Можно и должно проявлять строгость по отношению к изданиям со вполне оформившимися буржуазными художественными тенденциями литераторов. Необходимо проявлять беспощадность по отношению к таким художественно-литературным группировкам…»[49]. Так увековечил направление работы Главлита цензор

---

[46] О стереотипе повседневности – гуманном захвате Туркестана: «Бартольд иногда спорил с распространенным мнением об особой близости России и Азии и исключительной способности русских понимать население восточных окраин империи. Он подверг критике своего друга Ольденбурга за воспроизведение этого сомнительного тезиса. Скептицизм Бартольда становится особенно весомым, если вспомнить, что утверждения подобного рода, характеризующие имперскую политику своего собственного государства как наиболее гуманную и, следовательно, превосходящую в нравственном отношении имперские проекты других стран, являлись характерным элементом имперского дискурса в Европе» (*Тольц В*. Указ. соч. 2013. С. 141).

[47] *Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 111.

[48] Там же. С. 56.

[49] *Лебедев-Полянский П.И*. Из докладной записки Оргбюро ЦК ВКП(б) о деятельности Главлита // Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Под ред. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М., 2002. С. 71–72.

П.И. Лебедев-Полянский, один из редакторов той энциклопедии, где был задан окончательный для XX в. вектор восприятия Каразина-литератора.

В итоге память о «Восточном проекте» отложилась в русском сознании в виде оправдательного стереотипа, который подпитывает чувства «патриотов» и тиражируется даже в постсоветском дискурсе: «Империя нуждалась и в новых рынках сбыта, и в источниках сырья, и в людских ресурсах для освоения присоединяемых территорий. Обширные среднеазиатские территории могли дать и то, и другое, и третье – если, конечно, поторопиться, не позволив чересчур активной в этом регионе Англии опередить себя»[50].

1869–1872 гг. – время опубликования щедринских «Господ ташкентцев».

Катойконим «ташкентцы», вопреки языковой парадигме, после выхода в свет щедринских очерков стал обозначать не жителей города Ташкента, а тех, кто ехал туда на время и возвращался оттуда. Смыслы, вложенные Щедриным в «ташкентцев», были для того времени столь актуальными и животрепещущими, что мгновенно, почти без временно́й дистанции, слово зажило самостоятельной жизнью как на страницах столичных журналов, в художественной литературе, так и в повседневности читающей публики. Смыслы слова «ветвились», метафора трансформировалась: все асоциальное, коррумпированное, опасное для мирной жизни связывалось с «ташкентством».

Цивилизаторство было декларируемым вектором туркестанской экспансии, которая, высмеянная Щедриным и названная ташкентством, породила типаж – ташкентца, такого цивилизатора, «который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет…»[51].

Официально все началось в 1865 г., когда Ташкент был взят штурмом российскими войсками и присоединен к Российской империи. Однако русские имперские интересы к Туркестану складывались задолго до этой даты. Венгерский востоковед, путешественник, Арминий Вамбери за два года до взятия Ташкента русскими завоевателями предпринял в обличье дервиша путешествие по Средней Азии. Книга о его путешествии была опубликована в 1864 г., а ее первый русский перевод – в 1865. Трудно утверждать, что эта книга каким-то образом повлияла на щедринских «Господ ташкентцев», но и исключать подобного нельзя. Хотя бы одним словом, концептуальным для двух авторов, интенции двух текстов – Вамбери и Салтыкова-Щедрина – сближаются. Слово это – *цивилизация (цивилизаторсто*). Вамбери резюмирует записки о своем путешествии так: «“Русско-английское соперничество в Средней Азии, – сказали мне, когда я вернулся в Англию, – это просто нелепость. Оставьте этот избитый и уже вышедший из моды политический вопрос. Народ Туркестана – дикие, грубые варвары, и мы поздравим себя, если Россия примет тяжкую и достойную обязанность нести *цивилизацию*

---

[50] *Кудря А.И.* Верещагин. М., 2010. С. 57.
[51] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1965–1977. Т. 10. С. 267.

в эти области. У Англии нет ни малейшей причины следить за политикой России с завистью и ревностью” 〈…〉 В успешном осуществлении русских планов в Средней Азии, таким образом, нечего сомневаться… В интересах *цивилизации* мы должны пожелать русскому оружию наилучших успехов 〈…〉 Не вдаваясь в слишком глубокие рассуждения, мы можем вполне определенно сказать, что петербургский двор постарается получить за свою политику, в течение многих лет проводимую в Великой пустыне ценою утомительных трудов и крупных расходов, более богатое вознаграждение, чем земли туркестанских оазисов»[52] (курсив мой. – *Э.Ш.*).

Если лексема *цивилизация* у Вамбери использована в прямом, эмоционально не окрашенном значении, то у Щедрина – в ироничном, доходящем до сарказма, когда он говорит о процессе цивилизаторства и его участниках – цивилизаторах. Щедрин не разделял цивилизаторскую миссию царского правительства – об этом он пишет не только в «Господах ташкентцах», но и в «Благонамеренных речах»[53] (1872–1876).

Щедринская интенция была подхвачена современниками: критиками, журналистами. Так, сотрудник журнала «Дело», публиковавшийся под инициалами П.И., анализирует одно из направлений в науке и его теоретиков, «имеющих много сходных черт с теми практиками, которых г. Щедрин остроумно охарактеризовал словом “ташкентцы”. Да, это ташкентцы – но только ташкентцы, устремляющиеся не к “окраинам” и не в новые суды, а в “науку”»[54], назвав свои филиппики «Ташкентец в науке», в которых метафоры «логика истинного ташкентца», «философствующий ташкентец», «ташкентская мудрость»[55] разоблачают современные псевдонаучные общественные изыскания.

В 1874–1875 гг. в журнале «Дело» публикуется цикл статей под названием «Ташкентские рыцари». Автор, П. Никитин, вспоминает свое школьное прошлое, когда приходилось зазубривать по учебнику географии трудно выговариваемые этнонимы, при этом думая про себя: «И на кой черт нам надо знать каких-то каракалпаков, барантачей…»[56]. Однако по прошествии ряда лет, пишет автор, все эти этнонимы стали актуальны. «Многим из наших товарищей, наших братьев, дядей, отцов пришлось воочию узреть самих барантачей, тюркменов, каракалов и др. Эти дикие племена, “живущие грабежом и разбоем” (как говорилось о них в учебнике по географии Ободовского. – *Э.Ш.*), оказались не мифом… а действительно существующими

---

[52] *Вамбери А.* Путешествие по Средней Азии / Пер. с нем. З.Д. Голубевой; под ред. В.А. Ромодина; предисл. В.А. Ромодина. М., 2003. С. 301–303.
[53] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. Т. 11. С. 435–436, 617.
[54] *П.И.* Ташкентец в науке // Дело. 1872. № 12. Современное обозрение. С. 2.
[55] Там же. С. 4, 9, 11.
[56] *Никитин П.* Ташкентские рыцари (На далеких окраинах. Роман Н. Каразина. Издание иллюстрированное. Погоня за наживой. Роман Н. Каразина) // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 1.

людьми, и какими ужасными людьми!»[57], о них «заговорили газеты… о них печатались реляции, составлялись обстоятельные статьи, их изображали на картинах и выводили в романах»[58]. Эти «дикие и ужасные», побежденные в процессе русского туркестанского проекта, «нецивилизованные» люди не уступали по степени «ужасности» цивилизованным, т.е. захватчикам, которых автор называет *ташкентскими рыцарями* и выносит им вердикт: «Какой-то таинственный голос шепчет цивилизованному человеку: “иди, просвещай и покоряй языци, разноси по вселенной свет своего разума”. Какая-то невидимая рука толкает его все вперед и вперед, к “далеким окраинам” цивилизованного мира ⟨…⟩ Как люди цивилизованные, мы вполне поняли, что на нас лежит великая задача – просветить “восток”, пропагандировать цивилизацию среди дикарей, уделить этим несчастным “пасынкам природы” частичку из тех благ человеческого прогресса, которыми мы стали пользоваться сами. Проникнувшись важностью исторической миссии, мы, не думая долго, “потекли” в Ташкент в хвосте “победоносного воинства”, – потекли и потащили за собой длинный хвост разнокалиберной, цыганской толпы, таких *цивилизаторов*, которые ничуть не лучше завоеванных нами дикарей»[59]. Эти цивилизаторы и стали главными персонажами прозы Каразина.

Каразин разделял идеологию Туркестанского проекта, и это многогранно отражено в его живописном и литературном творчестве – с одной стороны. С другой – как писатель-реалист и писатель-этнограф он не мог обойти кровавый и насильственный характер этого проекта. Потому в его прозе ощутима щедринская нота – родом из «Господ ташкентцев», чему подтверждение – уже одно только заглавие его романа «Погоня за наживой», в котором представлены «ташкентцы» всех мастей и профессиональных пристрастий: «Их много теперь *туда* едет»; «Я туда вот уже третий раз еду, и мне эта дорога вот как известна»; «Что же, это все начальники едут? – Начальники! – Большие? – Нет, маленькие, большие поедут после. – Вот беда будет!»; «Мы будем рыскать по горам и запускать в их недра свои буравы и щупы…»[60].

Помимо изображения цивилизаторов, Каразин создал в своей прозе иноэтнокультурную картину мира, впечатлившую его неазиатское око. Именно такая проза не вписалась в советский XX век. Только в 2000-е годы в России стали появляться постколониальные исследования (на Западе несколькими десятилетиями раньше), в поле которых проза Каразина непременно должна быть включена. Пришло время знакомиться с ней и исследовать ее.

С одной стороны, Каразин стремится к объективности изображения, не всегда в угоду официозу и его пропаганде. С другой – выстраивает модель будущего, которая впоследствии будет приватизирована как русской колониальной прозой последней трети XIX в., так и советским XX веком. Каразин,

---

[57] Там же. С. 2.
[58] Там же. С. 3.
[59] Там же. С. 8–9.
[60] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 37, 41, 69, 107.

собственно, и создал *канон будущего* для вновь завоеванных земель и народов. Этот канон будет растиражирован впоследствии в художественной литературе, официальной пропаганде, мифологии повседневности; жив он по сию пору, например, паттерны туркестанского колониального текста из фильма В. Мотыля «Белое солнце пустыни» стали прецедентными текстами повседневности: растянутые в кадрах фильма кумачовые лозунги «Первое общежитие свободных женщин Востока», «Долой предрассудки: женщина – она тоже человек», «Музей Красного Востока» и реплики персонажей фильма: «Час освобождения настает!», «Забудьте вы, к чертям, свое проклятое прошлое» и др.

Российская империя никоим образом не скрывала приращения своих территорий посредством колонизации, напротив, она этим гордилась: одно из свидетельств – Всемирная выставка в Париже в 1900 г., где Россия была представлена своими окраинами, среди прочих – Туркестаном[61].

Публикуемые в серии «Литературные памятники» романы Каразина: «На далеких окраинах» (1872) и «Погоня за наживой» (1873) – образуют дилогию, в них читатель встречается с персонажем – предпринимателем Перловичем, туркестанским нуворишем (в первом романе он один из главных героев, во втором – второстепенный), оба романа повествуют о жизни русских «ташкентцев», в них воссоздан единый хронотоп. Тем не менее в каждом – вполне самостоятельный сюжет, таким образом, перед читателем «нестрогая» дилогия – надо заметить, что и в некоторых других произведениях Каразина встречаются «повторные» персонажи.

Заглавия этих двух романов сообщают об этапах русской экспансии на Восток: начальная и кульминационная фазы Туркестанского проекта. Роман «На далеких окраинах» был настолько популярен при жизни Каразина и после, что его заглавие стало фразеологизмом – с отсылкой именно к среднеазиатским, завоеванным российской армией землям; например, путешественник конца XIX в. пишет: «Заблестел русский крест “на далеких окраинах”, и церковный благовест возвестил, что эта вновь покоренная земля принадлежит *нам*»[62].

С иронией и осуждением относился Каразин к деятельности «ташкентцев» – к тому, что уже сделано («На далеких окраинах»), и к тому, что намечается сделать («Погоня за наживой»). В первом романе русский офицер в собрании коллег произносит речь, пафос которой сводится к тому, что Россия послала в Туркестан «поток умственных сил», расцвели «наука, искусство, торговля» – к услугам дикого народа[63]. Каразин с антипатией к своему персонажу и его речи воспроизводит этот спич, превратившийся в расхожий стереотип, один из основных в туркестанской колониальной мифологии.

---

[61] См.: *Шевеленко И.* Репрезентация империи и нации: Россия на всемирной выставке 1900 года в Париже // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 413–444.

[62] *Уралов Н.* На верблюдах: Воспоминания из жизни в Средней Азии. СПб.: Типография П.П. Сойкина, 1897. С. 4–5.

[63] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 258–259.

Фабула романа «На далеких окраинах» построена на путешествии «ташкентцев» – предпринимателя Перловича и офицера Батогова, участника боевых действий в Туркестане, возвращающегося из России, через пустыню Каракумы, в Ташкент, а затем на изображении будней городской жизни русского Ташкента, представленного чиновничеством, купечеством и военным гарнизоном. Путешественники случайно познакомились в пути, на одном из перегонов которого им встретился разграбленный фургон с трупом и со следами захваченных в плен людей, а также с припрятанными деньгами. Находку поделили на двоих. Вокруг денег разворачивается интрига, складываются недоброжелательные отношения между Перловичем и Батоговым. Перлович пытается выгодно вложить деньги и избавиться от навязчивого присутствия Батогова, а лучше – устранить его физически; Батогов мечет банк, постоянно одалживаясь у Перловича и шантажируя его. Батогову не повезло: на свидании с местной кокоткой Марфой Васильевной он был атакован барантачами, местными разбойниками, и взят в плен. С этого момента сюжет развивается в двух плоскостях: жизнь русского Ташкента и жизнь Батогова среди туземцев. (Ряд современных критиков упрекал Каразина в том, что он совсем не знает нравов туземного населения и не изображает его, – это не так, пожалуй, именно в этом одно из достоинств этнографической прозы Каразина: он наблюдал, изучал и изображал местные типажи – они в избытке присутствуют в окружении Батогова.) В финале Батогову удается бежать из плена, он возвращается в Ташкент, приходит к Перловичу с требованием отдать деньги, чтобы выкупить ту угнанную в рабство женщину из фургона, с которой ему довелось повстречаться, будучи в плену. Перлович, угостив Батогова отравленной сигарой, расправляется с ним, таким образом освобождаясь от угроз и шантажа.

Сразу вслед за выходом второй части романа «На далеких окраинах» критик В.П. Буренин обвиняет Каразина, во-первых, в незнании «законов искусства», во-вторых, в склонности к грубым эффектам, которые якобы не имеют никакого отношения к местным реалиям: «Начало этого романа, как я имел случай заметить, обнаруживало в авторе некоторое дарование и обещало читателям впереди нечто, не лишенное интереса. На деле, однако же, оказалось, что автор, кажется, истощил в первой части весь живой материал своего рассказа. Вторая часть, появившаяся в октябрьской книжке “Дела”, представляет ряд притянутых за волосы безобразно-ужасных эффектов. Эти эффекты проникнуты таким азиатским характером, что они придутся по вкусу разве только одним коренным ташкентцам. Наблюдая удовольствие, с каким автор романа “смакует” эти чисто-азиатские, отвратительно-грубые и, кроме того – скажу прямо – необыкновенно глупые эффекты, невольно приходишь к заключению, что ташкентская цивилизация положила на нашего романиста свое клеймо в весьма значительной степени»[64]. Рецензент имеет в виду сцену

[64] *Z.* Ташкентские эффекты романа г. Каразина («Дело», октябрь) // С.-Петербургские Ведомости. 1872. № 324. С. 2.

с отрубленной головой, эту сцену он называет «безобразно-ужасным эффектом», тогда как именно это действо становится паттерном русско-туркестанского текста (см. многочисленные воспоминания путешественников и туркестановедов, а также живописные полотна В.В. Верещагина). «Материал для этих эффектов он может отыскать в каком-нибудь путешествии по Японии: там эти вещи делают прекрасно, артистично», – продолжает Буренин. Эта филиппика носит признаки столичного снобизма, презрения к «азиатскому характеру» – по сути, это позиция типичного ориенталиста. Другой, тоже современный Каразину критик, Л-ич, обвиняя его в том же, в чем и Буренин, заключает: «А между тем действительная физиономия Ташкента совсем иная. Там, во-первых, далеко не так страшно, там живут и действуют типы, которые умеют 〈…〉 и без помощи отравленных сигар стирать кого им нужно с лица земли 〈…〉 дуэли не прерываются трагическим нападением хищников, а кончаются более мирно 〈…〉 Словом, там есть много действительно интересного, о чем г. Каразин не дает нам никакого понятия»[65] – полагаю, эти первые отзывы на роман Каразина имели, скорее, вид эскапады – провокационной, скандальной и при этом беспредметной, с абсолютным незнанием реального контекста.

В романе «Погоня за наживой» читатель вновь встречается с Перловичем. О Батогове здесь с теплом вспоминают гарнизонные офицеры. У Перловича теперь есть возможность развернуться на широкую ногу, что он и делает, – тайна его «первоначального капитала» ушла в могилу вместе с Батоговым. Появляется новый персонаж – предприниматель Лопатин, конкурент Перловича. Эта линия сюжета посвящена циничной, жестокой борьбе двух дельцов, идущих на подлоги, подкупы и убийства. «Кстати о разбойничьих нападениях, которыми злоупотребляет г. Каразин в романе: они, говорят, в настоящее время большая редкость в тех странах, которые украшает своими вымыслами наш романист»[66] – опять всезнайство господина Буренина, который в вопросах осведомленности о жизни в Туркестане в сравнении с Каразиным – абсолютный профан. (Он даже переиначивает заглавие романа Каразина – «В погоню за наживой».)

Другая линия сюжета, не менее циничная по своей интенции, посвящена заманиванию Лопатиным – из Петербурга в Ташкент – хорошенькой барышни в качестве своей содержанки. И третья линия сюжета – о двух господах «ташкентцах», познакомившихся в пути: один – Ледоколов, он едет в Ташкент спасаться от несчастной любви; другой – Бурченко, этот пытается запустить руки в недра нового эльдорадо: начать разработку каменноугольных шахт. Персонажи всех трех сюжетных линий романа так или иначе – ближе или шапочно – знакомы друг с другом, они пересекаются в длинном путешествии на перекладных по дороге в Ташкент. А сам Ташкент вновь предстает в романе как

---

[65] *Л-ич*. Указ. соч. // Неделя. 1874. № 12. С. 437.

[66] *Z*. Два слова о романе г. Каразина: «В погоню за наживой» («Дело», январь–ноябрь) // С.-Петербургские Ведомости. 1873. № 338. С. 2.

русский колониальный город: наряду с вымышленными персонажами читатель может встретить и реальных, исторических: это предприниматели Захо, Первушин, Иванов, Филатов, Хлудов и др. Каразин повествует о том, что он хорошо знает, о тех, с кем был знаком в реальной жизни. Не менее подробно и многолико представлены местные типажи, с недоверием относящиеся к русским цивилизаторам.

По выходе двух романов Каразина критик П. Никитин писал: «Эти господа цивилизаторы, двинувшиеся на “далекие окраины”, принадлежат, главным образом, к двум категориям людей. Одни – деловые практики, разные Хмуровы, Перловичи, Лопатины, Бржизицкие, Катушкины с К°, – они ехали в Ташкент с целью просветить дикие племена, ознакомить туземцев с “вечными истинами” общественной науки, с истинными потребностями “духа времени”, оживить торговлю, насадить и развить промышленность, устроить всеобщее благосостояние, осыпать дикарей всей роскошью и всеми богатствами современной цивилизации. Другие – отличающиеся не столько практичностью, сколько легкостью своих нравов, разные темные и безродные пройдохи, искатели приключений, чиновники, оставленные за штатом, шулера, изобличенные в плутовстве, мужья, обманутые женами, юноши, прельщенные перспективой двойных прогонов, и т.п. Если первые избрали мысленно главным поприщем для своей деятельности почву *практическую*, то вторые предназначали себя преимущественно к возделыванию вертограда общественной и частной нравственности, – они научат дикарей, как нужно обращаться с женщиной и с работником; они покажут им всю соблазнительную прелесть “цивилизованных отношений”; они познакомят их с высшими идеалами и разъяснят им истинное нравственное назначение человека»[67]. Называя туземцев «дикарями», критик иронизирует: такими их видят сами цивилизаторы, а себя – непременно в роли благодетелей, на деле же преподнося туземцам нравы куда более дикие, совершая поступки кровожадные и человеконенавистнические.

Проза Каразина – будь то малая или большая форма – для нескучного чтения, она динамична, острособытийна и, в какой-то мере, соответствовала ожиданиям и вкусам читающей публики, выросшей на «Петербургских трущобах» В.В. Крестовского, современника Каразина. У обоих – авантюрные, полудетективные сюжеты; в биографиях писателей много совпадений: военное поприще, участие в событиях, связанных с польским восстанием, и в русско-турецкой войне в качестве корреспондентов, служба в Туркестане и, наконец, журналистская деятельность. Крестовский показал в своем романе весь Петербург – от верха до дна; Каразин – так же, но его писательское внимание нацелено не на Петербург, а на русских колонизаторов, среди которых были не только «господа ташкентцы», но и благородные альтруисты;

---

[67] *Никитин П*. Ташкентские рыцари. На далеких окраинах… // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 9.

объектом внимания Каразина стали также инокультурные и полиэтнические персонажи во вновь завоеванных землях – от баев и ханов до простых дехкан. Однако след, оставленный этими писателями в истории Туркестана (шире – всей Центральной Азии), прямо противоположный. Если Каразин с любовью писал картину края (как художник и как литератор), то Крестовский оставил по себе в Туркестане недобрую память, в частности, находясь в Ташкенте в качестве чиновника особых поручений при генерал-губернаторе М.Г. Черняеве, способствовал закрытию Ташкентской публичной библиотеки (правда, через год преемник Черняева Н.О. Розенбах вернул библиотеку на место)[68].

Ориентализм в русском дискурсе сформировался при непосредственном влиянии прозы Каразина – тем очевиднее и насущнее возвращение творчества Каразина к русскому читателю.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КАРАЗИНА[69]

«Природа позаботилась о его внешности: его рост, осанка, большой лоб, правильные черты лица, римский нос, выразительные глаза, сочные губы, густая, длинная борода – все это красиво и привлекательно. “К такой наружности нужен ум! – сказала себе природа, – в придачу к уму необходимы и дарования, чем больше, тем лучше…” И природа дала этому счастливчику, этому Sonntagskind, как называются у немцев баловни природы, остроумие, бойкость, огромную, чисто русскую сметку, прекрасное, доброе сердце, обходительность, бездну энергии – словом, все, что делает человека симпатичным и обаятельным. А относительно дарований природа позаботилась дать ему сразу талант и писателя, и живописца 〈…〉 Благодаря всем этим “любезностям” природы нашего писателя и художника любят все те, кто его близко знает, любят и почитают те, кто видит его произведения, относящиеся к изящной словесности и к изящному творчеству кисти, пера и карандаша»[70] – так писала о Каразине при его жизни, по случаю тридцатилетия творческой деятельности, столичная пресса.

Николай Николаевич Каразин родился 27 ноября (9 декабря) 1842 г. в Новоборисоглебской слободе Богодуховского уезда Харьковской губернии

---

[68] См.: *Добросмыслов А.И.* Ташкент в прошлом и настоящем: Исторический очерк. Ташкент, 1912. С. 256–262.

[69] Канва биографии построена с опорой на следующие источники: *Ногаевская Е.В.* Н.Н. Каразин // Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников / Под ред. А.И. Леонова. Вторая половина XIX века. Ч. II. М., 1971. С. 357–368; *Шумков В.* Жизнь, труды и странствия Николая Каразина, писателя, художника, путешественника // Звезда Востока. 1975. № 6. С. 207–224; *Баскаков В.Н.* Каразин Николай Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2 / Гл. ред. П.А. Николаев. М., 1992. С. 468–469; *Арипова Л.П.* Преодолеем стену забвения: О Каразине Николае Николаевиче. М., 2005; *Басханов М.К.* Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. М., 2005.

[70] *Быков П.* Н.Н. Каразин // Звезда: Еженедел. худож.-лит. журн. 1901. № 50. С. 5.

в семье мирового судьи Николая Васильевича Каразина, отставного штаб-ротмистра. Детство Каразин провел у бабушки, Александры Васильевны Мухиной-Каразиной, в селе Анашкино Звенигородского уезда Московской губернии. Бабушка занималась переводами с французского: ею (предположительно[71]) переведен многотомный роман А. Лафонтена «Новые семейные картины, или Жизнь бедного священника одной немецкой деревни и его детей». Ее муж, Василий Назарович Каразин – прославленный дед Николая Каразина, умер в год рождения будущего писателя.

В.Н. Каразин знаменит и поныне как основатель Харьковского университета (в обиходе – Каразинского). Он инициировал множество благих дел: разработал проект Министерства народного просвещения, составил уставы университетов в России, вел переписку с царями (Александром I и Николаем I) об обуздании самовластия, при этом был сторонником монархизма, написал записку «Об искоренении рабства», боролся вместе с Г.Р. Державиным со взяточниками, отстаивал право возвращения в Петербург опального А.Н. Радищева[72]. Войдя в «Вольное общество любителей российской словесности»[73] и в редакцию журнала «Соревнователь просвещения и благотворения»[74], В.Н. Каразин рьяно выстраивал важные, как ему казалось, государствоохранительные позиции литературы, он считал, что литературу должны создавать только «люди зрелого ума», а отнюдь не юноши, каковыми считал Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига, Ф. Глинку и др. Так или иначе, имя В.Н. Каразина лежит в основе историко-литературного нарратива о якобы его доносе на Пушкина, спровоцировавшем первую ссылку поэта. Эта легенда, по мнению И.Я. Лосиевского, была растиражирована в отечественном литературоведении благодаря исследованиям Б.С. Мейлаха и В.Г. Базанова[75]. Лосиевский провел тщательное расследование и пришел к выводу: «Немногочисленные элементы доносительства в общественно-политической деятельности Каразина (В.Н. – *Э.Ш.*) были случайными и не характерными как для его образа мыслей, так и для принципов его поведения»[76].

Николай Каразин получил образование во 2-м Московском кадетском корпусе (1851–1861). Его учеба совпала со сменой императоров. При Николае I, вспоминает бывший кадет, соученик и друг Каразина, писатель П.П. Суворов, воспитанников жестко и унизительно наказывали, однако это никак не отражалось на отношении к императору, почетному шефу корпуса: «Мы обожали императора Николая и горько плакали на первой о нем панихиде. Новое

---

[71] См.: *Арипова Л.П.* Указ. соч. С. 17.
[72] См.: *Лосиевский И.Я.* Первая ссылка Пушкина и В.Н. Каразин // Русская литература. 1992. № 1. С. 95–112.
[73] Литературная организация Санкт-Петербурга (1816–1826).
[74] Журнал просуществовал с 1818 по 1825 г.
[75] *Мейлах Б.С.* Пушкин и русский романтизм. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1937; *Базанов В.Г.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949; *Он же.* Ученая республика. М.; Л.: Наука, 1964.
[76] *Лосиевский И.Я.* Указ. соч. С. 109.

царствование принесло для нас новые порядки. Вдруг те лица, которые на нас кричали, стали мягче обращаться с нами, появились дежурные офицеры, говорившие кадетам *вы*»; «точно по щучьему велению стала падать железная дисциплина николаевского режима…»[77]. В круг преподавания в корпусе входила русская словесность. Кадет Петр Суворов организовал общество «Скромных любителей литературы», «в него вошли кадеты, впоследствии ставшие крупными деятелями на общественном и литературном поприщах»[78]. Среди первых назван Николай Каразин. «В свободное от занятий время, – вспоминает Суворов, – наш кружок удалялся в какую-нибудь классную комнату: один из нас читал громко выдающиеся произведения из нашей или иностранной литературы, а часто и свое. После чтения мы спорили о прочитанном, выбирали предмет для будущей беседы и расходились спать с просветленной мыслью и радостным чувством на сердце. Помню, что в описываемые незабвенные минуты кадетского быта Каразин любил рисовать на классных тетрадках остроумные карикатуры на начальствующих лиц»[79].

По окончании учебы в 1861 г. Каразин получил назначение в качестве офицера в Казанский драгунский полк. В 1863–1864 гг. он участвует в подавлении польского восстания, затяжного и кровопролитного с обеих сторон. Через десятилетие Каразин опубликует аналитический очерк об одном эпизоде польской карательной кампании – «Порицк и Волчий пост»[80]. Уже в этот период выразилась мировоззренческая черта будущего писателя – его пацифистская составляющая, которая в полной мере предстанет позже, в туркестанских текстах: «Близ самой дороги, у куста, положив около себя свою двустволку, сидел высокий худощавый повстанец; он переобувался – и страшно озадачился, увидев перед собой две ненавистные ему казачьи фигуры. Быстро вскочил он на ноги, схватил свое ружье и прицелился в одного из донцов, но в эту же секунду обе пики впились ему в туловище. Поляк дрогнул, судорожно схватился руками за древки пик и, мертвый, повалился на землю. Все это было делом менее нежели секунды. Проходя мимо тела, драгуны отворачивались от него: им было неприятно смотреть на этот худой, длинный труп, обезображенный агонией внезапной смерти. Это, по-видимому, пустое и обыкновенное в военное время обстоятельство странно подействовало на расположение духа солдат. Веселая оживленность тотчас же уступила место тяжелому, тоскливому чувству; у каждого из них промелькнуло в голове, что через несколько минут придется, может быть, и самому валяться, коченея в грязи, с разрубленным черепом или пробитой пулей грудью»[81]. Тем не менее Каразин называет восставших поляков, движимых освободительной

---

[77] *Суворов П.П.* Записки о прошлом. М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. Ч. 1. С. 28, 22.
[78] Там же. С. 35–36.
[79] Там же. С. 36.
[80] *Каразин Н.Н.* Порицк и Волчий пост (Эпизод из Польского мятежа 1863-го и 1864-го годов) // Нива. 1874. № 33–36.
[81] Там же. № 34. С. 540.

идеей, бандой, как и было предписано официозом, – такая двойственность или противоречивость останется свойством Каразина в оценке межэтнических конфликтов.

В 1865 г. в чине штабс-капитана Каразин выходит в отставку – отчасти по нездоровью, отчасти потому, что его влекла другая стезя – художественная: 6 октября 1865 г. он был зачислен в Императорскую Академию художеств в Петербурге в статусе вольноприходящего ученика.

Два года Каразин обучался в классе художника-баталиста Б.П. Виллевальде, по прошествии которых у него случился конфликт с руководством Академии, приведший к его отчислению. Художница Александра Петровна Шнейдер, друг Каразина, вспоминала об этом эпизоде: «На их курсе была задана тема из Библии: "Посещение Авраама тремя ангелами". Каразин трактовал ее реально: нарисовал палатку, трех странников, сидящих у стола, Сарру прислуживающую и Авраама, беседующего с ними. За такую трактовку темы он получил от жюри следующее замечание, написанное на самом рисунке (он уже издали увидел эту надпись, проходя по выставке к своему рисунку): "Отчего Вы лишили ангелов подобающего им украшения – крыльев?", Каразин немедленно схватил карандаш и написал: "Потому что считал Авраама догадливее академиков и что если бы он увидел ангелов с крыльями, то тотчас же догадался бы, кто они такие". За что и был немедленно в 24 часа исключен из академии. Маленький набросок этой картины долго у нас сохранялся…»[82].

Каразин вновь вступает в ряды военных и отправляется в только что завоеванный Российской империей Туркестан. Первый этап его туркестанской эпопеи растянулся, с временными перерывами, с 1865 по 1871 г.: он участвовал «в сражениях при Ухуме, Хаяте, Яны-Кургане, Чапан-ате, Самарканде, Ургуте, Кара-тюбе, Зарабулаке, Карши, Джаме и во многих других. Главнейшими из наград, полученных им за это время, были золотая сабля за *храбрость* и орден Владимира с мечами»[83] – так «Нива» представляет своим читателям Каразина, «давно уже известного им со стороны его литературного и художественного таланта».

В Туркестане Каразин командует ротой в пятом Туркестанском линейном батальоне. Он участник кровопролитных штурмов Зарабулака и Ургута, описанных им в рассказах «Зарабулакские высоты» и «Ургут», а также в очерке «Атака собак под Ургутом». Каразин, не новичок в боевых действиях, пишет об отличии европейских и азиатских войн: во втором случае «комизм положений потрясающим образом смешивается с мрачной трагедией смерти. Крайнее неравенство сил, разнообразие введенного в дело оружия, пестрота и разнохарактерность костюмов и типов; наконец, религиозная ненависть, борьба за свои семьи и свободу, все ужасы и безвыходность могущего случиться плена – разжигают личные страсти до невероятных пределов, и перед вашими

[82] *Шумков В.* Указ. соч. С. 209.
[83] Николай Николаевич Каразин // Нива. 1874. № 36. С. 562.

глазами развертываются картины такой оригинально-ужасной борьбы, что вы как очарованные не можете оторвать своих глаз от страшной арены…»[84].

Эта интонация понимания, сочувствия выделяет Каразина из ряда тех, кто писал о туркестанском завоевании: он воспроизводит дискурс колонизируемых, поначалу стойких и уверенных в своей победе: «“К нашему городу подходил Тамерлан (так написано в наших книгах) и ушел ни с чем. На нас шел Эмир Бухарский и осрамил только свою бороду – положите и вы грязь на свою голову; но у Эмира было войско: сколько глаз ни видел с высоты наших гор, все это было покрыто его сарбазами[85], его зеленые палатки тянулись вдоль, вплоть до самого неба. А вы с чем пришли, где ваше войско? Это что ли?” и они презрительно поглядывали на наш крошечный отряд, на наши единственные две пушки, и даже сплевывали в сторону, чтобы выказать нам свое полнейшее презрение»[86].

Здесь, в Туркестане, у Каразина сложились дружеские связи с офицерами, которые впоследствии станут героями сербо-турецкой и русско-турецкой войн 1876–1878 гг., с художником Василием Верещагиным. Этим туркестанским бойцам посвятил стихи «Туркестанские генералы» (1911) Николай Гумилев:

〈…〉
И кажется, что в вихре дней
〈…〉
Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: «к оружью»,
Унылые солончаки
И поступь мерную верблюжью;

Поля неведомой земли,
И гибель роты несчастливой,
И Уч-Кудук, и Киндерли,
И русский флаг над белой Хивой.

Забыли? – Нет! Ведь каждый час
Каким-то случаем прилежным
Туманит блеск спокойных глаз,
Напоминает им о прежнем.
〈…〉
И сразу сердце защемит
Тоска по солнцу Туркестана.

О них пишет и Каразин в романе «Наль»: «Пионеры эти были особенные. Это были борцы, закаленные в боевых трудах и лишениях, наученные

---

84 *Каразин Н.Н.* Атака собак под Ургутом // Нива. 1872. № 38. С. 599.
85 Сарбазы – солдаты.
86 *Каразин Н.Н.* Атака собак… // Нива. 1872. № 38. С. 601.

долгим и суровым опытом, отважные в своем стремлении вперед, непоколебимо стойкие, когда приходилось удерживать занятое.

Это были солдаты, которые за долгую службу давно уже забыли свои деревни и все, что у них дома; сжились, сроднились с номерами своих частей; в них видели все свое, вне их – чужое. Это были люди, которые не то что бы не дорожили своими головами, но умели смотреть смерти прямо в глаза, считая ее только “простою случайностью”. В боевом отношении каждый солдат был мастер своего дела, охотник, не массовый нуль строя, а вполне сознательная единица.

Одним словом, это были кадры нынешних “старотуркестанских” батальонов ⟨…⟩ Население одного какого-нибудь небольшого азиатского городка чуть не втрое превышало численность всех наших сил, а перед нами была вся Азия, со своими, еще гордыми, не терпевшими поражений, могучими ханствами ⟨…⟩ Местности, уже занятые нами, сохраняя полную жизненную связь с независимыми ханствами, смотрели на это занятие как на временное пленение, не переставали относиться к нам как к непримиримым врагам и постоянно готовы были к предательскому восстанию в тылу ⟨…⟩ Да, это было время трудное, опасное, но увлекательно интересное; время, о котором до сих пор еще добром поминается в боевых туркестанских кружках, и многое, случившееся в это время, давно уже приобрело себе ореол легендарности, много лиц осенилось славою былинных героев… Все мелкое, заурядное сгладилось в памяти живущих, сохранились только общие, крупные черты, и эти черты невольно казались особенно размашистыми, не вмещающимися в скромные рамки современного»[87].

Звание «туркестанца» с гордостью носил и сам Каразин: «Да, то было другое время! трудное, “горевое”, как выражаются солдаты, вспоминая о недавних походах; но это время имело и свою увлекательную сторону, это время создало особый, оригинальный тип русского солдата, тип Черняевского туркестанца»[88].

Будучи в Туркестане, Каразин принял участие в экспедиции в предместья озера Иссык-Куль (1864).

Его интересы и увлечения были весьма разнообразны. Так, в Ташкенте в 1868 г. было организовано Общество любителей драматического искусства, его участники скрашивали театральными постановками тогдашнюю весьма унылую жизнь русского города. «Для первого спектакля была поставлена пьеса Островского “Не в свои сани не садись”, в числе участников в этом спектакле был известный Николай Николаевич Каразин (играл Митю). Около года спектакли давались в военном собрании, помещавшемся в доме генерал-майора фон Мантейфеля на углу Кауфманского проспекта и Самаркандской улицы…»[89]. Одним из членов-учредителей Общества был Каразин. Спектакли

---

[87] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 14–15.
[88] *Он же.* Атака собак… // Нива. 1872. № 38. С. 599.
[89] *Добросмыслов А.И.* Указ. соч. С. 194.

устраивались в пользу учащихся, а в 1888 г. Общество учредило при Московском университете стипендию для ташкентских уроженцев[90].

Находясь в Средней Азии, Каразин много писал и рисовал не только благодаря способностям и потребностям своей художественной и аналитической натуры, но и потому что был вдохновлен инструкцией по изучению Туркестанского края, составленной Императорским Русским географическим обществом. «В эту инструкцию были, кроме вопросов географических, этнографических и т.п., включены и вопросы изучения культурного наследия Востока, отыскания и сохранения древних рукописей и трудов великих мыслителей Средней Азии. Во многих научных мероприятиях этих лет принимал деятельное участие и Н.Н. Каразин. Он много путешествовал, делал зарисовки, участвовал в топографических съемках по всему Семиречью»[91].

По возвращении из Туркестана Каразин вышел в отставку и поселился в Петербурге. 1871 год – время начала его публичной литературно-художественной деятельности.

И вновь Туркестан – в 1874 г. Надо сказать, что при всех своих многочисленных талантах Каразину был чужд карьеризм: в течение жизни его влекла не карьера, а новые страны, люди и события, на его глазах становившиеся историей. Характерен один эпизод, в котором он декларирует свое жизненное кредо: «Каразин, всегда талантливый и остроумный, сделал интересную надпись на своей фотографической карточке, подаренной им тогдашнему министру внутренних дел Тимашеву[92]. Последний, как известно, был даровитый скульптор. Каразин на карточке написал: “Художнику-министру от художника-писателя, который никогда не будет министром”»[93].

Каразин участвует в Амударьинской экспедиции, организованной Императорским Русским географическим обществом, под руководством полковника Н.Г. Столетова. В третий раз пришлось Каразину пройти Орско-Казалинский почтовый тракт – длинную дорогу, соединявшую Россию со Средней Азией. Встречи в пути дали Каразину материал для сюжетов его литературного творчества: «Шутники говорили, – вспоминал Каразин, – что в осень 1867 года было *“великое переселение народов из виленских канцелярий в ташкентские”*. Вот в это-то бойкое время пришлось и мне в первый раз проехать знаменитым орско-казалинским почтовым трактом»[94]. Экспедиция должна была исследовать дельту Амударьи, этой «второй среднеазиатской русской Волги»[95], а Каразин, как ее участник, – делать зарисовки, которые впоследствии будут

[90] Там же. С. 241.
[91] *Шумков В.* Указ. соч. С. 210.
[92] Тимашев Александр Егорович (1818–1893) – министр внутренних дел Российской империи в 1868–1878 гг.
[93] *Суворов П.П.* Записки о прошлом. С. 128.
[94] *Каразин Н.Н.* Амударьинская ученая экспедиция // Нива. 1874. № 36. С. 566.
[95] *Он же.* Самарская ученая экспедиция для исследования направления среднеазиатской железной дороги и изучения бассейна реки Амударьи // Всемирная иллюстрация. 1880. № 597. С. 495.

представлены на его персональной выставке рисунков, организованной ИРГО в декабре 1874 г.

Собственно, почти все события жизни Николая Каразина сосредоточены в его путевых очерках: помимо обозначенных профессиональных статусов – художника и литератора, главной его ролью была роль путешественника; именно там, в путешествиях по Средней Азии, – главные вехи его биографии. Там была выстроена его картина мира, там созревал он как личность. Каразинский цикл путевых очерков «В низовьях Аму»[96], кроме важных исторических, географических, этнографических, этнопсихологических и прочих находок и откровений, содержит много явного и подспудного, характеризующего личность самого писателя, представшего в контексте времени. Републикация этих содержательных текстов в будущем представляется важной для понимания многих процессов современности.

О вкладе в изучение Туркестанского края, сделанном Каразиным в ходе Амударьинской экспедиции, пишет этнограф Т.А. Жданко: «Основной его вклад в этнографию – богатейшая серия рисунков, сделанных во время экспедиции. В качестве отчета он представлял “Альбом видов и типов Амударьинского края” 〈…〉 “После Тараса Шевченко он первый из российских художников отобразил каракалпакскую жизнь в живописи и познакомил русского и западноевропейского читателя с этим самобытным краем”[97] 〈…〉 В своих путевых очерках об экспедиции автор описывает аулы и юрты каракалпаков-рыбаков дельты, поразившие его крайней бедностью и трудностями жизни в полузатопленных разливами болотистых местностях, среди зарослей камыша. Далее, на пути в Чимбай он наблюдал аулы уже оседлых каракалпаков-земледельцев, писал об их полях, арыках, чигирях. В Чимбае он изучал своеобразный быт жителей-каракалпаков…»[98].

Жданко отмечает бесценный вклад, сделанный Каразиным в фольклористику: он первым записал многие предания и легенды каракалпаков. Жданко подробно останавливается на легенде «О женском ханстве», записанной Каразиным и включенной в труды фольклористов XX в., запись этой легенды опередила открытие фольклористами 1930–1940-х годов каракалпакского героического эпоса «Қырқ қыз» («Сорок девушек»), в основе которого лежит легенда «О женском ханстве»[99]. Таким образом, появление этого сюжета в фольклористике связано с личностью Каразина, который сопроводил записанный текст портретом исполнительницы и манерой ее исполнения. «Это была старуха лет восьмидесяти, если не больше, одетая по-киргизски

---

[96] *Он же.* В низовьях Аму: Путевые очерки // Вестник Европы. 1875. Кн. 2. С. 651–691; Кн. 3. С. 186–229.

[97] *Нурмухамедов М.К.* Из истории русско-каракалпакских культурных связей. Ташкент, 1974. С. 39.

[98] *Жданко Т.А.* Каракалпаки в научных исследованиях периода их присоединения к России (1873–1874) // Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. IV. М.: Наука, 2001. С. 26–27.

[99] См.: Там же. С. 29.

⟨…⟩ Это была живая библиотека всевозможных местных легенд и сказок. Она говорила местным наречием, но с киргизским акцентом. У нее была своеобразная манера говорить, выработанная, может быть, ее исключительным ремеслом рассказчицы. Сказав фразу, она останавливалась, выжидала несколько времени, словно давая этой паузой слушателям время вникнуть хорошенько в смысл сказанного, а потом продолжала далее до новой остановки. Эти паузы отмечены мной в сказке чертами»[100].

Публицистика и этнографическая проза Каразина насыщены фольклористическими наблюдениями и находками: это обряды, ритуалы, устные нарративы, песенный фольклор, причем фольклор не только туземного населения, но и русских солдат. Так, в очерке «Святки в Чиназе, на берегу Сырдарьи. Солдатский спектакль»[101] описано представление народной драмы «Царь Максимилиан»: с костюмами, репликами, а также рецепцией происходящего как солдатами, так и местным населением. Каразин, слушая выступления туземных певцов, заметил, что звучавшие песни и легенды «с исторической подкладкой, положенные на стихи… увы, почти нигде не записанные, – ни в старых, ни в новых книгах среднеазиатской рукописной литературы»[102]. Помимо прочих находок, Каразин записал былину среднеазиатских кочевников «Кара-Джигит» (Нива. 1880. № 40), а также сочинил целый ряд литературных сказок[103].

Экспозиция выставки по итогам Амударьинской экспедиции состояла из трех разделов: Аральское море и его побережье, дельта Амударьи и сцены из Хивинского похода. В Берлине был издан альбом рисунков Каразина (1874), посвященных Хивинскому походу. Далее выставка переносится в Париж и Лондон, где художник был награжден золотыми медалями и почетными дипломами парижского и лондонского географических обществ (1880).

В Париже Каразин посещает музеи и выставки. В один из дней он «заехал в севрскую мануфактуру. Помощник директора водил его по разным мастерским фабрики и давал объяснения, как всякому посетителю, ровно ничего не понимающему в керамике. И вот, войдя в рисовальную, сел наш Каразин за стол, рядом с рисовальщиками, взял сырую тарелку и несколькими приемами кисти написал голову коня, белого киргизского коня в золотой сбруе. Эффект вышел поразительный – рисовальщики сбежались со всех сторон, жали руки художнику, обнимали его, ахали от восхищения. Восхищалась его рисунками

---

[100] *Каразин Н.Н.* Сказка о женском ханстве: Отрывок из записной книжки // Древняя и новая Россия. 1875. Т. 3, № 11. С. 290–291.

[101] *Он же*. Святки в Чиназе, на берегу Сырдарьи. Солдатский спектакль // Всемирная иллюстрация. 1873. № 214. С. 91.

[102] *Он же*. Самарская ученая экспедиция… // Всемирная иллюстрация. 1880. № 581. С. 184.

[103] В двадцатый том собрания сочинений Каразина помещены сказки под общим заглавием «Сказки Деда бородатого»: «Незнакомый след», «Два пути», «Волк», «Пар-богатырь», «Орел на полете», «Петька-зайчик», «Дедушка-Буран, бабушка-Пурга», «Пожар», «Ангел смерти», «Колодезь мира и жизни», «Свет во мраке», «С верховьев Волги на истоки Нила: Путевые впечатления журавля»; в этом же томе размещен рассказ для детей «Андрон Голован».

и публика, когда в витринах журнала “Illustration” появились некоторые из его работ, сделанных художником в его временной мастерской на Батиньольском бульваре, в которых он знакомил парижан с нашими далекими окраинами, то со страной изгнания и исчезнувших людей, то с пышной природой Туркестана или сценами из жизни Мерва, в то время представлявшего немалый интерес»[104].

По итогам Амударьинской ученой экспедиции художник Каразин выступил и как писатель, опубликовав цикл очерков в журнале «Нива» за 1874 г.[105]

Туркестанские впечатления, первоначально опубликованные в журналах «Беседа», «Вестник Европы», «Всемирная иллюстрация», «Дело», «Живописное обозрение», «Журнал русских и переводных романов и путешествий», «Иллюстрированная неделя», «Нива», легли в основу романов Каразина «На далеких окраинах», «Погоня за наживой», «Двуногий волк», «С севера на юг», «Голос крови», «Наль», а также его повестей и рассказов.

Военные конфликты как магнитом притягивали Каразина. Так, во время сербско-турецкой войны (1876–1877) и последовавшей за ней русско-турецкой (1877–1878) Каразин – в эпицентре событий: он едет на войну военным корреспондентом-иллюстратором от газеты «Новое время», журналов «Нива» и «Живописное обозрение». Балканские военные очерки и корреспонденции впоследствии были объединены в книгу Каразина «Дунай в огне» и стали основой романа «В пороховом дыму».

Начиная с 1876 г. Каразин публикует свои корреспонденции, в которых – не только его наблюдения за военными событиями, но и впечатления о людях, их быте, нравах: «На перевязочном пункте: из походных записок» (Нива. 1876. № 45). Почти все публикации с сербского фронта не подписаны именем Каразина, но, с явно выраженным каразинским слогом и сопровожденные его рисунками, не оставляют сомнения в том, что это рука Каразина: «Очерки Сербии» (Нива. 1876. № 28), «Баши-бузуки» (Нива. 1876. № 28), «Сербские добровольцы» (Нива. 1876. № 36), «Враги христианства. Уличные типы в Турции» (Нива. 1876. № 37), «Страшное мгновение. Болгарка, спасающаяся от баши-бузуков» (Нива. 1876. № 39) и другие публикации.

Вероятно, по той причине, что корреспонденций с фронта от Каразина было слишком много (или по иным причинам, связанным с войной), появляются тексты, подписанные псевдонимом *Rus*, но это, без сомнения, тоже Каразин – почти все публикации сопровождены его рисунками[106].

Почти каждый номер журнала «Нива» за 1877 г. содержит публикации и рисунки Каразина с места военных действий. В большинстве своем его тексты сопровождены врезкой от редакции – «Письмо нашего корреспондента», в этих записках, заметках, очерках содержится разнородная информация: о географических особенностях территорий военных битв, о населении,

---

[104] *Быков П.* Н.Н. Каразин // Звезда… 1901. № 50. С. 6.
[105] См. хронологический указатель журнальных публикаций Каразина.
[106] См.: Там же.

типах молдаван, болгар, турок, сербов, сирийцев; нищих и состоятельных гражданах, их костюмах, женщинах, дервишах, священниках; о кладбищах, лошадях; представлены военно-бытовые сценки: читающий газету солдат, еврей перед шаббатом и др. В этом же году публикуется рассказ «Из прошлой жизни в Сербии» – «Миленка» (№ 12–14).

В 1878 г., после ряда публикаций на военную тему в «Ниве» (например, «Идиллия после кровавой драмы», № 39), Каразин завершает сербо-русско-турецкую тематику патриотической «Встречей возвращающихся с театра войны гвардейцев в С.-Петербурге» (№ 38). В этом же году «Нива» публикует рассказ Каразина «Блокгауз “Червлен аскер”» (№ 29), отдельным изданием выходит рассказ «Варвара Лепко и ее семья: Недавняя быль» (СПб., 1879).

В 1879 г. вновь экспедиция в Среднюю Азию, названная Самарской (в Самаре находилась резиденция руководителей экспедиции), цель которой – исследовать направление будущей Среднеазиатской железной дороги[107] (в 1888 г. Каразин будет приглашен на ее открытие). Из Ташкента Каразин отправляется к объектам экспедиции – в Самарканд, Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак, в Присырдарьинскую и Голодную степи. В журнале «Всемирная иллюстрация» в том же году начали публиковаться очерки Каразина под рубрикой «Самарская ученая экспедиция для исследования направления среднеазиатской железной дороги и изучения бассейна реки Амударьи»[108]. Как ее участник он должен был наблюдать и описывать бытовую жизнь туземцев и вести путевой журнал экспедиции. Путевые очерки информировали читателя о ландшафте пути следования, флоре и фауне, природных катаклизмах; этнотипах, их психологии и нравах, обычаях, ритуалах, кухне; об архитектуре, колодцах (о кудукчи – людях, ухаживающих за колодцами), базаре, чайхане, тамаше (вечер развлечений); об искусстве ковроделов; о встрече с эмиром бухарским Музаффаром; о древних городах, реальных (Термез) и оставшихся в легендах («город Миа, что значит череп»[109]). Когда на ночлеге у костра в Термезе члены экспедиции запели, Каразин заметил: «Эхо термезских развалин в первый раз отразило русские звуки»[110]. Он был первопроходцем по многим среднеазиатским тропам.

---

[107] В 1880 г. проложили «четыре сотни верст пути от гавани Узун-Ада на Каспии до Кзыл-Арвата 〈…〉 После перерыва постройка дороги продолжалась в 1885 году по маршрутам: Геок-Тепе–Теджен–Мерв (Мары)–Чарджоу–Бухара–Катта-Курган–Самарканд, – всего 1943 версты по горячим, безводным, безлюдным пескам» (*Шумков В.* Указ. соч. С. 223–224).

[108] *Каразин Н.Н.* Самарская ученая экспедиция… // Всемирная иллюстрация. 1879. № 569. С. 450–451; 1880. № 576. С. 75–78; № 577. С. 99–102; № 578. С. 118–119; № 579. С. 138; № 581. С. 183–184; № 584. С. 239; № 585. С. 258–259; № 586. С. 279. № 587. С. 299; № 588. С. 319; № 589. С. 338–339; № 590. С. 358; № 593. С. 414–415; № 594. С. 435; № 596. С. 471; № 597. С. 495; № 601. С. 46–47; № 602. С. 66–67; № 606. С. 139–142. № 607. С. 151–154.

[109] *Он же.* Самарская ученая экспедиция… // Там же. 1880. № 589. С. 339.

[110] Там же.

По итогам работы экспедиции в 1879 г. Каразина избирают членом Российского географического общества. А в 1885 г. Академия художеств присваивает ему звание «почетного вольного общника» – за труды на художественном поприще.

Каразин получает заказ на исполнение восьми картин для Военной галереи Зимнего дворца – для натурных зарисовок он вновь едет в Среднюю Азию. Получив документы на право беспрепятственного передвижения по всему Туркестанскому краю, он отправляется в путь, впечатления о котором описаны в очерке «От Оренбурга до Ташкента»[111].

С 1885 по 1891 г. Каразин работает над заказом. Итог – восемь полотен, размером более четырех метров каждое, на них изображены батальные массовые сцены захвата Средней Азии, их главные герои – русские солдаты.

Средняя Азия всегда была главной темой творчества Каразина – писателя и художника. Однако в портфолио художника есть и другие локусы: Петербург, Сибирь, Молдавия, Украина, Кавказ, Памир, Египет, Япония, Дальний Восток, Финляндия, Индия и др. (Надо полагать, что Индия была неосуществленной мечтой Каразина: помимо серии каразинских очерков-писем «На пути в Индию»[112], индийские мотивы присутствуют и в его романе «Наль».)

На протяжении всей своей жизни Каразин не обделял вниманием читателей-детей: регулярно публиковал для них свои рисунки и рассказы в журнале «Игрушечка»[113], а также участвовал во «Французском отделе» «Игрушечки», где его словесные «картинки» (как он их называл) были опубликованы по-русски и по-французски[114]. В 1880 г. Каразин выполнил в «Игрушечке», как бы сегодня сказали, поликультурный проект, разместив очерки о жилищах разных народов[115], сопроводив их своими рисунками. Редакция журнала отметила заслуги Каразина: четвертый номер «Игрушечки» за 1894 г. открывается портретом Каразина под рубрикой «Друзья детей».

* * *

Отдельно стоит упомянуть об интертекстуальных связях каразинской прозы с творчеством его современников.

---

[111] *Каразин Н.Н.* От Оренбурга до Ташкента: Путевой очерк. СПб.: Г. Гоппе, 1886. 15 с. (Впервые фрагмент очерка «От Оренбурга до Ташкента» с подзаголовком «Отрывок из дорожных заметок» был опубликован в журнале «Нива» в 1871 г., № 44.)

[112] *Он же*. На пути в Индию // Нива. 1888. № 37–40.

[113] «Волк»: Картинка с натуры (Игрушечка. 1880. № 2); «В саду»: Стихотворение (Игрушечка. 1880. № 25); «Полет орла»: Картинка с натуры (Игрушечка. 1880. № 26); «Петька-зайчик» (Игрушечка. 1894. № 4) и др.

[114] «Утром на балконе»: Картинка (Игрушечка. 1896. № 1); «Наброски с натуры» (Игрушечка. 1897. № 1); «Голуби»: Сказочка (Игрушечка. 1898. № 3); «Maman» (Игрушечка. 1896. № 3).

[115] «Юрта самоедов» (№ 1), «Киргизская кибитка» (№ 2), «Русская изба» (№ 4), «Малороссийская хата» (№ 5), «Хижина обитателей островов Великого Океана» (№ 6), «Палатка араба-бедуина» (№ 7), «Китайские корзиночные постройки» (№ 8), «Болгарский домик» (№ 9), «Домик голландского рыбака» (№ 11).

При чтении каразинского романа «Погоня за наживой» в сознании современного читателя не может не всплыть фрагмент из повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната». Сцену внезапного возвращения толстовского Позднышева из уезда, когда он застает свою жену с предполагаемым любовником, – точь-в-точь, до мельчайших деталей, – находим в каразинской «Погоне за наживой». Льву Толстому не мог не быть знаком этот роман Каразина, публиковавшийся в петербургском журнале «Дело». Сравним:

«Крейцерова соната» (1889)

Был первый час 〈…〉 Я в том же состоянии ожидания чего-то страшного *взошел на лестницу и позвонил.* Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. *Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель* 〈...〉 *Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей* 〈…〉 Я чуть было не зарыдал 〈…〉 *Мне стало жутко,* когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как – я еще не знал. *Я знал только, что теперь все кончено,* что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее *и кончу мои отношения с нею*[116] (курсив мой. – *Э.Ш.*).

«Погоня за наживой» (1873)

Поздно ночью… слез Ледоколов с извозчика… быстро *взбежал он по лестнице* 〈…〉 Он *позвонил* еще раз, громче 〈…〉 Ярко вспыхнул огонь и осветил испуганное лицо горничной; глаза ее широко раскрылись, она вскрикнула и выронила свечку из рук.
Ледоколова как обухом ударило по голове. Как ни мгновенно блеснул свет, он успел увидеть, он видел… Да, то, что он видел, было ужасно!
Он видел на вешалке чужую шинель, он ясно ее разглядел, с капюшоном, с военным воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчетливо блестели на сине-сером сукне 〈...〉 *Опустив голову, схватившись за сердце обеими руками, он пошел в кабинет; у него сил не хватило дотащиться до своей двери: он прислонился к стене и судорожно вцепился в какую-то драпировку* 〈…〉 *С этой ночи он уже не видел более своего ангела*[117] (курсив мой. – *Э.Ш.*).

Спасением Ледоколова от самоубийства становится решение отправиться в Ташкент – очевидная предпосылка сюжетного поворота в другом произведении Толстого – в «Анне Карениной», в биографии Вронского. Последние главы романа Толстого опубликованы в журнале в 1877 г., т.е. значительно позже каразинской «Погони». Знакомство и общение Толстого и Каразина – исторический факт: Каразин был иллюстратором произведений Толстого, однако информации сохранилось немного; есть свидетельство их переписки. Так, Толстой в письме к дочери (от октября 1893) упоминает Каразина: «…получил от Каразина письмо с просьбой сказать свое мнение об иллюстрациях Севера, и посылает

---

[116] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. / Под общ. ред. В.Г. Черткова. М.; Л., 1928–1958. Т. 27. С. 69–70.
[117] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 9–11.

несколько экземпляров альбома»[118]. Ответ Толстым был послан, однако письма не сохранилось.

С другой стороны, ситуация с отъездом в Ташкент на фоне личного фиаско была весьма типичной для конца XIX в. Например, Н.А. Варенцов вспоминает свои ташкентские впечатления: «Был на вечере Василий Александрович Шереметев, в красивой офицерской форме конного гвардейца 〈…〉 Сделавшись офицером, увлекся жизнью, начал кутить и безумно тратить деньги, чем взволновал свою мать; она, опасаясь, что он спустит все состояние, обратилась к государю Александру III с просьбой обуздать ее сына. Государь вызвал Шереметева и сильно отчитал и потом сказал: “Я тебя отправляю на службу в Ташкент, к моему другу генералу барону Вревскому и это делаю только из расположения к твоей матери, но помни: если получу жалобу от барона на твое беспутное поведение, то знай, что ушлю тебя в такое место Российской империи, которое ни на какой карте географической не обозначено”»[119].

Еще один пример из самого высшего императорского круга: ссылка в Ташкент великого князя Николая Константиновича на вечное поселение – из-за любовных непотребств, так сочла царская семья, – тоже укладывается в этот типологический ряд.

Литературовед И.А. Гурвич проговаривает непопулярный аспект в истории литературы – «писатель–писатель», имея в виду внутрилитературные связи, основанные на вертикальной градации литературных рядов. «Во всякой более или менее развитой литературе большой художник, как правило, окружен “средними” писателями, и вторые для первого – питательный канал и резонирующая среда. Разнообразна, как замечено, “муравьиная работа” рядовых авторов: тут и “подготовка новой идеи” и ее распространение 〈…〉 “Обыкновенные таланты” нередко нащупывают, а то и открывают для разработки те тематические, проблемные пласты, которые позднее будут глубоко вспаханы классикой. В самих писательских замыслах “подготовка”, понятно, не заложена; подготовительная работа фиксируется исследователем, но писателем, по логике вещей, не планируется и не осознается 〈…〉 Освоение беллетристических накоплений происходит по-разному: большая литература и включает их в свой актив, и переосмысливает, и освещает полемическим светом…»[120].

Так проза Каразина, или отдельные ее фрагменты, стала для Толстого той «подготовительной работой» – вне сомнения.

Еще одна литературная связь – это Чехов и Каразин. Фрагмент из романа «Погоня за наживой»: «Серое, знойное небо, серая даль, серые, бесконечные чащи джиды, колючего терновника, серые сыпучие пески, серая лента дороги, на которой давно уже не видно ни одного живого существа 〈…〉 Серые, однообразные линии крепостного вала, скучный казенный фасад одноэтажной казармы, покривившийся полосатый флагшток и безжизненно висящая

[118] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 66. С. 408.
[119] *Варенцов Н.А.* Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 2011. С. 304.
[120] *Гурвич И.А.* Указ. соч. С. 61–63.

на нем запылившаяся тряпка»[121] – читается как «чеховский». В сознании читателя всплывает рассказ «Дама с собачкой» (1898): «Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли 〈…〉 Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. “От такого забора убежишь”, – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор 〈…〉 Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор 〈…〉 Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом…»[122].

Если в отношениях «Щедрин–Каразин» второй шел вослед первому, то в чеховском творчестве очевидны реминисценции из Каразина. Чехов был знаком с Каразиным. Сохранилась запись Чехова под названием «Обеды беллетристов», где, в частности, сказано: «Вчера, 12 января (1893. – *Э.Ш.*), почти все наши беллетристы, пребывающие теперь в Петербурге, собрались в “Мало-Ярославце”, чтобы отпраздновать Татьянин день – годовщину старейшего из русских университетов, и положить начало “беллетристическим” обедам, которые, как говорят, будут повторяться ежемесячно, исключая летнего времени. Обедающих было 18 (перечисляются фамилии писателей, среди них – Н.Н. Каразин. – *Э.Ш.*) 〈…〉 Обед прошел весело… отличные отношения… существуют у наших беллетристов…»[123].

Продолжим фрагмент из «Погони за наживой»: «А неподалеку, сквозь редеющую чащу, – мутная, ленивая река, словно дремлющая в своих печальных берегах, словно втихомолку прокрадывающаяся мимо Забытого форта, боясь как-нибудь потревожить бесконечный сон его обитателей.

Жар, зной, духота. Не шелохнется воздух, не провеет в нем ни одна живая струйка 〈…〉 Все живое дремлет и спит, забившись от этой мертвящей жары всюду 〈…〉 Ни одной собаки не видно на улице; даже около навеса мясника, где их собираются всегда целые стаи, и здесь дремлет только одна паршивая рыжая собачонка и зализывает во сне свою искалеченную лапу.

Большая, жирная свинья, с полудюжиной поросят, одна только бродит по опустелым улицам и глухо, внушительно хрюкая, тычет своим рылом во все, что только не найдет для себя любопытного»[124]. Каразинская деталь – скрытое сравнение собаки со свиньей – была развернута Чеховым в рассказе «Крыжовник» (1898): «Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел,

[121] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 186.
[122] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1983–1988. Т. 10. С. 139–140.
[123] Там же. Т. 16. С. 259.
[124] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 186.

располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло»[125].

Каразинский Лопатин из романа «Погоня за наживой», предприниматель, нувориш конца XIX в., скупающий все движимое и недвижимое, а также ловко распоряжающийся в своих интересах попавшими в материальные затруднения людьми, – образ, который не мог не стать для читателей своего времени символическим, а также одним из истоков-прототипов чеховского Лопахина из «Вишневого сада» (1903).

Еще одна каразинская находка, ставшая хрестоматийной благодаря чеховскому Гаеву из «Вишневого сада», присутствует в романе «На далеких окраинах» (1872): умирает офицер Батогов при загадочных – для окружающих, но не для читателя – обстоятельствах. Гарнизон заинтригован и вроде бы опечален этой смертью, офицеры собираются на поминки, однако ведут досужие разговоры, звучит голос из бильярдной: «Красного в угол и по желтому карамболь!»[126]. В повести «В камышах» (1873) главный персонажах, Касаткин, представлен в кризисный для него момент: рушится его счастье – собственно, читатель видит начало его умопомешательства. Касаткин забрел в трактир, из бильярдной доносятся реплики, отбивающие ритм скуки гарнизонной жизни, никак не гармонирующие с его трагическим состоянием: «“Желтого” режу в “среднюю”!», «Красного в угол и карамболь по белому!»[127]. Такими же бильярдными репликами пользуется чеховский Гаев, прикрывая свое смущение и необходимость ответа. С одной стороны, совпадения могут быть случайными, с другой – вполне продуцирующими: имя Каразина было на устах современников, его читали, романы публиковались из номера в номер – с продолжением (прежде писали: «Продолжение будет», «Окончание будет»).

В романе Каразина «С севера на юг» (1874–1875) есть персонаж, по прозвищу Мутило, или дядя Василий, аферист и мошенник. Когда нажитое нечистым путем приобрело видимые окружающим объемы, у дяди Василия появляется отчество – Ионыч. Каразин пишет: «Шибко зашагал в гору дядя Василий, другим, глядя на него, даже стало завидно, не всем, конечно, а многим. Были и такие даже из этих завидующих, что давно уже, лет по десяти жили в этих краях, всякие дела обделывали, большими оборотами орудовали, а не успели столько загрести жару, как дядя Василий, без малого два года всего сюда пожаловавший ⟨…⟩ Говорили про него, будто видели, как он мешок с тремястами хивинских червонцев пересчитывал…»[128]. Конечно, отчество чеховского Старцева («Ионыч», 1898) *Ионыч* и каразинского Василия может быть простым совпадением, однако, зная о знакомстве двух писателей, о немалой прижизненной популярности Каразина, признанного мэтра, бывшего

[125] Там же. Т. 10. С. 62.
[126] Там же. Т. 1. С. 269.
[127] Там же. Т. 13. С. 35, 39.
[128] Там же. Т. 7. С. 231–233.

много старше Чехова, можно предположить, что сюжет каразинского образа впечатлил Чехова – в итоге его Старцев становится именно Ионычем, в архетипе образа которого считывается если не аллюзия, то парадигма. Безусловно, авторские интенции этих образов разные: проходной персонаж у Каразина и наделенный экзистенциальным смыслом чеховский персонаж.

Чеховед И.А. Гурвич приводит примеры тонких, явных и неявных, чеховских схождений, заимствований у беллетристов, своих современников. Однако фамилии Каразина среди них нет. Тем не менее вывод, к которым приходит исследователь, сполна подытоживает сделанные здесь находки: «Что у беллетриста может показаться случайной находкой, тому большой художник придает значение необходимого компонента образной системы – стилистически оригинальной системы. Возможно, Чехов с тем и взял “чужое”, чтобы сделать его “своим”, но тогда надо признать, что цели он достиг не путем какого-либо преобразования заимствованной конструкции, а путем включения ее в силовое поле стилеобразующего контекста; большего не потребовалось. Стиль Чехова хранит в своей структуре отложения опробованных беллетристикой конструктивных решений – конкретных, но не индивидуальных»[129].

В романе «На далеких окраинах» повествуется о специфическом свободном союзе двух независимых людей, в контексте которого в читательском сознании не может не всплыть сюжет о разумных эгоистах Чернышевского. Каразинская Марфа Васильевна еще в Петербурге, накануне заключения брака, как бы в шутку, составила с мужем брачный контракт, состоявший почти из трехсот параграфов. На каждую фривольную выходку жены муж реагирует вполне адекватно, однако Марфа Васильевна всякий раз кстати приводит тот или иной пункт их брачного договора: «Послушай, в статье шестой сказано…», «Статья четырнадцатая нашего добровольного взаимного договора гласит…» Образ эмансипированной Марфы Васильевны – родом из швейной мастерской Веры Павловны Чернышевского. Будущего мужа Марфы Васильевны «неудержимо влекло к этой прелестной девушке, склонившейся над швейною машиною 〈…〉 Когда ее нет, все тихо и скучно в этой большой комнате с приземистыми сводами: монотонно жужжат машины, во весь рот зевают молчаливые работницы; но она пришла и села на свое место – все ожило, словно под влиянием волшебной палочки, и не слышно стукотни машин, не слышно даже брюзгливого ворчания мадамы в чепце за этим серебристым смехом и бойкою болтовнею развеселившихся тружениц»[130].

Так неожиданно продлился в Туркестанском крае сюжет о «новых людях» Чернышевского – в сатирическом ключе. По словам И.А. Гурвича, «импульсы шли не только от книги («Что делать?» – *Э.Ш.*), освященной огромным авторитетом ее создателя, но и от самой действительности: судьбы “новых людей” были тогда историческими судьбами, они складывались и ломались

[129] *Гурвич И.А.* Указ. соч. С. 83.
[130] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 58.

при свете дня. Идущие за Чернышевским и дополняли его рассказ, и повествовали о переменах в умонастроении и общественном быте после “Что делать?” ⟨…⟩ Перевес получают изобразительные решения, хотя в чем-то и подсказанные, но в главном не предсказанные книгой-образцом. Идея “нового человека” и сама видоизменялась и воплощалась разнообразно ⟨…⟩ То была ветвь беллетристики: чувствовалась схематизация, клишировались сюжетные ходы и программные заявления, исходящие от героя»[131].

В романе Каразина «С севера на юг» есть фрагмент, где описаны тюрьмы, или камеры предварительного заключения, построенные в Средней Азии русскими. Это были далеко не зинданы, туземные тюрьмы: из зиндана убежать было невозможно – это могила, где смерть наступала естественным образом, без казни – от мучений, голода, насекомых, зловония: на кости, трупы предыдущих узников спускали обреченных новых.

Русские тюрьмы Каразин описывает так: «Попался раз Дабуй-барантач (разбойник. – *Э.Ш.*). Долго на него зарились, шибко досадить успел. Поймали, наконец, изловчились, обрадовались. Ну, думают, за все теперь выместим. Припомним тебе все твои пакости. Заперли его в казематку крепостную, часовых приставили, а он в первую же ночь и убег. Стали тюрьму оглядывать: ан под стенку ход прорыт, словно нора лисья, прямо взади казематки, к обрыву береговому. И чудно, право, как: земли даже не видать вывороченной. Вот он, значит, каким манером удрал: подрылся»[132].

На этом примере автор не останавливается – он предлагает еще и еще случаи, похожие на первый: о внезапности исчезновения арестованных[133], чтобы прийти к выводу: «Уйти, значит, только тот не может, кто сам не захочет… Ну, таких и запирать не для чего…»[134].

Весь этот пассаж о русских среднеазиатских тюрьмах, построенных из самана (кирпич из глины, перемешанной с соломой), смеем предположить, не мог не впечатлить Николая Лескова. Каразинский роман «С севера на юг» публиковался в книжках журнала «Дело» в 1874–1875 гг. В 1882-м Н.С. Лесков публикует рассказ «Путешествие с нигилистом», где есть фрагмент, сродни каразинскому, в котором описывается странное, таинственное исчезновение из тюрьмы заключенного. «А как стали его обыскивать – обозначился шулер. Думали, смирный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шулер ушел из-под воды? ⟨…⟩

– А черт его знает… Только после стали везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет ⟨…⟩

– А кто же он такой был?

– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам

[131] *Гурвич И.А.* Указ. соч. С. 71–72.
[132] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 319.
[133] См.: Там же. С. 320–321.
[134] Там же. С. 322.

да по балам, все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел»[135].

Литературное описание подобных туркестанских тюрем подтверждает фрагмент из воспоминаний Г.П. Федорова, служившего при генерал-губернаторе Кауфмане: «Кауфмана очень озабочивало правильное устройство мест заключения 〈…〉 Кауфман командировал меня в европейскую Россию для осмотра лучших тюрем и для ознакомления с тюремным бытом, режимом и хозяйством 〈…〉 На мой вопрос, каких результатов достигает эта система, начальник тюрьмы ответил, что самых отрицательных, ибо арестанты свободно разговаривают и даже поют в мастерских за недостатком надзора, а по ночам, благодаря отмычкам, устраивают настоящие клубы с картежной игрой. Работая в слесарной мастерской, каждый арестант имеет возможность смастерить себе отмычку, и начальник тюрьмы показал целый большой сундук, наполненный отобранными отмычками»[136].

Проза Каразина для читающей публики 1870–1890-х годов не была маргинальной, она не могла пройти мимо взыскательных писателей. Поэтому обоюдные влияния (Каразина и писателей-современников) налицо.

Поражают по силе страстности два женских образа в русской литературе этого периода: у Лескова – Катерина Измайлова (1864), у Каразина – героиня повести «Тигрица» (1876), созданная под влиянием Лескова или нет, но точно встраиваемая в типологический ряд героинь русской литературы.

Тема страстных чувств, граничащих с абсурдом, с безнравственностью, волновала многих современников Каразина: героини Тургенева («Вешние воды», «Дым»), Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»), Лескова. Они не умещаются в прокрустово ложе житейской рациональной логики, их поведение противоречиво, алогично.

Ситуация, воссозданная Лесковым, тривиальна: сходятся два молодых человека, влекомые чувственной страстью. Правда, нетривиально поведение героини. Сила характера Катерины Измайловой сочетается с отсутствием моральных разрешений и запретов, она вне морали. В изображении Лескова Катерина Измайлова и привлекательна и ужасна одновременно.

По силе страсти героиня каразинской повести «Тигрица», Агреаль, становится вровень с Катериной Измайловой. Но собственно страсть этой восточной красавицы иного рода – не сексуальная, как у героини Лескова, а страсть материнской мести за свое дитя. И имя ей дано не без намека, как и у Лескова (Леди Макбет): Агреаль – значит «чистокровная верховая»; здесь сосредоточены все ее черты: и завораживающая всех красота среднеазиатской амазонки, ум, хитрость, и «чистокровность» – в картине мира героини Агреаль ребенок, выношенный ею, но зачатый от врага, – чужой ребенок. Ни вскармливать его, ни ласкать она не собирается. Это лишь часть ее хитроумного, хотя и за-

[135] *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 7. С. 172.

[136] *Федоров Г.П.* Моя служба в Туркестанском крае (1870–1906 года) // Исторический вестник. 1913. Октябрь. С. 54–55.

тяжного по времени плана мести: ударить своего врага так, чтобы он ощутил сполна горечь утраты.

А предыстория этой мести такова: русский офицер, участник туркестанских походов, преследовал с группой солдат туркменских беженцев, дабы вернуть их в то поселение, откуда они бежали. Когда их догнали, пришлось вступить в бой с джигитами: все они были убиты. Тогда на арбу встала во весь рост молодая красивая женщина с ребенком на руках – в позе: убивайте меня и мое дитя. Русские солдаты кричали ей, что не тронут ее, что пусть она слезает с арбы и идет домой. Внезапно ребенок выскользнул из рук матери и попал под копыта лошади, которую при всем желании наездник остановить не мог, – им был русский офицер Наземов.

Женщина, потерявшая сына, сутками сидела, не выпуская из рук мертвое тело ребенка. Вдруг попросила, чтобы ей привели Наземова, виновника гибели сына, и отдала ему ребенка со словами: он твой. Красавица Агреаль осталась при русском отряде, намеренно, хитростью влюбила в себя Наземова, который летал от счастья. Пришла надобность ехать в Россию, он позвал с собой Агреаль. Она согласилась, вскоре родила их общего с Наземовым сына. Кормить его наотрез отказалась, ссылаясь на плохое самочувствие. Ребенку наняли деревенскую кормилицу, крестили – мать не сопротивлялась, наоборот, всячески способствовала вживанию ребенка в русскую культуру, чем удивляла Наземова, который с опаской наблюдал за своей невенчанной женой (венчаться она тоже отказалась, мотивируя это нежеланием терять свою свободу). Ребенку не было и года, когда Агреаль заскучала по теплым родным краям, уговорила Наземова вернуться. А по приезде на родину связалась со своими родственниками, которые пришли в ночи и помогли ей совершить то, что она задумала сразу после смерти своего первого сына: убила мальчика, рожденного от русского отца, ребенка, которого она не считала своим, сказав, что теперь они квиты: ты убил моего сына, а я – твоего. Интрига сюжета повести состоит в нагнетании странных, загадочных, немотивированных, с точки зрения европейца, поступков красивой Агреаль.

Животная, мстительная страсть закодирована в заглавии повести – «Тигрица», которое недвусмысленно прокомментировано в самом повествовании, где взгляд Агреаль сравнивается с тигриным: «Взгляд ее не был обыкновенным, естественным взглядом… В нем отражалась какая-то особая внутренняя сила… Какое-то могучее чувство одушевляло его и придавало ему это чарующее, пронизывающее насквозь выражение ⟨…⟩ Мне случалось не раз в густых зарослях “Сыра” и “Аму” лицом к лицу встречаться с тигрицею… Я встретился раз с такою, которая отыскивала по следу своих, только что выкраденных из логовища детенышей… Она была убита; пуля из берданки оказалась сильней ее отваги, ее острых зубов, ее железных когтей, но я никогда не забуду того взгляда, который бросило на меня умирающее животное ⟨…⟩ Теперь же подобный взгляд… напоминал мне о неотразимой, беспощадной мести…»[137].

[137] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 147–148.

В каразинской прозе содержится немало самоцитаций: одна из глав романа «Наль» названа «Тигрица» (ч. 2, гл. X) – это заглавие относится к девушке по имени Гуль-Гуль, ее появление на пути главного героя стало роковым, приведшим к трагедии. Гуль-Гуль страстно влюблена в Наля, ради встречи с ней тот забывает о военной дисциплине, о том, что он должен находиться в крепости в ожидании штурма. И каково было его разочарование, когда он увидел, что Гуль-Гуль столь же страстно относится к другому, тоже ее возлюбленному – военному противнику Наля. Когда те решили выяснить отношения в рукопашном поединке, Гуль-Гуль удобно расположилась, чтобы наблюдать за боем своих возлюбленных. «Теперь только бы ей хвостом заиграть!»[138] – мелькнуло в голове у Наля. И ведь Гуль-Гуль не предала его, она действительно любила и того и другого – но такое положение вещей было вне понимания Наля.

Другой лесковско-каразинский типологический ряд напрашивается при сопоставлении излюбленного Лесковым образа праведника из «Несмертельного Голована» и персонажа рассказа Каразина «Тюркмен Сяркей». Оба текста гармонируют, будучи названы по именам главных персонажей – подобная номинация, конечно, не ведет ни к какой типологии, однако после сопоставления и Голован, и Сяркей становятся вровень.

Предваряя публикацию рассказов о русских праведниках, Лесков поведал читателю, при каких обстоятельствах пошел на поиски праведников: на это его подвигло суждение А.Ф. Писемского о человечестве, а именно: «ничего, кроме мерзости, не вижу», «что вижу, то пишу, а вижу я одни гадости»[139]. «Мне было ужасно и несносно, – пишет Н.С. Лесков, – и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”…»[140].

Лесковский Голован пользуется уважением горожан, к нему идут за советом, он мог «сделать и все прочее, что только человеку надо», бог его «любил и миловал»[141]. Каразинский «тюркмен Сяркей был самый желанный гость в каждом ауле. Все – и стар, и млад – радовались его приходу, печалились его уходом»[142].

Женщина Павла, которую Голован любил в молодости и впоследствии призрел, живет с ним, как уверяют вокруг, «во грехе», называют ее «Голованов грех», но, как выяснилось через многие годы, «грех» был домыслом окружающих, а Павлу он действительно любил, живя с ней под одной крышей: только «они жили по любви *совершенной*»[143], жениться по юридическим законам они могли, так как муж Павлы формально давно сгинул, но не могли

[138] Там же. Т. 5. С. 167.
[139] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 2. С. 4.
[140] Там же.
[141] Там же. С. 113.
[142] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 158.
[143] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 2. С. 134.

«по закону своей совести»[144] – муж Павлы под чужим именем жил в одном с ними городе.

Тюркмен Сяркей тоже не был женат. Ни один злой язык не мог упрекнуть его в какой-то связи с женщиной. Однако по всей степи у Сяркея была куча детей: «У него было их столько, ровно столько, сколько у всех обитателей степи было вместе»[145] – всех он любил, обо всех заботился.

Лесковского Голована подозревали в сговоре с нечистью: он якобы похитил *безоар*-камень, спасающий от всех болезней, но прощали ему этот грех, так как Голован накормил, отпугнул и изгнал «язву» из города, бросив ей «шмат своего тела»[146], подозревали в волховстве, в обладании талисманом. Горожанам, «которые крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, – особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на “пути правом”»[147], Голован казался «сумнителен в вере». Он водился со всеми: «даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока»[148].

На каразинского Сяркея муллы, «поучавшие народ и правившие нравственной “чистотою истинной веры пророка”», смотрели косо: Сяркей, будучи сторонником веры Корана, добродушно посмеивался над муллами, находя противоречия в их словах и поступках. Сяркей знал целебные травы, лечил людей, овец, лошадей и верблюдов. «За это к его уже имеющимся двум почетным титулам добавлялся третий: “хаким” (мудрец)»[149].

И лесковский Голован был «по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря»[150].

Сяркей знал все тайны пустыни – как спастись от непогоды в ней, от песчаных ураганов и снежных буранов, знал созвездия в небе и умело пользовался ими на пустынных тропах.

В отношении к инородцам и Голован, и Сяркей были открыты.

Голован погиб при пожаре, спасая людей. Но, получив при жизни прозвище *Несмертельный*, он и после смерти величается *несмертельным.* Каразинский Сяркей стал «добрым гением пустыни», о котором рассказчик обещает поведать еще не раз, «ибо рассказ “о хорошем человеке” и старому, и малому всегда на радость и пользу»[151].

Судя по воспоминаниям современников, проза Каразина пользовалась успехом у читателей, она в той или иной степени воздействовала на творчество современников: вступал в действие механизм «писатель–писатель», т.е.

[144] Там же. С. 135.
[145] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 158.
[146] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 2. С. 112.
[147] Там же. С. 114.
[148] Там же.
[149] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 158.
[150] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 2. С. 113.
[151] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 169.

внутрилитературые связи, основанные на заимствованиях и скрытых цитациях. В одном случае проза Каразина стала «подготовительной работой» для классиков (Толстой, Чехов), в другом – сама подпитывалась находками современников (Чернышевский, Салтыков-Щедрин), в третьем – встроена в типологический ряд проблем, волновавших писателей-современников (Салтыков-Щедрин, Лесков).

Темп жизни Каразина был сопряжен с постоянными разъездами, участием в экстремальных событиях и ситуациях – все это не прошло даром. Летом 1898 г. Каразин перенес воспаление легких, его организм ослаб.

Тем не менее он продолжал активно работать: делал иллюстрации к «Истории монголов», готовил к изданию полное собрание своих литературных сочинений. Последние годы жизни Каразин провел в Гатчине, куда он переехал из Петербурга.

Жена Каразина – Мария Викторовна Каразина. Она «была красивой женщиной, прекрасно пела, исполняла на рояле произведения любимых композиторов ее и Николая Николаевича – Вагнера и Чайковского. Знала немецкий, французский языки»[152]. «Последний год своей жизни Каразин был прикован к постели тяжелой болезнью. Заботы его жены, Марии Викторовны, постоянной спутницы жизни, и внимание друзей смягчили страдание художника»[153]. Единственной любимой дочери, тоже Марии, Каразин посылал из своих бесконечных путешествий рисунки. Л.П. Арипова, во время работы над биографией Каразина, вступила в переписку с внучкой писателя, Тамарой Федоровной Барыковой, та ей писала: «Любила мама дедушку беззаветно. Украшали нашу квартиру дедушкины картины, которые бережно хранились. Мама коллекционировала фарфоровых лягушек. Они были разных мастей и размеров и стояли на спинке-полочке дивана. Над ним висела большая картина в позолоченном багете размером больше метра, на которой была изображена царь-лягушка. Рисовал дедушка. А в маминой спальне висело более десяти картин. Прозрачные, очаровательные акварели дедушки…»[154].

Каразин собрал большую коллекцию восточных древностей, которая из-за финансовых затруднений семьи была продана на аукционе незадолго до его смерти.

В конце 1907 г. на заседании совета Академии художеств по предложению академиков Е.Е. Волкова, К.Я. Крыжицкого и А.И. Куинджи Каразин был избран членом Академии художеств.

Скончался Николай Николаевич Каразин 6 (19) декабря 1908 г. в Гатчине, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

В некрологе, напечатанном в любимой им «Ниве», сказано: «Скончался крупный художник кисти и слова, Николай Николаевич Каразин. Кому неизвестно

---

[152] *Арипова Л.П.* Указ. соч. С. 44–45.
[153] *Ногаевская Е.В.* Указ. соч. С. 368.
[154] *Арипова Л.П.* Указ. соч. С. 73.

это имя? 〈…〉 Каразина звали “русский Дорэ” 〈…〉 Романы Н.Н. Каразина 〈…〉 В них много свежей красочности, размашистости, эффектных контрастов, фантазии. О романах Каразина хочется сказать, что они не “читаются”, а “смотрятся”. И смотрятся с интересом и удовольствием»[155].

Если соотечественники называли его «русским Доре»[156], то иностранные почитатели – «русским Майн Ридом»[157] и «русским Герштеккером»[158].

Живописные и акварельные работы Каразина хранятся более чем в сорока музеях и галереях на бывшем советском пространстве. Ряд его очерков и корреспонденций не вошел в собрание сочинений 1905 года, публиковался только один раз – в журналах XIX в.: «Нива», «Всемирная иллюстрация» и др. Помимо собственных книг, Каразин иллюстрировал произведения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, В.В. Крестовского, Д.В. Григоровича, Ж. Верна, Г. Лонгфелло.

КАРАЗИН – ЭТНОГРАФ И БЫТОПИСАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Из туркестанского десанта вышло много востоковедов, этнографов. М.К. Басханов, составитель словаря «Русские военные востоковеды до 1917 г.», пишет, что становление «военного востоковедения происходило параллельно с расширением территориальных владений Российской империи в Азии»[159], в российской армии даже появилась неизвестная прежде «военная специальность – “офицер-востоковед” (“офицер-ориенталист”), которая была включена в штаты пограничных военных округов…»[160]. Подобного культурологического явления, пишет М.К. Басханов, не было ни в одной стране мира. Русские военные, став по совместительству и этнографами, первыми оставили свои наблюдения о Туркестанском крае. Среди них – Николай Николаевич Каразин. Описанные им обычаи, типажи, быт, кухня, этика поведения, нравы, прецедентные тексты местного населения и другое, увиденное и услышанное в Средней Азии, явилось первым богатым урожаем фольклорно-этнографической экспедиции, плодами, собранными во время главных походов по завоеванию Средней Азии Российской империей. После Каразина его находки стали массово тиражироваться, складываясь в туркестанский текст русской культуры.

Пионер в литературной этнографии Туркестанского края, Каразин не столько инициировал рождение туркестанского текста, сколько сам его и создал: бесчисленное повторение переходящих из очерка в роман, из путевых

[155] Н.Н. Каразин // Нива. 1908. № 52. С. 923–924.
[156] Гюстав Доре (1832–1883) – французский художник, гравер и книжный иллюстратор.
[157] Томас Майн Рид (1818–1883) – английский писатель, автор приключенческих романов.
[158] Фридрих Герштеккер (1816–1872) – немецкий путешественник и романист.
[159] *Басханов М.К.* Указ. соч. 2005. С. 5.
[160] Там же.

записок в рассказ одних и тех же деталей быта и культуры, которые превращаются в паттерны, или прецедентные культурные образы-клише, в самих каразинских текстах. Живописные и словесные способности Каразина, его наблюдательность стали залогом точных, колоритных, объемных зарисовок о впервые увиденном в чужеземном крае.

Критик журнала «Дело», разбирая особенность литературного таланта Каразина, пишет: «Он пользуется беллетристическою формою не для того, чтобы проводить и доказывать те или другие теоретические положения – как это делает большинство наших современных беллетристов, – а только для того, чтобы разъяснять и комментировать сложившиеся в его уме *картины* местной жизни и нравов. Ни в выборе, ни в концепции, ни в освещении этих картин нет решительно ничего такого, что бы могло дать повод заподозрить их автора в *пристрастном* отношении к наблюдаемым им фактам. Он объективен не потому, чтобы он особенно старался быть объективным, а просто потому, что его таланту совершенно чужда всякая субъективная рефлексия. Картины окружающей действительности поражают его воображение, и он непосредственно переносит их… не на полотно, а на писчую бумагу, не внося в них ничего или почти ничего *своего*, лично ему принадлежащего»[161].

Остановимся на некоторых наблюдениях, сделанных Каразиным в прозе, – они расширят контекст публикуемых в данном издании романов.

Рассмотрим некоторые этнографические находки, которыми Каразин насытил свои художественно-исторические тексты. Взгляд писателя, профессионального художника, сфокусирован на деталях. Он видит своих персонажей в специфических позах, несвойственных русской и европейской культуре. Так, его персонажи «сидят на корточках» в разных бытовых ситуациях, писателю важно акцентировать внимание читателя на этой этнографической детали, потому что он транслирует инокультурную картину мира, в которой важны даже такие мелочи. Туземцы, персонажи прозы Каразина, на корточках проводят время досуга или молитвы: «Зарыл он ящик в песок, саксаулу накидал поверх, сам вернулся к коню своему, присел на корточки и начал творить намаз-молитву…»[162] («Как чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту»); на корточках – за трапезой или в гóре, на корточках сидят мужчины и женщины. Возможно, Каразина можно считать пионером в фиксации этой туземной позы, вошедшей в набор стереотипов повседневности, существующих до сих пор при изображении представителей Туркестанского края.

Эту специфическую позу объясняют специалисты по физической антропологии: «У многих азиатских народов принято сидеть на корточках так, что ступни стоят плоско на земле. Аборигены Австралии делают это иначе, их ступни подобраны под ягодицы. У тех, кто сидит в азиатской позе, в месте соединения голени и таранной кости (ступни) есть хорошо выраженная

[161] *Никитин П.* Ташкентские рыцари (Повести и рассказы Н.Н. Каразина. Иллюстрированное издание) // Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 17.
[162] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 183.

поверхность, которая, по-видимому, позволяет очень долго удобно сидеть на корточках на рисовых полях и базарах (для большинства европеоидов это очень трудное дело) 〈…〉 Далее, ни той, ни другой поверхности нет у тех людей, которые привыкли сидеть на стульях. И что самое интересное, все эти структуры уже присутствуют в костях эмбрионов и маленьких детей у тех народов, которые имеют привычку сидеть на корточках, но их нет у эмбрионов и маленьких детей в тех популяциях, где люди для сидения используют стулья»[163].

Кто первым обратил внимание на эту позу – сказать невозможно, да и нет надобности, важно лишь то, что взгляд этнографа, путешествующего по Туркестану во второй половине XIX в., вычленил эту особенность, которая, тиражируясь, превратилась в паттерн туркестанского текста. (Дальше он зажил своей органической жизнью в туркестановедческой литературе периода колонизации, среди авторов – П.И. Пашино, Д.Н. Логофет, Г. Гинс, А.В. Квитка, К. Скорино, В.Н. Гартевельд, П.И. Небольсин, Д.Н. Долгоруков, Н. Уралов, а также А. Вамбери и С. Хедин.) Такое видение чужого – с одной стороны, этнографическое наблюдение, с другой – рецепция чужой культуры, собственно, выражение ориентализма. Пожалуй, эта этнографическая деталь – специфическая поза туземцев – наиболее частая во всей прозе Каразина.

Еще одна деталь антропологического свойства, подмеченная и растиражированная Каразиным-этнографом, – это превосходное зрение кочевника: «Это что? 〈…〉 – Где?.. – А вон, вот маленькое, дымчатое облачко идет, а левее за черным камнем… видишь, шевелится…

– Это орел, должно быть.

– Нет, сторожевой…

– Полно!.. видишь, крыльями машет, вон взлететь собирается.

– Это лошадь хвостом махнула… Что?..

Прибегают к помощи бинокля; но и бинокль не всегда решает спор в какую-либо определенную сторону.

А горец сторожевой простыми глазами видит все ясно… он определил уже и род наших войск, и их направление, он даже сосчитал приблизительно эти чуть заметные, гуськом пробирающиеся по тропинке белые точки…»[164] (очерк «Защитники Зарафшанских гор»); «Ну, да у этого (киргиза. – *Э.Ш.*) глаза днем видят лучше всякого бинокля, ночью – лучше всякой кошки»[165] (повесть «Тигрица»); «Колокольчики мы оба сняли… зачем поднимать шум на всю степь… Впрочем, эта предосторожность почти излишняя, – глаз киргиза видит дальше, нежели слышит его ухо…»[166] (рассказ «Три дня в мазарке»); «Я киргиз… киргиз глупый, думаешь так?.. А киргиз глупый лучше вас вдали видит. – Ну, уж лучше!.. – Лучше!.. Вон то что?

---

[163] *Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р.* Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция / Пер. с англ. М., 2002. С. 171–172.

[164] *Каразин Н.Н.* Защитники Заравшанских гор // Нива. 1873. № 38. С. 600.

[165] *Он же*. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 178.

[166] Там же. Т. 9. С. 209.

И Бабаджанов указал рукою вдаль, где от мечети отделилась какая-то белая тряпка на палке.

– А черт его знает что! – То-то!.. Это они парламентеров посылают. Сейчас из-за той стенки покажутся»[167] (роман «Наль»).

Речь среднеазиата насыщена фатическими, или этикетными, формулами. «Практически всем живущим в Узбекистане русским хорошо известна местная традиция говорить при встрече ни о чем, просто ради поддержания ритуального контакта, когда собеседники произносят одновременно, не дожидаясь ответной реакции, положенные для такого случая формулы приветствия, справляются о здоровье близких и т.д., не входя при этом в реальный диалог, содержащий обоюдно значимую информацию, здесь каждая следующая реплика не зависит от изначальных намерений говорящего или от только что прозвучавшей реплики собеседника»[168].

Этот этикет прагматически был усвоен каразинским Перловичем. Для представителей инокультуры, в частности, пришедших в Туркестан русских, стало очевидно, что чаще это лишь формальность, церемониальная речь, когда тебя спрашивают о здоровье, твоей семье и близких, но с равнодушными глазами, и ответ звучать совсем не должен, это лишь форма приветствия, как и русское пожелание здоровья – «здравствуйте», которым обмениваются порой совсем безразличные друг к другу люди.

Каразин тиражирует эту местную особенность из текста в текст – в романе «С севера на юг»: «“Что за дьявол?” – думают они. А те опять: – “Аман-сыз?” (здоровы ли вы? значит). Да ладно, говорят, ничего, слава те, Господи! Откедова? – Те опять за свое: “Джаны-гыз-аман-ба?” (скот и душа здоровы ли ваши?)»[169].

Аноним XIX. в., непримиримый ненавистник «ориенталов» пишет: «Чтобы составить себе понятие о восточной вежливости, нужно присутствовать, напр., при встрече двух крестьян персидских. Долгое время стоят они друг перед другом безмолвно и неподвижно, пока не решат, кому из них первому поклониться и заговорить. Когда это решено, один из них предлагает другому целый ряд вопросов о его здоровье и благосостоянии: *жирно ли твое небо? влажно ли оно? упаси Бог, нет ли болезни в твоем доме? хорошо ли твое здоровье* и т.д., и т.д. Таких вопросов предлагается до 15, и комичнее всего то, что первый разговаривающий, окончив свой допрос, спокойно выслушивает от второго те же самые вопросы. И такая вежливость в полном ходу не только в Персии, но даже у грязных, оборванных дикарей Средней Азии; в высших же классах восточного общества она доведена до степени утонченнейшего искусства»[170], – так безымянный рецензент анонсирует в 1877 г. новую книгу Вамбери «Очерки жизни и нравов Востока».

---

[167] Там же. Т. 5. С. 180.

[168] *Подпоренко Ю.В*. Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане // Дружба народов. 2001. № 12. С. 178–179.

[169] *Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 256.

[170] Рец. на кн.: Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. 1876 г. // Дело. 1877. № 2. С. 104.

Выражение эмоций – от восторга и сострадания до осуждения – в виде цоканья – эту особенность речевой коммуникации среднеазиатских народов одним из первых подметил Каразин (позже эта этнографическая специфика разошлась по анекдотам с инокультурной тематикой) – в рассказе «Рахмед-Инак, бек Заадинский»: «Два сарта говорили о наших дамах, которые сидели на самых видных местах, как раз напротив нас. – *Це-це*! Эх! Хороши, – говорил один. – Хороши! – отвечал другой и сплюнул на сторону: это значит, что у него потекли слюнки при виде такой прелести»[171]; в рассказе «Таук»: «Он обтер мне лицо рукавом своего халата. Я крепко сжал его руку… – *Ц... ц*… – зачмокал он. – Спасибо Аллаху, что не ты на его месте… Ой-ой, беда!»[172]; в рассказе «Тюркмен Сяркей»: «Киргиз Аман-бай, нацедив из турсака воды в чайники, егозил и заискивал у косматой шапки: он, видимо, хотел смягчить свой вчерашний отказ в чае и, разводя огонек, десятый раз повторял: – Чаю много пей… сколько душа хочет, пей… ничего… чай хороший… с сахаром пить будешь… *Ц...ц*… ох, хороший человек…»[173] (курсив мой. – *Э.Ш.*) – так, посредством междометия *це-це / ц-ц*, среднеазиат выражает свои эмоции.

Эту же эмоционально-речевую особенность тиражирует Н.Н. Уралов в воспоминаниях о Средней Азии: рассказчик пытается нанять верблюдов у аборигенов, которые водят его за нос: «Ни знай! – лаконически ответил седобородый таджик, а хитрые глаза совсем сощурились: хорошо знал, бестия, что конкурентов ему не очень много, – что хотел, то и просил. – Вот те на! если ты не знаешь, так кто же знать-то будет, свинья, что ли? – озлобился я. – *Цы, цы*!.. зачем скверна слова скажишь…»[174]. И эхом – в романе XX в.: «Возле каждой железнодорожной станции возникают базарчики, охотно посещаемые кочевниками. – Вот-вот… Какие у них настроения? – Самые миролюбивые. Они привозят свои кустарные изделия, продают пассажирам, разглядывают паровоз, вагоны, качают головами и *цокают*. – Да, да, у них есть эта забавная привычка. Ха-ха-ха!»[175] (курсив мой. – *Э.Ш.*).

Во многих этнических сообществах при ожидании ребенка предпочтение отдается мальчику, однако именно на мусульманском Востоке это предпочтение проговаривается и провоцирует действия, а впоследствии и сюжеты в словесности; см. рассказ Каразина «Байга»: «У серкера Годай-Аггалыка после восьмилетнего бесплодного супружества родился сын. Аллах услышал молитвы старого Годая и ниспослал свою благодать на молодую жену его… Она была полная властительница в богатом доме Годай-Аггалыка: все окружающее завидовало ей и заискивало в ее расположении»[176]; повесть «Тьма непроглядная»: «Не везло дому в одном: много уже жены прежние приносили детей, да

---

[171] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 146.
[172] Там же. Т. 16. С. 93.
[173] Там же. Т. 16. С. 156.
[174] *Уралов Н.* На верблюдах: Воспоминания из жизни в Средней Азии. СПб., 1897. С. 12.
[175] *Алматинская А.В.* Указ. соч. С. 421.
[176] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 13.

все девочек, – самое пустое дело для богатого человека, а мальчика, желанного, радостного мальчика ни одного…»[177]; рассказ «Ак-Томак»: «Самое рождение девочки, вместо почему-то всегда ожидаемого мальчика, производит уныние и панику в целой семье. Мать не смеет рассчитывать на привет и ласку со стороны мужа и отца: она редко получает даже обычные в таких случаях подарки. Одно только обстоятельство примиряет разгневанного властителя с совершившимся фактом, это – надежда выдать дочь замуж и получить выгодный “калым”»[178]; очерк «Из Центральной Азии»: «Детей у Аблая было множество, все больше сыновья; старик говорил, что *Аллах, видимо, милостив к нему и не наказывает его дочерьми*»[179]. О том же говорят и тюркоязычные пословицы: «Сын – богатство, дочь – обуза»; «Девочка – это железная ноша».

Культурно-этнографическая черта среднеазиатов – есть руками, а не ложкой произвела впечатление на Каразина. Локальная особенность отправлять плов и другие яства в рот руками – для современного человека не новость. Но когда-то это было откровением для человека европейской культуры, в частности для Каразина. В его прозе широко растиражирована среднеазиатская трапеза «без ложки»; см., например, в романе «Наль»: «Ешь, чего смотришь! – толкнул Бабаджанов соседа, прапорщика Столбушина. – Да ложки нет! – отозвался тот. – А ты вот как! – И киргиз бесцеремонно запустил пять пальцев в дымящееся блюдо с пловом»[180]; в романе «Двуногий волк»: «Плов поспел. Стали его раскладывать в большие плоские чашки, разостлали попоны, коврики, что нашлось подходящего, поставили эти дымящиеся чашки перед гостями, и потянулись к ним десятки рук, зарываясь в этом облитом жиром, горячем вареве»[181]; «Досщак… сел к котлу, снял крышку, запустил туда руку, не горячо ли, – вынул оттуда и начисто облизал свои пальцы 〈…〉 И остальные придвинулись поближе к котлу и запустили туда руки»[182]. Без ложки ели не только «вторые» блюда, но «первые» – при помощи куска хлеба или лепешки: «Принесли горячую шурпу 〈…〉 Эстер свернула себе из куска тонкой лепешки нечто вроде черпалки, выгребала им из похлебки кусочки курицы и складывала их на ладонь, а оттуда брала в рот…»[183] («Тьма непроглядная»).

Вослед Каразину об этой же особенности среднеазиатов пишут путешественники и мемуаристы: «Началось дружное истребление мяса; ели прямо пальцами, облизывая их по временам»[184]; «Ели перстами, как они обучали нас, глядя, как они это делали, и после опускания в рот с удовольствием облизывали свои пальцы для взятия новой порции из общего блюда»[185].

---

[177] Там же. Т. 6. С. 6.
[178] Там же. С. 127.
[179] *Каразин Н.Н.* Из Центральной Азии: Очерк первый // Дело. 1872. № 1. С. 87.
[180] *Он же*. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 120.
[181] Там же. Т. 14. С. 120–121.
[182] Там же. С. 42.
[183] Там же. Т. 6. С. 49.
[184] *Уралов Н.* Указ. соч. С. 141–142.
[185] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 278.

Незадолго до Каразина своими наблюдениями поделился А. Вамбери: «Рассаживались кружками приглашенные, по пять-шесть человек в кружок; каждой группе подавалась большая деревянная миска, наполненная в соответствии с числом и возрастом едоков, в нее погружали широко раскрытую ладонь и опорожняли дочиста, не пользуясь никакими иными орудиями для еды»[186].

Если глазами представителей чужой культуры эта особенность выглядит как экзотика, с ощутимыми или скрытыми негативными коннотациями, то изнутри, со слов представителя туземной культуры, – как превосходная степень оценки:

«– Я счастлив буду отведать из вашей благословенной руки. Ахмад-хан захватил побольше плова в горсть и поднес ко рту курбаши, лицо которого выразило блаженство, казалось, он готов проглотить не только плов, но и руку Ахмад-хана»[187].

Однако инокультурная рецепция выглядит осуждающе: «Они до сих пор едят без ножей и вилок, так как считают грехом колоть и резать дары божьи 〈…〉 В Средней Азии, где едят пятерней, салфеткою служит рукав или пола кафтана…»[188], – так по-разному отзывались в устах европейцев этнографические особенности Туркестанского края: с интересом и пониманием или с брезгливостью и превосходством.

Специфическое сопровождение трапезы характерным звуком Каразин объясняет азиатским бонтоном, напоминая об этом – после романа «На далеких окраинах» – еще в ряде текстов, см., например, в повести «Тьма непроглядная»: «Принесли кунган с теплою водою, поддонник для омовения рук и шелковое красное полотенце. Сары-Кошма громко рыгнула, в знак полной сытости и довольства угощением; рыгнула, еще громче, Хатыча, хотела было и Эстер, но у нее это приветствие не вышло»[189]; в романе «Погоня за наживой»: «Богатый купец Шарип-бай выпил уже очень много чашек чая, так много, что уже отрыгнул три раза и беспрестанно вытирал пот на лбу и шее полою своего нижнего халата…»[190].

Вслед за Каразиным на эту этикетную деталь обратили внимание другие путешественники-востоковеды: «Вежливый Левашов, в совершенстве знавший все этикеты, уже несколько раз рыгнул, что выражало полное довольство и благодарность хозяину. Мулла ликовал. По-видимому, душа его была переполнена счастьем»[191]. Эта этнографическая особенность становится паттерном не только туркестанского, но вообще восточного текста – так, писатель XX в., воссоздавая восточные реалии начала XIX в., пишет: «Когда дежурный

[186] *Вамбери А.* Указ. соч. С. 54.
[187] *Кадыри А.* Минувшие дни: Исторический роман. Ташкент: Sharq, 2009. С. 78.
[188] Рец. на кн.: Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. 1876 г. // Дело. 1877. № 2. С. 100.
[189] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 50.
[190] Там же. Т. 3. С. 208.
[191] *Уралов Н.* Указ. соч. С. 151.

унтер-офицер приходит убрать плов и приносит конфеты в меду, ханы вытирают жирные пальцы о полы халатов и тихо рыгают, из вежливости, показывая этим, что они сыты. Генерал-губернатор, действительно, кормит их превосходно 〈…〉 Потом они подробно вспоминают особо удачные ласки жен, пальцы их двигаются, рты полураскрыты. Они тихо рыгают»[192], – не без ориенталистской брезгливости описывает Юрий Тынянов пленных персидских ханов.

* * *

Каразин одним из первых в русской литературе описал среднеазиатских евреев, или бухарских евреев (такой этноним не был известен Каразину, он вошел в обиход несколько позже), удививших и впечатливших его. Бухарские евреи – субэтнос, проживавший в Туркестанском крае, говоривший на диалекте фарси, но исповедовавший иудаизм. См., например, рассказ «Рахмад-Инак, бек Заадинский»: «Какая громадная разница между ними и их европейскими собратьями: это именно те древние иудеи, не искаженные дальнейшим ходом бытовых и исторических событий»[193]; «Справа и слева тянулись лавки евреев-красильщиков; под навесами сидели сами хозяева, раскладывая показистей целые вороха цветного шелка. Руки у всех были яркого синего цвета почти по локти. Причиною этого необыкновенного цвета кожи – то обстоятельство, что красильщики преимущественно возятся с индиго, самою употребительнейшею краскою, и руки их до того пропитались этим веществом, что как бы ни мыли их, они не принимали уже первобытного вида. Я сам видел, как еврей, в доказательство чистоты своих рук, полоскал их несколько минут в чашке с чистою водою, и вода не окрасилась ни капли. Только временем могут постепенно отмыться эти вечно рабочие руки, но почти каждый день приходится подновлять и подновлять их окраску, и с этим обстоятельством все давно уже примирились. При нашем проезде евреи все вставали, низко кланялись и провожали нас всевозможными ласкательными приветствиями, улыбаясь при этом своею красивой, добродушной улыбкой 〈…〉 Когда мы поравнялись с воротами караван-сарая, то заметили на дворе несколько оседланных лошадей: это было уже нововведение. До прихода русских немусульмане не смели показываться на улицах верхом на лошадях. Лошади считались слишком благородными животными, чтобы позволить садиться на них в присутствии правоверных таким нечестивцам, как евреи и индийцы. С нашим появлением права несколько уравнялись, и прижатые и угнетенные вздохнули свободнее. Это, конечно, не всем нравилось; находились недовольные, но что же делать! С силою обстоятельств, волею-неволею, надо было примириться, тем более что евреи и индийцы с необыкновенным тактом начали пользоваться предложенными им благами, стараясь не оскорблять религиозного чувства большинства населения резким нарушением привычных

[192] *Тынянов Ю.Н.* Смерть Вазир-Мухтара // Тынянов Ю.Н. Собр. соч.: В 3 т. М., 2006. Т. 2. С. 208–209.

[193] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 136.

для него порядков. Случалось даже (как было в Самарканде), что евреи вовсе не пользовались наружными признаками равноправия, боясь за своих единоверцев в Бухаре, которые могли бы жестоко поплатиться за политическую бестактность своих счастливых собратий»[194]; рассказ «Ак-Томак»: «В азиатских городах вообще ложатся спать очень рано, и в настоящую минуту все ворота были заперты и лавки задвинуты досками. Кое-где попадались нам запоздалые евреи-красильщики с рваными бумажными фонарями в руках; они робко жались к стенкам, уступая нам дорогу»[195]; роман «Погоня за наживой»: «Переулок-щель, по которому пришлось ехать, был слишком узок даже для двух всадников рядом. Металлические стремена поминутно визжали, чертя по шероховатым поверхностям стен бедных саклей жидовского квартала. Тихо было в уснувшем квартале мирных красильщиков»[196].

Кроме внешнего облика, социальной зависимости от других этносов, рода профессии Каразин не касается больше судьбы бухарских евреев, эпоха изучения этого этноса наступит позже, на рубеже XX–XXI вв.[197]. Но сам факт фиксации Каразиным этого народа – своеобразный вклад в инокультурную рецепцию среднеазиатских евреев-изгоев.

* * *

Помимо архитектурных особенностей среднеазиатского жилища, двора и хауза (род бассейна) при доме, узких городских улочек, базара – средоточия информационных коммуникаций Востока, мечетей, среднеазиатской гастрономии, Каразин упоминает мазары – надгробные строения, чаще всего устанавливаемые на могилах праведников. Этот топос весьма часто и описывается, и является местом действия, например, в рассказе «Три дня в мазарке»: «Я кинулся к нему на помощь – и помог ему тоже пролезть в мазарку. Я забрался туда последним… В данную минуту мы были относительно в безопасности… Внутреннее помещение нашего убежища было не более четырех квадратных сажен. Свет в него проникал только из входного отверстия, но так как это отверстие было довольно велико, то света было совершенно достаточно, чтобы рассмотреть аляповатые фрески, которыми были испещрены стены мазарки… В своих прежних этнографических очерках я часто описывал во всех подробностях подобные могильные сооружения номадов, а потому и пропускаю эти подробности теперь, тем более, что в нашем настоящем положении не до того было, чтобы восхищаться наивными рисунками кочевых художников»[198].

В рассказе «Атлар» описано архитектурное и художественное оформление мазара: «Мазар этот сложен не просто из глины, а из плитного, жженого кирпича, привезенного издалека; над мазаром хитро выведен высокий купол,

---

[194] Там же. С. 135–137.
[195] Там же. Т. 6. С. 133.
[196] Там же. Т. 3. С. 388.
[197] См.: *Каганович А.* Друзья поневоле: Россия и бухарские евреи. 1800–1917. М., 2016.
[198] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 214–215.

у входа фронтон с узорчатою резьбою по карнизу и бортам смело очерченной арки, на внутренних стенах полосами тянутся изображения воинов, пеших и конных, сцены охоты и боя, верблюжьи караваны, боевые доспехи, борзые собаки и парящие ястребы и орлы. Посреди мазара стоит тяжелый, с трех сторон отесанный камень, а на его гладких сторонах еще до сих пор видны следы временем источенных надписей. Под этим камнем, чуть не на десятисаженной глубине, зарыт великий богатырь и хранитель степной вольности, Атлар-мулла»[199].

Каразин не обошел вниманием устройство подземной тюрьмы – *зиндана*. Правда, это персидское слово не встречается в каразинском повествовании, в отличие от самого сооружения, – тоже интересный факт в языковой летописи.

Вот подробнейшее, практически справочное описание зиндана из романа «На далеких окраинах»: «Он (Батогов. – *Э.Ш.*) знал о существовании особого рода подземных тюрем, вырытых в виде грушевидного колодца с узким отверстием наверху. Кто раз попал туда, – оттуда без посторонней помощи не выберется: руками не прорыть эту кремнистую земную толщу, кверху не выползешь по этим выгнутым, сыпучим стенкам; и воздух, и свет едва проникают туда в одну небольшую дыру. Гниль и нечистоты густым слоем накапливаются на вонючем дне, мириады паразитов кишат в этом тесном пространстве, никогда со времени начала своего существования не очищавшемся. Только азиатская лень и крайнее пренебрежение к участи и даже жизни заключенных могли изобрести эти адские тюрьмы. Да, в них, действительно, сторожить не надо. Можно совсем забыть о спущенном туда пленнике; можно даже забыть принести ему пищи и воды. Ну что за беда, если околеет? разве ждут от него больших барышей, – ну, тогда, пожалуй, вспомнят и снова вытащат полумертвого на свет Божий»[200].

* * *

Обиходная лексика русских, обжившихся и укоренившихся в Средней Азии, тоже имела ряд отличительных деталей. Так, Каразин подметил слова *малайка*, или *малай*. Практически все литераторы поры российского завоевания Средней Азии упоминают *малайку* как признак быта тех широт и русского языка. Каразин пишет это слово то в кавычках, то курсивом, то со строчной, то с прописной буквы – в любом случае акцентирует на нем внимание читателя (см. повесть Каразина «Тьма непроглядная»: «В неделю все для похода было слажено. *“Малайки”* к вьючным лошадям были договорены и явились на место…»[201]).

Мемуарист Н.А. Варенцов при описании Средней Азии, где он бывал не раз по предпринимательской надобности, многократно упоминает разного

---

[199] Там же. Т. 15. С. 109.
[200] Там же. Т. 1. С. 121.
[201] Там же. Т. 9. С. 186.

рода малаек, что звучит в унисон с художественными текстами Каразина: «Как только усаживались, *малайка* подавал кальян, и сейчас же ставился поднос с дастарханом…»[202]; «Предполагали, что нам на обед *малайка*… приготовит шурпу 〈…〉 *Малайка* принес великолепный куриный суп, который молодая дама разливала в тарелки, а *малайка* разносил блюдо со слоеными пирожками 〈…〉 "Где вы нашли такого замечательного повара?" – "Повар я сам, – ответил он, – только *малайка* смотрел, чтобы кушанья… не переварились…"»[203] и др.

Таким образом, малайка – мальчик-слуга, из туземного населения, прислуживавший русским господам.

* * *

По тому, насколько часто встречается в нарративе Каразина такая гастрономическая деталь, как кунжутное масло, можно делать вывод об удивлении писателя, или его этнографической находке. Если в XX в., в пору советского быта, основополагающим продуктом среднеазиатской кухни было хлопковое масло, то, к удивлению многих читателей и опрошенных информантов, а также азиатских экскурсоводов, считающих хлопковое масло национальным «вечным» продуктом, в XIX в. хлопкового масла просто не существовало. Об этом пишет современный исследователь: «Среди местного населения в годы советской власти укоренилось твердое убеждение, что хлопковое масло исстари употреблялось их предками для приготовления плова и других блюд национальной кухни. Однако исторические документы убедительно свидетельствуют о том, что жители Средней Азии издавна и практически до конца XIX века пользовались либо кунжутным (кунжут мой), либо льняным (зигир мой) маслами. Извлекаемое же вручную из семян хлопчатника незначительное количество масла шло исключительно на технические нужды и вовсе не употреблялось в пищу. По существу, использование его как пищевого продукта началось в Туркестанском крае лишь на рубеже XIX и XX столетий 〈…〉 В 1905 году туркестанские власти пригласили в Среднюю Азию талантливого инженера-технолога В.Г. Гофмейстера и поручили ему изучить постановку хлопково-маслобойного дела в крае»[204].

Писатель-этнограф, Каразин был немало удивлен экзотическому продукту, констатируя, что кунжутное масло – «космогония» среднеазиатской кухни: в двадцати томах его прозы кунжутное масло упомянуто несколько десятков раз (или в каждом произведении непременно). В рассказе Каразина «Ургут», посвященном сражению за небольшое поселение под Самаркандом, туземцы насмерть защищали землю своих предков, а русские солдаты, в основном привыкшие к легкой победе на равнинных землях, где местное население просто разбегалось от страха, здесь, в горном селении, неожиданно встретили открытое противостояние и ожесточились не на шутку. Ургут был

---

[202] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 276.
[203] Там же. С. 289.
[204] *Назарьян Р.Г.* Самаркандская старина: Документальные очерки: Кн. 1. СПб., 2010. С. 48–49.

взят, солдаты начали мародерствовать: «Нашли чан с кунжутным маслом, туда лезут с ногами, чтобы несколько размякли заскорузлые от солнца и пыли сапоги»[205]. Такая же картина – результат захвата туземного поселения – нарисована Каразиным в «Зарабулакских высотах»: «Весь дворик мельницы был в ужаснейшем беспорядке: дверки в сакле были выбиты, разная домашняя утварь разбросана по всему двору, на самой середине лежал на боку разбитый кувшин с кунжутным маслом, ведра в четыре вместительности; темно-зеленая лужа масла распространяла свой характерный запах…»[206].

* * *

В XIX в., в пору освоения среднеазиатского Востока русскими колонизаторами, пришельцев удивило искусство танцоров-*бачей* – так называли мальчиков-подростков, гибких и красивых, выступавших в чайхане, своеобразном туземном мужском клубе. Их учителем часто был хозяин чайханы. Институт бачей объясним отсутствием *открытой* жизни женщин на Востоке (в Самарканде, Бухаре, Хиве и др. местах): их лиц в повседневности просто не существовало, они были скрыты густой сеткой – чачваном, с накинутой на голову паранджой. Обученные танцоры исполняли на сцене роль женщины: под тюбетейку, повязанную косынку им прикрепляли длинные косички – тем самым они приобретали вид гурий. Юный танцор, ежедневно видя восхищение своей персоной, искренне верил в свою неотразимость и соответственно вел себя как принц, принимая за должное многочисленные подарки и знаки внимания. Востоковед, генерал Н.С. Лыкошин, сформулировал предписания для русских, приезжающих в Туркестан, предупреждая их о возможности встретиться с пороком (имея в виду танцы бачей). Не прошел мимо такого яркого действа и Каразин, а возможно, одним из первых русских описал его. Многократно представленное Каразиным выступление бачей играет роль этнографической детали в описании чужеземного быта и культуры. См., например, рассказ «Докторша»: «Богатые туземцы устраивали нашим офицерам вечера, тамашу[207] с местною музыкою, дастарханом, фокусниками и плясками батчей»[208]; роман «Наль»: «За стенами высокой сакли незримо захлопали, в такт плясунам, должно быть, несколько десятков мозолистых рук… люди Ибрагим-бая, разметая метлами значительное пространство перед ставкою, стали расстилать особенные ковры для пляски батчей и других представителей в честь “дорогих гостей” 〈…〉 Там мигали огоньки фонарей, и копошилось несколько фигур, шелестя шелковыми тканями своих костюмов; оттуда сильно пахло мускусом и другими пряными ароматами Востока. Это была устроена уборная для батчей и труппы актеров 〈…〉 Показалась высокая фигура с вымазанным сажею лицом; эта фигура держала на руках, словно куклу,

---

205 *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 108.
206 Там же. С. 66–67.
207 Тамаша – зрелище, развлекательный вечер.
208 *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 75.

мальчика лет двенадцати, одетого по-дамски, с массою мелких косичек, украшенных бусами и побрякушками, выбивающимися пестрою бахромою из-под ярко вышитой золотом, островерхой шапочки. При появлении батчи музыканты грянули оглушительную дробь… Машкарабаз[209] три раза поднял мальчика высоко над головою и торжественно опустил его как раз на середину ковра… батча ленивым движением рук оправил складки своей одежды, перегнулся тонким, худым корпусом назад, выпрямился снова и медленно, едва передвигая босые ноги, стал описывать по ковру первый круг своей пляски»[210].

Каразин по крупицам собирал среди местного населения детали, свидетельствующие о внутренней, туземной, рецепции этого явления. Вероятно, писатель не разделял того категоричного суждения представителей русской администрации (видящих в танцах бачей гомоэротическую подоплеку), которое было сведено в публикации Н.С. Лыкошина к призыву – «Долой бачей»[211]. Важно отметить, это редкий случай: Каразин выпадает из общего хора хулителей искусства бачей. Так, в повести «Тьма непроглядная» старая женщина рассуждает по поводу заболевшего малыша, оказавшегося на грани жизни и смерти: «Вот Бог наметил к себе твоего Шарипку, – кто знает, зачем он ему понадобился? Может быть, в батчи к самому Магомету, великому пророку… Какая слава, какая честь мальчику предназначалась!.. А вот пришли неверные люди, заколдовали и отбили у Бога ⟨…⟩ Да не плачь, глупая… я завтра сама схожу к мулле, – я скажу ему, чтобы он попросил Бога не трогать твоего мальчика, чтобы Аллах выбрал себе другого… Вот, пускай у соседа Дауда взял бы ребеночка. У Даудки ведь семь человек мальчиков, куда ему столько!..»[212]; в романе «С севера на юг»: «Зашел тюркмен один в лавку, увидел ходжу, трепанул его легонько по плечу. – Старая лисица, здорово! Чего сюда забрался? А, и батча, сынишка твой, здесь! Ишь, какой красивый, точно девка! Ты бы ему косы велел носить! – заговорил тюркмен и Балту-нияза за щеку ущипнул»[213] – если бы в сознании туземцев роль бачи была порочной, вряд ли позволил бы сосед соседу сказать подобное о его ребенке.

Местная власть, которой было выгодно мирное сосуществование с русскими, потчевала непрошеных гостей традиционным развлечением – тамашой (см. рассказ «Джигитская честь»: «Пиры устраивались почетным путешественникам на славу, "тамаши" с пением и танцами батчей, игры машкарабазов, скачки конные, халаты подносили дорогие…»)[214].

Танцоры-бачи – непременный атрибут мечты восточного разлива о жизни сибарита; см. рассказ «Дауд – караван-баш»: «К ночи отведут тебя в саклю

---

[209] Машкарабаз – скоморох (в современном произношении – масхарабоз).
[210] Там же. Т. 5. С. 35–37.
[211] *Лыкошин Н.С.* Полжизни в Туркестане: Очерки быта туземного населения. Петроград, 1916. С. 358–359.
[212] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 37–38.
[213] Там же. Т. 8. С. 442.
[214] Там же. Т. 9. С. 191.

ковровую, духами накуренную, кальян подадут; батчи придут плясать и петь песни, ханым чудная с черными глазами, как котенок, подсядет, начнет ластить-ся…»[215].

Повесть-сказка Каразина «Атлар» звучит как «реабилитация» института бачей – явления, с точки зрения пришлых, порочного. Замысел повести стоит в оппозиции к лыкошинскому призыву «Долой бачей». В основе сюжета каразинской повести – судьба бачи, с раннего детства до глубокой старости. Биография юного танцора, благодаря красоте и таланту дослужившегося до должности наставника во дворце Хивы, напоминает судьбу праведника, или «очарованного странника» по-среднеазиатски. Это каразинское слово в защиту бачей, его оппонирование той мифологии, сопряженной с пороком, которая сложилась в повседневности и дожила до наших дней.

Не менее частой фигурой среднеазиатского ландшафта в прозе Каразина предстает дивона, или дервиш. Имамы и дервиши (духовное лицо и божий странник) в качестве примет ориентализма прочно вошли в русскую литературу в 1860–1880-х годах. Н.С. Лесков, мастер каламбуров, не преминул пошутить, воспользовавшись языковым приемом диссимиляции: «И мамы, и дербыши», – не раз повторяет Иван Флягин, очарованный странник Лескова, пересказывая слушателям свои впечатления о татарской степи. В прозе Каразина образ дервиша вписан в ту матрицу, которая стала популярна после публикации «Путешествия по Средней Азии» Арминия Вамбери, – не очень честный, загадочный, себе на уме, даже опасный субъект. Дервиши, дивона, кочуют по всем произведениям Каразина. Особо красочно они представлены в романе «Погоня за наживой», где восприятие Каразиным дервиша прозрачное и настороженное – типичный взгляд ориенталиста. В романе «Наль» тема дервиша продолжена, но появляются новые ноты: дервиш, чтобы «разбудить» соплеменников, вывести их из «спячки», наставить на путь истинный, как он его понимает, как диктуют его убеждения, жертвует своей жизнью. В этой стати дервиша главные характеристики – не его внешний облик – неопрятный и отталкивающий, а его страстотерпство: «На фронтоне мечети, ярко освещенная заревом огней, появилась странная человеческая фигура. Это был дивона, в ярких лохмотьях, весь обвешанный предметами своей профессии: выдолбленными тыквянками, связками амулетов и металлических побрякушек, ножами всех видов и размеров, – все это колыхалось, шелестело и дребезжало при каждом малейшем движении юродствующего фанатика. На его голове, поросшей густыми, черными, сбитыми колтуном волосами, торчала высокая коническая шапка, опушенная внизу бараньим мехом. Обнаженная, сухая, как у мумии, грудь носила следы глубоких порезов и увечий, наносимых в минуты религиозного вдохновения. Его лицо также было до ужаса изборождено шрамами. Глаза горели сумасшедшим, исступленным блеском. Левою рукою

[215] Там же. Т. 16. С. 19.

он держал посох, снабженный длинным, трехгранным острием; правая, вооруженная громадным бубном, потрясала его над головою фанатика. Показавшись на фронтоне, дивона неистово завопил, покрыв этим диким звуком все, что слышно было кругом, подпрыгнул кверху, завертелся, изобразил из себя нечто вроде громадного, пестрого волчка и вдруг ринулся с высоты вниз, глухо хлопнувшись о сухую, утрамбованную тысячами ног, глинистую почву 〈…〉 – Очистительную жертву принес! – прошептал Ибрагим-бай. – Святой! Святой! – послышался голос в толпе»[216].

В следующем фрагменте дервиш – подстрекатель к действию против неверных: «А на базаре и на перекрестках улиц бродили юродивые-дивоны в пестром тряпье и высоких конических шапках, заунывным голосом вопили строфы Корана, призывая правоверных к восстанию. Муллы в мечетях говорили то же, не так открыто, впрочем, как те, блаженные; но народ, наученный горьким опытом, слушал, не возражая, и угрюмо молчал, выжидая хода событий, более выясняющих волю премудрого Аллаха»[217].

В ряде других произведений Каразина дервиш изображается как типично ориенталистская деталь восточного быта – в романе «С севера на юг»: «Ругаются купцы, ругаются прохожие, ругается юродивый, “дивона”, за то, что мало дают ему за его присказки да пенье…»[218]; в рассказе «Юнуска-головорез»: «Говорили громко, нараспев, сильно жестикулируя и пронзительно вскрикивая по временам. Это были мнимые помешанные, юродивые (“дивона”), отрешившиеся от мирской жизни, предвещатели, – люди, пользующиеся большим авторитетом в полудиких народных массах, бродящие всю свою жизнь с одного места на другое, ярые фанатики сами по себе, публичные певцы и ораторы, рассеивающие фанатическое озлобление и ненависть ко всему не мусульманскому вообще и русскому в особенности»[219].

Уже в литературе, современной Каразину, стали появляться расхожие стереотипы туркестанского текста. Так, в лесковском «Очарованном страннике» (1873) Иван Северьянович Флягин рассказывает о татарской жизни в степи, используя такой набор культурных паттернов: «…там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы… хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы…»[220]; «там собралось много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей…»[221]. *Ших-зады и мало-зады* – так слышит «русское ухо» простого человека суффикс *-заде* – структурную часть имени ирано- и арабоязычных народов, означающую принадлежность к роду,

[216] Там же. Т. 5. С. 40.
[217] Там же. С. 87–88.
[218] Там же. Т. 8. С. 439.
[219] Там же. Т. 9. С. 122.
[220] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 2. С. 248.
[221] Там же. С. 267.

или сын такого-то; *и мамы* – производное от *имам* – мусульманский священник; дербышы – дервиши.

* * *

Каразин, в отличие от классических ориенталистов, в изображении населения Туркестана, их отношения к русским, стремится к объективности, воспроизводя ментальные конфликты в контексте колонизаторского процесса. Обратимся к фрагментам из произведений Каразина, которые показывают отношение туземных жителей к непрошеным гостям, – из романа «Наль»: «Ишь, какими волками глядят на нас! А там, при усиленном возбуждении парами ароматов Востока и прочего… чик – и готово!»[222]; «А тут уже сидели все важные лица города, молчаливо покачивая громадными чалмами, равнодушно, даже апатично глядя и на русских гостей, и на угощение»[223]; «Народ стоял сплошною стеною, угрюмо смотрел на русских и не двигался с места 〈…〉 – Баловать их не следует! – заметил Шолобов, – расчистить дорогу! – обратился он к подоспевшим джигитам»[224]; «На плоской крыше, свесив босые ноги, сидел седой, как лунь, старик, в громадной светло-зеленой чалме. Он неистово размахивал руками и охрипшим от напряжения голосом кричал что-то, обращаясь к нашим 〈…〉 – Он говорит… Он просто ругается… называет нас, конечно, проклятыми и грозит, что святой Ишан, наверное, разобьет нас параличом за то, что мы идем в его владения!»; из романа «Двуногий волк»: «За нами Аллах, за ними шайтан! – произнес старик, – Аллах сильнее шайтана…»[225]; из рассказа «Ургут»: «В самом Самарканде жители относились к нам чрезвычайно дружелюбно. Мы еще и не подозревали, до какой степени притворна эта миролюбивость»[226]; из рассказа «Старый Кашкара»: «Кажется, все шло хорошо; русские сидели себе спокойно в своем Яныкургане, они нас не трогали. Мы их тоже. Что же они теперь копошатся? Куда идут они? Что им нужно? Неужели они хотят весь свет забрать себе?! Экие ненасытные!..»[227].

Каразин воспроизводит в своей прозе и мифологию среднеазиатской повседневности, с ее фантасмагорическими интенциями, гипертрофирующими образ русского пришельца, т.е. врага, который рождается в соответствии с общефольклорным механизмом конструирования отрицательных персонажей. Дьявол, шайтан, нечисть – таковы модификации врага в устных нарративах туземцев, заимствованных Каразиным из фольклорной действительности и помещенных в литературное произведение, в частности, в роман «На далеких окраинах»: «Другой раз Юсуп в большом обществе… рассказывал про русских такие небылицы и так красноречиво описывал разные нелепости их

[222] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 19.
[223] Там же. С. 119.
[224] Там же. С. 21, 22.
[225] Там же. Т. 14. С. 97.
[226] Там же. Т. 9. С. 80.
[227] Там же. С. 168.

обрядов и обычаев, что даже сам увлекся своею бранью, ругался напропалую, подбирал для “белых рубах” самые обидные сравнения и, наконец, пустил в Батогова дынною коркою…»[228].

Наблюдения каразинского рассказчика подтверждаются словами этнографа Наливкина: «Когда наши войска приближались к Чимкенту и Ташкенту, среди здешних туземцев ходили, как им казалось тогда, достоверные, слухи о том, что русские не похожи на обыкновенных людей; что у них лишь по одному глазу, помещающемуся посередине лба; что у них такие же хвосты, как у собак; что они необычайно свирепы, кровожадны и употребляют в пищу человеческое мясо»[229] – таков, в свою очередь, один из оксиденталистских мифов. В одном туземном нарративе из романа «На далеких окраинах» враг метаморфичен: сначала рассказчику почудились в увиденных фигурах звери, потом они вдруг оказались «бабами», а в итоге воронами, разрывающими на части падаль. «Вот какая дьявольская сторона стала! 〈…〉 Все от русских…»[230].

Каразин неоднократно описывает местную особенность – кинуть камнем, исподтишка, во врага, в непрошеного гостя, каковыми воспринимались в Туркестане русские. См. рассказ «Ак-Томак»: «Я… чуть не вылетел из седла, так неожиданно шарахнулся мой Орлик. Большой камень, видимо, направленный в меня, с глухим стуком ударился об стену, отскочил и покатился вниз, под гору, разбрасывая жидкую грязь по дороге»[231].

Отчасти неприязнь была обоюдной: многие русские персонажи Каразина называют местных жителей *дикарями*, в этом – неблаговидное проявление ориентализма. По прочтении каразинской художественной прозы и публицистики бросается в глаза разность авторской позиции. В публицистике, в очерковых текстах Каразин категоричен: Восток – дик. В художественных текстах, написанных на основе очерковых, Каразин высказывается иначе: появляются остранение (с критическими нотами в адрес той стороны, которую он, Каразин, представляет) и отстраненность (желание встать на сторону туземца).

Однажды Каразин попал в ситуацию: путешествуя, обратился к местным жителям с просьбой дать воды – в ответ от сидящих на ступенях медресе стариков не получил никакого ответа, лишь презрительные взгляды – и он приходит к умозаключению: «Вот они, враги, с которыми нам будет много возни, много борьбы, несравненно более тяжелой, чем борьба со всеми тюркменскими родами этого берега. Это враг внутренний, против которого наши скорострельные пушки и берданки недействительны – тут нужны иные силы, иное оружие»[232].

Полноценной иллюстрацией классического ориентализма выглядит следующий фрагмент из очерка о выставке В.В. Верещагина (современника

[228] Там же. Т. 1. С. 175.
[229] *Наливкин В.П.* Туземцы раньше и теперь: Этнографические очерки о тюрко-монгольском населении Туркестанского края. 2-е изд. М., 2012. С. 62.
[230] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 203.
[231] Там же. Т. 6. С. 100.
[232] *Каразин Н.Н.* В низовьях Аму: Путевые очерки // Вестник Европы. 1875. Кн. 3. С. 223.

Каразина по хронотопу – во всех смыслах): «Выставка верещагинских картин имела двойной интерес: художественный и этнографический; длинный ряд мастерских рисунков, эскизов, картин… уносил зрителя в другую жизнь, на далекий, фантастический восток, со всей его ленью, со всеми его кровожадными инстинктами, живописными лохмотьями и религиозным фанатизмом»[233]. Классический ориентализм – это пренебрежительное отношение (в палитре – от очарования до презрения) Запада к Востоку, но это вовсе не диалог: «глубокое неравенство между сторонами было главным принципом любых отношений между имперскими учеными и "просвещенными туземцами"»[234].

Русский дворянин, офицер, участник туркестанских походов, отмеченный наградами за храбрость, Каразин, тем не менее, в литературном творчестве не совсем соответствует своей миссии классического колонизатора. В отдельных фрагментах художественного повествования он критикует жестокость колонизаторов, становится на сторону туземцев – народов, ставших колонизируемым объектом. Каразинские персонажи (как и сам Каразин), побывав однажды в Туркестане (как по принуждению, так и добровольно), стремятся вернуться в этой край (мотивы возвращения разные: кто за наживой, кто – изучать, а кто и будучи очарованным).

«И это цивилизаторы?» – восклицает персонаж романа «Погоня за наживой», имея в виду своих соотечественников. Щедринская интенция была подхвачена его современниками – критиками, журналистами[235], а также писателями (см., например, рассказ Н.С. Лескова «Путешествие с нигилистом»), среди прочих и Каразиным.

Он опосредованно расставляет акценты на русской миссии в Туркестан: так, его персонаж из романа «На далеких окраинах», русский офицер, в собрании коллег произносит речь: «И вот мы видим новое явление, явление отрадное. Европа отплатила Азии прошлое зло, но отплатила как? Послав от себя поток умственных сил – взамен грубых физических 〈…〉 Наука, искусство, торговля 〈…〉 Все явилось к услугам народа дикого, не вышедшего еще из ребяческого состояния 〈…〉 Торговые обороты наши 〈…〉 разрослись до невероятных… колоссальных размеров; пределы областей, занятых победоносным оружием, стали тесны…»[236] – контекст этого спича содержит саркастические обертоны. Возможно, отчасти в этом причина забвения творчества Каразина в советском XX в.

Не все разделяли скептицизм и сарказм Салтыкова-Щедрина и Каразина. В дискурсе конца XIX и начала XX в. в основном господствовала благостная

---

[233] Нива. 1875. № 3. С. 42.
[234] *Тольц В*. Указ. соч. С. 40.
[235] См.: *П.И*. Ташкентец в науке // Дело. 1872. № 12. Современное обозрение. С. 1–25; *Никитин П*. Ташкентские рыцари (Повести и рассказы Н.Н. Каразина...) // Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 1–20.
[236] *Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 258–259.

точка зрения на туркестанскую миссию, дарующую счастье, и официозно-имперская – о прирастании Российского государства. «Цивилизация, быстро шагая вперед, разбудила дремавшую Русь. Поднялся северный колосс и, движимый мощной силой прогресса, быстро принялся догонять Европу… Скоро ему стало тесно в своих пределах и начал он свое поступательное движение на восток. Повалились чалмоносные головы хивинцев, как мячи, под ударами русских сабель, – и вскоре под державную руку Белого Царя покорены были громаднейшие территории степей; забелелся двуглавый орел над минаретами ханских ставок, а русские двигались себе все дальше и дальше в центральную Азию, сопровождая свой путь такими блестящими предприятиями, как взятие славного в летописях Востока города Самарканда, Хивинский поход, завоевание Ферганы и, наконец, занятие всей Арало-Каспийской котловины 〈…〉 Заблестел русский крест "на далеких окраинах", и церковный благовест возвестил, что эта вновь покоренная земля принадлежит *нам*»[237].

Именно свои окраины Российская империя считала главным достижением на исходе XIX в. Именно туда, на окраины империи, и устремились господа ташкентцы: «Молодым офицерам лучше начинать свою службу на окраинах, в истинно боевом кругу… чем коптеть здесь, в Петербурге…»[238], – нравоучает опытный русский офицер молодого. Туда же получает назначение Алексей Вронский из «Анны Карениной», туда же от личных и служебных невзгод устремляется каразинский Ледоколов из романа «Погоня за наживой», а также тысячи дельцов разной руки. По немногочисленным воспоминаниям времен туркестанского завоевания, отразившим не состояние туземной культуры и быта, а деятельность цивилизаторов, на месте царило «ташкентство». Так, Н.А. Варенцов, московский предприниматель рубежа XIX – XX вв., по прибытии в Туркестанский край обнаружил всеобщее разгильдяйство, казнокрадство и пьянство «ташкентцев»[239]. К хору критики в адрес «ташкентцев» присоединяется анонимный рецензент из журнала «Дело»: «Нам предстоит в настоящее время дилемма – или бросить все завоеванное нами, или для обеспечения, для прекращения набегов, грабежей и бунтов, для умиротворения страны, для обеспечения мирных и свободных путей торговли – покорить Хиву, Бухару, Кашгар, туркменов и т.д. Покорим мы их, побьем мы всю эту нехристь (на это силы у нас хватит), – а потом что?»[240].

В литературе манком для русских колонизаторов Туркестана становится *баранина* – благодаря Салтыкову-Щедрину, придавшему словам *баран* и *баранина* значение символа, влекущего цивилизаторов на Восток: «Помилуйте! да какой вам еды лучше! баранина есть, водка есть…», «Что вы! да разве вы не слышали, какая у них там баранина…», «А уж там-то, на месте-то какое житье! баранина, я вам скажу…», «Однако, я слышал, что баранину можно

[237] *Уралов Н.* Указ. соч. С. 4–5.
[238] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 72.
[239] См.: *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 289, 292, 294, 298, 301, 308.
[240] Дело. 1871. № 3. Современное обозрение. С. 114.

достать отличную…», «И! что вы! да там, говорят, такая баранина…», «Народ простой, непорченый-с. Опять, сказывают, что у них даже простая баранина от многих недугов исцеляет!», «Проповедовать – можно! Только вот сказывают, что они по постам баранину лопают, – ну, это истребимо с трудом! Одним словом, все заканчивают свои речи бараниной, все надеются на баранину, как на каменную гору». «Если эта баранина хоть в сотую долю так вкусна, как об ней говорят, то я уверен, что через полгода в стране не останется ни одного барана! Увы! такова судьба цивилизующего начала! Оно истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных – просвещение?»[241].

«Господа ташкентцы» публиковались с 1869 по 1873 г., роман Каразина «Погоня за наживой» – в 1873 г., тем очевиднее влияние Щедрина на Каразина: «Как приедешь, пиши, обо всем пиши – все, что как там есть, насчет жизненных удобств и прочее. Не может быть, в самом деле, чтобы там только одна баранина была?»[242]. Так *баран* становился ассоциативным образом Туркестана, входя из публицистики в беллетристику. Пишет автор травелога конца XIX в.: «Внутренняя торговля… по преимуществу *меновая*, она имеет мерилом своей ценности *трехлетнего* барана, т.е. животного, достигшего уже такого возраста, после которого цена его не быстро увеличивается»[243].

В романе «С севера на юг», публиковавшемся в 1874–1875 гг., Каразин превращает этот манок – барана – в детективный сюжет. Новые русские переселенцы соблазнились чужим – крадут у киргизов барана. «Давно уже наши скоромятины не пробовали, глаза разгорелись, зубы просто защелкали»[244]. Решив, что у киргизов баранов не счесть, «а в писании тоже сказано: “поделись с неимущим от избытков своих, воздастся за то тебе сторицею. Ему же, киргизу, значит, выйдет из того выгода”. Сцапали они тогда барашка одного, порядочного таки, голову отмахнули, чтобы не орал, да в лодку, рогожею покрыли и прочь поскорее поплыли»[245]. И в первый, и во второй раз все сошло с рук. «И завелось у наших с той поры такое положение. В неделю чтобы два раза беспременно. А дни чтобы менять, потому орда приноровиться может»[246]. Однако киргизы выследили русских и собрались судить их по своим законам и традициям, – так русские переселенцы постепенно возвращались в реальность. Хотя манок о Туркестане – земле обетованной – притягивал в тот край еще не одно поколение «господ ташкентцев»: «Делов-то в этой стороне много, хороших делов; коли человек с головой, он в три года

[241] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. Т. 10. С. 45–47.
[242] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 15.
[243] *Уралов Н.* Указ. соч. С. 39.
[244] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 280.
[245] Там же. С. 280–281.
[246] Там же. С. 285.

силу-капитал достать может. А первое дело, что никто тебе не указчик – к примеру, по купечеству: поехал ты это в степь, угнал верст за двести; ездишь по аулам один, птица вольная. "Косоглазые" тебя это принимают с почетом, потому ты гость, "кунак", по-ихнему купец; мяса-то это нажрешься у них, баранины, кумысу налакаешься. А тут не зевай, брат, дела обделывай… Где за рубль, где за полтора, а где и в промен на что, почитай задаром, баранов скупаешь… Наберешь десяток-другой в город, хошь примерно в тот же Казалинск гонишь, к базарному дню. Что купил за рубль, получай пятерку, за что платок какой кумачный в шесть гривен али сережки в пятнадцать копеек – получай в десять раз супротив плаченого…»[247] («С севера на юг»).

Анонимный рецензент книги Л.Ф. Костенко «Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности» (1871) не без сарказма представляет публике ее автора и ему подобных, «которых года два тому назад недурно изобразил один из наших беллетристов и которые с криком "жрать" стремятся в Среднюю Азию на тамошнюю баранину ⟨…⟩ Капитан Костенко занял целых двадцать страниц своей книги… почтовыми дорожниками, подробным указанием путей, ведущих в обетованную землю баранины»[248].

* * *

Проза Каразина насыщена реальными историческими персонажами, среди них первостепенное место занимают туркестанские предприниматели, это те самые «господа ташкентцы», разбогатевшие сами и внесшие немалый вклад в процветание края.

Один из них Первушин, упоминаемый в двух романах – «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой». «В 1866 году отпрыск солидной московской купеческой семьи – в то время совсем молодой Иван Иванович Первушин – получил от отца доверенность на ведение дел в Туркестанском крае. Он начал с устройства мануфактурных магазинов в Ташкенте, запустил здесь шелкомотальную и табачную фабрики, построил первый винзавод. Для обеспечения производства сырьем фирма Первушиных в окрестностях города… развела собственные табачные, виноградные и хлопковые плантации. И.И. Первушин организовал также большие закупки хлеба в России и регулярное караванное сообщение Оренбург – Ташкент. Уже в первый год ташкентская фирма "И.А. Первушин и сыновья" вложила в торговлю и промышленность Туркестана более миллиона золотых рублей. Доверие к торговому дому Первушиных было столь велико, что в первые годы существования Туркестанского края, когда еще здесь не было банков и почтово-телеграфных учреждений, именно эта фирма выполняла многие кредитные и банковские операции со средствами частных лиц. И.И. Первушину принадлежит также честь называться первым спонсором разведки и эксплуатации полезных ископаемых

[247] Там же. Т. 7. С. 92–93.
[248] Дело. 1871. № 3. Современное обозрение. С. 111.

Туркестана 〈…〉 Большие прибыли позволили Первушиным вкладывать средства и в строительство общественных сооружений. До наших дней сохранилось историческое здание военного госпиталя… Нынешний кафедральный собор в Ташкенте ведет свое начало от госпитальной церкви св. Пантелеймона, которая строилась тоже на средства фирмы Первушиных»[249].

Имя предпринимателя до сих пор живет в Ташкенте в народной городской топонимике: название одного из переулков звучит как *Переушка* – это модифицированная *Первушка,* или Первушинский переулок, называвшийся так прежде в честь Ивана Первушина.

Дмитрий Николаевич Захо – ташкентский купец первой гильдии, торговал бакалеей и мануфактурой, готовым платьем[250]. «Обрусевший грек, Димитрий Николаевич Захо появился в Ташкенте в 1868 году и в том же году открыл маленькую табачную лавочку, в которой было товару не более как рублей на двести, в следующем году в компании с Александром Федоровичем Розенфельдом открыл беспроигрышную лотерею с панорамой с платой по 50 коп. с человека. Дела лотереи были настолько удачны, любителей картинок и выигрышей карандашей, перьев, ручек и т.д. было так много, что в следующем году Розенфельд открывает кафе-ресторан, а Захо выписывает канцелярские принадлежности и берет на них подряды на поставку в разных казенных учреждениях. Проходит еще год, Розенфельд – владетель галантерейного магазина, а Захо с письменных принадлежностей переходит на мануфактуру и также на галантерею. Дальше браться за те или другие предприятия и наживать деньги было уже легко, ибо цены на все привозимые из Европейской России товары были невероятные»[251].

Назначение этого внесюжетного персонажа – придать повествованию черты историзма и документальности, так как личность ташкентского предпринимателя Захо была у всех на устах, и не только в те «туркестанские» времена. Эхо фамилии Захо докатилось до 60–70-х годов XX в.: в Ташкенте стояли здания гостиниц, построенные Захо, его имя упоминалось в устной речи русского Ташкента. Здания, принадлежавшие Захо, были разрушены на волне модернизации города после землетрясения 1966 г. Известность личности Захо в Туркестанском крае подтверждается современниками Каразина, в частности, в воспоминаниях Н.А. Варенцова: «Фамилия Захо мне хорошо была известна как крупного купца, владетеля универсального магазина и большой недвижимости в Ташкенте.

Д.Н. Захо на меня произвел приятное впечатление: с длинной красивой бородой, черными глазами, хотя немного лукавыми, но добрыми, он был немного выше среднего роста и родом грек. Цель его приезда была познакомиться

---

[249] *Голендер Б.А.* Коммерсанты старого Туркестана // Голендер Б.А. Мои господа ташкентцы: История города в биографиях его знаменитых граждан. Ташкент, 2007. С. 121.
[250] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 792.
[251] *Добросмыслов А.И.* Указ. соч. С. 383.

со мной, чтобы в будущем получить через меня кредит в Торговом банке; об этом я догадался потом, гораздо позже.

Собираясь уезжать и прощаясь, Дмитрий Николаевич взял с меня слово, что я обязательно приеду к нему, и прибавил: "У меня бывает почти весь город, можете встретить всех нужных для вас лиц; проведете время, я надеюсь, скучать не будете, после обеда у меня всегда карты, если не любите карты, найдете интересное общество"»[252].

Дмитрий Захо много жертвовал городу Ташкенту: на его деньги была построена колокольня кафедрального собора[253]. Без упоминания имени Захо русский Туркестан в каразинском исполнении не был бы полноценным.

Михаил Иванович Хмуров – персонаж Каразина в романе «На далеких окраинах», у него есть реальный прототип – М.А. Хлудов. В других произведениях Каразина он предстает как имя собирательное, родовое – уже под реальным именем – Хлудова. Кульминацией сюжета о Хлудове-Хмурове как в реальной жизни, так в повествовании Каразина была удивлявшая всех его страсть к хищникам, к умению управлять ими. По воспоминаниям московского предпринимателя Н.А. Варенцова, жизнь многочисленной династии купцов Хлудовых была сдобрена байками, криминальными историями, Хлудовы были притчей во языцех. «Из-за любви к сильным ощущениям он (Хлудов. – *Э.Ш.*) имел ручных тигров, свободно разгуливающих по его громадному особняку, наводя на посещающих его ужас. Бывали случаи, когда они перескакивали через каменный забор хлудовского сада и попадали в соседний сад дома Борисовского, наводя на гуляющих там детей и взрослых панику. В доме Хлудовых случился пожар, приехавшие пожарные быстро вбежали в дом и были встречены двумя тиграми, обратившими их в бегство. Как-то по какому-то делу к М.А. Хлудову приехал Н.А. Найденов, лакей проводил его в кабинет хозяина, тот закурил папиросу, спокойно ожидая прихода Хлудова. Дверь распахивается – и вместо хозяина является тигр, спокойно направляющийся к нему; нужно представить себе, что пережил в эти минуты Найденов, не отличавшийся большой храбростью; дома говорили, что ему после этого посещения пришлось сделать ванну»[254]. В «Оргии у Хмурова» – главе романа «На далеких окраинах» – описано подобное же приключение: в зал, полный гостей, ввели тигра.

Жалоба брандмайора и Найденова генерал-губернатору вынудила Хлудова избавиться от тигров: один был сдан в Зоологический сад, второй пристрелен хозяином – поговаривали, что ночью Хлудов проснулся, когда почувствовал, что тигр лижет его расцарапанную руку.

Знаменитый актер Л.М. Леонидов, вспоминая свое детство, рассказывает о клоуне Танти, выступавшем со своей знаменитой дрессированной свиньей.

---

[252] *Варенцов Н.А*. Указ. соч. С. 299.

[253] См.: *Абдуллаев Е.* История Ташкентского Свято-Успенского кафедрального собора // Восток свыше. Ташкент, 2011. Вып. 33–34. С. 24.

[254] *Варенцов Н.А*. Указ. соч. С. 209–210.

Однажды Танти продал свинью купцу Хлудову. По такому случаю Хлудов собрал друзей на ужин, главным сюрпризом которого была зажаренная свинья Танти. Это событие впоследствии стало московским анекдотом, так как Танти обманул Хлудова – это была другая свинья[255].

В дневнике Л.Н. Толстого есть запись: «Я как во сне, как Хлудова, когда знаю, что ходит тигр и вот, вот…»[256]. Толстой имел в виду вторую жену Хлудова, которая «польстилась на его богатство, но жизнь у нее была не из легких: вечная боязнь за свою жизнь не только от тигра, которого, как она сама говорила, муж клал зачастую в постель, укладывая тигра между собой и женой, но от постоянного ожидания всякой выходки пьяного и бешеного мужа…»[257].

Помимо тигра Хлудов держал в доме волка, медведя. Этому любителю диких животных приписывали гипнотические способности усмирять хищников, которые распространялись и на людей: однажды забастовавшие рабочие требовали к себе руководство компании, все попрятались, вышел к рабочим Хлудов, и через минуты между ним и забастовщиками наладились мирные отношения, хозяин повел рабочих в ближайшее питейное заведение[258].

Упомянут легендарный Хлудов и в романе Каразина «Голос крови» – как честный, справедливый, способный разделить чужую беду – и тоже под фамилией Хмуров, в своей аутентичной роли – главы предприятия «Хмуров и компания». Фигура реального прототипа – Хлудова – настолько мифологизировалась в повседневности конца XIX в., став обобщенной и вобравшей в себя черты и отца Хлудова, Алексея Ивановича, и сына, Михаила Алексеевича, и его братьев, в частности, Василия Алексеевича, что в каразинской прозе, по законам фольклорной действительности, с беспечностью стали варьировать детали в именовании персонажа: разные отчества в предыдущем фрагменте (то *Михаил Алексеевич,* то *Михайла Васильевич*). С одной стороны, это могло быть редакторской небрежностью, с другой – эти детали не столь важны, важна сама личность, ее типические черты, узнаваемые читателем.

Легендарный купец Хлудов упоминается в других произведениях Каразина под реальным именем. Так, в рассказе «Джигитская честь», описывая амуницию молодого джигита в превосходных тонах, рассказчик сообщает: «…через плечо, на тонком ремешке, шашка, не простая – здешняя, а черкесская, вся в серебре с чернью, и бирюзою ободки на ножнах обозначены. Подарил ему эту шашку купец Хлудов, московский, с которым Хафиз раза два на охоту в горы ездил, да раз от барантачей вдвоем от десятерых отбивались и отбились»[259]. В рассказе «Три дня в мазарке» на станции, среди

---

[255] См.: *Леонидов Л.М.* Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. М., 1960. С. 45.
[256] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 49. С. 93.
[257] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 215.
[258] Там же. С. 213.
[259] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 182–183.

постояльцев, упомянуты приказчики Хлудова: «Орда бунтует! – пояснил другой. – Мы вот приказчики, у Хлудова, Михайлы Иваныча, таперича нам дозарезу надыть к шестому числу на место поспеть…»[260].

Феномен Хлудов/Хмуров для своего времени был настолько очевиден и прозрачен, что в текстах Каразина происходит аберрация: называя по фамилии купца, вспоминая его эпатажные и благородные поступки, писатель жонглирует фамилиями, реальной и вымышленной, – не суть важно. Так, в романе «Погоня за наживой», желая показать смену генерации в туркестанском проекте, выход на сцену новых купцов, с более откровенными стяжательскими и меркантильными интенциями, Каразин неоднократно отсылает читателя к прошедшим временам – эпохе первых туркестанских побед, говоря о людях, что они «из старых, черняевских», служивших в «черняевских отрядах»[261], и, конечно же, поминая времена Хлудова/Хмурова, говоря о том, что эпоха его ушла: «Вы у Хмурова прежде служили…»[262], «…крупная фирма Хмурова (она рушилась еще до моего приезда)…»[263]; рассуждения нувориша новой, послехмуровской волны: «Вот Хмуров, например, человек уже совершенно пустейший: авантюрист и больше ничего, а каково пошел, каково! Европейская известность. От иностранных держав орденские награды получал. Портрет вон во "Всемирной Иллюстрации" напечатан был: сидит это в русском кафтане, тигр лежит у самых ног, значит, в полном повиновении»[264].

Мифологизация предпринимателя распространилась на локальное пространство его обитания: «Проехали улицы, выбрались из-под остатков триумфальной арки хмуровской архитектуры…». «Эка пройда, эка пройда! Кабы нашему такого! – говорили про него (авантюриста с криминальными историями. – *Э.Ш.*) приказчики распадающейся фирмы Хмурова»[265]. Михаил Алексеевич Хлудов «был субъект патологический: где бы ему ни приходилось жить, везде оставлял за собой ореол богатырчества, удивлявший всех. Несмотря на его безумные кутежи, безобразия, в нем проглядывало нечто, что увлекало людей, им интересовались, с любопытством старались разобраться в его личности; его беспредельная храбрость и непомерная физическая сила, которую он употреблял ради только своих личных переживаний, удивляли всех; поражало его магическое влияние на хищных зверей, подчинявшихся ему и дрожащих при одном его взгляде. Мне думается, – пишет Н.А. Варенцов – если бы его духовная жизнь была бы в сфере более высших переживаний и вожделений, из него мог бы получиться великий человек, но, к сожалению, все его духовные силы поглощались низменными чувственными желаниями, именно: пьянством и развратом. Михаил Алексеевич особенно

---

[260] Там же. С. 198.
[261] Там же. Т. 3. С. 248, 295; см. также с. 349.
[262] Там же. Т. 2. С. 59.
[263] Там же. Т. 3. С. 155.
[264] Там же. С. 164.
[265] Там же. С. 261, 344.

сделался известным в Средней Азии, где он был с войсками при завоевании ее; его помощь при снабжении армии продуктами, которое удавалось только благодаря его удальству, была ценима командным составом. Мне пришлось быть в Азии в 1891 году, много лет спустя после Хлудова, и разговоры о его приключениях и удальстве не прекращались, меня водили даже показывать тот дом, где он жил. Каразин в своем романе “На далеких окраинах”, описывая его, называл его Хмуровым»[266].

Как уже было сказано, эпатажным в семье Хлудовых был не один Михаил Алексеевич; собирательный образ Хлудова стал прототипом Хлынова в «Горячем сердце» А.Н. Островского и Ивана Федосеевича в «Чертогоне» Н.С. Лескова. Мемуарист М.К. Морозова вспоминает родственников своего мужа, матерью которого была В.А. Хлудова. «Я уже упоминала, что М.А. обладал исключительно живым, вернее бурным характером. Все проявления его характера были бурными, как гнев, так и веселость. Вообще Михаил Абрамович (так. – *Э.Ш.*) по складу своего характера и вкусам был похож на Хлудовых, семью своей матери. Хлудовы были известны в Москве как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди, их можно было всегда опасаться, как людей, которые не владели своими страстями»[267].

К Хлудовым часто обращались за помощью, среди прочих – Л.Н. Толстой. «Лев Николаевич иногда заходил к Варваре Алексеевне (Хлудовой. – *Э.Ш.*), и она всегда старалась помочь крупными суммами денег в тех делах, о которых он просил ее»[268].

Н.С. Лесков по настоянию Суворина переделывает «Чертогон», в частности, пишет своему издателю: «…переделал, как *хочется Вам*. Главное: картина хлудовского кутежа, который был *в прошлом году* и на нем Кокорев играл. Что живо прочтется. Сказано теперь толковее…»[269]. «Говоря о хлудовском кутеже, Лесков из ряда представителей московской купеческой семьи Хлудовых скорее всего имеет в виду миллионера, основателя нескольких хлопчатобумажных торговых фирм и собирателя древнерусских рукописей и книг А.И. Хлудова (1818–1882), который и является прототипом героя повести – Ильи Федосеевича»[270].

Не обходит вниманием эпатажную семью Хлудовых и В.А. Гиляровский: «В семидесятых и восьмидесятых годах (XIX в. – *Э.Ш.*) особенно славился “хлудовский стол”, где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды»[271]. Гиляровский создает образ семьи Хлудовых, опираясь на разные

---

[266] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 209.
[267] *Морозова М.К.* Мои воспоминания // Московский альбом: Воспоминания о Москве и москвичах XIX – XX веков. М., 1997. С. 199.
[268] Там же. С. 202.
[269] *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. / Под ред. В.Г. Базанова и др. М., 1957. Т. 6. С. 654.
[270] Там же. С. 654.
[271] *Гиляровский В.А.* Избранное: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 125.

источники: «так рассказывали о Хлудове очевидцы»[272] или «мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену»[273], при этом он приводит и документальные свидетельства: «“Развлечение”, модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова»[274]. Гиляровский собирает информацию о семье Хлудовых, подает ее как факт: «…старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукулловскими ужинами в Купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб 〈...〉 Когда карета Хлудова в девять часов вечера подъехала, как обычно, к клубу и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни»[275]. Про Хлудова-младшего Гиляровский пишет, что тот был «притчей во языцех»: «Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им, как собачонка. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла…»[276].

В ряду туркестанских купцов («Все эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компания…»[277]) стоит остановиться на личности Дмитрия Львовича Филатова. В прозе Каразина Филатов упоминается среди первых русских предпринимателей Туркестана. Тогда это была знаковая фигура, забытая в советское время, но ныне почитаемая в Узбекистане, в частности, в Самарканде: в центре города стоит отреставрированный «Дом Филатовых», где размещен Музей вин Средней Азии и дегустационный винный зал. Из повести Каразина «В камышах»: «Александр Вульфзон, сняв с себя сюртук, в одном жилете, разгружал ящики с портером, присланные ему от Филатова, из Ташкента…»[278]. По воспоминаниям Н.А. Варенцова, «Дмитрий Львович Филатов был маленького роста, с длинной бородой, сам себя называл – хитро улыбаясь – Черномором, тем намекая на составившуюся про него славу любимчика дам, но мне казалось, что он сам старался этим рекламировать себя среди любопытных ташкентских дам, любительниц экстравагантностей. Он жил открыто с одной красивой дамой, отбитой им у ее мужа Вараксина,

[272] Там же. С. 126.
[273] Там же. С. 127.
[274] Там же. С. 125.
[275] Там же. С. 125–126.
[276] Там же. С. 128.
[277] *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 155.
[278] Там же. Т. 13. С. 161.

что еще более утвердило за ним славу как любимчика дам. Д.Л. Филатов начал свою карьеру как и Д.Н. Захо, они были маркитантами при русских войсках, двигавшихся в Ташкент. Это общее дело связало их, и они остались на всю жизнь друзьями. При занятии Ташкента и дальнейшем завоевании Средней Азии Захо и Филатов все время работали вместе, к ним в это время деньги текли безостановочно: офицерство, получая большие оклады во время войны, швырялось деньгами на покупку дорогих вин, закусок, остальное проигрывало в карты. После окончания войны Д.Н. Захо поселился в Ташкенте, выстроил дом, завел торговлю, а Д.Л. Филатов поселился в Самарканде, накупил земель, развел виноградники и начал делать вино, славившееся как лучшее в Средней Азии»[279]. Филатов был первым и признанным виноделом Туркестана, удостоенным российских и зарубежных наград[280].

Таким образом, не только приметы ландшафта и быта, привычки местного населения и его языковые особенности, но и знаменитые персоны, жившие в определенную эпоху и оставившие в ней след, стали яркими приметами caразинского образа Туркестанского края, эпохи его первоначального освоения русскими колонизаторами.

---

[279] *Варенцов Н.А.* Указ. соч. С. 300–301.
[280] См.: *Назарьян Р.Г.* Указ. соч. С. 101–113.



ПРИМЕЧАНИЯ

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ

Роман «На далеких окраинах» впервые был напечатан в журнале «Дело» в 1872 г. в № 9 (с. 1–86), № 10 (с. 77–166), № 11 (с. 1–100). В том же журнале представлен разбор романа (см.: *Никитин Н*. Ташкентские рыцари. (На далеких окраинах. Роман Н. Каразина. Издание иллюстрированное. Погоня за наживой. Роман Н. Каразина) // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 1–33). Параллельно с публиковашимися частями романа «На далеких окраинах» литературный критик Z (В.П. Буренин) напечатал в газете «С.-Петербургские Ведомости» (1872, № 324, 352) в рубрике «Журналистика» резко отрицательный отзыв о романе – пристрастный, с переходом на личность Каразина.

В настоящей публикации роман воспроизведен по изданию: *Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905 (бесплатное приложение к журналу «Природа и люди»). Т. 1. Орфография и пунктуация приведены в соотвествие с современными нормами правописания.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. КАРАКУМЫ

[1] Курсив в романе Каразин применяет, вслед за Достоевским (роман «Преступление и наказание»), в эвфемистическом значении. Прежде, до Достоевского, такую функцию курсив не выполнял ни у одного русского писателя. Вместо табуированных самим персонажем слов и понятий герой использует эвфемизмы, не желая, даже наедине с собой, признаваться в преступлении. Традиция поэтики Достоевского ощутима и в других фрагментах поэтики Каразина. Так, в следующем отрывке из романа «На далеких окраинах» представлен внутренний монолог главного персонажа, беспощадно анализирующего свое моральное преступление: «А Батогов не дремал; он думал. Ему было о чем думать.

– Ну, случилось все так, как и случилось… Средства в руках… А чьи они? Надо было разузнать, все сообразить… Не все ведь убиты; один только, и то потому, что *уж очень барахтался*… (Батогов припомнил это выражение.) А жена, а немец-механик?.. скажешь, не знал?.. Нет, знал. Ты сам еще *тогда* сказал об этом… Где же они, эти жена и немец?.. В степи увезли, в неволю… Ну, а как их можно было опять оттуда вытянуть?.. Денег послать, сторговаться… Вся процедура подобных выкупов известна, она вовсе не замысловата; есть даже люди, что только занимаются этим посредничеством, и ты этих людей знавал. Твой же приятель Мурза-бай мог это для тебя устроить» (*Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 209).

[2] *Барантачи* – разбойники, грабители.

II. ПЕРЛОВИЧ У СЕБЯ НА ДАЧЕ

[1] *Спящий у пруда сарт…* – Сарты – оседлые жители Средней Азии (и узбеки, и таджики). О сартах см.: *Абашин С.* Возвращение сартов? Методология и идеология в постсоветских научных дискуссиях // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 252–278.

[2] *Иси* – ici: здесь, сюда (*фр.*).

[3] *Манифик* – magnifique: великолепно, прекрасно (*фр.*).

[4] *Кунган* – кувшин, сосуд (в современном написании и произношении – кумган), помимо утилитарного назначения, выполняет и ритуальное – для омовения перед молитвой: каждой молитве мусульманина должно предшествовать троекратное омовение в строгой последовательности – рук, полоскание рта, промывание носа, омовение лица, в конце – ног.

[5] *Первушин* Иван Иванович – представитель московской купеческой семьи, развернувший предпринимательскую деятельность в Ташкенте.

[6] *…вечером буду у Хмурова.* – У персонажа Каразина – Михаила Ивановича Хмурова – был реальный прототип – М.А. Хлудов. См. о Хлудове: Братья Хлудовы // Всемирная иллюстрация. 1870. № 72. С. 355.

[7] *…на своем приземистом клеппере.* – Клеппер – порода лошади.

[8] *…белая фуражка… красные кожаные шаровары…* – Военная форма российских солдат периода завоевания Средней Азии – белая рубаха (или китель), красные замшевые шаровары (чембары), белое кепи с полотняным назатыльником, спасающим шею от палящих лучей солнца (см. живописные полотна художников В.В. Верещагина и Н.Н. Каразина).

III. НА МИН-УРЮКЕ

[1] *…русский город.* – Часть города Ташкента, он же *европейский*, граничащий со *старым городом*, или *туземным*. «Русский город начал возникать почти тотчас же после занятия русскими войсками Ташкента. В августе 1865 года генерал Черняев, озабочиваясь размещением войск на зиму, приступил к постройке крепости и зимних помещений 〈…〉 Преемник Черняева генерал Романовский признал своевременным, с наступлением весны 1866 года, позаботиться о выборе места для будущего русского города. Выбор его остановился… на местности, бывшей тогда свободной от сартовских построек, на восточной стороне старого Ташкента, между Боз-су и Чаули 〈…〉 С приездом в конце 1867 г. первого генерал-губернатора фон Кауфмана явилась в Ташкент масса служилого люда, и русская часть города Ташкента стала расти быстро – в 1868 и 1869 г. было построено несколько казенных домов и до 500 частных домов. Быстрому росту в значительной степени содействовала также оказанная лицами военно-административного ведомства денежная помощь из местных сборов» (*Добросмыслов А.И.* Ташкент в прошлом и настоящем: Исторический очерк. Ташкент, 1912. С. 72–73). «В 1865 году генерал-майор Черняев с небольшим отрядом в семьсот штыков взял один из важнейших торговых городов Кокандского ханства – Ташкент. Менее чем за шесть лет на обширных пустырях, в окрестностях собственно туземного Ташкента, на берегах двух рек, обращенных в арыки, Салара и Бо-су, раскинулся громадный, совершенно русский город, не уступающий по своим размерам многим из наших губернских городов. Протянулись длинные широкие улицы, прекрасно шоссированные, украшенные густыми аллеями серебристых тополей, растущих не по дням, а по часам 〈…〉 Одним словом, большой красивый город

вырос словно из земли, на удивление нашим новым подданным» (*Каразин Н.Н.* Из туркестанской боевой жизни: Русская плотничья артель на переходе через пески Каракумы // Всемирная иллюстрация. 1872. № 159. С. 46).

[2]*...вылетел маленький камешек...* – Каразин неоднократно описывает эту местную особенность – исподтишка бросить камень во врага, непрошеного гостя, каковыми воспринимались в Туркестане русские.

[3] *...дорожный тарантас с фордеком.* – Экипаж с подъемным (складным) верхом.

[4] *Мин-Урюк* – правильно *минг* – тысяча, а топоним – *Минг-урюк.*

[5] *Захо* Дмитрий Николаевич – реальный исторический персонаж, ташкентский купец первой гильдии, торговал бакалеей и мануфактурой, готовым платьем.

[6] *Федоров* Георгий Павлович – тайный советник, почти сорок лет прослужил в Туркестане (1870–1910).

[7] *...ярко-красным орденским бантом...* – Бант из орденской ленты, сопровождавшей (с 1857 г.) орден Святого Станислава 3-й степени, который широко вручали за боевые заслуги, что породило ироничную чиновничью поговорку: «В Станиславе мало славы, моли Бога за матушку Анну».

[8] *...первушинского приготовления.* – См. примеч. 5 к гл. II.

[9] *Я, брат, не Боско...* – Имеется в виду популярный среди современников Каразина итальянский иллюзионист Боско Бартоломео (1793–1863), творивший «чудеса», наливая вино из пустоты. Ср. у А. Сухово-Кобылина в «Свадьбе Кречинского»: «Вот вам скажу, был здесь в Москве (*вздыхает*) профессор натуральной магии и египетских таинств г. Боско: из шляпы вино лил красное и белое (*всхлипывает*); канареек в пистолеты заряжал; из кулака букеты жертвовал, и всей публике, – ну, этакой теперь штуки, закладываю вам мою многогрешную душу, исполнить он не мог, и выходит он, Боско, против Михайла Васильича мальчишка и щенок» (*Сухово-Кобылин А.* Свадьба Кречинского: Комедия в 3 д. СПб.: Тип. Гл. штаба его импер. вел. по воен.-учеб. заведениям, 1856. С. 52).

[10] *...узнав джигита.* – В прозе Каразина слово «джигит» имеет значение, отличное от современного; это была специфическая прослойка туземцев, сотрудничавших с русскими колониальными властями. В романе «Наль» Каразин дает объяснение: «Джигиты – это очень характерное явление в Средней Азии. Это, на первый взгляд, просто “продажные шпаги”, которым положительно нечем заниматься в мирное время, как только воровством и разбоем. В военное время начинается их бенефис. С первого боевого выстрела все то, что уцелело на свободе и не сделалось добычею тюрьмы и палача, пристраивается около стороны, имеющей большие шансы на успех. Они служат побеждающим в высшей степени усердно и преданно, но эти два качества мгновенно испаряются, едва только победитель делается побежденным. Во всяком случае, джигиты – народ весьма полезный, подчас даже необходимый. Никто, как они, не сумеет сделать нужную, опасную разведку; никто, как они, не проникнет в самый стан врагов ради сбора сведений, рискуя головою, не только ради одной корысти, но и из молодечества, ради почетной выслуги. Они превосходные проводники, ибо до тонкости знают страну, все ходы и выходы; когда понадобится – переводчики; притом прекрасные лагерные слуги. Джигит – и конюх, и оруженосец, и повар, и маркитант... Он носитель комфорта. Джигит умеет очень даже быстро стать необходимостью; но его надо держать в руках – и на рыцарскую преданность его, как бы она ярко ни высказывалась, полагаться не особенно» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 16–17).

[11] *Якши* – хорошо (*тюрк.*).

[12] *...сидел на корточках...* – Излюбленная специфическая поза туземцев, подмеченная Каразиным.

IV. ОРГИЯ У ХМУРОВА

[1] *Ручной тигр «Маша»...* – Это был «оригинальный и почтенный спутник Михаила Александровича», «умное и красивое четвероногое животное», которое «редко покидает своего хозяина» (Братья Хлудовы // Всемирная иллюстрация. 1870. № 72. С. 355).

[2] А.С. Пушкин. «Заздравный кубок».

[3] Переиначенные строки того же стихотворения (см. примеч. 2).

[4] *Малайка* (или *малай*) – слово из обиходной лексики русских Средней Азии. См. примеч. Каразина к роману «С севера на юг»: «Кличка всякого работника-туземца» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 47).

[5] *Тамыр* – обращение: приятель, дружище.

[6] *Чиназ* – поселок на Сырдарье; ныне город в Узбекистане.

[7] *Штиглиц* – барон Александр Людвигович фон Штиглиц (1814–1884), российский финансист, промышленник.

[8] *...«нашему ндраву не препятствуй»...* – Расхожее выражение, переиначенная цитата из «Сцен купеческого быта» (1861) Ивана Федоровича Горбунова (1831–1895). «Бывало, что делал – страсть! Стекла, посуду в трактире перебьет: получай, говорит, капиталы за все, что стоит, а ндраву моему не препятствуй!» Ироническая фраза, символизирующая самодурство и кураж.

V. СЕРЕНАДА

[1] *...запах тутовых деревьев.* – Тутовое дерево (тутовник, тут) – шелковица, плоды – белые, красные, черные ягоды; листьями тутового дерева питаются гусеницы шелкопряда.

[2] *...сплюнул свою табачную жвачку...* – Табачная жвачка – насвай.

[3] *Марта, Марта, где ты скрылась?..* – Слова арии Лионеля из оперы «Марта» композитора Фридриха фон Флотова (1812–1883):

Марта, Марта, где ты скрылась?
О, явись мне, ангел мой.
О, когда бы ты явилась,
Ты б делила жизнь со мной.
О, я навеки твой!
Да, я твой!

[4] *...пожимаясь под своей кошмою...* – Кошма – свалянное из верблюжьей или овечьей шерсти изделие (войлок): палас, покрывало, одеяло.

VI. СОН ПЕРЛОВИЧА

[1] *...заплатанных чуек...* – Чуйка – верхняя мужская одежда, род кафтана.

VII. МАРФА ВАСИЛЬЕВНА ХОЧЕТ НАЧАТЬ ЗНАКОМСТВО С БАТОГОВЫМ

[1] *...статья четырнадцатая нашего добровольного взаимного договора...* – Аллюзия на «уговоры» между Верой Павловной и Лопуховым, персонажами романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?».

[2] Ныне *Беш-Агач* – район в Ташкенте.

VIII. ВЫЗОВ И ОТКАЗ

[1] *Туда* – в женскую половину жилища, «ичкари»; мусульманский дом делился на мужскую, «ташкари», и женскую половины. В женскую посторонним мужчинам, тем более неверным, вход был запрещен.

[2] *Аргамак* – рослая породистая азиатская лошадь для верховой езды.

[3] *Кунжутное масло* – основополагающий продукт среднеазиатской кухни, использовалось также в других бытовых целях – до того времени, когда ему на смену пришло хлопковое масло, производство которого было начато русскими промышленниками.

IX. ЧТО ВИДЕЛ ТАДЖИК УЛЛУ-ГАЙ НА РАССВЕТЕ, КОГДА ОТЫСКИВАЛ СВОЮ СЕРУЮ ОСЛИЦУ

[1] *...дыни со своей бакши.* – Бакша – бахча – поле, засаженное бахчевыми культурами. Русские не всегда верно слышали туземную речь, отсюда – бакша.

[2] *...темно-зеленого тертого табаку...* – Тертый табак – насвай; см. также примеч. 2 к гл. V.

[3] *...киргизы-курама...* – Курама – тюркский субэтнос Средней Азии, образованный из узбекских, казахских и киргизских племен. Современное название – кураминцы. «Курама» в переводе с тюркских языков – смешанный; кураминцы – воинственное племя.

[4] *...широкие кожаные чамбары...* – (или чембары); в Толковом словаре В. Даля – просторные шаровары, кожаные или холщовые; см. также примеч. 8 к гл. II.

X. СЛУХОМ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

[1] *...в канаусовых блузах...* – Канаус – плотная шелковая ткань.

XII. КАТАСТРОФА

[1] *...Карак, карак!* – Смотри, смотри! Не совсем верная форма повелительного наклонения от узбекского глагола қарамоқ – смотреть; надо: қара, қара!

[2] *...опрокинул... ближайшего джигита...* – Здесь слово используется в значении *наездник*, в отличие от значения, приведенного в примеч. 10 к гл. III.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ПЕРВЫЙ ПЕРЕГОН

[1] *...с длинным раструбчатым мултуком...* – Мултук – длинноствольное однозарядное фитильное ружье туземцев, проигрывавшее в сравнении с многозарядной берданкой (винтовка Бердана), которой были вооружены российские солдаты и которая наводила ужас на местное население.

[2] *...листвы китайского проса (джунгарры).* – Так первоначального услышал и записал Каразин; в современном написании – джугара.

[3] *...положил в куржумы...* – В переметную сумку; в современном языке – хурджум.

[4] *...пленником-гяуром...* – Гяур – неверный.

[5] *...курама камыши палит...* – См. примеч. 3 к гл. IX части первой.

II. СКАЗКА САФАРА

[1] *...подбита эта кибитка была золотым адрасом...* – Адрас – полушелковая-полухлопковая ткань. См. также примеч. на с. 339.

[2] *Эмир Музафар* – бухарский эмир Сайид Музаффаруддин Бахадур Хан (1834–1885), при его правлении Бухарский эмират в 1868 г. оказался под протекторатом Российской империи.

[3] *Джульбарс* – тигр.

[4] «*...все родят одних девочек...*» – На мусульманском Востоке распространенное во многих этнических сообществах предпочтение мальчика девочке при ожидании ребенка.

III. НА ВОЛОСКЕ

[1] *Яман!* – Плохо! (*тюрк*.).

[2] *Одвуконь* – наречие (уст.); при двух конях или верхом на коне со вторым в поводу.

IV. ПОЦЕЛУЙ

[1] *...по золотому тилля...* – Из комментария Каразина к рассказу «Юнуска-головорез»: «Золотая монета в четыре рубля серебром (собственно тилля значит *золото*)» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 120).

V. ГНИЛЫЕ КОЛОДЦЫ

[1] *...сводчатые, ульеобразные мулушки обозначали водные резервуары.* – Мулушка (сардоба) – цистерна с куполом, которая наполняется водой по подземному каналу; мулушкой ее называют, потому что она напоминает купольный мавзолей; от *мола* (*казах*.) – могильник.

[2] *...одногорбый нар...* – Нар – верблюд.

VI. КЛОПОВНИК

[1] *...особого рода подземных тюрем...* – Такие тюрьмы, поразившие писателя, называются *зиндан*; это слово в пору Каразина еще не появилось в русском языке.

VII. В СТЕПИ

[1] *Зоркий глаз барантача...* – Не раз Каразин акцентирует эту физиологическую особенность кочевников.

[2] *...глубокая водомойка...* – Углубление в почве, размытое потоком воды.

VIII. ЛАГЕРЬ НА АМУДАРЬЕ

[1] *Черные туркмены* – туркменское племя «кара-тюркмены»; «кара» – черный.

[2] *Караван-баш* – начальник (глава) купеческого каравана; «баш» – голова.

[3] *...две или три желомейки, покрытые черными, прокопченными дымом кошмами.* – Желомейка (джеломейка) – палатка, крытый навес. В словаре Брокгауза и Ефрона – юламейка, – небольшая палатка у киргизов, крытая кожей.

[4] *…большой кожаный турсук…* – Турсук – кожаное ведро для кумыса.

[5] *…раб – шиит.* – Шиит – мусульманин, представитель второго (после суннитов) направления в исламе – шиизма. На территории Средней Азии преобладали сунниты. Здесь: шиит был захвачен в плен, скорее всего, в Иране или Ираке, где преобладают шииты.

[6] *…тюркмен-чодор…* – Чодоры – представители одного из туркменских племен.

[7] *Батча* – так называли мальчиков-подростков, поющих и танцующих в чайхане; в современном написании и произношении – *бача*.

[8] *…сорок коканов…* – Кокан – 20 копеек.

IX. СУМАТОХА

[1] *…«Фердинанд восьмой»…* – Аллюзия на сумасшествие гоголевского Поприщина: «Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: “Фердинанд VIII”» (*Гоголь Н.В.* Записки сумасшедшего).

[2] *Акча давай…* – Акча – мелкие деньги.

[3] *Татары!..* – Татарами русские обобщенно называли среднеазиатов.

[4] *В третьем году-с… Еще при генерале Романовском-с…* – Имеется в виду Дмитрий Ильич Романовский (1825–1905?), бывший в 60-е годы XIX в. управляющим отделением Кавказского, Оренбургского и Сибирского края (см.: *Басханов М.К.* Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. М., 2005. С. 206). «27 марта 1866 года Черняев отправился в Петербург, а его место занял редактор “Русского Инвалида” генерал-майор Дмитрий Ильич Романовский. В первое время новому губернатору пришлось вести борьбу с мелкими шайками мятежников и, между прочим, с шайкой Рустамбека, оперировавшей в окрестностях Ташкента, да и в самом городе принимать меры против заговора, составлявшегося из приверженцев Бухары» (*Добросмыслов А.И.* Ташкент в прошлом и настоящем… С. 59).

[5] *Entrez, madame…* – Войдите, мадам (*фр.*).

[6] *…parole d’honneur…* – Слово чести (*фр.*).

X. ПОГОНЯ

[1] *Курамины* – также *курама*, см. примеч. 5 к гл. I, примеч. 3 к гл. IX части первой.

XI. ГЕРОЙ

[1] *…ради своей «Марты»…* – См. примеч. 3 к гл. V части первой; игра слов: персонаж арии Марта и героиня романа Марфа Васильевна, которую муж зовет Мартой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

[1] *…подбирал для белых рубах самые обидные сравнения…* – Белыми рубахами местное население называло русских солдат (по цвету форменной одежды).

[2] *…в Индостане у инглизов…* – Инглизы (*тюрк.*) – англичане.

[3] *…мирза Юсуп (его иначе и не величали в аулах)…* – Мирза – благородный, господин.

[4] *Еврея…* – Имеется в виду представитель среднеазиатского субэтноса – бухарских евреев.

[5] *…байгу устроил…* – В рассказе Каразина «Байга» дается исчерпывающий комментарий: «Байга – это нечто вроде конного ристалища. Здесь испытывается удаль и молодечество в верховой езде, ловкость и поворотливость коней, быстрота скачки и т.д. В коротких словах это делается таким образом: один из конных берет на седло только что зарезанного козла и скачет с ним в поле; все остальные кидаются за ним и стараются отнять у него эту добычу. Таким образом обскакивают они указанный круг, и счастливец, которому удастся удержать за собою изодранное чуть не в клочки животное, получает его в награду за свою удаль. Иногда, кроме козлов, назначаются и другие, более ценные призы; тогда рвение удваивается, наездники доходят до полного самозабвения, и дело не обходится без нескольких вывихнутых ног, сломанных рук или иных, более или менее сильных ушибов. Киргизы, сарты, узбеки, найманы – короче, все среднеазиатские народы, страстные любители этого удовольствия, не пропускают случая если не самому участвовать, то хоть поглядеть на байгу, приезжая для этого за пятьдесят и более верст» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 14).

II. КОГО ВИДЕЛ БАТОГОВ В СОСЕДНЕМ АУЛЕ, КОГДА ЕЗДИЛИ ЗА КАМЫШОМ

[1] *…еще не угасшие уголья на таганах…* – Таган – подставка для котла, позволяющая готовить пищу на огне.

III. НАР-БЕБИ

[1] *…ребра телеги (боковые решетки) и остальное дерево…* – Деревянные детали каркаса телег и кибиток.

IV. СОКОЛИНАЯ ОХОТА

[1] *…умащивала… жирные косы.* – Косметическая традиция среднеазиатских женщин – смазывать волосы жирными молочными продуктами, в частности «кислым молоком» (простоквашей).

[2] *…полез рукою…* – Культурно-этнографическая черта среднеазиатов есть руками, а не ложкой произвела впечатление на Каразина.

[3] *В Бухаре я много таких видал.* – См. примеч. 4 к гл. I.

VIII. НА ПРИВАЛЕ

[1] *…крест попроси… такой белый…* – Орден святого Великомученика и Победоносца Георгия.

[2] *…«мендаль» с птицею на красной ленте...* – Орден Святой Анны для иноверцев; с 1844 г. на всех знаках, предназначавшихся для награждения иноверцев, вместо красного эмалевого креста был размещен российский государственный герб черного цвета.

IX. В ШАЙКАХ НАЗАРА

[1] *…рассмотреть значки…* – Значки – опознавательные значки воинского подразделения: род бунчука (древко с привязанным хвостом коня или яка), штандарта, прапора (вид флага, крепившегося на копье).

[2]*…отряд «ак-кульмак»…* – Ак-кульмак – белые рубахи – так местные жители называли русских солдат; см. также примеч. 1 к гл. I; примеч. 8 к гл. II части первой.

[3] *…с цветными значками, воткнутыми в дула ружей.* – См. примеч. 1.

[4] *Ох, батюшки, ой, смерть моя пришла…* – Публикация романа «На далеких окраинах» завершена в ноябрьском журнале «Дело» за 1872 г. (№ 9–11), а в 1873 г. В.В. Верещагин создаст живописную работу «Смертельно раненный», на раме которой надпись: «Ой убили, братцы… убили… ой смерть моя пришла».

XI. ПЕРВЫЙ КАРАВАН

[1] *…приложил свои руки к желудку…* – Каразина удивила церемониальная особенность среднеазиатов – во время просьб, обращений, благодарности прикладывать руку (руки) к животу (к желудку), о чем он многократно повторяет в своих сюжетах. Этнические жесты, намеренно акцентированные Каразиным путем многократных повторов, зажили впоследствии в виде слагаемых туркестанского текста. Например, в романе советской писательницы Анны Алматинской: «Стали подходить батраки – узбеки и казахи, стоявшие отдельной толпой в глубине сада. Они прижимали руки к животам, низко кланялись, бормоча поздравления» (*Алматинская А.В*. Гнет: Роман: В 2 кн. Ташкент, 1969–1970. Кн. 1. С. 87), «Едва Маша показалась на крыльце, киргиз, соскочив с лошади, долго кланялся, прижимая руки к животу» (Там же. С. 171).

[2] *Хоп* – да, так.

[3] *…и взялись за желудки.* – См. примеч. 1.

[4] *В настоящее время, когда…* – Для современников эта фраза звучала пародийно. «Формула “В настоящее время, когда” – начальные строки пародии Добролюбова на штампованные рассуждения фразеров либерально-дворянского лагеря ⟨…⟩ См. упоминание об этих строках Добролюбова в сатире Некрасова “Недавнее время” (1871 г.):

Понял горькую истину сразу
Только юноша-гений тогда,
Произнесший бессмертную фразу:
“В настоящее время, когда…”»

Н.А. Добролюбов. Русские классики: Избранные литературно-критические статьи / Изд. подгот. Ю.Г. Оксман. М.: Наука, 1970. Сер. «Литературные памятники». С. 571–572, примеч. 8 к ст. «Что такое обломовщина».

[5] *Mieux tard que jamais…* – Лучше поздно, чем никогда (*фр*.).

XII. СИГАРЫ ПЕРЛОВИЧА

[1] *…мундштук пенковой трубки…* – Курителная трубка, изготовленная из морской пенки (минерал сепиолит), которая добывается в Турции.

ПОГОНЯ ЗА НАЖИВОЙ

Роман «Погоня за наживой» впервые напечатан в журнале «Дело» в 1873 г.: № 1 (с. 1–43), № 3 (с. 100–150), № 4 (с. 105–163), № 5 (с. 34–59), № 6 (с. 21–73), № 7 (с. 75–112), № 8 (с. 219–274), № 9 (с. 39–91), № 11 (с. 1–42). В том же журнале представлен разбор романа (см.: *Никитин П.* Ташкентские рыцари (На далеких окраинах. Роман Н. Каразина. Издание иллюстрированное. Погоня за наживой. Роман Н. Каразина) // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 1–33). Сразу по выходе романа литературный критик Z (В.П. Буренин) опубликовал отрицательную рецензию «Два слова о романе г. Каразина “В погоню за наживой” (“Дело”, январь–ноябрь)» (С.-Петербургские Ведомости. 1873. № 338. С. 2).

В настоящей публикации роман воспроизведен по изданию: *Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905 (бесплатное приложение к журналу «Природа и люди»). Т. 2–3. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами правописания.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ЗАСТРЕЛИЛСЯ

[1] О применении Каразиным курсива см. примеч. 1 к гл. I части первой романа «На далеких окраинах».

[2] *Целых три недели пришлось ему не видать своей жены ~ Для него все было потеряно.* – См. сопоставление этого фрагмента с повестью Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» в статье, в главе «Очарованный странник: Жизненный путь Николая Николаевича Каразина».

[3] А.С. Пушкин. «Братья-разбойники».

[4] *…наклеивать на окна билет.* – «Обычно на окошках дач наклеены бумажки о сдаче внаем, “билетики”…» (*Засосов Д.А., Пызин В.И.* Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов: Записки очевидца. СПб., 1999. С. 219); «В доходных домах на окнах освобождаемых квартир наклеивались бумажные карточки (билеты), информирующие о выезде съемщиков» (*Мачерет А.А.* Комментарии // *Каразин Н.Н.* Погоня за наживой: Роман, повести, рассказы / Сост. А.А. Мачерет. СПб., 1993. С. 571).

[5] *…там только одна баранина?* – Начиная с «Господ ташкентцев» Салтыкова-Щедрина слова *баран* и *баранина* становятся символами-манками для русских колонизаторов, отправлявшихся в Среднюю Азию.

III. ГРУЗ БАРЖИ № 9, ПОД ЛИТЕРАМИ И. Л.

[1] *В синей чуйке…* – См. примеч. 1 к гл. VI части первой романа «На далеких окраинах».

[2] *…сартенок…* – См. примеч. 1 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

[3] *…бутылочку «тенерифцу»…* – Вино, производимое на острове Тенерифе (Канарские острова).

[4] *…портеру лекоковского…* – Пиво; в XIX в. лондонская компания A. Le Coq & Co, основанная бельгийцем Альбертом Ле Когом, занималась поставками в Россию британского портера. С 1913 г. фирма A. Le Coq начинает пивоваренную деятельность на территории России, в городе Юрьеве (ныне город Тарту, Эстония); см.: *Бренд А.* Le Coq. URL: http://www.beerlog.ru/2013/11/16/a-le-coq-porter/; дата обращения: 12.05.2018.

IV. ОБИТАТЕЛЬНИЦЫ 26 НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ ПОД ФИРМОЙ «ОТЕЛЬ ЕВРОПА»

[1] *Несколько долгушек…* – Долгушка, или долгуша, – четырехколесный конный экипаж на длинных дрогах.

[2] *…mais finissez donc!* – Заканчивай! (*фр*.).

[3] *Много теперь едет к нам всякого народа…* – Фраза коррелирует с заглавиями «Господа ташкентцы» Салтыкова-Щедрина и «Погоня за наживой» Каразина.

[4] *…там…* – В Туркестанском «Эльдорадо», или Ташкенте.

[5] *Тюра* – начальник.

[6] *Ат берды* – лошадь давай (*тюрк*.).

[7] *…mais finissez…* – Прекращай (*фр*.).

V. В ГУБЕРЛЯХ

[1] *Дормез* – дорожная карета для долгих путешествий, приспособленная для сна (от фр. dormouse – букв. «соня»).

[2] *…на уносных лошадях… веревочные уносы вместе с вальками…* – Уносная лощадь запрягалась впереди коренника в многоконной запряжке цугом. *Уносы* и *вальки* – детали упряжи.

[3] *Eh bien!* – Ну! (*фр*.)

[4] *…молодой казак-драбант…* – Здесь: денщик, офицерский слуга.

[5] *Батогов* – главный персонаж романа Н. Каразина «На далеких окраинах».

[6] *Сарт* – см. примеч. 1 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

[7] *Хмуров* – см. примеч. 6 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

[8] *Перлович* – также персонаж романа Н. Каразина «На далеких окраинах».

[9] *Федоров* – см. примеч. 6 к гл. III части первой романа «На далеких окраинах».

[10] *…туземный халат…* – Подробное описание туземной одежды – характерный признак поэтики ориентализма: в чапанах (халатах) – мужчины и женщины; чапаны простые (для бедных) и богато расшитые; чапан – награда от правителя за убитого русского, за его голову. «Верхний же (халат. – *Э.Ш.*), шелковый, прошитый местами золотом и блестками, был спущен с одного рукава, и полы его были раскинуты так ловко, что невольно кидались в глаза всякому. Не без расчета это было сделано, и не один уже проходящий мимо лавки с скрытою завистью полюбовался блестящей материей» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 208); «А заметили, какая у него лошадь хорошая: за две тысячи коканов не купишь! А халат-то – ух! Мне бы только хоть один часик поносить такой. Блестит, как чешуя на рыбе!» (Там же. С. 322). Глядя на русскую даму, одетую в платье с открытым декольте, туземец выражает свое восхищение: «А у той халат уж очень хорош (у них все халат)!» (Там же. Т. 9. С. 147).

VI. «ЭНЕРГИЧЕСКИЕ МЕРЫ»

[1] *…далеко не ласковые взгляды.* – Каразин в изображении населения Туркестана, их отношения к русским стремится к объективности, воспроизводит межкультурные и бытовые конфликты в контексте колонизаторского процесса (см. статью, главу «Каразин – этнограф и бытописатель Средней Азии»).

[2] *…широкую водомоину…* – См. примеч. 2 к гл. VII части второй романа «На далеких окраинах».

[3] *...старая желомейка...* – См. примеч. 3. к гл. VIII части второй романа «На далеких окраинах».

[4] *Цс,* или цоканье языком, – характерное для среднеазиатов выражение эмоций: восторга, сострадания или осуждения – эту особенность речевой коммуникации среднеазиатских народов одним из первых подметил Каразин.

[5] *Там больной ауру...* – Ауру – болезнь (*каз.*).

[6] *...жаловаться бию...* – Бий – вождь.

[7] *Баранчук* – мальчик (от малыша до подростка).

[8] *Араку...* – Арак – водка.

[9] *Арак джаксы, коп джаксы арак!* – Водка хорошо, лучше много водки.

[10] *И это цивилизаторы?* – Определенный круг современников Каразина воспринимал Туркестанский проект иронически и критически (см. статью, главу «Каразин – этнограф и бытописатель Средней Азии»).

[11] *...полудикий конь, навострив свои надрезанные уши...* – Надрезанные уши – возможно, клеймо, след от посвятительного обряда в честь умершего; чужой вряд ли захочет присвоить такое животное. Это наблюдение, сделанное среди осетин, тоже в прошлом кочевого народа, вполне применимо и к среднеазиатским племенам: «Поэтому во время покупки коней тщательно осматривали ушные раковины, чтобы выявить следы посвятительных надрезов. Коня с надрезанным ухом "осетин ни за что не купит, ибо видит в нем призрак коня, а не самого коня и поэтому находит его бесполезным для себя"». Еще раньше, в начале XIX в., этот факт был подмечен А. Шегреном: «Они... в таком случае уже не считают лошадь своей, а принадлежащей тому, к чьей могиле ее подводили, думают, что подарили ее умершему другу...». См.: http://cominf.org/node/1166493447; дата обращения: 02.03.2019. Подобное явление отмечено также у кочевников Алтая (см.: *Грязнов М.П.* Культура и искусство ранних кочевников Алтая // Первобытная культура. Вып. 2. М., 1956).

VII. ВСАДНИК, ХОРОШО ЗНАЮЩИЙ СВОЕ ДЕЛО

[1] *...шли собачьей рысью, «тротом»...* – Трот – англ. trot – короткая рысь.

[2] *...одноствольный штуцер, танеровский...* – То же, что танеровская винтовка (термин «винтовка» был введен в оборот в начале второй половины XIX в.). Так называли казачью винтовку образца 1860 г., изготовленную на оружейной фабрике бельгийской фирмы Таннера.

[3] *...переметные сумки, куржумы...* – См. примеч. 3 к гл. I части второй романа «На далеких окраинах».

[4] *...складной таган.* – См. примеч. 1 к гл. II части третьей романа «На далеких окраинах».

[5] *Теркеш* – футляр для посуды.

[6] *Кунган* – см. примеч. 4 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

[7] *Средняя орда* – территория нынешнего центрального, восточного и северного Казахстана.

[8] *...на прямых низких бабках...* – Бабки – нижняя часть ноги лошади.

[9] *...из вод озера-миража...* – Из всех видений, рожденных миражом пустыни, самым частым, по наблюдениям Каразина-этнографа, был водоем: «Во время длинных, утомительно-однообразных походов через неизмеримые степи ⟨...⟩ он (Касаткин, персонаж повести «В камышах». – *Э.Ш.*) видел там, где другие решительно не ждали ничего, кроме однообразия мертвой степи. – Посмотри! ты видишь, как вдали словно

озерко протянулось? Вон еще, – обращался он к кому-нибудь из товарищей, – ну, совершенно, как вода… и если бы я не знал наверное, что это марево…» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 16).

[10] *…куда глаза твои смотрят?* – Идиоматическое выражение, соответствующее русскому «куда путь держишь?». Например: басын кайжакка ауган? (*каз.*) – куда твоя голова повернута?; ko'zlaring qani? (*узб.*) – где твои глаза?

[11] *Бузачинцы* отличались грабежами и насилиями.

[12] *…арбинной караван…* – Арбинной – прилагательное от *арба*. В современном словообразовании суффикса -*инн* не существует, правильнее было бы *арбяной*. Возможно, это региональное образование, как, например, *халвинный*.

VIII. ВАГЕНБУРГ В САКСАУЛЕ

[1] *Вагенбург* – передвижное фортификационное сооружение.

[2] *Одвуконь* – См. примеч. 2 к гл. III части второй романа «На далеких окраинах».

[3] *…им за мазарками не видать…* – Мазар – могила, надгробие, склеп, вообще место захоронения святых, праведников.

[4] *Барантачи* – См. примеч. 2 к гл. I части первой романа «На далеких окраинах».

[5] *…рассказов Мунго Парка…* – Мунго Парк (1771–1806) – шотландский исследователь Африки, погиб, спасаясь от аборигенов.

[6] *Чапан* – просторный, просто скроенный халат на манер рубахи, без воротника, стеганый, зимний – на вате, летний – без.

IX. РЕНЕГАТЫ

[1] *Киргизы-адаевцы* – Адаевцы – казахское племя.

[2] *…звали Иван-баем…* – Аффикс -*бай* связан со словом *богач*, в тюркских языках применялся в образовании личных имен и титулов (см.: *Рахимова А.Р.* Аффиксальный способ образования тюркских лексем, характеризующих человека // Учен. зап. Казанского ун-та. Гуманитарные науки. 2013. Т. 155, кн. 5. С. 161).

[3] *Мертвый култук* – залив у северо-восточного берега Каспийского моря.

X. НОВЫЕ ЛИЦА

[1] *…«лаучи» слез с горбов одного из верблюдов…* – Лаучи – погонщик верблюдов; также ухаживает за верблюдами во время стоянок.

[2] *…архалук с нашитыми на груди патронами…* – Кавказская верхняя одежда в виде кафтана.

XI. ГРОЗНЫЕ ВЕСТИ

[1] *…цибатым ногам животных.* – Толковый словарь В. Даля: цибатый – тонконогий, жидконогий.

XII. КУРЬЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ

[1] *Ак-Мечеть* – с 1925 г. город Кызылорда (Казахстан).

[2] *…Коробочка предлагала же Чичикову послать ему девочку почесать пятки!* – Непрямая цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «“Ну, вот тебе постель готова”, сказала

хозяйка. “Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал”» (*Гоголь Н.В*. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.: Наука, 1951. Т. 6. С. 47).

XIII. ОБРАЗЦЫ САМОГО ТОЧНОГО ПЕРЕВОДА С КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

[1] *...наша сотня, с есаулом Серовым, под Иканом в передел попала...* – Речь идет о вооруженном столкновении казачьей сотни есаула Серова и кокандского войска, происшедшем в декабре 1864 г. у селения Икан, недалеко от Чимкента.

[2] *...широкие галуны...* – Галун – тесьма.

[3] *...тарантас с фордеком...* – См. примеч. 3 к гл. III части первой романа «На далеких окраинах».

[4] *Штос* – карточная игра.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. НЕГОЦИАНТЫ

[1] *...кувшина с красным вином – не местным, первушинским...* – См. примеч. 5 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

[2] *...hors d'oevre-ом...* – Закусками (*фр*.).

[3] *...все эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компания...* – См. статью, главу «Каразин – этнограф и бытописатель Средней Азии».

[4] *...фирма Хмурова...* – См. примеч. 6 к гл. II части первой романа «На далеких окраинах».

II. В ПРИЕМНОЙ У ГУБЕРНАТОРА

[1] *Бо-су* – так впервые услышал незнакомый топоним Каразин; в современном написании – Бозсу. Бозсу – канал от реки Чирчик, пересекает территорию Ташкента, разделяясь на два канала – Анхор и Бурджар.

III. РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ

[1] *...прикрыл голову тонким белым фуляром*. – Фуляр – тонкая шелковая ткань. Здесь: шейный платок из фуляра.

[2] *Портрет вон во “Всемирной Иллюстрации” напечатан был: сидит это в русском кафтане, тигр лежит у самых ног...* – Речь идет о портрете Михаила Александровича Хлудова (с тигром), напечатанном на обложке еженедельного журнала «Всемирная иллюстрация» за 1870 г. (№ 72). Портрет – гравюра Л.А. Серикова с рисунка художника Н.И. Соколова.

[3] *«Legion d'honneur»* – французский Орден Почетного легиона.

[4] *«Льва и солнца»* – персидский орден.

[5] *...«Honni soit, qui mal y pense»...* – «Стыдно тому, кто плохо подумает» (*фр*.) – девиз английского Ордена Подвязки.

V. «БЕДНЫЙ, НАИВНЫЙ РЕБЕНОК»

[1] *...исполнить просьбу египетского царя Нехао*. – Морская экспедиция финикийцев вокруг Африки, совершенная по поручению египетского царя Нехао в конце VII в. до н.э. и длившаяся три года.

[2] *Amis! La nuit est belle, / La lune va briller...* – Друзья! Ночь прекрасна, взошла сиять луна (*фр*.).

[3] *Pas de danger!* – Никакой опасности! (*фр*.).

VI. «ОТ СКУКИ БОЛЬШЕ»

[1] *Far niente* – безделье (*итал*.).

[2] *Пардесю* – от *фр*. pardessus – пальто.

VII. КАКОГО РОДА ВЬЮКИ ПРИВЕЗЕНЫ БЫЛИ В БОЛЬШОЙ ФОРТ КИРГИЗАМИ АУЛОВ ТЕРМЕК-БЕС

[1] *Allons!* – Пойдемте! (*фр*.).

VIII. УЛИКИ НАКОПЛЯЮТСЯ

[1] *...ятки для товара...* – торговые лавки.

[2] *Красный товар* – текстиль.

IX. НА БАЗАРЕ

[1] *Арбакеши сидели верхом на тех же лошадях, что были запряжены в арбы...* – Арбакеш – извозчик на арбе.

[2] *Вой, вой!* – Междометие, равнозначное русскому *ох* или *ах*.

[3] *Медресе* – мусульманское учебное заведение.

[4] *...отрыгнул раза три...* – Рыгнуть – значит выразить удовлетворение угощением. См. об этом внутритекстовое пояснение Каразина в романе «На далеких окраинах», с. 143.

[5] *Хорош кишмиш?... ягодки изюма...* – Кишмиш – сушеный виноград, то, что в русском языке именуется *изюмом*.

[6] *Ярм-целковый (полтинник)...* – Ярм (ярым) – половина (*тюрк*.).

[7] *Ичеги,* или ичиги, – мягкие сапожки, мужские и женские, из тонкой, обтягивающей кожи; поверх сапожек надевались калоши (кавуши), которые снимались при входе в мечеть и жилище. «Рахмед... даже успел переобуться, и на его ногах вместо походных сапог с высокими острыми каблуками очутились мягкие, чулкообразные *ичеги* из черного сафьяна с вышивкою» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 143); «Вслед за факельщиками въехал сам сановитый хозяин в необъятной кашемировой чалме, в опушенном соболем халате и зеленых ичегах (род обуви), с длинными, совершенно остроконечными каблуками» (Там же. Т. 1. С. 70); «Собеседницы плотно кутались в теплые халаты, накинутые поверх голов, и усердно поджимали под себя

ноги, обутые в мягкие сафьянные “ичеги” ⟨...⟩ Если бы кто вошел сюда сразу, то, наверное, не скоро бы разглядел эти две темные, с головою закутанные фигуры, разве только когда распахнется халат, пропуская руку за новым запасом фисташек, и блеснут искорки ожерелья, да чуть зазвенят бесчисленные подвески к нагрудному убору» (Там же. Т. 6. С. 3–4).

[8] *Дивона* – то же, что дервиш.

[9] *...халаты не доставали до колен ~ сокрыты заплатами*. – Такое многолоскутное, «многошвейное» рубище дервишей называлось *хирка*.

[10] *...палицы из темного ореха...* – Посох дервиша, «заряженный» определенной энергией: он изготавливался в медитативном состоянии, под чтение зикра (радения). Материал для посоха должен иметь изначальную чистоту: дерево сухое, прочное, легкое, с наростами и шипами, чтобы ни у кого не возникло желания владеть им.

[11] *Батча* – см. примеч. 7 к гл. VIII части второй романа «На далеких окраинах».

X. КУПЦЫ ИЗ «КЭРМИНЕ»

[1] *Ни одного окна ~ скрытых от глаз постороннего наблюдателя*. – Архитектурная особенность архаического жилища Средней Азии, тиражируемая в русской литературе с XIX в. Специфика ландшафтно и архитектурно оформленного пространства – внешне закрытое от посторонних глаз строение, окна которого выходят во внутренний двор – он же эпицентр жилья, – один из распространенных «кейсов» ориентализма, объясняющих ментальность народа, или его «национальный характер». Дома расположены столь близко друг к другу, что улица не способна пропустить две встречных арбы. Вот несколько этнографических наблюдений Каразина, который одним из первых в русской литературе впечатлился особенным архитектурным ландшафтом Туркестана, – из рассказа «Рахмед-Инак, бек Заадинский»: «Сперва дорога шла длинною узкою улицею. Низенькие серые стены сакель разнообразились только запертыми воротами и калитками; окон не было ни одного, потому что вообще у азиатских жилищ не имеется окон, а если и есть что-нибудь заменяющее их, так оно расположено на внутренних фасадах, а на улицу выходят сплошные однообразные стены надворных построек – конюшен и тому подобного» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 134); в романе «Наль»: «Вся группа, выбравшись в город, втянулась в узкую дорогу, с обеих сторон которой теснились глиняные стены садов и сакель, скучные стены, не глядящие на улицу ни одним окошечком...» (Там же. Т. 5. С. 17); в рассказе «Ургут»: «Улицы были так узки и так неровно вымощены крупным камнем, притом повороты были до такой степени круты и неожиданны, что нельзя было и думать провезти в цитадель наши орудия» (Там же. Т. 9. С. 107).

[2] *...из-под накинутого на голову халата...* – Халат на голове – это паранджа; накидка-сетка на лице – чачван; накидка на голову лишь внешне напоминает халат, на самом деле это имитация халата, его рукава – мнимые: они узкие и длинные, порой завязывающиеся сзади легким узлом. Из рассказа Каразина «Байга»: «По узеньким переулкам, ведущим к дому серкера, то и дело виднелись группы женщин в синих бумажных халатах, накинутых на голову, так что рукава, связанные цветными завязками, спускаясь с затылка и вдоль спины, доходили до самых пяток. Лица этих женщин были завешены черными вуалями. (Девушки носят белые вуали и не имеют права посещать в первое время родильниц.)» (*Каразин Н.Н.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 13); из повести «Тьма непроглядная»: «Да и как можно кого-либо узнать в этом сером халате,

накинутом на голову, с узкими, фальшивыми, до самой земли, рукавами, с черною, густою волосяною сеткою на лице. Все бабы на улице на один покрой; сами мужчины не распознают, которая чья» (Там же. Т. 6. 1904. С. 51). Такой внешний облик женщины благополучно тиражировался на протяжении всего XX в., вот пример: «От разнообразной пестроты костюмов и головных уборов рябило в глазах, только женщины своим однообразием наводили уныние: серого цвета халаты, надетые на голову, на лицах черного цвета чадра, спускавшаяся ниже колен» (*Варенцов Н.А*. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 2011. С. 274). К слову, надо отметить, что в Средней Азии паранджа и чачван на женщинах были распространены не повсеместно – их не носили каракалпачки, туркменки, киргизки и др. Упоминания туземной одежды и украшений – характерный признак поэтики ориентализма.

[3] *…поверхность заплесневелых прудов…* – Искусственные пруды – хаузы.

[4] *…одногорбый верблюд из Андкуи…* – Андкуи – от Андхой, названия города и ханства на территории Афганистана. О верблюдах из Андхоя писал в XIX в. путешественник и ученый Арминий Вамбери: «Андхойские верблюды пользуются наибольшим спросом во всем Туркестане, особенно порода, называемая “нер”, отличающаяся густыми длинными волосами, свисающими с груди и шеи, стройным телосложением и необыкновенной силой. Теперь верблюды этой породы встречаются крайне редко, потому что они частью вывезены, частью вымерли» (*Вамбери А.* Путешествие по Средней Азии / Пер. с нем. З.Д. Голубевой, под ред. и с предисл. В.А. Ромодина. М., 2003. С. 179). Верблюдов из Андкуи Н.Н. Каразин упоминает и в рассказе «Богатый купец бай Мирза-Кудлай»: «Купил себе Кудлай четырех вьючных верблюдов, не тех киргизских, двугорбых, а настоящих наров из Андкуи. Верблюды эти высокие, шерстью темные, почти что черные; на головах у них узды индийские, с кистями и амулетами, промеж ушей шишки из шелку с перьями качаются, бубенцы под шеями подвязаны…» (*Каразин Н.Н*. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 82).

[5] *…взяли с нас один раз зякет…* – Зякет – пошлина, налог.

[6] *…пригнув головы…* – Выражение почтения.

[7] *…большую золотую медаль на владимирской ленте*. – Медаль на Владимирской ленте с 1845 г. вручалась лицам купеческого сословия.

[8] *«Жизнь человека и всякого зверя, большого и малого, и птицы, и рыбы – все в воле Аллаха!»* – Одно из прочтений строк Корана (Сура 6, «Скот», аят 38): «И нет ни одного живого существа / Что на земле (живет) или на крыльях (в небе), / Которые, подобно вам не составляли бы общины, – / Мы ничего не упустили из Книги (Наших уложений) / И будет День, когда их всех у их Владыки соберут» (Коран / Пер. смыслов и коммент. Иман Валерии Пороховой. М., 2004. С. 161).

[9] *…остановились перед дверью в позах Чичикова и Манилова.* – Отсылка к фрагменту из «Мертвых душ» Гоголя: «…пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. “Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после”, – говорил Чичиков. “Нет, Павел Иванович, нет, вы гость”, – говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. “Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите”, – говорил Чичиков. “Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю”. “Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите”. “Ну, да уж извольте проходить вы”. “Да отчего ж?” “Ну, да уж оттого!” – сказал с приятною улыбкою Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком

и несколько притиснули друг друга» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.: Наука, 1951. Т. 6. С. 26–27).

[10] *...vous comprenez?* – Вы понимаете? (*фр.*).

[11] *...спросил Лопатина о состоянии его здоровья и здоровья его домашних...* – Этикетная форма, черта восточной ментальности (см. статью, главу «Каразин – этнограф и бытописатель Средней Азии»).

[12] *...сложил руки на желудке...* – См. примеч. 1 к гл. XI части третьей романа «На далеких окраинах».

XI. НА ПРИСТАНИ

[1] *...“Владимира” получили, “Анну”...* – Орден святого Владимира, Орден святой Анны.

[2] *«Адель» в петлицу... «Льва и Солнца пожалуйте!»* – Во сне Лопатина в ряд с реально существующими орденами – святого Владимира, святой Анны (см. примеч. 1), «Льва и Солнца» (см. примеч. 4 к гл. III) – встроен нереальный – с вожделенным именем Адель.

XII. ЗА ДВЕРЯМИ

[1] *...ташкентских «минерашек»...* – Место для прогулок; названо автором по аналогии с петербургскими «минерашками» – «Увеселительным заведением искусственных минеральных вод»; ташкентские «минерашки» времен Каразина находились рядом с античным городищем Минг-урюк (или Чач).

[2] *...он из старых, еще из черняевских...* – «Черняев Михаил Григорьевич (1828–04.08.1898) – генерал-лейтенант Генерального штаба. Из дворян Могилевской губернии 〈...〉 Военный губернатор Туркестанского края (февраль 1865)» (*Басханов М.К.* Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. М., 2005. С. 261). Говоря о «черняевских» временах, Каразин имеет в виду начало экспансии в Среднюю Азию (эта деталь неоднократно упомянута в романе «Погоня за наживой»). В 1907 г., незадолго до смерти, Каразин пишет статью с характерным заглавием «Скорбный путь» о том, как тяжко было продвижение в Среднюю Азию. Отданные приказы из Петербурга шли по четыре месяца, сообщения из войск в Петербург – так же. Была неразбериха, несогласованность. В статье есть такой фрагмент: «Оттуда, с севера, тоже движется на юг что-то и кто-то, и тоже энергично наступает, повинуясь не приказам из Петербурга, а неизбежной логике событий, ибо “на месте виднее”. Какой-то полковник Черняев из Омска находит необходимым перешагнуть за Кастекский перевал и занять Токмак, тоже ключ к одной из бесчисленных дверей в Индию. Пока собираются в Петербурге послать энергичному полковнику приказ стоять в Токмаке недвижно, западносибирский генерал-губернатор доносит из Омска, что полковник Черняев давно уже ушел вперед, что уже давно заняты и Мерке, и Аум-ата, а в настоящую минуту он осадил и берет штурмом город Чимкент, непосредственно входящий в состав кокандского ханства. В Петербурге – я отлично помню это время – совсем растерялись: кто с трепетом в душе косится на флаг, гордо развевающийся на доме английского посольства, кто негодует на непростительный авантюризм своевольного, легкомысленного полковника, кто, захлебываясь от восторга, аплодирует нашим победоносным батальонам, этим пресловутым

“девятистам штыков”, составляющих всю главную силу наступающего отряда с севера. Оренбуржцы, узнав, что сибиряки так много продвинулись вперед, двинулись тоже, вопреки запрета (так. – *Э.Ш.*). Сначала генерал Веревкин подошел к Джулеку, затем к Азрету, городу уже не с кочевым, а настоящим, оседлым таджикским населением – и тут-то пришла весть, поразившая всех как громом: Черняев, после вторичного кровопролитного штурма, первый был отбит с большим для нас уроном, взял Ташкент со стотысячным населением, с сильною крепостью и первоклассным базаром, главный торговый узловой пункт всего Сырдарьинского бассейна. Тут между западносибирским и оренбургским округами разгорелся спор, кому должны принадлежать обширные, вновь завоеванные страны? Сам Крыжановский покинул свою сатрапию на берегу Урала и прилетел на передовую линию. Чуть было не возник серьезный конфликт, но судьба свыше устроила все иначе и именно так, как никто не ожидал. Черняев, получивший Георгия, был произведен в генералы и отозван в Петербург, все вожди, герои наступательного движения, получив разные, более или менее почетные назначения и награды, отозваны тоже. Завоеванные территории не были присоединены ни к Оренбургскому, ни к Западносибирскому округам, а повелено было сформировать новый, совершенно независимый туркестанский военный округ и генерал-губернаторство с назначением главою всего этого сложного организаторского дела – генерал-адъютанта Константина Петровича Кауфмана. Это случилось в 1867 году, менее чем через два года после падения Ташкента, два года, не прошедших праздно для дела безусловно уже необходимых расширений и округлений границ нового генерал-губернаторства. Округлили – Ходжент, Ура-Тюбе, Джюзак (так. – *Э.Ш.*), Яны-Курган... Но уже отнюдь ни шагу далее!» (*Каразин Н.Н.* Скорбный путь: Из воспоминаний старого туркестанца // Русская старина. 1907. Янв. Фев. Март. Т. 129. С. 533–534). Черняев на подходе к Ташкенту должен был сначала взять Чимкент, который возглавлял Алимкул, порицавший киргизов за равнодушие к интересам мусульманства и покорность русским. Для острастки он взял восьмидесятилетнего старика, привязал к дулу пушки и выстрелил – мол, так будет с каждым. Наглядность возымела противоположное действие – киргизы побежали к русским, к Черняеву. Но русский полковник принимал только вооруженных туземцев. А эти были с плохонькими саблями, большинство ни с чем, но они обещали оказывать помощь. «Чем же вы можете помочь нам? – спросил Черняев. – Криком! – отвечали они» (*Терентьев М.А.* История завоевания Средней Азии: В 3 т. СПб.: Типо-лито П.П. Комарова, 1906. Т. 1. С. 285). В 1880-е Черняев вновь возвращается в Туркестан в качестве генерал-губернатора, но эти времена уже не «черняевские» (о неблаговидной роли Черняева в 1880-е см.: *Добросмыслов А.И.* Ташкент в прошлом и настоящем...).

[3] *...цибатого гнедого.* – См. примеч. 1 к гл. XI части первой.

XIV, XV

[1] Причину пропуска этих глав установить не удалось.

XVI. ГРОЗА НА ГОРИЗОНТЕ

[1] *На «Станиславчика»...* – См. примеч. 7 к гл. III части первой романа «На далеких окраинах».

[2] *...свою «Анну»...* – См. примеч. 1 к гл. XI.

[3] *...где стояла его палица...* – Палица иерея – это часть богослужебного облачения священника, в виде ромбовидного плата; в данном фрагменте палицей названа палка, трость – возможно, тем самым подчеркивается карикатурность портрета персонажа (вкупе с его фамилией).

XVII. «ГИДАЛЬГО»

[1] *Mio gidalgo* – мой рыцарь (*исп*.).

XVIII. НРАВСТВЕННАЯ СДЕЛКА

[1] *...«Dites lui» из «Герольштейнской герцогини»...* – Ария «Скажите ему» из оперетты Оффенбаха «Герольштейнская герцогиня», весьма популярной в конце XIX в.; пение арии в быту считалось проявлением разнузданного, грубого вкуса.
[2] *Ca viendra!* – Это произойдет! (*фр*.).
[3] *Mais calmez vous, mon ami!* – Успокойтесь, мой друг! (*фр*.).

XIX. СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

[1] *...кучера-аматера.* – От *франц*. amateur – любитель.
[2] *La bourse ou la vie!* – Кошелек или жизнь! (*фр*.).
[3] *Bonsoir, monsieur!* – Добрый вечер, господин! (*фр*.).

XX. ВО ТЬМЕ НОЧНОЙ

[1] *...на длинных волосяных чумбурах*. – Чумбур – веревка для привязи лошади.

XXI. В ГОРАХ

[1] *...бездомных байгушей...* – Байгуши – бедняки.
[2] *...при черняевских отрядах.* – См. примеч. 2 к гл. XII.
[3] *Буевцы надули, подлецы, не пришли.* – Буевцы – здесь в значении домоседы.
[4] *Тамыр* – см. примеч. 5 к гл. IV части первой романа «На далеких окраинах» и внутритекстовое пояснение Каразина на с. 284.
[5] *...дикари...* – Так называли русские колонизаторы местных жителей, выказывая свое превосходство.
[6] *...якши маклашка...* – Слово «маклашка» бытует в билингвальной русско-тюркоязычной среде, наиболее универсальный перевод этого многозначного слова – оплеуха, т.е. «якши маклашка» – это «хорошая оплеуха».

XXII. ТРЕВОЖНЫЕ СЛУХИ

[1] *Bon courage, mon ami...* – Удачи, мой друг (*фр*.).
[2] *...toujours à la votre!* – Всегда ваш! (*фр*.).
[3] *...придерживая пальцем одноглазку...* – Одноглазка – монокль.
[4] *bel homme* – привлекательный (*фр*.).

XXIII. НА ДОРОГЕ

[1] *...металлические трубки нашильников...* – Нашильник – часть упряжи, кожаный ремень от хомута.

XXIV. ОПЯТЬ В САДУ

[1] *...при покойном родителе нашем...* – Возможно, преданность Катушкина Лопатину, с одной стороны, и доверие Лопатина к Катушкину, с другой, объясняют этот намек на кровное родство.

[2] *Courage, maman, courage!* – Смелей, мама, смелей! (*фр*.).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. КИШЛАК ТАШ-ОГЫР

[1] *...напоминающий своим покроем бурнусы бедуинов...* – Бурнус – верхняя одежда в виде халата или плаща.

[2] *...гости были... закетчи... и амлакдари (сборщики). – Закетчи* (от *тюрк*. закят, зякет – пошлина) – собиратель налогов; см. также примеч. 5 к гл. X части второй. Амлакдар – глава поземельно-податной территориальной единицы, каковые составляли бекство.

[3] *...страх к гяуру-иноземцу...* – См. примеч. 4 к гл. I части второй романа «На далеких окраинах».

[4] *...мардигор (работник)...* – Наемный рабочий, в современном произношении – мардикёр.

II. РЕЧЬ БУРЧЕНКО

[1] *...стук... кованых, остроконечных каблуков.* – Обувь наездников имела остроконечные каблуки, позволявшие удерживаться в стременах при стрельбе на скаку.

[2] *Аман ~ Кудак-кунак!* – Приветствие и пожелание здоровья.

[3] *Гальча* – горные таджики.

[4] *...изображать из себя полицейского коваса...* – Ковас – бог войны у древних литовцев; здесь: воинственный.

[5] *Ярм-теньга* – полденьги, полсуммы. См. также примеч. 6 к гл. IX части второй.

[6] *...принесет домой свой «гамон»...* – Гамон – украинизм, от *гаман*, *гаманец* – кошелек.

[7] *...куч... джугарры...* – См. внутритекстовое пояснение Каразина в романе «На далеких окраинах», с. 192.

III. КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

[1] *Всадник в красном халате, голова, шея и плечи в стальной кольчуге ~ Близко подходили красные джигиты (кызыл-чапан)...* – Кызыл чапаны (*тюрк*.) – красные халаты, они же красные джигиты – шайка грабителей.

IV. СТАРАЯ ЛИСИЦА

[1] *...ubi bene – ibi patria*. – Где хорошо, там и родина (*лат*.).

[2] *Талейраном обзавелись...* – Талейран (1754–1838), французский дипломат, ставший символом коварства и интриги.

[3] *Бани громовские...* – Назывались по имени Александра Егоровича Громова, одного из ярких коммерсантов Ташкента второй половины XIX в., человека с биографией авантюриста, прославившегося на поставках верблюдов во время Хивинского похода. Разбогатев, Громов покупал и строил промышленные и бытовые объекты, но в этой сфере деятельности удача ему не сопутствовала. Громов стал прототипом персонажа с той же фамилией в романе Анны Алматинской «Гнет». См. о Громове: *Добросмыслов А.И*. Ташкент в прошлом и настоящем...; *Варенцов Н.А*. Слышанное...; *Голендер Б.А*. Коммерсанты старого Туркестана // Голендер Б.А. Мои господа ташкентцы: История города в биографиях его знаменитых граждан. Ташкент, 2007; *Назарьян Р.* Ташкентские прототипы персонажей романа А. Алматинской «Гнет» // Звезда Востока. 2013. № 1.

VI. НЕДОРАЗУМЕНИЕ

[1] *«Скажите ей»* – романс Е.В. Кочубей на слова Е.П. Ростопчиной; был популярен в России в 1850–1880 гг.

[2] *...первого столбца «Туркестанских»...* – Газета «Туркестанские Ведомости» – первый печатный орган в Туркестанском крае. «В половине 1869 года К.П. фон Кауфман испросил через военного министра Д.А. Милютина высочайшее соизволение на издание в Ташкенте Туркестанских Ведомостей как органа генерал-губернаторской власти. Задача этого первого печатного органа состояла в следующем: сообщать правительственные и административные распоряжения, касающиеся Туркестанского края, способствовать всестороннему изучению его и для того помещать преимущественно серьезные, научные статьи» (*Добросмыслов А.И*. Ташкент в прошлом и настоящем... С. 285–286).

[3] *...comme ça!* – Таким образом! (*фр*.).

[4] *...обернул их листом сахарной бумаги...* – Сахарная бумага – упаковочная бумага для сахара.

VIII. ТРЕВОГА И ПОБЕГ

[1] *...завязалась свалка между евреями и сартами...* – Речь идет о туземных, среднеазиатских, или бухарских, евреях, которые до прихода русских колонизаторов были социальными изгоями на мусульманской территории Средней Азии. С приходом русских они получили некоторые бытовые и административные послабления, тем не менее печать отверженности бухарские евреи носили еще долго. Их жизнь была регламентирована большим количеством запретов и ограничений: особые налоги, отличавшиеся от тех, что платили мусульмане, черта оседлости, род профессий, невозможность свободно передвигаться, вид одежды и др. Например, бухарские евреи в Кокандском ханстве платили военный налог, или налог на вооружение, – *лау-пули* (*Каганович А.* Друзья поневоле: Россия и бухарские евреи, 1800–1917. М., 2016. С. 38). В Ташкенте на бухарских евреев распространялся запрет носить сапоги, вместо них разрешались галоши (Там же). «Евреев таврили, как коней. Трудящиеся евреи были еще больше угнетены и бесправны под эмирской эгидой, чем трудящиеся

узбеки. Евреи, занимающиеся ремеслами, обязаны были работать и продавать свои изделия по пониженной цене» (*Тур.* Гетто Бухары: Очерк с иллюстрациями // 30 дней: иллюстрированный ежемесячник. М., 1929. № 10. С. 73).

[2] *...в русском городе...* – См. примеч. 1 к гл. III части первой романа «На далеких окраинах».

IX. СБОРЫ

[1] *Парюр* – ювелирный гарнитур или шляпная коробка (*фр.*).

X. АРЕСТ

[1] *...оставил своего маштака...* – Маштак – низкорослая лощадь.

[2] *...едкий запах кубовой краски и сандала.* – См. примеч. 4 к гл. I части третьей романа «На далеких окраинах» и примеч. 1 к гл. VIII. Кубовая краска – нерастворимый в воде органический краситель, доводимый до практического применения в особых чанах – кубах; сандалом в старину называли краски растительного происхождения (от сандалового дерева, дающего красный краситель). Профессия красильщика была основной среди бухарских евреев. Старожилы Самарканда до сей поры помнят «красильщиков в синий цвет», в повседневности их называли *кабудгари*; выражение *пойти к еврею* означало: *пойти окрасить изделие, ткань или пряжу в синий цвет* (см.: *Назарьян Р.Г.* Бухарские евреи в Самарканде: История и современность // Евреи Евразии. 2004. № 2(6). Дополнительные оттенки (в прямом и переносном смысле) из жизни красильщиков сообщает персонаж рассказа 1930-х годов «Юсуп – сын Боруха» Григория Джураева: «Мой отец был красильщиком шелка. Это профессия нашего рода. Наши руки были всегда черны, как лапы дьявола, – засмеялся Юсуп, показывая руки, в которые въелась чернь химической краски. – Недаром нас, красильщиков шелка, называют дасти-сиях – чернорукими. Мы красили шелк и сдавали его нашим купцам. И что может заработать красильщик, если за окраску фунта шелка он получал две теньги. Отец зарабатывал с трудом на лепешки и рыбу, которую приготовляла мать вечером перед субботой. Черная жизнь бухарского кустаря-еврея ужасная, как день заключенного в зиндане. И когда еврей шел по улице, то сартараш (парикмахер. – *Э.Ш.*) из дверей лавки выливал на него из чашки грязную пену после бритья, проезжавший всадник забрызгивал грязью, проходившие парни сбрасывали с его головы тюбетейку и шлепали ладонями по изъеденной паршой голове, а мальчишки из ворот травили его собаками» (*Джураев Г.* Юсуп – сын Боруха // Литературный Узбекистан. 1935. Кн. 2. С. 84).

XII. КАРАКОЛЬСКИЕ РУДНИКИ

[1] *...«русских уста» (мастеров)...* – Уста (совр. – усто) – мастер, ремесленник; здесь: специалист.

[2] *...четырех «казыл чапан»...* – См. примеч. 1 к гл. III.

XIII. «ЭТО ОНА»

[1] *Китабец* – житель Китаба (ныне город Китаб в Кашкадарьинской области Узбекистана).



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Н.Н. КАРАЗИНА*

1971

От Оренбурга до Ташкента: Очерк (Нива. 1871. № 44).

1872

На далеких окраинах: Роман (Дело. 1872. № 9–11).

Рахмет-Инак, бек Заадинский: Рассказ (Дело. 1872. № 3).

Зарабулакские высоты: Очерк (Дело. 1872. № 6).

Лагерь на Амударье: Рассказ (Беседа. 1872. Кн. 1).

Байга: Рассказ (Беседа. 1872. Кн. 1).

Старый Кашкара: Рассказ (Беседа. 1872. Кн. 1).

Город мертвых: Рассказ (Беседа. 1872. Кн. 7).

Юнуска-головорез: Рассказ (Беседа. 1872. Кн. 7).

Охота на тигра в русских пределах: Эпизод из туркестанской жизни (Нива. 1872. № 12, 14).

Мальчики-пращники: Туркестанские типы (Нива. 1872. № 8).

Путешествующая чета: Туркестанские типы (Нива. 1872. № 18).

Атака собак под Ургутом: Из путевых заметок туркестанца (Нива. 1872. № 38).

Возвращение на родину (Нива. 1872. № 43).

Встреча с зубром в Беловежской пуще: Из записок лесничего (Нива. 1872. № 46).

Из туркестанской боевой жизни. Тигр на Сырдарье: Очерк I (Всемирная иллюстрация. 1872. № 159).

Из туркестанской боевой жизни: Русская плотничья артель на переходе через пески Каракумы: Очерк II (Всемирная иллюстрация. 1872. № 159).

Из туркестанской боевой жизни. Русский пленный: Очерк III (Всемирная иллюстрация. 1872. № 160).

Из туркестанской боевой жизни. Враждебные беки: Очерк IV (Всемирная иллюстрация. 1872. № 160).

Из туркестанской боевой жизни. Казнь: Очерк V (Всемирная иллюстрация. 1872. № 161).

Из туркестанской боевой жизни. Выставка русских голов: Очерк VI (Всемирная иллюстрация. 1872. № 161).

---

* Впервые представлен наиболее полный из имеющихся указатель журнальных публикаций Каразина (указаны первые публикации). Тем не менее окончательным его пока назвать нельзя.

Из туркестанской боевой жизни. Кладбище номадов: Очерк VII (Всемирная иллюстрация. 1872. № 161).

Из туркестанской боевой жизни. Байга: Очерк VIII (Всемирная иллюстрация. 1872. № 162).

Из туркестанской боевой жизни. Перевал Саур-Билли: Очерк IX (Всемирная иллюстрация. 1872. № 162).

Из туркестанской боевой жизни. Подземные тюрьмы в Бухарском ханстве: Очерк X (Всемирная иллюстрация. 1872. № 167).

Из туркестанской боевой жизни. Колодцы Кара-Кудук после Зарабулакского поражения: Очерк XI (Всемирная иллюстрация. 1872. № 169).

1873

Погоня за наживой: Роман (Дело. 1873. № 1, 3–11).

Страшное мгновение: Из походных записок линейца (Нива. 1873. № 32).

Аральское море: Очерк (Нива. 1873. № 37).

В камышах: Повесть (Нива. 1873. № 2–16).

Хивинский поход (Нива. 1873. № 40, 43).

Катастрофа на Кастекском перевале в Туркестане: Очерк (Нива. 1873. № 24).

Святки в Чиназе, на берегу Сырдарьи. Солдатский спектакль: Очерк (Всемирная иллюстрация. 1873. № 214).

Защитники Зеравшанских гор: Военные типы Средней Азии (Нива. 1873. № 38).

Среднеазиатские этюды: Из путевых заметок. Этюд первый. Этюд второй. Этюд третий (Иллюстрированная неделя. 1873. № 3–6).

Среднеазиатские этюды: Из путевых заметок. Чапан-Атинские высоты (Иллюстрированная неделя. 1873. № 7–10).

1874

Оружие и доспехи наших противников в Средней Азии: Очерки из народного быта Центральной Азии (Нива. 1874. № 15).

Богатый купец Мирза-Кудлай: Рассказ (Дело. 1874. № 1–2).

Ак-Томак: Очерк нравов Центральной Азии (Дело. 1874. № 3).

Ургут: Из походных записок линейца (Дело. 1874. № 5).

С севера на юг: Роман (Дело. 1874. № 9–12; 1875. № 4, 7–10).

Двуногий волк: Роман (Нива. 1874. № 41–52; 1875. № 11–25).

Земледелие Заравшанской долины: Очерк (Нива. 1874. № 30).

Амударьинская ученая экспедиция: Очерк I. Орско-казалинский почтовый тракт: Путевые заметки члена экспедиции (Нива. 1874. № 36).

Ученая экспедиция на Амударью: Очерк II (Нива. 1874. № 44).

Порицк и Волчий пост (Эпизод из Польского мятежа 1863-го и 1864-го годов): Цикл очерков (Нива. 1874. № 33–36).

1875

Две сцены из Хивинского похода: Очерк (Нива. 1875. № 1).

Амударьинская ученая экспедиция: Очерк III (Нива. 1875. № 3).

Амударьинская ученая экспедиция: Природа и типы Амударьинской дельты: Очерк IV (Нива. 1875. № 9).

Очерки Сибири: Семиреченская область (Нива. 1875. № 16–17, 20).

Сказка о женском ханстве: Отрывок из записной книжки (Древняя и новая Россия. 1875. Т. 3. № 11).

В низовьях Аму: Путевые очерки (Вестник Европы. 1875. Кн. 2–3).

1876

Тигрица: Быль (Журнал русских и переводных романов и путешествий. 1976. № 1–3).

Самаркандские нищие: Очерк (Нива. 1876. № 1).

Абдурахман – автобачи: Очерк (Нива. 1876. № 10).

Новые владения России: «Ферганская область», бывшее Кокандское ханство: Очерк (Нива. 1876. № 14).

Добыча с берега: Очерк (Нива. 1876. № 16).

Тюркменки, купающие лошадей: Очерк (Нива. 1876. № 17).

Очерки Сербии (Нива. 1876. № 28).

Баши-бузуки: Очерк (Нива. 1876. № 28).

Михаил Григорьевич Черняев: Очерк (Нива. 1876. № 28).

Взятие турецкого укрепления при «Бабиной Главе» сербскими войсками под предводительством генерала М.Г. Черняева: Очерк (Нива. 1876. № 30) (под псевдонимом *Rus.*).

Отъезд сербского князя Милана к войску: Очерк (Нива. 1876. № 30) (под псевдонимом *Rus.*).

Болгарский герой Степан Караджа: Очерк (Нива. 1876. № 30) (под псевдонимом *Rus.*).

Предводители сербских войск: Очерк (Нива. 1876. № 31–32) (под псевдонимом *Rus.*).

Архимандрит Дучич, предводитель сербских добровольцев: Очерк (Нива. 1876. № 33) (под псевдонимом *Rus.*).

Сражение при Казнаке: Очерк (Нива. 1876. № 33) (под псевдонимом *Rus.*).

Взятие Княжевца: Очерк (Нива. 1876. № 35) (под псевдонимом *Rus.*).

Сербские добровольцы: Очерк (Нива. 1876. № 36).

Враги христианства. Уличные типы в Турции: Очерк (Нива. 1876. № 37).

Страшное мгновение. Болгарка, спасающаяся от баши-бузуков: Очерк (Нива. 1876. № 39).

На перевязочном пункте: Из походных записок (Нива. 1876. № 45).

1877

Миленка: Рассказ из прошлой жизни в Сербии (Нива. 1877. № 12–14).

Озеро Иссык-Куль и его окрестности: Очерк (Нива. 1877. № 1).

В пороховом дыму: Роман (Дело. 1877. № 1, 3–4; 1878. № 1–3, 5–6, 9–10).

Близ Кишинева: Очерк (Нива. 1877. № 7).

На Дунае и в Яссах: Очерк (Нива. 1877. № 10).

Путевые эскизы: Очерк (Нива. 1877. № 11).

Г. Галац: Очерк (Нива. 1877. № 12).

От Бухареста до Рущука: Очерк (Нива. 1877. № 13).

Ночная тревога на Дунае: Очерк (Нива. 1877. № 18).

От Прута до Дуная: Очерк (Нива. 1877. № 21).

Крепости Карс и Баязет: Очерк (Нива. 1877. № 22).
Война в Турции: Очерк (Нива. 1877. № 23).
В Калафате: Очерк (Нива. 1877. № 26).
Жужа и Рущук: Очерк (Нива. 1877. № 28).
Атака на Буджакских высотах и бомбардирование Журжево: Очерк (Нива. 1877. № 29).
Матрос Семен Лопатин: Очерк (Нива. 1877. № 30).
Пеший кавалерист: Очерк (Нива. 1877. № 48).
Бой у Хасан-Кале: Очерк (Нива. 1877. № 48).

1878

Блокгауз «Червлен аскер»: Рассказ (Нива. 1878. № 29–32).
Идиллия после кровавой драмы: Очерк (Нива. 1878. № 39).
Встреча возвращающихся с театра войны гвардейцев в С.-Петербурге: Очерк (Нива. 1878. № 38).
Глубокая осень в лесу (тайга): Очерк (Нива. 1878. № 47).
После пожара: Очерк (Нива. 1878. № 50).
Не в добрый час: Эпизод из охоты на медведя (Всемирная иллюстрация. 1878. № 484).

1879

Волчья засада: Из рассказов старого лесничего (Нива. 1879. № 7).
Среди тюркмен теке: Бытовой очерк (Нива. 1879. № 47).
Самарская ученая экспедиция для исследования направления среднеазиатской железной дороги и изучения бассейна реки Амударьи: Эпизод из моих путевых записок. Стычка с текинцами близ Китменчи (Всемирная иллюстрация. 1879. № 569).

1880

Наурус и Джура, братья кудукчи: Этюды из жизни в среднеазиатских пустынях (Живописное обозрение. 1880. № 1–3).
Самарская ученая экспедиция для исследования направления среднеазиатской железной дороги и изучения бассейна реки Амударьи: Цикл очерков (Всемирная иллюстрация. 1880. № 576–579, 581, 584–590, 593–594, 596–597, 601–602, 606–607).
Кара-Джигит: Былина среднеазиатских кочевников (Нива. 1880. № 40).

1881

Птичье царство: Из очерков жизни в среднеазиатской пустыне (Нива. 1881. № 1).
Старый Джулдаш и его сын Мамет: Повесть о жизни в среднеазиатской пустыне (Нива. 1881. № 40–43).
Охота на волка в степи: Очерк (Нива. 1881. № 45).

1882

Ночь под снегом: Рассказ (Нива. 1882 № 46–47).
Памяти Скобелева: Некролог (Нива. 1882 № 28).

1885

Голос крови (Драма глухого форта): Роман (Нива. 1885. № 1–10).
Не в добрый час: Рассказ (Нива. 1885. № 46).
Угон верблюжьего табуна: Очерк (Всемирная иллюстрация. 1885. № 883).

1888

На пути в Индию: Цикл очерков (Нива. 1888. № 37–40).
Музыканты подневольные (Всемирная иллюстрация. 1886. № 885).

1891

Наль: Роман (Нива. 1891. № 34–46).
Атлар: Рассказ (Русский вестник. 1891. № 6).
Мнимая западня: Рассказ (Живописное обозрение. 1891. № 1).

1894

Литавры Магомета Тузая: Рассказ (Нива. 1894. № 53).

1895

Пионер: Рассказ (Живописное обозрение. 1895. № 20).

1896

Перебежчик: Рассказ (Живописное обозрение. 1896. № 2).
Несколько дней в стране сосны и гранита: Очерк (Нива. 1896. № 1).

1898

Тьма непроглядная: Повесть (Нива. 1898. № 8–13).
Псовая охота: Очерк (Нива. 1898. № 37).

1907

Скорбный путь: Из воспоминаний старого туркестанца (Русская старина. 1907. Т. 129. Март).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис

Н.Н. Каразин

Альбом

СОДЕРЖАНИЕ

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОГОНЯ ЗА НАЖИВОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЛИТЕРАТУРЫ,

№ 36 ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. 1874

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ №№ ВЪ ДВА ЛИСТА СЪ 2—4 РИСУНКАМИ И ЕЖЕМѢСЯЧН. ДАРОВЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Выданъ 31-го августа 1874 года. ПАРИЖСКІЯ МОДЫ. Отдѣльные №№ «Нивы» 15 коп. съ пересылкою 20 коп.

Подписка на „НИВУ“ въ 1874 году продолжается

И КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПОДПИСЧИКЪ ПОЛУЧАЕТЪ ВСѢ УЖЕ ВЫШЕДШІЕ ВЪ 1874 ГОДУ №№ «НИВЫ».

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

НА ГОДЪ:

I. Въ С.-Петербургѣ: безъ доставки на домъ 4 р. — к.
» съ доставкой на домъ 5 » — »
II. Въ Москвѣ: безъ доставки на домъ, въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева и А. Лангъ . . . 4 » 50 »
III. Въ губерніяхъ: съ пересылкой . . . . 5 » 50*) »

НА ПОЛГОДА:

I. Въ С.-Петербургѣ: безъ доставки на домъ 2 р. — к.
» съ доставкой на домъ 2 » 50 »
II. Въ Москвѣ: безъ доставки на домъ, въ книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева и А. Лангъ . . 2 » 50 »
III. Въ губерніяхъ: съ пересылкой на домъ 3 » — »

ПОДПИСКА принимается въ конторѣ редакціи „НИВЫ“ въ С.-Петербургѣ, Большая Морская, домъ № 9.

Николай Николаевичъ Каразинъ.

Ученая экспедиція по теченію Аму-Дарьи, снаряженная весною нынѣшняго года съ цѣлію ближайшаго изслѣдованія недавно-пріобрѣтенныхъ Россіею странъ и народностей, занимаетъ въ настоящее время умы всей читающей публики. Дѣятельное участіе, которое принималъ въ этой экспедиціи даровитый сотрудникъ «Нивы», Николай Николаевичъ Каразинъ, обѣщая много интересныхъ очерковъ и рисунковъ нашему журналу, въ то же время придаетъ новый и такъ сказать общественный интересъ его личности. Пользуемся этимъ случаемъ, чтобы познакомить нашихъ читателей съ жизнью и дѣятельностью художника, давно уже извѣстнаго имъ со стороны его литературнаго и художественнаго таланта.

Каразинъ родился въ 1842 году, и получивъ воспитаніе во 2-мъ московскомъ кадетскомъ корпусѣ, вступилъ на военное поприще. Вся долговременная служба его представляетъ непрерывный рядъ боевыхъ походовъ, что дало ему возможность ближе изучать и въ совершенствѣ усвоить себѣ тревожное житье-бытье русскаго солдата. Сопряженная съ лагерной жизнью постоянная перемѣна мѣстъ, а также частыя поѣздки по Россіи и Азіи помогли ему приглядѣться и къ народному быту посѣщенныхъ имъ странъ. Въ то время Каразинъ еще не думалъ о карьерѣ художника и безъ всякой опредѣленной цѣли набрасывалъ въ своемъ альбомѣ эскизы подорожныхъ мѣстностей и типы различныхъ народностей — единственно въ силу своей артистической натуры, безсознательно пробуждавшагося таланта и врожденной наблюдательности. Такъ совершилъ онъ польскій походъ 1863—1864 годовъ, принимая участіе въ болѣе значительныхъ стычкахъ съ польскими бандами при Джарахъ, Заболотцахъ, Порицкѣ, Волчьемъ постѣ и Грушевѣ, — а затѣмъ и туркестанскій 1865—1871 годовъ, въ теченіи котораго онъ участвовалъ



Николай Николаевичъ Каразинъ, Рис. Тегаццо, грав. Пуцъ.

Страница из журнала «Нива» с портретом Н.Н. Каразина и статьей о нем

Портретная Галлерея „ИГРУШЕЧКИ“.

Друзья Дѣтей.



Лѣсъ молчитъ — птицы поютъ,
Лѣсъ зашумѣлъ — птицы смолкли
Любишь лѣсъ, — люби и слушать

Н. Каразинъ

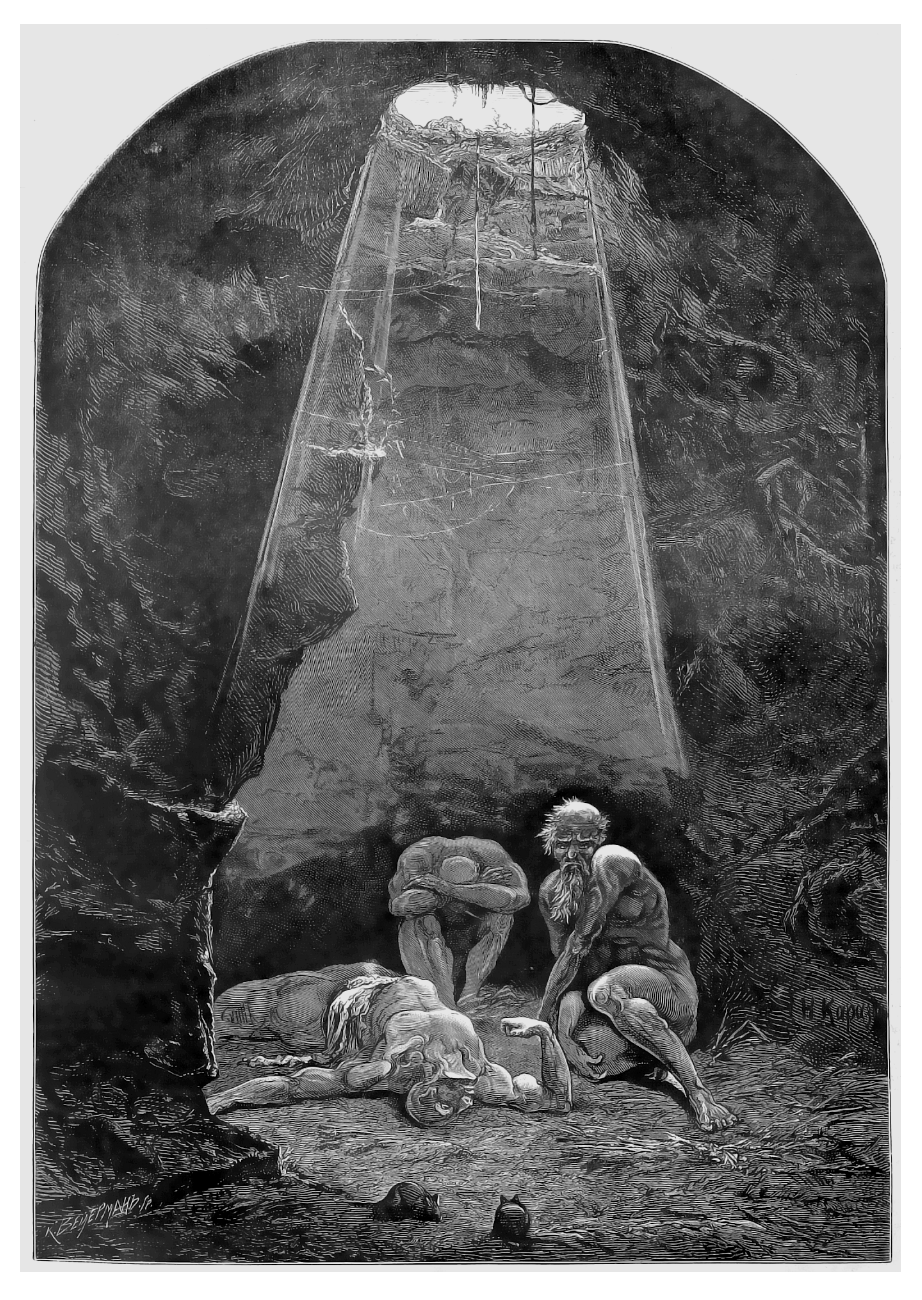
Н.Н. Каразин
(журнал «Игрушечка», 1894, № 4)



Выставка голов военнопленных.
Рис. Н. Каразина, гравюра О. Мая



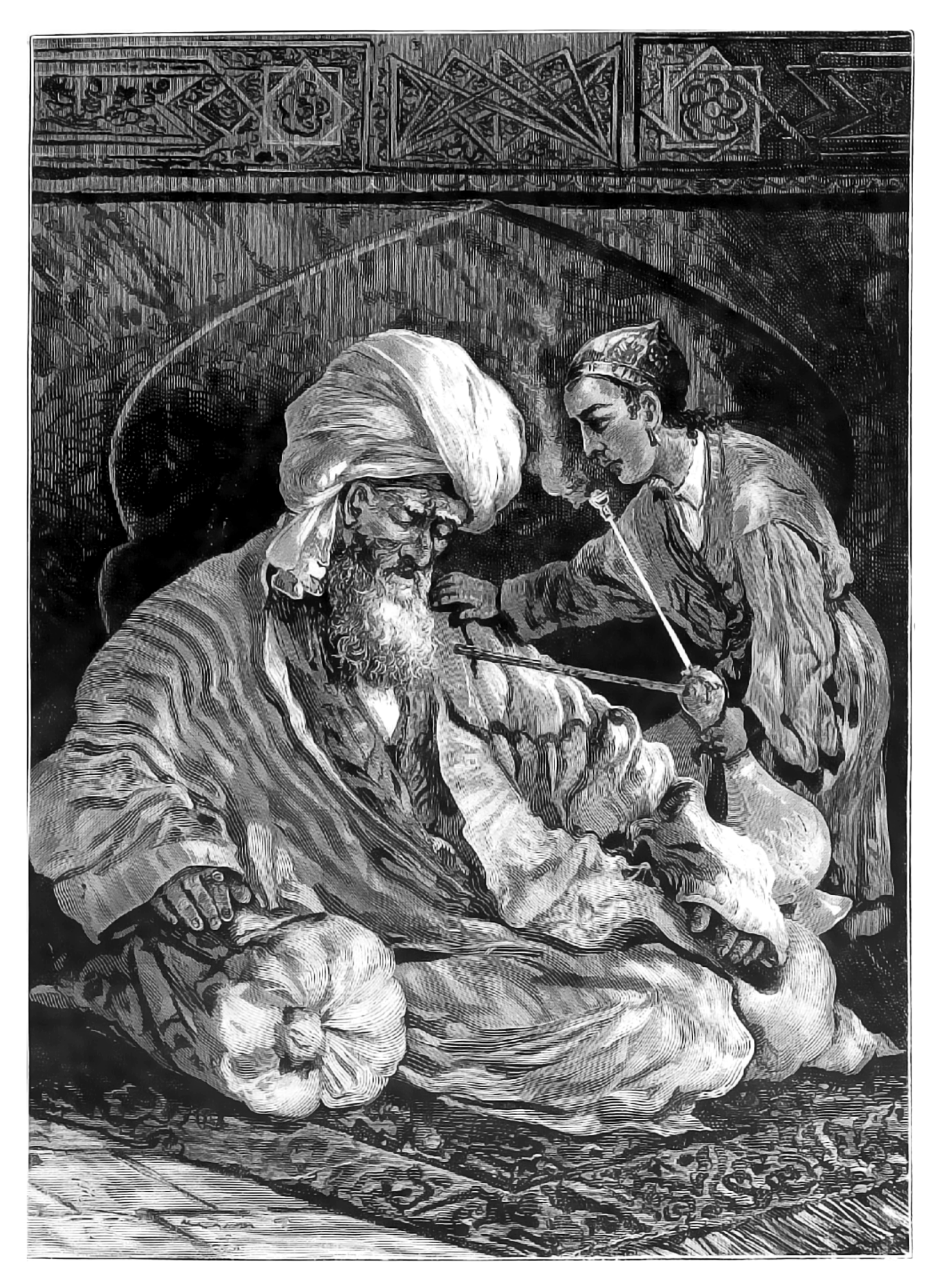
Казнь преступников в Бухаре.
Рис. на дереве Н. Каразина, гравюра Л. Серякова



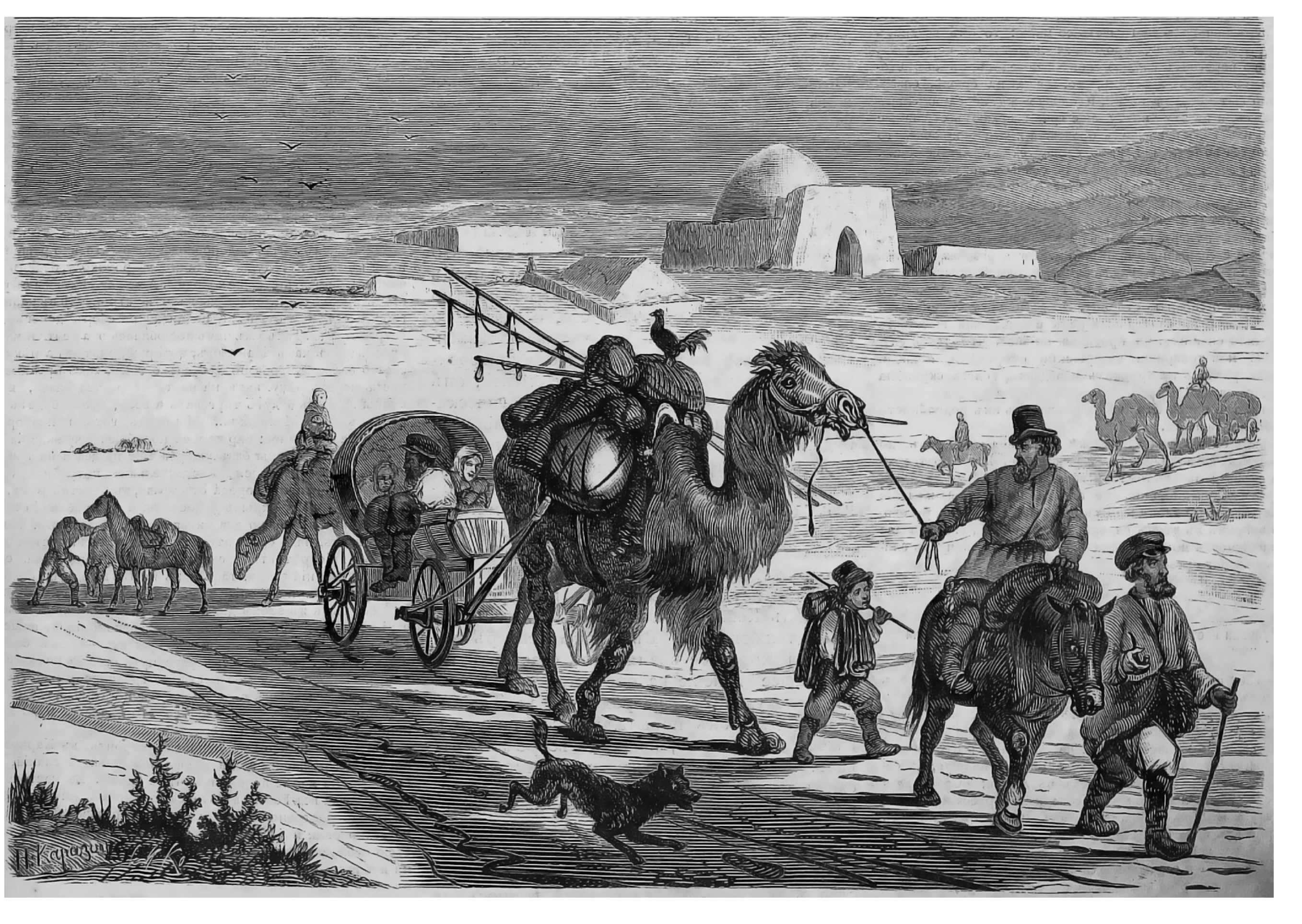
Туркестанские виды и типы. Клоповник в Бухарском ханстве.
Рис. на дереве Н. Каразина, гравюра К. Вейермана



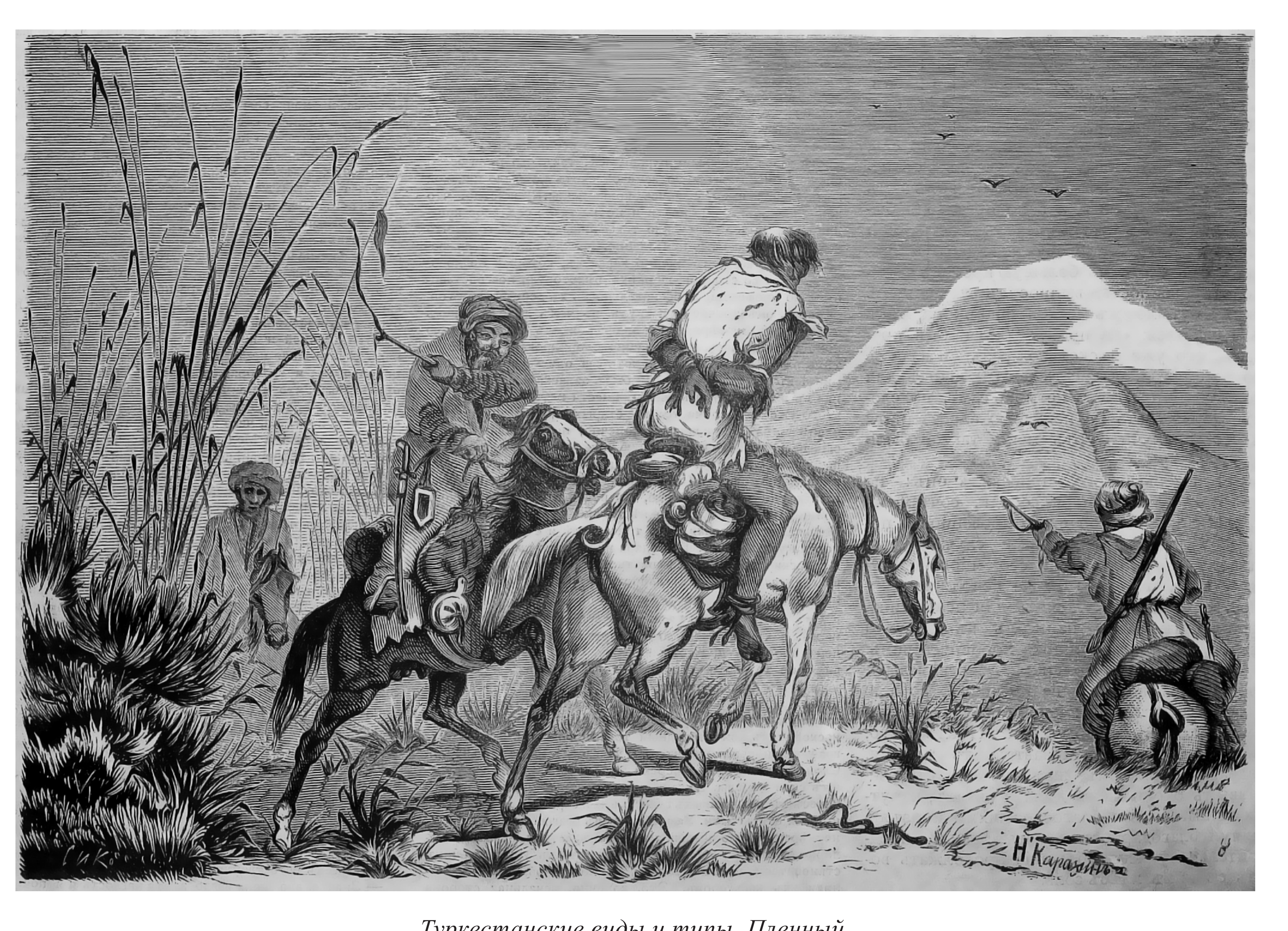
Самарская ученая экспедиция в Среднюю Азию.
Железные ворота (Темир-дарвоза), горный проход на пути из Карши в Дербент.
Рис. Н. Каразина



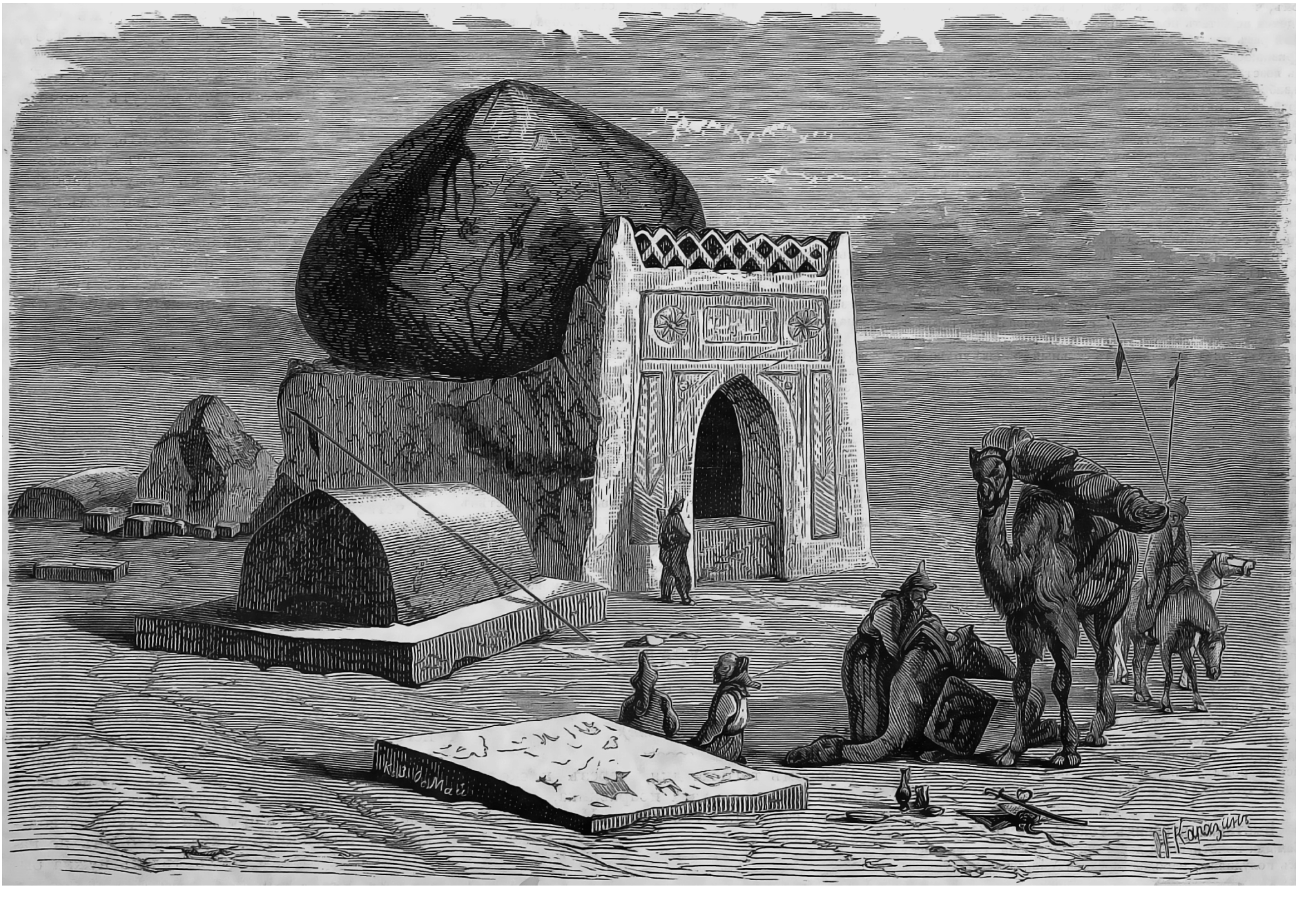
Самарская ученая экспедиция в Среднюю Азию.
Старший бек керкинский и его бача.
Рис. Н. Каразина



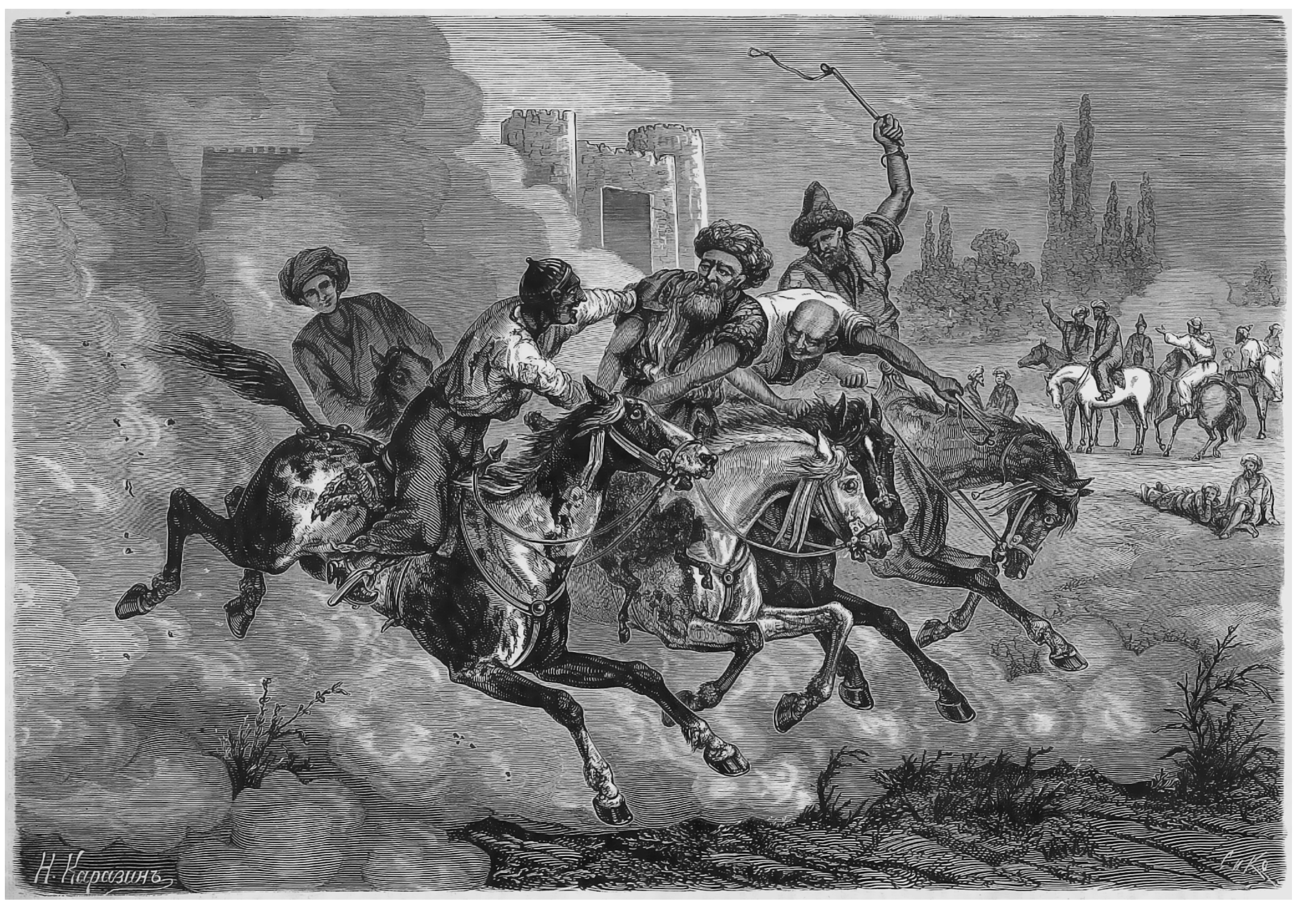
Туркестанские виды и типы. Караван плотничьей артели в степи, направляющийся в Ташкент.
Рис. Н. Каразина, гравюра Л. Серякова



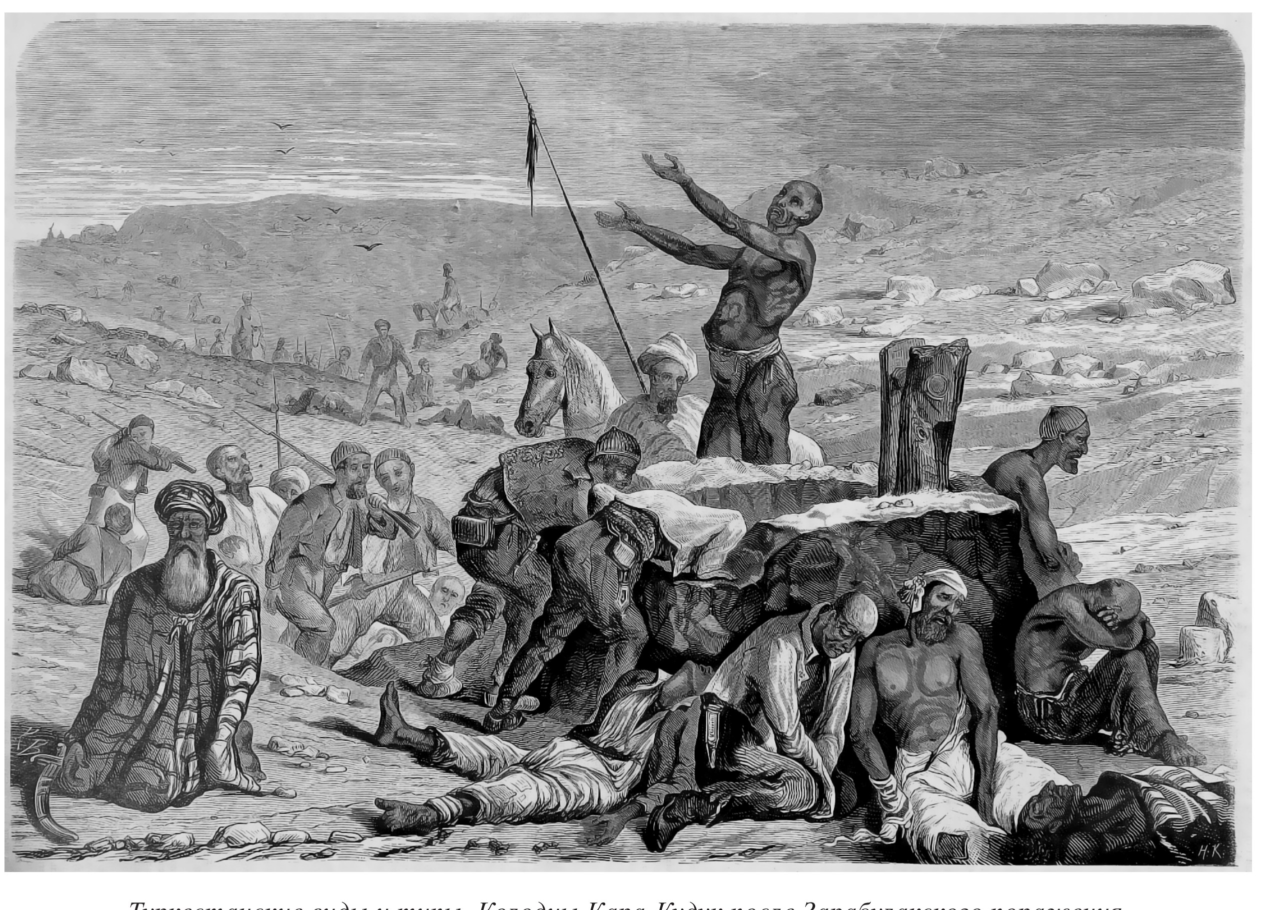
Туркестанские виды и типы. Пленный.
Рис. на дереве Н. Каразина, гравюра Л. Серякова



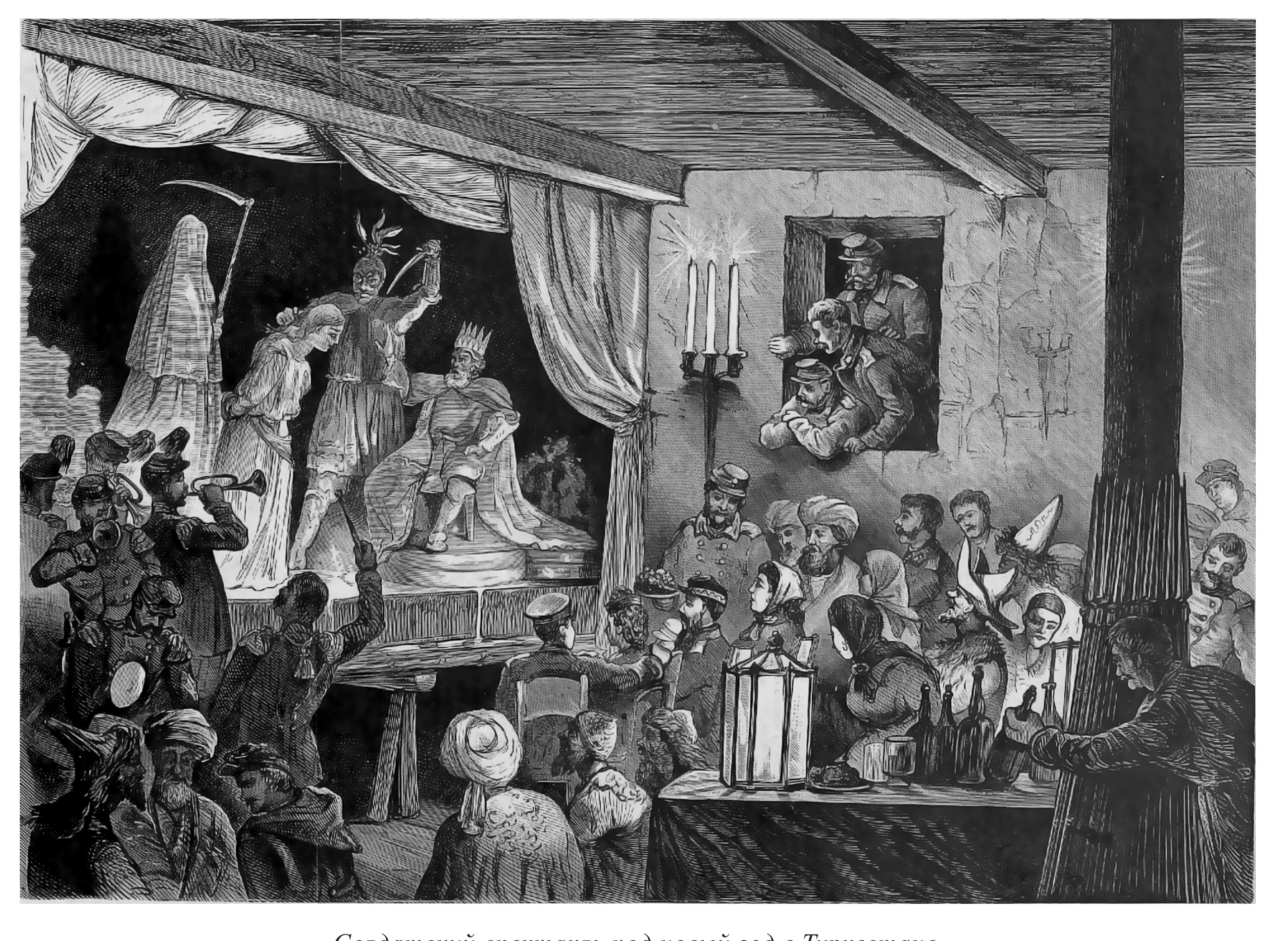
Туркестанские виды и типы. Кладбище номадов в окрестностях Ходжента.
Рис. на дереве Н. Каразина, гравюра О. Мая



Туркестанские виды и типы. Байга – местная игра в Катта-кургане.
Рис. на дереве Н. Каразина, гравюра Л. Серякова



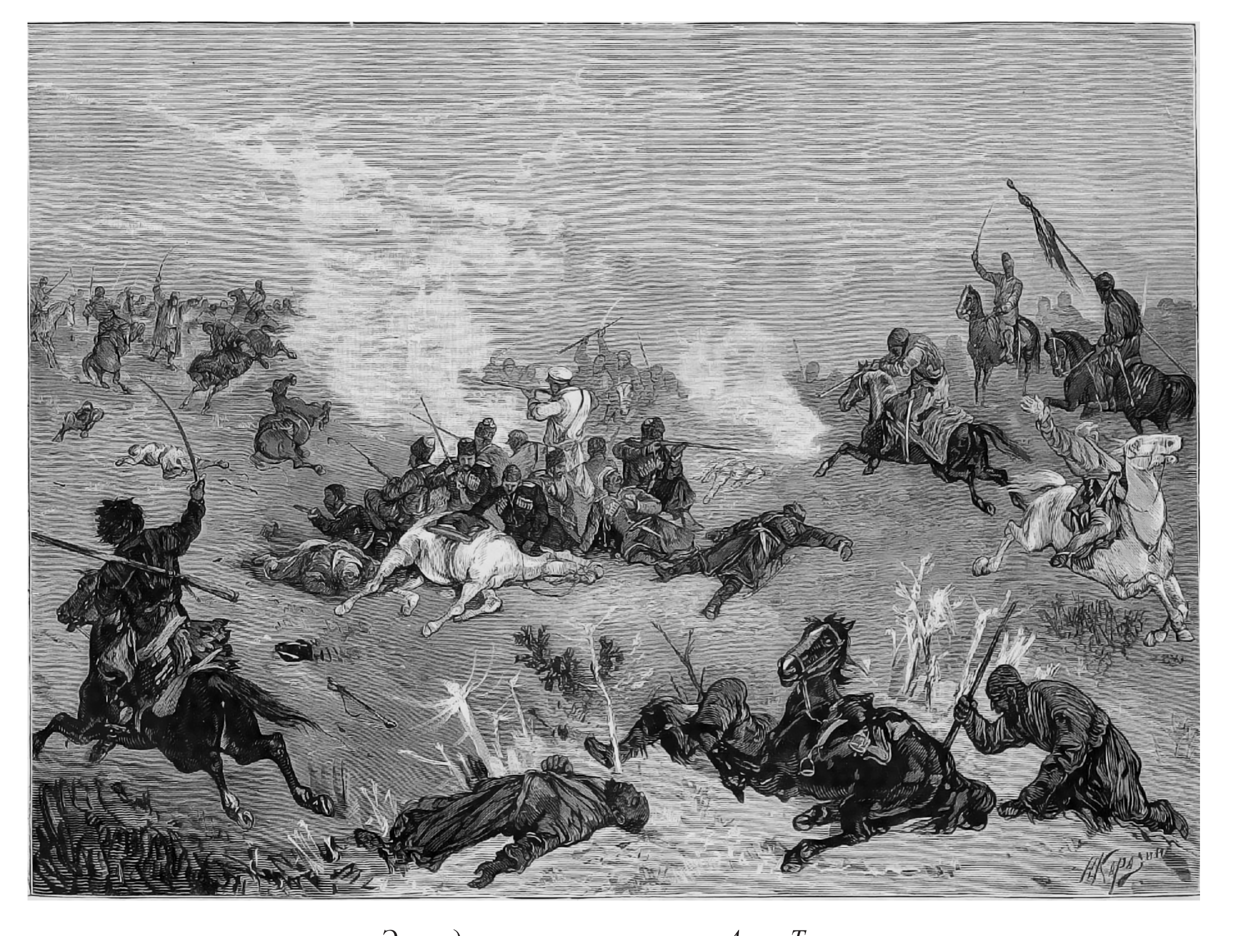
Туркестанские виды и типы. Колодцы Кара-Кудук после Зарабулакского поражения.
Рис. Н. Каразина, гравюра К. Вейермана



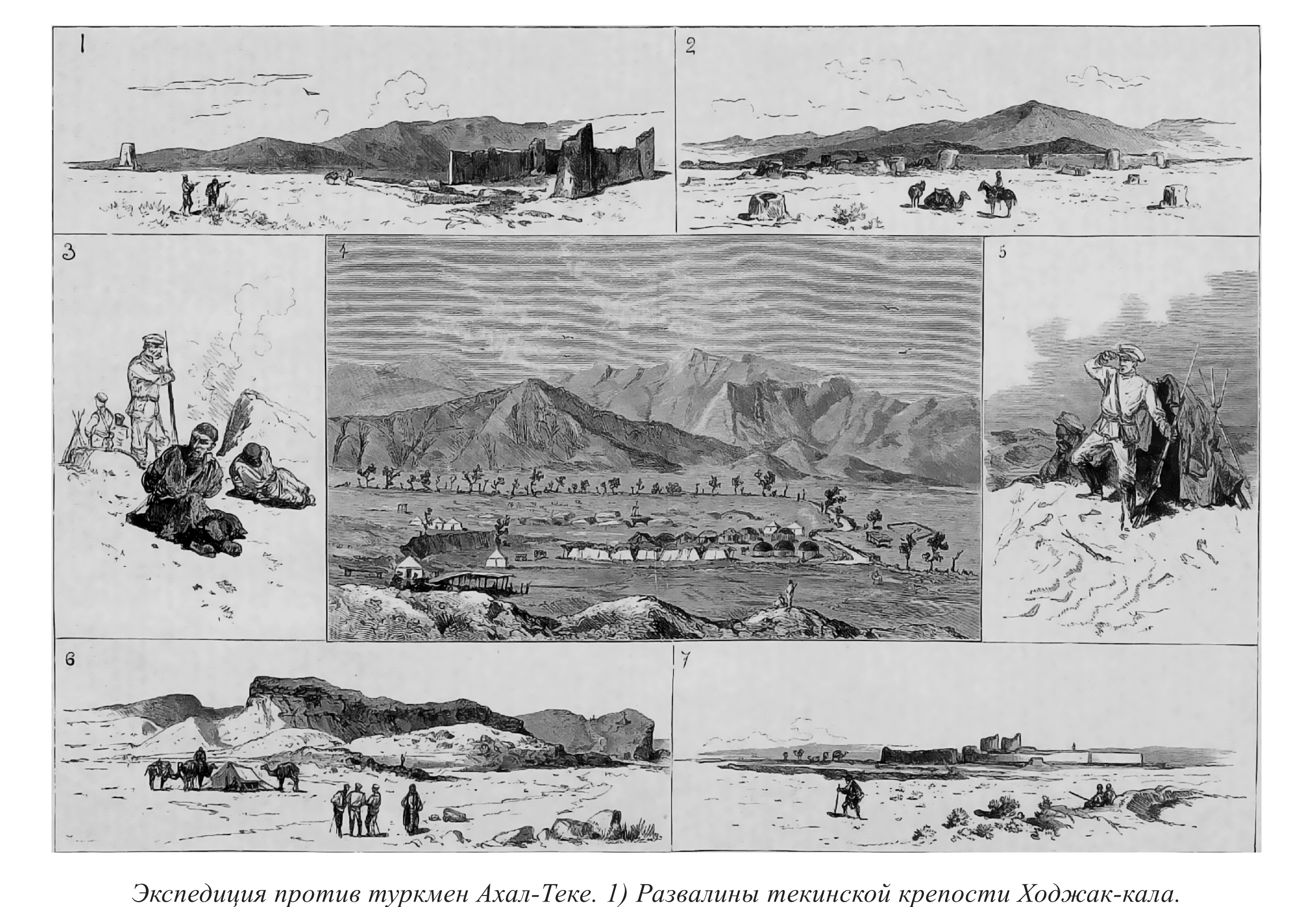
Солдатский спектакль под новый год в Туркестане.
Рис. Н. Каразина, гравюра К. Вейермана



Самарская ученая экспедиция в Среднюю Азию.
Продавец ковров и адрасов в Бешире.
Рис. Н. Каразина



Экспедиция против туркмен Ахал-Теке.
Оборона доктора Студитского и 12 казаков от 300 туркмен на пути к Бендесену.
Рис. Н. Каразина



*Экспедиция против туркмен Ахал-Теке. 1) Развалины текинской крепости Ходжак-кала.
2) Развалины Зааy с северной стороны. 3) Пленные. 4) Укрепленный лагерь у Терсакана.
5) Сторожевой пост близ Терсакана. 6) Бендесен (гора, на которой убит доктор Студитский).
7) Развалины текинской крепости Кизил-Чешме.
Рис. Н. Каразина*

Каразин Н.Н.

На далеких окраинах. Погоня за наживой: Романы / подгот. Э.Ф. Шафранская ; [отв. ред. Б.Ф. Егоров] ; – М. : Наука, 2019. – 629 с. – (Литературные памятники). – ISBN 978-5-02-040167-9.

Николай Николаевич Каразин (1842–1908), весьма популярный при жизни, открывал читателю только что завоеванную Среднюю Азию: быт, нравы, культуру ее народов. Представленная романная дилогия – «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой» – реалистически возвращает читателя в эпоху XIX в., когда в Азию направились не только подвижники и альтруисты, но и авантюристы, нувориши. Каразин, будучи участником и очевидцем колонизации Средней Азии, одним из первых запечатлел те необычные для европейского глаза артефакты, ментефакты, черты ландшафта, которые стали слагаемыми, или паттернами, туркестанского текста русской культуры. Том снабжен историко-литературными, культурологическими и этнографическими комментариями и иллюстрациями автора.

Для широкого круга читателей.

Научное издание

НИКОЛАЙ КАРАЗИН

НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ

ПОГОНЯ ЗА НАЖИВОЙ

Редактор *Н.Д. Александрова*

Художник *В.Ю. Яковлев*

Корректоры: *С.О. Розанова, Р.В. Молоканова*

Подписано к печати 17.07.2019
Формат $70 \times 90^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 47,4. Уч.-изд.л. 46,0
Тип. зак.

ФГУП Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: info@naukaran.com
https://naukapublishers.ru
https://naukabooks.ru

ФГУП Издательство «Наука»
(Типография «Наука»)
121099, Москва, Шубинский пер., 6